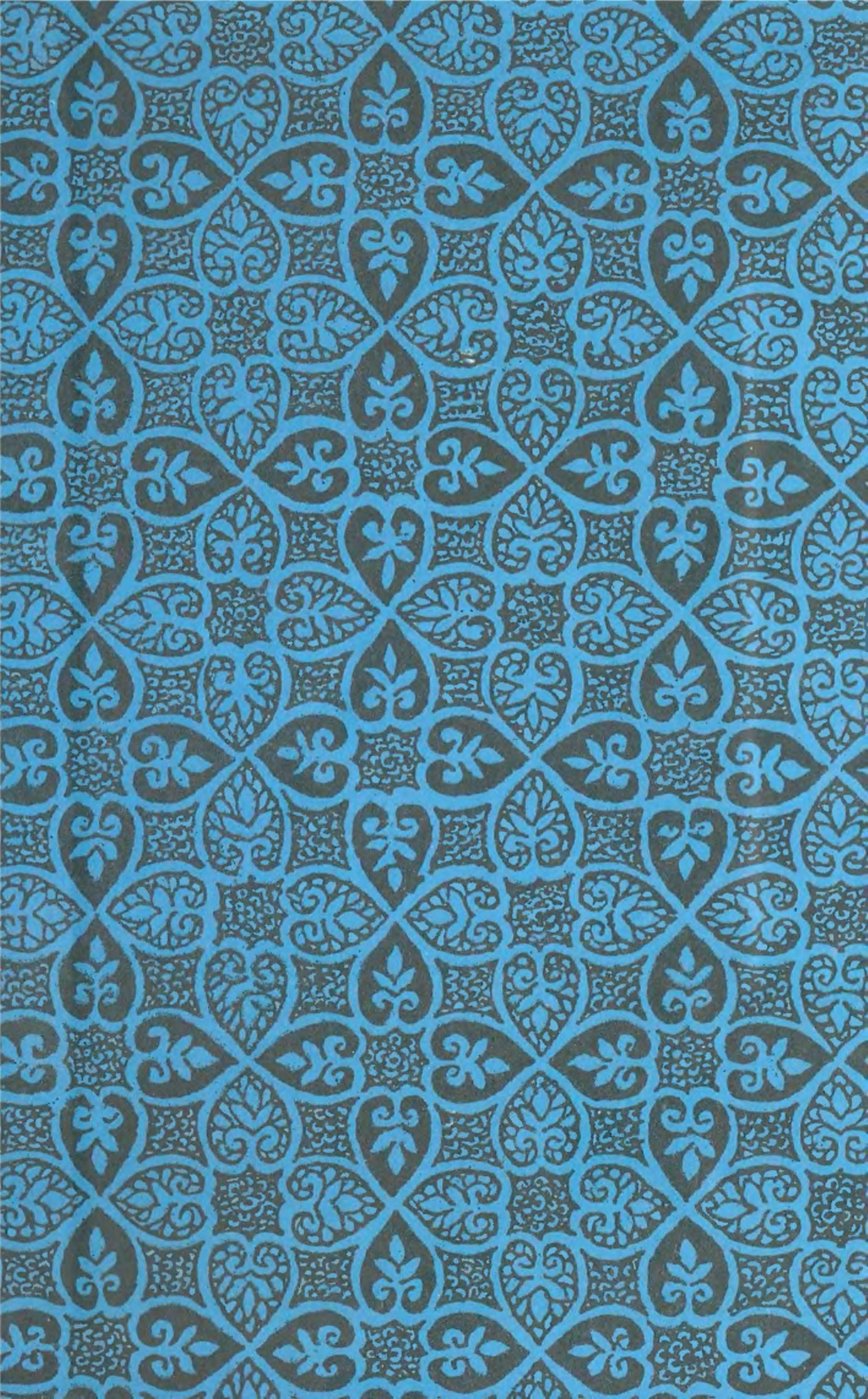
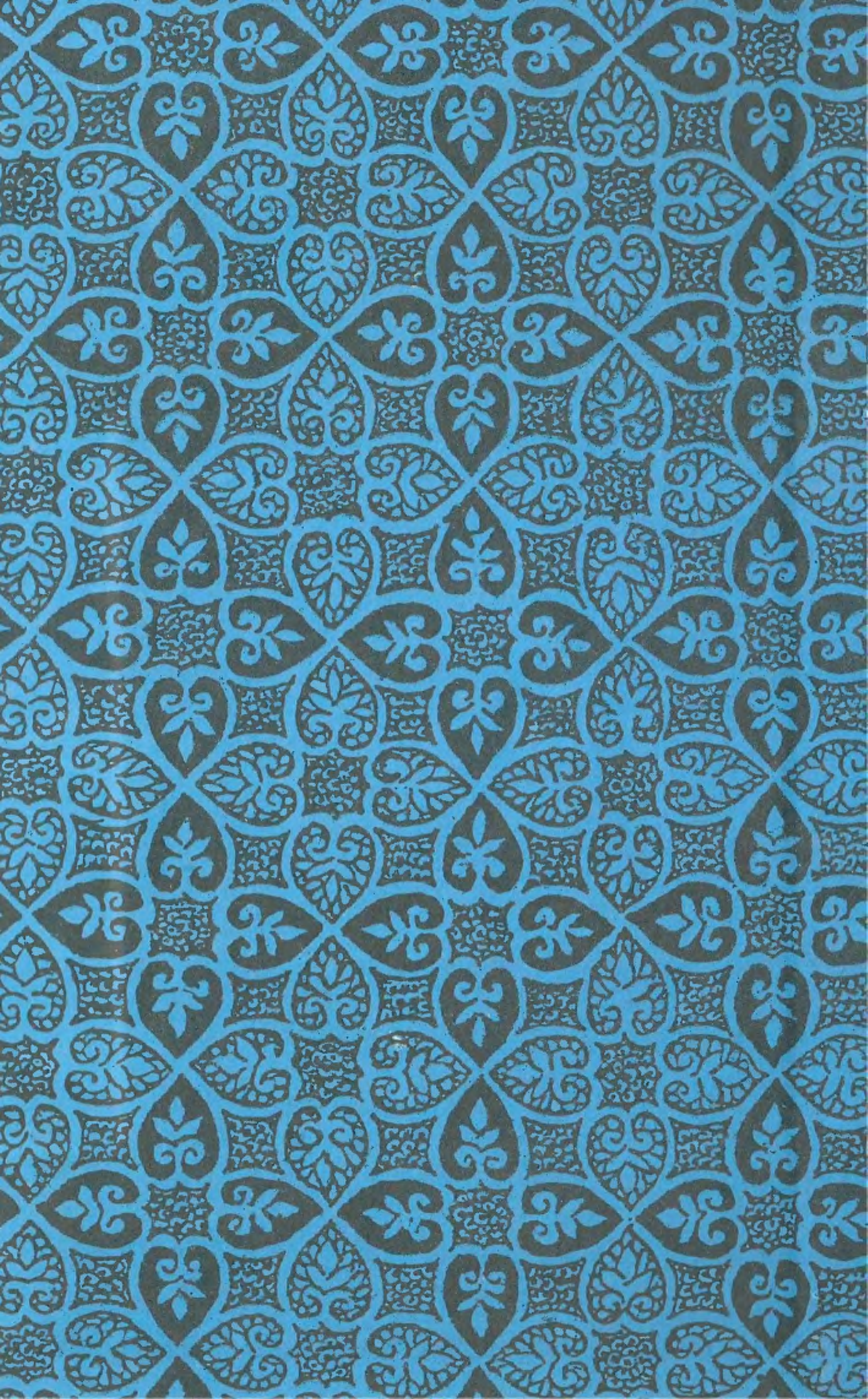
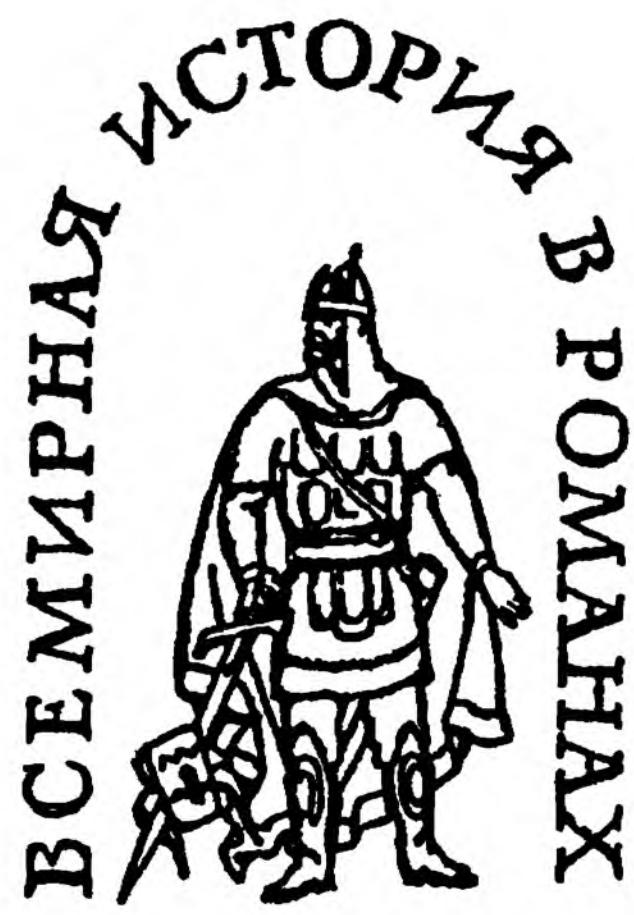


АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ









ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

ЛЕТОПИСЬ
ВЕЛИКИХ
СОБЫТИЙ

МОСКВА
«НОВАЯ КНИГА»

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ

МОСКВА
«НОВАЯ КНИГА»

Серия основана в 1993 году

Александр Невский: Л. Волков. Старые годы. Н. А. Алексеев-Кунгурцев. Брат на брата. Ф. Равита. На Красном дворе. В. Кельсиев. Москва и Тверь. Н. Чмырев. Александр Невский. В. Клепиков. Александр Невский. Исторические романы.— М.: Новая книга, 1996.— 576 с. («Всемирная история в романах»: «Летопись великих событий»)

Почти три столетия русской истории пройдет перед читателем этой книги — начиная от славных времен князя Ярослава Мудрого и до святого князя Александра Невского.

Увлекательные романы, вошедшие в книгу, показывают величие и становление нашего государства в годы, предшествовавшие татарскому игу.

ISBN 5-8474-0204-X
ISBN 5-8474-0202-5

© Составление В. Козаченко, В. Нежданов, С. Тимченко, 1996
© Оформление Н. Егоров, 1996

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

Л. ВОЛКОВ

В СТАРЫЕ
ГОДЫ



I

Пасха в 1015 году праздновалась 10 апреля. Весна в этом году была ранняя, и к Святой земля покрылась густым травяным ковром, а на деревьях распустились листья.

К Светлому празднику прибыли в Киев бояре из разных концов святорусской земли и привезли великому князю Владимиру поклоны, поздравления и подарки от его сыновей. Над городом плыл колокольный звон, и под этот звон стекались на княжеский двор бояре, мужи, отроки, гости и городские старцы *.

Несмотря на праздник и на веселый вид города, у большинства бояр лица были печальные и озабоченные. Уже около года великому князю неможилось, а в последние месяцы он слабел с каждым днем. На заутрене он часто обращался к боярам и отрокам, прося их поддержать его. На его величавом, хотя и исхудавшем, лице с прямым и тонким носом, с большими темными глазами, с густыми бровями, с откинутыми назад седыми волосами и с густой, волнистой, частью седой, но все еще темно-русой бородой было заметно сильное утомление. Но иногда в глазах великого князя появлялся тихий свет — он выпрямлялся во весь свой богатырский рост, поднимал голову, утомленное лицо его светлело, и тогда от всей его величавой фигуры веяло неземной мощью

* Бояре — старшие члены великокняжеской дружины, мужи — младшие, отроки — прислуга мужская, гости — купцы, городские старцы — городские старожилы.

и святостью. По случаю нездоровья великий князь после заутрени не звал к себе никого разговляться: разговлялись у митрополита. Но, невзирая на свое нездоровье, хлебосольный князь устроил днем «почестен пир».

К 12 часам каменный терем на княжьем дворе был наполнен народом. Из великокняжеских дружинников явились, правда, немногие, потому что большинство ушло с князем Борисом на печенегов, но собрались бояре, присланные Ярославом Новгородским, Брячиславом Полоцким, Глебом Муромским, Святославом Древлянским, Мстиславом Тмутараканским и Станиславом Смоленским. Собрались и бывшие проездом в Киеве гости новгородские, болгарские с Камы, варяжские, греческие, а также старцы из разных городов: Чернигова, Любеча, Василева, Перемышля, Червеня и других городов. Был посол и от князя Бориса, привезший весть, что печенегы ушли от пределов земли Русской, так что Борису придется идти в глубь их страны.

Наконец около полудня вышел из опочивальни Владимир в сопровождении митрополита Михаила-грека, дочери и старшего по рождению из князей Святополка, который приехал из своей волости Вышгорода, неподалеку от Киева. Похристосовавшись со всеми, князь попросил митрополита помолиться и занял великокняжеское место у главного стола, приглашая всех садиться.

Собравшийся на пир служилый люд говорил о походе Бориса на печенегов, а на дальних столах шепотом высказывалось сожаление о болезни великого князя. Скоморохов и музыкантов на пиру не было: лишь пели два старца, гуслиар и бандурист. Скоро невеселый пир окончился, и усталый Владимир удалился в опочивальню.

Вечером пришли к нему берестовский иерей Иларион и любимый боярин Владимир Горисвет.

— Слаб я стал,— обратился князь к Илариону,— и недолга уж жизнь моя.

— Не отчаивайся,— отвечал Иларион,— за тебя найдутся молитвенники. У кельи, в которую я удаляюсь для поста, молитвы и дум, вырыл себе пещеру инок Антоний. Он родился в Любече, откуда пошел на Афон, в землю греческую, принял там пострижение и пришел теперь под Киев молиться, молить Бога о построении здесь обители. Он молод, но мудр и праведен, и молитва его угодна Богу. Молись, и он и я будем молиться за тебя, княже,

и пройдет немощь твоя, да и лечцы твои искусны и с помощью Божией...

— Лечцы мои, — отвечал Владимир, — правда, успокаивают меня, но я знаю, что жизнь моя уже недолга. Так, значит, угодно Богу. Я молюсь, но не о продлении жизни, а о прощении великих грехов моих: огнем жжет душу мою прежняя лютость моя языческая...

— Княже, ты сделал то, чего не могла сделать твоя премудрая бабка Ольга, — возразил горячо Иларион. — Ты дал народу свет Христов, веру праведную, веру греческую! Ты смыл с себя праведной жизнью во Христе прежнюю нечисть языческую. Бог избрал тебя рукою Своею, чтобы крепить веру Христову там, где, по предсказанию апостола Андрея Первозванного, должен воссиять великий град христианский и укрепиться вера Христова! Бог простил тебя и возвеличил на все времена. Ты сравнялся с апостолами, просветив светом Христовым страну необъятную.

— Все люди славят тебя, — добавил Горисвет, — ты построил город, оградил землю от врагов и разбойников, ты ли не защитник бедных? Всякий находит суд и правду у тебя!

— Спасибо вам на добром и ласковом слове, — ответил Владимир, — но не затем я вас звал, чтобы вы хвалили меня, а чтобы вы помолились за меня в эти светлые дни. Просите Бога наставить меня, кому мне отдать престол киевский. Жизнь моя на исходе, и я молю Бога, чтобы после смерти моей не было смут, чтобы брат не восстал на брата. Сердце мое лежит к Борису, но Святополк старший в роду...

— Княже, — сказал Горисвет, — Святополк окружен ляхами и попами латинскими, а людям не любя вера латинская. Сам знаешь, что Святополк разума не великого, и жена его, Клотильда, польская княжна, овладела им. Люди знают об этом, видят это и ропщут. И если бы Святополку достался киевский великокняжеский престол, Русь стала бы волостью ляшской. На то ли ты укрепил и возвеличил ее, на то ли ты дал ей веру православную?

— Твои любимые сыновья Борис и Глеб, — заговорил Иларион, — не от мира сего. Для них уготованы славные венцы небесные, а не земные, для земного же владычества есть у тебя сын Ярослав, муж мудрый, к книжной мудрости ревнивый, вере праведной преданный, твердый, в словах искусный, о волости своей радеющий.

— Ярослав горд, — ответил Владимир задумчиво, — горд, как Рогнеда, мать его! На гордыню его ропщут люди в Новгороде, гордыня принудила его и отложиться от меня...

— Не от тебя, княже, — возразил Иларион, — а получив известие о твоей немощи и боясь, что Святополк овладеет столом киевским, Ярослав не хотел подчиниться ему...

— Молитесь да думу думайте, — проговорил опять Владимир. — На Фоминой седмице я со двором перееду в Берестово *, и там будем вместе совет держать...

II

На следующий день у Владимира была беседа со Святополком. Святополк, внук Святослава, наружностью напоминал своего деда: во всей его фигуре чувствовалась лихость. Однако кто узнавал князя ближе, тот убеждался, что его лихость была более показной, кажущейся, чем действительной. Святополк был хвастлив и лжив и старался всех перехитрить, но он не обладал для того достаточно проницательным и живым умом, а потому обыкновенно его планы наперед разгадывались другими и разрушались. Да и в тех случаях, когда другие ему подсказывали действительно хитро и осторожно обдуманный образ действий, он не умел следовать ему.

Встретив по-родственному Святополка, Владимир начал журить его за влияние на него жены, заговорил о намерении его тестя Болеслава подчинить Польше Русь, о кознях духовника его жены латинского епископа Рейнберна, который мечтал о подчинении Руси папе. Святополк выслушивал поучения отца не возражая, а когда тот кончил свою речь, стал говорить о том, как его самого преследуют несчастья и зависть других, начал уверять Владимира в своей сыновней преданности, в любви к братьям, которые, по его словам, без всякого основания отвечали ему подозрениями и недоброжелательством. Наконец, словно ненароком, заговорил о наследовании киевского великокняжеского стола, но Владимир прервал его:

* Б е р е с т о в о — летнее пребывание св. Ольги, а затем Владимира святого. Село это находилось под Киевом на том месте, где была и Аскольдова могила.

— Я пока жив. Бог вразумит меня на последок дней, кому дать киевский стол, и кому из сыновей я дам этот стол, того надлежит слушаться всем остальным братьям. А теперь поезжай с Богом к себе в Вышгород, кланяйся жене своей, помни мои наставления...

Великий князь благословил Святополка... Тот удалился недовольный, раздумывая, что сказать жене и Рейнберну, которые решительно требовали от него добиться в эту поездку от Владимира признания его наследником великокняжеского стола.

От отца Святополк отправился в хоромы сестры своей Предславы, у которой застал Горисвета и послов от братьев: Ярослава Новгородского — старого Скалу и от Глеба Муромского — боярина Хвалибоя. Он вошел было с мыслью склонить на свою сторону сестру, но, увидев у нее Горисвета, который не раз обличал его перед отцом в неправде, и послов, сказал сестре, что зашел проститься с ней перед отъездом. Горисвет, Хвалибой и Скала хотели уйти, чтобы не мешать разговору, но Предслава удержала их. Святополк понял, что сестра, решительный характер которой он знал, не намерена вступать с ним в переговоры, и, простившись с нею, удалился. У выхода с великокняжеского двора поджидал его великокняжеский тиун Якша.

— Вижу,— сказал ему шепотом Святополк,— все против меня. Поп Иларион и старый волк Горисвет хотят всей землей править, но у моего тестя, князя Болеслава, рати много. Не увидят ни Борис, ни Ярослав стола киевского! Но все зависит от тебя: на твою преданность я полагаюсь.

— Неужели, княже, ты мог в этом сомневаться?

— Да,— проговорил князь.— Однако здесь разговаривать нам опасно. Я пойду вперед, чтобы не видели нас вместе, но и ты не мешкай.

На третий день Пасхи Владимир принимал послов своих сыновей. Он наделил их подарками и приказал ехать по местам.

— Может быть,— говорил он им на прощанье,— скоро я созову всех своих сыновей в Берестове, куда поеду на Фоминой.

Когда послы собирались уезжать, Предслава позвала Скалу.

— Передай, — сказала она, — брату Ярославу, что я, Иларион и Горисвет помним о нем... Прощай!

Во вторник на Фоминой Владимир переехал в Берестово. Весна была теплая, ясная, и Владимир почувствовал себя значительно лучше. Каждый день вечером он подолгу советовался с Иларионом и Горисветом о делах Русской земли; говорили не раз и о наследнике, но окончательно назначить преемника Владимир не решался, желая прежде поговорить с Борисом.

10 июля прискакал в Берестово гонец от Бориса с известием, что печенеги скрылись в степях и что князь, не найдя их и считая дальнейшие поиски бесполезными, возвращается назад. Владимира ободрила эта весть, он почувствовал себя лучше прежнего и с нетерпением ожидал сына. Но вдруг 14 июля великому князю сделалось дурно. Он старался не подавать вида, шутил с окружающими, однако ночью ему стало еще хуже...

Утром 15-го Владимир исповедался у отца Илариона, приобщился Святых Тайн, принял таинство елеосвящения и тихо, творя молитву, почил... Великого равноапостольного просветителя Руси не стало!

Иларион, Горисвет и Предслава, опасаясь, что Святополк, узнав о кончине Владимира, еще до прибытия Бориса силою овладеет великокняжеским столом, решили не разглашать сразу печального события и перевезли тело в Киев ночью. Бояре согласились на это решение и велели тиунам и холопам молчать о случившемся. В Киев к митрополиту и попу Анастасу были посланы письма, в которых Иларион просил их приехать в Берестово по случаю неожиданной кончины великого князя. Они поторопились приехать. Митрополит приехал, отслужил панихиду по почившему и вместе с Анастасом вернулся в Киев с тем, чтобы ночью ожидать в Десятинной церкви прибытия тела великого князя. Когда они уехали, Горисвет послал к конюшенному тиуну Якше, чтобы распорядился поставить лошадей, но его не оказалось в Берестове: холопы его сказали, что он отправился в Киев за овсом...

Поздно вечером Предслава призвала к себе четырех отроков. Она вручила им письма к Ярославу и Борису с извещением о кончине отца. Предслава предостерегала отроков, чтобы они никому не говорили, куда и зачем едут...

III

Старый-престарый гуслиар Андрей, которого народ звал вещим и песни и игру которого любила слушать сама Ольга, жил в Берестове в избе, построенной для него по приказанию этой мудрой княгини. Часа три спустя по кончине Владимира святого к Андрею пришел Горисвет и рассказал о случившемся.

— Горе нам, — ответил Андрей, — закатилось солнце красное земли Русской! Кто ж теперь будет править нами, кто сядет на стол великокняжеский?

Горисвет говорил о Борисе.

— Праведный князь Борис, любим он народом, — заметил Андрей, — но чую я, что не он будет на столе киевском. Святополк поднимет руку на братьев своих, и Борису с ним не управиться, если ему не поможет Ярослав.

— И я так думал, старче, — сказал Горисвет. — Положили мы с боярами не разглашать о кончине Владимира, перевезли ночью тело его в Киев, в Десятинную церковь, а тут авось подойдет Борис, а потом и Ярослав, и тогда Святополку уж трудно будет овладеть столом киевским.

— Дай Бог, чтоб так случилось, — ответил Андрей. — Но думается мне, что у Святополка есть свои люди на княжеском дворе и он скоро узнает о кончине Владимира, свет великого князя.

— Как же быть, Андрей?

— Надо скорей известить Бориса и Ярослава.

— Княжна Предслава пошлет к ним гонцов с письмами, лишь бы Святополк не захватил гонцов...

— Старец Григорий теперь в Смоленске, — заговорил Андрей, — я пошлю к нему сына Егория: пусть Григорий известит Ярослава... Другого сына пошлю к Борису. И если Святополк захватит гонцов Предславы, авось доедут мои... Есть у меня тут еще верный человек, пошлю его к князю Глебу...

— Добро сделаешь, старче, — проговорил Горисвет и потом с глубокой грустью добавил: — Много мы с тобой, Андрей, видели на своем веку, много было светлых дней, но были и темные, тяжкие, а Русь все вынесла. И если раньше она так много вынесла, то теперь, когда почивший великий князь просветил ее светом христианским, вынесет она, конечно, бедствия еще горшие... но все же сердце у меня сжимается.

— Время наступает тяжкое, боярин, что и говорить: после лета солнечного темная осень с бурями, но, даст Бог, как ни стары мы с тобой, а доживем до новых светлых дней.

— Дай-то Бог,— вздохнул Горисвет,— а теперь прощай, старче, поеду к княжне Предславе, а гонцов, если можешь, пошли.

После ухода Горисвета Андрей позвал двух сыновей и племянника Ивана и, объяснив им, что случилось, сказал, чтоб они скорее собирались в путь.

Не успели Егорий с Иваном отъехать и версты от Берестова, как увидели всадника в одежде великокняжеского тиуна.

— Кто бы это мог быть? — спросил Егорий, обращаясь к Ивану.

— Кому же быть в самом деле,— отвечал тот, зорко всматриваясь.— Уж не Якша ли? Якша и есть!

— И впрямь Якша. Уж не к Святополку ли едет с вестью о кончине великого князя? Верно, что так, и, наверное, спросит нас, куда и зачем, а свернуть некуда...

— А знаешь что: скажем, что мы едем в Любеч. Старец-то Андрей, отец твой, ведь родом из Любеча, ну и скажем, что он послал нас туда к родным.

— Да пора-то страдная, не поверит.

— Скажем, что брат Андрея, дядя Семен, недомогает и что Андрей послал нас к нему.

— Недомогает... Что ж напрасно о недомогании говорить... Но уж близко мы подъехали, будь по-твоему. Сдерживать коней не годится, иначе он может подумать, что мы от него скрываемся, и не поверит словам нашим.

Они подъехали к Якше, когда тот обернулся и спросил их:

— А вы куда?

— В Любеч, в Любеч, милость твоя Якша.

— В Любеч... Ведомо ли вам, что случилось в Берестове? — заговорил Якша, испытующе смотря на них.

— Неведомо.

— Неведомо? Бояре с Предславой скрывают, но я думаю, что сыну и племяннику Андрея ведомо. От других скрывают, но старец-то Андрей у Предславы и Горисвета в милости всегда был: от него не скрыли!

— Ничего нам неведомо, Якша,— твердо сказал Иван.

А зачем же вы путь в Любеч держите?

— По своим делам... Чего пристал! — сказал нетерпеливо Иван. — Едем по своим делам и в толк не можем взять, чего ты от нас хочешь.

— Ну, успокойся, — ответил Якша. — Ишь какой прыткий! А если верно, что вам ничего неведомо, так знайте, что великий князь Владимир преставился, что Предслава с боярами, со старой лисой Горисветом и с другими скрывают кончину великого князя от народа, потому что сами хотят править землей Русской. Ведомо ли вам все это?

— Вечная память праведнику великому князю Владимиру.

— Вечная память, — сказал Якша. — Но Предславе и Горисвету с боярами не удастся то, что они задумали. По праву старшего стол великокняжеский принадлежит доброму и разумному князю Святополку. Может, и старец Андрей помогать будет Предславе и Горисвету с боярами, может... Но увидите, что не будет по-ихнему. И польский король, тесть Святополков, и папа римский, и кесари помогут Святополку, и если вы впрямь едете в Любеч, разглашайте всем по дороге, что отныне великий князь на Руси, на столе киевском, — Святополк, старший сын. Святополк добр и щедр; если послужите ему, он вознаградит вас, без милости не оставит.

— Это уж его княжеское дело, — ответили Иван с Егорием.

— А зачем вы в Любеч-то едете? — опять спросил Якша.

— Брат старца, — заговорили Иван и Егорий, — Семен в Любече живет, и занемог старец. Ну, Андрей и послал нас к нему.

— А откуда же стало ведомо Андрею, что брат его в Любече занемог? Во сне, что ли, видел?

— Не во сне, — быстро ответил Иван, — а помнишь, на прошлой неделе купцы из Любеча на ладьях в Берестово и Киев проезжали: вот они-то и привезли весточку. Пора-то страдная, сразу отлучиться нельзя было, да и теперь не отлучились бы, но старец Андрей все настаивал, чтоб ехать скорей. А ты, милость твоя Якша, куда путь держишь?

— Правду ли вы мне говорите или нет, не знаю, а я вам правду скажу: еду к великому князю. Здесь неподалеку его стан, хотите — поезжайте со мною.

— Время дорого.

— Ну, как хотите, а если бы послужили ему, он не забыл бы вас. Еду я к нему, но вот и село: надо здесь старика Сороку повидать.

— Кланяемся, — ответили Егорий с Иваном.

Остановившись в селе, у избы Сороки, о котором говорили, что он по-прежнему привержен к вере языческой и занимается волхвованием, Якша вошел к нему в избу. А Ивану с Егорием удалось уехать незамеченными и проехать бором к Вышгороду так, что Святополк остался в стороне. Но за Вышгородом ночью они наскочили на ватагу пьяных людей: это были воины Святополка, которые, загуляв в Вышгороде, не пошли с ним к Киеву, а затем, сказав, что они отправляются догонять Святополка, пошли на деле грабить соседние деревни и села.

— Умирает, а может, уж и умер ваш князь Владимир, — кричали они, нападая на мирных людей. — Теперь на великокняжеском столе будет наш князь Святополк! Подавайте-ка добро ваше, — погулять хотим!

Наткнувшись на эту ватагу, Егорий с Иваном насилу отделались от них, да и то благодаря находчивости Ивана, уверившего пьяных, что они с Егорием посланы Святополком и Якшей в Любеч и Смоленск.

— Но и горько же будет земле Русской, — сказал Егорий, когда они порядком отъехали, — если Святополк овладеет великокняжеским столом!

— Овладеть, может, и овладеет: некому теперь в Киеве постоять за великокняжеский стол, — ответил Иван. — Старец Андрей, отец твой, сказал, что, может, и пошлет нам Господь кару и будет Святополк править землей, но милость Господня велика, не допустит он гибели Руси, и скоро правлению Святополка придет конец. Якша говорил, что Святополку помогут и ляшский князь, и папа римский, и кесари, но не повернулся его язык сказать, что Бог поможет! Бог не поможет Святополку, а Бог сильнее всех. Бог поможет Ярославу и Глебу, для которых мы везем вести. Бог поможет и нам свершить благополучно путь!..

До Любеча они ехали трое суток. Ехали быстро, неустойчиво, делая небольшие остановки, чтобы только дать отдых лошадям.

В Любече гонцы отдохнули несколько часов, зашли к своему дяде старцу Семену и к настоятелю одной из церквей любечских отцу Никодиму, к которому их напра-

вил Иларион, а также к родителям Антония Печерского, жившим в этом городе. Они советовались с отцом Никодимом, говорить ли людям о кончине великого князя, рассказав о случившемся с ними на дороге и об опасности, какая грозит со стороны Святополка.

— Пусть так, — ответил отец Никодим, — а все же вы пока не разглашайте о кончине великого князя. Придет время — люди узнают. А то вы скажете, что великий князь преставился и что Святополк овладел столом, а может быть, Господь Бог не допустит этого, — к чему напрасно смущать людей? Если же вы скажете, что великий князь преставился и что неизвестно, кому достанется стол великокняжеский, то могут пойти среди людей разные кривотолки, а люди разбойные, узнав, что нет на столе великого князя, осмелеют и начнут смущать народ.

Того же мнения был и старец Семен, а потому в пути до Смоленска Егорий и Иван хранили тайну, а на расспросы, куда и зачем они едут, отвечали, что держат путь в Смоленск по делам торговым.

Из Любеча они выехали под вечер и ехали берегом реки. Было около полуночи, когда они слышали крики. Оказалось, что на византийских купцов, возвращавшихся из Смоленска на Киев в Царьград, напали разбойники. Егорий с Иваном, бросившись на разбойников неожиданно для них с тылу, помогли обратить их в бегство. Когда разбойники бежали, купцы, кланяясь Егорию с Иваном и благодаря их, спросили:

— Кто вы такие, добрые витязи, и куда путь держите? Те сказали.

Старший из купцов велел принести Егорию и Ивану подарки, но они стали отказываться. Купцы, однако, стояли на своем и просили не обижать их отказом.

— Если так, — наконец сказал Иван, — то мы возьмем от вас только бусы для наших жен. А вы лучше, прибыв в Любеч, зайдите к отцу Никодиму и пожертвуйте на храм Божий.

— Пусть будет по-вашему, — ответили купцы, — но, не покормив, мы уж вас ни за что не отпустим.

— За это спасибо: есть хочется, да и отдохнем с вами немного.

С рассветом они тронулись дальше. День и ночь прошли для них благополучно, но на второй день пошел проливной дождь. Почву размыло, и ноги лошадей вязли в грязи. Местами приходилось сходить с лошадей и вести

их за повод. Но все же ночью на седьмые сутки они поспели к Смоленску. Въехав на один из холмов, окружавших город, Егорий сказал:

— Вон видишь, брат Иван, Смоленск-то! Смотри, какой он при месяце красивый.

— Красивый, что и говорить, но не краше Киева, да и Днепру здешнему куда до нашего! — ответил Иван.

— Сказывают, что и Новгород велик и красив, и река там, говорят, тоже большая, и идет она в большое озеро Нево, а озеро это прямо к морю Варяжскому подходит. Старец-то Григорий оттуда родом. Сказывал, что зимы там лютые, но и люди крепкие и отважные: ни холода, ни моря не боятся, а море-то Варяжское сырое да сердитое... Хотел бы я там побывать, — проговорил Егорий.

— Ну, что ж, поезжай в Новгород со старцем Григорием.

— Сам знаешь, домой надо возвращаться! Не будь пора страдная, не пустил бы тебя одного в Ростов: там мера — обычая звериного, Бога не знает...

— Не тужи, Егорий, Бог поможет, доеду, а может быть, Григорий даст мне кого-нибудь в подмогу. А тебе надо в Смоленске попытать, не поедут ли купцы на ладьях в Киев: по течению скоро доедешь.

— Дело говоришь...

— Бусы-то свези моей жене и передай с поклоном. Скажи, что до Смоленска вместе доехали счастливо, даст Бог, счастливо доеду и до Ростова и вернусь...

Они въезжали в город. Собаки подняли лай.

— Что за люди? — окрикнул их ночной сторож.

— К старцу Григорию-гусельщику, — отвечали они.

— А вы-то кто такие да откуда?

— Из-под Киева, из села Берестова, от старца Андрея-гусельщика к старцу Григорию.

— Старец Григорий у боярина Стрелы, да теперь ночь, чего беспокоить боярина ночью!

— Ну что ж, мы подождем тут с тобой, да скоро и утро наступит.

Действительно, утренняя заря уже загоралась.

— Да, утро близко, — сказал сторож, — поведу я вас к терему боярскому, там подождем, авось кто-либо выйдет. Так говорите, что из-под Киева. Долго ли в пути были?

— Семь суток.

— Больно уж скоро вы ехали!

— Ехали скоро — это верно! Сам знаешь, пора-то страдная, — ответил Иван, — дома надо быть, а между тем его (он указал на Егория) отец, а мой дядя, Андрей-гусельщик, послал нас по делу важному и спешному к старцу Григорию. Вот мы и торопились: и весть-то нужно скорей доставить, да и домой скорей возвращаться...

Уже рассветало, когда сторож подвел их к боярскому терему. На дворе терема залаяли собаки. Сторож из боярских холопов подошел к калитке и через оконце спросил:

— Кто там?

— Да вот два молодца, сказывают, что из-под Киева к старцу Григорию приехали, — ответил ночной сторож.

— Из Берестова, от старца Андеря-гусельщика к старцу Григорию, — сказали Егор и Иван.

Сторож отворил калитку и, оглянув прибывших, повел их в свою сторожку, и они, утомленные, присев на лавки, сейчас же заснули. Но недолго пришлось им отдыхать: через час, не более, их разбудил старец Григорий.

Они низко поклонились старику, а он обнял и поцеловал их:

— Что вас, молодцы, сюда привело? Какие вести привезли? Что старец Андрей?

— Старец Андрей благодарит Бога за дарованный ему долгий век, — отвечали они, — шлет тебе поклон и велел сказать тебе, что великий князь Владимир свет Святославович преставился...

— Вечная ему память, вечная память великому князю праведному! — произнес Григорий, осеняя себя крестным знамением. — Когда же преставился великий князь?..

— Поутру семь суток тому назад...

И они рассказали Григорию, как в Киеве захотели скрыть смерть Владимира, как поступила Предслава и как старец Андрей, обсудив все с Горисветом, послал одного из сыновей к Борису.

— А вас ко мне? — спросил Григорий.

— Меня, — ответил Егорий, — к тебе, чтобы ты дал знать Ярославу, а его, — указал он на Ивана, — в Ростов к Глебу...

— Подождите тут, — сказал Григорий, — я схожу к боярину Стреле. Дело важное.

— Должны мы тебе сказать еще, старче, — начал

Иван, — что неподалеку от Киева встретили мы тиуна Якшу. Допытывал он нас, куда и почто мы едем. Мы не сказали ему доподлинно, а ответили, что едем к дяде Семену в Любеч, что посланы к нему Андреем проведать о здоровье его. А Якша и поведай нам, что он едет к Святополку, что Святополк идет к Киеву... А как обогнули мы Вышгород, встретили пьяных воинов Святополковых, которые сказывали, что Святополк пошел уже к Киеву...

— Горе земле будет от Святополка, — ответил Григорий, — горе. Вы тут теперь подождите, сейчас позовут вас.

В боярских покоях, куда пригласили гонцов, они подкрепились и отдохнули. В полдень их позвали к боярину Стреле.

— Весть горькую привезли вы, — сказал он, — старец Григорий сам поедет сегодня же в Новгород к князю Ярославу, а вы оба поезжайте в Ростов к Глебу.

Егорий ответил, что ему надо возвращаться в Берестово и что в Ростов пойдет один Иван.

— Поезжай, — сказал Стрела, — кланяйся старцу Андрею. Тебе, Иван, я дам человека, чтобы указал дорогу в Ростов, а сам поеду к нашему князю Станиславу повестить ему о кончине великого князя. Князю неможется. Хворый он у нас и слабый и в последнее время совсем изболелся. Как бы его эта весть не добила, а не сказать ему нельзя: от князя таить невозможно...

В тот же день Иван отправился с одним из людей Стрелы в Ростов к князю Глебу. Егорий поплыл на купеческих ладьях обратно в Киев, а Григорий поехал в Новгород.

Весть о кончине Владимира потрясла больного Станислава, и он через несколько дней скончался.

IV

Мы оставили Якшу, когда он входил в избу Сороки. Хозяина, однако, не оказалось дома.

— Где же муж твой? — спросил Якша у старухи, жены Сороки.

Та, низко кланяясь, ответила:

— У князя Святополка.

— У князя! Не у князя, а у великого князя, — поправил се Якша. — А Святополк-то где?

— Не знаю сама-то, не знаю. Только заря занялась, как разбудили нас люди Святополковы, мужа позвали к нему... Сейчас сын-то наш придет и укажет тебе дорогу к князю... Да вот и он, легок на помине,— сказала старуха.

Вошел парень лет двадцати пяти, и Якша велел проводить его к Святополку.

Святополк расположился верстах в пяти от Киева, в лесу. Сюда и привел Якшу сын Сороки. Якша торжественно объявил Святополку о кончине великого князя и о тайных приготовлениях к его похоронам в Десятинной церкви.

— Что же делать? — ответил раздумчиво Святополк. Он кликнул отрока и велел позвать к себе в шатер своих ближайших бояр и латинского попа, который был у него в стане.

Латинский поп Фридрих, худой и высокий, родом лях, сложив руки точно для молитвы и возведя глаза к небу, сказал:

— Тебе, княже, по праву старшего принадлежит стол киевский! Ты знаешь от бискупа Рейнберна, как благоволит к тебе папа, и, конечно, он не оставит тебя без королевского титула. Но ты спрашиваешь: что теперь делать? Против тебя ведутся козни. Младшие хотят быть выше старшего! Люди властолюбивые хотят, чтобы великий князь был игрушкой в их руках, и, зная, что ты никому не позволишь приказывать себе, хотят оттолкнуть от тебя народ, который любит тебя. Итак, что же делать? Папа римский за тебя, а за кого он, тот будет победителем. По моему разумению, тебе следует поступить так. Сегодня ночью, как сказал почтенный и преданный тебе слуга твой Якша, тело Владимира будет поставлено в Десятинную церковь. Не надо мешать этому! Оставим Горисвету и Илариону распоряжаться сегодня, как они хотят, завтра же ранним утром ты с дружиной входи смело в Киев, иди в великокняжеский терем, принадлежащий тебе по праву, и объяви народу, что люди властолюбивые хотят скрыть кончину Владимира, ибо сами желают править землей, но ты им этого не дал сделать... А ты, слуга верный и преданный, — обратился латинянин к Якше, — вернись в Киев и предведомо народ о замыслах Горисвета и Илариона. Да и у вас, бояре, есть в Киеве родственники и знакомые: действуйте через них, подготавливайте народ, распространяйте слухи о доброте, мудрости и щедрости великого князя Свято-

полка, оклеветанного врагами его перед киевлянами. Прав ли я, верно ли я говорю?

— Прав, верно, — ответили бояре.

— Так и поступим, — воскликнул Святополк, — а теперь, отроки, дайте браги и меду! Выпей с нами и ты, Якша, слуга мой верный и преданный! В Киев еще успеешь. Ты будешь теперь боярином моим! Выпьем за боярина Якшу! Позвать сюда волынщиков и гусельщиков!

— Мой совет, княже: не зови их, — сказал латинянин. — Если бы народ узнал о музыке в стане твоём, когда умер твой отец, он осудил бы тебя.

— Ты прав, мудрый Фридрих, — ответил Святополк.

К вечеру Якша вернулся в Берестово. Он сказал, что ездил в Киев за овсом.

В полночь бояре осторожно спустили на веревках из верхних клеток обернутое в ковер тело Владимира и поставили на сани *. Тихо тронулось печальное шествие к Киеву. Впереди шел с крестом Иларион. Певчих не было. За гробом шли Предслава, Горисвет, бояре и отроки. Во втором часу шествие подошло к Десятинной церкви, у которой было встречено митрополитом и Анастасом. В церкви была совершена лития.

Уже с вечера ходили по Киеву слухи, распущенные приверженцами Святополка, о кончине Владимира, о том, что смерть его скрывают и что ночью тело его будет поставлено в Десятинную церковь. К утру эти слухи охватили весь Киев, и народ толпами стекался в Десятинную церковь, чтобы поклониться телу равноапостольного. Недвижно лежал Владимир посреди церкви на возвышении, покрытом ковром. Лицо его дышало святостью. «Знатные плакали, — говорит летописец, — как по заступнике земли своей; убогие — как по заступнику, кормителе своем...»

В 7 часов утра приехал в Киев Святополк с дружиною и направился прямо к великокняжескому терему.

— Чтоб не подумали люди, что я корысти ради хочу овладеть великокняжеским столом, я раздам бедным все великокняжеское добро, — сказал он и велел открыть столы для бедных, а сам пошел в гридницу, где собрались латинянин Фридрих и любимцы Святополка, чтобы посоветоваться, как предотвратить козни братьев.

* С а н я м и в то время назывались не только сани нашего времени (розвальни), но и возки.

— Как твой тесть поступил со своими братьями, как Болеслав чешский со своими, так и тебе надлежит. Твое право на великокняжеский стол, и ты должен отстаивать это право, — сказал латинянин. — Скажи, Лешко, — обратился он к боярину, родом ляху, — как поступил Болеслав ляшский.

— Он убил братьев своих, — ответил Лешко.

— Таким же образом, — добавил латинянин, — поступили и Болеслав чешский, которого зовут Рыжим, и папа не осудил ни Болеслава польского, ни Болеслава чешского, ибо они отстаивали свое право.

— Я подумаю, — сказал Святополк, — а теперь поеду с тобой, Фридрих, к митрополиту и в Вышгород. Вас же, Якша и Черный, с дружиною и воинами оставляю править в Киеве. Люди боятся войны, они не хотят споров между братьями, и они признают меня. Но жду я беды из Новгорода. С Борисом и Глебом хлопот много не будет, но Ярослав — хитер, в книжной мудрости искусен.

— Ярослав не опасен теперь: у него вражда с новгородцами. Так писал оттуда латинский патер бискупу Рейнберну. Поговорим с бискупом, он решит, как быть с Ярославом, — ответил латинянин.

Святополк ничего не ответил. Он думал, по-видимому, о чем-то другом. Немного погодя он медленно проговорил:

— Подождем и с Борисом, и с Глебом. Я отправлю сейчас к Борису письмо... Враги мои уж, вероятно, известили о кончине отца. Я напишу ему, что занял великокняжеский стол, как принадлежащий мне по праву... и добавлю, что хочу жить с ним по-братски, в любви и дружбе. Он поверит. Я объявлю об этом народу, который любит его, и они успокоятся за него... Глебу я напишу, что Владимир болен и зовет его. Узнав о кончине Владимира, Ярослав и Глеб могут соединиться, а потому Глеба надо позвать поскорее сюда... Сейчас я отправлюсь к митрополиту и о том, что услышу от него, скажу вам...

От митрополита Михаила-грека Святополк и Фридрих вернулись в хорошем настроении духа.

— Митрополит, — заявил Святополк, — желает мира и признал вполне естественным, что я, как старший, добиваюсь великокняжеского стола. Он и Анастас слышали, что Владимир желал завещать престол Борису, но

не успел этого сделать... Впрочем, они сами думают, что Борис не будет добиваться великокняжеского стола, узнав, что я занял его.

— А ты не верь их сладким речам, княже, — сказал Якша.

— Не верь, — поддержали и другие.

— Увидим, — ответил Святополк. — Итак, в Вышгород, а на вас, Якша и Черный, надежда моя, что вы успокоите людей, если их будут смущать враги мои!

V

Поздней ночью приехал Святополк в Вышгород. На княжьем дворе все уже спали, кроме нескольких холопов, ждавших возвращения князя и бискупа Рейнберна. О княгине доложили князю, что она занемогла и легла почивать.

Вышгородский княжеский терем был деревянный, но прочной и красивой постройки. Этот терем был выстроен святой Ольгой: княгиня более других городов любила Вышгород. Теперь здесь на всем лежал польско-литовский отпечаток, слышалась ляшская речь.

В те далекие времена между русским и ляшским языком разница была небольшая, да и в обычаях русских и ляхов, этих двух столь родственных народов, различия большого не замечалось, но уже тогда обозначилась разница в характерах этих двух народов, долго потом боровшихся за главенство в славянском мире. Уже и тогда, хотя это было до формального разделения церквей (1054 г.), римское духовенство смотрело на папу не столько как на представителя духовной власти, сколько как на земного властелина и, утверждая веру по латинскому обряду, подчиняло народы светской власти папы, стараясь вносить в жизнь этих народов римско-германские взгляды. Германский император, действовавший заодно с папой, выставлялся католическим духовенством как глава всех государей.

Лишь только Святополк вошел к себе в опочивальню, как к нему явился Рейнберн в сопровождении приехавшего вместе со Святополком Фридриха.

— Приветствую тебя, великий князь, — сказал Рейнберн, полный человек средних лет с гладковыбритым лицом и с лукавыми прищуренными глазами.

— Прошу благословения твоего, — ответил Святополк.

— Я от имени папы римского благословляю тебя. Всего два дня тому назад гонец привез мне из Кракова присланное из Рима письмо: в нем папа шлет тебе привет и выражает уверенность, что ты достигнешь того, чего достоин. Папа, как видишь, не ошибся! Ты уже великий князь! Благодарю папу: он помог тебе мудрыми советами, он поддержит тебя и в дальнейшей борьбе с братьями, которые, конечно, будут стараться вырвать у тебя великокняжеский стол. О этот новгородец Ярослав! Положим, его же люди теперь против него, но все же бойся его! Итак, папа во многом помог тебе и еще поможет, когда это потребуется, но не забудь же своих обещаний. Теперь ты в долгу у папы!

— Я помню, — ответил Святополк, и по лицу его промелькнуло едва заметное недовольство. — Я умею держать свое слово.

— Без папы, — продолжал между тем хитрый Рейнберн, — ты никогда не достиг бы великокняжеского стола, хотя он и принадлежит тебе по праву. Кстати, что сказал тебе ваш митрополит?

Святополк передал Рейнберну разговор свой с митрополитом и Анастасом, сообщил, что они относятся вполне сочувственно к его исканиям великокняжеского стола.

— Но помни, князь, — сказал Рейнберн, — что и митрополит и Анастас на твоей стороне, пока за тобой сила: они всегда будут на стороне того, в чьих руках власть. Пошатнется твое положение — и они отвернутся от тебя, да и то помни, что они греки, а русское духовенство не на твоей стороне: оно на стороне Ярослава. Ты видел Илариона?

— Нет, не видел, и, конечно, он не станет искать встречи со мной...

— Все-таки ты должен повидаться и с ним, и с Горисветом, и Предславой. От них в Киеве все зло. Братья твои рассеяны, с ними легко будет справиться, но за Предславу, Горисвета и Илариона постоят киевляне. Помни это... Ну, да потолкуем еще завтра: ты, я вижу, устал с дороги...

На следующий день утром в гриднице собрались Святополк, его жена Клотильда, Рейнберн и Фридрих. На губах у Клотильды, женщины высокого роста, с умным

взглядом голубых глаз, змеилась презрительно-недовольная усмешка.

Святополк сидел понутив голову и пил пиво из большого ковша.

— Тут дело первой важности, а он не может обойтись без вина и пива! Его, старшего брата, лишают законного права, а меня и детей хотят лишить всего... Что-ж я, польская княжна, для того шла за тебя замуж, чтобы быть под властью братьев твоих? Не потому ли и выдал меня отец мой за тебя, что ты уверял, что будешь великим князем? Отец мой скоро будет уж не князем, а королем, а его дочь и внуки сидят на скудном уделе! Хорош муж!..

Святополк ничего не ответил, лишь еще ниже опустил голову.

— Слаб ты духом, князь, — заговорил Рейнберн. — Клотильда женщина, а мужественнее тебя, и мужественнее потому, что сильна ее вера в могущество папы и друга его императора Генриха II. На чьей стороне папа, тот и будет победителем, а кроме папы, за тебя и император, и тесть твой, князь польский, а народ всегда идет за победителем.

Тогда встал Святополк. На побледневшем лице его менялись злоба и тяжелая грусть. Он заговорил взволнованно:

— В недостатке мужества меня еще никто не упрекал и, думаю, никогда не упрекнет. Много ли было людей мужественнее и отважнее деда моего Святослава, а я вышел в него...

Святополк прошелся по гриднице.

— Да, в недостатке мужества не меня упрекать. Что ж? Посмотрим-посмотрим, одолеет ли меня хитрец новгородский, а что касается Станислава Смоленского, Святослава Древлянского, Бориса и Глеба...

— Первым делом, — перебил Рейнберн, — надо избавиться от двух последних.

— Ты знаешь, как поступили с братьями тесть твой Болеслав польский и Болеслав чешский... — вставила Клотильда, — и ты должен поступить так.

Святополк снова сел и задумался. Присутствовавшие следили за ним с беспокойством.

— Будь по-вашему, — заговорил он наконец. — Отроки, позвать сюда бояр Путятю и Горясера и боярцев Тольца, Еловита и Лешка.

— Привержены ли вы ко мне всем сердцем? — обратился к ним Святополк, когда они вошли.

— Можем головы свои сложить за тебя, — ответили бояре.

— Ты, Путята с Тольцем, Еловитом и Лешком идите на Альту к Борису, а ты, Горясер, взяв своих людей, держи путь на Муром к Глебу. Не говорите никому о том, что я приказываю вам сделать... Уберите братьев моих Бориса и Глеба...

Бояре и боярцы вздрогнули, но ни слова не проронили. Молча поклонились они и вышли из гридницы.

— Не медлите, — крикнул им вдогонку Святополк, — поезжайте сегодня же! — И, обращаясь затем к Рейнберну, жене и Фридриху, спросил: — Довольны ли теперь?

— Такого мужа я люблю, — ответила Клотильда. — Я впрочем, и не сомневалась в тебе!

— Помни, что папа и тесть твой Болеслав поддержат тебя, — сказал Рейнберн, возводя очи к небу.

.

VI

На следующий день в Десятинной церкви состоялось отпевание и погребение тела почившего великого князя. Несколько дней спустя в великокняжеский терем переселились из Вышгорода жена Святополка Клотильда, опекун Рейнберн, патер Фридрих, все бояре Святополковы и челядь. Однако вскоре Клотильда с опекуном Рейнберном и ляшской челядью уехала в Краков к своему отцу Болеславу. С Клотильдой уезжал и Рейнберн, Фридрих же должен был остаться при Святополке для руководства им и сообщения в Краков о ходе дел, причем в случае надобности предполагалось выслать Святополку подмогу из Кракова.

Немного спустя после этого отъезда к великому князю был позван Якша.

— Дивлюсь, — начал Святополк, — что нет еще вестей, особенно от Путаты. От Горясера, правда, пока еще и не может быть: до Глеба далеко. Но все-таки... Боюсь, как бы люди, которые любят этих князей, узнав об убийстве их, не восстали против меня...

— Так зачем же говорить людям, — ответил Якша, — что ты приказал убить их. Будем говорить, что мы не

знаем, кто их убил, что ты за всех отвечать не можешь.

— Мне кажется, — как бы не расслышав слов Якши, заговорил Святополк, — мне кажется, что Бориса и Глеба можно было оставить. Они не опасны...

Затем князь в раздумье проговорил:

— Опаснее Ярослав. Надо подумать о нем: он хитер... Что скажут Судислав Псковский, Брячислав Полоцкий, Станислав Смоленский и Святослав Древлянский? Мстислав опасен... Правда, он далеко; он на одном конце, а Ярослав на другом, и где он — никому точно не известно. Ему с Ярославом не перекликнуться. Станислав хворает, есть даже слух, что он умер. Судислав и Брячислав Ярослава не любят. Я уверен, что они не помогут ему. Мог бы пойти ему на помощь Святослав, да он не из смелых.

— Главное, — перебил Якша, — чтобы в Киеве не было козней против нас и чтобы киевская дружина, которая пошла с Борисом на печенегов, не восстала против тебя. А раз она останется без Бориса, то что же ей делать, как не примкнуть к тебе? Ты должен, конечно, осыпать ее милостями. Вот только старый волк Горисвет дичится нас и вместе с Предславой и Иларионом мутят людей.

— Подожди, справлюсь я и с этим осиным гнездом — Берестовым. Пока же нельзя его трогать. Пускай говорят: вот, мол, как великодушен Святополк, коли даже своих явных врагов не трогает! Но придет время — и я рассчитаюсь с ними. А что касается жены моей Клотильды и Рейнберна, то это очень хорошо, что они уехали. Люди косо смотрят на Рейнберна и на ляшскую челядь. Как ты думаешь, Якша, не распустить ли слух, что я развожусь с Клотильдой?

— Нет, — ответил, подумав, Якша, — не нужно. Если бы этот слух дошел до твоего тестя, то у него явилось бы подозрение, что ты и впрямь хочешь отделаться от нее и от него, а ведь он тебе нужен: без борьбы с Ярославом дело не обойдется.

— Да, но ведь он может и не узнать.

— Слухом земля полнится, да и Фридрих тут при тебе. Разве тебе не известно, что он все сообщает в Краков?

— Пожалуй... Да, Фридрих стоит над моей душой, но придет время, когда я и от него, и от Рейнберна, и от Болеслава избавлюсь! Но вот что, Якша, я слышал, что ты оттягал у кого-то огород.

— Это тебе, княже, вероятно, на меня Фридрих наклеветал. Он хочет оттолкнуть тебя от меня...

— Может быть... Впрочем, это твое личное дело. Можешь делать что тебе угодно, но теперь, пока мы еще не укрепились, надо быть осторожным. Отдай этот огород, если даже он по справедливости и твой. Я не оставлю тебя без вознаграждения теперь же... Потом, когда мы укрепимся, бери все у кого захочешь.

— Будь по-твоему, княже, — ответил Якша, — хоть огород и по справедливости мой: пусть возьмут его, но ты меня, скудного, не оставь без вознаграждения за это лишение...

VII

Был знойный июльский день. Краем дремучего бора медленно двигалась небольшая дружина; впереди ехали два всадника. Один из них — широкоплечий рыжий детина с квадратным загорелым лицом и короткой бородой — обтер красным платком лицо и обратился к своему товарищу, худощавому всаднику:

— Да, Еловит, скоро наше дело покончится. Получим мы награду от великого князя и погуляем с тобой знатно. Давно уже жаждет душа моя настоящего веселья.

— И я рад погулять, Путята, — отвечал сухощавый с заметной грустью, — да работа мне в этот раз не по сердцу. И сам не разберу, что со мной: Бориса ли мне вдруг жаль стало, Святополку ли служить не по сердцу, просто ли неможется мне... Хоть и стыдно признаться, но уж открою тебе душу по-товарищески. Не первое это будет наше с тобой дело, а в первый раз смущается душа моя. И все мне на ум приходят речи попа Еремея о грехе да о душе да о будущей муке разбойников...

Путята захохотал:

— Знал бы князь, какие у тебя мысли, не выбрал бы себе в слуги для такого важного дела эдакую бабу слюнявую. Не наказание Божие ждет нас, а награда великого князя. А Борис ли, Ярослав подвернулся под руку — не все ли равно? Придет очередь Святополка — и его в землю отправим и плакать и вздыхать не будем. Однако, — добавил он после минуты молчания, — пора нам поспешать, как бы кто не упредил нас.

— И мне, брат Путята, подозрительны показались те два молодца, что повстречались на рассвете, хотя они

и показывали грамоту, будто от князя Святополка. Да куда бы он посылал их по нашему пути?

— Да, жаль, что пропустили мы их, — хмурясь, промолвил Путята. — Надо поспешать.

До их цели оставалось часа два езды.

На высоком берегу реки Альты шумела и волновалась княжеская дружина. Люди спешно разбирали шатры, складывали походное имущество на возы, седлали коней. Дружина готовилась к спешному отъезду. Лишь несколько шатров оставались нетронутыми. У одного из них стоял высокий красивый юноша. Глаза его грустно смотрели на шумную толпу, окружавшую его. Из толпы вышел высокий старик в богатой боярской одежде.

— Выслушай, княже, последнюю нашу речь, — проговорил он. — Не видишь ли ты перста Божия в том, что мы вовремя предуведомлены о грозящей тебе опасности, хотя гонцам и трудно было опередить посланных Святополком. Ты был любимым сыном Владимира, великого князя нашего, и тебе, надежде и любимцу народа, сулил он передать престол свой. Помни это. Справиться с посланными Святополка — пустая задача. Скажи слово — и ото всей их дружины следа не останется. Надо будет — все мы ляжем на этом поле, а тебя сохраним для Руси...

— Благодарствую, бояре и ратники, за любовь и верность вашу, — отвечал Борис. — Но не для борьбы со своими братьями, не для пролития родной крови был я главою вашей дружины. Шел я с радостью на печенегов и для защиты родного края от басурман не жалел ничьей жизни... Теперь же дело другое. Не могу я идти с мечом против брата. Да будет воля Господня! Идите, друзья мои! Я остаюсь — и да исполнится судьба моя!..

Толпа бояр опять зашумела, заволновалась. Слышны были разные крики: одни не хотели покидать Бориса, другие говорили, что позорно сдаваться Святополковым слугам; были и такие, что вслух возмущались слабостью Бориса, находя его речи подобающими монаху, но не витязю.

Тем временем слуги спешно собрали походное добро боярское, и после трогательного, грустного прощания почти вся дружина двинулась на север...

Остался Борис с несколькими преданнейшими отроками. Ночь надвигалась. Одна за другой на темно-синем небе загорались бледным светом звезды. Было тихо. Непонятная грусть чувствовалась в природе, и такая же грусть легла на сердца преданных отроков. Они чувствовали, что эта ночь была последней в жизни их любимого князя и, возможно, в их собственной.

Тихо сидели они у шатров, прислушиваясь к каким-то звукам, похожим не то на конский топот, не то на шум деревьев. Разговоров не было слышно, хотя никто не спал. Всякому в эти минуты вспоминалось самое дорогое. Князь Борис один не думал о прошлом: он молился, молился за душу горячо любимого отца; молился о ниспослании себе силы и твердости для перенесения без ропота всего предназначенного ему волей Господней...

Вдруг молитва его была прервана. Он услышал тихий стон, легкий звук оружия, осторожный шепот. Прибывшие могли быть только слугами Святополковыми. Молодой князь это знал, но не испугался. Он продолжал молиться громко, прося у Господа награды небесной для своих верных отроков. В это время у входа в его шатер показались две тени. Вот протянулась рука, чтобы отдернуть полог шатра, но другая тень схватила протянутую руку и отдернула ее.

— Путята! — прошептал чей-то испуганный, взволнованный голос. — Путята, остановись, послушай, за кого он молится!

— Помилуй, Господи, и сжался над омраченной душою брата моего Святополка, — явственно доносилось из шатра, — и над душами рабов его. Прости им, Господи, и пошли им в земной жизни искупить грех их; не ввергни их в вечную геенну огненную!

— Нет, Путята, я не могу, — прошептал опять взволнованный голос, и обе тени тихо отошли.

Месяц своим кротким светом, казалось, хотел влить в души людей мир и тишину; из шатра доносилось пение псалма Давида. И голос поющего был так трогателен, что даже сердца этих двух людей на время смягчились. Время шло, убийцы сидели не двигаясь.

Но вот пение смолкло, огонь в шатре погас, месяц в это же время зашел за тучу. Воцарился мрак и завладел своими слугами. Убийцы бросились к шатру. Откинув его полы, они устремились к постели князя. Путята занес

кинжал, но вдруг между лежащим князем и Путятою появился другой человек. Кинжал попал прямо в его грудь, и защитник Бориса упал у его ложа.

— Георгий, это ты, верный друг мой? — воскликнул Борис и тотчас же упал от другого удара кинжала.

Убийцы зажгли огонь. Дрожащий пламень светильника осветил два трупа. На полу лежал молодой черноволосый воин, преданнейший отрок Бориса Георгий Угрин, а на постели навзничь — сам князь.

— Ты прав, Еловит, — проговорил Путята. — Незадача нам с этим делом. Уж моя ли рука не верна! С самого раннего детства меня всегда хвалили за меткость руки; никто лучше меня не убивал кур да поросят. Когда дошло время до людишек, то и они после первого моего удара дух испускали. А тут посмотри: ведь князь-то жив.

— И впрямь жив, — боязливо и вместе радостно ответил Еловит. — Знаешь, Путята, не добивай его. Отвезем его к великому князю, пусть уж он сам рассудит; может, еще и смягчится его сердце, и не захочет он брать Каинова греха на душу.

— Ну что ж, завернем его во что-нибудь да и в обратный путь.

Еловит стал торопливо искать, во что бы завернуть князя. Одеяло было все залито кровью. Еловит оторвал часть холста, из которого сделан был шатер, и бережно завернул Бориса. Путята между тем обшаривал шатер, все найденные драгоценные вещи прятал в карман. Уходя, он заметил на темной шее убитого отрока что-то блестящее.

— Золотая гривна, — пробормотал он, — вот бы и забыл. — Он дернул за кожаный ремень, в который была продета гривна, но ремень не рвался и через голову не снимался. Сильным взмахом кинжала отделил Путята голову от туловища, и гривна с ремешком осталась у него в руках.

— Ну, мое дело покончено, — вытирая забрызганные кровью руки и лицо, сказал Путята, — теперь едем.

Всю дорогу Еловит заботливо оберегал раненого, но старания его оказались напрасны: Святополк, узнав о том, что брат его еще жив, немедленно приказал своим воинам добить его, что и было исполнено. Убив Бориса, Святополк приказал убить верных его отроков. Из их числа только Моисею Угрина, благодаря ночной тьме, удалось счастливо избежать смерти.

VIII

Было раннее утро последнего июльского дня. Туман еще висел над рекою Волховом, хотя солнце уже золотило верхушки новгородских церквей. В это время к красивому боярскому деревянному терему, стоявшему почти на самом берегу речки, подошел крепкий и рослый старик с гусями за плечами, с сумкой на боку и длинным посохом. Собаки подняли лай, но старик ласково заговорил с ними, и собаки, завиляв хвостами, утихли.

К старику подошел один из холопов:

— А, это ты, Григорий, — проговорил он. — Откуда так рано?

— Далече был, издалече иду, принес вести важные, — ответил гусляр. — А боярин спит еще?

— Боярин спит, боярыня тоже, а боярышни только что вышли птицу кормить.

— Так веди меня к ним.

Боярышни с радостью бросились к Григорию:

— Здравствуй, старик... Здравствуй, Григорий!

— Здравствуйте, боярышни. Родители еще почивают?

— Почивают. Ты, пока они почивают, сыграл бы нам на гусях да спел.

— Теперь не до игры и не до песен. Сходил бы кто в хоромы да приказал поскорей доложить боярину о моем приходе. Больно уж весть принес важную...

Одна из сестер пошла в терем, а остальные стали спрашивать старика, какую такую важную весть он принес.

— Великий князь Владимир Красное Солнышко представился, — отвечал он, — и сидит теперь в Киеве на великом столе Святополк...

Вскоре в одном из окон терема показалась голова боярина Скалы, того самого, которого Ярослав посылал в Киев к отцу с поздравлениями на Светлый праздник.

— Старче Григорий, добро пожаловать! — крикнул он приветливым голосом.

Войдя в хоромы и поздоровавшись с боярином и боярыней, Григорий сказал им:

— Ведомо ли вам, что закатилось Солнце Красное земли Русской, что не стало великого князя Владимира свет Святославовича?

— С нами Бог! — ответили испуганно враз боярин с боярыней.

— Да верно ли ты говоришь? — продолжал Скала. — Были ведь вести у нашего князя Ярослава от княгини Предславы, да и у меня от Илариона, что здоровье великого князя поправляется...

— Поправлялось, это правда, — ответил Григорий, но потом сразу великий князь занемог, и утром пятнадцатого июля Господь Бог призвал его к себе. Кому быть на великокняжеском столе в Киеве? Не Святополку же, предавшемуся ляхам и латинству! Борис и Глеб — не от мира сего. Им не совладать с хищным зверем Святополком. Так кому же постоять за людей, за землю Русскую, как не Ярославу?!

— И я так думаю, — ответил Скала. — Кроме Ярослава, некому. Но у нас тут, в Новгороде, время трудное. Да что долго говорить, поедем лучше к князю...

— Да верно ли ты говоришь, старик? — спросил князь, когда Григорий сказал ему о кончине великого князя.

— Как перед Богом. Да скоро, верно, и гонцы от Предславы будут у тебя, если только их не задержал в пути Святополк.

Ярослав поник головой, на глазах блеснули слезы, а на его оливковом лице, обрамленном черной как смоль бородой, отразилась глубокая дума.

— Со святыми упокой душу великого и праведного отца моего! — полагая крестное знамение, в тихой задумчивости проговорил он. — Виноват я перед ним, огорчал его, хоть и помимо своей воли. Говорят, что по гордыне я хотел отложиться с новгородской землей, но видит Бог, я хотел лишь отстоять землю новгородскую, независимость ее, опасаясь Святополка. И вот он на киевском великокняжеском столе! Он сгубит землю святорусскую, продаст веру греческую!

Ярослав приказал позвать на совет бояр Бадаю и Луку, которые вместе со Скалой были его ближайшими советниками, затем двух любимейших чернецов, своего духовника отца Гавриила и двух городских старцев, Ивана и Ходко.

Положение Ярослава было затруднительным. Он знал об отношении к себе Святополка, считал его опасным врагом, знал, что без борьбы не обойдется, а у Святополка была сила немалая. К тому же у Ярослава в это время обострились отношения с новгородцами. Дело в том, что когда Владимир собирался было идти похо-

дом на Новгород, чтобы наказать Ярослава за его желание отложиться, Ярослав призвал варяжскую дружину, которой не распускал и помирившись с отцом.

Между варягами и новгородцами, однако, пошли ссоры и столкновения, закончившиеся тем, что в конце концов новгородцы перебили горсть варягов. Рассерженный Ярослав строго наказал за это виновных...

Долго советовался Ярослав со своими приближенными. Еще не закончилось совещание, как приехали гонцы от Предславы, подтвердившие весть, привезенную Григорием. Ярослав решил пока не объявлять обо всем этом людям новгородским, но скоро по городу пошли слухи о кончине праведного великого князя Владимира Красного Солнышка. Неделью спустя Ярослав собрал новгородцев на вече и сказал:

— Ах любезная моя дружина, что я свершил! Нынче было бы можно, золотом бы окупил!..

Новгородцы молчали потупив головы. Ярослав, взволнованный, продолжал:

— Отец мой умер, а Святополк под Киевом... Помогите мне!

— Хотя, князь, братья наши и перебиты, однако поможем тебе бороться, — отвечали тронутые новгородцы.

Вернувшись с вече, Ярослав застал у себя гонцов от князя Глеба. Младший брат сообщал ему, что получил известие от верного человека о кончине отца, а от Святополка сообщение, что отец опасно болен и зовет его, Глеба, в Киев, куда, как писал Глеб, он и отправляется, чтобы поклониться праху почившего. Ярослав сейчас же распорядился послать к Глебу гонцов. Им было приказано догнать Глеба по дороге к Киеву и известить его о грозящей опасности. Ярослав писал Глебу, что Святополк, замышляя, очевидно, что-то недоброе, хочет завлечь его в Киев, и советовал ему одному не ходить в Киев, а подождать его, Ярослава. Гонцы новгородские встретили по дороге гонцов Предславы, которые везли Ярославу весть об убиснии Святополком Бориса. Под Смоленском они наконец догнали и Глеба. Глеб огорчился известием о кончине брата. Под влиянием этого известия и письма Ярослава он в нерешительности остановился под Смоленском. Это было в начале августа.

После жаркого дня настал тихий теплый вечер. На крутом берегу Днепра несколько воинов окружили костер.

— Вот, друзья, — говорил высокий светлорусый юноша, — и не видать нам Киева, куда так стремился наш князь, да и моя душа, правду сказать, давно рвалась. Стосковался я по родным. А теперь денек-другой отдохнем тут да назад в Муром, а то, пожалуй, к князю Ярославу поедем. Вместе братьям легче будет защищаться от злодея Святополка.

— Грустно смотреть на кроткого князя нашего, — заговорил другой витязь. — Уж как он тоскует по отце и брате! Жаль князя, а мне вот при чужом горе радость. Счастлив я, что могу навестить своих в Смоленске. Уж два года, как я тут не был. За это время сестра моя младшая, самая моя любимая, выросла, невестой стала и красавицей, только грустна она что-то.

— Возьми меня завтра с собой, Андрей, как поедешь во Смоленск, — отозвался третий отрок. — Хочу и я посмотреть ваш город.

— Едем, Игорь, — радостно согласился Андрей. — Мне кажется, нет города лучше нашего. Посмотри. Видишь внизу? Днепр течет черный да грозный. Как сталь кинжала сверкает его исчерна-серебряная волна. Сколько соловьев в садах тенистых, сколько боярышень-красавиц в узорчатых теремах!

Вдруг один из воинов приложил ухо к земле и тревожно воскликнул:

— Слышен топот, и близко... Много коней едет!

— Уж не от Ярослава ли помощь к нам спешает?

— А мое сердце, — печально сказал Андрей, — другое чувствует: не Ярославова то дружина, а Святополкова. Не помощь и радость она нам везет, а горе и смерть.

Топот был слышен совершенно отчетливо.

Вот из-за холма по берегу Днепра на ярко-розовом фоне вечернего неба стали вырисовываться фигуры всадников с копьями и луками. Всего их было человек двести.

Ярослав или Святополк послал эту дружину? Передовой всадник подъехал к сидящим у костра и ласково проговорил:

— Здорово, отроки, а где князь ваш Глеб? Нам надобно видеть его по спешному делу.

— Князя теперь тревожить нельзя, — хмуро ответил Андрей. — Подождите до утра.

— Мы посланные великого князя, и нам нужно видеть князя сейчас!

Андрей воскликнул:

— Вы бы так сразу и сказали! Мы сейчас проведем вас к князю. Игорь, Всеволод, Семен! Вот проводите гостей дорогих, да прежде угостите их чарой доброго вина. С дороги никогда не помешает чарочка.

Один из отроков побежал в ближайший шатер за вином. Другие обступили приезжих и стали расспрашивать, утомила ли их дорога, о князе, о Киеве. Пока они разговаривали, Андрей незаметно пробежал к князю Глебу.

— Князь, спасайся, беги! Бежим скорее! — еле переводя дух, говорил он. — Пришли убийцы Святополковы!

— Куда бежать? — грустно проговорил Глеб. — И зачем бежать! Отец мой умер, любимый брат убит. Если бежать, то к ним, а в этом бегстве поможешь мне не ты, а слуги Святополковы.

— Князь, ты удручен горем, но не нужно ему поддаваться. Времени терять нельзя, бежим скорее! Я укрою тебя в Смоленске!

— Благодарю тебя, Андрей, — тихо, но решительно сказал Глеб. — Никуда я не пойду; ни бежать, ни защищаться не буду и вам напоминаю ваш обет — не употреблять оружия в мою защиту. Христиане не должны поднимать оружия друг против друга.

— Но защищаться... — попробовал еще возражать Андрей.

Князь прервал его:

— Защищаться я не буду, но ты, Андрей, можешь еще сослужить мне службу. Вот мой крест, драгоценный перстень и грамотки. Сохрани это и передай сестре моей Предславе. — Князь вынул из-под подушки небольшой ларец из красного сафьяна и передал его Андрею. — Теперь иди. Иди скорее, чтобы тебя не постигла судьба Георгия, любимого отрока брата моего Бориса. Иди! Я буду за тебя молиться, чтобы Господь послал тебе долгую, праведную и счастливую жизнь...

Со слезами бросился Андрей к ногам князя. Тот поднял его, поцеловал. Проводив дружинника из шатра, Глеб стал на колени и начал молиться.

В это время воины Святополковы подходили к княжескому шатру. В темноте они наткнулись на лежавшего человека. Высекли огонь. Лежавший был князев повар, с утра этого дня пропадавший без вести.

— Оставим его, он пьян, — сказал кто-то.

— Сами вы пьяницы проклятые, да еще и попрекать

меня будете! Так я же вас всех как кур перережу! — зарычал охмелевший, чем-то, очевидно, обиженный повар и, выхватив громадный кухонный нож, бросился на отроков и людей Святополка. — И вас убью, и князя зарежу!

Горясер ловко выхватил у него нож, взял за руку и, отведя в сторону, тихо сказал:

— Слушай, ты вовсе не пьяница, как они говорят. Но тебе все-таки нужно иногда подкрепиться. Так вот, я велю дать тебе бочонок меду и вина, а ты мне за это сослужишь службу

— Целых три службы, — радостно воскликнул пьяница. — За вино, за мед и за ласковые речи!

— Ну, вот видишь! Значит, и поладим. Мне нужна только одна небольшая услуга: возьми свой нож, иди со мной и убей того, кого ты сам только что вызывался убить! Мой слуга тем временем пойдет за медом и вином.

— Ладно, убью с радостью, — согласился повар «Всех, хоть бы и тебя самого», — добавил он про себя.

— Подождите тут нас, — сказал Горясер. Несколько отроков Глебовых бросились к шатру князя, но были схвачены и обезоружены.

Через несколько минут Горясер и повар вышли из шатра. Все по-прежнему было тихо, но в шатре тишина была мертвая.

Андрей между тем пробирался березовой рощей к Смоленску. Шел он осторожно, часто останавливаясь и прислушиваясь. Тишина его успокаивала: значит, не заметили его отсутствия и не послали в погоню. А главное, ему казалось, что тишина обозначала и то, что с князем ничего не случилось. Может быть, его отвезут живым в Киев? Хотя и там ничего доброго его не ожидало...

Сквозь березовую рощу стали все чаще мелькать огоньки смоленские, вот начались заборы. Андрей провел тут 20 лет своей жизни, отлично знал все улицы и потому, несмотря на ночную тьму, не шел, а бежал по узким кривым улицам, все поднимаясь в гору. На самой вершине одного из крутых холмов стояли большие и богатые хоромы боярские. Тут жили родители Андрея. Еще издали завидел он сидящие на скамье у ворот две фигуры.

При его приближении они вскочили и хотели бежать. Одна уже юркнула в калитку, но другая остановилась,

всматриваясь, и с радостным криком бросилась ему навстречу:

— Андрей, это ты? А мы с Иришей испугались и хотели бежать в терем.

Андрей обнял сестру и поспешил узнать об отце. Оказалось, его не было дома. И он, и все остальные знатные люди Смоленска были на именинном пиру у богатого боярина Стрелы. С минуты на минуту ждали его возвращения.

— Посидим тут, Андрей,— сказала Всеслава.— Я схожу в горницу и велю принести тебе медку и браги сладкой. Подождем тут батюшку

Но Андрею пить не хотелось. Стараясь скрыть нетерпение и тревогу, он проговорил участливо:

— Ты была чего-то печальна прошлый раз, когда я был у вас. Что у тебя на душе, горе какое?

— Особенного горя нет, Андрей; вот, правда, сватают мне тут жениха одного. Да я сказала уж, что не пойду. Ну, родители и не будут меня неволить.

— А кого тебе сватают, сестра?

— Сына боярина Ивана.

— Василия? — удивился Андрей. — Ведь он красив и богаче всех в Смоленске. Кто же тебе больше его нравится, Слава?

— Никто мне не нравится,— тихо ответила Всеслава.— Я вообще не хочу замуж.

— Почему?

— Андрей, я никому не говорила об этом и скажу только тебе. Мне снился страшный сон. Господи, и теперь страшно вспомнить,— вздрогнув, сказала она.— И снился мне этот сон два раза. Я видела во сне вашего князя Глеба. Снится мне, будто сижу я так, как сегодня, у ворот на скамейке, сижу как сейчас, вдвоем с Иришей, сидим мы и весело разговариваем. Вдруг прибегаешь ты и говоришь: «Сестра, иди, иди скорее со мной, князь прислал меня за тобой». Я говорю, как, мол, я пойду ночью, теперь. Но ты и слушать ничего не хочешь; хватаешь меня за руку и бежишь. И бежим мы по мокрым папоротникам и по мягким мхам; холодные ветки берез задевают за лицо. Наконец прибежали мы к вашей стоянке; все так тихо, все спят. Темно вокруг. Только из княжеского шатра виден слабый свет. Мы с тобой подошли к нему и остановились, и такой на меня ужас напал. «Не входи, Андрей,— говорю я тебе, — не входи,

голубчик». Но ты отдернул полу шатра, и мы увидели то, что и теперь стоит у меня перед глазами. В углу перед образом теплится лампадка, а на полу на ковре лежит князь Глеб. Лежит он навзничь, с бледным лицом, а вокруг него темная лужа, а от черных волос его как бы слабый свет исходит и отражается в этой луже крови. Над ним стоят два человека: один — воин в кольчуге, с звериным, страшным лицом, другой — холоп, с рожей красной, пьяной, бородой всклокоченной; у холопа нож кухонный в руке, весь окровавленный. Стоят они и смеются. Как мы вошли, князь Глеб открыл глаза свои светлые и говорит чуть слышно, но очень ясно: «Прощай, Андрей, и ты, Всеслава. Ты будешь долго жить, Андрей, и будешь счастлив на земле, а ты, Всеслава, иди в обитель: мир готовит тебе лишь кровь и горе!» Я проснулась и не могу до сих пор забыть своего сна.

Едва успела Всеслава выговорить эти слова, как на улице показался всадник на взмыленной лошади.

— Князь Глеб убит! — воскликнул он, осаживая коня.

IX

Покуда все это происходило и Святополк хозяйничал в Киеве, в Берестово мало-помалу стекались его противники. Здесь в хорошо защищенном тереме, под охраной отроков и мужей Владимировых, не пожелавших служить Святополку, жила Предслава; тут жил и Горисвет. Вскоре после убиения князя Бориса сюда же, в Берестово, прибыл один из самых преданных Борису отроков Моисей Угрин. В Берестове то надеялись, что придет на помощь Ярослав, то теряли эту надежду.

А Ярослав, получив известие от Предславы об убиении Бориса и о том, что та же участь ожидает Глеба, опять созвал народ на вече и сказал: «Святополк убивает братьев, помогите мне против него!» Заволновалось вече новгородское и крикнуло: «Постоим за тебя!» У Ярослава все уже было готово к походу, и через несколько дней он собирался тронуться в путь, как получил известие из-под Смоленска об убиении Глеба. Это известие еще более укрепило решительность в новгородцах, еще более восстановило их против Святополка.

Новгородцы торжественно проводили своего князя,

который выступил с 1000 варягов и 40 000 новгородцев. Отправляясь в поход, Ярослав сказал народу и воинам: «Не я начал избивать братьев, но Святополк; да будет Бог отместник крови братьев моих, потому что без вины пролита кровь праведных Бориса и Глеба». Посадником в Новгороде был оставлен Константин, сын Добрыни.

Ярослав отправился с войском на лодках по Волхову и дальше по Шелони, а затем — волоком до Днепра. Ярослав говорил всюду, что идет на Святополка, убившего братьев, чтоб отстоять Русь от Каина и ляхов, чтоб отстоять веру православную от латинников. И люди всюду отвечали: «С нами Бог! Не выдаст Он Святой Руси! Не даст править нами Окаянному!»

Х

В Киеве шел сильный осенний дождь. По одной из улиц торопливым мелким шагом, осматриваясь по сторонам, направлялся к отцу Анастасу патер Фридрих. Анастас не разделял чувств отца Илариона, Горисвета и других тогдашних лучших русских людей. Для последних было ясно, что, если Святополк утвердится на великокняжеском столе, Русь подпадет под власть Болеслава, и они опасались этого, как и подпадения Руси под власть папы. Иларион ясно видел те уклонения от истинного христианства, в какие вели папы уже в то время, хотя тогда разделение церквей еще не состоялось.

Не отрицал этих уклонений и Анастас, но он готов был примириться с ними, потому не хотел допускать готовившегося разделения церквей. Он видел в польском князе Болеславе человека, который, по его мнению, мог содействовать примирению константинопольского патриарха с папою, и потому готов был отдать Русь Болеславу. В Киеве знали и помнили, что Анастас оказал услугу Владимиру Святому при взятии Корсуни, и потому Анастас пользовался влиянием. Митрополита Михаила-грека Анастас убедил в верности своих взглядов.

Патер Фридрих торопился к Анастасу по важному делу. Он получил известие из Новгорода от тамошнего латинского патера, что Ярослав выступает походом на Киев. Патер Фридрих хотел посоветоваться с Анастасом по этому делу и просить его употребить все свое влияние, чтобы с выступлением Святополка из Киева в поход на

Ярослава народ не восстал против Святополка. После совещания с Анастасом патер Фридрих вернулся домой, где застал Якшу.

— Что же мы будем делать? — обратился он к Якше.

— По счастью, — ответил Якша, — недалеко от Киева полчища печенегов. Их князьки хотят вступить в переговоры со Святополком. Святополк послал уже к ним Горясера, обещая исполнить все их желания, но с тем, чтобы они помогли ему в борьбе с Ярославом.

— Но можно ли на них полагаться? И не верю я, чтобы они пришли только для переговоров.

— Конечно, не для приятных и не для выгодных для нас переговоров, и так как у них требования большие, то и пришло их целые полчища. Зная, что Святополк ожидает нападения со стороны Ярослава, они, вероятно, требуют, чтобы им были возвращены земли, которые отвоевал у них Владимир.

— А посланы ли гонцы к князю Болеславу?

— Святополк уже послал к нему гонцов, вечером пошлет к Клотильде, а завтра утром к Рейнберну. На случай, если один изменит, а другой погибнет, чтобы известие было доставлено третьим. Но думаю, что из-за ссоры Болеслава с князем нам теперь трудно надеяться на его помощь и потому надо особенно дорожить печенегами.

Переговоры с печенегами окончились успешно для Святополка: те согласились за известные уступки идти с ним на Ярослава. О Ярославе они знали, что это смелый, настойчивый и мудрый князь, а следовательно, для них вовсе не желательный кандидат на великокняжеский стол, да и всякая внутренняя борьба на Руси была для них выгодна. Святополк быстро собрался в поход. Соединившись с печенегами, он двинулся на север.

Когда Святополк был уже недалеко от Десны, приехали гонцы из Кракова с ответом от Болеслава, Клотильды и Рейнберна. Они сообщили, что германский император Генрих II угрожает Польше войной, почему поляки помочь не могут.

У Любеча, куда Ярослав поднялся по Днепру, а Святополк пришел из-за Десны, братья-враги встретились. Они остановились на противоположных берегах Днепра: их разделяла лишь река. Была осенняя непогода, становилось все холоднее, воины терпели невзгоды, но ни та, ни другая сторона не решалась вступить в бой.

В лагере Ярослава царила тишина; там часто совершались молитвы, а у Святополка шел пир горой. Так прошло три недели. Раз под вечер по берегу Днепра в виду новгородцев стал разъезжать и насмехаться над ними один из воевод Святополка:

— Эй, вы, плотники! Зачем пришли сюда с хромым своим князем? Вот мы заставим вас рубить нам хоромы!

— У плотников-то, — отвечали ему новгородцы, — топоры острее. Скоро увидите, как умеем рубить мы топорами, но не хоромы, а ваши головы!

Старшие из новгородцев пошли к Ярославу и сказали ему:

— Завтра пойдем на них, а если кто не пойдет с нами, тот нам не брат.

Ярослав собрал совет.

— Я, — сказал он, — шел сюда в надежде, что брат Святослав, князь древлянский, соединится со мной, а между тем, узнав об убиении Святополком праведных Бориса и Глеба, он бежал. Говорят, что Святополк послал вдогонку за ним своих воинов, приказав им убить и его. Итак, братья, у Святополка воинов много, у нас куда меньше, но с нами Бог, мы за правое дело!

- С нами Бог, — отвечали все.

Стали готовиться к бою на следующий день. У Ярослава и его приближенных были друзья в стане Святополка, и Ярослав послал к одному из них спросить: «Что делать? Меду наварено мало, а дружины много». Последовал ответ: «Дать мед дружине вечером». К вечеру в стане Ярослава водворилась тишина, нарушаемая лишь тихими церковными песнопениями и молитвами. У Святополка шло, по обыкновению, бражничанье.

Поздним вечером новгородцы стали готовить лодки. Было холодно, морозило, но работа спорилась, и чуть забрезжил свет, Ярослав с дружиной переправились на тот берег. Высадившись, новгородцы оттолкнули лодки, отрезав путь себе к отступлению, и стремительно напали на стан Святополка, где нападения не ожидали. Скоро, впрочем, Святополк собрал дружину и воинов, и завязалась кровавая сеча. Старый витязь Скала руководил левым флангом войска Ярославова, а воевода Будый правым, сам Ярослав был в середине, стараясь оттеснить Святополка к озеру, находившемуся сзади его стана.

Несмотря на сопротивление, новгородцам удалось прижать Святополка к озеру, которое было покрыто

тонким льдом. Воины Святополка бросились на лед, но он подломился; кто мог, спасался вплавь, многие потонули. Святополк со своими приближенными переплыл озеро на бывших у них нескольких лодках.

Печенеги, стоявшие на другой стороне озера, сначала не обратили внимания на шум в стане Святополка, потому что из-за постоянного бражничанья и попоек шум в его стане почти никогда не смолкал. А когда они поняли, в чем дело, Святополк уже был прижат к озеру; лодок у них не было, а узкая береговая полоса с левой стороны была занята новгородцами, а дальше влево и с правой стороны были топи: пришлось бы идти далеко в обход. Печенеги стали рядить и судить, что делать, а между тем подплыл на лодке Святополк и велел скорей возвращаться лодкам, чтобы спасти дружину и воинов. Печенеги, увидев, что Святополк бежал, что дружина и воины его разбиты, стали кричать:

— Ты завел нас сюда, обещая победу, а сам бежишь, — мы тебе не союзники!

Якша и патер Фридрих обратились к их князькам, пытаясь убедить не порывать союза со Святополком, но те ответили:

— Мы давно говорили, что надо напасть на Ярослава, но Святополк предпочел бражничать и нас не послушался. Мы потеряли время. Вы в своей стране, мы же ушли далеко от своих степей, а между тем настает зима, когда нам надо быть дома.

Святополк рассердился, когда ему об этом передали, и приказал дружине и остаткам воинов спешно идти с ним в Польшу. Впрочем, некоторые из воинов перешли на сторону Ярослава, а печенеги послали к Ярославу посольство объявить ему, что они хотят жить с ним в мире. Ярослав, предвидя, что борьба со Святополком еще не окончена, принял предложение печенегов, взяв с них клятву, что они в течение 5 лет не будут нападать на русские пределы, а также не будут впредь никогда союзниками Святополка.

Заклучив мир с печенегами и узнав, что Святополк бежал в сторону Польши, Ярослав двинулся к Киеву. Войдя в город, он направился прямо в Десятинную церковь поклониться останкам своего отца; затем приказал отыскать останки Бориса и Глеба. Наконец он решил поехать в Берестово, где у Предславы собрались Иларион, Горисвет и другие ее приближенные. Иларион, приветствуя Ярослава, сказал:

— Знаю, княже мудрый, верность твою вере отца твоего, знаю любовь твою к родной земле и свету книжному. Может быть, придется тебе выдержать еще раз борьбу со Святополком и, может быть, борьба эта будет труднее первой, но верю, что правда восторжествует и что воссияют на Руси вера праведная и мудрость под рукою твоею!

Заняв великокняжеский киевский стол, Ярослав отпустил новгородских воинов, щедро наградив их: старосты и горожане получили по 10 гривен, а смерды по гривне. Из новгородцев остались при нем только Скала, Будый и несколько отроков.

Предслава, Горисвет и Иларион уговаривали Ярослава не отсылать новгородских воинов, но Ярослав сделал по-своему.

— Не бойтесь,— возражал он,— не скоро придут к нам ляхи, а если и придут, то и у одних киевлян довольно силы, чтобы справиться; да, наконец, не падут же ляхи к нам как снег на голову. Заслышав, что они собираются идти на нас, мы еще успеем в случае надобности послать за помощью в Новгород. А что теперь тут делать новгородцам? Если оставить их в Киеве без дела, они будут тосковать, да и могут выйти у них нелады с киевлянами, а нет ничего хуже внутренней распри.

— А по-моему, князь, нам надо быть всегда готовыми к защите,— говорил, не соглашаясь с Ярославом, Горисвет.

— Не в одних воях защита,— отвечал Ярослав. Может быть и много воев, а польза от этого малая. Прежде всего нужны внутренний мир и согласие. Враг внутренний опаснее внешнего. Затем: ведомо ли вам, что Болеслав в раздоре с императором германским Генрихом II? Вот я и хочу послать гонцов к нему, чтобы нам вместе с ним быть против Болеслава.

— Но можно ли полагаться, княже — возражал Горисвет,— на прочность нашего союза с императором: ведь император и Болеслав — латинники, и папа примирит их раньше или позже. Много людей в Польше против латинского обряда. Болеслав по настоянию папы гонит восточный обряд, укрепляя латинство. Папа поможет ему в благодарность за это, примирит с ним императора.

— Может, и примирит,— ответил Ярослав, но пока что мы можем воспользоваться союзом с императором и пока Болеслава опасаться нам нечего. Как только за-

ключу союз с императором, сейчас же пойду сам на Болеслава, чтобы вернуть древнее Берестье *, захваченное им накануне кончины отца моего.

Киевляне полюбили своего нового князя.

У Ярослава не было «ласковости» его отца: он был суров и строг на вид, но, несмотря на это, киевляне скоро оценили его как князя мудрого, справедливого и радеющего о земле. Удивляло и вместе внушало уважение к себе отношение Ярослава к Анастасу. Ярослав, зная о поддержке, оказанной Анастасом Святополку, но ценя прежние его заслуги перед Русью, не подверг его насилию. Считал, что и Анастас и митрополит скоро убедятся в ошибочности своих планов и обратятся душою к нему.

XI

Святополк, добравшись до Кракова, стал хлопотать, чтобы Болеслав вместе с ним шел походом на Русь. Но Клотильда и Болеслав встретили Святополка холодно: они укоряли его в пьянстве и в неумении сразиться с Ярославом. В конце концов Болеслав решительно отказался от похода. Этот отказ, впрочем, не особенно удивил Святополка: он понимал, что Болеславу угрожает германский император и что, помирившись с ним, Болеслав, не откладывая, сам двинется на Киев. А Рейнберн и патер Фридрих к тому же говорили Святополку:

— Если ты обещаешь нам быть верным папе римскому, склонить Русь к его стопам и слушаться наших доброжелательных советов, то мы обещаем тебе, что твое дело устроится. Папа всемогущ и любвеобилен. Твой тесть сердит теперь на тебя, но папа смягчит его сердце.

И весной 1017 года, в один из последних майских дней, польский князь Болеслав объявил поход на Русь. В то время как по улицам города разъезжали всадники, крича: «На Русь, на Русь», в краковском княжеском замке, в присутствии Болеслава и своей жены Клотильды, Святополк приносил клятву перед бискупом Рейнберном и патером Фридрихом в том, что он подчинит Русь папе римскому и сам будет верным слугою его по возвращении ему великокняжеского киевского стола.

* Б е р е с т ь е — нынешний г. Брест, Гродненской губ.

Когда обряд присяги был закончен, Болеслав сказал:

За мою дочь сватались много князей и принцев, но я отдал ее за тебя. Я полагал, что наши земли, составив одно целое, станут непобедимыми, но ты не оценил той жертвы, которую я принес тебе: ты не перестал пьянствовать. Твои братья чуть было не лишили тебя великокняжеского стола. А ведь стол этот достался тебе только благодаря мудрым советам бискупа Рейнберна и патера Фридриха. Ты не сумел удержать его. Ты не сумел разделаться со своим главным врагом Ярославом: послал убийц за ничтожным Святославом Древлянским — и не сумел помешать Ярославу, тому хитрому и ловкому человеку, собраться со силами. Уступая просьбам дочери и бискупа Рейнберна, я делаю последнюю попытку — иду вместе с тобой на Ярослава, чтобы возвратить тебе великокняжеский стол. Но помни, что это последний раз, и, если ты не образумишься, я больше помогать тебе не стану. Клотильда, — обратился он к дочери, — пойдем ко мне, мне надо поговорить с тобою!

Болеслав вышел с дочерью, а вслед за ним вышли и Рейнберн с Фридрихом. Святополк остался один. Через несколько времени он позвал Якшу.

— Знаешь ли, — сказал он Якше, — что этот старый латинник говорил мне? Он упрекал меня в пьянстве... Я молчал... Я ведь на все молчу теперь. Я понимаю, чего он хочет. Он говорит, что принес мне в жертву свою дочь, но он лжет: он выдал ее за меня затем, чтобы прибрать к своим рукам. Он хочет провозгласить себя королем, и папа обещал ему королевский титул, если он удалит греческое духовенство с Русской земли и подчинит ее папе. Он хочет, чтобы великий князь киевский подчинился ему на правах вассала, как королю. Я понимаю все это, но теперь делаю вид, что не понимаю. Он должен помочь мне вернуть великокняжеский стол, и я молчу. Но потом я заговорю, громко заговорю...

Святополк, взволнованный, замолчал.

— Не сообщали ли тебе чего из Киева?

— Печенеги напали на Киев и причинили много убытков, но в конце концов Ярослав отогнал их.

— А как ты думаешь, Якша, Болеслав не скажет мне правды, не его ли рук было дело это: нападение печенегов?

— Возможно. Я слышал об этом. Печенеги клялись

Ярославу не нападать на Русь в течение пяти лет, и обыкновенно они держат клятву.

— Ах, да! — проговорил Святополк. — Помнишь ли, как несколько месяцев тому назад вдруг исчез патер Фридрих. Тогда сказали, что он поехал к германскому императору, а между тем один из Болеславовых холопей, которого мне удалось подкупить, говорил мне, что патер ездил к печенегам. Да... Болеслав не доверяет мне, требует от меня откровенности, а между тем скрывает от меня и свои планы, и многие свои действия. Он боится меня. Он думает, и в этом не ошибается, что я, сев на великокняжеский киевский стол, не захочу подчиняться ему; поэтому он хитрит со мною. Я верю тебе, Якша, и говорю с тобой откровенно, но помни же, что этот разговор должен остаться между нами.

— Ты, кажется, имел не один случай убедиться, княже, что я тебе верный слуга.

— Я же вознес тебя, Якша: ведь ты был ничтожным тиуном, а теперь мой ближний боярин, и вот увидишь, какими наградами и почестями я осыплю тебя, когда возвращу себе киевский стол. А нет ли, Якша, у тебя сведений от волхвов, что делают язычники на Руси? Ведь они знают приверженность Ярослава к христианству, они знают, что Ярослав примет все меры, чтобы совсем уничтожить язычество, а я обещал им, что для меня язычник и христианин — все одно.

— Пока нет у меня сведений о язычниках, но, конечно, они за тебя. В этом тебе сомневаться нечего, но много ли их? Люди чтут мудрую Ольгу, принявшую христианство, чтут твоего покойного отца, крестившего Русь; люди говорят, что если эти умнейшие княгиня и князь приняли христианскую веру, то, значит, это хорошая вера.

— Все-таки не следует пренебрегать и язычниками. Оставь меня теперь, Якша, я напишу письмо волхву древлянскому и попрошу потом тебя отослать его с верным человеком...

В то время когда между Святополком и Якшей происходил этот разговор, в другой комнате замка в присутствии Рейнберна Болеслав давал наставления своей дочери.

Он говорил ей, что она должна всячески влиять на мужа в том смысле, чтобы он слушался его, Болеслава.

— Польша, — говорил он, — должна простираться от

моря Балтийского до моря Черного. Без морей Польша не может существовать. А чтобы раздвинуть свои границы до морей, она должна завладеть Русью. В этом моя цель. Я возвращу теперь киевский стол Святополку, но он должен слушаться меня. Мало-помалу я приберу его к рукам, в чем мне поможет бискуп и в чем ты тоже должна помочь мне.

— Ты знаешь, — ответила Клотильда, — что я послушная дочь и сама люблю послушание. Я и за Святополка пошла, предварительно взяв с него обещание, что он будет слушаться меня. Только, как и сам видишь, часто он забывает об этом обещании.

Раздался сильный стук.

— Кто там? — крикнул Болеслав.

— Твой верный слуга Калина с очень важным известием.

— Войди!..

Вошедший, кланяясь в пояс, сказал:

— Прибыли гонцы с известием, что Ярослав идет осаждать Берестье.

— Теперь Ярослав мне не страшен, — сказал Болеслав. — Когда император был на его стороне, он был опасен, но теперь он сам советовал мне ускорить поход на Ярослава. Недели через две соберутся люди, и все будет готово, тогда пойдем в поход, а теперь у Берестья наших много, и сейчас же я пошлю туда подмогу. Пусть Ярослав пока справляется с Берестьем, а тем временем мы соберемся с силами и пойдем на него. Если я выиграю этот поход, в чем не сомневаюсь, будущее Польши обеспечено навсегда.

XII

Сидя на киевском великокняжеском столе, Ярослав, с одной стороны, вводил в стране внутренний порядок, нарушенный смутю, водворившейся на Руси по кончине Владимира Красного Солнышка, а с другой — собирал силы, чтобы вернуть русские города, и в числе их древнее Берестье. Ярослав заключил против Болеслава союз с германским императором, пользуясь его недовольством против Болеслава; император и пошел было походом на Польшу, но вскоре, уступая влиянию папы, не желавшего столкновения германского императора с Болеславом, помирился с последним и даже сам советовал

ему поторопиться идти на Русь. Ярослав собирался с силами, но судьба не благоприятствовала ему.

В начале 1017 года в Киеве случился пожар, уничтоживший значительную часть города, а затем неожиданно под Киевом явились печенеги. Произошла злая сеча, длившаяся с утра до позднего вечера. Русские, отразив от Киева печенегов, далеко преследовали их. Взятые в плен князьки печенегов стали клясться, что они прекратят набеги на Русь, говоря, что они не нарушили бы клятвы, если бы не Болеслав, подтолкнувший их на это различными обещаниями.

Покончив с печенегами, русская рать выступила в половине мая под предводительством Скалы к Берестью. Но полученные в Киеве сведения о числе поляков в Берестье оказались неверными. По приходе русской рати выяснилось, что ее гораздо меньше, чем поляков. Скала писал Ярославу, чтобы он прислал помощь, но Ярослав не успел сделать этого. Болеслав быстро и с большим войском стал приближаться к Берестью, в котором, кроме поляков, были немцы, венгерцы и печенеги.

Скала, узнав об этом, послал гонцов в Киев к Ярославу, и тот поспешил со всей своей ратью к Берестью, вместе с тем послав гонцов в Новгород к посаднику Константину, чтобы тот прислал и новгородскую рать. Болеслав подошел к Западному Бугу по левому берегу его и тотчас же хотел переправиться на правый, на котором расположено Берестье, но Скале, осаждавшему город, удалось задержать переправу до прихода Ярослава, пришедшего двумя днями позже.

Русские стали на правом берегу, окружив Берестье, в котором находилась польская рать и которое хорошо было укреплено земляными валами и частоколами. Болеслав расположился на левом берегу. Ярослав решил сделать нападение на Берестье. Он знал, что в таком случае находящаяся в Берестье польская рать бросится через Буг к Болеславу, и вот Ярослав обдумывал меры, которые ему следовало предпринять на этот случай. В обдумывании и обсуждении плана прошло несколько дней, а между тем, по тогдашнему обычаю, русские и поляки, разъезжая по противоположным берегам реки, поддразнивали друг друга.

На пятый день по приходе Ярослава один из его воевод, Будый, стал насмехаться над Болеславом, который отличался тучностью. Будый кричал: «Вот мы про-

ткнем тебе палкою брюхо твое толстое!» Случилось, что сам Болеслав услышал эти насмешки. Он не вытерпел и крикнул своим: «Если вам это нипочем, так я один погибну». Сев на коня, он стремительно бросился вплавь через Буг, за ним поспешила его дружина и вои. В стане Ярослава не ожидали такого стремительного нападения, а сидевшая в Берестье польская рать, увидев, в чем дело, вышла из крепости и присоединилась к воинам Болеслава. Среди русских произошло смятение, многие ударились в бегство, пораженные неожиданностью происшедшего.

Ярослав, видя, что дружина и воины его рассеиваются и гибнут, вынужден был бежать с немногими из своих ближайших. Когда Ярослав был уже на коне и собирался в дорогу, к нему подскакал на коне старец-гусельщик Григорий.

— Скала убит,— проговорил он.

Ярослав поник головою.

— Видно, согрешил я,— сказал он,— по гордыне своей. Согрешил я, огорчая отца своего. Господь Бог теперь наказует меня. Григорий, сослужи мне еще одну службу. Мой путь теперь в Новгород, но ты поезжай скорей к Киеву и скажи сестре моей и всем верным мне, чтобы они торопились в Новгород.

— Ты говоришь, что Бог карает тебя за грехи. Господь праведный карает всю Русь. Господь послал нам испытание, чтобы мы выказали преданность церкви греческой, вере праведной, преданность своей земле. А службу я сослужу тебе верно, и, хотя стар я, сил все же, даст Бог, хватит доехать до Киева. Будь здоров, не падай духом.

И с этими словами старик гусельщик помчался к Киеву.

А поляки между тем на берегах Буга праздновали победу. Болеслав не жалел вина и меда. Он выставил обильное угощение и сам ел и пил вволю.

— Помни, Святополк,— говорил расчувствовавшийся Болеслав,— я тебе все прощаю. Отныне будем друзьями, как подобает тестю и зятю.

— На чьей стороне римский папа,— поспешил вставить патер Фридрих,— тот всегда победит...

— Так, так,— утвердительно кивая головами, сказали сидевшие вокруг Болеслава, Святополка и Фридриха польские бояре с Калиной во главе, и между ними Якша, и Петух, боярин киевский, бывший воеводой у Ярослава и предавшийся Болеславу.

— А почему же,— спросил Святополк,— Ярослав победил меня под Любечем, хотя ты тоже тогда говорил: «На чьей стороне папа, тот и победит». Неужели же папа римский был на стороне Ярослава?

— Не на его стороне, но ты не победил потому, что не слушался наших советов.

— Вот именно, вот именно,— заговорил Болеслав.— Патер прав; слушайся его, и все будет хорошо. Ты видел победу мою, скоро мы будем в Киеве, и тогда папа провозгласит меня королем... Думал ли ты, женясь на дочери моей, что будешь зятем короля? — хвастливо добавил Болеслав.

Святополк, выпивший уже немало, был задет за живое этими словами и запальчиво сказал:

— А ты думаешь, что великий князь киевский ниже короля? Не киевский ли князь Олег прибил свой щит к вратам Царьграда и не у него ли просил византийский император пощады? Не побеждал ли дед мой Святослав византийского императора, не побеждал ли византийских императоров отец мой? Киевские князья побеждали императоров... Владения наши обширны, и, видно, папа римский очень дорожит нами, если так усиленно хлопочет, чтобы мы признали его...

— Папа римский,— перебил хитрый Фридрих,— прослышав о твоём добром сердце, желает тебе добра, хочет помочь тебе против козней братьев твоих. Помни, что, кроме Ярослава, есть и Мстислав. Благодарим тестя за помощь, а попусту не обижайся. Выпьем за то, чтобы между тобой и тестем твоим всегда была дружба, и если вы будете в дружбе и союзе, никто не одолеет и не победит вас!

Болеслав, упрекавший уже себя, что выдал сокровенную надежду, поспешил чокнуться со Святополком и обнять его, а затем поспешно заговорил:

— Медлить нечего. Надо лишь узнать, не оставил ли Ярослав в соседних лесах в засаде своих воев. Ты говоришь, Петух, что нет? Все-таки надо подвергнуть пыткам пленных: не знают ли они чего-нибудь? А послана ли погоня за Ярославом? Калина, ты послал?

— Нет, ты не приказывал.

— Не приказывал?! А ты не мог сам догадаться? Калина, твой это промах, помни,— зловеще проговорил Болеслав.

— Виноват, княже!

— Виноват... Ну, потом поговорим...

— Немедленно послать вслед князю, да выбрать луч-

ших лошадей. Я иду к себе отдыхать и вам всем советую. Отдохнем, а завтра в Киев. Медлить нечего! А ты, Калина, зайди ко мне...

ХІІІ

Старец Григорий, несмотря на свои годы, — а их много было за плечами, — лихо скакал на добром коне, пока тот совсем не выбился из сил.

Григорий сошел с лошади, расседлал ее и пустил на траву, а сам пошел к дереву, стоявшему посреди небольшой лужайки, на которой он остановился. Солнце уже садилось.

Григорий перекрестился и хотел отрезать себе ломоть хлеба, как вдруг услышал топот конских копыт.

«Погоня, — подумал он. — Скрыться времени нет, но, даст Бог... Да, точно, топот не со стороны Берестья».

Григорий вышел на дорогу и увидел трех богатырей, в кольчугах и шлемах, ехавших со стороны Киева. В одном из них он узнал Усмошвеца, в другом — Семена, а третий был молодой, неизвестный ему человек.

— Бог в помощь! — крикнул Усмошвец.

— Здравствуй, Григорий, — громко сказал второй.

— Бог в помощь! — ответил Григорий. — Но опоздали вы, люди ратные. Стряслась беда великая... Ярослав разбит, и вся дружина его, и вои его, а Скала убит!

— Да в уме ли ты, старче? — крикнул Семен.

— Уж если Григорий говорит, — перебил Усмошвец, — значит, верно.

— Но как же это случилось?

Григорий все рассказал, как было, заключив рассказ словами:

— И повелел мне великий князь ехать в Киев и Берестово предупредить князей и Предславу.

Семен и Николай (так звали молодого) несколько раз перебивали рассказ Григория, а когда он кончил, Семен крикнул:

— А и волчья же сыть, травяной мешок — Болеслав! Да мечом я его...

— А я палицей, — добавил Николай.

— Ни мечом, ни палицей вы, хоть и богатыри, ничего с ним не сделаете. А в единоборство с вами не пойдет он... Надо ехать в Киев, сказать народу, что и как.

— Да там, поди, одни старики да бабы остались, — вставил Николай.

— На то, чтоб отстоять Киев, — продолжал старик, — разумеется, надежды мало. Если б была надежда, Ярослав поехал бы к Киеву, а не в Новгород. Но все же надо спешить к Киеву, надо предупредить Предславу, Илариона и Горисвета.

И они все вместе стороной от дороги стали пробираться в Киев, положив меж собой, что надо возможно скорее предупредить о беде людей киевских, а Предславу, Горисвета и Илариона уговорить скрыться до поры до времени, самим же торопиться к Ярославу в Новгород.

Когда они уже миновали Коростень, слышался конский топот. Это была погоня от Болеслава. Один из конных, в котором Усмошвец узнал Путятю, отделился вперед.

— Богатыри, — крикнул он, — даже и бежать-то вы не горазды. Целыми сутками мы выехали позже вас, а все же настигли...

— Волчья сыть, травяной мешок, — гаркнул Семен, с силой пустив в Путятю палицей.

— Братцы, не сдаваться! — крикнул в то же время Григорий.

— Стой! — раздался голос Путяты, но, получив удар палицей по голове, опрокинулся на коне и грохнулся оземь. Не успел Путята упасть, как Усмошвец с Семеном бросились на его спутников, а Николай со стремительной быстротой объехал вокруг них и стал рубить сзади. Началась злая сеча. Григорий случайно отделился от Усмошвеца и Семена. Один из всадников, подняв меч, устремился на него, но Григорий, спохватившись вовремя, отбросил своим мечом удар и с необычайной для такого старца силой и ловкостью нанес ответный удар сбоку по голове своему противнику, который и пал с коня. Затем он бросился на помощь Усмошвецу, Семену и Николаю, сложившим уже четырех всадников.

Сеча была кончена. Григорий, Николай и Усмошвец вышли из нее без вреда. Но у Семена была проткнута нога копьем. Его ссадили с лошади, и Григорий стал промывать и перевязывать рану.

XIV

Через четыре дня после этой схватки поздним вечером Григорий, Семен, Усмошвец и Николай приехали в Киев. Справившись, где Предслава, и узнав, что в Берестове,

они отправились туда и остановились у гусляра Андрея.

Ни Предслава, ни Горисвет, ни Иларион, однако, не согласились уйти из Киева.

— Пусть налетит туча на Киев-град, коли на то воля Божия, — говорила Предслава. — Буду делить горе с киевлянами, среди которых я росла и живу. Буду утешать обиженных, помогать, поддерживать падающих духом. Место мое в Киеве.

Иларион отвечал:

— Я обещал великому князю праведному Владимиру, верным слугою которого я был всю жизнь, не отступать от Предславы до кончины моей, и не мне, старику, не держать слова своего.

— Я, — сказал Горисвет, — слуга Божий, и не мне бояться смерти или мучений. Здесь моя пещера, в которой я молюсь Богу. Если на то воля Господня, в этой пещере и отдам свою душу Всемогущему Творцу.

Григорий отправился на родину, уговорив Усмошвеца, Семена и Николая ехать с ним, чтобы присоединиться к Ярославу и идти с ним на Святополка.

Киевляне, узнав о гибели Ярославовой рати, были охвачены горем и скорбью. Не было семьи, в которой не горевали бы. Из одной семьи пошел в поход отец, из другой сыновья, а из некоторых отец с сыновьями вместе. Вскоре в Киев прибыл Якша с Святополковыми людьми.

Якша разъезжал по городу со своими и старался расположить людей к Святополку.

— Разве не одарил вас щедро Святополк, — говорил он, — когда после смерти Владимира вступил на великокняжеский стол? И потом он не обижал вас. К чему вы слушались слуг Ярослава? И чего плачете? Ужто у Святополка сердце не доброе? Вы говорите, что он убил своих братьев Бориса и Глеба. Не он убивал их, а его люди, не всегда делавшие то, что он хотел, да и дело это княжеское, семейное, а вас он не трогал. Повторяю: убито немного, а взятым в полон он зла не сделает. Конечно, если кто не захочет слушаться его, того он накажет: на то он великий князь, но почему же идти против него? Не бойтесь и Болеслава. Не как вор идет он в Киев, а как тесть великого князя, помогший ему вернуть великокняжеский стол, отнятый младшим братом.

Когда так говорил Якша, обращаясь к толпе, собравшейся вокруг него, не раз слышались возражения:

— Владимир не хотел оставлять великокняжеского стола Святополку, ибо сильно пристрастен он к питию, из-за которого все забывает, и поддался жене своей и латинским попам.

— И все это неправда,— отвечал Якша.— Оклеветали доброго и хлебосольного князя и перед его отцом, и перед людьми! Я ли не знаю великого князя? Сердце доброе, и ум свой есть, что ж ему поддаваться жене и латинским попам!

Говорили также Якше, что Святополк, сев в Киеве на великокняжеский стол, обижал людей, позволял своевольничать ляхам и латинским попам.

Якша отвечал на это:

— Вижу, что вороги великого князя восстанавливают вас против него, но у великого князя теперь сила большая, и покаются эти вороги в грехах своих, да будет поздно! Знаю, откуда идет все это, знаю. Сам я не ваш, что ли, не киевлянин разве?

Одним из первых шагов Якши в Киеве было свидание с Анастасом. Он убеждал Анастаса выйти торжественно навстречу Святополку и Болеславу и передал письмо от патера Фридриха. Фридрих посылал Анастасу привет от папы римского и писал, что Святополк с Болеславом идут на Киев с большой силой, что теперь княжение Святополка в Киеве будет прочно. «И в этом счастье,— писал он.— Несмотря на возникающие несогласия между латинянами и греками, папа уверен, что все закончится миром и что для этого мира необходимо, чтобы Русь и Польша слились, и потому благословил поход Болеслава».

13 августа Болеслав со Святополком с дружинами и воями подошли к Киеву. Многие хотели обороняться, заперли городские ворота и взошли на валы. Болеслав и Святополк осадили город, но киевляне скоро увидели свою беспомощность и на следующий день сдали город. Анастас торжественно встретил Болеслава и Святополка у Золотых Ворот, по которым Болеслав ударил изо всей силы своим мечом. Меч звякнул и выщербился. Этим ударом Болеслав хотел показать, что покорил Русь мечом.

— К чему ты ударил? — спросил его Святополк.

— От радости,— отвечал он,— от радости, что возвращаю тебе великокняжеский стол *

* Этот выщербленный меч поляки называют щербцом и считают его народной святыней.

Проехав прямо на великокняжеский двор, Болеслав и Святополк поручили Якше и Калине разместить в разных частях города воев. Наиболее надежным и верным из них было поручено следить за жителями. Вместе с тем Якше было приказано собрать сейчас же киевлян к великокняжескому двору.

Когда люди собрались, Святополк сказал им, что очень жалеет о павших в битве киевлянах и что он воевал со своим братом, а не с киевлянами, которых очень любит.

— И в доказательство тому, что я люблю вас, я не наказал никого из воинов Ярослава, — говорил Святополк, — хотя имею право на это. Моя рука не коснулась даже тех, которые упорно бились против меня и моего тестя. Тесть мой, сражавшийся со мной и за меня, имел право взять в плен и отправить в Польшу ваших отцов, сыновей и братьев, но я упросил его отпустить всех, и они идут за нами. Я знаю, что вас восстанавливали против меня, но теперь вы имеете случай убедиться, что я расположен к вам. На завтрашний же день я велел приготовить пир. Для бедных и для богатых одинаково будут открыты ворота княжеского двора.

Однако многим из бывших в рати Ярослава не суждено было вернуться в Киев. Святополк уверял, что он никого не наказал и что он упросил Болеслава не отправлять в Польшу в плен дружинников и воев Ярослава, а на деле одних он казнил, других замучил пытками, третьи были отправлены Болеславом в Польшу. Было немало и убитых, так что в Киев могло вернуться менее половины из воев Ярослава и очень немногие из его дружинников.

Вечером в одной из комнат великокняжеского терема, ставшей хороминой Болеслава, сошлись к нему Святополк, Якша и патер Фридрих. Они совещались, что делать. Якша говорил, что главная польза для Святополка — Предслава, Горисвет и Иларион, что перед прибытием Болеслава и Святополка в Киев успели прискакать из-под Берестья Григорий-гусляр, Усмошвец, Семен и Николай, что они смущали людей и вели переговоры. Далее Якша высказал предположение, что, может быть, Ярослав скрывается под Киевом.

— Может быть, — сказал Святополк, — но может быть, и нет уже Ярослава в живых. Мы распускаем среди киевлян слух, что Ярослав утонул в Буге, чтобы

они перестали надеяться на него, а может быть, это и правда. Куда он делся? Куда он вдруг пропал? Он горд и потому мог не выдержать поражения и сам, быть может, бросился в реку.

— Что нам говорить о том, чего мы наверное не знаем,— сказал Болеслав.— Во всяком случае надо принять меры к розыску Ярослава, если он жив, что вероятно. Послана погоня за Ярославом по направлению к Новгороду. Посланы были вои и по направлению к Киеву. Об одних из них нет вестей: может быть, они напали на след Ярослава и преследуют его. Другие с Путятой во главе убиты. Кем и как? Не Ярославом ли?

— А я слышал, что Семен хвастался, будто по дороге в Киев он с Усмошвецом, Николаем и Григорием расправились с Путятой и с его людьми.

— Откуда взялся Усмошвец? Его с Ярославом в битве не было.

— Но мне наверное известно,— сказал Якша,— что Григорий, Усмошвец, Семен и Николай, сын ляхский, прибыли от Ярослава, были в Берестове у Андрея-гусяра и вели переговоры с Предславой, Горисветом и Иларионом.

— Все это странно,— сказал Болеслав,— но во всяком случае тебе, Якша, надлежит озаботиться, чтоб под Киевом поискали Ярослава. Может быть, ты и прав, что он тут.

— Конечно,— вставил Святополк,— пусть на всякий случай поищут, хотя я уверен, что Ярослав на дне Буга. А кроме того, теперь я возлагаю на тебя, Якша, главное. Много раз ты служил мне и тестю моему, послужи еще раз, а я тебя не забуду. Твое дело разделаться с Предславой, Горисветом и Иларионом...

— В них корень зла,— вставил патер Фридрих.

— Да и Андрей-гусяр, хоть и очень стар, а вреден, и о нем не забудь, да, может быть, если взяться умело, этот старик и доподлинно скажет, где Ярослав и что с ним.

— Сослужу,— ответил Якша,— но ты знаешь, что люди за эту службу не возлюбят меня пуще прежнего, а потому не оставь меня воздаянием.

Святополк рассердился:

— Я ли не награждал тебя?! Не я ли из тиунов сделал тебя боярином и не ломаются ли теперь у тебя сундуки от серебра и золота? И ты торгуешься со мной!

А Якша, увидев гнев Святополка, сказал

— Знаю, знаю, княже, — и предан тебе, предан бескорыстно. Не о серебре и золоте, не о земле, не о парче, не о яхонтах говорю я. А дай ты мне воздаяние во сердце своем, оцени ты в сердце преданность мою...

— Да разве я не ценю, — перебил, но уже более мягким тоном, Святополк, а Болеслав, чтобы прекратить этот разговор, решительно сказал:

— Итак, твое дело, Якша, разделаться с теми, с кем считаешь нужным. Мы верим тебе, на тебя полагаемся и, конечно, ценим тебя, и ни Святополк, ни я не оставим тебя без воздаяния. Но вот что: разделяйся с остальными как знаешь, но что касается Предславы, доставь мне живой, чтобы ничья рука ее не коснулась. Я сам с ней поговорю. Когда умерла моя вторая жена и я хотел взять себе в жены Предславу, она не захотела. Может быть, и пожалеет теперь. Поговорю я с ней.. А затем, помни же, Якша, что это все должно быть сделано во время пира.

XV

На другой день с полудня пошли люди на княжий двор, где был приготовлен пир. Пошли на пир далеко не все.

И вот начался пир, на котором обильно лились вино и мед, а в это время Якша со своими людьми стал неистовствовать в Киеве и в Берестове. Григория, Усмошвеца, Николая и Семена не нашел, разумеется. Несколько человек он пытал, чтобы узнать, где они. Пытал он людей, чтобы узнать и где Ярослав. Когда его люди схватили гусяра Андрея, один из его сыновей бросился защищать отца и был убит вместе с ним. Было перебито несколько человек, которых Якша считал своими врагами или подозревал в преданности Ярославу, были перебиты слуги Предславы и Горисвета. Когда схватили Предславу, Горисвет бросился защищать ее, но тут же пал от удара меча. Илариона, молившегося в это время в своей пещере, не нашли люди Якши. Узнав потом о случившемся, Иларион сказал:

— Много крови запятнало Святополка Окаянного, но ему мало Злобой нечестивого князя, пролившего кровь братьев своих, теперь допустившего позор сестры своей, испытывается Русь. Но минется злоба нечестивого, и на-

станет на Руси мир. Святой апостол Андрей Первозванный, взойдя на высоты киевские, благословил место, где мы теперь, и сказал, что быть тут граду великому, что воссияет здесь вера праведная. И козни Святополка, Болеслава и латинских попов не одолеют веры и града! А я буду молиться, чтобы скорей пробил час кары нечестивым, буду молиться до тех пор, пока не убьют и меня, если на то будет воля Божия!

Несколько раз впоследствии собирались убить Илариона, но Бог хранил его. Анастас, вошедший в большое доверие к Болеславу, не раз пытался уговорить Илариона принять сторону Болеслава, но он был тверд и не поддавался искусу.

XVI

К концу пира стали доходить слухи о неистовствах, которые совершил в городе и в Берестове Якша со своими людьми. Киевлянами овладели скорбь и уныние, усилившиеся еще более, когда вернулись в Киев остатки Ярославовой рати и стало известно, что многие либо погибли в битве, либо казнены, либо отправлены в плен в Польшу. Настали черные дни для Киева и всей земли Русской, но в то время, когда почти все были в скорби и унынии, на киевском княжьем дворе шло веселье.

Святополк, окруженный немногочисленными своими сторонниками, и Болеслав с поляками веселились, ведя беспутную жизнь; веселилась в своем кругу и жена Святополка Клотильда, приехавшая вскоре после занятия Болеславом и Святополком Киева. Рейнберн с патером Фридрихом и с другими прибывшими патерами устраивали богослужение по западному обряду, стремясь привлечь людей. Несколько патеров разъезжало по киевской и древлянской землям, утверждая папизм. Якша постоянно оговаривал все более и более людей перед Святополком и Болеславом, чтобы овладеть их добром. То и дело кого-нибудь заключали в темницу, ляхи похищали жен и девиц, обижали киевлян. По рекам и дорогам расплодились разбойники.

Вначале киевляне, подавленные и разбитые горем и несчастьем, молча переносили все это, но затем стали раздаваться жалобы, многие громко заговорили об кривдах и обидах.

— Ляхи вольничают, обижают жен и людей, их пате-

ры славят римскую веру и читают в церквах проповеди по-латыни. Святополк, убивший братьев своих, бьет теперь людей, — слышалось все чаще и чаще.

И в Киеве, и в селах народ стал избивать поляков.

Прошло около года. Как-то вечером Святополк позвал к себе Якшу и сказал:

— Настало время действовать. Люди озлоблены против ляхов. Нужно их подзадоривать, говорить, что все зло от ляхов, что я ни при чем, что если я и убил братьев своих, то по наущению ляхов и латинников. Люди и так говорят, что я поддался влиянию жены и тестя, и потому легко поверят. Надо уверять, что я раскаиваюсь во всем, что хочу исправить зло, но что ляхи и их бискуп и патеры не позволяют мне сделать это.

— Да, — ответил Якша, — Болеслав с ляхами взяли уж слишком много воли: я знаю, что Болеслав пытался очернить меня перед тобой. Ему хочется поссорить нас, чтобы ты удалил меня...

— Об этом говорить нечего, — ответил Святополк, а про себя подумал: «Знаю я тебе цену, знаю, что и ты недавно пытался подластиться к Болеславу и к Калине, да не поделили шкуры моей, но ты мне нужен». — Об этом говорить нечего. Я знаю, ты предан мне, а если что-либо и сболтнул против меня в сердцах, не время теперь ссориться. Ты мне предан и нужен мне, но и я тебе нужен. Уйди я — не уцелеть и тебе... Нас колдовством связали. Может, и впрямь колдовством. В идолов я не верю, но и вера греческая и латинская не влекут меня, а в колдовство верю. Вот и теперь у меня волхв древлянский говорит, что много лет мне княжить на киевском столе. Но об этом поговорим в другой раз, а теперь скажу, что я ведь хорошо понимаю, чего хочет Болеслав и чего хотят бискуп и попы латинские. Болеслав хочет сам утвердиться на киевском столе. Помнишь, я говорил тебе об этом в Кракове. А латиняне хотят этим путем подчинить Русь папе. Я обещал им это, но к чему же мне подчиняться папе, я сам себе князь, да и люди не хотят этого. Они жалуются, что попы латинские читают и служат в церквах.

— Жалуются, — подтвердил Якша.

— Так вот и нужно говорить им, что все зло от Болеслава и латинян. Пусть люди бьют ляхов, мешать не

надо. Таким образом я заставлю Болеслава уйти из Киева.

— Но если он уйдет, — возразил Якша, — Ярослав, как слышно, готовится идти походом на Киев и уж собрал рать немалую, то справимся ли мы без Болеслава с Ярославом?

— Будь покоен. Я говорил с волхвом древлянским. Все язычники будут на моей стороне. Они знают ревность Ярослава к греческой вере и потому за меня, и печенеги всегда пойдут со мной.

— Но ведь были за нас язычники и печенеги, а тем не менее не устояли мы под Любечем, да и люди будут недовольны, если ты призовешь опять печенегов.

— Что ж, призывает же Ярослав варягов. Но это еще дело будущего, а теперь нам надо избавиться скорее от Болеслава, тем более что если будет длиться так, как теперь, то люди, избивающие теперь ляхов, могут обратиться и против меня.

Через месяц после этого разговора, когда Болеслав узнал, что произошло новое избиение поляков, он призвал к себе Рейнберна и патера Фридриха и сказал:

— Помните, что было в Чехии. Когда я занял чешскую землю и, казалось, укрепился в ней, нашлись люди, которые стали строить козни против меня, и я был на волосок от гибели. Теперь Святополк явно действует против меня. Многие из наших избиты, так не лучше ли не ждать такого конца, какой был в Чехии, откуда пришлось постыдно бежать, и уйти заблаговременно...

— Я уж говорил тебе об этом, — сказал Рейнберн. — И Калина того же мнения.

— Я, — продолжал Болеслав, — выговорю себе право взять Предславу в качестве заложницы и трех бояр Ярославовых из оставшихся в живых. Это на случай, если Ярослав овладеет снова Киевом. Кроме того, я потребую, чтобы Святополк не заявлял никаких притязаний на захваченную нами в Киеве и хранящуюся теперь у Анастаса казну Ярослава. Я возьму ее с собой. Наконец, я потребую, чтобы мне безусловно были уступлены червенские города. На этих условиях я уеду из Киева.

Рейнберн и патер Фридрих одобрили план Болеслава, и действительно, после некоторых препирательств со Святополком Болеслав настоял на том, что Святополк принял его условия.

Святополк распространил по городу слух, что он

заставил Болеслава покинуть Киев и что теперь все бедствия и неистовства прекратятся. 16 августа 1018 года, то есть почти ровно через год после вступления Святополка в Киев, Болеслав вышел из Киева, захватив с собой Предславу, трех бояр Ярославовых, казну Ярослава и, разумеется, оставшихся в живых своих дружинников и воев. С ним отправилась и Клотильда, жена Святополка, бискуп Рейнберн и патер Фридрих с другими патерами, а также Анастас, близко сошедшийся с Болеславом и Рейнберном.

За день до выступления Болеслава из Киева младший сын Андрея-гусляра, не бывший в Берестове в день убийства отца и потому оставшийся в живых, узнал, что Болеслав хочет взять с собой в Польшу Предславу. Он решил, собрав людей и воев, по дороге отбить Предславу. Он пошел к Илариону и попросил благословения на это дело. Иларион благословил его. Он собрал до 50 человек добрых молодцов, большей частью бывших воев Ярослава, и отправился с ними из Киева по дороге к Берестью. Они остановились в лесу у села Придорожья, где, по их предположению, Болеслав должен был сделать первую ночевку. Они не ошиблись: Болеслав действительно расположился на ночлег у этого села. Они узнали при помощи придорожских людей, где Предслава, и когда наступила тишина в стане Болеслава, подожгли стан и, пользуясь суматохой, сделали нападение, отбили Предславу.

Предслава тайно поселилась в одном из сел на западе от Киева

XVII

Неистовства Святополка и Болеслава в Киеве были в самом разгаре, когда в Новгород прискакали отроки Федор, Холм и Гавриил, которым удалось вместе с Ярославом избежать смерти и плена под Берестьем. Всех уехало вместе с Ярославом 16 человек. Человека три отстало вскоре, а остальные вместе с Ярославом доехали благополучно до города Изяславля по реке Свислочи. Здесь Ярослав остался на день отдохнуть с тем, чтобы дальше ехать в возке, предложенном богатым гостем изяславским Крылом, а Федору и Гавриилу приказал безостановочно ехать в Новгород сообщить о случившемся

Приехав в Новгород, они явились к посаднику Константину передать слова Ярослава.

— Подождем приезда князя, — ответил задумчиво Константин, — а пока молчите.

Дня через три приехал Ярослав.

«Бум, бум!» — грянул вечевой колокол на Новгородской площади, созывая новгородцев на вече.

Вскоре на Ярославовом дворище у вечевой башни собралось почти все население Новгорода. Народ был крайне взволнован желанием Ярослава ехать за море к варягам. Князь, потерпев поражение с киевской дружиной, не доверял и новгородцам. Посадник Константин старался убедить князя не ездить к варягам, а народ убеждал не волноваться и не торопиться.

— Тише едешь, дальше будешь, — говорили. — Соберем не торопясь дружину и воев, вооружим их получше и все дружно пойдем биться с Болеславом.

Много говорил посадник, говорил князь, говорили и другие именитые люди, но ни на чем окончательном не порешили и разошлись.

Через несколько дней собрано было другое вече, на Торговой площади. Теперь в вече участвовали не только бояре, богатые гости, старосты городские, но и меньшие люди.

Много говорили, много спорили и разошлись, порешив, ввиду наступления осенних распутиц и затем зимних морозов, отложить поход до весны. А пока решено было обучать молодых воинов. Князь настоял на том, чтобы в учителя взяты были варяги.

Настала осень. В Новгороде собрались «зимние гости», иноземные купцы из Скандинавии, привозившие сукна, вина, металлические изделия, хлеб и деньги. С востока приехали купцы византийские с шелковыми товарами, воском, пряностями. Новгородцы поставляли лен, хмель, меха. Торговая жизнь в Новгороде закипела. Зимой были свои, «зимние гости»; летом приезжали другие, «летние».

Но и на пирах, и при сделках торговых, и в домашней жизни новгородцы помнили главную думушку свою — о предстоящем походе. На пирах и в домашних беседах обсуждался этот предстоящий поход, а при торговых сделках откладывались на него гривны и куны.

Прошла зима, настала весна, но рать не была еще готова. Ярослав не хотел дольше ждать и вторично ре-

шил ехать за море к варягам. Были приготовлены уже ладьи для него и его свиты; назначен день отъезда. Но новгородцы не могли примириться с таким решением князя. Опять собралось вече. Князь не пришел. Зато собрались все граждане от посадника до простых смердов; пришли и мужики из окрестных пригородов; пришли и жены новгородцев, которые, стоя позади мужской толпы, прислушивались к речам, советовались и воодушевляли своих мужей. Долго судили и рядили новгородцы. Окончательное решение было таково: немедленно идти на берег Волхова, где приготовлены были ладьи для княжеской дружины, и изрубить их, а затем отправиться к князю и убедить его не ехать к варягам и ждать, пока не будет сформирована дружина.

С лодками дело кончено было быстро, но князь, рассерженный самовольным поступком новгородцев, не пожелал принять посадника с выборными гражданами. Долго, через княгиню, которая была дружна с женою посадника Константина, велись переговоры, пока князь не преложил гнев на милость и согласился принять посадника.

Горячо говорил посадник. Он вспоминал успешные походы новгородцев против балтов, финнов, чудской эми и других соседних народов, вспоминал доблесть отца своего, Добрыни Славного, Скалы и других воинов; вспоминал богатырей новгородских: Родовоя, Горисвета и Василия новгородского.

Он говорил, что народ не пожалеет последнего имущества своего для доставления князю возможности нанять в помощь себе варяжскую дружину.

— Государь, — заключил он речь свою, — мы хотим и можем еще противиться Болеславу. У тебя нет казны: возьми все, что имеем.

Князь был тронут и согласился подождать еще немного времени.

Пошли спешные сборы к походу. Бояре давали по восемнадцати гривен, городские старосты по десяти, остальные жители по четыре куны. Скоро была собрана необходимая сумма для найма варяжской дружины. Новгородское войско готово было к походу. И вот во второй половине августа 1019 года Ярослав двинулся с соединенной дружиной в новый поход против Болеслава и Святополка. Новгород опустел.

Григорий, Усмошвец, Семен и Николай, с которыми мы расстались после того, как им не удалось уговорить Предславу, Горисвета и Илариона покинуть Киев, благополучно добрались до Пскова. По дороге они собирали людей, призывая присоединиться к Ярославу, чтобы идти на Болеслава и на Святополка, за которым уже утвердилось в народе прозвание «Окаянного». И всюду в ответ на их призыв слышалось:

Не потерпим Окаянного, ляхов и латинников в стольном граде Киеве. Пойдем с Ярославом за дело правое, за землю Русскую!

Из Пскова путники отправились к Ладожскому озеру. Пришлось им побывать и в нескольких языческих селениях, ютившихся в глухих лесах и сохранивших еще во всей чистоте языческую веру. Но и в этих селениях они находили живой отклик на свой призыв. Отчасти этому помогало и то, что Григорий, Усмошвец и Семен пользовались почетом на Руси за свои богатырские подвиги, а Григорий, кроме того, как славный гуслиар и маститый старец.

В деревне Волынкиной при устье Невы сыновья Григория и их жены, а также внуки с женами и внучки со своими мужьями радостно встретили его и его спутников.

Григорий рассказал своим о том, что происходит на Руси, а также о том, как он с Усмошвецом, Семеном и Николаем проехали почти всю Русь, призывая людей идти на Киев с Ярославом против Святополка Окаянного и Болеслава ляшского, что по дороге заезжали они в Новгород, где узнали, что весной Ярослав двинется в поход.

Один из сыновей Григория, трое внуков и двое правнуков решили идти с Ярославом. Из окрестных селений и с Ладоги собиралось не мало воев. В общем человек 200 должно было двинуться весной к Новгороду, чтобы там присоединиться к Ярославу.

Старец Григорий, решивший было навсегда остаться в Волынкиной, чтобы здесь кончить жизнь свою, к концу зимы стал говорить, что хочет собственными глазами увидеть торжество Ярослава. Сердце богатырское, сердце гуслиара, воспевавшего битвы, влекло его в поход, но он опасался, что у него не хватит сил. Как-то утром он решительно сказал:

— Иду! Вечером долго я размышлял, хватит ли силушки дойти до Киева и вернуться, чтобы здесь, где начал дни свои, и кончить их. Думал было остаться. Нужно вам знать, что обет я дал построить церковь в Волынкиной. Так вот и думалось: если пойду, может, Бог поможет еще добраться до Киева — но вернусь ли? И приснился мне сон: видел я премудрую Ольгу и Владимира, и Бориса, и Глеба; они благословляли дружину и воев Ярослава, и услышал я голоса их: «И стар и млад идите!» Пойду еще раз к Киеву, а затем вернусь сюда строить церковь Божию.

Прошло после этого еще несколько дней. Все уже было готово к походу, когда из Новгорода прискакал гонец с известием, что поход отложен до начала осени. При этом посадник просил Григория от своего имени и от имени Ярослава непременно идти с ними. Григорий решил употребить весну и лето на работы по постройке церкви.

Когда стало солнце клониться к осени, опять приехал гонец от посадника Константина объявить, что Григория, Усмошвеца, Семена и Николая с невскими и ладожскими воями ждут в Новгороде.

XVIII

Святополк стоял задумавшись.

— Да верно ли ты знаешь, Якша, что Ярослав так близко подошел к Киеву?

— Верно, — ответил Якша. — Уж давно ведомо было, что он готовится в поход, и говорил я тебе, княже, что надо было повременить отпустить Болеслава.

— За меня печенеги, — стараясь успокоить себя, сказал Святополк, — а что касается Болеслава, то все люди были против него. Если бы он не ушел, то и ему, и мне, и тебе было бы хуже, а теперь — ну, что ж! Если Ярослав так близко, печенеги, правда, не успеют прийти на помощь... Он разобьет меня, но не дамся же я в руки, уйду к печенегам и с ними приду воевать с ним, а может быть, тем временем мне удастся склонить Болеслава снова помочь мне. Ты скажешь, что теперь он мне ни в чем не поверит и потому не станет помогать, но ведь и прежде он мне не верил, а помог же. Велико его желание взять под свою власть Киев, велико желание папы овладеть

Русью. Рейнберн и патеры будут склонять его идти на Русь, и он пойдет.

Раздался стук в дверь. Якша подошел и отворил. Вошел отрок и сказал, что приехал Камень, гонец от древлянского волхва.

— Позвать! — приказал Святополк.

Гонец вошел.

— Волхв наш шлет поклон тебе, княже, — проговорил он, низко кланяясь. — Старик велел сказать тебе, что брат твой Ярослав с большой дружиной и множеством воев идет на тебя. Он уже близко.

— Времени терять нечего, — ответил Святополк. — Надо снаряжать дружину и воев.

А гонец продолжал:

— Волхв снарядил для тебя, княже, двести воев. Они идут к Киеву.

— Иди, — ответил ему Святополк. — Я еще призову тебя, поговорю и скажу, что передать волхву.

Гонец вышел, а Святополк, обращаясь к Якше, продолжал:

— Сил у нас немного, но сдаваться без боя нельзя. Пойдем с дружиной и с воями навстречу Ярославу. Однако отходить нам от Киева незачем. Встретимся с Ярославом поблизости...

Святополк при помощи Якши наскоро снарядил дружину и воев и выступил навстречу Ярославу. Ярослав встретился со Святополком в двух днях хода от Киева.

Не надеясь на победу, Святополк велел отступать и, поручив начальствование Петуху, сказал, что отправляется в Киев, а на деле с Якшей и с несколькими приближенными бежал, объехав Киев, к печенегам.

Как раз накануне Покрова Ярослав вошел в Киев, горячо приветствуемый людьми. Иларион вышел навстречу Ярославу в облачении, с крестом в руках.

— Усердно молились мы Господу Богу, — сказал Иларион, — чтобы Он, вняв молитвам нашим, освободил нас от плена ляшского и латинского. Много погибло людей, много кривд и обид вынесли мы все на Руси! Видим, Господь послал испытание Руси, крепка ли она в вере Христовой. И Русь вынесла это испытание. Ее заступники на небесах: премудрая княгиня Ольга, праведный князь Владимир и первые мученики земли нашей, князья Борис и Глеб, — испросили у Господа сил для Руси вынести это тяжелое испытание. Вознесем же Гос-

поду Богу благодарственные молитвы за ниспослание нам сил и крепости и за то, что Он дал нам тебя, княже, на которого мы возложили надежды, ныне исполнившиеся. Теперь кормило земли Русской снова в твоих руках, и ты поведешь с помощью Божией землю нашу по пути веры праведной, мудрости и славы, а мы под твоим водительством будем стоять крепко за веру и землю нашу!

Ярослав приложился ко кресту и, поклонившись людям, ответил:

— Всемогущий Бог помог мне одолеть Окаянного. Когда Святополк разбил меня у Берестья, я, слабый, пал духом, но в молитвах и беседах с иереями и чернецами я обрел крепость духа и, видя к тому, что дружина и люди тоже крепки и готовы стоять за веру праведную, за правое дело и за родную землю до последней капли крови, что они готовы отдать все свое имущество за веру и Русь, я пошел смело на Окаянного, и вот мне дарована Господом Богом победа, опять я в Киеве. Возношу благодарственные молитвы Господу, обещаюсь блюсти ревниво веру праведную... Благодарю и вас: пастырей, помогавших мне своими молитвами, бояр, подававших мудрые советы и помощь, благодарю дружинников и богатырей наших, воев и всех людей. Теперь я верю, что, если Святополк с тестем своим, и с ляхами, и с печенегами и опять придет на нас, мы с помощью Божией устоим и не повторится уж более такая беда, какая недавно постигла нас.

Простясь с людьми, Ярослав немедленно отправился с Иларионом в Берестово к Предславе: ему хотелось поскорее увидеть свою любимую сестру, поскорее утешить ее.

— Сестра моя,— начал он, поздоровавшись с ней,— ты мужественно и с христианским терпением снесла всю тяжесть и унижение плена и неволи! С самого дня праведной кончины отца нашего ты помогала мне, насколько могла, словом и делом, ты помогала всей земле. Я твой должник неоплатный. Насколько хватит сил, постараюсь отблагодарить тебя, но знаю, что никогда своими силами не успею в этом, а потому мне остается лишь молить Господа Бога, чтобы Он вполне вознаградил тебя.

Вечером пришли Иларион с Григорием. Они спросили великого князя, что он намерен предпринять для успокоения родной земли.

— Много труда предстоит нам,— заговорил Яро-

слав. Но я верю, что Господь Бог поможет мне и всей земле.

— Пока Русь будет крепка в вере праведной,— проговорил Иларион,— силы вражьи не одолеют ее!

— А где Святополк? — спросил князь после некоторого раздумья.

— Говорят люди,— ответил Григорий,— что он бежал к печенегам, минуя Киев, и что было у него условленно с Якшей и с другими ближними выйти из Киева с дружиной и войми. К Болеславу он не пошел, потому что расстался с ним недружелюбно.. Хотя, может, и придется Святополку искать защиты у своего тестя,— как знать!

— А где Петух? — спросил Ярослав.— Не ушел ли он вместе с Святополком? А может быть, он, как и Анастас, пошел с Болеславом в Польшу?

— Нет,— ответили Предслава и Иларион,— Болеслав не взял с собой Петуха.

— И со Святополком он, как говорят, не бежал,— заметил Григорий,— а, боясь гнева твоего, княже, скрывается под Киевом.

— Его надо найти,— решил Ярослав.— Он, наверное, знает, где Святополк, и скажет. Надо поскорее отыскать его!..

Дня через два нашли Петуха и привели его в великокняжеский терем.

Он, как оказалось, скрывался в одном из ближайших сел. Когда сказали Ярославу о поимке его, великий князь ответил:

— Не хочу я видеть его. В тюрьму его не посажу, но и видеть не хочу. Не хочу также, чтоб он жил в Киеве. Отослать его в Ростов. А ты, боярин,— обратился великий князь к Холму,— выйди теперь к Петуху и допроси его, где Святополк, что он знает о брате.

Выйдя к Петуху, Холм обратился к нему со словами

— Великий князь повелел тебе открыть все, что знаешь о Святополке.

— Могу ли я знать, где он,— ответил Петух.— Знаю я, про меня распустили слухи, что я был в милости у князя, знаю и потому я не показывался теперь на глаза Ярославу, опасался гнева его.

— Да ведь всем известно то, что ты отрицаешь. Святополк и Болеслав тебя жаловали.

— Пред тобой, боярин, я оправдываться не стану. Ты

еще в отроках не был, а я уже боярствовал... Но Ярославу я докажу, что на меня взведен поклеп, что оклеветан я.

— Но великий князь, — сказал Холм, — и видеть-то тебя не хочет.

— Это — за преданность-то мою! Говорю, что оклеветали...

— Великий князь повелел спросить тебя: где Святополк? — настойчиво повторил боярин.

— Холм! — вдруг с неожиданным порывом, почти плача, заговорил Петух. — Прости! Ты молод, мало знаешь людей! Пусть я изменил Ярославу, предался Святополку, заступись за меня: у тебя сердце доброе.

— Ты знаешь, Петух, нрав великого князя, — ответил Холм, — ты знаешь ум его, и я хотя и молод, не дам обидеть себя. Велики и черны неистовства Окаянного, и ты с Якшей были его главными помощниками. Великий князь по милости своей и из-за твоей прежней службы не хочет тебя карать тюрьмою, а лишь велит поселить тебя дальше от Киева, и тебе ничего более не остается, как глубоко благодарить великого князя и сказать все, что ты знаешь о Святополке.

— Не стану оправдываться, — сказал, подумав, Петух, — не стану. Время покажет... А что касается Святополка, то слышал я, что бежал он к печенегам. И куда ж ему бежать, как не к ним?

— И я так думаю, что для Святополка одна дорога к печенегам. Так я и скажу великому князю, что, по твоим словам, Святополк пошел к печенегам, но помни, что если он скрывается под Киевом и ты знаешь об этом и знаешь где, то такого обмана великий князь не простит тебе и покарает тебя уже не высылкой, а построже.

— Молод ты, Холм: теперь-то мне держать сторону Святополка? Ведь я теперь в руках Ярослава, и если бы знал, где Святополк, и мог бы доставить его сюда, то, конечно, доставил бы, чтобы доказать Ярославу всю мою преданность. Но я точно не знаю, где он; полагаю, что пошел к печенегам. Пусть великий князь pošлет расспросить по дороге в степи. Они, верно, видели Святополка и Якшу. Спросите и старика Сороку в селе под Киевом: он всегда был первый друг и помощник Якши.

Ярослав распорядился отправить Петуха в его дом и приставить к дому надежных людей, чтоб стерегли его до тех пор, пока Хвалибой не увезет его в Ростов, и при-

казал послать гонцов в сторону степей печенежских, чтобы они расспросили людей о Святополке, а также доставить Сороку.

Вскоре Сорока был доставлен. На допросе, сделанном ему, он долго уверял, что с Якшей не дружил и Якше не служил; но когда увидел из слов Холма, что на его близость к Якше указал Петух, стал бранить вместе и Петуха, и Якшу, говорить о том, что Якша околдовал его, стал низко кланяться и просить прощения и пощады ради седых волос и старости.

— Великий князь по милости своей, — ответил ему Холм, — карать тебя не хочет, но ты должен сказать правду, где Святополк.

Сорока долго старался уверить, что не знает, все повторяя, что Якша его околдовал, что отшиб у него разум и память, — но в конце концов рассказал, что Святополк обманул своих, объявив, что едет в Киев, что у него, Сороки, были заготовлены по приказанию Якши лошади и запас хлеба и вина, что Святополк, Якша и еще несколько человек заезжали к нему, взяли лошадей и запасы и поехали к печенегам.

В первое время Ярослав занялся помощью разоренным и обедневшим вследствие смуты. Он вернул имущество и земли тем, у которых Святополк несправедливо их отнял для Якши и других своих любимцев. Кроме того, на первых же порах Ярослав принял меры к сокращению разбойничества. Разбойники, увидев это, стали убегать к печенегам, где, как они узнали, находился Святополк. Дружины и воев Ярослав не распускал, ожидая к весне прихода Святополка с печенегами. Но из Польши приходили успокоительные известия. Уверяли, что Болеслав отказывает теперь Святополку в помощи, потеряв всякое доверие к нему. Зимой часто приходили из Польши бежавшие туда русские пленные. Узнав, что Ярослав в Киеве, многие из русских, бывших в польском плену, употребляли все средства, чтобы уйти из плена.

Лишь только стала приближаться весна, пришли вести, что Святополк собирается на Киев с большими полчищами печенегов и других степняков. Не доверяя Болеславу, Ярослав оставил под начальством воеводы Вышаты дружины и воев на случай выступления Болеслава

против Киева, но большую часть дружины и воев повел против Святополка и печенегов.

Рать Ярослава быстро двинулась вперед и вскоре достигла берегов Альты. Приближаясь к тому месту, где был убит Борис, Ярослав узнал, что Святополк с печенегами уже недалеко. Тогда Ярослав собрал дружину, старцев и старост.

— Братцы — сказал он. — Вот мы приближаемся к тому месту, где Окаянный пролил невинную кровь брата Бориса. Святополк с печенегами близко, и на том месте, где была пролита невинная кровь, придется нам сражаться. Не пожалеем же себя, отомстим братоубийце.

Действительно, вскоре дружина и вои Ярославовы сошлись с печенегами у того места, где был убит Борис. Воздев руки к небу, Ярослав громко сказал:

— Кровь невинного брата моего вопиет ко Всевышнему!

А в это же время печенеги с диким криком бросились на рать Ярославову. Началась сеча. По словам летописца, это бала одна из самых ужасных и злых битв. Противники секлись, схватывались руками, несколько раз сходились и отступали. Кровь лилась ручьями. Старец Григорий несколько раз порывался принять участие в битве, но Ярослав не отпускал его от себя. Смело бился молодой Андрей из Смоленска, получивший в битве две раны. Усмошвец и Семен клали рядами печенегов, а от своих учителей не отставал и юный богатырь Николай. Отважно и ловко дралась вся дружина Ярослава и вои его, руководимые новгородским боярином Грозным; но и печенеги отличались храбростью и стойкостью.

Несмотря на то что печенеги значительно превосходили русских числом и сражались смело и устойчиво, к вечеру рать Ярослава обратила их в бегство, многое множество положив на месте.

В числе убитых был и Якша.

Что случилось со Святополком? По словам одних, он был убит варягом Эймундом, служившим в войске Ярослава, по словам других, бежал через Польшу, где Болеслав отказался принять его, и по дороге в Чехию умер «злой смертью». Сохранилось предание, что во время бегства ум его помрачился, что всюду мерещилось ему, что его преследуют, что за ним гонятся по пятам. Как бы то ни было, с этого момента он перестал существовать как историческое лицо.

Вожди печенегов послали сказать Ярославу, что готовы уплатить дань, но с тем, чтобы Ярослав прекратил преследование. Ярослав согласился. С большой торжественностью он вернулся в Киев. Во всех церквах служились благодарственные молебны.

Щедро наградил Ярослав своих дружинников и воев. Те из новгородцев, которые прежде хотели возможно скорее отправиться домой, остались еще на время в Киеве, говоря:

— Подождем пока. Быть может, Болеслав захочет мстить за своего зятя.

Но Болеслав пока не собирался на Русь.

Григорий, поклонясь князю и награжденный им, отправился на родину строить церковь. Усмошвец, Семен и Николай остались служить в дружине Ярославовой, а Андрея из Смоленска Ярослав отправил в этот город воеводою.

Когда все успокоилось, Ярослав вызвал к себе семейство из Новгорода, а вскоре затем в Киев прибыл норвежский принц Гаральд, известный своей храбростью и рыцарскими подвигами. И вот летом 1019 года состоялась в Киеве свадьба Гаральда с дочерью Ярослава Елизаветой.

Вскоре после этой свадьбы вышла замуж старшая дочь Ярослава Анна за французского короля, но ее свадьба состоялась в Франции.

IX

Княжение великого князя Ярослава — одна из самых блестящих страниц истории древней России. Правда, вначале это княжение было несколько омрачено борьбою с оставшимися в живых братьями Ярослава: Судиславом Псковским и Мстиславом Тмутараканским, а также с племянником Брячиславом Полоцким, но вскоре побежденный Судислав умер, а с Мстиславом и Брячиславом Ярослав помирился, оставив за собой северную и западную Русь от Днепра. Юго-восточную, с княжеским столом в Чернигове, он предоставил Мстиславу, а Брячиславу дал города Ветевск и Усвят. В 1035 году Мстислав умер, и Ярослав овладел всей Русью.

Отношения между Ярославом и Мстиславом в пос-

ледные годы жизни последнего были вполне дружественные, и братья вместе ходили на ляхов, от которых они вернули Руси червенские города. Расширяя пределы Руси на север, на запад и восток, Ярослав построил, как оплоты русской твердыни, на северо-востоке, на Волге, Ярославль, в Червонной (Галицкой) Руси также город Ярославль, сохранившийся, как и Ярославль-волжский, до сих пор, а на северо-западе, у Чудского озера Юрьев, который был назван так потому, что в святом крещении Ярославу дано было имя Юрий. И хотя Ярослав был усердным христианином, тем не менее летописец, по привычке народной, называет его преимущественно его прежним, языческим именем, и это имя укреплено за ним историей.

Завоеывая дикие племена литовцев, финнов и ятвягов, облагая их данью и укрепляя землю свою крепостями, Ярослав вместе с тем старался установить добрые отношения с тогдашними государствами и сблизиться с ними. Отчасти это достигалось путем браков. Как выше сказано, старшая дочь Ярослава Анна вышла замуж за французского короля, а Елизавета — за норвежского принца, из двух же других дочерей одна вышла за венгерского короля, а другая — за польского, одного из преемников Болеслава, скончавшегося вскоре после окончательного поражения Святополка.

Внутри страны Ярослав водворил порядок и приказал составить сборник законов — «Русскую Правду». Земля росла и богатела, росли и богатели села и города, особенно Новгород и Киев.

Тогдашний Киев сравнивали с Царьградом. Двор Ярослава прославился блеском величия. Западноевропейские государи усердно искали дружбы великого князя киевского: Олаф святой, король норвежский, Андрей венгерский и другие приезжали в Киев, прося помощи и защиты у Ярослава.

Мудрый князь, ревностный в вере и любивший книги, распространял христианство и просвещение среди своих подданных, строил усердно храмы и монастыри, заботясь об украшении их лучшими византийскими мастерами, об улучшении на Руси церковного пения. При нем были созываемы соборы русских епископов для разрешения вопросов церковного управления. При Ярославе же построены знаменитые храмы Святой Софии в Новгороде и Киеве, и по его же указанию переведены многие

книги с греческого языка на славянский, причем при киевском храме Святой Софии было устроено книгохранилище для общенародного пользования. Он заботился об увеличении числа приходов и об обеспечении иереев. При Ярославе жили в Киеве преподобный Антоний Печерский, вернувшийся с Афона после утверждения Ярослава на великокняжеском столе и основавший Киево-Печерский монастырь, ныне лавру, и бывший отрок Бориса святой преподобный Моисей Угрин, который, возвратясь из польского плена, поселился в пещере у святого Антония.

И святая православная церковь окрепла и возвеличилась на Руси в правление Ярослава, прозванного Мудрым.

Умирая, Ярослав завещал своим сыновьям жить в мире. Он говорил им: «Скоро не будет меня на свете; вы, дети одного отца и матери, должны не только называться братьями, но и сердечно любить друг друга. Знайте, что междоусобие, бедственное для вас, погубит землю, а согласие ваше утвердит ее».

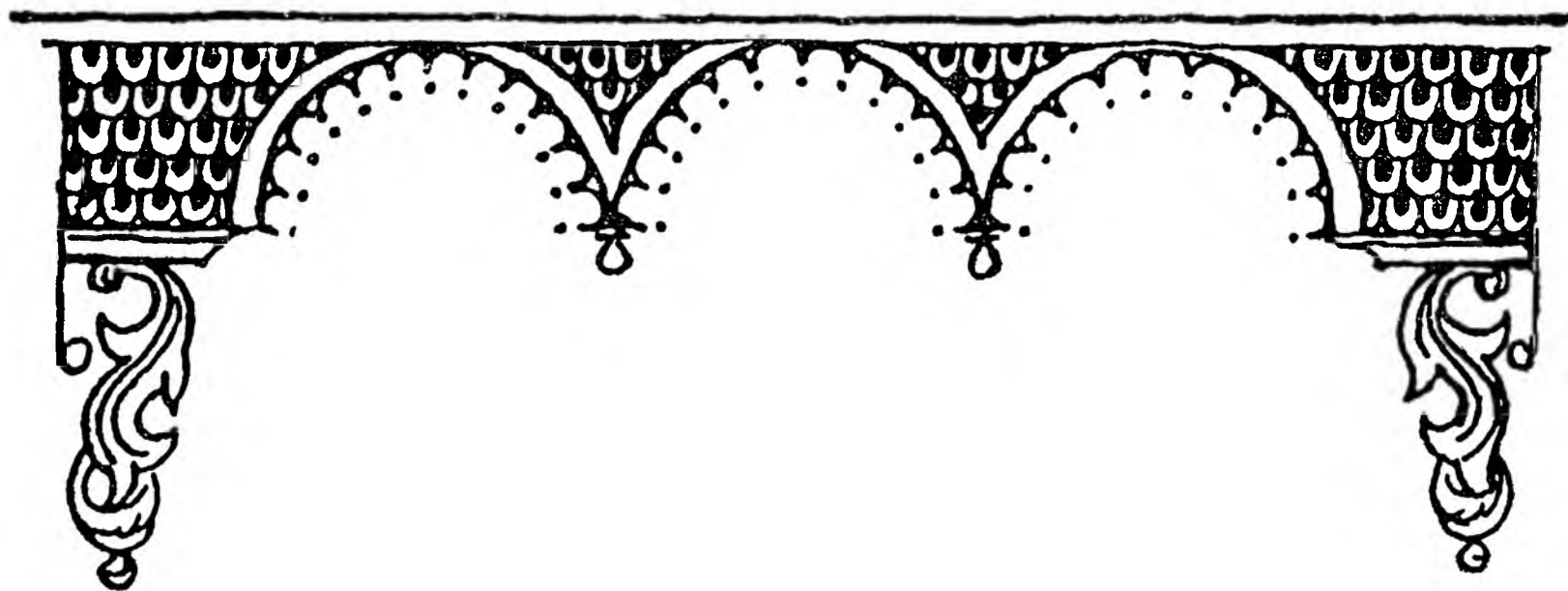
Но завещание Ярослава не исполнялось его сыновьями, внуками и правнуками, и созданная трудами Ярослава сильная страна, раздираемая междоусобиями, мало-помалу теряла свое могущество. Одолеваемая с запада Польшею, с востока она поддалась татарам и более 200 лет несла татарское иго. Но светильник веры православной, зажженный на Руси святым равноапостольным великим князем Владимиром, не угасал и согревал надежду на лучшие дни, и эта надежда оправдалась в последующей истории.

Давно уже прошли годы княжения Ярослава. Но и до сих пор жив в памяти народа образ этого князя-печальника, князя-собирателя, князя-просветителя родной страны, известного в истории под именем «Ярослава Мудрого».

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

Н. АЛЕКСЕЕВ-
КУНГУРЦЕВ

БРАТ
НА БРАТА



І. ПОСЛЕДНИЙ ТЫСЯЦКИЙ

Близился вечер 17 сентября 1374 года.

Краски заката играли на маковках московских церквей

Было еще довольно светло, но в келье умирающего старца-монаха Чудова монастыря — полутьма: слишком скупно пропускает свет маленькое, переплетчатое, слюдяное оконце.

Тускло мерцают лампы. К одной из них протянулась рука и затеплила тонкую свечку желтого воска.

Огонек вспыхнул и слегка озарил сырые стены, простые, деревянные, некрашенные лавки и такой же стол. Человек, затепливший свечу, был молод и богатырски сложен; лицо его — красивое, безбородое выражало печаль; но часто в глазах мелькала искорка нетерпеливого ожидания.

Рядом с ним виднелась фигура священника в рясе из бязи и в епитрахили, наклонившегося над старцем с желтым морщинистым лицом и седой бородой, которая закрывала грудь. Отходящий в вечность лежал на лавке на подостланном монашеском подряснике, прикрытый монашеской же ряской.

Как ложе, так и вся обстановка кельи свидетельствовали о скудости.

А между тем умирающий мог бы обставить себя со всею роскошью, какая была достижима в то время: у дверей его жилища, обшитых драгоценным алым сукном, стояла бы стража с секирами, тысячи слуг были бы в его

распоряжении. Ото всего этого он отказался, стремясь лишь к молитве и уединению, и заперся в тесной келье, в которой теперь и умирал, лежа на узкой лавке.

Старец был тысяцкий. Это звание уцелело с того времени, когда славяне жили «вечевым порядком». Граждане выбирали себе начальника, который должен был предводительствовать их народной дружиной. При князьях обязанность тысяцкого потеряла свой смысл, но все же они, тысяцкие, занимали почетное положение, — быть может, были первыми после князя, — имели свое войско и некоторую власть над гражданами.

Тысяцкого звали Василием Васильевичем Вельяминовым. Он презрел мирскую суету, удалился от власти и света и принял монашество. Однако звание тысяцкого, несмотря на постриг, осталось за ним.

Наследником Василия Васильевича был его сын — Иван, тот самый молодой человек, который затеплил свечу.

Священник был духовник старца, отец Михаил, более известный под прозвищем Митяя, из села Коломенского.

Он только что приобщил больного Святых Тайн, и Василий Васильевич лежал спокойно, недвижимый, с закрытыми глазами.

— Умирает? — шепотом спросил Иван Вельяминов Митяя.

— Кажись, отходит, — ответил духовник и, раскрыв Требник, приготовился читать отходную.

В это время умирающий пошевелился, веки дрогнули и приподнялись. Он уставил мутный взгляд на сына и едва слышно прошептал:

— Ваня!

Иван опустился на колени у отцовского ложа и наклонил голову.

Тысяцкий с величайшим усилием поднял руку и положил на голову сына. Это движение, вероятно, утомило его, потому что он некоторое время лежал молча и переводил дух.

В келье стояла глубокая тишина, прерываемая только глубокими вздохами больного.

Наконец умирающий собрался с силами.

— Благослови... тебя... Господь... — снова зашептал он. — Прощай... Ваня... отхожу к Отцу... нашему... Сын, помни... живи... так... как Христос повелел... Соблюдай заповеди... Божии... люби ближних... Духа... зла... горды-

ни... отгоняй. Силен... Ваня... враг рода человеческого... Знаю, нрав... у тебя... горячий... Смирять себя... Помни... наперед всего... душу блюди... в чистоте... Один ты... остаешься... так Бог тебе... заступник... и покоритель... Не прогневи... Его... Ваня...

Василий Васильевич смолк и плотнее откинулся на подушку. Последние силы его покинули, глаза закрылись, на лицо лег землистый оттенок, грудь начала подниматься медленно и неровно.

Иван чувствовал, как холодеет лежавшая на его голове рука отца.

Митяй перекрестился и начал читать отходную.

В келью неслышно вошли несколько монахов и, опустившись на колени, стали молиться.

У молодого Вельяминова сердце рвалось от боли, но в то же время где-то в тайниках души коварный голос шептал: «Отец умирает... Теперь ты тысяцким будешь».

Он сам пугался этой мысли.

«Время ль о сем думать?»

Хотел весь отдаться своей грусти и не мог. Беспокойная змейка честолюбия не унималась.

Внезапно умирающий приподнялся и широко открыл глаза. Он смотрел прямо перед собой и, быть может, созерцал то, что оставалось невидимым для окружающих.

Взгляд был радостен и светел.

Затем старец упал на подушку и вытянулся.

Глубокий вздох вылетел из груди, и больше она не поднялась.

Отец Митяй закрыл Требник и промолвил, крестясь: — Царство небесное.

Иван, плача, припал к недвижной груди отца.

Он скорбел, скорбел неподдельно, а в мозгу проносилось:

«Теперь я — тысяцкий!»

Несколько часов спустя умерший уже лежал на столе под образами.

Чтец-монах уныло, нараспев, читал псалмы; двое других монахов трудились в сенях, при свете фонарей, над «колодой» для покойника, которая нужна была непременно уже к утру: завтра должно было состояться погребение — в те времена не принято было выжидать, как ныне, трех дней.

Молодой Вельяминов хотел провести последнюю ночь с тем, кто при жизни звался его отцом.

Он присел в уголку на лавочке и в грустном раздумье смотрел на колеблющееся пламя свечей.

Теперь он был один, совсем один на свете... Мать давно умерла, братьев, сестер он не имел. Не было даже дядей и теток, двоюродных братьев и сестер Один!.. Это его и пугало, и радовало. Радовало, что он свободен, как ветер! И пугало, когда ему вспоминалось, что один в поле не воин. Но тут же он успокаивался при мысли:

«А с кем воевать?»

Будущее казалось ясным. Он станет тысяцким, будет в почете и власти.

Даже свои ратные люди будут.. А разве этого мало? Сам — что князь..

И честолюбивые думы наполняли голову, отгоняя грустные.

От зажженных лампад и свечей в келье было жарко и душно. Юношу клонило ко сну; он перемогался, но сон морил.

Он негодовал на себя

«Нешто можно спать в такую ночь?»

Но природа брала свое. Дрема охватывала.

Он прижался к уголку. Голова стала клониться.

Мечты и тоска слились в одно. И это «одно» было чем-то смутным. Чем-то смутным и неопределенным.

Но потом блеснул свет, перед которым померкли свечи. Словно кто-то унес их в высь недосягаемую. Они двигались медленно, а следом за ними уносились грезы Ивана Вельяминова.

И вдруг свечи померкли. И наступил мрак.

Что-то сверкнуло во мраке; точно стрела молнии проблеснула и смеркла.

И опять тьма, но полная жизни. Точно тысячи незримых духов вьются кругом.

Даже слышен шум их крыльев. Даже видно, как светится в темноте серебристое оперение.

«Что за диво? Куда я попал?» — спросил себя Иван.

А шуму все больше... Сверканье крыльев все сильнее.

«Али это призраки? Знаменье!»

Вдруг яркий сноп лучей прорезал мрак, свет был так силен, что его не могло вынести зрение.

Серебристые духи пали ниц. И откуда-то с выси,

вернее, из выси высот, слышалось пение, от которого «таяло сердце».

— Слава в вышних Богу... — пели сладостные голоса.

И в это время юный Вельяминов слышал шепот.

Он узнал, кто говорит: его отец.

— Сладко тебе, сыне... — лился шепот, — уже ли от этой сладости уйдешь? Гони лукавого... Я — в обители горней... Судил меня Господь милостью не по грехам моим... Приходи ко мне.

— Батюшка, оставь меня с собой! — как бы восклицает Иван Васильевич.

— Поживи, заслужи. Пути Господни неисповедимы.

— Как мне жить?

— Сие Христос заповедал. Гони лукавого... Он вьет гнездо в твоём сердце...

Шепот смолк.

Постепенно затихло пение.

Снова мрак.

Тишина жуткая, таинственная.

Что-то проблеснуло багряное... Померкло — и вдруг разлилось целым морем пламени. Огненные языки вздымались, как волны... Все выше, выше; казалось, они достигнут до неба — черного, без проблеска.

Потом огненная пучина раздалась, словно раскололась. Из середины поднялся гигантский, блистающий трон.

Страшен был сидящий на нем.

Его глаза метали молнии. Венец из кроваво-красного пламени покрывал голову.

Лицо было черно, как земля. Алые губы искривлены зловещей улыбкой.

Задрожал от ужаса Иван.

— Кто ты? — спросил он замирающим голосом.

В раскатах грома слышался ответ:

— Имя мне — Сатана. Я твой помощник и повелитель... Служи мне...

И вдруг захохотал, и огненные волны всколыхнулись от его хохота:

— Ты уже мой!

И откуда-то снизу, из-под пламенного покрова как вздох тысячи тысяч глухо донеслось:

— Ты — наш.

Волосы зашевелились на голове Вельяминова.

Он хотел перекреститься — рука не повиновалась ему.

— Боже! Спаси, — воскликнул он... и проснулся.

Чтец-монах стоял перед ним и с испугом смотрел на него.

— Чтой-то ты, батюшка, как кричал, — сказал он.

— Привиделось такое, что просто страсти, — ответил Иван, вытирая холодный пот.

— А ты помолись: это лукавого навожденье.

Монах снова принялся за чтение.

Вельяминов встал и подошел к телу отца. Он приподнял ткань, закрывавшую лицо покойника. Василий Васильевич как будто спал, выражение лица было безмятежно-спокойное.

Сын прильнул устами к холодному лбу отца.

— Батюшка! — зашептал он. — Обещаюсь тебе не впадать в соблазн. Получу власть — буду добрым господином... Как отец буду для рабов своих... Голодного — накормлю, бесприютному дам пристанище... Все несчастные будут ближними мне... Не дам поселиться в сердце моем злобе и корысти... Смирю гордыню мою...

Он шептал, и что-то вроде умиления наполняло его душу. Лились слезы тихие, умиротворяющие.

Иван Вельяминов говорил искренно; он действительно хотел так жить, как клялся над безжизненным телом отца. Ему казалось, что он сможет исполнить свой обет

II. ПО ВОЛЕ КНЯЖЕСКОЙ

Тысяцкий был слишком важным лицом в Москве, чтобы его смерть прошла незамеченной. Поутру о кончине Василия Васильевича знал уже весь город, и к Чудову монастырю спешили и стар и млад, и знатные князья да бояре, и простолюдины.

Перед кельей почившего старца колыхалась целая стена разного люда, а внутри келейка была полным-полна.

Стечение народа было тем более значительным, что ожидался приезд великого князя московского Дмитрия Иоанновича.

Для юного Вельяминова это утро было началом его торжества. На него уже все смотрели как на преемника умершего тысяцкого. Бояре рассыпались перед ним в любезностях и, хваля добродетели покойного, не забывали похвалить и самого Ивана; обращаясь к нему, они уже

прибавляли почетную частичку «ста», на которую имели право только люди «больших чинов»: другие должны были довольствоваться лишь прибавкой «су», а то даже и на нее не могли рассчитывать *.

— Сделай милость, Иван-ста Василич, уважь, в мой домишко загляни,— приглашал его какой-нибудь седобородый боярин.

И это «ста» и само приглашение приятно щекотали самолюбие юноши.

Когда он выходил из своей кельи, стоявший на дворе люд приветствовал его низкими поклонами:

— Здравствуй, батюшка Иван Васильевич!

Все головы обнажались как по приказу.

Высоко вздымалась при этом грудь Ивана, глаза радостно блестели. В эти мгновения он забывал даже утрату отца; грусть сменялась чувством удовлетворенного мелкого тщеславия.

Вельяминов тихо разговаривал с каким-то боярином, когда извне донесся шум голосов.

— Верно, великий князь!— воскликнул Иван Васильевич и побежал к выходу.

За ним гурьбой пошли бояре; поп Митяй поспешно облекся в ризу и с крестом в руках вышел вслед за другими.

Станным человеком был Митяй. Несмотря на то что он состоял только священником небольшой церкви села Коломенского, то есть был скромным сельским пастырем, змейка честолюбия свила себе прочное гнездо и в его сердце. Часто он мечтал о почестях, о власти и, сознавая, что едва ли ему возможно этого добиться, негодовал на судьбу. Что-то горделивое было в его красивом лице. Быть может, основой его гордости было то, что он действительно выделялся по уму, по образованию из ряда других служителей алтаря того времени, в большинстве едва грамотных.

Он знал кое-что по-гречески, имел возможность читать поучения святых отцов и, обладая прекрасною памятью, некоторые знал наизусть, как, например, сочинение святого Дионисия Ареопагита о небесной иерархии.

Кроме того, он был красноречив, и на его проповеди народ стекался толпами.

* Частица «ста» всегда прибавлялась к имени боярина 1-й степени и окольного; боярину 2-й степени прибавлялась частица «су»; остальных именовали без прибавки.

Поэтому отец Михаил чувствовал себя выше других, а тщеславие подсказывало, что он мог быть не простым попом.

Он жаждал случая выделиться, отличиться чем-нибудь.

Иван Васильевич не ошибся: подъезжал великий князь Димитрий Иоаннович. Он ехал верхом на белом коне покрытом богатым чепраком. За ним следовали также верхами несколько приближенных бояр.

Когда Димитрий Иоаннович остановил коня, Иван Васильевич подбежал и поддержал князево стремя.

— Тоскуешь, чай? — сказал великий князь, легко спрыгнув с седла. — Что поделать! Божия воля. Жаль его очень — хороший был старичок. Ну, веди меня в келийку

В сенях перед кельей его встретило монастырское духовенство и Митяй.

Пользуясь преимуществом духовника покойного, отец Михаил никому не хотел уступить чести поднести великому князю крест для целования и окропить его святою водой, и, едва показался Димитрий Иоаннович, сопровождаемый Вельяминовым с боярами, он выступил вперед и осенил крестом князя.

Великий князь благоговейно приложился к кресту, потом с любопытством взглянул на Митяя: он был очень богомолен и знал всех духовных лиц Чудова монастыря, но лицо отца Михаила было ему незнакомо.

— Ты что, батюшка, верно, недавно в сей обители? — спросил он.

— Я не отсель, великий княже. Я из села Коломенского... Духовник я покойного... — с низким поклоном промолвил Митяй.

— Так... То-то мне и лик твой не знаком, — сказал Димитрий Иоаннович и еще раз окинул взглядом отца Михаила.

Ему понравился этот высокий священник с красивым, умным лицом, медлительной, тихой речью.

— Пойдем помолимся о почившем, — сказал князь. Все прошли в келью.

Прозвучали скорбные слова панихиды.

Потом гроб подняли и понесли в собор. В числе несших был сам Димитрий Иоаннович.

На заупокойную обедню и отпевание в храм прибыл сам владыка — святой митрополит Алексей. Он был уже очень стар — ему шел девятый десяток, — но, хотя стан

его сильно согнулся, хотя руки старчески дрожали, глаза были ясны, как у юноши, и светились кротостью и умом.

Торжественно раздавались по храму слова молитв.

Усердно молился коленопреклоненный великий князь. Усердно молился и Иван Васильевич. Но его молитве мешали суетные думы.

Он жаждал скорейшего окончания богослужения, чтобы, когда прах отца будет скрыт земным покровом, услышать из уст княжеских утверждение в высоком звании тысяцкого.

«Превыше всех бояр стану!» — бродила в голове Вельяминова тщеславная мысль.

Закончилась литургия, за ней последовало короткое отпевание; простились с тем, кто недавно еще был московским тысяцким.

Глухо ударили молотки, заколачивавшие гроб.

«Земля еси и в землю отыдеси...»

Молчание царило в храме...

Святой Алексей, муж ученейший, в совершенстве знавший греческий язык и знакомый с латынью, смотрел сосредоточенно-спокойно на гроб и все повторял про себя классическую фразу, полную глубокого смысла и так хорошо сознаваемую и передаваемую русским народом:

«Nodie tibi, cras mihi».

И, может быть, у каждого молящегося в мозгу шевелилась та же мысль, только, конечно, выражалась она не на мертвом языке, а на живом:

«Сегодня тебе, завтра мне».

И у всех, даже у врагов покойного (и он имел врагов! кто не имеет их!) тихой грустью щемило сердце.

Иван Васильевич плакал, как женщина. В этот — и, быть может, *только* в этот миг — оставили его честолубивые помыслы.

Он страдал, невыносимо страдал душевно.

Он глубоко верил, что отец его будет блаженствовать в обители высших, что оплакивать судьбу почившего нечего — он счастлив, но ему-то, Ивану, человеку из плоти и костей, была невыносима разлука.

Он готов был разбить себе голову о дубовую крышку гроба-колоды.

В минуту его величайшей скорби к нему приблизился Димитрий Иоаннович и положил руку на его плечо.

— Ты не изводись, — сказал великий князь, — всем нам то же будет... Тело что? — тлен, прах... А душа у него

была чиста. Господь возлюбил его... Он в обителях райских за нас грешных теперь молится... Ты не сокрушайся — «там» свидитесь... А пока ты жив, я тебя не забуду. Я дам тебе вотчину богатую, в бояре возведу... Ладно ль? Вестимо, тысяцким ты не будешь, потому зачем, правду-то сказать, тысяцкие? Но всем ты от меня обеспечен будешь... Не убивайся, молодец!

И князь, ласково потрепав его по плечу, отошел.

Иван Васильевич и точно перестал сокрушаться. Грусть как рукой сняло. Слова князя вернули его на землю и ударили как ножом в сердце.

«Вестимо, ты не будешь тысяцким...» Это был приговор, страшный приговор для юного Вельяминова.

Все его существо было потрясено.

«Отец в обителях райских... Ему, конечно, хорошо. А я живу... Почему я не могу быть тысяцким, ежели он был? «Зачем тысяцкие?» Зачем?! Да мне это надобно. Мне!»

В своем волнении он не слышал, как заколотили последний гвоздь в крышку гроба.

Но зато хорошо слышал Митяй. Он, испросив благословение у владыки, предстал на амвоне печальный и безмолвный.

Все глаза обратились к нему.

Он выжидал. И только когда прозвучал последний удар молотка, заговорил...

Речь его лилась, как ручей с отлого холма: не быстро, но неудержимо. Он хотел сказать ее для князя, но когда начал говорить, то в душе его поднялось и закипело все лучшее, что в ней таилось. И речь его была поистине вдохновенной.

Он говорил, — и был искренен в это время, — что человек не должен «прилепляться» к земному, что настоящая отчизна людская не здесь, на темной земле, а там — за пределами, не доступными оку человеческому. И не только оку, но и уму. Разве поймет даже великий ум человеческий райские блаженства, которые заключены в созерцании Божества? Разве это достижимо? Только светлыми душами может быть понято это блаженство. А много ли их, светлых душ? Убивающий плоть пустыльник стремится не к убийству своего тела (это делают и самоубийцы), а к возвышению духа над телом. Но подвижник, питая душу, хранит и тело свое. Потому что и оно не только «очаг страстей», но и подобие Божие. Он, святой, не станет уродовать себя — он не выколет себе

глаз, он не лишит себя слуха — потому что Господь сотворил человека не бестелесным, и каждый, посягающий на жизнь тела, посягает и на определение Божие... Почему отшельники и святые люди долго живут? Восемьдесят, сто лет — заурядный возраст для подвижников. Ответ ясен: потому, что *они приближают свою плоть к первоначальной чистоте*, к той чистоте, в которой явился первобытный человек, к чистоте Адама до его грехопадения. Святые не убивают, но *восстанавливают* плоть такою, какою она должна быть, если исключить все то, что мешает ее естественному развитию, то есть всякие излишества, роскошь, лень...

Долго говорил отец Михаил, и каждое слово его находило отклик в сердцах молящихся.

Многие плакали, на глазах Димитрия Иоанновича блестели слезы.

Всем было и грустно и сладко, потому что в эти мгновения, в душе мелькнул божественный свет. Дух жаждал очищения, стремился на свою небесную родину.

Один только человек составлял исключение среди молящихся.

Это был Иван Васильевич.

Он стоял бледный как смерть, с воспаленными сухими глазами. Едва ли он слышал речь Митяя. Для его души не мелькнул проблеск божественного света: в ней была злоба и мрак. Он чувствовал себя обиженным, оскорбленным.

Когда настала пора нести гроб к месту вечного упокоения, Вельяминов шатался, как хмельной.

Это приписали его горести по умершему отцу. Его жалели:

— Эх, убивается, бедный!

— Изводится. Да ведь и то сказать — отца родного хоронит.

На могиле великий князь вновь пожалел его, подтвердил свое обещание «не забыть его», но снова повторил, что чин тысяцкого он решил уничтожить, как совершенно излишний.

Слова князя слышали окружающие бояре, и отношение их к молодому Вельяминову разом переменилось. Куда делись их медовые речи! Их заменило ледяное молчание да насмешливые улыбки.

Кое-кто перешептывался, кивая в сторону Ивана Васильевича.

Все это заметил Вельяминов, и злоба с удесятеренной силой закипела в сердце.

«Добьюсь своего, не мытьем, так катаньем... — думал он, стиснув зубы. — А не станет по-моему, так отплачу же я князю-ворогу».

А Димитрий Иоаннович между тем, не предчувствуя, что рядом с ним стоит заклятый враг, спокойно беседовал с владыкой, и когда могила была засыпана, сделал знак Митяю подойти.

— Красно говоришь ты, батюшка, — сказал ему великий князь, — почаще слушать тебя хотелось бы... Как тебя звать, отец?..

— Михаилом, государь княже...

— Умилительно говоришь... Тебе не в селе Коломенском сидеть... Мы сие устроим...

И, ласково кивнув ему головой, Димитрий Иоаннович принял благословение от святого Алексия и удалился с погоста.

Дольше всех оставался у могилы Иван Васильевич; он упросил распорядиться поминками, которые были устроены в его доме у Покрова, одного из своих приятелей, а сам остался у могильного холма и, когда все ушли, кинулся лицом на землю и зарыдал озлобленно, отчаянно.

— Батюшка! Слышишь ли меня? — взывал он. — Меня обидели, отнимают твое наследие.

Но безмолвна была могила. Только ропот берез, шелестевших пожелтевшей листвой, смешивался с причитаниями юноши.

III. СВЯТОЙ ВЛАДЫКА

В эту эпоху, к которой относится наш рассказ, жил в Москве человек, имя которого с глубоким уважением произносилось всеми — от великого князя до последнего смерда.

Человек этот — был святой митрополит Алексий.

Полна подвигами и глубоко поучительна жизнь этого святителя.

Святой Алексий родился в Москве в 1293 году. Родом он был из черниговских бояр. Родители его, Федор Бяконт и Мария, переселились в Москву из Чернигова, желая найти более спокойную местность, так как Чер-

нигов того времени подвергался частым татарским набегам. В Москве княжил тогда сын святого князя Александра Невского, Даниил Александрович.

У Федора и Марии было несколько человек детей. Старший из них носил имя Елевферия и его крестным отцом был сын московского князя Иван Данилович. Этот Елевферий Бяконт и стал впоследствии святым митрополитом московским Алексием. Мальчик учился под руководством своих родителей и рос как другие дети, пока не произошло событие, чрезвычайно повлиявшее на него. В детстве он любил ловить сетями птиц, и однажды, когда он раскинул в поле сетку для ловли, им вдруг овладел глубокий сон. Во сне он услышал голос: «Алексий, что напрасно трудишься? Будешь человека ловить» Мальчик проснулся, но никого не увидел. Шел тогда ему двенадцатый год.

С этих пор Елевферий совершенно изменился. Он перестал увлекаться всякими забавами, полюбил уединение и тишину, проводил время за чтением душеполезных книг в посте и молитве. Родители, заметив в нем такую перемену, решили, что сын нездоров, и не раз при нем грустили. Он же их утешал:

— Не печальтесь, а радуйтесь... Как Господу угодно устроить мою жизнь, так и да будет.

В четырнадцать лет он принял решение оставить родителей и посвятить себя иноческой жизни. Решение еще более окрепло к двадцати годам: в эту пору он удалился в московский Богоявленский монастырь, где принял пострижение от брата преподобного Сергия, игумена Стефана, причем был наречен тем именем, каким был назван некогда в сновидении.

Через Стефана он познакомился и вскоре подружился с преподобным Сергием Радонежским.

В монастыре святой Алексей повел самую суровую жизнь: непрерывная молитва, строгое воздержание выделяли его из числа других монахов; он всех приводил в изумление своими подвигами благочестия. Святой Алексей оставался в обители до 40 лет, когда митрополит Феогност взял его к себе для управления церковными судами на митрополичьем дворе. В этой должности, именуясь наместником митрополичьим, он пробыл 12 лет. При митрополите жило много греков, от которых святой Алексей выучился греческому языку и затем занялся сличением славянского перевода Нового Завета с гречес-

ким подлинником и исправлением текста славянского по греческому; перевод этот отличается буквальною близостью к греческому тексту.

Митрополит Феогност и великий князь московский Симеон Иоаннович очень полюбили святого Алексия за чистоту его жизни и кротость характера. С согласия великого князя митрополит поставил святителя епископом Владимира, а когда владыка и Симеон Иоаннович пали жертвою моровой язвы, наследовавший престол брат умершего князя Иоанн Иоаннович собором избрал святого Алексия на митрополию.

В это время святителю впервые пришлось пострадать от человеческого тщеславия и мирской суеты.

По требованию константинопольского патриарха святой Алексей должен был явиться в Константинополь, что владыка и исполнил. Патриарх благословил его на митрополию, но, вернувшись на Русь, святитель нашел себе совместника в лице Романа: под давлением юго-западных князей константинопольский собор поставил Романа митрополитом для Запада Руси. Русская церковь была очень смущена этим разделением и желала иметь своим первосвятителем одного Алексия.

Роман между тем рассылал по епархиям своих посланников с требованием дани и изъяснял притязания на Киев и Тверь; ни там, ни тут он не был принят.

В русской церкви поднялась великая смута.

Чтобы положить ей конец, святой Алексей вновь предпринял путешествие в Константинополь, куда прибыл и Роман. Патриарх Каллист подтвердил Роману, что он митрополит только Литвы и Волыни, а Киев и великую Россию предоставил управлению святого Алексия.

На возвратном пути из Византии владыке пришлось пережить жестокую бурю на Черном море. Волны яростно кидали утлое и полуразбитое судно. Ужас овладел всеми. Один святой Алексей остался спокоен, уповая на милость Божию. Среди криков отчаяния, среди царившего смятения он жарко молился и дал обет построить храм во имя того, кого православною церковью назначено праздновать в день, когда корабль пристанет к твердой земле.

Крепка была его вера, жарка молитва, и свершилось чудо: буря притихла.

Корабль благополучно достиг северного побережья; владыка сошел на землю; это случилось 16 августа —

в день, посвященный православною церковью празднованию Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа; стечение обстоятельств тем замечательнее, что и самый Нерукотворный образ святой Алексей имел при себе на корабле.

Согласно обету, святитель, дивясь милости Божией, явленной ему, создал не только храм, но целый монастырь во имя Спаса. Этот монастырь находится в четырех верстах от Кремля и именуется Спасо-Андрониевым.

Приняв бразды первосвятительского правления, владыка издал поучение к пасомым им православным христианам. Оно поражает своею простотою, теплою любовью и заботливостью о духовном преуспейании чад церкви. «Напоминаю вам, — пишет он, например, — слово Спасителя, сказанное Им Своим ученикам и апостолам: «Сия заповедаю вам, да любите друг друга... О сем разумеют вси, яко мои ученицы есте, аще любовь имате между собою». Так и вы, дети, имейте между собою мир и любовь...

Также имейте, дети, в сердцах своих страх Божий, ибо при нем человек может стяжать всякую добродетель. Сказано: «Начало премудрости — страх Господень». И Григорий Богослов пишет: «Где страх Божий, там очищение плоти и соблюдение заповедей; где соблюдение заповедей, там возвышение души в горний Иерусалим».

Святой Алексей, не переставая учить свою паству, сам подавал пример праведной жизни. Слава о его святости достигла даже Золотой Орды. Жена хана Джанибека Тайдула долгое время страдала разными болезнями и слепотой. Хан, сведав, что после молитвы святого Алексия творятся чудеса, послал грамоту великому князю московскому с просьбой прислать к нему святителя, угрожая в противном случае войной и разорением. После усиленных просьб великого князя и ради спасения Руси от татарского нашествия владыка решился поехать в Орду. Когда, отправляясь в путь, он молился в церкви Успения Божией Матери, у гроба святого Петра-митрополита сама собой загорелась свеча на глазах у всех. Это было ему предзнаменованием, что путь его благословляет Бог. Святой Алексей слепил из воска чудесно загоревшейся свечи маленькую свечку и, твердо уповая на милость Божию, поехал к хану.

Еще до его прибытия в Орду Тайдула видела во сне святителя Алексия в полном облачении, окруженного

священниками. Пробудившись, она приказала сделать архиерейское облачение по тому покрою, какой видела во сне.

Хан встретил святителя с великими почестями и сам ввел его в палату. Святой муж, служа молебен, возжег свечу, слепленную из воска той, на которой явилось знаменье, молился долго и жарко, потом окропил Тайдулу святою водой.

Каково же было изумление, радость и благоговейный ужас всех окружающих, когда Тайдула вдруг с сияющим лицом воскликнула:

— Я вижу, вижу!

В благодарность и в память своего чудесного исцеления она подарила святителю перстень *, хан осыпал его дарами и отпустил с честью и миром на Русь. Кроме того, Тайдулою была дарована святителю обширная земля в Московском Кремле; здесь был впоследствии святым Алексием построен монастырь в память чуда Архангела Михаила в Колоссах; обитель эта более известна под названием Чудовской.

Едва владыка успел вернуться в Москву, как ему снова пришлось ехать в Орду по совершенно другому поводу.

Хан Джанибек, муж Тайдулы, был убит своим сыном Бердибеком. Захватив власть, новый хан перебил всех своих братьев и намеревался напасть на Русь.

Казалось, предстояло новое нашествие Батыя.

Разрозненная Русь того времени не могла бороться с несметными полчищами.

Все трепетали от ужаса. Уже мерещились спаленные и разграбленные города и деревни, тысячи окровавленных трупов, над которыми со зловещим карканьем носились стаи воронов и ворон, плачущие дети, лишившиеся родителей, жены и дочери в плену у хищных дикарей.

Конец Руси!

Великий князь Иоанн Иоаннович, занимавший в это грозное время московский престол, тревожась о судьбе своей державы, обратился к Алексию, которого почитали и русские и татары, с просьбой смягчить сердце кровожадного хана.

И митрополит, несмотря на угрозу мученической смерти, отправился в Орду.

* В настоящее время он хранится в патриаршей ризнице, в Москве.

Не выдержало жестокое сердце Бердибека, когда он услышал полные скорби, всепрощающей любви и милосердия слова святого.

Хан, который проливал кровь как воду, не тронул и волоса святителя, и отпустил Алексея в Москву с вестью о мире, и, кроме того, подтвердил, что русское духовенство свободно от всяких даней и налогов.

Всею сердцем любил святитель свое отечество и служил ему, не жалея себя. Всюду и везде сказывалось его благодетельное влияние: то он советует и дает средства юному великому князю Дмитрию Иоанновичу обнести Москву каменными стенами, то старается примирить враждующих князей, то едет в Киев, то в Нижний Новгород; наконец, строит храмы, воздвигает монастыри.

Таков был он -- светильник веры, ярко горевший на Руси

Время брало свое. Наступили преклонные годы, и святой владыка заметно слабел

И у окружающих зарождался тревожный вопрос:

Кто может стать приемником святителю?

И казалось осиротеет земля Русская, когда святой Алексей покинет этот мир

Все видели свою надежду и опору в святителе, все спешили к нему за помощью и советом.

Не было исключением и Иван Вельяминов.

К кому прибегнуть с просьбой о заступничестве перед великим князем? Кого просить, чтобы походатайствовал перед Дмитрием Иоанновичем об отмене неприятного для него, Ивана, решения?

Конечно, только к нему, ко всеобщему печальнику митрополиту Алексию можно было обратиться с такими просьбами.

Вельяминов так и сделал. На другой день после погребения отца Иван явился в митрополичьи палаты

Владыке нездоровилось, но он все-таки принял его

Что тебе, чадо? спросил святитель, благословив юношу

Владыка! Горе у меня великое -- начал Вельяминов, стоя на коленях

Знаю, чадо, знаю, -- промолвил Алексей, полагая, что Иван понимает смерть отца, -- но что же делать? Божия воля. Ныне отзовет Господь к себе одного, другого -- после Все мы гости в сем мире

Да, -- сказал юноша, конечно, сие горе велико

Да... Но у меня есть еще и другое великое... Ты слышал, святой владыка, что тысяцких больше не будет?

— Говорил мне государь князь...

— Заступись за меня, владыка... Заступись. Почто ж князь меня наследия моего лишает? Али я чем провинился? Всегда был ему верный слуга.

— Князь к тебе милостив, он тебе вотчину хочет дать. А чин тысяцкого не по нем. Что же я могу, чадо? Мое дело Бога молить, а не в княжьи дела мешаться. А скорбеть тебе, сдается, и не о чем. Кабы князю ты был не люб...

— Не люб! — воскликнул Вельяминов, вспыхнув и вскочив на ноги. — Не люб и есть! Испокон века тысяцкие были... И отец мой, и дед, и прадед в тысяцких сидели. Что же я за несчастный? Вотчину даст... Да не надо мне ее. Хочу тысяцким быть.

— Нет, я тебе не заступник в этом деле, — с некоторою строгостью промолвил святой владыка. — Абы нужда была большая, абы точно обижен был, тогда бы я заступился... А у тебя суетность. Тебе хочется власть над людьми иметь, превыше других стать...

Святитель взглянул на бледное, со следами слез лицо Ивана, и его доброму сердцу стало жаль уношу.

— Ты не крушись, — заговорил он мягко, — я не в осуждение, а в назидание... Гони мысли суетные, Богу молись, служи князю-государю верой-правдой, и он тебя не забудет... А коли что, тогда и я тебе пособлю. Иди с миром, чадо.

Наблюдая за собеседниками, нельзя было не заметить, сколь различны между собой эти два человека. Один из них, старец, смотрел ясным, глубоким взглядом; тихой лаской веяло от его величественного лица, обрамленного белоснежной бородой; ощущалась какая-то мощь духа в этом слабом, согбенном теле.

Второй — юноша, стройный, как тополь, могучий, как богатырь, стоял понурый, со злобно блестящими глазами и искаженными чертами лица; брови сдвинулись, словно кому-то грозя, около глаз залегли темные полосы. В этот миг он казался олицетворением злобы.

Не отозвались слова святого старца в душе Ивана; «дух зла» овладел им и ожесточил сердце. Он ушел от владыки еще более озлобленным, еще более отчаявшимся.

Когда он шел по улице, прохожие с удивлением и бо-

язнью сторонились его: таким «волчьим» взглядом окидывал он их. В нем едва признавали юного Вельяминова, которого привыкли видеть с открытым, приветливым лицом и ясным взглядом.

Он словно постарел на десяток лет.

«И владыка не заступился! Кто же заступится? Ужели так-таки ничего и не поделать? Нет же, нет! Не буду тысяцким, буду еще большим. А князю-государю отплачу... Погоди, дай срок!»

И злобные мысли вихрем теснились в голове.

Он вернулся в свой дом — обширный и крепкий — и затворился в опочивальне.

Он не вышел к обеду, не сел за ужин.

Прислушиваясь к его шагам — ровным и непрерывным, — слуги перешептывались:

— Чай, все по отцу скорбит.

— Не ест, не пьет, уж это Бог знает что.

— За сердце взяло.

Оно и точно — крепко «за сердце взяло» Ивана. Он не знал, что делать с собой, как затушить пламень, жегший душу.

Он пробовал молиться, молитва не ладилась. Он хотел отбросить думы и не мог.

Несколько раз шевелилась отчаянная мысль:

«Лучше не жить».

Но все существо восставало против «бездны смерти».

Жить, жить! Но так, как ему хочется.

Но как устроить? Где искать помощи?

И откуда-то из неведомых тайников души словно прозвучало:

— У меня!

И в воображении его пронеслось грозное, черное лицо Сатаны.

Он вздрогнул, оперся на тяжелый дубовый поставец и бессильно, чуть слышно прошептал:

— У тебя?!

Ужас объял его.

Но злоба была сильнее ужаса.

— Что ж а... хоть бы и у тебя... — промолвил он побледневшими губами. — Ты-то дашь ли мне, чего желаю?

Где-то в душе откликнулось:

— Дам.

Твердой решимостью наполнилось сердце Ивана.

— Так пусть же! Пусть хоть сатана мне поможет!

И он снова зашагал по своей опочивальне, грозный, нахмуренный, со сжатыми в кулаки руками.

Мысли теснились в его мозгу и давили его.

Черные, страшные думы. Он мысленно отдавал свою душу дьяволу, он мысленно прибегал к чарам.

И воображение рисовало ему будущее его могущество.

Он видел себя богатым властелином.

Он водил полчища, лилась кровь «его врагов».

Он видел Москву спаленную и князя Димитрия Иоанновича, лежащего в прахе у копыт его коня.

— Так тебе, так тебе! Так больше тысяцких не надобно тебе, княже?

И злобно хохочет он, и вот-вот готов раздавить великого князя конской пятой.

— Разве за все это не стоит душу продать? — размышляет он.

И сам себе отвечает:

— Это ли души не стоит? Если бессильны руки сотворить, если на силу есть сила большая, помогут чары. Волшебству и колдовству все подвластно. Не спасут во рога ни его ратные люди, ни крепкие стены.

Чары, как пыль, сквозь щель пройдут, как вода, через чуть приметную скважину проберутся. Сказал — не мытьем, так катаньем... Добьюсь...

И бегут думы одна за другой, и то застывает, то трепетно бьется сердце его.

Время идет. Стало темнеть.

Кое-кто из слуг, не дождавшись выхода своего господина, стал приваливаться на покой.

Затих дом.

Вдруг среди тишины громко прозвучал и поднял всех на ноги господский приказ:

— Оседлать коня!

Через несколько минут оседланный конь фыркал у крыльца, а еще немного спустя вышел и сам Иван Васильевич.

Он был в одном кафтане, без охабня; у пояса покачивался тяжелый меч и сабля в бархатных ножнах; за плечами — лук и колчан.

Он изготовился как к бою.

Нахлобучив поплотней шапку, Иван вскочил на седло,

склонился вперед, гикнул, вихрем вынесся за ворота и скрылся из глаз удивленной челяди во мраке осенней ночи.

IV. НЕКОМАТ СУРОВЧАНИН

...Ясное осеннее утро.

Богатый купец Некомат Суровчанин стоит у окна своего дома и смотрит на окрестности. Ему тридцать лет, не больше. Плечи широки, стан крепок, лицо, окаймленное темно-русой бородкой, красиво, но бледно и угрюмо.

Перед его взором расстилались поля со щетиной сжатой ржи, луга с сильно поднявшейся отавой. Дальше лес с темными пятнами хвои и желтыми и красными набросками отживающей листвы.

Обозревая эту картину, Некомат размышлял:

— Ишь, земли! Глазом не охватишь. Тут тебе и луга, и поля, и бор... Бо-о-гатство! Сена к Петрову дню сколько накашиваем! А хлеба собираем, а овса... Уйма! Да еще старания, какого нужно, не приложено. А постараться, — приглядеть здесь-там, пораньше встать, попозже лечь — огребай добро лопатами. Э-эх! Было бы мое, сумел бы постараться. А так, чужое-то обхаживать, кому охота? Честь-то все равно одна будет: пройдет немного времени — помелом погонит. Мне бы пока что хоть малую толику припрятать... Люди думают: Некомат гость богатый, большой торговый человек... Знали бы они, что я только пасынковым добром и дышу. Исполнится ему двадцать годов, все он и заберет. И останусь я чист молодец. Плохо распорядилась покойница, что говорить. Обидела меня. Его, говорит, отец наживал, так ему всем и владеть. А все толковала, бывало, «муженек любимый». Вот те и любимый.

Угрюмое лицо Суровчанина покрывалось пятнами от желчного волнения. Брови у него сдвинулись, в тусклых, впалых глазах сверкнули злые искорки. Он нервно дернул бороду и отошел от окна.

— Грехи одни, — пробормотал он, прохаживаясь. — Кабы отделаться от этого парнишки. А-ах, кабы!

Тихо стукнули в дверь светлицы.

— Кто там? — спросил Некомат.

В дверь выставилась кудлатая седая голова.

— Что тебе, Пахомыч?

В комнату бочком пролез приземистый старик

с обезьяньим лицом, испещренным морщинами, и юркими лукавыми глазами, полуприкрытыми клоками седых бровей.

— Я к твоей милости, — проговорил Пахомыч.

— А что?

— Силушки нет сладить с пасынком твоим. Помилуй, совсем заморил он Чалого.

— Этакого коня?!

— Пропала лошадь. Вхожу сейчас в конюшню, гляжу, сена не ест и сама дрожит. На ней теперь разве впору воду возить, да и то годится ль!

— Любимый мой жеребчик. Растил его, холил красавца, вскормил — и вот! И как Андрюшка мог такого коня зарезать?

— Вчерась оседлать приказал и поехал. Знамо дело, от безделья скука берет. Сам знаешь, какая вчерашний день погода была — дождик, буря, не приведи Бог. А ему, вишь, дома не сидится. С утра до вечера по полям шаркал. Конь не поен, не кормлен, ну и заморил. Как он вернулся, я так и ахнул: мыло с коня так клочьями и сыпется, что снег. Тогда же подумал я: ой, зарезал коня. И сдается мне, что он тебе назло извел коня: знает — твой любимый.

— Может быть, и очень может быть. От него уваженья не дожидаться, а чтобы назло, сколько хошь. Уж паренек! Вот он где у меня!

Некомат указал на свою шею.

— Испытанье тебе, Господом посланное, — сказал Пахомыч, сочувственно вздохнув, и продолжал: — Один-одинешенек поехал и воров-душегубов не побоялся... А ноне у нас их страсть развелось: намедни трифоновского ключника среди бела дня зарезали, только малость от дома отошел. Дивно, как Андрей Алексеича не полоснули.

— Кабы полоснули! — пробурчал Суровчанин так, что ключник мог и не слышать. Но он услышал. Весь как-то дернулся, подался вперед и тихонько промолвил:

— Управились бы с ним воры, благодать была бы.

— Н-ну, — промычал Некомат, смущенно глянув в сторону.

— Нет, в самом деле, — зашептал старик, еще ближе пододвинувшись к нему. — Оно, конечно, грех желать такое. Но от слова ничего ему не сделается. А только как не сказать, что легче стало бы без него.

Суровчанин не останавливал холопа и нервно щипал бороду.

— И то взять, — продолжал шептать ключник, — что вот теперь ты всем владеешь, а малость времени пройдет — приберет все к своим рукам Андрей Лексеич. Мы, рабы, попадем в его лапы, а тебя, ты не осерчай на меня, — может, из дома погонит.

— От него дождешься.

— Чего от него не дожждаться? Всего ждать можно. Меня он со свету сживет, уж это как пить дать. Он меня страсть не любит. Беда всем будет...

Пахомыч наклонился к самому уху купца и прошептал:

— Кабы греха не бояться, то можно бы...

— Отыди, сатана! — вскричал Суровчанин, покраснев.

Поднялся с лавки и зашагал по комнате.

Старик отскочил к двери и забормотал с покорным видом:

— Ведь я не говорю, чтобы беспрременно. Я сказал, коли не бояться греха. А мы, вестимо, христиане православные, мы греха боимся. Я так, к слову то ись... А ты меня сейчас уж и сатаной.

Некомат ходил опустив голову. Лицо его словно потемнело. В глазах выражалась тревога и злоба.

Вдруг он круто остановился перед Пахомычем и спросил:

— Ну, а... ну, а как было бы можно?

Ключник встрепенулся.

— Как? Придумать недолго. Кликни — руки найдутся... На воров-душегубов свалим, — прошептал он.

— Где найдешь? — напряженно шептал купец. — Да после эти же руки, может, и к нашему горлу потянутся?

— Не посмеют потянуться. Устроим. У меня, сказать правду, на примете есть.

— Будто?

В это время в сенях слышались быстрые шаги. Дверь распахнулась, и на пороге появился юноша лет девятнадцати, высокий, голубоглазый, краснощекий. Его плечи еще не вполне развились, но было видно, что он станет богатырем. На мощной шее сидела красивая голова с кудрявыми белокурыми волосами.

Это был пасынок Суровчанина, владелец усадьбы и земель Андрей Алексеевич Кореев.

Увидев его, Некомат угрюмо спросил

— Что, Чалого-то загнал?

— Я загнал Чалого? Когда мне было его загнать? Конь, правда, теперь вконец испорчен, да только оттого, что его опоили, — ответил пасынок

Пахомыч, успевший отдалиться от Некомата, с жаром возразил:

— Грех тебе, Андрей Алексеич, на людей напраслину взводить. Сам виноват, так зачем на других вину перекладывать? Вьюнош ты еще молоденький и на этакое пускаешься. Непригоже.

Молодой человек пожал плечами и промолвил

— Да когда я мог коня загнать?

— А вчерась.

— Много ли вчера я ездил?

— А от обеда да вплоть до вечерка.

— Полно врать-то! — с негодованием воскликнул Кореев.

— Я что? Я человек маленький, — смиренно сказал ключник, злобно блестя глазами. — Одно слово — раб Я все должен с покорством стерпеть. Пусть твоя правда, мне спорить нельзя. А только вспомяни то, что я еще твоей матушке с батюшкой служил, когда тебя и на свете еще не было. У меня уж борода сивая, а у тебя еще ус не пробился... Грех старика обижать. А снести я все снесу. Все снесу, не привыкать стать. За жизнь-то свою чего не натерпелся... А только обидно..

И, ворча, он вышел.

— Коня, конечно, жаль, — сказал отчим после его ухода. — Хороший конек... Дома вырос, потому я и говорю... Но ты волен делать как знаешь. Не мое добро.. И ежели я печалюсь, то потому, что о тебе пекусь...

Он примолк, потом продолжал, стараясь придать голосу задушевный тон:

— Я ведь тебя этаким знал. — Он указал на аршин от пола. — Можно сказать, ты на моих руках вырос. Люблю я тебя, как сына родного... Денно и ночью заботушка о тебе меня берет. Вот пройдет годик, сдам я тебе все хозяйство, тогда делай как знаешь, слова не скажу... Сам будешь в возрасте... Ты будешь хозяйствовать, а я пойду угодникам молиться либо постриг приму... Уйду из усадьбы.

— Зачем уходить? Как жил, так и живи. Я только рад буду

— Нет, брат. Двум медведям в одной берлоге не ужитья.

— Не стоит об этом толковать, батюшка: я тебя не пущу; ведь еще не скоро мне и хозяйство принимать: больше года еще осталось. Чего раньше думать да загадывать: мало ли что еще может случиться! День сегодня погожий, — добавил Андрей Алексеевич, глядя в окно, — взять лук да пойти зайцев пострелять: много их у нашего огорода шмыгает.

Он ушел.

Отчим посмотрел на захлопнувшуюся за ним дверь, и благодушное выражение разом соскочило с его лица.

— Да, — пробормотал он, — еще срок есть. Мало ли что еще может случиться. А с Пахомычем надобно как следует потолковать.

И он зашагал по комнате, полный черных, смутных дум.

Скажем теперь несколько слов в пояснение того, каким образом торговый человек Некомат очутился в роли опекуна (разумеется, называем его так современным нам языком) Андрея Алексеевича.

В то время не существовало еще крепостного права, не существовало также и права только одного сословия на владение землей.

И крестьяне были прикреплены к земле, и право владения ими и землей сосредоточилось исключительно в руках высшего сословия гораздо позднее той эпохи, к которой относится наш рассказ. Приобретать землю и покупать рабов мог человек всякого «звания». В рабы, в свою очередь, мог продаться всякий желающий — стоило только выдать на себя кабалу.

Таким образом, Суровчанин хотя был купцом, или, как тогда называли, гостем, мог рассчитывать присвоить себе имения Кореева и фактически владеть землей и людьми.

Лет десять тому назад Некомат был мелким торговым человеком; он торговал холстом и суровским товаром, отчего и получил прозвище Суровчанина. Он наезжал в имение матери Андрея Алексеевича — вдовы княжьего боярина — закупать холст. Красавец собой, он приглянулся молодой еще вдове, и вскоре она вышла за него замуж, не раздумывая о том, что она — боярыня, а он простой гость.

С женой Некомат прожил лет пять. Она скончалась от какой-то долгой и мучительной болезни.

— Что свеча растаяла, — говорили про нее.

Умирая, она позаботилась о сыне от первого брака: все имущество она завещала ему, а своего второго мужа оставила только «пестуном»:

— Пока Андрюша в возраст не придет.

Суровчанин, впрочем, мог также все наследовать.

— Ежели, Боже упаси, Андрюшенька помрет раньше.

Так Некомат стал опекуном пасынка и фактическим, временным, владельцем имения, но не собственником его.

В первые годы купец был очень доволен: «Когда еще малыш в возраст придет. Может, еще его Господь и приберет».

Но по мере того как проходили годы, а мальчик превращался в цветущего юношу, Некомат становился грустней и задумчивей: «добро» ускользало из рук. Недалек был день, когда предстояло расстаться с этакой «благодатью». Правда, гость успел припрятать добрую толику про черный день, но ему этого казалось мало. Его торговля шла плохо и, в сущности, поддерживалась только деньгами, которые он извлекал из поместья опекаемого. Люди этого не знали, но он-то хорошо знал: не будет имения — придется и торговлю бросить.

А имение было золотое дно. Лежало оно всего в какой-нибудь версте от Москвы; земля хорошая, леса — все есть, что хочешь.

Опекун с ненавистью стал думать о своем пасынке. Андрей Алексеевич был в его глазах врагом его счастья.

«Кабы помер!» — часто проносилось в его голове, когда он смотрел на пасынка.

И все чаще и чаще стала являться дума о желательности смерти Андрея Алексеевича.

В одно из таких мгновений и подвернулся Пахомыч со своими речами.

К чему привел разговор между ключником и купцом, читателям известно.

Конечно, и старый ключник преследовал свою выгоду, подбивая господина на преступление. Недаром он на самом деле опоил Чалого. Андрей Алексеевич не терпел бы его за злобу и пронырство, и, со вступлением Кореева в свои права, ключник должен был лишиться своего первенствующего значения среди челяди; кроме того, если бы удалось «отделаться» преступным образом от

Андрея Алексеевича, Пахомыч держал бы в своих руках Некомата и мог бы забрать власть над ним и над «людишками».

Подозревал ли сам юноша, какая опасность грозит ему?

К отчиму у него никогда не лежало сердце. Он инстинктивно чувствовал затаенную вражду со стороны Некомата. Но молодой человек гнал такие думы, старался переломить себя, был с отчимом ласков и почтителен. О том же, какие планы зреют у Суровчанина и ключника, он ничего не подозревал.

Быть может, злые замыслы удались бы, если случайно о них не узнал бы один преданный юноше человек.

Это был старик Матвеич, прозванный Большерук. Когда жила еще мать Андрея Алексеевича, Матвеич был ключником, но после ее кончины Некомат поставил на эту должность Пахомыча, а его вернул на положение заурядного раба. Произошло это потому, что Суровчанин видел, что Матвеич более тянет на сторону пасынка, а не на его.

Бывший ключник не очень печалился, что его сравнивали с другими. И как простой раб он не утратил уважения своих товарищей-челядинцев; как в былое время, к нему шли за помощью и советом, и он пользовался среди дворни куда большим значением, чем новый ключник, который к тому же был жесток и придирчив. Пахомыч видел, что людишки его терпеть не могут и, наоборот, льнут к Матвеичу; он стал завидовать старику и преследовать его, как мог.

Много пришлось перетерпеть Большеруку, но он все покорно сносил.

II причиной такой покорности была его глубокая привязанность к Андрею Алексеевичу.

Юноша, можно сказать, вырос на его руках; мать, умирая, поручила мальчика заботам Матвеича, и старик не обманул ее доверия: он возился с ребенком не хуже любой няньки. Всегда смирный и молчаливый, он становился буйным и гневным, если видел, что чем-нибудь обижают его питомца; он всегда стоял за него горой перед всеми, не исключая и самого Некомата.

— Меня хошь прибай, хошь убей, а мальчика не трожь: не дам! — говаривал он Суровчанину или Пахомычу в минуту подобной вспышки. — Сироту-то всяк рад обидеть.

Душа ребенка отзывчива на теплую ласку и любовь; дети чутьем понимают, кто их искренно любит. Неудивительно поэтому, что Андрей Алексеевич, в свою очередь, полюбил Большерука как родного, во всяком случае больше, чем отчима.

Этот-то истинный пестун юноши и узнал о планах Суровчанина и Пахомыча.

Однажды, в послеобеденную пору, когда весь дом был погружен в безмолвие, так как все обитатели от мала до велика, по русскому обычаю, прилегли после обеда, легкий стук в дверь горницы пробудил Андрея Алексеевича от легкой дремы.

Он нехотя спросил:

— Кто там?

— Я... Тише... Впусти-тка меня, — слышался из-за двери сдержанный голос Большерука.

Юноша, лениво поднявшись, откинул засов.

Матвеич тихонько вошел в комнату и снова запер дверь.

Он был бледен и имел расстроенный вид.

— Случилось что, Матвеич? — спросил Кореев, глядя на взволнованное лицо старика.

Большерук молча покрестился на икону, потом промолвил:

— Случилось такое, что, не узнай я, быть бы великому греху. Благодарю Бога, что спас Он тебя.

Юноша смотрел на него с недоумением.

— Подле тебя лютые злодеи живут... Подстерегают, как бы извести... И все уже у них подстроено, — продолжал Большерук.

— Злодеи? — пробормотал Андрей Алексеевич, пожимая плечами.

— Да, лютые злодеи. И с тобою вместе живут и твою хлеб-соль едят. Послушай, что я тебе скажу... Сегодня, ты знаешь, работали мы в огороде. Овощ снимали. Ближе к полудню пришел сам Некомат-от. Поглядел этак на Пахомыча и говорит: «Гони их обедать». Тот сейчас и запищал: «Кончай работу, иди за обедом...»

Вестимо, холопишки радешеньки. Быстренько к дому. А я позамешкался с чего-то. Все ушли, а я еще спину гну. Работать мне довелось, надо тебе сказать, у самого малинника. Кустарник высокий да густой. Меня за ним и не видать. И вот слышу я, братец ты мой, что за кустами ходят да говорят твой отчим да Пахомыч. Мне сперва

было и ни к чему, а потом стал их слушать и узнал, что Некомат с ключником нашли разбойников, чтобы они завтра тебя ограбили и убили.

Услышав такую весть, Андрей Алексеевич сел на лавку бледный и удрученный.

— Знаешь, Матвеич, — сказал он наконец, поднявшись и в волнении заходя в комнату, — и надо мне тебе верить, да не верится. Ну можно ли, чтобы отчим... Да что же он за злодей такой?

— Злодей и есть. Какой же не злодей?

— Да на что ему смерть моя?

— На что? Да ведь ежели ты помрешь, он всем владеть будет. Так и в духовной прописано. Сам слышал, как отец Василий читал твоей матушке, когда она Богу душу отдавала. Ежели ты помрешь — все отчиму. Из-за этого он тебя и хочет спровадить.

— Пойду-ка я к нему, — с гневом вскричал юноша, — и скажу, что мне все ведомо. Что он сущий злодей, Бога позабывший, и чтоб он убирался бы поскорей из моего дома.

Матвеич замахал руками:

— Тише!.. Не кричи. А о сем и думать нельзя. Он только и скажет одно: знать ничего не знаю, ведать не ведаю, мало ли, дескать, что тебе наговорили! А тебя за дерзости он еще в подклети запрет. И ничего ты не сделаешь, потому пока тебе двадцати годов нет, он здесь хозяин. А в подклети они тебя и заморят. Нет, пока что надобно тебе отсюда уйти. Это уж как люблю тебя, говорю.

— Покидать кров родимый? Из-за чего?

— Чтоб жизнь спасти. Пройдет немного времени, вернешься сюда хозяином и Некомата прогонишь. А пока послушайся — уезжай.

— Куда уехать? — грустно промолвил молодой человек.

— Ты вот что, не печалься, не убивайся, — сказал Большерук, и голос его задрожал, — всякому Господь испытание посылает. И тебе тоже... Ты не бойся, а на Бога надейся. Я же тебя не оставлю: какую могу, завсегда помощь окажу. Сам знаешь, люб ты мне как сын родной. Поедем мы, родненький, отсель, не теряя времени. У тебя в Рязани дядя живет, отца твоего брат родной. Лет десяток, как он от Москвы к рязанскому князю отъехал.. Вот мы к нему и будем путь держать.

— Из своего дома бежать. Матушка! Кабы встала ты из своего гроба... — как стон вырвалось у юноши.

Он тяжело опустился на лавку и сжал руками виски. Все существо его было полно горем и негодованием.

Хотелось бы кинуться к отчиму, назвать его злодеем и с позором выгнать из дому

Но он признавал, что пестун прав, что этого сделать невозможно, что только ему же, Андрею, хуже будет.

Приходилось покоряться необходимости.

Приходилось покидать родной дом, могилу матери и ехать за тридевять земель, чтобы укрыться от козней.

Этого требовало благоразумие.

Это казалось единственным средством спасения.

Лицо матери, как живое, встало перед ним.

Доброе лицо с ласковым, кротким взглядом.

И рядом другое — угрюмое лицо отчима, с глазами, в которых застыло выражение подозрительности и затаенной злобы.

— Ты не убивайся, родненький, говорю, — бормотал между тем Матвеич. — Ну что ж, у дяденьки поживешь годик, а там вернешься. Дяденька родной, не обидит. А я все приготовлю — и коней и запасец. Прихватим и верного человека... Знаешь Андрона, племяша моего? Помолимся Богу да и в путь. Как стемнеет, я лошадок выведу за изгородь к огороду. Тихохонько сядем на коней — и след наш простыл.

Юноша поднял голову.

— Хорошо, — сказал он, — знать, Божья воля. Я согласен... Сегодня же ночью едем.

Старик ушел довольным, а юноша долго еще сидел в грустном раздумье.

В этот день отчим был с ним особенно ласков. Андрея Алексеевича эта ласковость резала как ножом.

В полночь чуть скрипнула дверь.

Выставилась косматая голова Матвеича.

— Пора! — сказал пестун. — Напрасно свечку вздул: не заметили бы!

— Сейчас. Вот только образок возьму да тут кой-что...

— Кони уж выведены.

— Иду.

Андрей Алексеевич закрестился:

— Господи, помоги!

— Его святая воля. А где твой тулупчик? Ночь холодна, да и после пригодится. Мешкать негоже, однако.

Юноша поспешно оделся и потушил огонь.

Тихо прошли сени, выбрались на двор.

У ворот гулко храпел сторож.

— Крепко Левка спит, — сказал Большерук, — я давеча мимо него лошадей провел, и то не слышал.

Вступили в сад, он же и огород. Деревья недвижны, как колонны, сетью раскинулись ветви, не шелохнутся. По тропинке разбросались пятна лунного света.

— Ночь-то! А? — с восхищением промолвил старик.

— Хороша ночка, — ответил юноша и подумал: «Можно сказать, что всю жизнь переламываем, а говорим так, словно вот погуляем да и домой повернем».

За садом-огородом ждал Андрон, племянник Большерука, рослый, сильный парень из тех, про которых говорят: неладно скроен, да крепко сшит.

Он сидел верхом на лошади, двух других держал за узду.

— Вот и вы, а я было заждался — думал, не случилось ли чего, — промолвил Андрон.

Пришедшие молча вскочили на седла.

— Сейчас мы поедем через поле, — сказал Матвейч, — в лесок, а там окольным путем.

Тронулись ходкою рысью.

— Стой! — приказал юноша, когда въехали на невысокий пригорок близ леса. -- Дай взглянуть в последний раз.

Он повернулся лицом к усадьбе.

— Прощай, кров родимый, — прошептал он с глубокою грустью. — Возвращусь ли, увижу ли тебя когда-нибудь?

Тихим, мирным пристанищем казалась озаренная месяцем усадьба с высоким господским домом — с разбросавшимися в беспорядке службами, крытыми побурелой соломой, с темным пятном сада-огорода...

А там, за лесом, неведомый, чуждый, шумный мир...

Матвейч и Андрон тоже были задумчивы.

Для них, холопов-рабов, усадьба была только обширной тюрьмою; мир нес свободу. О чем жалеть?

Но что-то похожее на тоску шевелилось в их сердце.

Тут их родина!

И что бы ни сулила, что бы ни дала чужая сторона, все нет-нет да перелетит тоскливая дума сюда, к этому полю, к этому лесу, к усадьбе, к селу, что вон блестит крестом колокольни; сюда, где мать слышала их первый

крик, где мирно отдыхают в сырой земле усталые кости отцов, дедов и прадедов...

Все сняли шапки и перекрестились.

Андрей Алексеевич круто повернул коня, чтобы скрыть от спутников наворачившуюся слезу, и, крикнув: «Гайда!» — вскачь понесся к лесу.

Холопы поскакали за ним.

Неширокая тропа вилась змеей и пропадала вдали.

— Я ларец взял, — сказал пестун, равняясь со своим молодым господином, — уложил в него твой новенький кафтанчик, кой-какие пожитки... Ну, и деньжонок малую толику.

— Их-то откуда взял?

— А из укладочки твоего отчима, — промолвил Матвеич равнодушно.

— Вот это худо. Ведь это выходит, что ты украл, — вскричал молодой человек.

— Не для себя взял, а для тебя. А деньги-то больше твои, чем Некомага: от тебя же он их нажил. Да и много ль я взял? Ему вдосталь осталось.

— А все-таки я бы...

— Э, господине! — перебил его Большерук. — Я старый человек, знаю, как без денег быть на чужой стороне... Не о себе пекусь — что мне! Я уж и жизнь больше как наполовину прожил — о тебе заботушка. Помню, как матушка твоя в смертный час сказала: «Береги Андрюшу, Матвеич, не дай сироту обидеть». Побожился я ей перед святой иконой. И вот те крест, не было у меня с тех пор иной заботы, кроме как о тебе.

Что-то нежное зазвучало в голосе старика.

— Спасибо, Матвеич, — с чувством промолвил юноша. — Тоже люблю тебя как родного.

— Спасибствовать за что же? Сердце у меня трепыхалось, как узнал я, что отчим супротив тебя задумал. И слава Тебе, Господи, что теперь мы ослобонились от него.

— Ослобонились ли?

— Бог поможет. Он, милостивый, все устроит. Уйдем от погони. Да и знаю я здесь один путек скрытный. Однако подгоним коней...

Лошадей подхлестнули, и мерный топот понесся по тихому лесу...

Станный сон пригрезился в эту ночь Суровчанину.

Ему снилось будто он — Некомат — большой паук, а пасынок его, Андрюшка, — крупная оса.

И Андрюшка-оса будто бы — зу-у! — летает, жужжит вокруг отчима-паука; и жало выпустила, и кольнуть готова.

А он-паук за ней гоняется, челюстями шевелит, протягивает мохнатые ноги — вот-вот схватит.

И как будто — цап! — схватил. А оса вдруг как ужалил... Забился, заметался паук...

Вскрикнул купец и проснулся.

В доме мертвая тишина.

Чуть мерцают лампы.

Сквозь окно брезжит тусклый рассвет.

Уставился Некомат на оконный переплет и перевел дух.

— Фу! Вот сон! — проворчал Суровчанин и сел на постели. — К чему такое приснилось? Надо думать — не к добру.

Прилег было снова.

Не спится.

По тихому дому гулко раздались чьи-то торопливые шаги.

Потом голос Пахомыча за дверью спросил:

— Не спишь, господине?

— Нет. Что тебе?

Ключник, кое-как одетый, бледный, предстал на пороге опочивальни.

— Беда стряслась, — промолвил он, — Матвеич и Андрон убежали. И трех коней угнали.

Как ни был Суровчанин изумлен этим известием, однако не мог не заметить некоторой странности: бежали двое, а коней увели трех... Почему именно трех? Если б хотели ехать на двух конях, так взяли бы четырех — у каждого был бы один конь под верх, другой в запасе.

— Дивно, что трех, — прошептал он.

Потом стал соображать под плаксивый голос ключника.

— Андрон — племянш Большерука. Дядя пошел наутек, ну и его прихватил, чтобы я на Андроне злобы не срывал... Это все так... А вот с чего Матвеич на старости лет в бега ударился? Жил-жил — и вдруг на! Да и как он смог своего любимца Андрюшку оставить? Что-то тут не так... Не Андрюшкины ли тут штуки?.. Может, без моего спросу послал их куда? А не спросил нарочно, чтобы

власть свою показать... Лучше всего будет самого Андрюшку порасспросить. Ему, верно, поболее нашего ведомо. Может, ему Матвейч что-нибудь тайно заранее сказал. Недаром вчера Андрей кислым таким ходил...

Придя к такому заключению Некомат сказал Пахому:

— Пойдем к Андрею... Не знает ли он чего.

Он пошел к горнице пасынка. Ключник, вздыхая, поплелся за ним.

Каково же было изумление Суровчанина, когда он нашел комнату пустою! При отблеске рассвета можно было видеть царивший в ней беспорядок: там и сям были раскиданы вещи; какой-то узелок, вероятно забытый второпях, лежал на лавке.

— Вот для кого третья-то лошадь понадобилась, — вскричал он. — Убег... Знать, проведаль... Теперь все пропало!

Он схватился за голову.

— Господи, помилуй! — воскликнул испуганно Пахомыч.

— Что ж делать теперь? — растерянно прошептал Некомат.

Лицо его исказилось злобой.

— Ускользнул... Ушел... Так нешто мне теперь погибать? Так нет же, нет! Поймаю, и тогда...

Он погрозил кулаком.

Потом крикнул ключнику:

— Подними всех холопов... Седлать коней! Поскачем в погоню.

Вскоре весь дом пришел в движение.

Некомат сам осмотрел следы. Они поставили его в тупик.

— Путь не к Москве... Али они окружным путем?

Холопы на конях были разосланы во все стороны.

Сам Суровчанин во главе конной ватаги поскакал по следам.

Он был вооружен как для битвы; глаза его метали искры, брови нахмурены: если погоня удалась бы, Андрея Алексеевича ожидало мало хорошего.

Следы то тянулись «гусем», то, когда тропка становилась шире, выравнивались в линию; порой они были ясно видны на сырой почве, иногда о них приходилось только догадываться, когда путь шел по мелкой траве или пушистому мху.

— Догоним! — ворчал Некомат, кусая усы, и погонял коня не жалея.

Рабы неотступно следовали за ним.

По их сумрачным лицам трудно было угадать, как они относятся к побегу двух своих товарищей и Андрея Алексеевича.

Но иногда в глазах некоторых, когда они взглядывали на гневного господина, мелькало злорадство.

Скачка по лесной тропе продолжалась несколько часов.

Вдруг следы круто свернули в сторону, в чащу, и разбежались между деревьями.

Выслеживать стало значительно труднее.

Суровчанин напряг все свое внимание, чтобы не потерять их.

Ехать приходилось медленно.

— Этак мы до вечера проплутаем, — сердито ворчал Некомат.

Слышно было, как вдали журчит ручеек.

К нему то и привели следы и разом оборвались. Они в буквальном смысле канули в воду.

— Через него ехали, благо не глубоковод, — сказал купец.

Он слез с коня и внимательно стал рассматривать песчаное дно. Ручей был не очень глубоковод и вода прозрачна, но течение быстрое. Дно казалось совершенно ровным; никаких следов не виднелось.

Суровчанин был близок к отчаянию.

Но все же он еще не хотел «слагать оружия».

— Ручей не велик... В ту сторону им не с руки ехать... Где-нибудь должны же были на берег выехать... — соображал он.

Хлестнул коня и поскакал по берегу вниз по течению ручья.

Холопы безмолвно последовали за ним.

Вскоре ручей стал шире, а дно его, по-видимому, более илистым.

Далее появилась обильная осока, а затем глазам представилось обширное болото с там и сям разбросавшимися кочками.

Некомат хотел было ехать далее, но один из рабов удержал его коня за узду, промолвив:

— Дальше нельзя... Трясина засосет...

Купец посмотрел на болото с искаженным от отчаяния и злобы лицом.

«Ускользнули!.. — пронеслось в его голове. — Но как? Не на крыльях же они перелетели трясину».

Конечно, они не перелетели на крыльях, и для многих из сопровождавших Суровчанина холопов не было тайной, что через болото тянется, чуть поправей от устья ручья, полоска твердой земли. По ней беглецы и выбрались.

Ни один из рабов, однако, по какой-то причине не захотел поделиться с господином своими сведениями.

На некоторых лицах мелькали насмешливые полуулыбки.

Опустив на грудь голову, неподвижный, как статуя, сидел на коне Некомат.

В груди его kloкотало бессильное бешенство и отчаяние. Он понимал, что дальнейшее преследование невозможно, что беглецы ускользнули.

Медленно повернул он коня и глухо промолвил:

— Домой!..

К его приезду большинство из посланных на разведку холопов уже вернулись. Он видел по их лицам, что поиски не увенчались успехом, и не стал расспрашивать.

Пахомыч встретил его с грустным лицом и, увидев, что беглецов не поймали, всплеснул руками и заахал.

Некомат прошел в дом и стал раздумывать, что предпринять.

Положение его было не из веселых.

«Ежели ему все известно, — думал купец, — так, может, он прямо поехал к великому князю ударить на меня челом... Тогда дело плохо. Тимошка выдаст бесприменно... Пожалуй, и моей голове не уцелеть. А ежели он не в Москву уехал, так куда же? Может быть, думает где-нибудь побыть до поры до времени, а там и нагрнуть... Коли и так, то сладко ли мне здесь сидеть да дожидаться его. Небось не помилует?.. По всему видать, что мне здесь оставаться не годится, а тоже надо наутек. Эх, вот горе! Да и бежать-то куда — не знаю... Хорошо, что хоть деньжонки есть...»

Он достал из одной из укладочек, стоявших в простенках, дубовый ларец, окованный железом, и раскрыл его.

Взглянул и ахнул:

— Ахти, добрая половина отсыпана! Добрался Андрюшка до моих денег.

Вместе со злобой шевельнулось в душе жгучее чувство жадности.

— Обокрал! А я-то копил — хранил...

«Казны» еще оставалось много, но это мало утешало купца.

— Лучше мне не бежать отсюда, — продолжал он размышлять, — узнать бы, где он укрылся, да как-нибудь и того... Это было бы ладно... Тогда бы и денег не жаль. Да где его найдешь? Как узнаешь? И выходит, либо сиди у моря да жди погоды, либо беги... К знахарю, что ли, съездить? Колдовство поможет, пожалуй... Пусть знахарь мне только скажет, где Андрей и что замыслил он... А там я уж зевать не стану... Да это было бы ладно!..

Суровчанин твердо верил во всяких ведьм и колдунов, в русалок, леших, домовых и водяных. Он не сомневался, что чарами можно «напустить порчу на человека», проникнуть в будущее, привлечь любовь и так далее.

Неудивительно поэтому, что он ухватился за мысль о колдовской помощи.

В его глазах это было единственным средством, которое могло привести к цели.

А колдуна не надо было долго искать.

У запруды на Яузе жил всем ведомый колдун, мельник Хапилю.

Про него ходили разные рассказы. Поговаривали даже, что из трубы его избенки однажды вылетел бес в виде черного ворона. Ночью мимо мельницы ходить побаивались.

К этому-то чародею и надумал обратиться Некомат. Однако действовать надо было осторожно.

Узнают, что он был у Хапилы, пойдут толки. На него даже начнут смотреть косо и чураться:

— С колдуном водится... Может, и сам с нечистым знается!

Такая молва не могла быть приятна для купца. К тому же колдуном прослыть было и небезопасно: при народных бедствиях, вроде повального падежа скота, засухи и тому подобного, зачастую обвиняют колдунов, что это они напускают, и тогда с ними жестоко расправляются.

Все это было хорошо известно Суровчанину, и он решил пробраться к мельнику ночью, в глубокой тайне.

Приняв решение побывать у Хапилы, он даже как будто повеселел. В сердце зародилась маленькая надежда.

Когда стемнело и все в доме заснуло, он осторожно вывел коня, сам оседлал и, разобрав часть плетня в огороде, выбрался из усадьбы.

V. ЧАРОДЕЙ ХАПИЛО

К северу от Москвы, из болот, находящихся среди дремучего леса, вытекает на юг река Яуза * и впадает в Москву-реку ниже города.

Нынешняя Яуза едва ли имеет какое-нибудь сходство с прежней. Она славилась чистотою воды, так как принимала в себя много лесных родников.

Берега ее были пустынные. Только шум лесов вторил звучному плеску ее волн.

В Яузу впадает речка Сосенка.

На этой-то речке, над запрудой, и высилась мельница Хапилы.

Было около полуночи, когда к воротам двора колдуна подъехал всадник.

Он легко спрыгнул с седла, привязал коня к кольцу у ворот и постучал.

Проглянувший месяц озарил бледное, красивое, молодое, безусое лицо.

На стук за забором неистово залаял огромный пес.

Приезжего брало нетерпение. Он снова постучал так, что ворота затрещали.

— Кто тут в полночь ломится? — слышался на этот раз ворчливый старческий голос. — Угомону на вас нет.

— Пусти, знахарь, дело к тебе есть! — ответил путник, который был не кто иной, как Иван Вельяминов.

— Какое такое дело по ночам? Поезжай своим путем-дорогой, и я спать пойду.

— Отвори, старче, отвори! Совет от тебя, помощь нужна... А заплачу хорошо. Ничего не пожалею...

Колдун некоторое время был в нерешительности, потом слышались шаги босых ног, и ворота отворились.

Пес залился и клубком бросился под ноги входившего.

— Убери пса! — не без некоторого испуга сказал Вельяминов.

— Небось не съест, коли добрый человек! — ответил колдун.

Однако крикнул собаке:

— Не трожь!

* Впервые река Яуза упоминается в Тверской летописи под годом 1156: «Князь великий Юрий Всеволодович заложил град Москву на устье Неглины, выше реки Аузы».

Лай стих, и собака стала смирней ягненка.

Знахарь провел гостя к себе в жилье и, когда тот переступал порог, предупредил:

— Лоб не расшиби! Притолока низкая!

Потом выгреб углей из печи и зажег от них лучину.

Трепетное пламя осветило закоптелую, низенькую избу, наполовину занятую огромною печью из сырцового кирпича.

Повсюду были развешаны по стенам и свешивались с потолка пучки высушенных трав.

Воздух, напитанный их пряным запахом, был удушлив.

На лежанке печи сидел большой кот, совершенно черный, «без отметин», — настоящий колдовской — и, мурлыча, пристально смотрел на Ивана своими желтыми глазами.

Сам ведун был маленький, тощий старик, с крючковым носом, жидкой бородой, лысиной на темени и странно блестящими глазами.

— Садись — гостем будешь! — сказал ведун, снимая с лавки пучок каких-то свежих трав и освобождая место для Вельяминова.

Тот сел.

Знахарь внимательно посмотрел на него и промолвил:

— Сынок тысяцкого?

— Да, сынок тысяцкого, а не сам тысяцкий, как мне пристало быть! — с невольным раздражением ответил молодой человек.

— Знаю, знаю... По княжьей воле... А от меня-то чего ты хочешь?

— Чего хочу? — протянул Иван и спросил. — Правда ли, старче, что ты с нечистым знаешься?

В глазах ведуна блеснул хитрый огонек.

— Может быть, — процедил он — Для чего тебе сие знать? Много будешь знать — скоро состаришься.

— Видишь серебро?

Иван подкинул на руке несколько грубо обделанных кусков серебра.

— Все будет твоим, ежели ты..

Тут юноша подо двинулся ближе к знахарю и закончил дрожащим шепотом:

— Ежели ты мне поможешь душу нечистому продать.

Хапило вперил в Вельяминова пристальный взгляд, помолчал и вдруг залился неприятным, резким смехом:

— Чего ее, душу то ись, тебе продавать — хи-хи! — ежели она уж продана?

— Как?! Нет, - с некоторым испугом проговорил Иван.

— Я тебе говорю — продана. Нечистый-то, эва, с левого плечика стоит, сторожит ее.

В этот момент кот, нанежась, быстро прыгнул прямо на левое плечо юноши.

Вельяминов вскочил, бледный, с искаженным от ужаса лицом, и хотел было тряхнуть с плеча кота, но тот цепко держался, проникая когтями сквозь одежду до тела.

— Ты его оставь, — спокойно заметил знахарь, — он не слезет, он у меня умный... Будешь трогать — поцарапает... Старик я слабый, живу один, только двое у меня и защитников — пес да кот. Подвернется лихой человек — пес его за горло, а нет, так кот ему в глазенки вцепится... Умные они у меня. Сиди, Васька, смирно.

Кот точно этого и ждал: он сел на плече Ивана Васильевича так же спокойно, как раньше сидел на лежанке.

— Он тебя не тронет теперь, молодчик, только ты его не трожь. Так нечистому душу? Хе-хе!

— Чего ж смеешься? — с сердцем промолвил Вельяминов.

— Да на тебя мне смешно. Проданную душу продавать хочет!

Потом лицо его сделалось серьезным.

— Погляжу я на тебя — молоденок, силы да здоровья не занимать, жил бы себе помаленьку, трудился б во славу Божию и счастье получил бы... А тебе надо все сразу. Ни смиренья нет, ни терпенья... Этакое надумал! Душу продать нечистому. Да уж ты продал ее, продал, как только тебе это на мысль пришло. Тебя лукавый враг рода человеческого уж словил.

И думается мне, что ты не вырвешься из его когтей. Дивишься, что от знахаря-ведуну такие речи слышишь? Да, молодчик, вот я и знахарь и ведун; иного полечу, иному — грешным делом и погадаю, да души-то я нечистому не продавал и помыслить о сем страшусь... И все занахарство-то мое, может, оттого, что жил долго и побольше других знаю... Да... Ты серебрецо свое спрячь не помощник я тебе в этаким деле. Да ты и без меня сумеешь, ой сумеешь!

Он рассмеялся прежним неприятным смехом.

Вельяминов сидел с угрюмым, почерневшим лицом.

В ворота сильно застучали.

— Чтой-то сегодня! Опять кого-то Бог несет, — проворчал знахарь и вышел из избы.

Иван попробовал было встать, чтобы как-нибудь укрыться от взоров нового посетителя, но кот напомнил о себе таким грозным ворчаньем и так расправил когти перед его глазами, что он счел за лучшее остаться в прежнем положении до возвращения Хапилы.

Со двора доносились окрики знахаря и переговоры, подобные тем, какие пришлось вести раньше Вельяминову.

Пес неистово заливался.

Потом он разом затих: очевидно, колдуну пришлось впустить посетителя.

Послышался скрип ворот.

«Ну, идут сюда», — подумал юноша с таким чувством, что был готов провалиться сквозь землю, только бы укрыться от непрошеного свидетеля сего посещения избенки колдуна.

Дверь отворилась, и в избу следом за знахарем вошел Некомат Суровчанин.

Войдя, он остановился как вкопанный.

Он был очень неприятно поражен, заставь у Хапилы другого посетителя.

Однако быстро овладел собою и, слегка поклонясь Вельяминову, промолвил, обращаясь к ведуну:

— Кое-зачем ты мне, старче, надобен.

Иван и Некомат не были близко знакомы, но в лицо знали друг друга.

— А надобен, так говори, — сказал колдун.

— Вот что, — заговорил купец, отведя знахаря в дальний угол и понизив голос до шепота, — мой пасынок с двумя рабами убежал... Не ведаю, куда скрылся. Не узнаю, где он али что замыслил супротив меня, так беда... Выручи, погадай... Заплачу как следует...

Как ни тихо говорил Суровчанин, Иван расслышал. Ему стало любопытно.

Хапило, не говоря ни слова, взял большую медную кружку с блестящим дном, наполнил ее до половины водой и поставил на стол.

— Пасынка твоего ведь Андреем Кореевым звать? — спросил знахарь.

— Да.

— Племяш Епифана, что к рязанскому князю отъехал... — пробормотал Хапило, словно соображая.

Взяв щепоть какого-то порошка, бросил его в кружку, отчего вода потемнела, но дно ярко просвечивало.

— Подь сюда да смотри сквозь воду на донышко... Там ты, может, увидишь своего пасынка... Глаз не отрывай и мигай поменьше...

Суровчанин склонился над кружкой, а знахарь что-то забормотал быстрой скороговоркой, плавно проводя в то же время руками над головой и вдоль щек купца.

Через некоторое время Некомат почувствовал сонливость. Дно кружки ярко блестело сквозь воду.

— Видишь пасынка? — спросил знахарь таким голосом, словно приказывал.

На гадающего словно налетела какая-то пелена, потом быстро спала, сияющее дно исчезло. Вместо него он увидел поляну среди леса и трех всадников, из которых один был Андрей, двое других — Большерук и Андрон.

— Вижу, — ответил купец странным, глухим, не своим голосом.

— Смотри дальше!

И одна за другой проходили картины.

То Некомат видел пасынка в дремучем лесу, у багряного костра, среди ночной тьмы, то переплывающим реки, то подъезжающим к городу, окруженному крепкой стеной с башнями, с бойницами...

Вон какой-то муж обнимает его как родного...

Старец в княжеском наряде... Величественный, как патриарх...

И старый князь смотрит ласково на Андрея и приветливо улыбается...

Потом Андрей опять, но не прежним скромным юношей. На нем алый плащ... Огнем горит из-под плаща панцирь тонкой заморской работы.

И смотрит куда-то юноша... Словно на него, на Некомата...

И вот словно встречаются их взгляды.

Грозно смотрят очи пасынка на отчима и словно говорят:

— Я не забыл... Вернусь... Идет погибель твоя...

Вскрикнул Некомат, опрокинул кружку и обвел мутным взглядом каморку, словно внезапно проснулся.

— Значит, беда... Значит, надо все бросать... Бежать... — пробормотал он, находясь еще в каком-то забытьи.

Провел рукой по разгоряченному лбу и окончательно очнулся.

Взглянул на Вельяминова и вспыхнул.

А тот жадным взглядом впивался в его лицо, следя за всеми переменами выражения. Расслышал он и последние слова Некомата и подумал:

«Нашего поля ягода».

Суровчанин встал, кинул несколько грубых монет на стол и сказал:

— Иду... Выпусти меня...

— Я тоже... Поедем вместе. Вдвоем побезопасней, — промолвил Иван и добавил: — Знахарь, возьми свою кошку!

Хапило сделал знак, кот спрыгнул на лежанку.

Вельяминов поднялся и прошел вслед за Некоматом.

Молча вышли за ворота, молча вскочили на седла и тронулись в путь. Обоим надо было в сторону Москвы. Каждый был занят своими думами.

Тусклая луна по временам освещала угрюмые лица. Первым прервал молчание Некомат:

— Ты не сказывай о том, что у знахаря меня видел.

— А ты про меня.

— Вестимо же.

Помолчали.

— Э-эх! Пропади пропадом буйна головушка, — сказал Вельяминов, — покину родную сторонку... Поеду в чужой край искать счастья...

Эта мысль совпала с думами Некомата.

Он даже вздрогнул.

— С чего так? — спросил он, стараясь принять равнодушный тон.

— От добра добра не ищут. Что мне здесь делать? То ли дело у князя тверского! У него и почет и казны добудешь... Такому князю и служить любо... У тебя тоже беда стряслась?

— Н-да, — процедил Суровчанин.

— Слышал я, как ты у знахаря говорил, что пасынок убег. Я его знаю — Андрей Алексеичем звать... Да и тебя тоже. Чай, и ты меня признал?

— Признал: сын тысяцкого.

— Да, сын его, а не сам тысяцкий, как должно бы

быть... Изобидел меня Димитрий Иоанныч... Прямо скажу — отъеду от него в Тверь.

На минуту он замолк, потом спросил решительно:

— Ты ведь тоже бежать задумал?

— Я? Да... Нет... — замялся застигнутый врасплох купец.

— Ты не виляй. Чего таиться? Не выдам. Сам слышал, как ты говорил, что «беда» и что «бежать надо». Хочешь — едем вместе. Говорю — у тверского князя нам будет не жизнь, а масленица. Он московских ласкает Сразу первыми людьми станем.

— Об этом, брат, надобно подумать. Тебя в Москве дома ждут?

— Кому ждать? Бобыль.

— Так заезжай почивать ко мне. Ну и потолкуем.

— Что ж, можно.

Через несколько дней Некомат спешно продал свои московские лавки, а Вельяминов свой дом.

А еще некоторое время спустя оба они бесследно исчезли из Москвы, прихватив с собою нескольких людейшек.

Усадьба и поместье Кореева были брошены на произвол судьбы.

Конечно, этим с большой пользой для себя воспользовались «добрые» соседи.

Не остался внакладе и Пахомыч, которого Некомат почему-то не счел удобным взять с собою.

VI. ПОП МИТЯЙ

После погребения последнего тысяцкого отец Михаил — он же Митяй — вернулся в село Коломенское.

Какою убогою показалась ему маленькая деревянная церковь, в которой он служил, после величественных храмов Чудова монастыря!

Каким тесным и жалким представлялось ему Коломенское после Москвы, — уже и тогда довольно обширной, — с ее палатами бояр, с ее церквями, блещущими золотыми маковками!

«Разве здесь мне место? — думал он однажды, стоя у окна в одной из горниц своего маленького дома и смотря на десятки в беспорядке разбросанных лачужек с потемневшими соломенными крышами. — Другие в Москве

священствуют, а меня вон куда кинуло. А нешто они ровня мне? Будь я в Москве, на глазах у великого князя, чего б я не добился... Протопопом-то, наверно, давно бы был... Эх-эх!..»

И сердце его усиленно билось от себялюбивых помыслов и от зависти к другим, более его счастливым.

«Великий князь сказал, что не забудет меня, что хочет почаще слышать... Дал бы Бог. А только теперь уже которая седмица идет с той поры, а нового мало...»

В это время он заметил молодого человека в подряснике, подъезжавшего к его дому в маленьком волоке * и оглядывавшегося по сторонам, как будто он что-то искал.

Митяй вгляделся и узнал в проезжавшем одного из митрополичьих келейников.

Затем он услышал, как келейник спросил какого-то прохожего:

— Где тут поп Михайло живет?

— А вот издеса, — донесся ответ.

«Ко мне от владыки!» — мелькнуло в голове Митяя, и он поспешил в сени навстречу приезжему.

Вскоре келейник вошел в дом.

При виде Митяя он сказал:

— Ты отец Михайло будешь? Собирайся сейчас и едем: владыка тебя требует.

— Зачем? — не без робости спросил поп.

— А уж это мне неведомо.

Через несколько минут Митяй уже мчался в волоке с келейником к митрополичьим палатам.

Когда он приехал, его тотчас же ввели к владыке.

Святой Алексей были не один: с ним находился Дмитрий Иоаннович и несколько княжеских приближенных.

Почтительно поклонившись великому князю и приняв благословение от митрополита, Митяй остановился в нескольких шагах от них, склонив голову.

Он чувствовал на себе пытливые взгляды и слегка смущался.

— Подойди поближе, отец Михаил, — ласково промолвил великий князь.

И когда тот приблизился, продолжал:

— Не забыл я, как сладостно говоришь ты.. Хочу почаще слушать..

* В о л о к — тележка на двух колесах.

— По воле княжеской, — промолвил митрополит, — перевожу я тебя из села Коломенского в князеву церковь... И будешь ты духовником великокняжеским.

— Рад? — спросил, улыбаясь, Димитрий Иоаннович.

— Рад ли, рад ли? — только и проговорил дрожащим голосом Митяй. — Дух захватило.

Он лишь земно поклонился владыке и великому князю.

Святой Алексей зорко взглянул на нового княжеского духовника, и по лицу владыки словно пробежала тень.

Быть может, его чистое сердце подсказало, что только мирскими помыслами полна душа Митяя.

Великий князь вскоре его отпустил, приказав «собирать свой скарб не мешкая, чтобы дня через два и перебраться».

Возвращаясь домой, Митяй, что называется, не чувствовал под собой ног от радости.

«Наконец-то!» — думал он.

Он понимал, что в его жизни наступаст перелом, что он находится на пути к богатству и почестям.

Приближаясь к своему домику, он самодовольно подумал: «Скоро мы в палатах проживем!»

Снимая дома свою рясу из грубой, дешевой ткани, он презрительно посмотрел на свою скромную одежду и подумал: «Чай, таких-то не станем носить. Нет, нам шелки теперь надобны».

Дьякон, уже слышавший, что за отцом Михаилом приезжали от владыки, подивился перемене, которая произошла в Митяе в продолжение немногих часов: глаза сияли, голова была гордо закинута. Он смотрел спесиво и ходил «гоголем».

— Уезжаю, дьякон, из вашего болота, — сказал он, — пора. И то зажился. Здесь ли мне место? Ну, да теперь все пойдет по-новому. Слыхал? — духовником я сделан великокняжеским.

Дьякон сделал удивленное лицо.

— Да, — продолжал Митяй, — в княжеских палатах буду жить... Есть-пить с княжьего стола... Сильным я, дьякон, стану человеком.

— Нас, сырых, отец Михаил, своей милостью не оставь, — униженно кланяясь, сказал собеседник.

На это Митяй покровительственно заметил:

— Не оставляю.

Уйдя от отца Михаила, дьякон поспешил разнести

весть по всему Коломенскому о счастье, выпавшем на долю Митяя.

В этот и в следующий день часто скрипели, отворяясь, ворота двора Митяя, впуская разнообразных гостей, приходивших поздравить «с князевой и владычной милостью».

Перед Митяем заискивали, унижались.

Прежние враги его теперь пришли на поклон.

Митяй держал себя с посетителями свысока, слова ронял с таким видом, как будто делает великую честь слушающим.

Его сердце было переполнено радостным чувством удовлетворенного тщеславия.

Мечты его все возрастали.

Уж ему теперь казалось мало быть только великокняжеским духовником. Он мечтал о большем.

Он надеялся приобрести влияние на Дмитрия Иоанновича, стать его «правой рукой».

Счастье благоприятствовало Митяю.

Духовник, умный, начитанный, речистый, с каждым днем все больше нравился великому князю. Дмитрий Иоаннович заслушивался его проповедями, любил подолгу вести с ним душеспасительные беседы.

Часто Митяй — намеренно или нет — во время бесед брал в качестве примеров те или иные недавние события внешней или внутренней политической жизни государства, высказывая скользь свое мнение о них.

И великий князь каждый раз убеждался, что мнение Митяя здраво и разумно.

Раза два случайно Дмитрий Иоаннович заговорил с ним о государственных делах, и Митяй дал хороший совет.

Великий князь оценил это и мало-помалу стал советовать со своим духовником о делах, ничего общего с церковью и религией не имеющих.

Митяй действительно становился «правой рукой» князя.

Вскоре это стало ясным для всех, когда великий князь назначил его «печатником», то есть хранителем своей печати.

Это звание было очень почетным и высоким.

Тут-то Митяй и дал себе волю. Он зажил с княжескою роскошью. Прежде носивший рясы из крашенины, теперь не довольствовался и атласной, не имевший прежде во

всем своим домишке двух хороших оловянных тарелок, теперь и «ел и пил на серебре».

Его, — недавно скромного сельского пастыря, одиноко проживавшего в маленьком домике под соломенной крышей, — теперь окружала целая толпа слуг, богато одетых и послушных малейшему его знаку. На его конюшне стояли десятки великолепных аргамаков; его сани были обделаны серебром, а заморскому ковру, покрывавшему их, как говорили, «нет цены».

Пышно, слишком пышно жил отец Михаил.

Недаром же святой Алексей, когда до него доходили слухи о роскоши Митяевой жизни, сокрушенно вздыхал и укоризненно покачивал головой. От светлого ума не укрылось, что великокняжеский любимец печется только о благах земных, что душа его далек от Бога.

Наряду с тем, как возрастало расположение великого князя к своему духовнику, росло и высокомерие Митяя. Для просителей, для всякого ниже его стоящего люда он был недоступнее самого Дмитрия Иоанновича.

Даже с боярами и приближенными княжескими он держал себя несколько свысока.

Его не любили, многие даже ненавидели, но, зная его силу у великого князя, большинство заискивало перед ним.

Это, конечно, только подливало масла в огонь.

В конце концов он сам стал считать себя каким-то особенным, высшим существом.

Честолюбию человеческому нет границ.

Он, когда-то мечтавший, как о счастье, выбраться из села Коломенского в Москву, теперь уже не был удовлетворен даже высоким званием царского печатника.

Он метил выше и мечтал уже не более не менее как о первосвятительской митре.

VII. ВРАГИ И ИЗМЕННИКИ

Время, в которое пришлось жить и действовать Дмитрию Иоанновичу, принадлежит к эпохе собирания земли Русской, раздробленной на множество уделов, терзаемой междоусобиями и слабой вследствие такого разделения.

Московское княжество уже крепло и первенствовало, но все же были соперники, желавшие вырвать первенство из рук московского князя.

Такими соперниками были, например, Олег Рязанский и Михаил Тверской.

Оба видели усиление Москвы и старались сломить ее могущество.

Князь Михаил Александрович Тверской был молод, умен и отважен; он ясно видел, что рано или поздно Москва может поглотить Тверь. Поэтому он всеми силами домогался отнять у Дмитрия Иоанновича для себя великокняжеский сан и таким образом утвердить первенство за Тверским княжеством.

Независимо от этих причин, князь Михаил был еще и личным недругом Дмитрия.

Вражда началась сравнительно с маловажного события.

Тверская область, подобно многим другим, была раздроблена на мелкие уделы, подчиненные Твери.

После смерти князя тверского Симеона Константиновича возник спор, кому наследовать его область. Притязания предъявили — князь Василий Михайлович Кашинский и его племянник Михаил Александрович, княживший в Микулине.

Каждый доказывал свои права.

Чтобы решить спор, они прибегли к суду митрополита.

Владыка поручил рассудить их спор тверскому епископу Василию, который признал правым Михаила.

Однако в Москве это решение вызвало неудовольствие.

Великий князь Дмитрий Иоаннович знал, что Михаил смел, властолюбив и имеет сильную поддержку в лице грозного Ольгерда, князя литовского, женатого на сестре Михаила. Поэтому он понимал, что новый князь тверской едва ли будет мирно сидеть в своем княжестве и спокойно смотреть на усиление Москвы.

Желательнее было видеть тверским князем Василия Кашинского.

Разумеется, обделенный дядя не был доволен решением третейского судьи и приехал в Москву с жалобой на неправильное решение епископа.

Дмитрий Иоаннович принял сторону Василия.

Сведав об этом, князь Михаил Александрович покинул удел и уехал в Литву.

В его отсутствие Василий с князем Иеремией Константиновичем, с войском от Дмитрия опустошили Михайлову область.

Но Михаил тоже не сидел сложа руки.

Ольгерд дал ему людей, и он неожиданно нагрянул с литовскою ратью.

Он быстро взял Тверь и пошел к Кашину, где заперся Василий, но епископ Василий сумел примирить князей.

Михаил Александрович получил старшинство над дядей и стал именовать себя *великим князем тверским*. Однако на этом дело не кончилось.

На тверского князя приехал с жалобой в Москву Иеремия Константинович, прося Дмитрия Иоанновича распределить уделы Тверского княжества.

Великий князь московский этим поспешил воспользоваться.

Он сумел заманить в Москву самого Михаила и тут предписал ему отдать Городок князю Иеремии, но большего не смог добиться от упорного князя тверского.

Михаил уехал из Москвы озлобленный.

С этих пор вражда Дмитрия и Михаила стала принимать все более и более острую форму.

Еще дважды, уступая просьбам своей жены, Ольгерд предпринимал военные походы против Московского княжества, разорял окрестности Кремля, уже тогда защищенного каменными твердынями. Но всякий раз вынужден был покидать пределы Руси. Дважды Михаил обращался за покровительством к ордынскому хану Мамаю и оба раза получал ярлык на великое княжение, но по воле Дмитрия так и не воссел во Владимире *. После второго посещения Мамаю тверской князь явился на Русь с татарским послом Сарыхожем, звавшем Дмитрия во Владимир слушать ханский ярлык.

Московский князь отказался:

— К ярлыку не еду. Михаила в Москву не впущу, а тебе, послу, в нее путь свободный.

После этого Сарыхожа счел возможным только оставить ярлык у князя Михаила, а сам отправился в Москву. Здесь его приняли с честью, щедро одарили, и сочувствие татарского вельможи склонилось на сторону Дмитрия.

Михаил, сознав свое бессилие, уехал в свой удел, засел в Твери и, злобясь на великого князя московского, разорил часть его владений, лежавших по соседству.

* Великокняжеским городом считался в то время Владимир, а не Москва.

Дважды послушавшись грозного Мамаю, Димитрий Иоаннович сознавал, что этим навлек на себя ханский гнев. Не было сомнения, что хан вторгнется на Русь и все предаст огню и мечу.

Бороться с ним Русь еще не была в состоянии.

Заботясь о судьбе своих подданных более, чем о своей личной, Димитрий Иоаннович решился на отважное дело: чтобы умиловить раздраженного хана, он сам отправился к нему в Орду.

Народ, помня участь Михаила Ярославича Тверского, замученного татарами, плакал, провожая великого князя.

Но Димитрий был непоколебим. Святой Алексей сопровождал его до берегов Оки, здесь благословил великого князя и его спутников и расстался с ним, поручив его милосердию Божию.

Бог помог Димитрию.

В Орде он был принят Мамаем с почетом. Хан не только утвердил его в великом княжении, но согласился уменьшить дань. Очевидно, татары уже чувствовали силу князей московских и тем дороже ценили покорность Димитрия.

Таким образом, Михаил должен был оставить надежду стать великим князем.

Разумеется, это только еще более его озлобило.

Он делал набеги во московские пределы, великокняжеские воеводы вторгались в тверскую область.

Забавляясь этими незначительными военными действиями, князь тверской лелеял еще мысль сломить могущество Москвы.

Он снова прибег к помощи Литвы. Разорив с помощью литовцев несколько городов, он, однако, опять не достиг цели: встреченные в поле московским войском литовцы заключили мир и ушли к себе.

Михаил по прежнему остался князем тверским.

Около двух лет прошло в мире между Тверью и Москвою.

Но тишина эта была перед бурей.

Михаил выжидал только удобного случая, чтобы обрушиться на великого князя.

Наше повествование относится именно к тому времени, когда буря готовилась разразиться.

Князь тверской зорко наблюдал за соперником и подумывал, не пора ли начинать борьбу.

Тут-то к нему и подоспели Некомат и Вельяминов,

которых он тотчас же по их приезде принял. Он поступил так потому, что, во-первых, появление подданных Дмитрия льстило его самолюбию:

— От великого князя ко мне отъезжают, стало быть, чуют, что и я князь сильный.

Во-вторых, перебежчики — или по крайней мере один из них — были в Москве не малыми людьми: сын тысяцкого что-нибудь да значил.

В-третьих, не принять их, значило, возможно, не узнать каких-нибудь важных новостей о своем исконном враге, — новостей, которые могли бы послужить во вред московскому князю и на пользу ему, Михаилу.

Когда Вельяминов и Некомат шли по княжеским палатам, сердца их бились учащенно.

Иван был бледен и нервно кусал губы. Руки его, державшие шапку, слегка дрожали.

Суровчанин шел понурым и бледным не менее своего спутника. Где-то в глубине сердца шевелился неприятный червячок совести и мучительно сосал.

Оба понимали, что наступает решительный момент задуманного дела и что сейчас они совершат величайшее преступление — измену.

Но... отступить было уже поздно.

Княжий придворный ввел их наконец в обширную светлицу с громадным образом в углу, украшенную дорогими коврами и пестро расписанным потолком; лавки были покрыты алым сукном, расшитым по краю золотой каймой.

В глубине комнаты, как раз против двери, стояло на некотором возвышении дубовое кресло с резными ручками. На нем сидел мужчина лет тридцати пяти, с умным лицом и живым, несколько жестким взглядом серых глаз.

Это был князь тверской Михаил Александрович.

Рядом стояли два стражника в алых кафтанах, держа в руках блестящие секиры.

Позади толпились несколько ближних бояр.

Войдя, перебежчики покрестились на образ, потом поклонились князю, коснувшись пальцами пола.

Князь окинул их внимательным взглядом, потом проговорил звучным и мягким голосом:

— От Москвы отъехали?

— Да, — заговорил Вельяминов, — не можно служить у князя московского... Изобидел он меня до смерти. Сын

я тысяцкого Иван Вельяминов... Бью тебе, княже, челом, прими под свою высокую руку.

Почти в тех же словах выразил свою просьбу и Некомат

— Так вам московский князь не люб? — сказал Михаил Александрович с улыбкой. — Чаете, что я боле люб буду?

— Вестимо, ты не обидишь... А мы тебе верой правдой послужим, — сказал Иван.

— Головы своей не пожалеем, — добавил Некомат.

— Добро, — промолвил князь, — принимаю я вас к себе на службу...

Оба разом низко поклонились.

— Служите хорошо, а я вас не забуду... Надобно мне с вами потолковать. Сегодня за вечерней вы мне крест поцелуете. А после вечерни вот он вас ко мне приведет, — при этом князь указал на боярина, который вел с ними переговоры. — Мы и потолкуем, как надо. Теперь, чай, с пути отдохнуть хочется. Он вас пока что сведет в боковушку. Там отдохните...

Кивком головы князь отпустил их.

Отведенное им помещение было довольно-таки неважным. Вельяминов, взглянув на голые лавки, невольно вздохнул о своем московском доме.

Некомат грузно сел и задумался. Лицо его было невесело.

— Что голову повесил? — спросил Иван.

— Так Скучно.

— А ты не скучай. Все устроится. Заживем с тобой! Князь ласков, чего ж больше?

Он утешал, но и самому ему было не по себе.

Порою мелькала тревожная мысль:

«Как-то здесь повезет. А ежели так же, как в Москве?»

Он прогонял такие думы и старался строить планы один другого заманчивей.

— А главней всего — это подбить князя Михаила на войну с Дмитрием... Теперь время — ой, время! — я все князю расскажу, как надобно.

И он стал обдумывать, о чем поведет вечером речь с князем

Что касается Некомата, то он никаких заманчивых планов не строил. О будущем он вообще как-то не думал, а, напротив, размышлял о прошедшем.

«Как-то Пахомыч в усадьбишке хозяйствует. Чай, грабит, как может... Карман набивает... А может, Андрюшка вернулся?»

И невольно мысль его перенеслась к пасынку. Что-то болезненно защемило сердце.

«За что я его убить хотел? Правду сказать, парень ничего себе и добрый. Всему делу — корысть вина. Да еще Пахомыч зу-зу да зу-зу... Захотел зла другому, а сделал себе... Вот теперь и в перебежчиках очутился».

Он вздрогнул.

— Скоро крест позовут целовать. Значит, делу крышка — прощай, Москва, сторонushка моя родимая! Ничего не поделаешь — будем Твери служить. Эх ты, жизнь наша!

Время тянулось убийственно медленно.

Оба почти обрадовались, когда зазвонили к вечерне. Во время нее, как и хотел князь, они поцеловали крест на верность и поклялись на Евангелии служить Михаилу верой-правдой.

Теперь из москвичей они стали тверитянами.

После вечерни их позвали к князю пить сбитень Михаил Александрович был один.

Он встретил своих новых подданных приветливо.

— Садитесь — в ногах-то правды нет, — сказал князь. — За сбитень принимайтесь да московские новости выкладывайте.

— Новостей не больно много, — промолвил Вельяминов, принимаясь за душистый медовый сбитень. — Одна только и есть, что теперь тебе самая пора Москву бить.

В глазах Михаила Александровича мелькнул огонек. Но он быстро принял спокойный вид и спросил равнодушно:

— Почему пора?

— Рано ли, поздно ли воевать тебе снова с Москвой придется, — вставил свое слово Некомат. — Чем дольше тянуть время, тем Москва сильнее станет. Димитрий-то Иванович давно на Тверь зубы точит.

— Это правда, — промолвил Иван. — А почему теперь пора воевать, сейчас скажу. Слышал ты, что в Нижнем Новгороде приключилось?

— Нет. Пока не слышал.

— А слышал ты, как татарва на реках Кише да Пьяной расправу чинила?

— Тоже нет.

— Так вот что. Приехали в Нижний послы Мамаевы и с ними татар человек тыща... Ну, и эти послы не поладили с тамошним князем Дмитрием Константиновичем. Тот спросил великого князя, можно ль с татарами расправиться. Московский князь прислал весть, что можно.

Тогда Дмитрий Константинович напустил черный народ на татар. Всех их нижегородцы и перебили, а главного посла, Сарайку, засадили в темницу, а немного спустя и его прикончили. Как смекаешь, любо Мамаю о сем было сведать?

— Чай, не любо. Ну, и задаст же он Дмитрию Иванычу!

— Малость уж задал: его рать огнем выжгла волость нижегородскую. Да этого мало: Мамай только ждет не дождется, как на Москву кинуться.

— И доброе дело — кинулся бы.

— Надо только уськнуть, — проговорил Некомат.

— Да если б с другой стороны еще Литву напустить, — вполголоса, словно в раздумье, промолвил князь.

— Да еще ты ударишь... Нешто Москва справится? Конец ей был бы! — воскликнул Вельяминов, и глаза его заблестели.

— Очень ты, кажись, Дмитрия Иваныча недолюби-ваешь? — с полуулыбкой промолвил князь.

— Лютый он враг мой! Головы я своей готов не пожалеть, только б ему отплатить. Княже! Послушайся доброго совета: пойдя на Москву. Поднимем татар да Литву — разгромим нашего врага.

Михаил Александрович сидел задумавшись.

Глаза его блестели, грудь дышала усиленно.

Он встал и прошелся по комнате.

— А пойдет ли Орда? — вдруг спросил он, остановясь перед Вельяминовым.

— Пойдет. Голова моя порукой. В Москве только и ждут, что вот-вот она поднимется.

Князь помолчал, потом промолвил:

— Ладно, будь по-вашему: тряхнем Москвой.

— Ой, любо! — радостно воскликнул Иван.

Лицо Некомата оставалось равнодушным.

— Стой, уговор дороже денег: никому об этом ни полслова до поры до времени, — проговорил князь. —

И вы меня маните к войне, вы же и помогайте. Валяйте-ка, поезжайте послами от меня в Орду.

— А что ж, хорошо,— сказал Вельяминов.

Суровчанин слегка поморщился.

— Да помните: уговорите хана — озолочу, а не сумеете — так лучше мне и на глаза не показывайтесь. Сам я, пока вы в Орде, поеду в Литву... Отовсюду на Москву тучи двинутся... Сломаем Дмитрия. Ведь ломаем?

— Вестимо ж,— промолвил Иван.

— Ну, теперь идите к себе да отдыхайте. Когда в путь — скажу. И казны вы от меня получите, и людишек. Служите верой-правдой; сшибем Дмитрия — вы первыми моими боярами будете.

Он отпустил их кивком головы.

Оставшись один, он долго еще сидел в глубоком раздумье.

Вельяминов вернулся от князя очень довольным.

«Покается теперь Дмитрий Иванович, что не сделал меня тысяцким», — думал он.

Некомат, наоборот, был очень не в духе.

— Поезжай к татарам! — вырвалось у него. — Нечего сказать, любо! Не того я ожидал.

— Э, брат. Зато исполним княжий приказ, так первыми людьми станем,— утешил его Иван.

Он строил воздушные замки.

VIII. В ЛИТОВСКОМ БОРУ

Суровый край!

Бесконечные сумрачные леса, кое-где перерезанные извилистыми, мутными ручьями да тропками, по которым удобнее пробираться зверью, чем человеку.

А зверья здесь не мало.

Начиная от юркой лисы и кончая страшным, гигантским медведем-стервятником.

А порою затрещит хворост, раздадутся кусты и выставится грозная рогатая голова бородатого тура или зубра.

Страшно встретиться и с вепрем, когда он пробирается сквозь чащу, срезая трехгранными клыками, как прутья, молодые деревца и мигая тусклыми, маленькими глазками.

А дичины всякой иной сколько! Сила неисчерпаемая.

В летнюю пору стон по лесу стоит от крика, писка и рева.

Теперь, осенью, не то.

Притих бор. Пообсыпались кусты, и не слышать в них возни неугомонных пичужек. «Мишка» уж подыскивает берлогу, чтобы, как только дохнет стужей да снегом с полуночи, залечь на ложе из листьев и сладко дремать в своей теплой шкуре.

Волки стали поближе к деревням пробираться. Целыми ночами уныло плачет голодная рысь...

Смерклось.

В поле, быть может, еще светло, но под деревьями литовского бора теснится тьма.

Отряд «гусем» растянулся вдоль по узкой тропе.

Кони заморились, у всадников вид усталый. Видно, всем охота на ночлег.

С земли плывет чуть приметная сизая пронзительно-сырая дымка.

Хорошо бы теперь костерок из валежника или из сухостоя — да каши бы отведать!

Ехавший впереди всадник поглядел на вершины сосен, на которых мерк свет, попридержал коня.

— Нет, сегодня до Вильны не добраться — промолвил он и потом приказал: — Стой. Будет. Станем на ночлег.

Повторять приказания не пришлось.

Всадники живо спрыгнули с коней, привязали кто где и разбрелись.

Вскоре по бору пошла гулкая перекличка, а еще немного времени спустя задымились и приветливо затрещали костры.

У самого большого из них сел на разостланной медвежьей шкуре князь тверской Михаил Александрович.

Вид у него усталый и угрюмый.

Вышла незадача: думал засветло до Вильны добраться, а пришлось заночевать довольно далеко от нее.

— Не первый раз езжу, а впервой такое. Не к добру. А пора бы быть в Вильне: и люди и кони притомились в далеком и трудном, многонедельном пути.

— Изволь покушать княже, — предложил ему какой-то боярин.

Чуть отведал князь вкусной каши и отбросил ложку:

— Не хочу.

Лег на спину на шкуре и смотрит на небо, на котором уже загорелись нечастые звезды.

«Где моя звездочка? Не та ль вон, что то вспыхнет ярко, то чуть мерцает».

И вдруг вздрогнул: сорвалась его звезда и скатилась к востоку.

«Нет, должно, не моя», — постарался утешить он себя.

А сердце тоскливо заныло. Его давно уж мучают злые предчувствия. Словно чуется что-то недоброе.

И отчего? Разве ему в диковинку воевать с Дмитрием? Правда, на сей раз война будет полютее.

Зато он, Михаил, к ней и подготовится как следует.

Орда да Литва чего-нибудь да стоят. Нахлынут — сметут Москву.

А не пойдут они, и он не станет войны затевать. Только бы согласиём заручиться, тогда вали...

Беда, что стар стал зятек Ольгерд-то. На подъем тяжел. Видано ли дело: два года Русь не тревожил.

Ну, да авось — тряхнет стариной. Опять же сестра уговорить поможет...

Закрылся плащом князь, положил голову на седло.

От костра веет теплом. Слышится сдержанный говор и мерный шум лошадей, жадно жующих овес.

Подкралась дрема, запутались мысли. Куда-то далеко унесся лес. Сладкий сон охватил усталого князя.

Очнулся он, когда сквозь вершины деревьев брезжил рассвет. Было прохладно и тянуло сыростью. Со всех сторон неся дружный храп.

Князь собирался повернуться на другой бок, когда почувствовал на себе чей-то взгляд. Посмотрел в ту сторону и разом сел, протирая глаза.

По другую сторону чуть тлеющего костра сидел человек могучего телосложения, одетый в звериную шкуру мехом наружу и шапку, украшенную парой турьих рогов. Человек этот смотрел на Михаила Александровича и насмешливо улыбался во все свое широкое, плоское, с выдающимися скулами лицо, с обветрившейся загрубелой кожей.

Князь без труда признал в нем одного из приближенных Ольгерда — Литовия Свидрибойлу.

Михаил Александрович всегда недолюбливал этого литовца, похожего больше на разбойника, чем на княжеского вельможу.

Быть может, в этой нелюбви играло роль и то обсто-

ительство, что Свидрибойло был убежденный язычник, и князю тверскому «претила его поганая вера».

— Как ты сюда попал? — спросил наконец князь.

— На ногах дошел. Вон и мои молодцы тоже.

При этом он указал на группу литовцев, сидевших или лежавших невдалеке.

— А хороши вы, русские, — продолжал литовец, громко хохоча, — вас всех хоть голыми руками бери. Ну, чтобы мне стоило перерезать всю твою дружину, как баранов: спят, как у себя дома на печи.

— Голыми-то руками не бери — обожжешься, — проворчал князь, которому не нравился смех литовца.

— Будто? — продолжал тот на своем картавом, ломанном языке. — Мы и не сонных русских бивали. Гикнешь, ухнешь — бегут, как бабы.

— Однако эти бабы и вам бока не раз мяли, — ответил князь все еще стараясь сдерживаться.

И продолжал, переменяя тон:

— Скажи лучше, как здесь очутился.

— А пошел с людьми туров бить. Да ночь в лесу застала. Назад далеко, надо было дожидаться рассвета. Хотели костры разложить. Глядь, будто мерцает вдали. Мы на огонь пошли да вот к вам и выбрались. Смотрим, лежат человек десятка три и храпят себе знай. И хоть бы кто на страже... Я хотел было уж поучить как следует, по-свойски, как спать чужакам в литовском бору, да узнал тебя. Княжий шурина! Не тронь, значит, а стоило бы, право, стоило.

— Ученье-то твое не больно нужно, — угрюмо процедил князь.

Свидрибойлу словно радовало, что Михаил Александрович злится. Он не любил русских вообще, а князя тверского в особенности; причина крылась в том, что Михаил, как шурина великого князя литовского, пользовался довольно большим влиянием у Ольгерда, а это вызывало зависть Свидрибойлы — одного из ближайших советников Ольгерда.

— Русский, да в такую честь попал, — раздраженно говаривал порою литовец.

Он искал случая уронить репутацию тверского князя в глазах литовского. Но пока это ему не удавалось, и ему приходилось только злобствовать да «изводить» недруга насмешками и глумлением.

— Ой ли, не нужно? Нет нужно, нужно поучиться.

Ратные люди — а что малые ребята. Диво бы еще, вас боги охраняли.

Зачем нам ваши боги?

Да ведь вы же, русские, безбожный народ

Что погани-то вашей не кланяемся?

Погани? — переспросил литовец, бледнея.

А то чему же? Разным пням да колодам. Истинного-то Бога не знаете.

— Истинного? У нас настоящие боги, хорошие боги, — проговорил литовец прерывистым голосом. — Ваша вера никуда не годится... Вас боги не слышат. Не хочу и слышать о вашей вере и вашем Боге...

Михаил Александрович вскочил как от удара и крикнул, топнув ногой:

— Молчи, раб, литовский пес. Не богохульствуй!

— Я раб? — шипящим голосом промолвил литовец, тоже встав. — Я раб? Я — литовец свободный... Я такой же князь, как и ты... Я литовский пес?... Покажу же я тебе, как этот пес кусается. Эй, люди!

Литовцы вскочили.

Михаил Александрович тоже не дремал. Он схватил рог, висевший у него через плечо на стальной цепочке, и гулкие, поющие звуки тревоги пронесли по лесу.

Тверитяне разом проснулись и схватились за оружие.

Толпа их быстро окружила князя.

Свидрибойло стоял во главе своих литовцев, которые по численности не уступали тверитянам.

Казалось, два отряда вот-вот кинутся друг на друга.

Но Свидрибойло медлил подавать знак. Он знал, что, каков бы ни был исход побоища, его постигнет лютая кара от сурового Ольгерада, который не любил прощать своеволия.

Со своей стороны Михаил Александрович не спешил с нападением, так как тоже опасался, что эта стычка может иметь неприятные для него последствия у литовского князя.

— Стой! — сказал наконец литовец, простирая руки к своим воинам. — Зачем станем зря кровь лить? Он меня обругал рабом и псом... Нам с ним и сразиться. Князь, тебя я вызываю на поединок!

— Хоть сейчас.

При всех своих недостатках Михаил Александрович был очень храбрым человеком; он не раз смотрел в лицо смерти и не испугался вызова могучего Свидрибойлы.

— Пусть боги нас рассудят, — продолжал литовец.

— Не боги, а Бог. Я согласен на суд Божий хоть сейчас.

— Нет, подождем, когда приедем в Вильну. Там будем биться перед самым князем и иными людьми. Никто не скажет, что я убил тебя из засады: я тебя честно убью в открытом бою.

— Ты думаешь, что убьешь меня? Ладно. Я готов ждать. А теперь на коней и в путь.

Все поспешили к коням, и вскоре оба отряда, почти смешавшись, потянулись по лесу.

Вражда между литовцами и русскими была как-то сразу забыта.

Только князь да Свидрибойло старались держаться поодаль один от другого.

Солнце всходило.

Румянец загорелся на вершинах угрюмых сосен. Березы с остатками пожелтелой листвы рдели, как золотые.

Из чащи полз, поднимаясь, пригретый туманный пар.

Промелькнула поляна, еще темная среди озаренных деревьев, но уже обласканная отсветом зари.

Не успевшие улететь пичужки кое-где встрепенулись в кустах.

Пронеслось и замерло протяжное мычанье зубра...

IX. ПОЕДИНОК

Ольгерд пировал.

За огромным столом, протянувшимся во всю длину лучшей комнаты Виленского замка, сидели литовские вожди, русские князья и польские паны.

Литовцы первенствовали — русские и поляки были только гостями, и не все добровольными.

Князь смоленский, например, приехал потому, что был данником Литвы.

Быть может, он себя вовсе не весело чувствовал на пирушке полудиких язычников-литовцев.

Вероятно, и многие из поляков чувствовали себя не лучше. По крайней мере, они очень задумчиво покручивали усы.

Но Ольгерд мало заботился о настроении гостей-чужеземцев.

Он хотел веселиться, и его желание было законом.

И раскинулся стол, и уставился яствами, и полный вином турий рог передавался из рук в руки, и войделот вдохновенно запел, прославляя подвиги великого князя литовского.

Как старый лев, сидел седовласый старик Ольгерд среди шумного, но трепетавшего от одного его взгляда собрания.

Положил он на стол могучие руки, обросшие, как у зверя, шерстью, откинул голову и слушает войделота, и гордая улыбка скользит по его лицу.

— Да, да, он могуч, и никто не сравнится с ним!..

Слушает Кейстут, старый вождь литовский, слушает Витовт — молодой орленок, и по их лицам также скользит горделивая улыбка и огнем светятся очи.

Но невеселы польские паны, угрюмо сидит посол немцев-крестоносцев, понурились русские князья.

Для них эта песня тяжка, их позор воспевают старый войделот.

Прозвучали последние аккорды. Замерли. Оборвалась песня...

Среди всеобщего молчания слышно только, как звякают кубки да глухо звучит турий рог от удара о другой.

В узкие окна льется солнечный свет и играет на золоченой коже, покрывающей скамьи.

Задумалась сестра Михаила, великая княгиня литовская.

Задумался и Ольгерд, но дума его — гордая дума.

— Кто меня осилит? Кто дерзнет стать противу меня? Польша? Немецкие рыцари-монахи? Ха-ха!

И ему хочется смеяться.

— Славен ты, великий княже, — раздался голос князя тверского, — всех врагов ты сломил. Но один еще у тебя остался.

Ольгерд нахмурился и спросил:

— Кто?

— Великий князь московский.

Ольгерд хмуро усмехнулся:

— Не боюсь я его.

— Конечно. Я знаю, что ты силен и никого не боишься. Но его надо сломить, а то... он соберется с силой и... тебя самого сломит.

— Меня?! Да он и с Ордой не может справиться.

— Дай срок; придет время — справится. А ты помни, зятек, о чем я тебя просил, что говорил: помоги мне

слоमितь Москву — от этого тебе же будет великая польза.

— Я сказал тебе — подумаю, — нехотя промолвил в ответ Михаилу зять.

Дело в том, что до пира у них зашла об этом беседа. Князь литовский, по-видимому, был не особенно склонен выступить на поддержку тверского.

Он отлично понимал, что Тверь не чета Москве, успевшей собрать «под себя» множество областей.

Он не раз оказывал помощь шурина, но каждый раз Михаил проигрывал.

Очевидно, дело безнадежно. Тверскому князю не тягаться с московским.

Варвар Ольгерд везде и всюду ценил силу.

Ему начинало казаться, что не стоит поддерживать Михаила, бессильного, вялого...

Свидрибойло, сидевший недалеко от тверского князя и Ольгерда и слышавший их разговор, грубо расхохотался.

— Помогать тебе? Что за нужда! — воскликнул он. — Зря лить литовскую кровь: московцев-то тоже голыми руками не возьмешь. Тебе с князем московским не совладать, а нам что за дело? Наберись силенки. Но, конечно, московский князь не тебе чета.

Князь литовский недовольно покосился на вмешавшегося в разговор Свидрибойлу.

Михаил Александрович вспыхнул и вперил в литовца-врага пылающий взгляд.

— Лес-то ты не забыл? — промолвил он. — Или струсил да уж на попятный.

— Я струсил! — вскричал Свидрибойло. — Ладно, покажу я тебе, трус ли я.

Он встал и, низко поклонясь Ольгерду, сказал среди притихших гостей:

— Великий княже! Меня на днях князь тверской обидел... И решили мы меж нами устроить суд богов. Дозволь нам выйти «на поле».

Князь литовский посмотрел на Михаила и спросил с удивлением:

— Ты с ним хочешь биться?

— Да, и если можно, сегодня же, — ответил Михаил Александрович.

— О том и я прошу, — заметил Свидрибойло.

— Добро. Как будете биться?

— Пешими на бердышах,— промолвил тверской князь.

— Хорошо, согласен,— ответил его противник.

Ольгерд посмотрел в окно.

Солнце за полдень... Времени терять нечего... Идите, приготовьтесь к бою, а я велю землю утоптать.

Он встал.

Все поднялись. Пир был прерван.

Поединки в эту эпоху были обычным явлением. Бились все — и знатные и простолюдины. Рыцарских турниров, как в Западной Европе, не существовало ни на Руси, ни в Литве, но вызов на «суд Божий» или «в поле» никого не удивлял.

Кровавый поединок являлся лишь интересным зрелищем.

Спустя каких-нибудь полчаса галерея замка, выходившая на обширный двор, была сплошь покрыта любопытными участниками недавнего пира.

Ольгерд и его жена, трепетавшая за участь брата, находилась тут же.

— Он убьет Михаила,— шептала она мужу.

Тот в ответ только пожимал плечами.

Даже если бы желал, он не мог отменить поединка. «Суд Божий» являлся чем-то священным в глазах всех, не исключая и самого великого князя.

На дворе спешно городили веревкой пространство в несколько квадратных сажен, плотно умяли влажную почву и посыпали песком.

Послышался звук рога, и противники вышли «на поле» с разных сторон.

Михаил Александрович был одет в кольчугу тонкой византийской чеканки и такие же сапоги. Голову прикрывал шелом овальной формы, со стальной пластиной для защиты лица.

На левой руке был надет круглый, выпуклый к середине щит с золотой насечкой; в правой он держал превосходной стали обоюдоострый бердыш на длинной рукояти из крепкого дерева.

На Свидрибойле был темный панцирь, очевидно немецкой работы, поверх которого была наброшена на плечи волчья шкура. На голове — плоский шишак с двумя рогами по бокам. Щит был овальный и блестел как зеркало: средство ослепить противника отраженным солнечным лучом.

Бердыш его был громадных размеров. Владеть им могла только такая сильная рука, как у Свидрибойлы.

Противники остановились в нескольких шагах друг от друга и ждали сигнала.

Зрители имели время сравнить их.

Сравнение получалось не в пользу тверского князя.

Он был среднего роста, плотен, очень широк в плечах и тонок станом; его стройная фигура казалась слабой рядом с литовцем.

Тот производил впечатление настоящего Голиафа.

Огромного роста, широкий, с могучей грудью и длинными руками с широкою и большою кистью, он являлся страшным противником.

Князь тверской оглянулся на зрителей. Кроме небольшого числа русских, на лицах которых выражалось сожаление, остальные — и немцы, и поляки, и литовцы — смотрели на него насмешливо.

Казалось они думали:

«Ишь сунулся биться с Свидрибойлой. Ужо он задаст тебе!»

Сестра — великая княгиня — была бледна и едва сдерживала слезы.

Князь тяжело вздохнул, снял шлем и троекратно перекрестился. Потом ту же затянул пояс, крепко сжал рукоять бердыша и стал ждать.

Свидрибойло стоял, помахивая бердышом, и улыбался.

Он заранее был уверен в победе. До сих пор еще никто не побеждал его в поединках, а своего противника он считал неопасным. Он полагал, что тверской князь не выдержит и первого удара.

Послышался отрывистый звук рога.

Все смолкли и с жадным любопытством уставились на бойцов.

Толпа разного люда, сбегавшаяся смотреть на поединок, плотнее придвинулась к огороженному «полю».

Противники стали медленно сходитьсь.

Когда между ними оставалось всего несколько шагов, литовец, дико вскрикнув, одним прыжком очутился подле Михаила Александровича и нанес удар.

Князь принял удар на щит и, слегка подавшись в сторону, с быстротой молнии ударил Свидрибойлу.

Этим ударом он продемонстрировал и удивительную ловкость, и страшную силу: оплошавший противник не

успел прикрыться щитом; бердыш князя опустился на его правое плечо, и кусок вороненого панциря со звоном упал на землю.

Литовец пошатнулся. На мгновение его рука, державшая оружие, онемела и бессильно опустилась.

Между тем князь не медлил. Второй удар в бок привел в ярость Свидрибойлу.

Он забыл осторожность и, собрав все силы, стал бешено наступать на противника.

Страшный бердыш литовца со свистом прорезал воздух, грозя пополам разрубить князя, но везде на пути встречал ловко подставленный щит.

Князь оставался хладнокровным. Казалось, он словно не ведет смертельный бой, а забавляется. Глаза его неотступно следили за противником, и он то подставлял щит, то ударял, то отскакивал в сторону.

С обоих бойцов градом лился пот, у того и другого щиты были иссечены.

Вдруг Свидрибойло с удвоенною силою завертел бердышом и с размаха опустил его.

Князь отпрянул в сторону.

Бердыш литовца попал в пустое пространство; великан не удержал равновесия и тяжело рухнул на землю всем своим громадным телом, звеня доспехами.

Михаил Александрович подбежал и занес бердыш над его головой.

Свидрибойлу ждала неминуемая смерть.

Литовцы громко вскрикнули.

Но князь внезапно опустил бердыш, не нанеся удара.

— Живи, дарю жизнь! — промолвил он и усталой походкой пошел с «поля».

Свидрибойло тяжело поднялся и схватился руками за голову.

— Лучше бы убил, лучше бы... — не сказал, а скорее простонал он, смотря вслед князю полным ненависти взглядом.

Люди того времени больше всего на свете ценили силу и отвагу. Все те, которые до поединка смотрели на Михаила Александровича с насмешкою, теперь приветствовали его громкими криками.

Во мнении Ольгерда он также разом возвысился.

— Нет, он молодец... Он настоящий воин... Умеет постоять за себя.

Он ласково взглянул на подошедшего тверского князя и промолвил:

— Ты мастер биться... хорошо, хорошо бьешься. И знаешь, я решил: я тебе помогу против Москвы.

Михаил Александрович просиял, его победа принесла великолепный плод.

Сестра приветствовала его возгласом:

— Я так боялась, так боялась за тебя...

На глазах ее блеснули радостные слезы.

— Господь помог, — ответил ей брат. — Ведь я сражался за истинную веру.

Про Свидрибойлу все забыли.

Он между тем пробрался со двора, озираясь, как гонимый волк.

В душе его кипело бессильное бешенство.

Подарив жизнь, тверской князь нанес ему этим новое оскорбление.

Значит он, Свидрибойло, настолько ничтожен в глазах Михаила Александровича, что князь не опасается оставить его живым.

Князь кинул ему жизнь, как собаке подачку...

Если так, то он, Свидрибойло, отомстит. Тверской князь увидит, что он опасный враг.

Да, да! Для того только и жить остается, чтобы отомстить.

Он прошел в свой дом, стоявший неподалеку от дворца Ольгерда, снял доспехи и приказал оседлать коня. Он бешено носился на коне по пустынным полям, подставляя ветру разгоряченную голову. Скачка его несколько успокоила. Вернувшись домой, он стал усиленно обдумывать свое положение.

Для него самым важным было сохранить свое влияние при дворе.

Результатом его размышлений было то, что на другой день он как ни в чем не бывало появился во дворе.

Он даже улыбался, объясняя всем и каждому победу тверского князя простою случайностью.

— Я поскользнулся... Он и налетел... Не будь этого, разве он смог бы меня одолеть?

Ольгерд принял его сначала суховато. Но затем, по видимому, остался доволен его объяснением победы князя случайностью: в глубине души Ольгерду было неприятно, что литовец побежден русским. Объяснение Свидрибойлы спасало честь литовцев.

С Михаилом Александровичем Свидрибойло круто изменил обращение.

Он сказал, что теперь, когда князь подарил ему жизнь, всякие счеты между ними должны быть забыты, что теперь он, Свидрибойло, его преданнейший друг и готов пожертвовать за него, в случае надобности, своею жизнью, которую он будет вечно считать принадлежащею князю.

Он повторял это ежедневно, и Михаил Александрович поверил его преданности.

Конечно, он не мог видеть, каким злым огнем вспыхивают иногда глаза литовца, какая злобно-насмешливая улыбка кривит порою его губы.

На княжеском совете новый «преданнейший друг» тверского князя горячо ратовал за необходимость поддержки Михаилу Александровичу.

Тверской князь, разумеется, знал об этом и был искренне благодарен «другу».

Но он не мог знать, что, когда Свидрибойло остается наедине с Ольгердом, он поет иную песню. Он, правда, не отказывается от того, что Твери надо помочь, иначе сильно возвысится Москва, но добавляет, что подать помощь надобно позже.

— Зачем торопиться? — говорил он. — Пусть они дерутся, а мы потом успеем встать на сторону Твери. Зачем нам первым лить за чужих литовскую кровь? Пусть, наконец, тверскому князю вперед поможет Орда. Нам будет выгоднее прийти тогда, когда Москва будет обессилена.

Слушал старый князь литовский эти речи и не мог не согласиться, что Свидрибойло судит здраво.

Вследствие этого хотя Ольгерд твердо обещал помощь Михаилу Александровичу, но, когда тот требовал немедленного выступления, ему отказывали.

Причины приводили разные. То часть войска надобно теперь выслать к немецкому рубежу, то поход глубокою осенью неудобен: надо подождать зимы, когда реки замерзнут и дороги станут хорошими.

Как ни бился тверской князь, кроме обещания ничего не получал.

Видя Михаила Александровича грустным, Свидрибойло выказывал ему притворное сочувствие.

— Будь моя воля, я бы сейчас пошел с войском, — говорил он, — но великий князь не хочет. Я его и так

и этак уговаривал... Он все говорит, что еще время терпит.

Время-то, может быть, действительно терпело, да князю-то не терпелось.

Напрасно он прибегал к сестре с просьбой «похлопотать» за него перед мужем; хлопоты ее не увенчивались успехом: влияние коварного княжеского друга было сильнее.

Однажды, как бы желая утешить печального Михаила Александровича, Свидрибойло подал ему совет:

— А знаешь, княже. Поезжай к себе и начни войну с Москвой. Как только об этом узнает Ольгерд, он сейчас двинет рать тебе в помощь.

— Так ли?

— Голова моя в том порукой.

Князь тверской ухватился за эту мысль.

Совет казался ему хорошим; тем более что он засиделся в Вильне, да и хотелось поскорей ринуться на Москву.

Заручившись снова твердым обещанием Ольгерда оказать ему помощь, он уехал в Тверь, полный надежды, что теперь справится с Димитрием Иоанновичем.

Ко времени его прибытия в свою область Вельяминов и Некомат еще не вернулись из Орды.

Приходилось ждать их и медлить с открытием военных действий.

Литва Литвой, но и Орда нужна.

Кроме того, посланцы должны были привезти от хана новый ярлык на великое княжение. Тогда повод к войне был бы самый законный.

Х. В ОРДЕ

Долог путь до столицы Орды — Сарая. Сперва — дремучие леса, потом степи бесконечные, унылые, прерываемые порою еще более унылыми солончаковыми пустынями.

Утомились в дороге Некомат и Вельяминов со своими спутниками.

Поэтому, когда однажды около полудня вдали показались многочисленные сараевские юрты, они были рады. Быть может, их в Орде ждала горькая участь, но все же они радовались, вырвавшись из угрюмых лесов, из унылых степей и пустынь.

Когда они приблизились к городу — если так можно назвать множество в беспорядке раскинутых юрт и кибиток, — им навстречу с гиком вылетел конный отряд татар и кольцом окружил их.

Путники сразу сделались пленниками.

Какой-то татарин, получше других одетый, вероятно главный, стал расспрашивать.

Ему отвечал толмач, что они послы к хану от князя тверского, везут дары ему и должны вести переговоры.

Услышав имена хана и князя, главный приложил руку ко лбу и сердцу и стал заметно почтительнее с путниками, так как особа посла была неприкосновенна даже в глазах диких татар.

Он передал своим подчиненным, кто едет, и лица их заметно вытянулись: степные хищники давно уже бросали алчные взгляды на поклажу путешественников, а теперь славная добыча ускользала из их рук.

Послов прямо провели к большой юрте из узорных ковров и оставили перед нею.

Конвойный перемигнулся с начальниками стражи, стоявшей у входа, и тот, окинув прибывших беглым взглядом, вошел в юрту, вскоре вернувшись со стариком, одетым в богатый, тканый золотом халат.

Старик через толмача приказал прибывшим выдать все имевшееся у них оружие и, когда они, хотя и не без колебания, на это согласились, сделал знак следовать за ним.

Пошли толмач, Некомат, Вельяминов и трое слуг, несших дары.

Юрта разделялась на несколько отделений. В первом из них послам пришлось долго ждать, пока куда-то скрывшийся старый мурза снова не появился.

— Хан допускает вас до своих очей, — сказал он и ввел во вторую, гораздо более обширную часть юрты.

На мягкой подушке, поджав ноги, сидел плечистый татарин с угрюмым лицом и хищным взглядом раскосых глаз.

Это был всесильный хан Мамай.

Старик мурза заставил прибывших вместе с ним пасть ниц.

Послам крепко не по сердцу было подобное унижение, но они принуждены были покориться необходимости.

«Перед великим князем московским так не кланялись,

а тут на! — перед бритым нехристом», — с неудовольствием думал Некомат, лежа на ковре ханской юрты.

Наконец послышался скрипящий голос хана:

— Встаньте, рабы мои урусы!

Толмач немедленно перевел.

Некомат и Вельяминов встали, разложили с помощью своих слуг подарки, после чего Иван Васильевич сказал:

— Господин наш, князь тверской Михаил Александрович, шлет тебе, великий хан, сии дары как дань и просит его пожаловать — не побрезговать принять их. А еще приказал он нам передать, что шлет свой низкий поклон... Еще велел спросить, в добром ли ты здравии находишься и приказал нам отдать сие письмо в твои державные руки.

Он бережно развернул письмо, обернутое в красную шелковую ткань, и с низким поклоном вручил хану. Тот приказал толмачу:

— Прочти.

В письме князь тверской просил о помощи против лютого врага князя московского, который и против «пресветлого хана злоумышление имеет».

Потом добавлял, что Димитрий Иоаннович не достоин великого княжения, «а почему не будет ли, — писал князь тверской, — милость твоя отнять от него великое княжение и мне, рабу твоему, отдать».

Выслушав письмо, хан ответил;

— Спасибо конюху моему, князю тверскому, за дань и за покорство. Князя московского я раздавлю, как конь давит змею под копытами. Дары принимаю. О помощи и ярлыке — подумаю. Таков мой сказ. А вам пока жить в Орде и ждать да пить наш кумыс татарский...

Он хлопнул в ладоши и вбежавшим слугам приказал немедленно изготовить юрты для послов и для слуг их и пищу давать со стола ханского.

С этих пор потянулась для Ивана и Некомата скучная жизнь во Орде.

Хан медлил с ответом, а торопить его было нельзя. К тому же он был в это время сильно раздражен и огорчен. Дело в том, что любимый ханский кречет зашиб ногу и заболел. Узнав об этом, хан пришел в ярость. Старший сокольничий и его помощник были обезглавлены. Вельяминов и Суровчанин видели, как их казнили. Медленно один за другим подходили осужденные; на их тупых

лицах не выражалось страха смерти; с таким же равнодушным видом опускались они на колени и склоняли голову; палач, сильный как бык, одним ударом сабли отделял ее от туловища...

Казнь, однако, ничего не поправила. Кречет чах. Каждый день приходил Мамай смотреть на птицу и каждый день все более мрачным удалялся от юрты, где помещался кречет.

Вельяминов, когда жил в Москве, очень любил соколиную охоту, держал много соколов и хорошо знал, как ухаживать за ними.

Ему пришла мысль попытаться вылечить ханского кречета.

Он спросил разрешения, и хан с радостью согласился.

— Вылечишь, урус, выбирай любой из моих конских табунов, сколько хочешь овец дам...

— Я постараюсь. А ежели не удастся, не гневайся.

— Воля Аллаха, — смиренно сказал Мамай.

Но взглянул при этом так, что Иван Васильевич понял, что при неудаче может поплатиться своей головой.

Он уже начинал каяться, что предложил свои услуги. Но было поздно. Оставалось только положиться на милость Божию и приниматься за лечение.

Ханский кречет был великолепной крупной и сильной птицей с серебристо-белым оперением. Но было ясно, что он очень болен. Крылья бессильно повисли, клюв был открыт...

Вельяминов осмотрел больную ногу кречета и увидел, что кость цела, а вся болезнь происходила от того, что ранка была сильно засорена и воспалилась. Иван Васильевич промыл ранку, наложил на нее мокрую тряпку и завязал. Это повторял он несколько раз ежедневно.

Не прошло трех дней, как кречет ожил. Он стал принимать пищу, подбодрился.

Было несомненно, что птица выздоравливает.

Грозный Мамай радовался как ребенок.

Когда кречет окончательно поправился, хан потребовал наконец к себе послов тверского князя.

Он принял их торжественно, в присутствии знатнейших мурз и ханских советников.

Вельяминова удивило то обстоятельство, что Мамай обратился с речью не к обоим послам, а только к одному Некомату.

— Скажи рабу моему, князю Михаилу Тверскому, —

сказал хан Суровчанину, — что я дам ему войско, чтобы он пошел войной против неверной собаки Дмитрия. Нарекаю я Михаила великим князем, и мурзы изготовят ему ярлык за моею печатью. А за верность Михайлову посылаю я ему в дар лучшего коня моего и перстень с руки моей... Пусть князь, раб мой, славит Аллаха за милость мою и молится обо мне.

Некомат и Вельяминов земно поклонились.

— А тебе, мой верный, — обратился хан к Ивану, — я готовлю другую милость. Незачем тебе возвращаться к тверскому князю. Я полюбил тебя и хочу, чтобы ты мне служил. Ты получишь и золота, и коней, и лучшую юрту... Я назначаю тебя моим старшим сокольничим.. Рад ли, раб мой, моей милости?

Вельяминов от такой «милости» растерялся и побледнел.

Но отказаться — значило приговорить себя к смерти.

Он распростерся на ковре и глухо ответил:

— Твоя ханская воля... Я рад...

Когда через несколько дней Некомат, со слезами расставшись с приятелем, уезжал из Орды, Вельяминов долго смотрел вслед «своим», пока они не скрылись за курганом.

Потом упал лицом на землю и заплакал, как женщина.

XI. НА МОСКВЕ

Не остались тайной для великого князя Дмитрия Иоанновича приготовления князя Михаила к борьбе.

У него были при тверском дворе свои люди, и от них он узнал о поездке Михаила в Литву, об обещанной Ольгердом помощи, о посылке Некомата и Вельяминова в Орду и о возвращении первого из них с ханским ярлыком и обещанием Мамай прислать войско.

Дмитрий Иоаннович не боялся Твери, но гроза надвигалась с трех сторон: со стороны Твери, Литвы и Орды. Двое союзников Михаила — Ольгерд и Мамай — были куда страшнее его самого.

Приближалась такая опасность, какой давно не переживало Московское княжество.

И вот, сопровождаемый святым Алексием и неразлучным Митяем, великий князь предпринял путешествие на богомолье в Троице-Сергиеву лавру, чтобы поклониться

святыням и упросить святого Сергия, в то время проживавшего там, присоединить свои молитвы к его молитвам.

Святой Сергий Радонежский был вторым светочем веры, сиявшим во княжение Димитрия.

Есть избранники, самым Богом отмеченные для служения Ему. К таким избранным принадлежал святой Сергий.

Родился он в городе Ростове и был наречен при крещении Варфоломеем; он с детства выделялся из среды сверстников своею задумчивостью и не детскими подвигами поста и воздержания. Когда он был еще очень юн, родители переселились в город Радонеж; с этим городом и связаны первые подвиги благочестия будущего светоча православной церкви.

Отец и мать юноши Варфоломея вскоре умерли один вслед за другим, и он стал наследником всего их имущества. Он мог бы вести безбедную и благополучную жизнь, имея средства к приобретению «благ земных».

Но не того просила его душа.

Помня слова Спасителя, что легче верблюду пройти сквозь игольные ушки, чем богатому войти в Царство Небесное, помня также, что сам Сын Божий пришел на землю в бедности и часто не имел, где преклонить Свою главу, юноша решил отказаться от богатства: все свое имущество он роздал бедным, не оставив себе решительно ничего.

После этого он удалился в лесные дебри, сам построил себе хижину и поселился в ней в одиночестве, проводя время в чтении Священного Писания и в размышлении.

Некоторое время спустя случайно пришел к нему священноинок Митрофан, который и постриг его в монашество с именем Сергия.

Инок Митрофан вскоре удалился, и преподобный снова остался один.

Природа человеческая так создана, что человек всегда стремится искать общества себе подобных; поэтому святому Сергию пришлось выдержать сильную душевную борьбу, когда одиночество угнетало, мир манил к себе и воображение рисовало всякие ужасы.

Но не пал духом двадцатитрехлетний подвижник и переборол стремления плоти.

Оружием против мирских или греховных помыслов ему служили пост и молитва.

Его смущали то потребности тела — голод и жажда, то боязнь погибнуть от недостатка во всем, то тоска и угнетенное настроение духа и, наконец, даже сон, одолевавший изнеможенное тело, когда дух был бодр.

Жить одному святому Сергию пришлось не долго. Понемногу прошла молва, что в лесу скрывается святой муж. К нему стали приходить кто за советом и духовною помощью, кто — чтобы, подобно ему, укрыться от соблазнов мира.

Вскоре собралось двенадцать братьев.

Тогда он построил первую маленькую церковь, которая по повелению владыки Феогноста была освящена во имя Пресвятой Троицы, а вокруг нее стали кельйки.

Так было положено основание знаменитой Троице-Сергиевой лавре.

Долгое время преподобный не хотел, несмотря на настояние братии, принять ни иерейского, ни игуменского сана; наконец он уступил просьбам братии и был рукоположен в священноиноки епископом Афанасием и сделался игуменом маленькой обители.

Влияние его на других монахов сказывалось, главным образом, в примере, который он являл своею жизнью.

Он своими руками построил несколько келий, сам рубил дрова в лесу и приносил в обитель, молот рожь на ручных жерновах, пек хлебы, просфоры, варил пищу, кутью, делал свечи, даже шил одежду и обувь. Смирение и трудолюбие его простиралось до того, что он сам носил воду с подножия горы на ее вершину и у каждой кельи ставил по ведру.

Занимаясь столь разнообразными делами, он успевал, однако, ежедневно служить обедню и приходил на все другие службы.

Сделавшись игуменом, святой Сергий ввел некоторые правила монастырского обихода.

Например, сделалось обычаем, чтобы после повечерия иноки не ходили из кельи во келью для бесед друг с другом, а оставались бы наедине, отдаваясь молитве или занимаясь работой.

За соблюдением этого правила он следил сам.

В долгие осенние вечера или глубокой ночью обходил обитель и иногда заходил в кельи. Застав инока за работой или молитвой, хвалил его, если же случалось встретить беседующих, он старался объяснить им, почему необходимо подчиниться общему уставу и какой грех они делают, нарушая устав.

В большинстве случаев он не входил в келью, а только, услышав говор, стучал в дверь своим посохом, давая знак прекратить беседу, и уже наутро наставлял, а на отрицающих свою вину налагал епитимию.

Другое правило, которое преподобный ввел в монастырский уклад, было то, что братии, какова бы ни была нужда в пище, не дозволялось ходить просить ее по окрестным деревням.

— Должно просить и ждать милости токмо от Бога, — говорил он.

При этом надо заметить, что окрестные поселяне могли только с большим трудом достигать обители, потому что к ней в продолжение пятнадцати лет не было доступа через лесные дебри, исключая узкой, едва проходимой тропы.

Случалось так, что недоставало вина для совершения литургии, воска для свечей и ладана. Тогда зажигали лучину и при ее трепетном свете совершали утреннюю или всенощную службу.

Чтобы судить о смирении подвижника, достаточно сказать следующее.

Однажды в монастыре случился недостаток хлеба и соли, а у святого Сергия уже давно ничего не было, и трое суток преподобный буквально ни крошки не имел во рту. На четвертые сутки, на рассвете, пришел он к одному из братии, некоему Даниилу, и сказал:

— Слышал я, что ты хочешь пристроить двери к своей келийке. Так я поставлю тебе их, чтобы не сидеть без дела. А за работу дорого не возьму: у тебя есть хлеб гнилой, так ты его мне и отдай.

У Даниила действительно было несколько кусков гнилого хлеба.

Он вынес их, но преподобный не взял:

— Ты побереги хлеб до девятого часа: я платы не могу взять, пока работы не кончу.

После этого он принялся за работу, к вечеру окончил ее и тогда взял условленную плату.

Перекрестясь, святой тут же съел гнилой хлеб, даже не посолив и только запивая его водой.

Скудость, часто посещавшую обитель, не все иноки могли вынести безропотно.

Как-то в течение двух суток пришлось инокам голодать. Некоторые возроптали.

— Мы умираем с голода, — сказал один из них Сер-

гию — Завтра уйдем отсюда и больше никогда не вернемся.

Тогда преподобный игумен собрал всю братию и стал уговаривать их не падать духом и надеяться на Бога.

— Помните, — молвил он, — слова Господа нашего Иисуса Христа: «Ищите прежде царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам, взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; Отец ваш Небесный питает их: кольми паче вас, маловеры» *. Верьте и вы так, и Господь даст по вере вашей.

И действительно, Бог дал по вере праведника: неизвестный благотворитель прислал в обитель множество хлеба и иных яств, и в монастыре вместо прежней нужды наступило изобилие.

— Видите, — сказал Сергей, — Господь не оставляет своею милостью места сего.

Игумен совершил молебствие и только тогда прикоснулся с братией к пище.

Вера преподобного творила чудеса.

Расскажем о некоторых из них.

Иноки роптали, что далеко ходить за водой. Святой Сергей с одним из монахов пошел в лес под монастырем и, увидев немного дождевой воды, помолился над ней. С этих пор на этом месте открылся источник превосходной воды.

Братия назвала источник Сергиевым. Но преподобный, узнав об этом, запретил так называть его.

— Не я, а Господь дал сию воду нам недостойным, — сказал он.

У одного человека, проживавшего в окрестностях монастыря, сильно захворал единственный сын. Отец принес мальчика в обитель и просил святого Сергия помолиться над болящим. Пока преподобный готовился к молитве, отрок умер. Убитый горем отец пошел готовить гроб, а святой начал молиться над телом умершего.

Когда отец вернулся с гробом, Сергей сказал:

— Сын твой не умер. У него случился припадок от стужи, которую он испытал в дороге... Теперь припадок прошел... Отрок жив.

Обрадованный отец, увидев сына живым, бросился к ногам преподобного, благодаря его за воскрешение

* Мф. 6, 31, 26, 30.

мальчика, но Сергей поднял его и не только запретил благодарить, но и рассказывать о происшедшем.

Слава о духовных подвигах Сергея и о творимых им чудесах росла со дня на день. К нему стали стекаться и простолюдины, и вельможи с просьбой помолиться за них.

Монашествующие оставляли свои обители и приходили жить в монастырь Сергея.

Обитель росла и ширилась.

Вернемся теперь к путешествию великого князя на богомолье.

Когда Димитрий Иоаннович въезжал в монастырские врата, зазвонили во все колокола обители.

На паперти соборного храма его встретил преподобный игумен с крестом и святою водою. Когда князь приложился к кресту и был окроплен святою водою, преподобный Сергей сам принял благословение от митрополита Алексия, потом облобызался с ним.

Облобызался преподобный и с Митяем.

Как не схожи друг с другом великокняжеский духовник и великий игумен.

Отец Михаил был одет в богатую рясу, на груди красовался осыпанный драгоценными камнями крест; он выглядел красивым, сильным и смотрел гордо.

Святой же Сергей был облачен в старенькую рясу, такую же епитрахиль и ветхую, заплатанную рясу из грубой домотканой бумажной материи; он был невысок ростом, худ и имел болезненный вид.

Не было на нем ни камней драгоценных, ни дорогой одежды; он выглядел беднейшим иноком...

Но стоило взглянуть в его кроткие, глубоко запавшие глаза, чтобы понять, что ему не нужны никакие внешние отличия, что он отмечен самим Богом: так ласкал, и манил, и проникал в душу его взгляд.

Отслушав литургию, которую совершил святой владыка вместе с преподобным игуменом, великий князь прошел в келью святого Сергея.

Это была очень маленькая, полутемная каморка, с простым некрашеным столом и такими же скамьями.

— Потрапезуйте со мной, — предложил Сергей, — есть у меня хлебушка свежий — сам сегодня испек, — водица хорошая, ключевая, да малость рыбки печеной...

Великий князь и владыка разделили с преподобным скромную трапезу, только отец Михаил ни до чего не дотронулся и с оттенком пренебрежения смотрел на скудную снедь.

По окончании трапезы Димитрий Иоаннович сказал преподобному:

— Черные времена приходят, отче... На Москву враги ополчаются...

Он поведал святому о замыслах Михаила Тверского, о возможности одновременного нападения на Русь Литвы и Орды.

— Твои молитвы, отче, доходят до Господа. Помолись за меня да за Русь православную.

— Доходят ли мои молитвы до Господа, о сем и мыслить не смею. По неизреченной милости Своей Господь порою дает мне по вере моей. А я за тебя, княже, первый молитвенник. Молитвы мои, княже, всегда с тобою. А ты не робей духом — сие грех. На милость Божию надейся. Бог поможет... Не хочет Он, милостивый, гибели чад Своих...

И долго говорил святой Сергей. Слова его были просты, безыскусственны. Он говорил о неисчерпаемом милосердии Божиим, о Его любви к людям, о том, что нет такого трудного дела, такого подвига, который нельзя было бы свершить, уповая на помощь Божию.

Целительным бальзамом была речь преподобного для смятенной души великого князя.

Он приехал в монастырь унылым, полным смутных тревог, а уезжал с успокоенным духом, с надеждой в сердце.

Когда великий князь, распрощавшись со святым игуменом, выходил из кельи, преподобный, дотронувшись до ризы Митяя, с которым до сих пор не обмолвился ни словом, спросил, пробуя на ощупь ткань:

— Кажись, атлас? Чай, дорогонек? Да, да... Сколько на эти деньги можно было бы сырых и голодных согреть и накормить...

Отец Михаил вспыхнул, с неудовольствием взглянул на святого и вышел вслед за князем, ничего не сказав.

Замешкавшийся святой Алексей и Сергей посмотрели друг на друга.

— Суета... И гордость житейская... — промолвил преподобный.

Владыка только тяжело вздохнул в ответ.

Проводив своих именитых богомольцев, святой Сергей вернулся к себе в келью, плотно запер двери и стал на молитву.

Когда он начал молиться, время было недалеко за полдень, а когда поднялся с колен, уже стояла глубокая тьма.

Он был в изнеможении, и с его лба крупными каплями падал пот.

Присел на лавку, чуть вздохнул и пошел будить звонаря, чтобы ударил в колокол к полунощнице.

В церковь он явился первым из братии.

Такова была сила духа в его немощем теле.

Насколько великий князь, умиротворенный беседою с преподобным игуменом, уезжал из монастыря полным бодрости душевной и надежды, настолько беспокойно и смутно чувствовал себя Митяй.

Святость и простота жизни Сергея, вместо того чтобы умилить, только раздражила его.

Гордый дух отца Михаила не мог примириться с тем, что высшее счастье в жизни достигнуто простотой житейской и смирением.

А что святой Сергей счастлив — во этом Митяй не сомневался. Разве это не высшее счастье, что Господь внимает его молитвам? Разве не счастлив тот человек, в сердце которого нет доступа ни злым помыслам, ни гневу, ни зависти, ни желаниям, которые недостижимы, и чей дух всегда величаво спокоен?

И этого преподобный достиг отвержением благ земных, тех благ, которые составляли все для Митяя.

Значит, ему, Митяю, никогда не быть поистине счастливым.

Он задавал себе этот вопрос. И ответ был ясен — для этого надо поступить так, как поступил святой Сергей: отречься себя, уйти в пустыню, молиться, работать...

И чувствовал царский духовник, что это ему не под силу, не сможет он отрешиться от сладких яств, от атласных ряс, от крестов с самоцветными камнями.

Сознавал он это... и в душе его поднималось черное, завистливое чувство к преподобному игумену: высокомерному Митяю была нестерпима мысль, что при всем своем внешнем блеске, значении у великого князя он все же в глазах всех неизмеримо ниже скромного игумена затерявшейся в лесных дебрях обители.

Даже то, чем он, по-видимому, превосходил всех, —

его красноречие, — оказалось менее ценным, чем простая бесхитростная речь святого Сергия. Преподобному достаточно было немногих слов самых обыденных, чтобы заставить воспрянуть упавшего духом великого князя.

А он, Митяй, наверняка не достиг бы этого целою долгою и витиеватою речью.

Настроение его был настолько скверным, что князь заметил:

— Что с тобою, отец Михаил?

— Так. Что-то не по себе...

— А я как у отца Сергия побываю, так словно выкупаюсь душой. Легко этак становится...

— То же и со мною, — вставил слово святой Алексий, — душеспасительна и преполезна с ним беседа.

Митяй ничего не сказал.

— Стар становлюсь я, немощи одолевают, — продолжал, помолчав, владыка. — Скоро отзовет меня Господь к Себе...

— Ради нас Бог продлит тебе дни, — проговорил Димитрий Иоаннович.

— Смерть готов всегда принять с радостью, — продолжал святитель, — одно только заботит: кому отдам кормило корабля Церкви. Вот ежели бы отец Сергий согласился бы принять митрополию!

— Подумаем еще, владыка, — сказал великий князь и посмотрел на Митяя.

«Отец Сергий никак не согласится, — думал Димитрий Иоаннович, — скромн он, своей обители не покинет, в шум мирской не перейдет. Кого наречь владыкой? Жаль, что отец Михаил белый поп... Будь он черноризец, то по кончине Алексия, — чего Боже сохрани, — я бы его поставил владыкой... Да из белого пона в черноризца обратить недолго...»

Он опять взглянул на Митяя и повторил:

— Подумаем еще, владыка, подумаем...

Отец Михаил уловил на себе взгляд великого князя, и в его голове мелькнуло:

«Что на меня так князь смотрит?»

Вслушался в сетованье святого Алексия и подумал:

«Будь я монахом, может, великий князь меня бы устроил во владыки».

От такой мысли даже дух захватило.

Он сам себя остановил:

«Нешто можно?»

Но червь честолюбия продолжал шептать:

«А почему нельзя? Стал же я из простого спасского попа великокняжеским духовником и печатником. Могу стать и большим. Чернецом стать долго ль?»

Дурное настроение как рукой сняло.

Он продолжал размышлять:

«Захочет великий князь, велит постричь. А там уговорить владыку благословить меня... Благословенного и собор выберет. Может быть, очень может быть... Надобно насчет этого после легонько удочку закинуть...»

Он совсем повеселел.

Митрополит между тем продолжал говорить с великим князем о том, как было бы желательно, чтобы владыкой стал святой Сергей, и почему именно.

— Да окромя отца Сергия кому и быть? — вставил свое слово Митяй.

И стал расхваливать добродетели преподобного, его святую жизнь; говорил, что и его, Митяя, тянет к такой же затворнической и подвижнической жизни.

ХII. ТОРЖЕСТВО СВИДРИБОЙЛЫ

Князь тверской принял с распростертыми объятиями Некомата, привезшего ему ханский ярлык на великое княжение.

Он сделал Суровчанина своим боярином и первым советником, подарил вотчину и снабдил казною.

Но Некомат мало радовался княжеской милости. Его и совесть мучила, да и все устраивалось не так, как ему хотелось.

Быть боярином у Михаила Александровича — это значит вместе с ним вступать в битвы, командовать полками, а Суровчанин вообще был мало склонен к ратному делу. Вотчинка, подаренная князем, была не из важных и находилась вблизи московского рубежа, так что в случае войны Твери с Москвой должна была подвергнуться разорению от войск великого князя.

Некомат ожидал спокойной и «сладкой» жизни, а вышло не то.

Князь Михаил Александрович остался довольно равнодушным к тому, что хан задержал у себя Вельяминова. Главное, ярлык на великое княжение удалось получить.

А какая судьба постигла Ивана Васильевича, — это князя мало интересовало.

К тому же голова его была занята иным.

Он теперь раздумывал, дожидаться ли войск Ольгерда и Мамаю или самому начать войну с Москвой до их прихода:

Благоразумие требовало дожидаться их.

Но Михаилу Александровичу вспоминался совет Свирибойлы: самому начать военные действия, чтобы вызвать к себе на помощь Литву.

Да и не терпелось помериться с врагом силой. Ждал до лета, потом кинулся в войну очертя голову. Война началась с того, что тверской князь послал своих наместников в Торжок и сильный отряд к Угличу.

Со своей стороны Дмитрий Иоаннович, предвидя серьезную войну, быстро собрал значительные силы.

Под его знаменами собрались все князья удельные, служащие Москве: составилось многочисленное ополчение.

Великий князь быстро перешел в наступление.

Он взял Микулин; его воеводы заполонили войсками всю область Михаила; все города были взяты, многие жители уведены в плен.

5 августа Дмитрий Иоаннович осадил Тверь, в которой заперся тверской князь.

Тверитяне показали себя мужественными воинами и верными подданными своего князя. Они бились на стенах как львы, отражая приступы московских ратников, несли все тяготы осады, но не сдавались.

Три недели продолжалась осада. Михаил Александрович надеялся на помощь литовцев и узнал от гонца, сумевшего пробраться через московский стан, что они идут.

Он воспрянул духом, но не надолго — вскоре он узнал, что литовцы отступили.

Мудр, хитер и осторожен испытанный вождь литовский, старый Ольгерд.

Он сдержал свое княжеское слово, двинул войска на помощь своему шурина, но идет медленно, опасливо, озираясь как волк.

Он заботился прежде всего о пользе Литвы.

А будет ли здесь польза?

У него есть верные люди, которые все разведдают, обо всем донесут.

И вот от них он узнал, что Михаил едва держится в Твери с остатком войска, что все города его взяты неприятелем, область опустошена...

Приходилось иметь дело с сильным противником.

Литовцев ждет немалое свежее, готовое к бою войско, а они утомлены походом.

Если Литва победит, что принесет ей победа? А если победят русские, тогда все литовцы сложат свои головы под их мечами и померкнет слава Литовского княжества.

Замечает Ольгерд, что и воины его идут неохотно.

Видно, между ними уже прошел слух, что впереди их ждет не добыча, не грабеж, а лютая битва, может быть бойня, — бойня в чужой стране, за много верст от родимых лесов.

Понурились литовцы...

Все чаще и чаще берет раздумье Ольгерда: идти ли вперед, не вернуться ли назад?

В один из таких моментов подъехал к нему Свидрибойло.

— Не погневайся, великий князь, — заговорил он, укорачивая поводья коня, — выслушай своего верного слугу.

— Говори. Ты знаешь, я тебя всегда рад слушать, — ответил Ольгерд.

— Князь! Не лей напрасно литовскую кровь: прикажи вернуться в Литву.

— А помощь Михаилу?

— Пусть делает как знает. Разве ты виноват, что он начал войну, не дождавшись тебя. Вдвоем легко можно было бы справиться с Москвой, а теперь придется биться нам одним: ведь у Михаила скоро не останется ни одного ратника. Его дела теперь не поправишь. Ты знаешь, я его друг, — при этих словах Свидрибойло не смог удержать злой улыбки, — и хочу ему только добра, но... теперь я вижу, что ему нельзя помочь... Посмотри ты также на нас, мы не прошли и половины пути, а уже истомлены. А впереди ждет сильное войско московское. Подумай, князь, и послушайся совета доброго слуги.

— Подумаю, — коротко ответил Ольгерд.

На другой день литовцы отступили.

Разумеется, не таков был старый литовский князь, чтобы послушаться совета кого бы то ни было, если совет

этот шел вразрез с его намерениями и желаниями. Но в данном случае Свидрибойло посоветовал как раз то, чего хотелось князю. Поэтому-то и вышел приказ отступить.

Но Свидрибойло приписывал отступление литовцев тому, что он к этому побудил великого князя, и зло-радствовал:

«Отомстил своему врагу! Сам я подбил его начать войну, сам же теперь устроил, что помощи не будет от Литвы. Конец ему: князь московский его в бараний рог свернет. Будет другой раз Михаил знать, как оскорблять литовца».

Узнав об отходе литовцев, о чем мстительный Свидрибойло постарался сообщить, князь тверской понял, что он пропал.

Как бы долго ни затянулась осада, она должна была окончиться взятием Твери.

Он был близок к отчаянию.

Однажды в обеденную пору в княжьи хоромы прибыл епископ тверской Евфимий.

Он застал князя обедающим. Скудость в Твери доходила до того, что обед самого Михаила Александровича состоял только из кваса с накрошенным в него черствым хлебом.

— Отведай моего хлебца, владыка, — предложил князь.

— Благодарствуй, я хлебца уже пожевал. Я инок, мне к скудости не привыкать, а тебе-то, княже, я чаю, тяжело.

— Что поделаешь? Плохо все это кончится... Возьмет Димитрий Тверь... Нам не отсидеться...

— И я так думаю, княже, — печально промолвил Евфимий. — По сему делу я к тебе и приехал. Надо бы людей пожалеть: смотри, как мухи валяются от голода. Да и не пора ли перестать проливать кровь христиан православных...

— Так что же мне, покориться, что ли? — сурово спросил князь.

— А почему же нет?

— Не быть сему! — вскричал Михаил Александрович.

— Гордыня в тебе говорит, княже. Ради нее ты не жалеешь крови людской. Русские русских режут да убивают, брат встал на брата... Горе и грех. Ведь сам говоришь, что Твери не устоять, так чего же зря народ губить.

Князь угрюмо молчал.

Владыка поднялся и уехал недовольный.

Прошло несколько дней.

Голод в Твери усиливался. Начались болезни. Половина ратников были ранены. Когда князь глядел на их печальные лица, он понимал, что и они не надеются на спасение Твери.

Приходилось Михаилу Александровичу выбирать одно из двух: умереть или покориться.

Бледный и сумрачный приехал он в келью Евфимия.

О чем-то поговорил, и, некоторое время спустя, из широко распахнувшихся тверских ворот двинулось шествие.

Впереди шел с крестом в руке владыка, окруженный духовенством, несшим иконы; за ними следовали знатнейшие бояре...

Не было в шествии только князя Михаила и Некомата.

Суровчанин в это время сидел у окна в светлице, облокотясь на подоконник и сжав руками голову, и смотрел на выходящее из города шествие. Лицо его было искажено страхом...

Шествие было замечено в московском стане, и там все пришло в движение.

Доложили Дмитрию Иоанновичу, и он выехал на встречу процессии, окруженный ближними боярами и отрядом телохранителей.

Великий князь понимал, что означает это посольство: «Мир! Тверь сдается!»

Поравнявшись с владыкой, Дмитрий Иоаннович соскочил с седла, обнажил голову, набожно перекрестился и приложился к кресту.

— Мир тебе, княже! — приветствовал его Евфимий.

Потом заговорил:

— Великий княже! Господь Бог по грехам нашим допустил восстать брату на брата, пролить кровь христиан православных. Долго ли будет сие? Не больше ли пристало соединиться всем мужам тверским и московским в братском лобзании? Князь тверской послал меня к тебе. Молит он, чтоб ты забыл гнев свой и смягчил сердце свое. Просит он у тебя милости и мира.

— Сам я рад миру. Легко ли кровь проливать христианскую? Пойдем, отче, в стан мой. Там обговорим, на чем мир ставить.

В тот же день был заключен мирный договор.

Великий князь выказал великодушие к побежденному, не предъявив особенно тягостных условий.

Главнейшим было: Михаил признавал Димитрия Иоанновича *старейшим* братом, обязывался не искать «великого княжения» и не вступать против воли великого князя в союз с Литвой и Ордой, а при нашествии врагов на Москву помогать московскому князю.

Так разрушились мечты Михаила Александровича о великом княжении и разорении Москвы.

Во всех храмах служили благодарственные молебны, народ радовался миру, а князь тверской ходил мрачнее тучи.

Ему хотелось на ком-нибудь сорвать гнев.

Как раз ему попался на глаза Некомат; известно, что «у сильного всегда бессильный виноват»; так было и в данном случае. Князь напустился на Некомата, что это он с Вельяминовым втянул его в войну, что через них теперь разорена тверская область...

Одним словом, Суровчанин и Иван Васильевич являлись причиною всех бед.

В заключение князь прогнал его и запретил показываться ему на глаза.

Через несколько дней ранее подаренная Некомату вотчинка была отобрана «под князя».

Суровчанин поселился в убогом домике и жил на накопленные деньги, ежедневно опасаясь, что его с позором выгонят из Твери.

Однажды в город вошел изможденный, одетый в рубище путник.

Он прошел к княжьему дворцу и остановился у высокого резного крыльца, ожидая, кому сказать, чтобы о нем доложили.

Выглянул княжий челядинец и спросил:

— Что надоть?

— Не узнал меня? Еще бы, — промолвил путник и потом добавил надменным тоном, столь не соответствовавшим его одежде: — Скажи князю, что я, Иван Вельяминов, из Орды убежал и к нему вернулся.

Челядинец ушел.

Стосковалось в Орде сердце Ивана, хотя жилось ему там хорошо и хан его ласкал. Потянуло на Русь. Выбрал он ночку потемнее, коня побыстрее и ускакал. Татары его не нагнали. Но зато несколько дней спустя он попался в руки грабителей, которые отобрали казну и коня. Даль-

ше ему пришлось идти пешком, питаться именем Христовым.

Теперь он был у цели. Конец страданиям! Он уже видел себя сидящим в княжеском тереме за кружкой душистого медового сбитня.

— Князь приказал тебя помелом гнать,— насмешливо промолвил вернувшийся челядинец,— и чтобы ты ему на глаза не смел показываться.

— Меня?! Я?..— пробормотал Иван Васильевич, вздрогнув от гнева.

— Да, да... Ну, проваливай!

Шатаясь, вышел он с княжьего двора.

Голова кружилась. Дух захватывало от стыда и бесильного бешенства.

Немного придя в себя, он кое-как, расспрашивая прохожих, узнал, где живет Некомат, и добрался до его лачужки.

В худом, бледном человеке он едва признал Суровчанина.

Со своей стороны тот подивился происшедшей в Вельяминове перемене.

Некомат приютил своего «приятеля», дал ему кров, пищу, хорошую одежду, но целыми днями изводил его упреками, говоря, что причиной всех бед он Вельяминов, сманивший Суровчанина в Тверь и насуливший горы золотые.

Гордый Иван Васильевич, не хотевший в былое время смириться перед великим князем, теперь должен был смиренно выносить попреки купца Некомата.

Но вскоре «приятелям» пришлось распрощаться с Тверью.

Однажды князь Михаил как-то увидел проходивших мимо дворца Вельяминова и Некомата. На их беду, князь был не в духе.

— Что эти иуды здесь шатаются,— сказал он ближнему боярину.— Да и жить в Твери им незачем: изменники своему князю изменят и мне. Прогнать их!

На другой день «приятелям» сообщили княжий приказ: выехать немедленно из Твери и не показываться в тверской области под угрозой смертной казни.

К вечеру они уехали, сами не зная, где укрыться от гнева князей тверского и московского.

ХІІІ. ГОРДЫНЯ И СМІРЕНІЕ

Святой митрополит Алексій, достигшій восьмидесятипятилѣтнего возраста, стал чувствовать приближеніе кончины.

Смерти святитель ждалъ с радостью, но его смущала мысль о томъ, какъ бы найти достойнаго преемника. Все помыслы его въ этомъ направленіи останавливались на преподобномъ Сергіи Радонежскомъ, но, какъ намъ уже известно, онъ опасался, согласится ли на это смиренный игуменъ.

Однажды, будучи уже слабымъ, чтобы самому ехать въ Троицкую пустынь, митрополитъ черезъ посланнаго попросилъ святаго Сергія прибыть къ нему для беседы.

Преподобный не замедлилъ прибыть. Во время последовавшей затѣмъ беседы святой владыка вдругъ приказалъ келейнику принести золотой, осыпанный драгоценными камнями крестъ, подаренный митрополиту константинопольскимъ патриархомъ.

Взявъ крестъ, владыка сказалъ святому Сергію:

— Прими сие.

Преподобный поклонился до земли и промолвилъ:

— Прости меня, владыка, какъ отъ юности же былъ златоносецъ, въ старости же наипаче хочу въ нищете пребывать.

— Знаю силе возлюбленный, — отвѣтилъ митрополитъ, — но сотвори послушаніе, прими отъ насъ подаваемое тебѣ благословеніе...

С этими словами владыка возложилъ на него крестъ и продолжалъ:

— Ведай, блаженный, ради чего призвалъ и что хочу тебѣ сказать. Богъ мнѣ вручилъ русскую митрополию, ибо Онъ такъ хотѣлъ. Ныне чувствую я приближающійся мой конецъ, только не знаю дня скончанія моего. И потому желаю обрести мужа, могущаго послѣ меня пасти стадо Христово. И не вижу такового, кромѣ тебя. Знай же, что и великій князь, и все миряне, и духовные люди, до послѣдняго, возлюбятъ тебя, и никого иного. Только тебя на престолъ этотъ требовать будутъ, какъ единственно достойнаго. Ныне же, преподобный, прими санъ епископства съ тѣмъ, чтобы послѣ моего исхода престолъ мой воспринять.

— Прости меня, владыка, но это невозможно. Ты хочешь наложить на меня бремя, которое выше моихъ силъ. Я буду самымъ грѣшнымъ и худшимъ изъ людей, дерзнувъ коснуться такого сана.

Святой владыка приложил все усилия, чтобы уговорить Сергия. Он говорил долго и убедительно, но смирение преподобного не позволяло принять столь высокого сана.

Он повторял только:

— Сие дело выше моих сил.

Владыка понял, что всякие уговоры бесполезны, с печалью прекратил речь об этом и с миром отпустил преподобного.

Святитель сообщил великому князю о своей неудачной попытке и с грустью заметил, что не знает, кого благословить себе преемником.

Димитрий Иоаннович сам задумывался над этим вопросом, который все чаще и чаще становился предметом его разговоров с Митяем.

Отец Михаил при этом говорил, что с таким делом нельзя спешить, что надобно выбрать действительно достойнейшего, человека большого ума и испытанного благочестия.

Говоря так, царский печатник думал:

«Ах, зачем я не инок! Может, стал бы я владыкой!..»

У великого князя тоже зрела эта мысль. Ему казалось, что умный, красноречивый духовник его был бы на своем месте, оказавшись на митрополичьем престоле.

В это время случилось событие, послужившее на пользу Митяю.

Спасский архимандрит Иоанн, достигший глубокой старости, удалился от дел, возложив на себя обет молчания.

Димитрий Иоаннович решил на место спасского архимандрита поставить отца Михаила.

Когда впервые об этом сказал ему великий князь, Митяй притворно запротестовал. Он сказал, что недостойно принять ангельский чин, а тем более сан архимандрита.

Говорил это... и боялся, как бы Димитрий Иоаннович не передумал.

Но великий князь не любил менять раз принятых решений. Не обращая внимания на притворное несогласие Митяя, он приказал привести его силою в монастырь и постричь в монашество.

Вместе с клобуком на Митяя сразу же надели и мантию архимандрита.

Это было нечто беспримерное. Народ весьма этому дивился:

— До обеда был бельцом, а после обеда стал архимандритом.

Отец Михаил, слыша эти толки, смиренно опускал глаза, говоря:

— Воля княжая.

Но сердце его было полно радости. Зная любовь к себе великого князя, он был почти уверен, что станет митрополитом всея Руси.

Честолюбивые мечты его осуществлялись все более, и по мере того возрастала и его гордыня. Он уже видел себя на митрополичьем престоле, уже строил планы, как он будет повелевать.

Царский духовник стал иноком; теперь Димитрий Иоаннович обратился с просьбой к святому Алексию благословить Митяя себе преемником.

Но здесь ему пришлось столкнуться с твердой волей митрополита.

Своим прозорливым умом владыка понимал, кто такой Митяй. Он знал, что это умный, но суетный человек, стремившийся только к благам земным.

Не такого пастыря хотел видеть владыка во главе русской церкви.

Великий князь просил благословить Митяя, митрополит не соглашался.

Наконец после долгих уговоров, чтобы не обидеть Димитрия Иоанновича, святитель очень незадолго до своей кончины согласился благословить отца Михаила, но *условно*.

— Я благословляю его, — сказал владыка, — *если Бог, патриарх и Вселенский собор удостоят его править русскою церковью*.

Митяй торжествовал.

Между тем святитель заметно слабел телом. Кончина его была близка.

Святой владыка предугадал ее. Однажды за великим князем пришел посланный от митрополита.

— Владыка зовет тебя, княже... Хочет благословить тебя перед своею кончиной. Предузнал он ее, — сказал посланник.

Димитрий Иоаннович поспешил к святителю.

Он нашел святого Алексия сидящим на постели. Выражение лица его было светлое, глаза смотрели радостно.

— Отзывает меня Господь к себе, — тихо сказал он князю, — путь мой земной свершен... Отхожу я из сей

жизни в жизнь вечную и оставляю тебе, также и сыну твоему, благоверному князю Василию, и всем потомкам твоим мир и благословение Божие до веку...

Он благословил коленопреклоненного и растроганного великого князя. Потом сказал:

— Исполни, чадо, прошение мое... Погреби тело мое не в храме, ибо сего не мню себя достойным, а у стены храма, за алтарем... Должно мне еще свершить последнюю мою,— добавил он и попросил свести себя в церковь.

Облачившись в священные одежды, он, пересиливая немощь тела, отслужил в последний раз литургию.

Телесная слабость не помешала святому архипастырю горячо молиться за покидаемую им паству.

Вернувшись в келью после богослужения, святитель слег в постель и более не вставал.

Кончина его была тихая и светлая.

Он скончался к утру 12 февраля 1387 года, благословив всех присутствовавших и сам начав читать молитвы на исход своей души.

Едва разнеслась весть об его кончине, народ толпами потянулся к монастырю, собрались все епископы, бояре и князья.

Отовсюду неслись глухие рыдания.

Усопший святитель лежал как живой, со светлым, спокойным лицом.

С печальным надгробным пением понесли на смертном одре тело святого Алексия в созданный им храм Архистратига Михаила, положили во гроб и погребли в приделе Благовещения Богоматери.

Великий князь помнил смиренный завет святителя о погребении его вне стен храма, но по совету епископов решился отступить от него.

Впоследствии, много лет спустя, явились мощи святого Алексия.

Произошло это таким образом.

Верх церкви, в которой был погребен святитель, обрушился. Разбирая основание для восстановления церкви, нашли тело святого Алексия нетленным, вынули его из земли и после постройки нового храма поставили в нем раку с мощами святителя.

Вскоре последовал около раки целый ряд чудесных исцелений.

Слух об этом быстро разнесся, и к мощам святого

стали стекаться толпы верующих со всех концов Русской земли.

Из многих чудес, совершавшихся и совершающихся от мощей святителя, некоторые крайне примечательны.

Так, например, трехлетний мальчик Димитрий умер от неизвестной изнурительной болезни. Родители принесли сына в церковь и после совершения божественной литургии поставили гроб у раки святого Алексия, так как братия пошла в трапезу.

Они оставили на время его там и сами также удалились. Когда же родители вернулись, чтобы отнести гроб на кладбище, то испытали неописуемую радость при виде младенца ожившим и спокойно играющим у священной раки!

Сравнительно недавно, в 1864 году, был удивительный случай исцеления от слепоты одного воспитанника гимназии.

«Обучаясь в Т. гимназии, — рассказывал исцеленный *, — от усиленных ли занятий, или от ревматизма, как полагали врачи, или по другой какой причине я с год тому назад совершенно ослеп левым глазом. Стало постепенно слабеть зрение и в правом глазу, так что месяцев семь назад я перестал видеть и этим глазом. С продолжением времени болезнь более и более увеличивалась, и наконец глаза мои обложились непроницаемой тьмою: зажженная свеча, поднесенная на самое близкое расстояние к глазам, не производила на них действия.

Врачи в Т. не смогли помочь. Один знакомый, отправляясь в Москву, взял меня с собой, чтобы посоветоваться относительно моей болезни со здешними врачами.

Лучшие московские врачи, в том числе окулисты, внимательно рассматривали мои глаза, совещались между собой и наконец признали мою болезнь неизлечимой.

Больно было моему сердцу.

Потеряв надежду на помощь человеческую, я стал посещать соборные храмы столицы и прикладываться к святым мощам в надежде получить облегчение свыше.

Второго января этого (1864) года отправился с госпожой Х. в Чудов монастырь и там при мощах святителя Алексия выслушал литургию, прося ходатайства этого угодника Божия, причем отслужил молебен.

При выходе из церкви, признаюсь, подумал, что дру-

* Душеполезное чтение. 1861. Апр. С. 145.

гие от мощей получают исцеление, а мне грешному и мощи не помогают. Едва мелькнула эта мысль, как я правым глазом увидел свет и в радости сказал спутнице:

— Я вижу.

Чувствуя, что она не обратила внимания на мои слова или не поняла их, снова сказал:

— Я вижу.

Не понимая или не веря этому, она спросила:

— Что же ты видишь?

Я в доказательство стал указывать на предметы, какие были перед нами.

С этой минуты я вижу правым глазом так, как видел до болезни.

К большой моей радости добавляю, что со вчерашнего числа, именно на обратном пути из Чудова монастыря, я стал видеть и левым глазом, хотя еще не совсем ясно».

Таковы поразительные чудеса, происходящие у мощей святого Алексия.

Поистине, это был избранник Божий — пастырь добрый, готовый положить душу за людей и истинно русский муж, готовый пожертвовать жизнью для блага родины.

XIV. ЧЕСТОЛЮБЦЫ

Всех опечалила кончила святого Алексия, кроме Митяя.

Его честолюбие, ранее тайное, сразу вырвалось наружу. Он, ссылаясь на условное благословение покойного святителя, назвал себя наместником митрополичьего престола, *самовольно* надел белый клобук и первосвятительскую мантию с источниками и скрижалями, взял владычий посох, печать, казну, ризницу митрополита, поселился в митрополичьем доме и начал судить самовластно дела церковные.

Он был высокомерен и даже груб.

Еще не имея посвящения, но дерзко облачившись в первосвятительские одежды, Митяй осмеливался требовать к ответу епископов.

Ему, как митрополиту, служили владычные бояре и так называемые отроки, священники присылали в его казну оброки и дани.

Честолюбие его, казалось, могло бы быть удовлетво-

рено. Но на самом деле вышло не то. Он нашел кару в своей собственной гордыне. Он перестал выносить малейшее противоречие, малейший косой взгляд. Все должно было падать перед ним ниц и смиряться. Но его поступки вызвали нарицание со стороны многих.

Конечно, и святой Сергей не мог не порицать самовольства и гордыни Митяевой.

Узнав об этом, Митяй пришел в ярость. Он поносил святого, грозил уничтожить его обитель, когда станет митрополитом, говорил, что Сергей завидует ему и хочет сам занять митрополичий престол.

Когда слова отца Михаила дошли до преподобного, он только заметил пророчески:

— Не получит он желаемого престола владычного, понеже гордостью обуян... Не узреть ему и Царьграда... *

С отъездом в Византию Митяй не спешил, так как желал, чтобы прежде этого великий князь приказал русским святителям посвятить его, Митяя, в епископский сан.

Димитрий Иоаннович готов был исполнить желание своего любимца.

Был созван собор епископов. Воля князя была законом: епископы готовы были посвятить отца Михаила согласно с Номоканоном.

Но нашелся человек, который восстал против такого решения.

Это был Дионисий, епископ суздальский.

Он был умен и, быть может, честолюбив не меньше Митяя. Ему думалось, что митрополичий престол достойнее отдать кому-нибудь из епископов, а не архимандриту Михаилу, который совсем недавно подстригся в монахи, и притом по летам сравнительно молодому.

Шевелилась мысль и о том, почему бы не сесть на митрополичий престол самому ему, Дионисию.

Как бы то ни было, он поднял голос против посвящения отца Михаила.

— В нашей церкви русской испокон веку в обычай и в закон вошло, что епископов ставит токмо митрополит... Так должно быть и ныне.

Митяй возражал, но кое-кто из епископов согласился с Дионисием, а затем, к большому неудовольствию отца Михаила, на сторону епископа суздальского склонился и великий князь.

* Четьи-Минеи и Никон. Лст. IV, 234.

Решили так: не посвящать отца Михаила в епископы, а ехать ему в Царьград и там принять, если вселенский патриарх пожелает, не только епископскую благодать, но и сан русского митрополита.

Это не входило в расчеты Митяя: он все же оставался по степени благодати ниже многих из тех, кем повелевал или, по крайней мере, хотел повелевать.

Епископский сан ему был нужен для того, чтобы хоть несколько оправдать своеволие, с которым он надел мантию: ведь благодать почиет одинаковая, что на епископе, что и на митрополите. Разница только во внешних знаках сана и в степени власти над пасомыми.

Отец Михаил рвал и метал. Преосвященный Дионисий ликовал.

Оба они, конечно, и не сознавали, какая пропасть лежит между ними и почившим владыкой Алексием со смиренным троицким игуменом Сергием.

Первые двое жаждали власти и влияния, вторые — только спокойствия духа и угождения Богу.

Первые, несмотря на духовный сан, были люди «к земле приверженные», вторые — стремились к небу.

Святой Алексий если и ценил сан митрополита, то только потому, что, будучи главой русской церкви, можно было делать много добра.

Святой Сергей прямо отказался от первосвященнического престола, считая, по своему смирению, себя недостойным этого.

А архимандрит Михаил сам добивался первосвященнического сана, не рассуждая, достоин или нет занять его, стремился к нему только ради удовлетворения своего самолюбия, только ради «благ земных».

Епископ Дионисий, противостоявший ему, сам хотел этой чести и завидовал Митяю.

Помыслы его были тоже «земными».

Митяй не простил Дионисию его противодействия.

Как-то он потребовал его к себе.

Тот приехал, но гневный.

— Почему ты до сих пор не был у меня на поклоне? — спросил отец Михаил.

— Почему? Зачем мне быть у тебя? — насмешливо ответил Дионисий. — Я епископ, а ты архимандрит; как же ты можешь повелевать мною?

Митяй задрожал от злости.

— Стану митрополитом, так не оставляю тебя и попом! — воскликнул он.

— Ладно, я еще прежде этого поеду к вселенскому патриарху и позову тебя на суд. Тебе, может, из-за твоего своевольтва не увидеть и престола митрополичьего.

Они расстались открытыми врагами.

Митяй передал эту беседу князю и сообщил, конечно, об угрозе суздальского епископа.

— Не уедет. Не пустим, — успокоил Димитрий Иоаннович своего духовника.

Он приставил стражу к жилищу Дионисия.

Однако тот упросил заступиться за него преподобного Сергия.

Святой игумен упросил великого князя, и под поручительство преподобного епископ был выпущен на свободу.

Не оправдал Дионисий доверия святого инока и великого князя: тайно выехал из Москвы в Константинополь.

Следом за ним поспешил в путь и отец Михаил, пробыв наместником уже полтора года.

Князь отпустил его с лаской и в знак особой милости дал ему несколько белых хартий, снабженных великокняжеской печатью, чтобы он воспользовался ими в Константинополе сообразно с обстоятельствами: или для написания грамоты от имени Димитрия, или для займа денег.

В путь отправился Митяй с большой пышностью: сам великий князь, все старейшие бояре, епископы проводили его до Оки. В Грецию отправились с ним три архимандрита, один московский протоиерей, несколько игуменов, шесть митрополичьих бояр, два толмача и, как выражается летописец, целый полк разных людей под главным начальством «большого» великокняжеского боярина Юрия Васильевича Кочевина-Олешинского.

Путь был долгим и небезопасным. Великого князя очень беспокоила судьба его духовника.

Но вскоре его внимание привлекла гроза, которая надвигалась на Русь: ополчались татары.

ХV. КНЯЖИЙ ЛЮБИМЕЦ

Вернемся теперь к давно оставленным нами Андрею Алексеевичу Корееву, верному Матвеичу и его племяннику Андрону.

Долог и труден был их путь до Рязани по осенней непогоде. Но как бы то ни было, они добрались благополучно, если не считать того, что нежное лицо Андрея загрузело от воздуха и одежда его, прежде довольно щегольская, загрязнилась и порядочно поистрепалась на ночлегах где и как попало.

С трепетно бьющимся сердцем приближался юноша к стенам Рязани.

«Что-то будет? Как-то дядюшка встретит. Брат отца, своя кровь...» — думал он, въезжая в ясный полдень в ворота города.

Он думал, что будет трудно разыскать дядю, но оказалось наоборот: первый же встречный указал его хоромы неподалеку от княжьих.

— Он, знать, здесь большой человек, — не то подумал вслух, не то спросил старик Матвейч.

— И-и! первейший. Правая рука князева, — последовал ответ. — А вы откуда?

— Из Москвы.

— Из Москвы-ы?! Чудно.

— А что?

— Нет, так. Наш князь Москву не больно любит... Епифан-от Степаныч теперя дома: видал я, как он из церкви вернулся.

Прохожий пошел своим путем-дорогой, а наши путники двинулись к палатам Епифана Степановича.

Ближний боярин князя Олега Рязанского, Епифан Степанович Кореев, смачно обедал — любил старик побаловать себя сладким куском! — когда слуга доложил:

— Спрашивают тут твою милость.

— Кто такие? — с неудовольствием спросил хозяин.

— Не ведаю... Один будто из господ, только поистрепавшись, а двое хлопов. Хотели тебя немедля видеть, да я не смел пустить.

— И ладно. Не вставать же для всякого из-за обеда. Скажи, коли надобность ко мне, пусть подождет.

С этими словами он отпустил слугу.

И еще добрый час жена Епифана Степановича выбирала ему на «тарель» — большая редкость в то время даже у богачей — лучшие куски. Наконец он приказал подать себе квасу и лениво добавил:

— Позови этого... ну, приезжего...

И тут же сказал жене:

— Ты уйди, мать.

Она вышла.

Старый Кореев был мужчина лет под шестьдесят, тучный, крепкий, краснощекий, с чуть заметною проседью в темно-русых волосах. У него были маленькие, заплывшие жиром глаза, часто вспыхивавшие хитрым огоньком, широкое, несколько скуластое лицо, обрамленное темною бородой, и целая шапка волос, набегавших на виски и редких на темени.

В ожидании пришельца он имел вид спесивый и недовольный.

Андрей Алексеевич, дожидаясь, когда его примет дядя, рисовал в своем воображении сцену свидания и расспрашивал Большерука про Епифана Степановича.

Тот отвечал очень коротко:

— Нравен малость... А ничего... Известно, боярин...

Юный Кореев нарочно не сказал докладывавшему холопу, кто он, желая поразить Епифана Степановича радостною неожиданностью.

Он готов был кинуться к дяде в объятия, расцеловать его.

Ведь родной брат отца!

Сердце юноши жаждало теплой привязанности.

Когда холоп наконец позвал его в покои, следом за Андреем Алексеевичем увязался Матвеич на том основании, что дяденька может не признать племянника.

Молодой человек вошел в светлицу с улыбкой, но она разом скрылась при виде недовольного и холодного лица дяди.

Он остановился посреди комнаты. Большерук выглядывал из двери.

— Что надоть? — промолвил хрипло Епифан Степанович.

Андрей Алексеевич почувствовал, что робеет.

— Я, видишь ли, к тебе... По тому самому, что я тебе племянник... — пробормотал он.

Старый Кореев широко открыл глаза и подался вперед.

— Как ты сказал? — воскликнул он.

— Племянник твой...

Епифан Степанович заметно изумился, потом окинул внимательным взглядом убогую одежду юноши и, приняв равнодушный вид, проговорил:

— А у меня и племянника-то никакого нет.

— Как нет! — раздался голос Матвеича, и верный слуга влез в комнату. — Вот те раз, нет! Меня, чай, признаешь? Матвеич я, ключник братца твоей милости

Алексея Степаныча... А это его сынок Андрей Лексеич. Как же не племянник?

Старый Кореев поглаживал бороду и соображал: «Может, и в самом деле братнин сын. Старик будто знаком... А только парень, по всему видать, голяк. Кормиться ко мне, чай, приехал... Знаю я роденьку».

— Брат Лексей у меня точно был... Да помер... А ты, парень, уж как-то больно чудно, словно с неба свалился... Народ же ноне разный бывает... Опять же и вид у тебя... — сказал дядюшка, барабаня пальцами по столу и презрительно косясь на племянника.

Юноша стоял обескураженный. Но Матвеич разом смекнул, в чем дело.

— Вид, оно верно... Да где ж в дороге купишь? А денег есть... На-кось, — промолвил он, вынув кошель, и, раскрыв, показал его старому Корееву.

Потом добавил обиженным тоном:

— Не объедать тебя племяш приехал.

Тут впервые Андрей Алексеевич познал магическую силу золота.

Лицо Епифана Степановича разом прояснилось, глаза забегали.

— Да разве я потому, что объедать? — заговорил он, словно оправдываясь. — Нешто я для родного когда пожалею? Ни в жисть. А токмо нельзя же и так. Пришел человек незнаемый и говорит: я твой племяш. Стало быть, и верить? Я человек старый, видал виды. Опаска завсегда нужна... Теперь я вот смекаю, что и в лице у него с покойным Алешей есть сходственность... Вот уж который год, как в землю убрался. Идет время...

Он принял грустный вид.

Затем внезапно добавил:

— Ты скидай кожухчик свой, племянничек... Да поцелуемся...

Он встал и распростер объятия.

Немного спустя Андрей Алексеевич сидел уже за столом, уставленным яствами, и рассказывал дяде о своих злоключениях.

Дядя вздыхал, качал головой и, подливая племяннику наливки, говорил:

— Мы тебя здесь устроим.

Потом выплыла к столу и тетушка Анна Петровна — жена хозяина дома.

Беседа пошла родственная, задушевная.

Матвей и Андрон в то же время угощались на кухне. — Я тебя к князю введу, мне это ничего не стоит, — сказал в разговоре дядя, — а только тебе надо приодеться. Да вот как раз (он хлопнул себя по лбу), хорошо на память пришло, у меня есть чуга * новешенька... Малость только тебе перешить. Хочешь, продам? Возьму, что мне стоила. Не наживать же с тебя.

Андрей Алексеевич охотно согласился.

На этой чуге дядюшка нажил с племянника ровно в полтора раза больше ее стоимости.

Через несколько дней юный Кореев был представлен князю Олегу.

Он стал бывать в княжьих палатах ежедневно, но князь мало обращал на него внимания, пока не произошел один случай.

Стояла уже глубокая зима, когда сковались реки и снег залег на полях и в лесах толстым слоем, а морозы трещали такие, что дух захватывало.

К стуже русскому человеку не привыкать. Он даже любит крепкий морозец и подшучивает над ним.

Старый князь Олег, — несмотря на преклонный возраст, богатырь телом, — не был исключением.

Мороз не заставил его отказаться от любимого развлечения: медвежьей травли. Князь любил поднять медведя и взять его на рогатину. На сей раз медведь залег недалеко от города: тем более трудно было устоять Олегу, чтобы не побаловать себя.

Рано утром в назначенный день отправились на охоту князь, несколько приближенных, в числе которых находился старый Кореев и Андрей Алексеевич, увязавшийся за дядей.

Доехали до опушки, там слезли с коней и пошли по сугробам.

Князь Олег, старец с лицом патриарха, казалось, помолодел. Держа рогатину в руке, он шел впереди всех и беспрестанно спрашивал у мужика-проводника, скоро ли берлога.

Наконец он успокоился: проводник, остановясь у снежного сугроба, наваянного к пню, остановился и сказал:

— Здесь зверь.

Стали вонзать копы в снег, чтобы поднять медведя. Долго не удавалось.

* Чуга — узкий кафтан без воротника и с короткими рукавами.

Потом сугроб словно дрогнул, разом рассеялся, и огромный медведь, взбешенный, страшный, с приставшими комьями снега к косматой шерсти, с ревом поднялся из берлоги.

Все отпрянули, кроме князя Олега, который спокойно ждал зверя.

Медведь заметил неприятеля и, вытянувшись на задних лапах и помахивая передними, пошел на князя, переваливаясь как утка.

Князь стоял неподвижно.

Зверь совсем близко. Слышно его хриплое, порывистое дыхание.

Вдруг Олег поднял рогатину и вонзил в медведя.

Оружие глубоко впилося. Удар был верен. Кровь оросила снег.

Медведь заревел, полез дальше, все глубже всаживая в себя рогатину и стараясь переломить ее лапой, что не позволял ему сделать охотник, зорко следя за его движениями.

Но притупился ли от лет взгляд князя рязанского, утратилась ли былая ловкость, только он сделал неловкий поворот.

Послышался треск ломающейся рогатины.

Медведь надел на Олега и подмял под себя.

Все испуганно ахнули.

Не потерялся только один Андрей Алексеевич. Одним прыжком очутился он рядом с медведем, поднял обеими руками свой бердыш, с которым никогда не расставался, и страшным ударом раскрыл череп медведю.

Зверь тяжелой массой рухнул на снег.

Старый князь лежал без чувств. Его подняли, потерли виски снегом и осмотрели. Было несколько ран, но не опасных: кости были целы.

Придя в себя, князь пожелал видеть своего избавителя.

Он обнял юношу и поцеловал.

— Отныне ты будешь другом моим, — сказал он. — Первым после меня станешь в княжестве Рязанском.

Олег сдержал слово. Несмотря на молодость, Андрей Алексеевич занял место ближнего боярина князя. С ним князь часто советовался и осыпал милостями.

Время быстро пролетало.

Юный Кореев уже мог бы вернуться на родину и отнять вотчину у опекуна, но медлил с возвращением: не хотелось покидать князя, полюбившего его как сына, да и привязался он к семье дяди.

Мало видевший ласк, сирота полюбил Епифана Степановича. Тот казался ему таким добрым, истинно родным.

Старый Кореев часто говаривал:

— Ты считай меня заместо отца. Полюбился ты мне.

Порою он даже точно заискивал перед молодым племянником.

Неопытный и доверчивый юноша принимал все за чистую монету, и привязанность его с каждым днем возрастала.

Раз как-то Матвеич, поймав Андрея Алексеевича наедине, сказал:

— Юлит старый... Ты смотри не очень-то того. С опаской.

Молодой Кореев только подивился такому предостережению.

Часто он думал, что как хорошо сделал, приехав в Рязань. Там, дома, были только косые взгляды отчима да порою ложная ласка, а здесь он нашел искреннюю ласку и родную семью.

Что он служил чужому князю, это его не беспокоило. Олег, казалось, был верен Димитрию Иоанновичу, а, кроме того, Андрей Алексеевич ведь не приносил клятвы служить рязанскому князю. Он мог свободно «отъехать», когда хотел.

На душе юноши было мирно и спокойно.

Даже мстительные замыслы относительно Некомата оставили его.

Молодой Кореев был очень незлобив от природы и, если способен был причинить кому-нибудь зло, так только разве в минуту крайнего раздражения.

«Бог с ним, — решил он, — на чужое позарился — свое потеряет».

Он и не думал, что эта мысль уже сбылась, что Некомат почти нищий мечется из княжества в княжество, из Руси в Литву, вечно боится за свою жизнь и проклинает судьбу и кается в содеянном.

Если бы Андрей Алексеевич встретил в это время своего опекуна, то, вероятно, простил бы его.

Не знал он и того, что окружающие его люди вовсе не такие добрые и ласковые, какими пытаются притвориться.

Юноша не знал, что князь рязанский, открывая перед ним якобы все помыслы, глубоко таит свою ненависть к великому князю московскому и уже ведет переговоры

с Литвой, где в то время место умершего Ольгерда занял жестокий Ягелло. Старый Олег был не чета Михаилу Тверскому. Наученный опытом, он понимал, как трудно тягаться с Москвой. Он притворялся другом Дмитрия, а втайне строил козни и выжидал удобного случая, чтобы скинуть личину.

Юноша не знал, что все эти ласковые вельможи потому только благоволили, что к нему милостив князь. Они заискивают, низкопоклонничают перед ним, но в душе ненавидят «мальчишку».

Юноша не знал, наконец, что сам такой добрый дядя завидует ему. Если бы он мог проникнуть в думы дяди, когда тот бродит ночью порой как тень по покоям, одолеваемый бессонницей, то он бы огорчился и испугался.

Ему тогда открылось бы, что первый враг его — дядя.

Епифан Степанович не находил себе покоя с тех пор, как его племянник попал в милость к князю.

Его ела зависть.

— И надо мне было его принять к себе да к князю вводить!.. Ведь он оттер меня, оттер... Хитрющий мальчишка!

Так рассуждал старик Кореев, забывая, что только случай помог его племяннику выдвинуться.

— И как он ловко меня обошел! Дяденька да дяденька... А теперь и ступай к нему на поклон. За свою глупость кланяйся безбородому парнишке. Ну, да все до поры до времени. Княжая-то любовь переменчива. Придет и моя пора, и он мне поклонится. Хотелось бы мне очень у князя супротив него поработать... Сшибить, значит...

Но планы козней, какие он строил, все выходили неудачными.

Надобно было так устроить, чтобы исподволь и незаметно: чтобы и князю невдомек, что со зла говорит, да чтобы и племянник не узнал.

Лучшим средством в конце концов ему показалось действовать через других.

Он повел игру осторожно.

То с тем, то с другим посмеется над племянником:

— А пустая еще у него голова! Какой он княжий советник. Ему бы голубей гонять.

А этот — «тот или другой» — уж в свою очередь постарается разнести:

— Вот что сам дядя родной говорит...

А после, может быть, и до князя дойдет.

Олег, может быть, только поморщится.

Но ведь поморщится раз, поморщится два, а там и покосей взглянет на Андрея Алексеевича.

Быть может, в княжьей голове даже мелькнет:

«И в самом деле, какой он советчик?»

Пускал дядюшка в ход и другое средство.

Нет-нет да кому-нибудь и шепнет про племяша скверную небылицу и сам же тут прибавит:

— Мне не верится... Да и ведь душа болит: родной племянник, своя кровь. Да как не поверить? Человек сказывал верный.

И пойдет кружить сплетня.

И вновь поморщится старый Олег.

А юноша в простоте сердечной ничего не подозревал. Продолжал думать, что вокруг него все добрые, славные.

Он не замечал даже того, что князь с ним становится холодней.

Тем тяжелей ему было, когда грянул гром с безоблачного неба.

Конечно, безоблачным оно только ему казалось.

XVI. ВЕРНЫЙ РАБ

1380 года застал Андрея Алексеевича все там же, в Рязани, и все в прежнем положении якобы княжьего любимца.

Протекшие со времени его приезда годы наложили на него свой след: теперь он выглядел богатырем-мужчиной, но взгляд его по-прежнему оставался умным и приветливым, душа — незлобивой и доверчивой.

Зато и дядя с приспешниками тоже не изменились, они сплели вокруг молодого Кореева целую сеть интриг, которой не замечал только сам Андрей Алексеевич.

Он даже думал, что князь Олег по-прежнему расположен к нему. Правда, старый князь выказывал ему некоторые внешние признаки внимания, но сердцем уже сильно остыл к нему. Подвиг, свершенный Андреем, с течением времени словно потускнел.

«Что ж особенного сделал он? По башке медведя бердышом хватил. Не он бы, так другой кто-нибудь сие свершил бы: нешто дали бы зверю сломать меня?» — думал порой князь. И эти мысли стали приходить к нему все чаще. Он уже почти жалел, что так приблизил к себе Кореева.

— Человек он московский... Может, тут у меня соглядатничают... Надо бы его на верность попробовать...

Такой случай вскоре неожиданно как для Олега, так для молодого Кореева представился и разом перевернул все.

Однажды Андрей Алексеевич застал князя чрезвычайно веселым, смеющимся.

С Олегом сидел Епифан Степанович, находившийся тоже в прекраснейшем расположении духа.

Андрей Алексеевич с некоторым удивлением посмотрел на престарелого князя, которого редко видел не то что смеющимся, а даже улыбающимся. Обыкновенно он бывал серьезен, почти угрюм.

Заметив взгляд юного Кореева, князь спросил:

— Что смотришь? Что я больно весел? Еще бы, брат, когда великий князь-то твой московский, умник-то разумник, у нас вот где.

Он указал на сжатый кулак.

— В кулачок зажат! — в тон Олегу сказал старый Кореев.

Молодой человек только пожал плечами в недоумении.

— Не понимаешь? — с усмешкой спросил Олег. — Так я тебе скажу: на Русь идет хан Мамай с великою силой.

— Боже мой! — воскликнул Андрей Алексеевич.

— Подожди. А с другой стороны идет Ягайло тоже с силой немалой...

— Мало одной беды.

— А с третьей — хе-хе! — я на Дмитрия свет Иванныча нападу.

Молодой Кореев не верил ушам.

— Ты?!

— Конечно же я. Хватит прикидываться-то мне. Надо правду молвить: московский князь мой враг старинный. Я смирился, да молчал до поры до времени. Он меня, чай, другом считает. А мне Рязань дороже его дружества. Хан Мамай обещал, как завоюет, всю Русь отдать мне с Ягайлой. Мы поделим... Татары уж у Дона... Ягайло перешел рубеж... О сем я сам — хе-хе! — известил Дмитрия: идет, дескать, Мамай на тебя и на меня, и Ягайло тоже, но еще рука наша крепка — справимся! Пусть попробует догадаться, что я ему враг. До последнего не надобно ему сего знать. Как литовцы подойдут поближе, тогда иной будет сказ.

Андрей Алексеевич слушал князя в каком-то осто-
лбенении.

Дядя смотрел на него и язвительно улыбался: он предвидел, что теперь племяннику «карачун».

Наконец молодой человек вымолвил побледневшими устами:

— Стало быть, ты вместе с неверными будешь бить христиан православных?

— Что ж, коли это на пользу Рязани, — пожав плечами, ответил князь.

— А греха-то не боишься? — пылко воскликнул Андрей Алексеевич. — Побойся Бога, стар человек!

— Молоденек учить меня, — угрюмо отозвался князь.

— Да, да... Где уж тебя учить. Прощай, княже! Я сейчас уезжаю.

— Если я тебя пущу.

— Я вольный человек, тебе креста не целовал.

— Это все равно. Пустить тебя, чтобы ты пошел Дмитрия обо мне оповещать. Ловок! Нет, брат, пока все не кончится, останешься ты у меня.

— Не останусь.

Олег сделал знак Епифану Степановичу.

Тот быстро вышел и вскоре вернулся с двумя дюжими молодцами, у которых были в руках копья.

— Возьмите-ка этого паренька. Ты, Епифан, устрой его как следует.

— Будь надежен, княже!

Стражи взяли молодого Кореева за руки.

Он мог бы их обоих отбросить одним махом, но понял, сто сопротивляться бесполезно.

— Дашь ты Богу ответ, князь! — сказал он.

— Ладно, ладно, проваливай!

По его знаку юношу увели.

Дядя действительно распорядился как следует: по его приказанию племянника посадили в подклеть с одним окошком и толстою дубовою дверью. Туда бросили ему ворох соломы, поставили воды да кусок хлеба.

— Посиди, княжий любимчик! — насмешливо промолвил Епифан Степанович и захлопнул дверь.

Андрей Алексеевич стал узником.

Он кинулся на солому в изнеможении, разбитый страшным душевным потрясением.

— Злодеи, злодеи!.. — шептал он.

Сердце было полно скорби и негодования.

По временам ему хотелось кричать, неистовствовать.

Он вскакивал, озираясь, как пойманный зверь, потом бессильно падал на солому.

— Боже мой, не дай злодеям свершить злое дело! — воскликнул он, воздев руки.

И, встав на колени, начал молиться.

Он молился долго и горячо. Молился не за себя, а за Русь, за князя Дмитрия.

Жарка была его молитва и подействовала на него успокоительно.

В сердце воскресла надежда, почти уверенность, что Бог не допустит торжества «злых изменников».

Утомительно-долгие потянулись часы заключения.

Настала ночь, но сон бежал от глаз узника; рассвет, скудно проникавший сквозь оконце, застал его бодрствующим, он полулежал, подперев рукой голову, в глубокой задумчивости.

В обеденную пору опять ему кинули хлеба, сменили воду; он забыл и думать о пище.

Обошел кругом свою темницу... Толстые стены, дубовая дверь... Нет, не выбраться отсюда...

А у дверей, наверно, еще страж.

Снова смерклось, наступала уже вторая ночь его заключения.

За дверью слышался говор.

— Нашел время! — ворчливо сказал стражник. — На ночь глядя притащился.

— А ежели я раньше был занят? — отвстил второй, и Кореев сразу узнал голос Матвеича. — А ты должен: у меня княжий пропуск. Вишь, печать!

— Разглядишь в этакой тьме. Да иди, только долго хороводиться не дам.

Послышался звук отодвигаемого затвора. Дверь открылась, и кто-то вошел. Кто — этого сразу разглядеть молодой человек не мог.

— Андрей Алексеич! Сердешный, — сказал верный раб. Кореев кинулся к нему и замер в его объятиях.

— Времени терять нельзя, — зашептал Большерук. — Надевай-кась скорей...

Он снял с себя и накинул на Кореева широкий, длинный мужицкий армяк.

— Роста-то мы одного... Смекаешь... Шапку на... Да дай-кась я тебе бороду прицеплю... Из пакли сделал, вчера всю ночь сидел... В темноте он не разберет.

Андрей Алексеевич понял, в чем дело.

Сердце его радостно забилося.

Но тотчас же охватило беспокойство за участь Матвеича.

— А как же ты? Тебе ведь беда будет.

— Э, родненький! Я стар человек, пожил. Коли и казнят — не беда... Тебе еще жить надо, а мне...

— Почто я тебя губить стану? Я не пойду.

А сердце мучительно просило воли.

— Не пойдешь, так я сейчас сторожа придушу и все равно сгину ни за грош, — решительно промолвил старик.

Потом добавил:

— Андрон с двумя конями ждет тебя за углом у твоего дома... А твоя казна вот, возьми.

Он сунул ему кошель.

— Ах, Матвеич, родимый, за тебя боязно!

— Не бойся, соколик. Ну, иди с Богом!

Старик перекрестил его.

— Скоро, что ли? А то и тебя здесь запру, — послышался окрик сторожа.

Большерук толкнул Кореева к дверям, а сам упал на солому.

Дрожащей рукой схватился юноша за скобу, распахнул дверь и вышел, низко наклонив голову.

Караульный тотчас же запер за ним дверь.

Обман удался.

Не спеша, чтобы не вызвать подозрений, тяжелой старческой походкой побрел он к своему дому среди сгустившейся темноты.

За углом чуть вырисовывались силуэты двух коней и всадника.

— Андрон! — тихо позвал Кореев.

— Я-сь! — откликнулся всадник.

Сбросить армяк и привязную бороду было делом одной секунды.

В следующую он был уже на седле.

— Дядька там? — спросил Андрон.

— Там... — ответил Андрей Алексеевич, и голос его дрогнул.

— Помоги ему Господь! Едем!

Выбрались за город единственными открытыми ночью воротами, где их было окликнули.

Андрей Алексеевич ответил, что холопы они боярина Епифана Кореева и посланы им по спешному делу.

Их не стали расспрашивать и пропустили, а лиц в темноте нельзя было разглядеть.

За городом поехали с возможной быстротой.

В душе Кореева было смешанное чувство радости и скорби. Он радовался свободе и печалился о верном Матвеиче.

Обман, конечно, не замедлил открыться. Страж, принесший, по обыкновению, воды и хлеба, тотчас же узнал подмену.

Узнав о побеге узника, Олег пришел в ярость. За Андреем Алексеевичем была послана погоня, но не имела успеха.

Участь Матвеича была решена коротко:

— Казнить!..

Старик был безмятежно-спокоен, когда его вели на казнь.

Он помолился, поклонился на все стороны и сам положил на плаху седую голову.

Сверкнул топор. Раздался глухой удар.

И верного раба не стало.

XVII. ЗА ВЕРУ И СВОБОДУ

Страшное бедствие грозило Руси.

Надвигалось новое Батыево нашествие, усугубленное еще нападением Литвы.

Вся Русь от мала до велика всколыхнулась.

У всех на устах было:

— Хан Мамай идет воевать Русь с силой несметной!

И сила его действительно была несметна.

Он, злобясь на московского князя за его «непослушание», за его смелость противостоять татарам со оружием в руках, когда они вторгались в русские пределы, и побеждать их, долго готовился к нашествию. Он хотел одним ударом решить судьбу великого княжества Московского, могущество которого росло не по дням, а по часам.

Он собрал огромное войско; ядро его составляли татары, а к ним присоединились, как подданные хана или его наемники, половцы, харазские турки, черкесы, ясы, буртаны, то есть кавказские евреи, армяне и крымские генуэзцы.

Перед походом Мамай объявил на совете мурз:

— Иду по следам Батыея истребить Русь. Казним рабов строптивых, обратим в пепел их города и села и церкви христианские. Разбогатеем русским золотом.

Не довольствуясь тем, что имел сильную рать, Мамай еще заключил союз с Ягеллой, условившись напасть на Русь одновременно с ним. Не побрезговал он даже союзом с Олегом Рязанским.

Казалось, он соединил все, чтобы покорить Русь.

Он в этом был уверен и в конце лета 1380 года двинулся со своими полчищами к пределам Руси.

Олег не солгал, сказав Корееву, что известил Димитрия о нашествии Мамаея и Ягелло: он действительно это сделал, коварно продолжая играть роль друга.

Горячо молился в этот день великий князь во храме Богоматери.

По лицу его катились слезы, когда он шептал:

— Не за себя молю, Заступница, а за сынов земли Русской... Если нужна моя жизнь, да возьмет ее Господь и спасет Русскую землю!..

Молясь, он плакал, как женщина, но когда настала пора действовать, он явил себя сильным мужем.

Немедленно во все города полетели гонцы с приказом:

— Сбираться к Москве, спасти землю Русскую!

Поднялась Русь, как один человек.

Рвение выказалось необычайное. В несколько дней вооружались и поднимались целые города.

Отовсюду, со всех концов Руси, стремились к Москве тысячи ратников, готовых умереть за веру и свободу.

И простой смерд, и знатный боярин — все взялись за оружие, чтобы встать в ряды бойцов.

Как лавина, катящаяся с горы, вырастала могучая рать.

Шум оружия не умолкал на улицах Москвы.

Юноши и мужи готовились к бою, старцы и женщины молились. Храмы были переполнены... Горячие моления не умолкали.

Нищих не было в это время в Москве: на них щедрою рукою сыпались благодеяния.

Подавая милостыню, говорили:

— Помолись за спасенье Руси.

Димитрий Иоаннович устраивал полки, а устроив их, поспешил в Троицкую обитель — помолиться со святым Сергием.

Преподобный, истинный сын Русской земли, ободрил князя:

— Иди против татар не колеблясь... Бог поможет тебе... Многие падут честно, но сломится сила татарская... Ты вернешься здоров и невредим и с победою.

Целый день пробыл Димитрий Иоаннович в монастыре, укрепляясь беседой с преподобным.

Прощаясь с великим князем, святой игумен благословил его, окропил святою водою бывших с ним военачальников и дал ему в помощь двух иноков: Александра Пересвета, бывшего в миру брянским боярином и храбрым воином, и Ослябю.

На их схимы он велел нашить изображение креста и сказал, напутствуя:

— Вот оружие нетленное, пусть служит он вам вместо шлемов!

Вскоре после поездки великого князя в Троицкую лавру было назначено выступление.

Медленным, но неудержимым потоком потекли войска к городским воротам Москвы.

Духовенство сопровождало их с иконами и хоругвями, окропляло святою водою.

День был ясный.

Солнце сверкало на оружии ратников, золотило ризы духовенства, озаряло толпы плачущих женщин и детей.

В это время великий князь молился в храме Михаила Архангела над прахом погребенных там его предков.

Когда он вышел, ему подвели боевого коня.

Он обнял жену рукою, уже одетою в кольчужную рукавицу, вскочил на коня и промолвил:

— Бог наш заступник!

И поскакал к воинству.

Словно невиданная, сверкающая река заструилась, разлилась на много верст среди полей.

Звенит оружие, ржут кони.. Висит в воздухе плач остающихся... Но все меньше и меньше их... Редют толпы...

Вот уж воинство одиноко стремится вдаль от родных святынь...

Молчаливы воины. Их лица серьезны, и спокойным огнем горят очи...

В Коломне с Димитрием Иоанновичем соединилась полки полоцкие и брянские, предводимые сыновьями умершего Ольгерда, перешедшими на службу Москве.

Под Коломной великий князь сделал смотр воинству
В стройном порядке отправились необозримая рус-
ская рать.

Тихо шелестели десятки знамен, осеняя стальные ше-
ломы и шишаки.

Гордо реяло черное великокняжеское знамя с золо-
тым изображением Спасителя.

В рядах оказалось более ста пятидесяти тысяч воинов.

Князь с умилением смотрел на этих ратников, подняв-
шихся на защиту родины, и печалью сжималось его
сердце, при мысли, скольким из них не придется больше
увидеть своих оставленных отцов, матерей, жен и детей.

Он медленно проезжал вдоль рядов, когда вдали по-
казались два запыленных всадника.

Они подскакали к великому князю. Один из них по-
спешно спрыгнул с коня и приблизился к Димитрию
Иоанновичу.

— Великий княже! — сказал он с низким поклоном. —
Я боярский сын Андрей Кореев... Был в Рязани и убег
оттуда... Привез скорбную весть — князь рязанский Олег
изменил тебе... Он заодно с Мамаем и Ягайлой..

Лицо великого князя омрачилось.

— Хоть и грустна весть, но спасибо тебе... Был неког-
да на Руси Святополк Окаянный, таким же хочет, видно,
быть и князь Олег

Он тронул коня.

— Великий княже! — воскликнул Кореев. — Окажи
милость, дозвожь мне с холопом в войско стать.

— Становись, друже, — с ласковой улыбкой ответил
князь.

Андрей Алексеевич и Андрон тотчас очутились в ря-
дах воинов.

XVIII МАМАЕВО ПОБОИЩЕ

Русское войско подошло к Дону, за которым стояли
татары.

Возник вопрос: переходить реку или нет.

Голоса в великокняжеском совете разделились. Меж-
ду тем надобно было спешить, чтобы не дать Мамаю
соединиться с Ягайлой.

В разгар спора прибыл в стан Димитриев запылен-
ный, усталый инок и вручил великому князю письмо.

Оно было от преподобного Сергия. В нем святой

игумен убеждал Димитрия Иоанновича не медлить и идти вперед.

— Час суда Божьего наступает, — сказал великий князь и отдал приказание перейти реку.

7 сентября 1380 года воды Дона кишели людьми.

Вброд, вспенивая воду, переправлялась конница. По наскоро устроенным мостам тяжело шагала пехота. На том берегу, у речки Непрядвы, стали готовиться к битве.

Наступила ночь на 8 сентября, сырая и холодная. Андрей Алексеевич, кутаясь в широкий кожух, грелся у костра и думал:

«Увижу ли я завтра после боя те звезды, что теперь мерцают? Или примет меня мать сыра-земля? Сбудется по воле Божьей, а не по моей. А драться буду лихо».

На противоположной стороне костра сидел Андрон, тихо мурлыча песню.

— Бердыш я наточил, а сабля востра ли? — проговорил Кореев и, вынув саблю, попробовал лезвие.

— Туповато. Как думаешь, надо поточить, Андрон?

— Малость надо. Это я тебе живой рукой.

И, раздобыв мягкий камень, холоп принялся за работу.

— Может, завтра кого-нибудь из нас и не будет, — промолвил Андрей Алексеевич.

— А не стоит об этом думать. Помирать когда-нибудь надоть. Завтра али через десять годов... А за веру да за родную землю как не постоять! И, ей-ей, я не думаю, убьют меня али нет. Что Бог даст — и шабаш.

И речь, и выражение лица Андрона были совершенно спокойными.

Кореев помахал саблей и вложил ее в ножны.

— А что, боярин, не пора ли спать? — спросил Андрон.

— А и то доброе дело. Давай соснем.

И оба, повернувшись ногами к костру, поплотней завернулись, поудобнее устроили головы на седлах, заменявших подушки, и чуть не одновременно заснули.

Подобно им поступили и все другие воины Димитриевой рати, разбросанной на пространстве нескольких верст. У всех была одна мысль:

«За родную землю постоять — постою. А жив ли, мертв ли буду — на то Божья воля».

Чуть блеснул свет — загудели рожки.

Проснулись, оправились московские ратники и начали стягиваться к знаменам.

Наступил грозный день 8 сентября 1380 года.

Остатки войска перешли Дон и присоединились.

Близился час битвы.

Димитрий Иоаннович построил войско в боевой порядок и определил, какой части войска быть в засаде, под начальством внука Калиты князя Владимира Андреевича, Димитрия Михайловича Волынского и некоторых других.

В этот отряд попали и Кореев с Андроном.

Кореев был в прекрасной кольчуге и стальном остоверхом шеломе; на левой руке он держал щит, в луке седла виселось копье, у пояса покачивалась сабля, а в правой руке он держал тяжелый бердыш, похожий на тот, его любимый, которым он убил медведя, но, к сожалению, оставленный в Рязани.

Вооружение холопа Андрона было гораздо проще, но основательнее.

Его господин ссудил кольчугой, правда грубой и тяжелой; но зато ее едва ли мог бы перерубить топор. Щита и шлема он совсем не имел, а вооружен был огромным топором на длинном древке и ужаснейшей дубиной, способной расплющить, казалось, любого панцирника.

Оба они были на конях и находились в первых рядах засадного отряда.

Войско тронулось навстречу врагу.

Дорогой Кореев не раз сетовал, что довелось ему попасть в засадный отряд.

«Другие будут драться, а я только смотреть буду», — думал он.

Но как бы то ни было, приходилось покоряться.

В шестом часу дня достигли Куликова поля — обширной равнины, кое-где с небольшими холмами — и увидели неприятеля.

Казалось, на них ползло не войско, а туча, тьма тем.

Оба войска остановились на расстоянии нескольких десятков сажен одно от другого.

Русский засадный отряд ушел за лесок, откуда наблюдал за ходом сражения, оставаясь скрытым от татар.

Наступил страшный момент ожидания.

В обеих громадных ратях наступило на мгновение безмолвие.

Говор смолк.

Слышен был шелест стягов и звон вынимаемого оружия.

Тишина.

Вдруг из неприятельских рядов выделился огромный всадник и поскакал к русскому войску.

Ему навстречу вынесся на белом коне инок Пересвет, наклоня копье.

Темная схима реяла как крылья; наконечник копья блестел как серебро.

Миг... и два пустых коня побежали по равнине.

Инок лежал мертв, татарский богатырь бился в предсмертной агонии.

Два потрясающих рева вырвались с той и с другой стороны.

Великий князь, Ослябя и многие военачальники ринулись вперед.

За ними двинулась вся рать, сверкнув доспехами.

Татары кинулись навстречу как бешеные...

Все смешалось среди пыли и неистовых криков.

На пространстве десяти верст триста тысяч людей убивали друг друга.

Пощады не было.

Тетивы луков молчали. Резались грудь на грудь.

Страшное, кровожадное чувство поднималось в груди Кореева.

«Скоро ли?» — думал он, судорожно сжимая бердыш и жадными глазами следя за ходом битвы.

И вдруг, о ужас! часть русской рати поколебалась. Татары врезались в нее, как железный клин в мягкое дерево, — рубят, гонят...

Сейчас они возьмут великокняжеские знамена.

Димитрий Волынский промолвил:

— Теперь и нам пора!

Засадные полки вылетели из-за леса и как буря ударили по неприятелю.

Татары дрогнули, стали отступать, сперва медленно, потом все скорее.

Еще раз собрались, чтобы дать отпор, но не выдержали и вдруг побежали, охваченные ужасом.

На бегу оборачивались, наносили удары и... вновь бежали.

Мамай, наблюдавший с кургана, заскрежетал зубами и воскликнул:

— Велик Бог христианский!

И поскакал с поля битвы.

Кореев ринулся в битву вместе со всеми.

Его бердыш работал на славу, а рядом тяжело бухала дубина Андрона.

Вдруг какой-то конный татарин сбоку ударил его бердышом.

Удар был неожиданным, и юноша не успел прикрыться щитом. Шлем погнулся, в глазах потемнело.

Он лишился сознания и рухнул с коня...

Когда пришел в себя, то первое, что увидел, было лицо Андрона.

— Слава Богу, ожил, — сказал холоп. — А я и смотрю: ран нет, только обмер. Давай водой поливать. Стать можешь?

— Могу. А что татары?

— Фью, татары! Я чаю, и теперь не опомнились. Вконец побиты.

Андрей Алексеевич разом вскочил на ноги.

Он был на небольшом пригорке. Внизу колыхалась победоносная русская рать. Великий князь в страшно иссеченных латах проезжал по рядам.

Отовсюду неслись радостные крики.

Юноша закрестился часто-часто. Потом побежал с холма, встал в ряды и сам закричал неистово-радостно.

Верный Андрон ему вторил густым и хриплым басом.

ХІХ. РАЗБИТЫЕ НАДЕЖДЫ

Отец Михаил, двинувшийся в путь с такою пышностью и почти уверенный в получении престола митрополита всея Руси, подвергся очень скоро опасности.

Едва путешественники миновали Рязанское княжество, как в степях половецких их охватил ужас: на них надвигалось громадное скопище татар.

Однако в данном случае Митяй показал себя истинным, сильным духом мужем.

Он один не растерялся.

Зная, что татары уважают русское духовенство, он выехал вперед и закричал надвигавшимся хищникам, что хочет видеть хана.

Имя хана было священо в глазах татар.

— Он хочет к хану — поведем к нему!

И Митяя с его спутниками привели в город Сарай.

Отец Михаил и там сумел повести себя так, что новый главный хан Тюлюбек, — номинальный владыка, так как всем управлял Мамай, его дядя, — выдал ему ярлык для безопасного проезда. Ярлык этот начинался очень оригинально: «Мы, царь Тюлюбек, дядиною Мамаевою мыслию...»

После этого наши путники благополучно добрались до Крыма, сели в Кафе на корабли и поплыли к Константинополю.

И плавание также проходило благополучно.

Не далеко было до царственной Византии, когда Митяй вышел на палубу освежиться.

У него болела голова и во всем теле чувствовалось недомогание.

Лучи месяца серебрили воду. Вдали, как неясный призрак, возносился купол Святой Софии — Божьей Премудрости...

Константинополь был виден. Цель была почти достигнута. Патриарх его непременно посвятит. Разве он осмелится ослушаться главного своего благодетеля, великого князя московского?

Быть может, через несколько дней он, отец Михаил, будет уже стоять в храме Святой Софии, как признанный и посвященный митрополит всея Руси.

Что-то кольнуло в боку... Чтс-то ударило в голову...

И вдруг Митяй покачнулся, ухватился за борт и крикнул слабым голосом:

— Помогите!

Его свели, вернее, снесли в каюту. Он впал в беспамятство и к утру скончался, когда корабль был у самого Константинополя.

Его похоронили в предместье Галате.

Таким образом предсказание святого Сергия исполнилось.

Судьба другого честолюбца — епископа Дионисия — оказалась также печальной.

Он достиг Царьграда, но так как не имел княжьей грамоты, был наречен не митрополитом, а только архиепископом; в судьбище же ему войти не пришлось, так как Митяй умер.

Дионисий вернулся на Русь.

Великий князь полюбил его за ум и начитанность и на

этот раз сам отправил его к патриарху, чтобы тот нарек его митрополитом всея Руси.

Воля княжья была исполнена. Дионисий получил сан митрополита всея Руси, но... на обратном пути его остановил князь киевский Владимир Ольгердович.

Дело в том, что в Киеве находился ранее поставленный митрополит Киприан, которого, однако, Димитрий Иоаннович не хотел признавать общерусским духовным владыкой.

Теперь также поступил с Дионисием и князь киевский: — У Руси есть уже митрополит — Киприан. Тебе незачем ехать!

Дионисий был взят под стражу и скончался в неволе.

Было позднее утро.

Пахомыч, несколько постаревший, но значительно раздобревший, сидел в барских палатах и, выслушивая доклады ключников, зычно покрикивал.

За несколько лет он совсем вошел во вкус владения большою вотчиною и чувствовал себя уже не холопом, а настоящим господином.

Тем более что и копеечка про черный день была отложена не малая.

Вдруг вбежал холоп, не то растерянный, не то обрадованный, не то испуганный, и крикнул:

— Боярин прибыл.

На мгновение воцарилось молчание.

— Полно врать то. Какой боярин, — проговорил Пахомыч, и в то же время лицо его стало покрываться бледностью.

В сенях слышались шаги, и вошел Андрей Алексеевич в сопровождении Андрона.

Пахомыч сидел остолбенев. Потом встал, качаясь, и пробормотал:

— С приездом-с!

— Спасибо. А ключником у меня Андрон. Он тебя и усчитает.

Андрон и усчитал так, что долго потом Пахомыч кряхтел: все незаконно нажитые деньги были от него отняты.

Это была единственная «месть», которую себе позволил молодой человек.

На Кучковом поле, где ныне монастырь Сретенский, толпилось неисчислимое множество народа.

Из-за голов видна была большая плаха на высоком лобном месте, в ночь построенном.

— Ведут! — слышался говор.

Вели Некомата и Вельяминова.

Перебегая то в Литву, то на Русь, они нигде не могли найти себе пристанища; наконец они вернулись — больно уж потянуло их в родные места, тут их и накрыли.

Изменникам нет пощады. Решение княжье было — казнь.

Некомат шел угрюмый. Вошел на эшафот, молча перекрестился и положил голову под топор.

Вельяминов, ставший красавцем еще пуще прежнего, сказал:

— Братцы! Много я грешил. Грех до добра не доводит. Вот чего я добился... Живите как Бог велит. Простите, православные!

Поклонился во все стороны, перекрестился и склонил свою прекрасную голову.

Много лет прошло с тех пор. Кто помнит о Митяе, о Некомате и Вельяминове, о князе Михаиле?

Имя Олега если и запомнилось, то память о нем не добрая.

Но кто не знает о Димитрии Донском? Кто не знает святых угодников Алексия и Сергия.

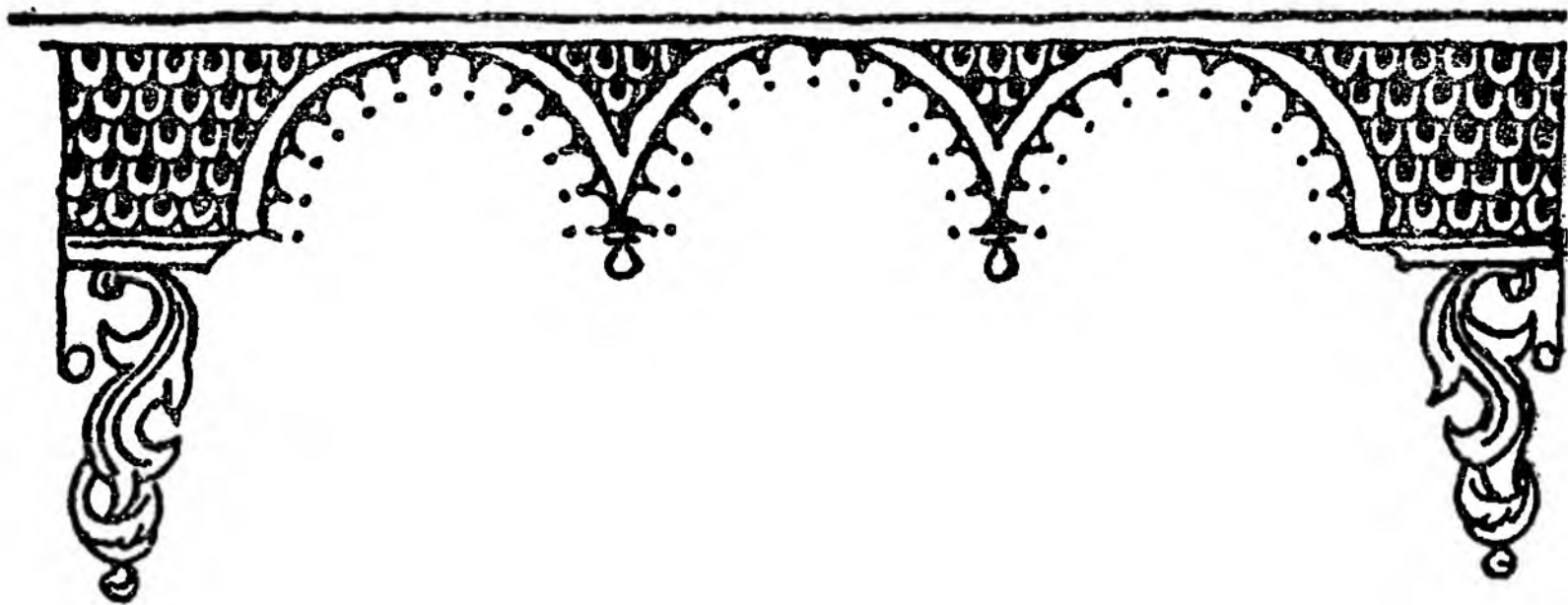
В чем разница первых и вторых? В том, что первые служили *только себе* и стремились к благам земным, а вторые — служили *общему благу* и стремились к Богу.

И еще через много веков не умрет память о Димитрии Иоанновиче, и всегда будут стекаться толпы богомольцев к святым мощам Алексия и Сергия.

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

Ф. РАВИТА

НА КРАСНОМ
ДВОРЕ



I. ВЕЧЕ

В ту эпоху Киев был уже большим гордом и разделялся на две отдельные части: на Гору, или княжий двор, и Подол, находившийся у подножия Горы. Настоящий город и укрепление составляла Гора, на которой помещались княжьи дворы, дома бояр, церкви и монастыри.

В центре города жил Изяслав на княжьем дворе, называвшемся также Ярославовым. Рядом с ним находились терема Ольги, несколько церквей и обширный двор деместиков, или певцов. На другом конце Горы, называемом Софийским, жили воеводы и бояре.

К концу княжения Ярослава селились на Подоле, где возникло народное самоуправление, ставшее сильной оппозицией княжеской власти. У киевлян там был свой торг и свое вече.

Князья, сидевшие на Горе, косо смотрели на эти собрания, однако народ, находясь вдали от гридней и дружины, чувствовал себя свободнее и охотнее отзывался на вечевой звон.

Вот и сейчас на Подоле было беспокойно, народ волновался и шумел.

Не так давно Изяслав с дружиною вернулся из похода, предпринятого им с помощью Святослава Черниговского и Всеволода Переяславского на половцев. Поход был неудачным. Хотя братья и соединили свои войска, половцы все равно оказались сильнее и победа осталась за ними. Князьям пришлось спешно возвращаться по домам, под защиту крепких городских стен. Половцы, увидев слабость неприятеля, начали совершать набеги на Переяславское княжество, а затем, переправившись через

Неводницкий перевоз, обошли по берегам Лыбеди вокруг Киева и стали грабить и разорять его окрестности.

Внутри города нельзя было проникнуть, так как длительная осада тоже была невозможна — для этого половцам не хватало сил. Поэтому они нападали на села, деревни и на городские предместья, наводя ужас на жителей. В опасности находился и Подол.

Однако Изяслав не делал ничего для обороны города и защиты киевлян: он только сидел в своем дворце и пировал с дружиною.

Это и вызывало неудовольствие киевлян.

— Нам нужен князь не для пиров, — слышались голоса недовольных, — а для защиты.

— Место дружинников не в княжеских палатах, — говорили другие, — а на поле боя.

Все эти высказывания доходили до слуха Изяслава вызывая у него ярость. Нередко доставалось и воеводе Коснячке, который не боялся говорить князю правду.

Как только в народе началось брожение, Коснячко поехал на княжий двор.

— Скверно, князь, — сказал он, — половцы разоряют нас, а ты держишь у себя дружину, кормишь, поишь ее да одеваешь...

— Потому что я со своею дружиною добываю золото, — отвечал подгулявший князь. — Если дружина при мне, значит, и вся сила на моей стороне.

— Быть может, ты прав, княже, — задумчиво сказал воевода, — но народ бунтует! Если ты со своею дружиною не желаешь защищать народ, то он сумеет сам себя защитить от врага.

Изяслав закусил усы.

— Воевода! — грозно заметил князь. — Сегодня ты не на боярском совете!.. Когда позовут тебя, тогда и будешь говорить...

Ответ был ясен, и воевода, нахмурясь, вернулся домой.

После возвращения воеводы домой, за час или за два до захода солнца, на Подоле зазвучал вечерний колокол.

Звон раздавался до захода солнца. Колокол созывал людей не только с одного Подола, но и со всех окрестностей, составлявших с Киевом одно целое. Конные и пешие люди шли по дорогам и тропинкам по направлению к Подолу, на площадь перед Турьей божницей, где, по обыкновению, происходило вече киевлян.

Из великокняжеского двора был послан один из гридней узнать, по какому случаю народ собирается на вече.

Гридня вернулся поздним вечером и сообщил князю, что киевляне собрались на совет, чтобы обсудить, как им избавиться от половцев. Он также передал приглашение киевлян прийти на вече.

Приглашение насторожило Изяслава, и он решил не ходить на вече. Вместо этого он собрал дружину, велел выкатить из подвала две бочки меду, позвать музыкантов и плясунов и начал пировать.

Народное вече, созванное так внезапно в Киеве, не прошло незамеченным и воеводою Коснячкою.

Было около полуночи, когда Коснячко вышел из терема, сел в саду на лавочке и начал прислушиваться к отдаленному шуму, долетавшему с Подола. Слышно было ржание лошадей, топот копыт и возгласы народа. Это его заинтересовало, он встал, вышел за ворота и отправился в башню, стоявшую возле его сада. Оттуда он стал смотреть на Подол и прислушиваться. Луна ярко светила, но старые глаза воеводы, увы, ничего не видели. Лишь отдельные слова, угрозы и жалобы долетали до его слуха.

Долго сидел воевода, прислушиваясь к вечу, как вдруг до его слуха долетело пение. Это был хор серебристых девичьих голосов, раздававшийся из светлицы его хором и разносившийся среди ночной тишины далеко над Подолом и Днепром.

Коснячко поднял голову и улыбнулся. Это пела его дочь Людомира с подругами.

Слушая пение, старик, казалось, забыл о той буре, которая кипела у его ног на Подоле. Он давно лишился жены, сыновей у него не было, так что единственной его утехой на старости лет была дочь Людомира, называвшаяся уменьшенным именем Люда. Это была стройная девушка с густыми белокурыми волосами и румяным, несколько продолговатым, привлекательным личиком.

Допев песню, Люда встала и весело произнесла:

— Довольно петь, мои подруженьки... Уже полночь и пора спать. Я пойду попрощаюсь с тятей, — прибавила она и вышла на террасу; она знала, что ее отец любит вечерами сидеть там.

Оглядевшись вокруг и не видя его, она окликнула:

— Тятя! Тятя!..

В ту же минуту скрипнула калитка и показался старый воевода. Он был без шапки. Легкий осенний ветерок раздувал его седые волосы, серебрившиеся при луне.

Люда живо подбежала к нему и повисла на шее.

— А я, тятя, искала тебя, чтобы попрощаться, — сказала она. — Пора спать.

Отец поцеловал ее в лоб.

— Спокойной ночи, моя ласточка, — нежно сказал он.

Вдруг за калиткой послышался топот лошади; воевода поднял голову и начал прислушиваться. Стук копыт приближался к ним; наконец кто-то остановился у ворот, соскочил с коня и начал привязывать его к кольцу.

«Дурные вести», — подумал старик.

Калитка скрипнула, и на пороге появился красивый молодой человек. Это был Иван Вышатич, сын посадника из Вышгорода, друга воеводы. Иван был тысяцким в Берестове и из любопытства поехал на вече.

Подойдя к воеводе, он снял шапку и низко поклонился старику.

— Бью челом вам, воевода, — сказал он и, повернувшись к Людомире, прибавил: — И тебе красна девица!

После этого он снова обратился к воеводе:

— Я был на вече у Турьей божницы... Увидев издали огонек в ваших хоромах, решил заехать.

Вышатич говорил отрывисто, с остановками, как бы обдумывая, что сказать. Видимо, он хотел сообщить что-то воеводе, но ему мешала Людомира.

Старик понял его и, попрощавшись с дочерью, велел ей идти спать.

Оставшись наедине, они уселись у рундука.

— Ну, что слышно? — спросил старик.

— Печальные вести, — сказал Вышатич. — Народ галдит и несет чушь про вас и про князя...

— Чего же они хотят? — спросил воевода.

— Хотят прогнать половцев... Говорят, что если князь не желает защищать ни нас, ни нашего имущества, то мы сами должны защищаться. Многие считают, что у нас уже нет ни князя, ни воеводы, ни дружины, которые защищали бы нас от врагов, а потому мы должны искать нового князя, воеводу и дружину.

Коснячко внимательно слушал Вышатича.

— Не дружины и рук у нас нет, — сказал он, подумав, — а ума... Разве народ не видит этого? Правду

говорит пословица: горе голове без ума, но горе и рукам без головы!

Разговор их продолжался не долго. Было уже поздно, и Вышатич, откланявшись, уехал домой, а воевода пошел в опочивальню отдохнуть, решив с рассветом поехать к Изяславу, чтобы еще раз поговорить с ним. Он хорошо знал характер киевлян и предвидел печальные последствия ночного веча.

Как только занялась утренняя заря, воевода был уже на ногах, приказал оседлать коня и поехал к князю.

А на Подоле все кипело, как в котле: народ продолжал шуметь и уже собирался идти на Гору.

Настало утро, солнце уже давно взошло, а воевода все еще не возвращался, и напрасно Людомира с беспокойством поджидала его на террасе...

Вдруг перед воротами раздался топот лошади и замолк.

«Верно, отец», — подумала Людомира, вставая с лавки.

Калитка отворилась, и вошел Иван Вышатич.

Он был бледен.

— Где отец? — спросил он тревожно.

— Уехал на княжий двор и еще не возвращался, — ответила она.

— Скверно! — невольно вырвалось у Вышатича.

Людомира, ничего не понимая, молча смотрела на него.

Вышатич отвел свой взгляд и объяснил:

— Народ пошел с веча на Гору. Быть беде.

— Так скачи туда и предупреди отца, — все еще до конца не понимая грозящей опасности, но сердцем чувствуя неладное, сказала Людомира. — Скачи быстрее.

Молодой тысяцкий приподнял шапку, поклонился и ушел. Быстро сел он на коня и помчался на княжеский двор.

Не прошло и получаса после отъезда Вышатича, как дорога из Кожемяк к Княжескому концу начала оживляться; конные и пешие толпы увеличивались, занимая площадь между Кожемяцкими воротами и хорами воеводы.

Испуганная Людомира приказала запереть ворота.

Вскоре кто-то подошел к оконцу в частоколе двора воеводы и начал громко кричать:

— Эй... вы... Отоприте ворота!..

— Позовите сюда воеводу Заячью Шкурку!.. — крикнул другой. — Пусть идет на совет... Народ просит его.

— Пусть даст нам, коней и мечей, и мы сами прогоним половцев.

— И без дружины обойдемся!

Толпа все росла и росла.

Людомира послала отрока к окну в частоколе, велел сказать, что воевода уехал на княжеский двор.

— Неправда! — крикнули за воротами. — Мы видели, как отсюда выходил тысяцкий из Берестова. Значит, воевода дома!

— Вышатич не застал воеводы, — прокричал в ответ отрок.

— Так мы найдем его... Если он воевода, пусть ведет рать на половцев, а не сидит дома, словно заяц в лесу.

— Пойдем к князю! — слышались голоса.

— Пойдем!

— Нам не таких надо князей!

Вдруг из толпы выехал один всадник и громко закричал:

— Братцы, разделимся! Пусть одна половина идет на княжий двор и требует от князя коней и мечей, а другая — к темнице, в которой заперт князь Всеслав... Если Изяслав не хочет княжить, то мы освободим Всеслава и посадим его на княжий престол. Пусть княжит и защищает нас!

Речь эта понравилась толпе, и она быстро разделилась на две половины. Одна двинулась за двор Брячислава через мост и ворота Святой Софии к Княжескому концу, а другая повернула назад и отправилась к месту заключения князя Всеслава.

Изяслав знал о волнении народа, но, имея при себе дружину, не боялся его.

На всякий случай он послал воеводу Коснячку к митрополиту Георгию с просьбой поспешить на княжеский двор и помочь усмирить народ.

Едва воевода успел уехать, как перед воротами княжеского двора стала расти толпа.

Великокняжеский двор был обнесен таким же частоколом, как и хоромы воеводы Коснячки; фасадом он был обращен к Десятинной церкви и Бабьему Торгу, а задней частью примыкал к каменным стенам, окружавшим Гору.

Изяслав сидел со своей дружиной в сенях, когда услышал какой-то шум на дороге. Один из бояр выглянул через окошечко в частоколе и отскочил с испугом. Казалось, что внизу и на площади вокруг Десятинной церкви собрался весь Киев.

— Княже! — сказал он со страхом. — Народ пришел с веча!

Изяслав, окруженный дружиною, вышел из сеней, чтобы подойти к калитке. Ему загородил дорогу сын Мстислав.

— Негоже тебе держать речи перед бунтовщиками, — сказал он. — Останься с дружиной, а я пойду к ним...

— Да, останься, князь, — поддержали его дружинники.

Мстислав выглянул через форточку в частоколе и обомлел: княжеский двор казался окруженным огромной толпой со всех сторон.

Кто-то из толпы заметил Мстислава, выдвинулся вперед и крикнул нахально:

— Княжич! Половцы почти каждый день делают набеги на наш город, и никто не защищает его.

— А разве мой отец не ходил на половцев? — спросил Мстислав.

— Ходить-то ходил, да толку никакого. Не князь победил половцев, а они — князя. Он вернулся домой, а они за ним...

— Князь держит дружину не для нас, а для музыкантов и плясунов, — громко пошутил кто-то.

Мстислав побагровел.

— Чего разорались, бараньи головы... Не вам, дубье, приказывать князьям!

Разгневанный княжич ни с чем вернулся к отцу.

Мятежники, не получая никакого ответа от Изяслава, неистовствовали и начали напирать на ворота княжеского двора.

— Дело принимает скверный оборот! — заметил князю его приближенный Чудин.

Изяслав посмотрел вперед и заметил новую громадную толпу, приближавшуюся к Княжескому концу.

— Ну, вот и митрополит с крестом! — радостно проговорил он.

А народ все громче ревел:

— Князь, давай коней и оружие или иди вместе с нами на половцев!

Плохо, князь, — продолжал Чудин. Пошли лю-

дей в темницу и прикажи им убить Всеслава!.. Он — причина всего зла.

Толпа, замеченная Изяславом, постепенно приближалась к воротам. Впереди ехал всадник в грязном выцветшем кафтане, с густой бородой и длинными усами.

Изяслав взгляделся в толпу и вдруг нахмурился и покраснел.

— Это не митрополит! — воскликнул он. — Это Всеслав!

Народ, увидев приближавшуюся толпу с Всеславом во главе, забурлил еще больше и начал сильнее напирать на ворота.

Князь и дружина отошли в глубину двора, а вместо них выступили вооруженные гридни и отроки, готовые сразиться с народом.

Это был маневр, задуманный князем для бегства. В саду уже стояли оседланные кони, и Изяслав, сев на них с дружинниками, скрытно выехал через заднюю калитку, ведущую в Берестово, и по Крещатой долине помчался в Василев.

Толпа, шедшая с Всеславом, тем временем приблизилась к великокняжескому двору.

— Ты правь нами! — раздались голоса, обращенные к Всеславу. — Не хотим Изяслава!

Ворота под сильным напором массы людей подались и раскрылись, в минуту весь княжеский двор заполнился бурлящей толпой. — Раздались крики, когда обнаружилось, что князя нигде нет.

— Бежал, заячий хвост!

— Бежал от нас, как от половцев!

— И пусть бежит, да не оглядывается!

Вдали показался небольшой отряд дружины Ярослава с воеводой Коснячкой, митрополитом Георгием и духовенством.

Пока отряд воеводы доехал, княжеские хоромы были уже разграблены.

Все, сняв шапки, низко поклонились митрополиту, державшему крест в руке, и начали прикладываться к кресту.

Затем вперед выдвинулся Варяжко, посадник белгородский, и начал жаловаться митрополиту:

— Мы просили князя Изяслава дать нам коней и оружие или самому защищать нас от половцев, но он не хочет. А если не хочет или не умеет, так пусть и не

княжит. Знать, он и сам так думал, потому что бежал, и теперь у нас нет князя... Благослови, святой владыка, Всеслава на великокняжеский стол, и пусть он княжит во славу Божию и народа.

Народ расступился, и к митрополиту подошел весь бледный, грязный и растрепанный Всеслав. Митрополит не колебался и, подняв крест, опустил его на голову нового народного избранника, не успевшего еще прийти в себя от всего происшедшего.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь! — произнес митрополит. — Воссядь, сын мой, на великокняжеский стол Ярослава Мудрого, который предназначен тебе Богом, княжи и правь народом отечески и не давай на расхищение твоих городов и имущества нашим врагам.

Народ обнажил головы. Всеслав осенил себя крестным знаменiem и дважды поцеловал крест, а затем стал рядом с митрополитом, окруженный киевлянами, и обратился к народу:

— По воле народа и Божией милостью сегодня я занял киевский престол, оставленный Изяславом. Господь видит, что я занял его не по собственной воле. Изяслав, целуя крест со своими братьями и клянясь, что они не сделают мне зла, не сдержали своего слова. За это Господь их наказал. Да поможет же Он мне служить Ему и вам с честью и пользой!

Толпа киевлян окружила Коснячку и благодарила его, что он не участвовал в борьбе Изяслава с народом и встал на сторону обиженных.

Всеслав, желая воспользоваться опытностью Коснячки, предложил ему остаться по-прежнему воеводою и руководить дружиной, но воевода отказался, сославшись на старость.

Всеслав не настаивал, и вскоре воевода уехал домой. Возвращаясь из Княжеского конца, он издали заметил, что у ворот его дома стоит вооруженный конный отряд, и забеспокоился. Он прищпорил коня и придержал его лишь тогда, когда разглядел, что отряд состоит из приближенной стражи тысяцкого из Берестова.

Когда воевода приблизился к воротам своего дома, к нему подъехал один из отряда Вышатича и спросил:

— Ваша милость позволит нам уехать?

— С Богом, — сказал воевода. — Спасибо вам за услугу... Поблагодарите от меня тысяцкого за внимание.

Ворота, задвинутые дубовым засовом, были открыты, и воевода въехал во двор.

Не успел он слезть с лошади и отдать поводья челядинцу, как Людомира выбежала из терема и бросилась в отцовские объятия.

— Что ты так долго? — спросила она.

— Раньше нельзя было, — не вдаваясь в подробности, ответил старик.

— Где же ты был целый день?.. Я так беспокоилась о тебе... Когда ты уехал на княжий двор, Вышатич искал тебя...

Воевода поцеловал дочь и сказал:

— Славный молодец этот Вышатич..

Люда, казалось, не обратила внимания на его слова.

II. СВАТЫ И ГАДАНЬЕ

Немного киевляне имели пользы от Всеслава. Хотя он и двинулся на половцев, но ничего не сделал им, потому что настала зима и половцы ушли сами. Воцарилось временное спокойствие, но это не удовлетворяло ни киевлян, ни Всеслава. Половцы, побежденные стужей, а не оружием, могли вернуться весной. Но, что хуже всего, и Изяслав мог вернуться; ходили слухи, что он бежал в Польшу и оттуда собирается весной вернуться на Русь. Это очень беспокоило и киевлян, и их князя.

Вот так, среди общей неуверенности, и настала зима.

Однажды в морозную звездную ночь от дома тысяцкого в Берестове отъехало двое саней, в которых сидело по два человека.

Миновав Печерский монастырь, они свернули в густой лес и по узкой крутой тропинке спустились к Подолу, а там повернули на Боричев въезд; видно было, что путники пробираются на Гору.

Въехав через ворота в город, путники миновали княжий двор, Десятинную церковь и Бабий Торг, проехали через другие ворота и вскоре остановились у хором воеводы Коснячки.

В доме было спокойно и тихо. Старый воевода ходил по гриднице, как вдруг вошел отрок и доложил:

— Гости к вашей милости из Берестова

— Отопри ворота, — удивившись, сказал воевода

Едва он взглянул на входивших гостей и на их праздничные наряды, как сразу догадался, кто они и зачем приехали. Это были сваты от Вышатича.

Впереди шел старик с большою седою бородою, в собольей шубе, которую получил в дар от Ярослава Мудрого. Это был старый Варяжко, знакомый и друг воеводы, посадник белгородский, родственник Вышатича. За ним вошло еще несколько человек.

Войдя в гридницу и остановившись посередине, сваты перекрестились на образа, каждый из них поклонился воеводе в пояс и все вместе сказали:

— Бьем челом вам, воевода!

Воевода тоже поклонился.

— Прошу вас, гости дорогие, присесть к столу и не побрезговать хлебом-солью.

Гости присели к столу.

— Какая причина привела вас ко мне? — спросил хозяин, помолчав.

Посадник встал и, поклонившись в пояс, промолвил:

— Ваня Вышатич прислал нас просить руки твоей дочери Людомиры. Он бьет вам челом, воевода, и просит удостоить его чести. Ваша милость изволит знать, что он парень степенный; князь и дружина любят и уважают его, у него много скота, хорошая пасека. Да и лицом Господь не обидел. Отдайте ему девицу. Пусть поженятся да и живут счастливо!

Воевода внимательно выслушал свата и, когда тот закончил и сел, спокойно сказал:

— Спасибо вам, дорогие гости и сваты, за оказанную мне честь... Я люблю и уважаю Вышатича, но, вы знаете, моя девушка еще очень молода... Надо поговорить... подумать... посоветоваться... будьте ласковы подождать...

— Зачем тебе держать девушку в тереме? — возразил Варяжко. — И для кого еще беречь ее девичью красоту?

Но воевода не хотел давать никакого ответа, а поэтому пригласил сватов побывать еще раз, дать ему время все обдумать и посоветоваться. На самом же деле он знал, что Люда не особенно жалует молодого тысяцкого, так что эта отсрочка, по сути, была отказом.

— Уж будьте добры, не гневайтесь на хозяина и приезжайте ко мне как гости, — сказал он при прощанье. — Я приму вас с радостью, только теперь не могу отдать

девушки... Молода... пусть подождет, — закончил решительно.

Когда Люде сказали, что приехали сваты, она сделалась бледной как полотно и, казалось, окаменела.

После отъезда сватов воевода пошел к дочери в горницу. Увидев его, девушка бросилась к нему на шею.

— Были сваты... — сказал старик, глядя с любовью на девушку, но, заметив слезы на ее глазах, с участием прибавил: — Чего же ты, глупенькая?

Вместо ответа Люда сильнее прижалась к отцовской груди и сквозь слезы произнесла:

— Не люб мне, батя, Вышатич, не пойду я за него.

— Никто и не принуждает тебя, моя дочурка, — целуя ее в лоб, ответил старик. — Я сделаю, как ты пожелаешь...

Через несколько дней сваты приехали еще раз; но теперь уже в последний: воевода отверг предложение тысяцкого.

Через несколько дней после отказа сватам к Люде пришла ее двоюродная сестра Богна, а с нею несколько девушек. За разговорами наступила ночь, и вдруг Богне пришла мысль погадать.

— Знаешь что, Люда, — сказала она, — давай погадаем, в какую сторону мы выйдем замуж.

— Давайте, давайте! — воскликнули девушки и, не ожидая ответа Люды, все бросились надевать шубки. Выбежав на двор, они отперли ворота и вышли на дорогу.

Людомира последовала за ними.

В городе царствовала полнейшая тишина. Морозная ночь с искрящимися на небе звездами окутывала дома. Кое-где в окнах еще блестели огоньки, но и те гасли; под ногами скрипел снег, но, кроме девичьего шепота, не слышно было ни одного человеческого голоса.

Первой вышла на дорогу Богна и полушутя сказала:

— Залай, пес черный, завой, волк серый!.. Где пес залает, где волк завоеет — там живет мой суженый!

Девушки шептались и прислушивались.

Спустя минуту по соседству залаял пес хриплым голосом и умолк, потом еще раз отозвался — и все стихло.

Девушки рассмеялись.

— Доворожилась, Богна, быть тебе за каким-нибудь старым грибом! — сказала одна из них.

— И будет он на тебя ворчать, как этот старый пес, — прибавила другая.

— Не каждому же лаю верить, — защищалась Богна.

Наконец подошла очередь Люды выйти на дорогу. Она произнесла заветные слова:

— Залай, псс черный, завой, волк серый!.. Где пес залает, где волк завоеет, там живет мой суженый!

Через некоторое время девушки услышали лай собаки, доносившийся, как можно было предположить, со стороны Белгорода. Голос пса был отчетливый, звучный и свободно доносился по ветру в тихую морозную ночь.

— О-о, — заговорили девушки, — твой суженый, видно, приедет издалека... Верно, из ляшской земли.

Едва они успели это сказать, как в противоположной стороне послышался вой волка. Девушки невольно повернулись в ту сторону и начали прислушиваться.

— От Берестова, — сказала одна.

— Нет... ниже... От Аскольдовой могилы.

— Вот тебе, Люда, и предсказание: твой суженый приедет от ляхов, возьмет тебя и посадит на Красном дворе...

Девушки рассмеялись и вернулись в горницу. Всем было весело, только одна Люда была печальна. Ее сердце стремилось куда-то, но куда — она и сама не знала.

Около полуночи девушки разошлись по домам, и Людомира осталась одна. Она подошла к окну, приложила горячим лицом к пузырю, заменявшему стекло, и начала всматриваться в безграничное небо, усеянное звездами.

В этот момент ей пришла мысль снова погадать. Она начала упорно смотреть в окно и тихо приговаривать:

— Суженый, ряженный, покажись в оконце!

В то же время ей как будто кто-то шепнул:

— Смотри в окно!

Вдруг послышался сильный шум, и ей показалось, будто где-то далеко замелькали кони и рыцари...

«Что это значит?» — подумала она.

Между тем отряд всадников все ближе подъезжает к ней... Впереди отряда едет рыцарь, весь закованный в доспехи: на нем стальная кольчуга; лошадь тоже в доспехах; в блестящих стремянах отражаются звезды... он едет прямо к ней... Может быть, это князь или король... за которым следовал целый отряд дружинников?..

Отряд все приближался и наконец остановился перед ее окнами, на макушках деревьев. Рыцарь, ехавший впереди, остановил коня... поднял руку, закованную в стальную перчатку, снял шлем с головы и низко поклонился...

Люда вздрогнула, крикнула и упала у окна.

Сбежались сенные девушки, подняли ее и положили в постель...

III. ДВА ПОСОЛЬСТВА

Молодая заболела. Она не сказала ни отцу, ни даже преданной ей няньке Добромире о том, как ей привиделся будущий суженый. Лицо его, фигуру она никак не могла забыть.

Она замкнулась в себе и начала жить собственной, никому не известной и не доступной жизнью; у нее был теперь свой свет, к которому никто не смел прикоснуться.

Тем временем начали носиться слухи, что Изяслав идет на Всеслава в Киев с целой ратью. Вести эти с каждым днем находили новые подтверждения. Говорили, что за Изяславом идет король польский Болеслав Смелый, который хотя и был молод, но уже стяжал себе славу в войне с поморянами и мадьярами.

И опять раздался вечевой звон, толпы народа снова повалили к Турьей божнице.

А тут вдруг случилось совсем непредвиденное.

Позвали воеводу Коснячку, но пока он приехал, разнеслась весть, что Всеслав бежал.

На вече воеводу встретил наместник белгородский.

— Вот видишь, воевода, — сказал Варяжко, — новый позор постиг Русь: князь, которого мы избрали, чтобы княжил над нами, бежал, оставив нас Изяславу и ляхам, которые уже стоят под Белгородом... Ты, воевода, старше всех нас, поэтому советуй, что нам делать?

— Трудно теперь советовать, — отвечал задумчиво воевода.

— Не поискать ли нам нового князя? Послать разве к Святославу или к Всеволоду?

— Нельзя, — решительно заявил воевода. — Князья станут драться за великокняжеский стол и за поместья, а наши чубы будут трещать. Вы думаете, новый князь будет лучше?

— И что же делать тогда? — растерянno спросил Варяжка.

— Послов надо послать к Изяславу, — сказал воевода. — И предложить ему вновь княжить в Киеве.

— Что? — Варяжко отмахнулся.

В народе возник и стал усиливаться ропот.

— Да, — повысил голос воевода, — другого выхода нет. Но только пусть обещает, что не будет держать зла на нас и искать виноватых.

— А если не согласится? — выкрикнул кто-то из толпы.

— Не согласится — не получит город, — отрубил воевода и отошел в сторону.

Долго шло вече, долго бурлил нард, не желая идти на поклон к Изяславу, но в конце концов послов решили направить, иного выхода действительно не было. На следующий день послы выехали из Киева и направились к войску Изяслава. Во главе посольства ехал Варяжко. Вскоре они уже проезжали под конвоем по лагерю неприятеля. Заставив спешиться, их ввели в большой шатер, и, пройдя между стражниками и отроками, одетыми по-мадьярски, они низко поклонились сидевшим у стола Изяславу и молодому человеку с смуглым, загоревшим лицом и небольшими черными усиками — польскому королю Болеславу Смелому.

В ответ на глубокий поклон послов он спокойно кивнул головой, проницательно посмотрел на них и стал ждать, что они скажут.

Варяжко сделал шаг вперед.

— Милостивый князь, — начал он, обращаясь к Изяславу, — киевляне приносят тебе повинную... просят вернуться и княжить нами по-прежнему.

По лицу Изяслава скользнула довольная улыбка.

— Поздненько вы пришли просить прощения... Я ведь знаю, сто Всеслав занял мой престол. Я уже не раз побеждал его, одолею и теперь.

— Милостивый княже, — отвечал Варяжко, — у тебя нет более неприятеля... Всеслав с дружиной своей убежал в Полоцк.

Изяслав широко раскрыл глаза.

— Бежал! — с удивлением воскликнул он и посмотрел на Болеслава, как бы спрашивая его взглядом: что теперь делать?

Король не сказал ни слова и ни одним движением не выдал своего удивления. Он внимательно слушал послов и не спускал с них своего проницательного взгляда.

— Да, бежал, милостивый княже! — повторил Варяжко. — Теперь уже нет врага, а потому не иди силою на Киев и не разоряй города твоего отца.

Его слова вызвали раздражение у Изяслава.

Изяслав начал волноваться.

— Нужно искоренить бунтовщиков, — мстительно сказал он, — да так, чтобы и детям их неповадно было менять князей, словно шубу на плечах.

Варяжко смело посмотрел Изяславу в глаза.

— Воля твоя, милостивый князь, — возразил он, — но народ, который послал меня к тебе, думает не так: он умоляет тебя простить его, умоляет не водить в свой город чужой дружины и не разорять его; но если ты, княже, не желаешь смилостивиться и простить и если пришельцы хотят уничтожить то, что создали наши деды и прадеды, то мы лучше сами все уничтожим, сожжем наши дома, уничтожим поля, возьмем наших жен, детей и имущество и уйдем в Грецию. Тебе, княже, останется лишь одно пепелище.

Изяслав не ожидал от послов такой смелости. Он бросил вопросительный взгляд на короля, который, подумав, произнес:

— Это делает вам честь, что вы искренно радуете о вашем отечестве, и остается только пожелать, чтобы вы всегда защищали его так же, как сейчас... Я держу войска не для того, чтобы разорять народ и его имущество, а чтобы защищать его. Я вел свои войска на врагов свояка своего — князя Изяслава, но если их нет, то ни я, ни он не захотим нападать на безоружных и издеваться над ними... Подождите час-другой, мы посоветуемся, и, может быть, вы отвезете киевлянам добрые вести.

Послы вышли, а король обратился к Изяславу.

— Верно, ты не рассчитываешь долго сидеть в Киеве, — сказал он, — если обещаешь отомстить киевлянам... Разве ты не знаешь народа?..

Изяслав почувствовал себя обиженным.

— Ошибаешься, ты знаешь свой народ, но не наш... У нас все делается иначе: мы затыкаем рот своему народу мечом, а кого он боится, того и слушает.

— Зачем ему слушать под страхом, пусть лучше слушается из любви.

Князь усмехнулся:

— Ты видишь, король, как он любит: полгода не прошло, как он прогнал меня, а сегодня просит. Он выгнал меня, потому что ему казалось, будто Всеслав защитит их, а когда Всеслав бежал, кланяется и просит прощения...

— И ты должен простить. Не забывай о том, что у тебя бояр и дружины очень мало.

Изяслав призадумался.

— Не могу же я простить их,— сказал он, помолчав.— Если я прощу их, то они заговорят, будто я боюсь, а тогда мне покоя не будет...

— А если отомстишь,— перебил король,— то наживешь врагов, которые будут только выжидать удобного случая, чтобы тебе отплатить.

— Во всяком случае,— покачивая головой, сказал князь,— я должен наказать хотя бы несколько человек из самых буйных.

Послов опять позвали в шатер.

Изяслав мрачно посмотрел на них и, указывая рукою на короля, произнес:

— Я советовался с моим свояком и другом: он жалеет вас.

Послы поклонились Болеславу.

— Я прощаю вас,— грозно продолжал князь,— но виновных я должен наказать.

— Воля твоя, милостивый княже,— отвечал Варяжко,— но будь уж отцом родным и для виновных...

— Всем прощу, кроме самых буйных, но не войду в город, пока все виновные не будут наказаны... Пусть в тюрьмах и монастырях оканчивают свой век, как Судислав, тогда дети их и внуки научатся почитать князей... Я не стану сам наказывать, чтобы вы не сказали, что я желаю мести, а не справедливости. Пусть едет в Киев мой сын Мстислав, он исполнит поручение, и тогда я вернусь к вам с дружиной.

Послы поклонились в знак согласия.

На следующее утро Мстислав собрался в Киев. Перед отъездом Изяслав позвал его к себе и сказал:

— Ты, сынок, не обращай внимания на то, что говорит Болеслав... Не ему княжить на Руси, а нам с тобою. Следует обязательно наказать всех виновных до последнего... не жалея даже и этого старого пса Коснячку.

С этими словами Изяслав отправил своего сына в Киев, и киевляне широко распахнули перед ним городские ворота.

Прежде всего Мстислав распорядился занять своей дружине ворота Золотые, Ляшские и Кожемякские, а затем потребовал от киевлян сложить оружие.

Покончив с этим, Мстислав принялся за кровавую

расправу: никто из имеющих положение или богатство не избег его рук, был ли он виноват или нет. Если это был боярин, то Мстислав казнил его из опасения нажать в нем врага; если же это был богатый купец, то казнил для того, чтобы его имуществом пополнить истощившуюся княжескую казну. Такова была его справедливость.

Настал наконец черед и воеводы Коснячки.

Однажды утром у ворот закричали:

— Отоприте! Посол от князя Мстислава!

Люда обняла отца за шею и с мольбою сказала:

— Не ходи, тятя, не ходи... Этот посол предвещает нам несчастье.

Воевода погладил девушку по щеке.

— Успокойся, моя ласточка! — отвечал он. — Худшего несчастья, чем позор, я не дождусь.

И он спокойно сошел вниз. В ворота уже въехал вооруженный отряд из десятка дружинников Мстислава. Один из них подошел к воеводе и сказал:

— Князь просит тебя пожаловать на княжеский двор.

В это время в окошко выглянула Добромира и, всплеснув от ужаса руками, громко крикнула:

— Славоша! — и поспешно сбежала вниз.

Воевода окинул взглядом отряд.

— Хорошо, — спокойно сказал он, — сейчас буду к вашим услугам, только зайду в горницу и прихвачу меч и шапку.

Начальник отряда, Славоша, которого так перепугалась Добромира, злобно улыбнулся.

— Не надо, воевода, — сказал он и кивнул. В тот же момент двое дюжих конюхов подскочили к воеводе и схватили его:

— Иди же, воевода! Уже и конь для тебя оседлан.

Воевода взглянул на них с презрением, но сопротивляться не стал.

— Да будет воля Всевышнего! — сказал он. — Знаю, на какой пир ведете меня.

Воеводе связали руки и усадили на коня. Лицо его было спокойно. Весенний ветерок развеивал его седые волосы на голове и бороде.

Люда выскочила из дома и подбежала к нему.

— Тятя! Куда тебя везут? — закричала она, обхватив его ноги.

— На пир зовут к князю... — ехидно сказал Славоша.

Сердце Добромиры не могло больше выносить этого зрелища.

— Живодеры княжеские! — крикнула она, обращаясь к конюхам и поднимая сжатые кулаки. — Палачи! Вы не умеете уважать ни седин старца, ни слез ребенка! Погодите, придет и ваша очередь...

— Замолчи, старая ведьма! — крикнул Славоша, подскочив и схватив ее за горло.

Добромира барахаталась в руках конюха и глухо хрипела:

— Палачи!.. Живодеры!.. Мясники!..

Старый Коснячко молча смотрел на плачущую дочь и сам едва удерживался от слез.

— Не плачь! — сказал он ей глухо. — Отведи ее в светелку, — прибавил, обращаясь к Добромире. — Сидите дома и ждите моего возвращения...

Воевода знал, что не вернется домой, но хотел утешить Люду.

— Нет, я пойду с тобой, — сквозь слезы сказала она.

Воевода сурово посмотрел на нее и твердо приказал:

— Сиди дома!.. Слышишь!..

Конюхи насильно оторвали дочь от отца, и отряд двинулся в путь.

Мстислав сидел со своими дружинниками на террасе княжеских палат и ожидал прибытия воеводы. Когда отряд, конвоировавший воеводу, въехал на двор и остановился возле террасы, Мстислав встал и, сделав несколько шагов вперед, с насмешкой сказал:

— Отец приказал поблагодарить вашу милость за оказанную ему услугу и спросить, почему вы не привезли митрополита Георгия, когда отец послал вас за ним?

И молодой князек, лихо подбоченясь, с вызывающею и презрительною миною ждал ответа.

Воевода, оскорбленный таким тоном, холодно ответил:

— Сказал бы я тебе, но если не умеешь ты уважать старости, то не сумеешь уважить и правды!

Мстислав возмутился и надменно произнес:

— Воевода! Я не для того приказал привести тебя, чтобы слушать твои советы и наставления, а только для того, чтобы узнать правду.

— Вот ее-то ты и не узнаешь... Что касается советов и наставлений, то я и не думал давать их... горе само научит тебя. Ярослав Мудрый неоднократно пользовался моими советами, слушал их и не стыдился...

Смелость воеводы удивила всех.

Мстислав вскипел.

— Знаем мы твои советы! — выкрикнул он. — Довольно научены ими... Князьям ты советуешь одно, а на вече другое... Довольно!

— Воля твоя, князь, а правда не твоя!

— Славоша! — позвал Мстислав, тот слез с коня и подошел к князю. Отведя его в сторону, Мстислав шепнул ему несколько слов.

— В Дебри! — приказал он затем громко отряду, окружавшему воеводу.

— Куда ты посылаешь меня, княже? — спросил старик.

— В Дебри... посоветоваться с Славошей! — презрительно, смерив его взглядом, ответил Мстислав.

Воевода сразу понял, что это значит.

— Господи! — воскликнул он, поднимая взор к небу. — Велико Твое милосердие... Прости меня многогрешного... Будь покровителем моему бедному ребенку и сохрани его от рук нечестивых врагов!..

Отряд в мертвом молчании отправился по дороге, ведущей в Берестово и к Печерской лавре.

Чрез два часа этот же отряд вернулся на княжеский двор, но воеводы с ним не было.

В Киеве воцарилась тревожная атмосфера, и все с ужасом ждали завтрашнего дня. Сегодня людей тиранил и вешал Мстислав, а завтра, быть может, то же самое будут делать Изяслав или Болеслав.

На следующий день духовенство с мощами, хоругвями и образами вышло далеко за Золотые ворота. Депутаты несли хлеб-соль и ключи от города. За ними тянулись толпы испуганных людей всех званий.

Когда вся эта процессия подошла к реке Лыбеди, войска Болеслава и дружина Изяслава начали переправляться через реку. Киевляне остолбенели от страха при виде многочисленного войска в блестящих шлемах и панцирях.

Изяслав с Болеславом ехали впереди. Подъехав к группе людей, выдвинувшейся вперед, они остановились; духовенство осенило их крестами, а остальные упали на колени и хором, прокатившимся глухим стоном, воскликнули:

— Милости, милости просим!..

Из толпы вышел киевский тысяцкий и с поклоном

поднес князю на серебряном блюде ключи от городских ворот.

— Милостивый князь, — сказал он, — киевляне просят прощения. Мы станем повиноваться тебе, возьми ключи от города и правь нами!

Послы вручили князю ключи. Теперь только покорностью они и могли усмирить бурю, грозившую им.

Изяслав принял ключи и торжественно вошел в город.

Князь и король уже давно расположились на княжьем дворе, а войска все еще продолжали входить; казалось, что им не будет конца. За ляхскими латниками, закованными в тяжелые немецкие доспехи, ехала легкая кавалерия, за ними шла дружина Изяслава, потом княжеская и боярская рать, а затем ляхская и полянская пехота с обозом и запасными лошадьми.

Желая смягчить гнев князя и расположить к себе короля польского, киевляне начали сносить на княжий двор богатые подарки, и не прошло нескольких часов, как просторная площадь была завалена грудami собольих и куньих шуб, тканями, переливавшимися яркими цветами, и искрившейся на солнце золотой и серебряной утварью.

— Видно, ты порядочно насолил киевлянам, — сказал король Изяславу, — если они так кланяются тебе.

— Да, кланяются, — ответил князь, — но я не особенно верю их поклонам... Знаю я их!

— Боишься? — пошутил Болеслав.

— Не боюсь, а знаю! — подчеркнул князь. — Кажется, все спокойно, а только крикнет кто-нибудь: «Зачем впустили этого рыжебородого в Киев? Да разве не найдется лучших князей?» — и этого будет достаточно, чтобы все изменилось...

Приближался вечер. Большая часть войска уже была расставлена по квартирам. Для Болеслава и приближенных Изяслав определил Красный двор над Днепром; король намеревался отправиться туда только завтра, а первую ночь провести с князем.

Не успели еще успокоиться на княжеском дворе, как на Подоле ударили в вечевой колокол.

Посланный на вече отрок вернулся и доложил:

— Киевляне боятся ляхов, милостивый княже, и желают, чтобы ты приехал на вече и поручился за их безопасность... Иначе угрожают взбунтоваться до последнего человека и драться с войсками до тех пор, пока их всех не перебьют.

Выслушав молча отрока, Изяслав выслал его.

— Ну вот, видишь, — обратился он к Болеславу. — Что я тебе говорил.

— Ты уже слишком много позволил Мстиславу, — задумчиво сказал король.

— Этого не воротишь... Я знаю, что они боятся не столько ляхов, сколько вот этой руки!

При этом князь поднял свою руку.

Настало минутное молчание.

— Надо тебе, милостивый король, — продолжил он, — съездить к ним... Убеди их, что ты приехал ко мне как гость и скоро уедешь...

Болеслав, позвав отрока, велел седлать коней и в сопровождении конного отряда отправился на вече.

У него достаточно было смелости, чтобы удовлетворить свое любопытство. Ему хотелось видеть бушующую народную волну, которая, расходившись, свергала князей с престола.

Киевляне тут же узнали, что сам король приедет на вече. Весть эта молнией пролетела по всему Подолу.

Вскоре королевский отряд остановился на площади, где висел вечевой колокол. Варяжко подошел к королю и спросил:

— С миром или с войной приехал ты к нам?..

— С миром, с миром, киевляне! — громко сказал польский король. — Мой свояк Изяслав просил меня защищать его от Всеслава, и я обещал ему, но я не намерен воевать с народом.

— Умные речи твои, король, — отозвался белгородский посадник. — Народ виноват лишь в том, что желает спокойствия и добра.

При этом он повернулся к народу, толпившемуся вокруг колокола, и громко крикнул:

— Слышите, что говорит король? Он не желает нашей гибели...

— Не желаю, киевляне, — повторил Болеслав. — Мы только отдохнем и вернемся восвояси, не причинив вам никакого вреда.

Варяжко торжествовал.

— Мы верим тебе, — сказал он королю. — Будь нашим гостем и оставайся с нами, пока тебе не надоест; а если на нас обрушится гнев князя нашего Изяслава, просим быть нашей защитой. Если ты любишь свой народ, то и нам зла не пожелаешь.

Король поклонился и уехал. После отъезда короля на княжий двор народ, успокоенный его словами, стал расходиться по домам.

— Польский король будет нашим защитником перед князем, — раздавалось по всему городу

IV СУЖЕНЫЙ

После ареста воеводы Коснячки Люда и Добромира сели у окна и стали ждать. Проходили долгие часы, а отец все не возвращался. Люда посылала отрока на княжий двор узнать об отце, но ему неопределенно ответили: «Воеводу задержал князь...» Уже Болеслав и Изяслав вошли в Киев и заняли княжеский дворец, а воеводы как не было, так и не было. Ни от кого даже нельзя было узнать, куда девался старик: все видели, как его насильно увезли на княжий двор, но никто не видел, чтобы он уехал оттуда.

Так прошло два дня.

Людомира плакала и молилась.

На утро третьего дня взошло прекрасное весеннее солнце и рассеяло туман, расстилавшийся над водой и лесами, но не развеяло тоски молодой девушки. Снова была разослана челядь по всему Киеву, и Люда ожидала вестей.

Киев начал оживляться. Со всех сторон тянулись вооруженные польские отряды, конные и пешие; одни въезжали на княжий двор, другие останавливались у Десятинной церкви, третьих отсылали на Красный двор, куда сегодня собирался переехать король Болеслав; часть войск было велено разместить в Берестове и в прилегающих деревнях.

Людомира продолжала смотреть через окно на дорогу и вдруг увидела Богну Брячиславовну. Девушка торопилась и шла, наклонив голову, так быстро, что служанка едва поспевала за нею. Поравнявшись с теремом воеводы, она точно тень проскользнула в калитку, вбежала в сени и исчезла. Еще минута — и она уже в светлице Люды. Богна вся дрожала и была в отчаянии; она хотела что-то сказать, но не знала, с чего начать.

— Что с тобой? — спросила Люда.

— Ничего... я бежала к тебе... — девушка осеклась.

— И что же? Ты знаешь что-нибудь об отце? Говори!

— Да, знаю,— нерешительно сказала та, пряча взгляд.

Люда испытующе посмотрела на Богну.

— Он все еще на княжьем дворе?.. Ведь он туда поехал...

— Да... поехал... но уже больше... не вёрнется,— пролепетала Богна.

— Почему не вернется?

— Не может... Мстислав отомстил ему... он умер...

Людомира залилась слезами. Прошло много времени, прежде чем Богна смогла рассказать, что случилось с воеводой. Узнав, что по приказу князя его повесили в Дебрях, Людомира закричала и с обезумевшим видом бросилась вон из дома. Добромира кинулась было за нею, но старые ноги ее не могли поспеть за девушкой, и она скоро потеряла ее из виду.

А Людомира все бежала вперед, шепча одно: «В Дебрях... он в Дебрях...» Миновав калитку за княжеским двором, она долго мчалась по узкой лесной тропинке, ведущей к Печерской лавре, пока не упала от усталости. Лесной холод освежающе подействовал на ее разгоряченный мозг, она пришла в себя и осмотрелась: вокруг был гигантский лес, упиравшийся вершинами в небо. С обеих сторон прижимались к громадным березам и осинам кустарники орешника, покрытые молодыми, пушистыми и еще не совсем распустившимися листьями; на мягких почках спокойно висели крупные капли росы, отливавшей на солнце всеми цветами радуги.

Встав и прислонившись к дереву, Люда прислушалась. Вместе с легким дуновением ветерка до ее слуха доносилось какое-то эхо. Вскоре она разобрала, что это шумит мельничное колесо на Крещатике.

Она не знала, куда идти дальше, и решила пойти налево. Долго она шла в лесной тишине, пока из-за холма не мелькнул золотой крест. Она сделала еще несколько шагов, вышла на небольшую поляну и увидела Днепр. За широкой темной зеркальной поверхностью реки тянулся громадный луг, называемый Туруханьим островом; далее блестел второй рукав Днепра, а за ним вновь зеленел лес.

Людомира вернулась на тропинку, ведущую к монастырю, и остановилась; ей показалось, что от тропинки ответвляется еще одна тропа, по которой недавно кто-то прошел. Молодая травка была измята, орешник поло-

ман, листья и земля как бы истоптаны копытами лошадей. И Люда пошла по этим следам.

Вскоре перед нею открылась лесная прогалина, посередине стояли два дуба, на сучьях которых болтались трупы повешенных. Вершины дубов были покрыты стаями воронов, слетевшихся к добыче. Они сидели и на телах повешенных.

Люда, испуганная этою сценою, которую она видела первый раз в жизни, попятилась назад, и вдруг ей показалось, что она узнает знакомую одежду... Она невольно подалась вперед, но в тот же миг до ее слуха долетело рычание медведя. Она не видала его, но рев раздавался неподалеку. Люда подошла ближе и среди повешенных узнала своего отца. Вглядываясь в него, она заметила медведя, который, усевшись на ветвях, лапами качал их, так что трупы колыхались, будто только повешенные.

Девушка окаменело смотрела на эту ужасную картину, как вдруг ветвь, на которой висели два трупа и сидел медведь, хрустнула и они свалились на землю.

Медведь, заметив девушку, не стал убегать; он только отошел на несколько шагов от трупа и сел. Время от времени он настораживал уши, прислушивался, но не спускал глаз с молодой девушки.

Не отводя взора от тела отца, Люда приблизилась к нему и встала на колени. В тот же момент между ветвями просвистела стрела и вонзилась в левый бок медведя. Раненый зверь рывкнул от боли и гнева, ударил себя лапою по морде, выдернул стрелу из раны и тут же повалился на спину. Рана оказалась смертельной. Все это произошло в одну минуту. Людомира отскочила от трупа отца и в то же мгновение услышала человеческие голоса и топот коней. Она оглянулась — не свои... По одеждам она догадалась, что это не половцы, но и не свои... Правда, разговор был похож на русский, но звучал совсем иначе.

— Ляхи! — вскрикнула девушка и вновь припала к трупу отца.

Действительно, это были ляхи; один из опоздавших отрядов Болеслава проезжал тропинкой к месту своей стоянки в Берестове; услышав рев медведя, отряд остановился и несколько всадников отделились от него...

Всадники выехали на прогалину. Ехавший впереди всех воин, убивший медведя, видимо, принадлежал к богатому роду и считался не последним в дружине. Его

рослый конь имел красивый стальной нагрудник и такой же чешуйчатый наголовник; на голове у всадника блестел стальной шлем, на груди — чешуйчатая рубашка, а на ногах — наколенники; сбоку висел длинный меч, а через плечо — лук и сайдак.

Этот рыцарь был одним из приятелей короля Болеслава; он был несколько старше его и звался Болех из рода Ястрженбец. Он сошел с коня, бросил поводья находившемуся при нем отроку и подошел к девушке, стоявшей на коленях возле трупа.

— Успокойся, девушка, — заговорил он ласково, — теперь ты в безопасности...

Слыша за собою хруст сучьев, ломавшихся под тяжестью всадников и коней, Людомира еще больше испугалась.

— Что с тобою, моя милая? — спросил Болех.

С трудом молодая девушка выпрямилась и подняла свои глаза.

— Отец, — сказала она, показывая на труп. — Я пришла похоронить его... — и опять заплакала.

Эти слова вызвали сочувствие окружающих.

— Отец... отец!.. — отозвалось несколько человек.

На прогалину начали въезжать остальные всадники; они окружили Люду, убитого медведя и трупы, лежавшие на земле и болтавшиеся еще на дубах.

Кто-то из отряда, по-видимому, слышал от киевлян о расправе Мстислава и каким образом он расчищал путь своему отцу в город, поэтому легко догадался, что это за трупы.

— Го-го!.. — грубо отозвался он. — Так вот где Мстислав исполнял свое правосудие!

Людомира поняла; эти слова вызвали в ней жалобный вопль, она нагнулась над трупом и начала покрывать холодное тело горячими поцелуями и слезами.

— Бедный мой, бедный отец!.. Чем же ты провинился, что им понадобилась твоя жизнь?

Вся эта сцена производила потрясающее впечатление на присутствовавших; но все сохраняли молчание, не зная, что делать.

Один из всадников обратился к Болеху:

— Не плакать же ей здесь целый день!

— Надо бы отвезти ее домой! — заметил Болех и потом как бы про себя прибавил: — Дать бы знать на княжий двор... надо похоронить старика... да и других... Не ждать же, пока их растерзают дикие звери!

Кто-то из всадников громко заметил:

— Изяслав велел своему сыну повесить их, а теперь станет сам хоронить? Вздор какой!

Разговор прекратился, но вопрос, что делать с молодой девушкой и трупами, не был решен.

— Хватит плакать, красавица, — наконец не выдержал Болех. — Я прикажу отвезти тебя домой, при трупах оставлю стражу, а потом пришлю людей, чтобы похоронить твоего отца.

— Нет, — замотала головой Люда, — я никуда отсюда не пойду.

— Да нельзя здесь тебе оставаться! — воскликнул Болех и позвал одного из воинов: — Мечек, выбери себе еще двоих и останься здесь, пока не придут люди похоронить трупы.

От отряда отделились несколько человек и окружили Мечека. Болех посадил Люду к себе в седло; она уже не возражала, словно потеряв дар речи. Отряд выехал из чащи на тропинку, построился в ряды и медленно двинулся к Крещатику, на мостик, перекинутый через ручей, который стремился между вербами к Днепру.

За ручьем тропинка круто пошла в гору, затем вниз и вот уже вновь зазеленел вдали Турханов остров и заблестел на солнце крест монастыря Святого Николая.

Здесь дорога разветвлялась: одна вела на Берестово, другая налево, за Печерскую лавру, на Выдубичи, где был княжеский терем, отведенный для короля Болеслава. Отряд свернул налево.

Людомира отсутствующим взглядом смотрела вокруг, что происходит.

Когда отряд выехал на поляну, Людомира спросила:

— Куда ты меня везешь?

— На Красный двор, — отвечал Болех.

В ту же минуту между деревьями замелькал частокол и показались постройки Красного двора.

Детинец был переполнен солдатами; когда Болех въехал в него, дружинники, видя в седле женщину, начали шутить.

— Эге, брат, — говорили они, — ты, кажется, не зевал.

Однако, когда люди Болеха рассказали о том, где и как они нашли девушку, все притихли.

Дали знать королю, который находился в горнице. Спустя несколько минут он вышел во двор и с удивлением начал рассматривать красивую девушку.

Почувствовав его взгляд, Люда подняла на короля голубые глаза и пристально стала вглядываться в него, как будто узнавая.

Вдруг она закрыла лицо руками и вскрикнула:

— Боже, Боже!..

Она вспомнила. Король был тем самым человеком, который ей привиделся в оконце девичьей светелки.

«Суженый» вновь явился перед ее глазами.

Болеслав, по-своему истолковав восклицание Людомира, подошел к ней.

— Успокойся, красавица, — мягко сказал он, — мы не сделаем тебе ничего плохого. Мы не так злы, как ты думаешь.

Девушка задрожала, но продолжала молчать.

— Как же нам звать тебя, милая?

— Люда, — тихо ответила она.

— Ну, успокойся. — Король положил руку на ее плечо. — Я сейчас пошлю людей привезти твоего отца... Где ты желаешь его похоронить?

Людомира подняла на него глаза:

— Не... знаю...

— Где хочешь, там и похороним.

— У могилы Аскольда... а то на Выдубичах, — нерешительно сказала она. — Там ему будет спокойнее.

Ободренная и подкупленная вежливостью и добротой Болеслава, Люда немного успокоилась.

Так Людомира поселилась на Красном дворе. Хотя Болеслав и обещал отослать ее домой, как только стихнет шум в городе, но это так и осталось обещанием.

Несколько дней кроме девушек, прислуживавших ей, никто к ней больше не входил. Из окна она видела только широкую ленту Днепра, уходившую от нее далеко, да на дворе движение коней и солдат. И больше ничего не было.

Через несколько дней она пожелала вернуться домой, о чем и передала через одну из девушек.

Вскоре после этого в терем вошел красивый мужчина, и она осталась с ним наедине.

Неизвестное доселе чувство сильно овладело ею, когда она встретилась взглядом с молодым рыцарем. Она не знала, что делать, а между тем что-то говорило ей, что этот рыцарь, когда-то ей привидевшийся, и есть король ляхов.

Несмотря на свой суровый вид, он так ласково, так нежно говорил с нею, что его слова казались песнями.

— Ты хочешь вернуться? — спросил он.

— Мне скучно здесь, — отвечала она, смотря ему прямо в глаза, а голос ее дрожал от волнения.

— Подожди еще, — нежно сказал король, привлекая ее к себе и целуя. — Быть может, тебе не будет скучно.

Она не защищалась от поцелуев, лицо ее вспыхнуло, и она еле слышно пролепетала:

— Милостивый... господин...

— Остайся, дитя мое... — проговорил король. — Ты можешь вернуться во всякое время, когда захочешь.

И Людомира осталась. Какая-то могучая сила привязывала ее к этому смуглому лицу и голубым глазам. Она любила короля и скучала о нем. Когда он был дома, она искала его глазами во дворе среди вооруженной дружины; а когда он уезжал, следила за ним взглядом, пока его золоченый шлем не скрывался из виду, и если он долго не возвращался, она становилась у окна, смотрела и ждала... ждала каждый день.

Прежде она больше тосковала о доме, а теперь уже привыкла к новому жилищу и тосковала только тогда, когда король долго не возвращался; лишь только он появлялся на пороге терема, она радостно приветствовала его. В сердце девушки постепенно зарождалась любовь, росла и невольно приковывала ее к королю. Она была благодарна ему за его доброту и ласки. Она любила его за любовь к ней.

Через несколько недель своего пребывания на Красном дворе Людомира вспомнила о Добромире и заскучала о ней.

А мамка сидела одинокою в опустевших хоромах Коснячки. При известии о том, что его увез на княжий двор Славоша, известный всем киевлянам как разбойник и палач, все отроки и гридни разбежались со страха. Все еще шло кое-как, пока Люда сидела дома, но вот Люды не стало, она ушла и бесследно исчезла.

Добромира, сидя в светелке Людомиры, целыми днями пряла пряжу и смотрела в оконце, не увидит ли знакомого лица, о котором только и думала. Посередине двора, свернувшись кренделем, лежал верный пес, который при каждом шорохе на улице поднимал голову и прислушивался. Добромира и он охраняли дом и добро воеводы.

Однажды, за два или за три часа до захода солнца, кто-то робко постучался в калитку. Пес поднял голову

и начал ворчать. Вскоре он замолчал и, насторожив уши, повернул голову к воротам; затем он встал, потянулся, отряхнул мохнатую шерсть и медленно пошел к воротам. Подойдя к калитке и воткнув нос в щель, он понюхал и начал слегка вилять хвостом и повизгивать...

Стук в калитку усилился. Услыхала ли старуха чего на этот раз или ее внимание было привлечено визгом собаки, но она встала, спустилась вниз и подошла к калитке.

— Кто там? — спросила она.

— Отворите! — отозвался чей-то женский голос. — Я пришла с весточкой...

Сердце старухи дрогнуло. Поспешно она отодвинула засов и отперла калитку, в которую вошла незнакомая ей молодая девушка.

— Люда прислала меня за вами, — сказала она.

— Люда?.. Люда!.. Да где же она? — радостно воскликнула Добромира.

— На Красном дворе...

Мамка сразу не поняла.

— Где, где? — повторила она.

— Около Выдубичей... На Красном дворе... в обозе ляшского короля.

Добромира всплеснула руками от страха и удивления.

— Бедная Люда! — воскликнула она и вперила свои глаза в девушку, как бы спрашивая ее о подробностях, но девушка ответила ей другим восклицанием:

— О, она так счастлива, так счастлива!.. И только желает, чтобы вы были при ней.

— Счастлива?

— Да. Ее король так любит...

— Король? Какой король? Ляшский?

— Ну да, Болеслав...

Все это было непонятно Добромире, но главное — Люда была жива!

— Посиди пока, — сказала она девушке, — отдохни... Я только позапру все двери — и пойдем...

Не прошло и получаса, как Добромира с девушкой уже были в дороге. По пути девушка рассказала ей о том, как живет на Красном дворе ее питомица Люда.

— А Люда нашла ли отца-то? — спросила старуха.

— Да, нашла и похоронила близ могилы Аскольда.

При этом она рассказала, каким образом Люда отыскала его и как попала на Красный двор.

Солнце уже зашло, когда обе женщины вышли из лесу и перед ними замелькали постройки двора.

— Вот и Красный двор,— сказала девушка.

Добромира глубоко вздохнула и ускорила шаг.

V. ПИР НА КНЯЖЬЕМ ДВОРЕ

В большой гриднице, во всю ее длину, и в примыкавших к ней комнатах были поставлены длинные столы, накрытые полотенцами, расшитыми цветными нитками, и ломившимися от обилия всевозможной посуды, напитков и яств.

Когда все расселись, в гридницу вошли несколько отроков, поклонились низко князю и королю, сидевшим во главе стола на возвышениях, и замерли. Один из отроков сделал шаг вперед, опять молча поклонился князю и гостям и затем громко сказал:

— Милостивый княже, кушанье подано.

И пир начался. Каждый из гостей выбирал себе, что ему нравилось; под влиянием выпитого меда и вина все оживились, и вскоре в зале стоял сильный гул.

— Да здравствует князь наш! — перекрикивая шум, крикнул кто-то из дружинников.

Варяжко, сидевший недалеко от князя, нахмурился и повел косо глазами на дружинников; мед уже произвел свое действие на него.

— А какого князя вы хвалите? — резко спросил он. — Того ли, который вас одаривает, или того, которого мы должны одаривать куницами да соболями?

Казалось, что на эти слова никто не обратил внимания, потому что бояре продолжали шуметь, чокаясь и поднося чаши ко рту.

— Многие лета милостивому князю! — отозвался с другого конца стола боярин Чудин, желавший польстить князю.

Несмотря на общий шум, слова Варяжки не прошли незамеченными князем. Они кольнули в самое сердце; видно было, как он разгневался.

— Мне кажется, Варяжко,— проговорил он,— что из Белгорода еще не принесли ни одной куницы...

Варяжко не растерялся.

— Успеешь,— резко отвечал он,— еще доберешься и до Белгорода... если киевлян успел побороть...

— Поборол, потому что они хотели бороться со мною,— возразил Изяслав.— Где борются, там один должен быть побежден.

— Хорошо говоришь, князь! Жаль только, что ты побеждаешь своих, а половцев не умеешь победить.

— С Божьею помощью одолеем и половцев.

Варяжко на минуту задумался.

— А с кем ты выступишь на половцев? — спросил он, помолчав.— Старую отцовскую дружину ты не уважаешь... Воевод всех перевешал... Разве с Чудином и Славошею пойдешь на войну? Ты не любишь народа, а народ не любит тебя! Пока этот молодой король сидит у нас,— он кивнул в сторону Болеслава,— половцы молчат... у них тоже ведь собачье чутье! А только гость уедет, и ты не справишься с ними... опят будет беда...

— Эй, ты, старик! — крикнул Чудин.— Какой мед развязал твой язык?.. Не вишневый ли?

— Тот самый, который вам глаза затуманил,— отрезал Варяжко.

Отрок наливал в эту минуту мед в чашу Варяжки; Чудин бросил на него злобный взгляд.

— Не пей, старик,— громко сказал он, желая обратить на себя внимание князя,— в Белгород не попадешь...

— На Оболони застрянешь,— прибавил кто-то.

— Половцы схватят тебя...

Варяжко нетерпеливо разглаживал бороду и кусал усы.

— Половцы хитры,— отозвался он,— они знают, когда можно нападать на город... Когда в Киеве только такая дружина, как вы, то они каждый день поят своих коней в Лыбеди, а вот теперь, когда в городе дружины ляшские, пусть попробуют... Небось и носа не покажут.

Все это очень не нравилось Изяславу, но он делал вид, что не обращает больше на Варяжку внимания, и продолжал разговаривать с королем.

Между тем Чудин старался изо всех сил понравиться князю.

— Полно болтать, старик! — обратился он к Варяжке.— Ведь прежде у нас не было ляшского короля, а мы сражались, однако, и с Всеславом и с половцами...

— Сражались, но были биты...

Наконец князь не выдержал и вступил в разговор.

— Ты знаешь, Варяжко,— сказал он,— что и отец

мой наказывал дружинников, когда они не слушались его, а все-таки народ его любил. Когда дружина провинилась, он пригласил ее на двор пировать, но задал кровавый пир... а когда до него дошла весть о злодеяниях Святополка, он пожалел и сказал: «Жаль, что вчера я велел уничтожить мою дружину, теперь как раз она пригодилась бы».

Молодая дружина, лстя князю, дружно закричала:

— Ты прав, князь! Кто заслужил, того следует наказывать...

Старики молчали. Слова Изяслава звучали угрожающе.

— А вас, киевляне, я позвал не на отцовский пир, — продолжил князь. — С вами я хочу жить весело, в дружбе и любви.

Он кивнул отроку, исполнявшему обязанности виночерпия, и что-то на ухо шепнул ему, чего среди общего шума не было слышно. Отрок наполнил чашу греческим вином и, поклонившись белгородскому посаднику, подал ему.

— Князь посылает вашей милости, — проговорил он.

Это было доказательством милости и прощения.

Варяжко встал, принял чашу и, повернувшись в ту сторону, где сидел князь, произнес с поклоном:

— Если ты желаешь жить с нами в дружбе, то пусть тебе, милостивый княже, дружба будет наградой.

И он выпил чашу до дна.

Возле Варяжки сидел нахмурившийся Вышатич; он прислушивался к препирательству соседа с князем и молчал, а когда спор утих, обратился к нему:

— Ты уж чересчур сильно лаешься с князем.

— Не по головке же гладить его?.. Не за что...

— Да, своих гладить не за что, но не стоит гладить и пришельцев...

Эти слова не понравились Варяжке, и он быстро взглянул на Вышатича.

— А тебя какой змей укусил? Давно ли ты порицал князя, а теперь хвалить вздумал... Зависть в тебе кипит. У тебя Люда на уме, а у меня родная земля да народ!

Этот разговор не прошел мимо внимания Чудина.

Было уже около пяти часов утра, когда Болеслав со своими приближенными уехал на Красный двор. Изяслав с дружиной продолжал попойку.

Утренняя заря зарумянила край неба, когда дружина Изяслава стала разъезжаться по домам. Вышатич под

впечатлением всего слышанного на пире ехал совершенно мрачный и нахмуренный. Рядом молча ехал боярин Чудин. Оба направлялись к Берестову и уже спускались к Крещатику, как вдруг Чудин заговорил:

— Заметил ты, как Варяжко выслуживается перед ляхами... пьет за их здоровье...

— Пусть его выслуживается, — процедил сквозь зубы Вышатич, — пока Изяслав не придет в себя... А он должен скоро опомниться!

— Конечно, — отвечал как бы нехотя Чудин, — дело клонится к тому, что скоро мы не будем знать, кто княжит у нас на Руси: Болеслав или Изяслав... Всеслав бежал, а на его место лихо принесло ляхов.

Настало минутное молчание.

— Да, навел ляхов, — продолжал, помолчав, Чудин, — на свою голову... Они только жрут наш хлеб да насилуют женщин, и Бог весть, чем еще кончится эта ляхская дружба...

Вышатич рассердился.

— И зачем это князь держит при себе этих ляхов?! — воскликнул он. — К чему он пьет с ними и охотится?.. Гнал бы их прочь... Ведь мы прежде обходились без ляхов и теперь можем жить без них.

— Еще бы не жить! — потакал Чудин. — Только бы он прогнал их... Но он не смеет: ляхи посадили его на отцовский стол.

Они опять замолкли. Чудин исподлобья посматривал на Вышатича, чтобы убедиться, какое впечатление произвели его слова, но Вышатич молчал.

— Впрочем, не ахти как трудно избавиться от ляхов, — пробурчал Чудин как бы про себя. — Русских много, а ляхов мало...

— Не драться же нам с ними.

— Драться!.. Гм! Все может быть...

Вышатич бросил на Чудина недоверчивый взгляд.

— Сами-то не уйдут, — сказал он, — им привольно у нас, а Изяслав не прогонит... не посмеет...

Боярин улыбнулся и, наклонившись к уху Вышатича, таинственно сказал:

— Князь давно прогнал бы их ко всем чертям, да только он не хочет накликать беды на свою голову. Отпусти он ляхов, так Всеслав коршуном набросится на Русь, а пока ляхи здесь — боится.

— Коли так, то нечего делать... либо брататься с ляхами, либо...

Чудин опять сычом посмотрел на Вышатича.

— А есть средство,— сказал он.— Убирать их по одному так, чтобы и родная матушка не могла отыскать костей!

Вышатич отпустил поводья лошади, свободно шедшей по узкой лесной тропинке, и молча начал разглаживать усы и бороду.

— Так мы ничего не достигнем! — заговорил он.— Пока этот королек будет сидеть у нас,— он показал рукой в направлении Красного двора,— ничего не выйдет. Одних упрячем, а ему пришлют других.

Лицо боярина Чудина, покрытое оспой и поросшее волосами, просияло. Сначала он улыбнулся так сильно, что его рот раздвинулся до ушей, а потом начал громко смеяться. Эхо подхватило его голос и разнесло по Дебрям.

— Ты говоришь словами Изяслава,— заметил он.— Сегодня после пира, когда Варяжко уже успокоился и Болеслав уехал домой, князь мигнул мне, чтобы я подошел к нему. «Скверно,— сказал он.— Болеслав расположил к себе сердца киевлян! Пока он будет сидеть на Красном дворе...» Князь не кончил, но я угадал его думу.

— Да, ты прав! — воскликнул Вышатич.— Довольно нам дружить с ляхами!..— Он сжал кулак и, грозно махая им в воздухе, добавил: — Я скоро справился бы с ними!..

Боярин улыбнулся и бросил взгляд вокруг, желая убедиться, не подслушивает ли их кто-нибудь, а затем, нагнувшись к Вышатичу, вполголоса сказал:

— Князь Изяслав так же думает... Он сам мне сказал: «Слушай, Чудин, если Вышатич не свернет голову корольку, который ухаживает за нашими девушками, так уже, видно, никто не свернет...»

Разговор опять оборвался. Оба ехали молча по лесной тропинке. Прекрасное тихое утро окружало их. Солнце только что начало всходить, проникая золотистыми лучами через лесную чащу и отражаясь бриллиантовым блеском в каплях утренней росы, повисшей на листьях деревьев инеем и чириканье мелких лесных птишек, слышался голос черного дрозда, а издали, из середины высоких лип Крещатой долины, доносились соловьиные трели, отзывавшиеся громким эхом в Дебрях.

Оба всадника вслушивались в это шумное пробуждение утра, продолжая свой путь по тропинке, ведущей

к Берестову. Они уже подъезжали к горе, из-за которой виднелся угол Соколиного Рога, как вдруг Чудин нарушил молчание:

— Однако соловьи лихо приветствуют Добрыню...

Похоже было, что боярин хочет завязать этот разговор с какою-то целью.

При имени Добрыни Вышатич быстро обернулся.

— Добрыню?! — повторил он и невольно взглянул в сторону Клова. — Разве он еще там?.. Ведь говорили, что он ушел в Псков.

— Да где же ему быть?.. Ходил в Псков, да едва унес оттуда свою голову... Там не любят шутить... Князь Глеб приказал казнить всех колдунов... наш старик и сбежал.

— Давно он вернулся?

— Нет, зимой, пока Всеслав княжил в Киеве... О, это умная башка! — прибавил боярин будто про себя. — Он знает, что случится с каждым... Добрыня же предсказал Всеславу, что тот немного накняжит в Киеве... и угадал.

В этот момент они доехали до поворота небольшой тропинки, ведущей направо.

Чудин вдруг остановился.

— Знаешь что? — сказал он Вышатичу. — Эта тропинка ведет к Добрыне... Давай спросим старика, пусть скажет нам всю правду... Он должен знать, менять ли нам князя еще раз? — прибавил он, с затаенной ухмылкой взглянув на товарища.

Вышатич принужденно улыбнулся, но видно было, что предложение боярина ему понравилось.

— Эхма, боярин! — отвечал он с напускною веселостью. — Видно, захотелось знать, что тебя ожидает завтра... Но ведь с колдуном не легко справиться.

Чудин угадал желание Вышатича.

— Правда, люди говорят, что колдуны — бесовское наваждение... а что-то тянет к нему... Коли Добрыня гадает князьям, так, может, и нам...

— Ну что ж... — пробормотал он. — Можно и поехать. Не Бог весть, сколько крюку сделаем.

Оба всадника повернули на тропинку, ведущую к Кловскому ручью, но так как дорога была узка, то они ехали друг за другом: Чудин впереди, а Вышатич сзади.

С полчаса пробирались они по лесу, пока не выбрались наконец на небольшую поляну, на которой стоял дом Добрыни. Они остановились посередине и начали тихо разговаривать, поглядывая на небольшую избу,

почерневшую от дождей и непогоды. Вся крыша ее поросла зеленым мхом и травой, из середины которой выглядывали кустами колосья ржи и лесной спорыньи. Через темно-бурый покров крыши прорывался дым, поднимался к вершинам деревьев и исчезал в золотистой солнечной выси. Чья-то рука отодвинула слуховое оконце в стенке избы, выглянуло чье-то лицо, опять спряталось, и окошечко опять задвинулось.

Невдалеке виднелась протоптанная тропинка, ведущая через кусты калины и орешника к ручью; за кустами мелькало колесо мельницы и слышался шум воды.

— Кто-то показался и спрятался, — заметил Вышатич. — Видно, боятся.

— Ну, здесь некому бояться, да и нечего, — ответил Чудин и, как бы в подтверждение своих слов, повернулся к избе и громко крикнул: — Эй, ты, старуха!.. Дома Добрыня?

Дверь избышки открылась, и на пороге показалась дряхлая старуха, опиравшаяся на клюку. Она посмотрела на всадников с любопытством и подозрением.

— Дома, — сказала она, — где же ему быть... Видно, на мельнице... Я сейчас позову его.

И старуха, боязливо озираясь, потихоньку поплелась по тропинке к мельнице.

В ту же минуту на другом конце тропинки, среди пышных кустов, показалась высокая фигура старика. Впереди бежала с лаем собака. Голова старика была довольно плешивая, но вокруг по краям плечи спускались на плечи длинные седые волосы. Борода тоже была седая и длинная. Он шел не торопясь и рассматривая всадников.

Старушка увидела его первой и остановилась.

— Да вот и Добрыня, — сказала она.

Вышатич и Чудин повернулись к тропинке.

Старик, подходя к ним, поклонился в пояс с притворной покорностью.

— А мы к тебе, Добрыня, приехали в гости! — сказал Чудин.

Оба всадника сошли с коней, взяли их под уздцы и медленно пошли навстречу старику.

— Много чести для нищего и одинокого старца, — продолжая кланяться, сказал он. — Мне кажется, у вас другое в мыслях.

Все трое остановились, разглядывая друг друга.

— Простите, бояре, что я не приглашаю вас в избу, там тесно. Лучше пойдем к мельнице — там можно привязать лошадей и свободно поговорить!

Добрыня повернул назад. За ним пошли Вышатич и Чудин, ведя за собою коней.

Привязав коня к шлюзу, Чудин подошел к Добрыне и положил ему руку на плечо:

— Так что, старик? Что ты нам скажешь?

Колдун посмотрел на прибывших, оглянулся кругом и снова обратил свой взгляд на них.

— Что же я могу сказать? — равнодушно отвечал он. — Вы сидите за столом князя и знаете, с кем он ест, с кем пьет, с кем дружбу водит, кто ему приятель и кто враг. А я что... вот иногда мне шумящие листья, а то и вода, а иногда и звезды, которые смотрят на нас... ну вот порой кой-что они и скажут мне, а от людей я ничего не знаю...

Чудин нетерпеливо его оборвал:

— Нам все равно, кто с тобою говорит... Если ты все знаешь, скажи нам то, за чем мы приехали к тебе. Ведь ты же предсказал Всеславу...

— Правда... предсказал. — Добрыня призадумался. — Скажите мне, бояре, как думает князь поступить с тем?.. — Он показал в направлении Красного двора.

Чудин посмотрел на колдуна исподлобья.

— Плохо, — сказал он как бы про себя. — Народ льнет к нему, что мухи к меду.

— Да, ты прав, боярин, — сказал Добрыня, глядя свою длинную бороду, — льнет народ, льнут девушки, только до добра это не доведет!

Тут он посмотрел на Вышатича; тому явно не понравилось это замечание.

— Ну, так как же, Добрыня? — приставал Чудин.

— Гм! Ляхов нужно прогнать, вот и все! Пусть идут себе, откуда пришли.

Чудину понравились слова колдуна.

— Так, так, ты прав, Добрынюшка... Видишь, и Добрыня то же говорит! — прибавил он, обращаясь к Вышатичу.

Захваченный врасплох, тот не знал, что сказать.

— Да что, — сказал он неохотно, — все беда от ляхов.

— Конечно, конечно, — отвечал Добрыня, как будто он знал обо всем. — Он отнял у тебя твою сизокрылую.

Вышатич гневно нахмурился.

— Отнял... пусть держит... потом расплатится.

— Да тебе-то от этого не легче, когда он станет расплачиваться... Нужно теперь вырвать ее из его рук.

Вышатич с сомнением покачал головою.

— Оберегают ее... нам с тобой не отнять...

— А я скажу вашей милости, что есть средство...

В глазах Вышатича сверкнула молния. Он знал, что Люда не любила его, что она добровольно бросилась в объятия ляшского короля, но мысль, что он не может вырвать ее из этих объятий, вызывала у него черную зависть.

— Какое? — быстро спросил он.

— Это уже мое дело. Мне жаль тебя, молодой боярин, и я исторгну твою возлюбленную хоть из ада. Да, исторгну, король сам прогонит ее... но только по моей воле. Дай мне срок, надо подумать!

— Ну, а как насчет ляхов? — спросил Чудин.

— Ловите их по одному, словно волков в засаде... Если это вам удастся, то Изяслав останется в Киеве.

— Ну будь здоров, — сказал Чудин.

— Поезжайте с Богом, бояре!

— Едем, — сказал Вышатич, поглядывая на небо. — Солнце уже высоко, надо поспешить.

Они отвязали коней, подтянули подпруги, попрощались с Добрыней и той же тропинкой поехали под гору. Через полчаса, когда они опять взобрались на крутую гору, направо от них мелькнул между деревьями Соколиный Рог, а потом и заблестел крест на берестовском монастыре.

VII. СОКОЛИНАЯ ОХОТА

Недолго Чудин и Вышатич пробыли в Берестове. Боярин Чудин сумел уговорить Вышатича перейти на его сторону. Последний, не подозревая хитрости и обмана, запутался, как зверь, пойманный в сети. С виду казалось, что оба были согласны во всем и действовали единодушно, но в сущности это было иначе. Один старался услужить князю, другого угнетала сердечная боль и зависть... Обоим не терпелось действовать. Вышатич хотел только узнать, как к этому отнесется князь. Скоро представился удобный случай, так как Изяслав призвал его к себе, чтобы посоветоваться, каким образом лучше прогнать половцев, которые ходили вокруг Киева, появлялись на Лыбеди и нападали на сады и огороды киевлян.

Чудин поехал вперед, чтобы предупредить князя

о том, что Вышатич приручен. Через два дня тысяцкий также явился на княжеский двор, и Изяслав встретил его с сияющим лицом.

— Ну что, боярин, разве у тебя мало рати для отражения половцев? Ведь они под твоим носом мелькают.

Вышатич махнул рукою:

— Эх, милостивый князь, не всем слухам верить. Половцы здесь не ради войны, а ради грабежа... Они переплывают реку толпами в десять — двадцать человек, покажутся, покричат и разбегаются. Не гоняться же нам за ними.

— Добро молвишь, боярин... Но народ кричит, что его никто не защищает.

Вышатич призадумался.

— У тебя, милостивый князь, есть приятели под боком хуже всяких половцев...

— Они такие же мне приятели, как и тебе! — воскликнул Изяслав с гневом. — Довольно уж я насмотрелся на эти забавы и охоты, пора все кончить... Но раз ты затронул вопрос о ляхах, — прибавил он, — то говори, что слышно.

— Сидят они, как у Бога за печкой, пьют, едят и беседуют с твоими посадниками, воеводами и народом...

Изяслав нахмурился и опустил глаза.

— Говорят, скоро они поедут на Соколиный Рог охотиться на лебедей с соколами. Там будут все ляшские старшины, дружина и сам король.

Лицо Изяслава налилось кровью, и глаза заблестели, как у разъяренного тигра.

— Ну что ж, — криво усмехнувшись, сказал он, — путь едут. Быть может, это будет последняя ляшская охота на Русской земле.

Он внезапно поднял голову и решительно взглянул в глаза стоявшему против него Вышатичу.

— Боярин! Ты друг мне?

Вышатич поклонился.

— Милостивый князь, — ответил он. — Мой отец, дед и прадеды были друзьями князей и служили верой и правдой матушке-Руси.

— Хорошо, — сказал князь, — возвращайся домой и смотри в оба. Ты живешь ближе всех к ним. Я пришлю к тебе посоветоваться.

Вскоре после этого Вышатич уехал, и князь остался наедине с Чудиным.

— Этот человек, милостивый князь, сослужит тебе верную службу.

— Да, если Болеслав не подкупит его.

— Не продастся: ведь у него отняли девушку.

— Да, ты прав,— усмехнулся князь,— где черт не справится, туда бабу пошлет.

— Где Добромира? — вдруг спросил он.— Ведь это мамка Люды, и она ближе всех теперь ей.

— Добромира на Красном дворе.

— Тем лучше! Надо ее умаслить, пусть она поговорит с Людой по поводу Вышатича... Чем черт не шутит...

Затем князь велел позвать гридня.

— Отыщи Славошу и прикажи ему прийти на великокняжеский двор,— приказал он отроку.

Тот ушел, за ним ушел и Чудин. Князь остался один в гриднице. Он сел в конце стола на скамейке, налил из кувшина вина в чашу и выпил его. Вскоре дверь княжеской гридницы скрипнула, и посланный отрок показался на пороге. Изяслав, нахмурившись, взглянул на него.

— Ну что? — спросил он.

— Славоша здесь, милостивый князь!

— Пусть войдет.

— Ты должен мне сослужить верную службу! — медленно проговорил князь, уперев взор в вошедшего.

Тот слегка поклонился.

— На днях ляшский король,— продолжал Изяслав,— намеревается ехать на охоту в Соколиный Рог... Понимаешь? Необходимо, чтобы ты повидался с ним... Понимаешь?

Славоша продолжал кланяться, но молчал.

— Впрочем, это твое дело. Увидишься ли ты с ним на охоте или дома, мне все равно... Ведь ты знаешь, что я не забываю своих верных слуг.

Славоша опять поклонился.

— Повидайся с боярином Чудином...

Славоша упорно молчал.

— Знаешь Люду? — спросил князь.

— Знать-то знаю...

— Она на Красном дворе. Вероятно, сидит она там не по своей доброй воле,— сказал князь, нахмутив брови и глядя в пол.— Верно, силою похитил ее этот бабник... а потому надо, чтобы и ты силою отнял ее от него... слышишь?

— Слышу, милостивый князь!

Изяслав, чтобы еще больше привлечь Вышатича, решил соединить его с Людой. Он не особенно рассчитывал на влияние Добромиры на Люду.

Славоша, поняв, что разговор окончен, поклонился и вышел.

На дворе он встретился с Чудиным.

— Ну что? — спросил боярин.

— Князь сказал, что ляшский король скоро поедет на охоту на Соколиный Рог, только я не поеду туда, — отвечал Славоша.

Чудин пытливо посмотрел на него.

— Он будет возвращаться через Дебри, — намекнул Чудин.

— Да, но там будет Болах, Вшебор, вся дружина, примажется наш Варяжко. А на кой мне бес все они!

Так или иначе, Изяславу не нравилось братанье Болеслава с русскими; он смотрел на это с недоверием и страхом. Якобы из-за половцев он разместил у городских ворот и у застав рать, а дружину собрал на Великом дворе. С заходом солнца никого не впускали и не выпускали из города.

Позднею ночью, когда везде уже огни погасли и только на стенах башен мелькали факелы, в ляшские ворота начали стучать двое всадников. Первого легко было узнать, это был конюх Изяслава; что касается второго, то на нем был надет шлем с забралом, закрывавшим ему все лицо, и кольчуга.

— Без приказанья князя не велено никого выпускать, — сказал стражник.

— Покажи знак, — сказал всадник в шлеме и кольчуге, обращаясь к товарищу.

Конюх вынул знак и показал его. Ворота тотчас открылись, и оба всадника, проехав их, повернули к Подолу.

Ворота снова закрылись, и первый стражник спросил у второго:

— Кто это? У них есть позволение от князя въезжать во все ворота во всякое время.

Другой огляделся и тихо произнес:

— По голосу, мне кажется, это Славоша.

Уже начало светать, когда оба всадника доехали до Берестова и начали стучать в ворота хором Вышатича. Издали долетал какой-то шум, похожий на стук оружия, топот копыт, ржание лошадей и вой собак. Оба прислушивались. Наконец открылись ворота, и они въехали во двор. Едва отроки успели взять лошадей, как в дверях показался Вышатич.

— Бью челом, боярин тысяцкий!

Вышати́ч любезно приветствовал прибывших.

— Милости прошу, не побрезгуйте моим хлебом-солью!

— Отчего это у тебя, боярин, так шумно в Берестове? — спросил Славоша.

— Да вот, — скривившись, сказал Вышати́ч, — наши гости с Красного двора уезжают на охоту.

— Уезжают? Ну, пусть их едут на здоровье... желаю им весело поохотиться, — злобно усмехнулся Славоша.

Все вошли в гридницу.

Охотничий отряд короля Болеслава ехал через Дебри на Соколиный Рог. Впереди скакал король, рядом с ним находился неотступный боевой товарищ, Болах Ястржембец, а за ними тряслась длинная вереница бояр и сановников Изяслава. Там же был и Варяжко. За толпою бояр ехал сокольничий с любимым кречетом короля и целая толпа отроков, ловчих с соколами и конных псарей с собаками.

Спустившись лесной тропинкой к началу Крещатой долины, отряд выехал на широкую дорогу и вскоре приблизился к песчаному подножию Соколиного Рога.

Солнце уже взошло, когда Болеслав, бояре и сокольники взобрались на вершину Соколиного Рога и замерли, пораженные открывшейся перед ними картиной.

Налево, над Лыбедью, тянулись дымящиеся утреннею мглою леса, а справа туман уже рассеялся и можно было видеть толстые стены, вившиеся вокруг города, а за ними возносились высокие, золотистые купола монастырей Святой Софии, Святого Михаила, Десятинной церкви и многих других.

Воцарившееся молчание нарушил Варяжко.

— Милостивый король, — крикнул он, подъезжая к Болеславу. — Прикажи пускать соколов, потому что лебеди поднимаются!

Болеслав улыбнулся:

— О-го!.. Господин посадник, вы, кажется, боитесь, как бы ваши лебеди не улетели?

Он кивнул сокольничему:

— А ну-ка, сними колпачок с Русинка!

Русинок был любимый сокол короля.

Сокольничий снял колпачок, птица бросилась вверх. Через минуту в синеве небес виднелась только черная точка. Над ивняком Лыбеди показалась целая вереница лебедей, которые, поднявшись над водою, образовали треугольник и направились к Соколиному Рогу.

Охотники невольно посмотрели вверх, где черная точка, увеличиваясь, стремительно падала на лебедей. Еще минута и Русинок уже впился когтями в спину самого сильного лебедя, летевшего во главе треугольной вереницы. Лебедь жалобно закричал в его когтях.

— Молодец, Русинок! — слышалось со всех сторон. — Здорово он схватил его!

Приблизившись к толпе охотников, сокол выпустил лебедя из когтей, и тот замертво упал. Раздались радостные крики и шутки.

Охота продолжалась, сокольники пускали других соколов поочередно, но ни один из них не нападал с такою ловкостью и отвагою, как Русинок. Охотники разъехались по всему Соколиному Рогу.

Наконец король обратился к Болеху:

— Пора вернуться, поедем теперь через Дебри. По дороге мы можем поохотиться с собаками. Прикажи трубить, пусть собираются люди.

Болех кивнул трубачу, который быстро подъехал и начал громко трубить. Люди начали собираться вокруг короля, и вскоре отряд медленно двинулся к Дебрям.

Болеслав был доволен охотой, но Болех ехал около него задумчивый и угрюмый.

Когда они въехали в Дебри, Болеслав обратился к молчаливому товарищу:

— Однако лебедь, которого победил наш Русинок, был очень силен!

— Лебедь... да... силен.

— Долго он пел, пока тот не задушил его.

— Ну, наши не поют так долго, — сказал Болех, не поднимая головы, как будто про себя.

Король посмотрел на него.

— Какие наши? — спросил он. — Мне кажется, Болех, что у тебя что-то на уме... чего я еще не знаю... но должен знать.

В свою очередь и Болех посмотрел на короля.

— Наши люди гибнут, точно их кто в землю прячет...

— Да, гибнут, — задумчиво сказал король, — но можно ли винить в этом кого-нибудь, кроме случайности?

Болех покачал головой:

— Да, так мы все думали, но теперь можно точно сказать, что всем этим управляет рука Изяслава.

Болеслав подпрыгнул в седле.

— Его рука?! — воскликнул он.

Болех смело взглянул на короля.

— На Руси, милостивый король, у тебя нет таких друзей, на которых ты мог бы рассчитывать... Твои друзья сеют и пахут в поле...

Всадники были так заняты своим разговором, что отстали от охотников на узкой лесной тропинке к Кловской долине. За ними следовал небольшой вооруженный отряд приближенной стражи короля.

Они уже приближались к оврагу, как вдруг Болех заметил седобородого старца, который, стоя на повороте тропинки, смотрел и как будто к чему-то прислушивался. Заметив издали приближающийся отряд, он быстро исчез в кустах орешника.

Осторожный Болех тотчас заметил, где он скрылся, и, приближаясь к этому месту, поехал осторожнее.

— Мне кажется, здесь мелькнула чья-то фигура, — сказал он.

— Быть может, кто-нибудь из охотников.

— Нет, если спрятался, значит, не охотник.

Они поехали дальше, но вдруг Болех остановил коня и устремил свой взгляд на орешник.

— Эй, ты, старый! — воскликнул он. — А ну-ка, покажись!

Хотя он не видел никого, но был убежден, что там кто-то есть.

Эхо повторило его голос по лесу, но никто не показывался.

— Эй, малый! — крикнул Болех одному из отроков в отряде. — Ступай в кусты и посмотри, не спрятался ли там кто-нибудь.

Едва он успел это сказать, между деревьями показался старик.

Его подвели к королю. У старика была лозовая корзинка в руках с несколькими грибами.

— Кто ты? — спросил Болеслав.

— Бедный нищий, милостивый король. У меня тут избушка над Кловским потоком...

— Что же ты здесь делаешь и зачем прячешься?

Старик как будто удивился.

— Прячусь?... Зачем же мне прятаться пред твоим светлым ликом, милостивый король? Вот за этим орешником моя хата и мельница. Я только вышел на минутку собрать грибков...

Болех, смотревший с недоверием на старца, прервал его:

— Как звать тебя? — спросил он.

Старик поклонился.

— Добрыней, батюшка, Добрыней. Все здесь знают Добрыню.

Действительно, имя этого старика король слышал уже не раз и не два; о нем говорили все... и Болех, и все остальные в дружине.

— Добрыней? — повторил король. — Какой же леший нас занес к тебе?

По лицу старца мелькнула довольная улыбка.

— Так, видно, написано в книге судеб.

Болеслав улыбнулся:

— Говорят, что ты знаешь будущее человека. Значит, ты знал и о том, что встретишь меня сегодня? — прибавил он шутя.

Добрыня не растерялся:

— Да, знал, милостивый король, знал. Старуха мне сказала: «Зачем тебе шляться по лесу, обойдемся и без грибов», но я все-таки пошел, потому — знал, что встречу тебя.

Он замолк на минутку и затем таинственно прибавил:

— Знал, милостивый король, не только то, что встречу тебя, но и то, что ожидает тебя.

— А, и это знаешь, — отвечал король. — Любопытно узнать, что ты знаешь. Говори, старик!

И они медленно поехали по тропинке, ведущей, по видимому, к избе Добрыни. Старик шел рядом с конем Болеслава.

— Что же мне говорить, милостивый король?.. У тебя велика дружина. Одних княжеских бояр сколько, да и Варяжко здесь. О, этот хорошо знает, где пьют хороший мед, — прибавил он со злобой и посмотрел вперед. Уж виднелась мельница, пруд, а за ним из-за кустов выглядывала избушка старика.

— Вот и моя усадьба, милостивый король. Пойду я, пожалуй.

— Ну, так что, Добрыня, — спросил напоследок король. — Ты мне так ничего и не скажешь?

— Надо прежде поспрошать звезды, луну и солнце, — отвечал Добрыня, кланяясь королю. — Дай срок, милостивый король, я сам приду на Красный двор и все расскажу.

— Приходи, приходи, старина! — смеясь, отвечал король. — Я угощу тебя и медом, и добрым словом.

Добрыня продолжал кланяться.

— Ты для всех добр, милостивый король.
Отряд медленно двинулся в путь.

VIII. ЧЕГО НЕ ЗНАЛ ДОБРЫНЯ

Разговор Болеха с королем на охоте открыл последнему глаза. Народ предпочитал видеть на великокняжеском престоле скорее Болеслава, чем князя Изяслава.

Изяслав был жесток с людьми, которых подозревал в измене, и поэтому не только тюрьмы были полны узников, но и все подвалы княжеского двора. Можно было ожидать, что не сегодня, так завтра между ляхами и дружиной князя произойдет ожесточенная резня. Поэтому киевляне готовились к защите. Они хотели опять прогнать нелюбимого ими князя, но боялись начать борьбу на собственный риск. Они рассчитывали на помощь Болеслава и потому решили послать к королю Варяжко.

Хотя Варяжко ранним утром приехал на Красный двор, там уже все было в движении. Добромира уже встала и, стоя у окна, молилась, крестясь на Печерскую церковь.

Заметив въезжавшего на Красный двор всадника, она сразу узнала его. Он сошел с коня и начал разговаривать с Болехом. Добромира ничего не сказала об этом Люде, но насторожилась: его ранний приезд без свиты предвещал что-то недоброе.

Скоро Варяжко был позван к королю.

— Что это ты так рано приехал, господин посадник? — спросил король.

Варяжко поклонился:

— Да я, милостивый король, в качестве посла к тебе.

Король спокойно посмотрел на него:

— Какого?

— Киевляне послали меня к тебе... Когда ты приезжал к нам на вече, то обещал любить наш народ и защищать его... Теперь настало время доказать свою любовь. Долее мы не можем терпеть владычества Изяслава. Он бросается на людей, все тюрьмы и темницы переполнил народом; но этого ему мало: каждый день свежие трупы болтаются на сучьях в Дебрях.

Болеслав оживился.

— Радуюсь, — сказал он, — что вы вспомнили мои слова и приглашаете меня защитить вас. Однако дайте срок подумать.

— Да что тут думать, милостивый король, — возразил Варяжко, — только начни... Завтра же ступай на Киев, окружи его, подожги княжеский двор и поджарь в нем Изяслава и его палачей. Если его дружина станет сопротивляться, мы ударим сзади...

Болеслав внимательно слушал Варяжку, но соглашаться и открывать свои планы не торопился.

— Будьте терпеливы, господин посадник, — говорил он. — К таким делам нельзя приступать необдуманно. Сейчас я не могу дать вам положительного ответа. Повремените немного.

Они еще поговорили некоторое время об общем положении Руси и поступках Изяслава. Варяжко уже хотел уйти, как вдруг что-то вспомнил и сказал:

— Милостивый король, не погнушайся моим советом и не сердись на старого Варяжко. Не езди больше на пир к князю. У нас поговаривают, что он готовит для тебя кровавый пир.

Король молча кивнул головой.

Долгое пребывание Варяжко у короля не прошло мимо внимания Добромиры. Для старой мамки не существовало ничего на свете, кроме Люды, единственного существа, для которого она жила и которое любила.

Пополудни Люда сидела у окна с шитьем в руках и смотрела на окрестности Днепра. В это время вошла Добромира. Люда взглянула на нее и тотчас заметила волнение.

— Что с тобою, мамушка?

— Варяжко был у короля.

Люда положила шитье на колени.

— Варяжко! Зачем? Ты виделась с ним?

— Нет, я только видела его на дворе. Он о чем-то советовался с королем...

Она вздохнула и бросила взгляд на Люду.

— Видно, у них есть о чем советоваться, — отвечала девушка.

Добромира снова вздохнула глубоко.

— Дай Бог, чтобы мне не пришлось оставить тебя.

Люда удивленно раскрыла глаза.

— Зачем?.. Почему? Разве нам здесь плохо?

— Я не говорю, что нам плохо. Король любит тебя, добр к тебе... но...

— Да мне больше ничего и не надо, я ничего не хочу. Пусть только любит меня, а я буду верна ему всю жизнь.

Добромира покачала головой, как бы говоря: этого недостаточно.

Но сейчас мысли ее были заняты чем-то другим. Подумав немного, она с сдержанным равнодушием сказала:

— Ко мне присылала Ростислава, чтобы я пришла к ней; но не сказала зачем.

— Ростислава? — спросила Люда. — И когда же ты пойдешь?

— Хочу сегодня... приказала поспешить.

— Ну, так иди же скорее. Быть может, и впрямь что-нибудь важное...

Добромира ушла.

Прошел день, другой, а Добромиры все не было.

«Странно, как долго. Неужели она еще не наговори-лась со своими», — думала Люда.

Ни Люда, ни Добромира не догадывались о причине, ради которой Ростислава прислала нарочного из Киева. А действовала она по поручению Изяслава. Он считал Ростиславу более всех способной переговорить с Добромирой, чтобы та уговорила Люду вернуться домой и выйти замуж за Вышатича.

Ростислава два дня убеждала мамку согласиться с волей Изяслава.

Добромира слушала ее, обещала поговорить с Людой, но, уйдя из Киева, тут же позабыла о своих обещаниях. Видно, осенний ветер навеял ей другие мысли.

«Пусть живет с тем, кого любит, — думала она по дороге, — от этого ее не убудет, а что Господь предназначил, то должно случиться...»

Вернувшись домой, Добромира не сказала ни слова, зачем призывала ее Ростислава. А на вопрос Люды нехотя ответила:

— Да боялась, как бы ее не обокрали.

— Не обокрали? — холодно спросила девушка и, помолчав, несколько веселее прибавила: — Ну, что там слышно в Киеве?

— Мало ли что говорят! Бают, мол, что ляхи скоро уйдут, — думая о чем-то другом, сказала Добромира.

Удивление и страх отразились на лице девушки.

— Уйдут?! Куда?

Руки Люды повисли плетями. Добромира уставила на нее свои неподвижные глаза.

— А он? — спросила Люда.

— Ну, видно, и он уйдет.

Обе женщины долго и молча смотрели друг на друга. Добромире было жаль бедную Люду. Она подошла к ней и поцеловала в лоб.

— Успокойся, дитя мое, — сказала она.

Вдруг во дворе послышался шум, лязг оружия и топот копыт. Люда взглянула в окошечко.

— Король приехал! — радостно воскликнула она.

Болеслав возвратился с объезда обоза, расположенного на холмах за Красным двором. Еще отроки не успели отвести лошадей в конюшню, как привратник доложил, что какой-то старик желает видеть короля. Стоя посреди двора, Болеслав приказал привести его.

Это был Добрыня. Король сразу узнал его.

— Ты пришел в самый раз, — весело сказал король. — Сейчас у меня много свободного времени и я охотно поболтаю с тобой...

Они пошли под навес. Болеслав шел впереди, за ним следовал Добрыня, а позади — свита короля, отроки и слуги.

Присутствовавшие с любопытством смотрели на Добрыню. Они знали, что Добрыня колдун, и были заинтересованы.

В свою очередь и Добрыня осматривал поляков.

— Господи, сколько богатства, сколько славы, — сказал он, качая головой, — а между тем я хорошо знаю, милостивый король, что ты несчастлив.

Болеслав улыбнулся. Он догадывался, кем прислан колдун и с какой ролью.

— Посмотри на меня хорошенько, — отозвался король, — быть может, ты скажешь что-нибудь лучшее.

Добрыня внимательно посмотрел на короля и вдруг отвернулся и бросил взгляд вокруг.

— Нужно ли, милостивый король, знать всем то, что я хочу тебе сказать? — спросил он. — Удали слуг и дружину.

Большая часть слуг и свиты удалилась, и остались только Болеслав и его приближенные.

Добрыня поднял глаза и долго и внимательно всматривался в лицо короля.

— Ах, милостивый король, не знаю... не лучше ли мне помолчать...

Болеслав нахмурил брови.

— Говори, — решительно сказал он, — ты пришел затем, чтобы сказать мне всю правду.

Решительный и строгий тон короля не понравился Добрыне, но он подчинился:

— Если ты приказываешь...

Люда, заметив, что король пошел под навес, сошла вниз повидаться с ним, но, увидав Добрыню, остановилась у окна королевской гридницы и начала прислушиваться к их разговору.

— Ты по собственной воле, — продолжал Добрыня, — отдал свое счастье в руки нечестивых, и эти руки не пожалеют тебя...

Болеслав слушал с видимым неудовольствием.

— Говори яснее... я шуток не люблю. Скажи, чьи это руки, или я подумаю, что ты лжешь.

Добрыня не ожидал такого оборота. Взглянув случайно в окно гридницы, он заметил стоящую там Люду, и у него блеснула мысль, как можно вывернуться из неловкого положения. Протянув руку, которая дрожала от страха, он указал на молодую девушку:

— Милостивый король! Твое счастье в ее руках. Это колдунья.

Глаза всех обратились к окну. Люда, услышав эти слова, сделалась блее полотна. Глаза ее заискрились гневом, но она, поняв, кто ее обвиняет, ни слова не сказала в свою защиту.

— Немудрено, что голод на Руси, — прибавил колдун, — ведь она весь урожай скрывает в себе. Прикажи ей распороть кожу под сердцем, и ты увидишь, что оно переполнено рожью и пшеницей.

Наступило глухое молчание. Болеслав сидел опустив голову, а Добрыня придумывал, что еще сказать.

— Эта блудница опутала тебя своими чарами, да и тебя ли одного?!

Эти слова, по-видимому, укололи Люду в самое сердце. Она вышла из дома и встала между королем и Добрыней.

— Послушай, Добрыня, — сказала она, сдерживая гнев и слезы, — так ли следует благодарить дочь Коснячки за хлеб, который ты ел у старого воеводы? Чем же я провинилась перед тобой, что ты так жестоко оскорбляешь меня? Я люблю его, — она кивнула на короля, — это правда; но неужели ты за это осмеливаешься оскорблять меня? — Она упала на колени пред королем. — Милостивый король! — воскликнула она. — Вскрой же мое сердце и убедись, есть ли там что-нибудь другое, кроме любви к тебе! Бойся этого колдуна! Он зол на тебя, если позволил себе оклеветать меня в твоих глазах.

Болеслав поднял расплакавшуюся Люду:

— Успокойся, дитя мое!

Сенные девушки отвели ее в светлицу.

По уходе Люды король обратился к Добрыне:

— Скажи мне, Добрыня, вернется ли ко мне мое счастье, если я отошлю домой эту девушку.

Добрыня с недоверием посмотрел на короля, словно боялся попасть впросак.

— Конечно, конечно, милостивый король! Дома ожидает тебя слава.

Болеслав с сомнением покачал головой.

— Хорошо. Скажи мне, Добрынюшка, а что меня ожидает, если я не отпущу от себя этой девушки?

— Сказать правду?

— Да, одну только правду.

— Если ты желаешь, я все скажу... Знай же, что, прежде чем новая луна заблестит на небе, ты умрешь!

Болеслав смерил его презрительным взглядом.

— Н-да... — сказал он, помолчав. — Теперь скажи мне, можешь ли ты угадать будущее каждого из присутствующих.

— Могу, Господь дал мне силу прорицательства.

Болеслав еще раз презрительно посмотрел на него.

— В таком случае скажи мне, Добрынюшка, что тебя ожидает?

Старик не ожидал этого вопроса. Он вздрогнул, но не потерял присутствия духа. Надо было как-то выкручиваться.

— Знаю, милостивый король, — смело ответил он.

— Говори.

— Ты прикажешь своим отрокам повесить меня, но этим не спасешь своей жизни.

Болеслав смотрел на Добрыню и качал головой.

— Теперь я вижу, что ты самый обыкновенный плут... Ты не угадал: я вовсе не думаю повесить тебя, а только прикажу выгнать тебя за ворота и больше никогда не пускать на Красный двор...

Добрыня еле успел прийти в себя.

— Милостивый король, — сказал он, кланяясь, — я говорил людям правду и угадывал их будущее, но ради тебя готов ошибиться, потому что ты милостив.

— Болех, прикажи отрокам отворить ворота! — крикнул король. — И пусть его с Богом проваливает на все четыре стороны.

Добрыня, кланяясь, вышел в широко открытые воро-

та. Болеслав, намереваясь уйти в гридницу, кивнул Болеху и сказал:

— Надо посмотреть за этим стариком. Он, похоже, был послан с великокняжеского двора. Пошли кого-нибудь посмотреть, куда он пойдет.

Добрыня был очень рад, что его посещение закончилось для него так благополучно. Дойдя до леса, он исчез на узкой тропинке, ведущей на Берестово, к дому тысяцкого.

Уже было далеко за полночь, когда Добрыня вошел на двор Вышатича. Хозяин встретил его невесело. Он был бледен и печален.

— Откуда ты, Добрыня? — спросил он.

— С Красного двора.

Лицо Вышатича несколько оживилось.

— Ну, что там хорошего?

Добрыня сжал кулаки.

— Ничего, — отрезал он.

— А что Люда? Осталась? — робко спросил Вышатич.

— Да, осталась, но придет ее черед.

Воцарилось продолжительное молчание.

— Я знал... даже был уверен, что так случится, — наконец отозвался Вышатич. — Сердце человеческое сильнее твоих чар... Я знал, что она не будет принадлежать мне.

В его словах было столько печали, столько глубокой скорби, что даже Добрыне стало жаль молодого боярина.

— Вот увидишь, скоро она станет бить челом у твоих ног, — утешал его Добрыня. — Подожди до первой звезды, и я заговорю твою тоску, — прибавил он.

До первой звезды еще было далеко; наконец и она появилась на небе. Добрыня взял за руку Вышатича и, обратясь лицом к звезде, начал что-то шептать. Вышатич стоял почти безучастно, не глядя на старого колдуна. Из всего заклятья до его слуха едва ли долетело несколько слов, и он, погруженный в свои мысли, равнодушно смотрел вдаль.

Кончив свои заклинания, Добрыня обратился к Вышатичу.

— Боярин, — сказал он, — теперь твоя тоска-кручи-нушка сгинет, как ночь перед солнцем...

Боярин молчал.

— Пора мне домой, — сказал колдун. — Я зашел к тебе только на минуту повидаться.

Добрыня ушел. Настала уже глухая ночь, а Вышатич все еще не входил в избу; сидя на лавке, он молчал и смотрел в темноту.

— Не помогут твои заклятия, старик, — пробурчал он тихо. — В любви бóльшая сила, чем в твоих чарах. Люда любит его, а не меня. Ну, чем я виноват, что она меня не любит; да чем виноват и он, что она его любит? Ведь он не искал ее, не посылал своих отроков в ее дом, чтобы ее вырвать из родительского гнезда. Кто виноват?

Он призадумался на минуту.

— Это рыжебородый разбойник велел повесить ее отца, и если бы не это, то Люда никогда бы не попала на Красный двор. Теперь он льнет ко мне... зовет к себе, и я знаю куда. На кровавый пир. Нет, я не стану пировать на нем вместе с Славошей. Пусть он сам пьет эти мед и вино. Мне чужой крови не надо, нет, не хочу...

И так он долго сидел, смотрел на ночное небо и рассуждал, рассуждал... Уже давно петухи пропели полночь, небо искрилось звездами, а вдали, из-за Днепра, показалось красное лицо луны. В Берестове все уже спали, кроме Вышатича. А тот все продолжал сидеть и думать.

Но вот со стороны Печерской лавры слышался благовест, призывавший благочестивых людей к заутрене. Звуки колокола уныло летели над землей и отзывались эхом далеко за горами.

Вышатич встал, обратился в ту сторону, где сиял золотистый купол церкви Печерского монастыря, и начал креститься, громко и отчетливо выговаривая слова: «Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». В голосе его слышались слезы.

Но вот колокол умолк, а Вышатич все стоял и думал. До рассвета еще было далеко, как вдруг он встал и, выйдя за калитку, ровными, уверенными шагами отправился по узкой тропинке, ведущей к Печерской лавре и к колодцу Святого Антония.

Начинало светать, но до дня еще было далеко. Время от времени до Вышатича долетал крик проснувшейся совы, чириканье птиц и рев скота, выгнанного в долину. Наконец небо покраснелось. Вышатич спускался с горы к долине, через которую вела тропинка мимо колодца Святого Антония к Печерской лавре. Подойдя к колодцу, он перекрестился, взял деревянным ковшом воды, напился и пошел дальше. Лавра была открыта.

Вход в нее был в виде небольшого отверстия, запиравшегося простыми, еле сколоченными и даже неотесан-

ными дверями. Издали видно было, как люди с зажженными свечами приближались к отверстию, открывали его и исчезали...

В то же отверстие вошел и Вышатич.

Спустившись по ступенькам, он очутился в узком темном коридоре. Его обдало затхлым воздухом, смешанным с запахом восковых свечей и ладана. Среди темноты до него долетали глухие звуки пения, бродившие эхом в поворотах коридора мимо ниш, где почивали мощи святых затворников Печерской лавры.

В конце коридора виднелась маленькая церковка, откуда и доносилось пение.

Вышатич оперся о стену одной ниши и начал молиться. Быть может, он никогда так горячо не молился, как в эту минуту. Здесь он почувствовал себя ближе к вечному источнику мира и покоя.

Так он дождался конца заутрени; народ начал уже выходить из пещеры, но Вышатич все еще продолжал стоять, опершись о нишу. За народом начали выходить и чернецы, длинную вереницу которых замыкал отец Еремий. Это был аскет, который с минуты вступления в Печерский монастырь питался одним хлебом и водой, молился, поучал людей, лечил больных и переписывал разные божественные книги для монастыря. Ему было более ста лет, но он был еще бодр и силен.

Идя по узкому коридору, он заметил Вышатича и узнал его; он знал воеводу Коснячку, знал Люду и весь Киев. Обратив внимание на его странный вид, Еремий не стал прерывать его размышлений; только кивнул ему головой и пошел дальше.

Вскоре вышел и Вышатич. Молитва отчасти принесла ему облегчение, но на сердце все еще лежала тоска.

Когда он вышел из пещеры и его обдало свежим воздухом, ему показалось, что какая-то невидимая сила тянет его назад.

Он остановился и задумался.

— Пойду, — сказал он сам себе, — открою душу отцу Еремию, пусть он посоветует мне, как помириться с самим собою.

Келейка отца Еремии была неподалеку от Печерской церкви, на холме.

Вернувшись с заутрени, старик сел у стола, развернул пергамент и начал что-то писать. Вдруг он услышал, что за дверью кто-то рыдает... Он потихоньку отворил дверь кельи и увидел перед нею человека, стоявшего на коле-

нях, который, наклонив голову к земле и закрыв ладонями лицо, громко рыдал. Еремий узнал в нем Вышатича, подошел к нему и дотронулся до плеча.

— Что с тобою, мой бедный сын? — спросил он тысяцкого.

Вышатич приподнял голову и обхватил руками ноги Еремия.

— Благослови, отец! Мне тяжело жить на свете, и я не могу найти себе места.

Отец Еремий поднял руку над головой Вышатича и взволнованным голосом промолвил:

— Да благословят тебя, мой сын, святые Антоний и Феодосий печерские. Встань и войди в мою келью.

Вышатич встал и вошел в келью. Монах посадил его на обрубке дерева, который служил ему креслом, встал перед тысяцким и начал всматриваться в его печальное лицо.

— Вот видишь, мой сын, до чего ты дошел! В твое сердце закралась зависть... Она возбудила мысль о мести, а месть заставила тебя решиться на преступление.

Вышатич опустил голову на грудь и молчал, но отец Еремий читал в его душе, как в открытой книге.

— Ты сошелся с врагами Бога, и что же они дали тебе? Только привели тебя на край той пропасти, на котором сами стоят и ожидают Страшного Суда Божия...

Вышатич взял руку Еремии и покрыл ее поцелуями.

— Отец, укажи мне дорогу, я заблудился, — рыдая, произнес он.

— Бедное дитя! — сказал Еремий. — Тебе жаль Людомиры, но предоставь ее собственной судьбе, какую ей послал сам Господь. Пусть будет так, как есть.

— Пусть будет! — отозвался Вышатич, точно эхо.

Старый чернец стоял задумавшись. Казалось, горькая судьба Вышатича всколыхнула в его душе прошлые воспоминания.

— Сын мой! — сказал он. — Я дожил до глубокой старости, хотя и не щадил своей жизни. Господь наградил меня здоровьем и спокойствием. Я победил искушение, которое влекло мне к себе, и в той келейке я нашел спокойствие и тишину. Был и я молод, любил и часто плакал, потому что та, которая поклялась мне в своей верности, предпочла богатого боярина. Теперь она уже стоит пред престолом Всевышнего. Я давно простил ее и в служении Господу нашел новый труд и обязанности.

— Отец! — воскликнул Вышатич. — Вокруг нас изме-

на. Я думал, что я служу матушке-Руси, но оказалось, что я был только оружием в чужих руках. Я думал, что в сердце Люды я похороню свои сомнения и печаль, но ее сердце закрылось предо мною, и сегодня я ничего не желаю, кроме спокойствия, тишины и забвения... Благослови меня!..

IX. НЕОЖИДАННОСТИ

Настала осень, и листья груш и яблонь золотились на солнце.

Никогда Болеслав не был так занят войском, как сейчас. Он усилил дисциплину и запретил удаляться из обоза в город. Этим он возбудил неудовольствие солдат, которые шептались между собой и роптали на короля, что он медлит вернуться в Польшу. Пока они пировали с киевлянами, все было тихо и спокойно: они забывали о доме и отечестве; но как только король запретил отлучки из обоза, все начали сетовать и роптать. Однако, несмотря на это, войско слушало его, зная, что король не любит шутить. Правда, теперь солдаты уходили тайком и часто пропадали. Их начали разыскивать и одного находили убитым в лесу, другого вытащили из Лыбеди, третьего из Днепра... Болеслав ожидал подкрепления из Кракова, но паны все еще не присылали его. Тем временем войско его продолжало уменьшаться.

Болеслав с каждым днем делался грустнее и печальнее. Его раздражало то, что паны пренебрегают его просьбами и что на его желания отвечают молчанием, злило поведение Изяслава.

Поэтому неудивительно, что, находясь в таком настроении, он не хотел ни с кем видеться и не показывался даже Люде. Она заметила это и, вздохнув, сказала:

— Видно, он не любит меня.

Не видя любимого и не зная, чем это можно объяснить, Люда затосковала и стала все чаще ходить в лавру и к Спасу, пытаясь хоть как-то отвлечься от своих мыслей.

Однажды в воскресенье она возвращалась с Добромирой домой, как вдруг пред самым Красным двором их нагнал Путята.

Люда обрадовалась ему, точно увидела родного отца.

— Ах, как я давно не видела тебя! — воскликнула

она. — Как там живет тетушка Ростислава? Что Богна? Все ли живы и здоровы?

И она забросала старика вопросами.

Лицо Путяты было чем-то озабочено.

— Слава Богу, все еще здоровы и живы... По крайней мере, я оставил их такими, но, Бог знает, вернувшись, найду ли их живыми.

Люда угадала его мысль.

— Значит, еще не успокоился, — сказала она полупшепотом.

Они уже подходили к частоколу Красного двора.

— Мне хотелось видеть тебя, мое дорогое дитя, — ласково сказал Путята, — ну вот и увидел. Теперь я должен вернуться.

Люда поцеловала его руку.

— Спасибо тебе, дорогой отец! Приходи как-нибудь ко мне испить медку, да и Богну прихвати с собой, пусть она не чурается меня.

Путята поцеловал Люду в лоб.

— Прощай, будь здорова! — сказал он и хотел еще что-то прибавить, но удержался, а когда Люда уже хотела войти в калитку, он нагнулся к ее уху и шепнул: — Смотри, будь осторожна и не ходи в город после заката солнца!

— Почему? — спросил Люда.

— Уж слишком часто Славоша вертится около вас.

Добромира перекрестилась...

Люда любила сад Красного двора и часто сидела там. В тот же день после заката солнца Людомира опять пошла в сад, который скорее был похож на громадный лес, — обнесенный частоколом, как крепость. С одной стороны он примыкал к устью Лыбеди, с другой — граничил с Выдубычью, третьей подходил к стенам монастыря Святого Михаила, а четвертой выходил на берег Днепра, широкого в этом месте, как море. Неподалеку от монастыря Святого Михаила, на высоком холме стоял Красный двор, обращенный лицом к Днепру и Переяславлю. Над Днепром возносился обрывистый песчаный берег, поросший мелким сосняком, волчаником и терновником. Далее обрыв этот делался покатее, и здесь, на полянке, еще Всеволод приказал поставить деревянную скамеечку, на которой часто любил сидеть и издали смотреть на свой любимый Переяславль. Отсюда в ясный день были видны золотистые купола его церквей.

Эта же скамейка была излюбленным местом отдыха

и Людомиры, особенно теперь, когда Болеслав целыми днями находился в обозе и когда печальные мысли не давали ей покоя. Здесь она чувствовала себя как-то свободнее и приятнее. Спрятавшись за толстыми дубовыми ветвями и вслушиваясь в осеннюю тишину и в ласковый шепот деревьев, она смотрела на природу, которая раскрывалась перед нею.

Солнце уже закатилось, бросая на землю последние лучи, и на небе начали загораться одна за другой звезды. Ночь с каждой минутой делалась тише и глуше. Там и сям на берегах Днепра по направлению к Турханьему острову блестели на песчаных отмелях огоньки рыбацких фонарей.

Вдруг Люде показалось, что между густыми ветвями мелькнула на Днепре лодка, направляясь к берегу. Она встала, отвела рукой листья и убедилась, что это действительно лодка, в которой сидело три человека. Двое из них легкими ударами весел направляли ее к берегу.

Люда с напряженным вниманием смотрела на лодку.

Наконец гребцы остановились, привязали лодку в лозняке, находившемся у частокола, и трое мужчин медленными шагами пошли в гору, по направлению к Красному двору. Через минуту они исчезли в лесной чаще.

Люда не могла понять, кто были эти люди и почему они ночью, как воры, подкрадывались к Красному двору. Она не знала, что делать: вернуться ли в терем или ждать, пока они подойдут ближе, и узнать, кто они. Люде стало страшно, и она хотела вернуться, но вдруг у нее мелькнула мысль, что это, может быть, король, и она остановилась. Ей недолго пришлось ждать. Скоро на поляне показалась длинная тень, потом вторая и третья. Все они промелькнули и исчезли. Люда притаилась и ждала.

Вскоре один из трех незнакомцев остановился в нескольких шагах от нее, и только благодаря густым дубовым ветвям он ее не заметил. За ним появились и остальные.

Люда стояла полуживая.

— Теперь уж скоро будет возвращаться, — сказал первый.

— Нужно прислушиваться к оклику, — ответили ему полупшепотом.

— Не бойся, старик не прозеваает. Он и поныне не может забыть того, как его встретили на Красном дворе.

Люда угадала, о ком идет речь, и внимательно прислушивалась.

— Пойдем подальше, к тем двум дубам. Ты, боярин, встанешь с одной стороны, а я с другой. Смотри только не промахнись.

В голове молодой девушки мелькнули слова Путяты. Из разговора неизвестных она догадалась, что они посланы Изяславом с худой целью и что один из них, видимо, Славоша.

Дыхание замерло в груди Люды. «Надо оповестить стражу, — подумала она. — Но как? Легко наткнуться на ножи разбойников».

Через минуту все трое отошли на тропинку и спрятались за дубами в ожидании сигнала, который должен был дать Добрыня, стороживший Болеслава, который, похоже, собирался здесь вскоре проехать. Люда решила перебежать тропинку наискось, между кустами, и войти в терем с противоположной стороны двора. Когда все успокоилось и утихло, она потихоньку встала со скамеечки и пошла между кустами так тихо, что едва слышала собственные шаги. Добежав до терема, Люда оповестила стражу. Тотчас же послали в обоз предостеречь ксроля, чтобы он возвращался другим путем. В то же время солдаты окружили сад, отрезали злоумышленникам путь к лодке и начали разыскивать убийц.

Посланцы Изяслава, ни о чем не подозревая, спокойно ожидали проезда короля. Они уже давно слышали продолжительный свист Добрыни, означавший, что король оставил обоз. Убийцы ждали, но Болеслава все не было. Добрыня видел, как король вышел из обоза, но не заметил, какой дорогой он пошел. Вдруг на тропинке слышались шаги. Убийцы насторожились. Вскоре они слышали отчетливые голоса многих людей, которые заполнили весь сад. Это встревожило Славошу.

— Плохо, — шепнул он одному из товарищей. — Кажись, Добрыня изменил!

А шум все приближался. Громкие шаги, стук оружия говорили о том, что вместо Болеслава по саду движется толпа вооруженного народа. Трое злоумышленников, не сговариваясь, побежали к лодке. Но и там их ждали вооруженные люди. Убийц схватили и связали.

— Э-э, ночные пташки собрались на охоту! — слышались голоса.

— Отведем их во двор. Пусть там посидят до утра. Днем мы увидим, кто они такие.

Их схватили под руки и повели...

Ранним утром все трое стояли перед Болеславом. Он молча посмотрел на них и на одном задержал свой взгляд. Это был красивый мужчина 22—23 лет, старавшийся гордо держать себя пред королем. Где-то Болеслав его видел, но где — вспомнить не мог.

— Кто вы? — спросил он.

— Слуги княжеские.

— Слуги? А как же вы служите князю?

Разбойники молчали.

— Значит, вы служите князю с ножами в руках? Кто вас послал?

— Тот, кто имеет право посылать, — отозвался один из разбойников.

Болеслав кивнул Болеху:

— Прикажи повесить этих негодяев. Какой жизнью жили, такой смертью путь умрут.

— Кого ты приказываешь вешать? — гордо спросил красивый мужчина. — Не меня ли?

— Всех троих, — спокойно ответил Болеслав.

— Меня? Сына?..

Болеслав внимательнее посмотрел на него и наконец узнал. Это был Мстислав.

— Да, и тебя прикажу повесить, — коротко сказал король.

— Не смеешь! Завтра же ты сам заплатишься своей головой.

Король махнул рукой страже:

— Отвести этих негодяев.

Стража схватила их и повела за ворота.

— Ну говорите, где вас вешать? — шутили солдаты.

Угреватое лицо Славоши покраснело от гнева.

— Вешай где хочешь, ляхская собака. Сегодня ты нас повесишь, а завтра повесят тебя.

— О, какой грозный! Не поздно ли?

Отряд шел по лесной дороге, пока не увидел поляну, на которой одиноко рос развесистый дуб.

— Здесь хорошо и недалеко от дороги.

— По крайней мере, вас будут видеть здесь другие и у них отпадет охота заниматься разбойничьим ремеслом.

Все остановились под дубом. Прежде всего набросили петлю на шею Славоши. Он стоял спокойно и молча, как и всегда, когда исполнял княжескую волю — вешал и убивал. Двое людей держали его, а двое других начали

тянуть за другой конец веревки. Лицо Славоши исказилось, налилось кровью, он захрипел и замотал ногами, точно отыскивая точку опоры или желая убежать. Один из солдат полез на дуб, взял конец веревки, обмотал его вокруг ветки и завязал.

Так кончил свою жизнь Славоша.

— Ну, князек, теперь твой черед,— заухмылялись солдаты.— Будьте ласковы, позвольте забросить петельку на вашу белую шейку.

— Смотри, как бы завтра на твою шею не набросили петлю,— огрызнулся Мстислав.— У Изяслава немало верных слуг.

Однако солдаты не обращали на это внимания.

Когда всех троих повесили, отряд постоял еще несколько минут, чтобы кто-нибудь не обрезал веревки, и возвратился на Красный двор.

Добрыня в тот вечер, когда давал сигналы Славоше и двум другим, долго ждал в условленном месте, но никто из княжеских послов не возвращался. Он не знал, что с ними случилось, но предчувствовал что-то недоброе. Уже полночь минула и заря вечерняя погасла, а убийцы не появлялись. Он ждал.

Лишь когда солнце взошло, он решил возвращаться.

Однако он не пошел по обычной дороге, опасаясь встретиться с польскими солдатами. Он углубился в лес и пошел по тропинкам, которые ему были хорошо известны, в Киев на Княжий двор.

Тропинка как раз вела через ту поляну, на которой повесили Славошу, Мстислава и третьего разбойника. Выйдя из леса на поляну, он сразу увидел трупы и в одном из них узнал Славошу.

— Да, напрасно я ожидал вас,— прошептал он.

В другом трупе Добрыня узнал Мстислава, и его охватил ужас. Опрометью бросился он в лес и долго шел, не разбирая дороги.

Было уже за полдень, когда Добрыня пришел на Княжий двор. Гридни впустили его без доклада. Едва он показался в дверях княжьей гридницы, Изяслав сразу обратил на него свой вопросительный взор.

— Где Мстислав? — спросил он сурово.

— Все в руках короля,— поклонился Добрыня.

Изяслав молча прошелся по избе, потом сел у стола.

— Где же они? — спросил он.

— Им не вернуться к тебе, милостивый князь,— отвечал Добрыня.— Король приказал их повесить.

— Что?! — князь ударил по столу кулаком. — Ты... ты лжешь!..

— Нет. — Добрыня покачал головой.

— Ты видел их трупы?

— Видел, милостивый князь.

Князь повернулся лицом к окну и неподвижно стоял несколько минут. Затем он повернулся к отроку и громко сказал:

— Позвать сюда конюхов и гридней.

Через несколько минут в гридницу вошло несколько плечистых людей. Изяслав, по-прежнему стоя у окна и не поворачиваясь к ним, ровно произнес:

— Возьмите Добрыню и посадите в мешок.

Конюхи схватили Добрыню и увели.

На следующий день князь созвал всех воевод, бояр и старшин на совет, где обвинил своего бывшего союзника в предательстве и желании занять княжеский престол. Совет решил собрать дружину, рассеянную по всем окрестностям, и объявить войну. Изяслав обратился к Чудину:

— Боярин, поезжай к Вышатичу. Пусть тоже приведет своих отроков.

Чудин в тот же день поехал в Берестово, но когда он въехал во двор тысяцкого, его поразила необыкновенная тишина. На дворе не было никого, и только спустя несколько минут явился заспанный челядинец и взял у него коня.

— Тысяцкий дома? — спросил Чудин.

— Не, ушел куда-то.

— Когда вернется?

— Не знаю. Уж третий день его нет... Ах, да, я и забыл, — вдруг добавил слуга. — Ведь он приказал послать князю какое-то письмо.

— Какое?

— Не знаю. Кажись, на столе лежит!

Письмо гласило следующее:

«Пошли, князь, на мое место другого тысяцкого. Я поступил на службу к другому».

Х. РАЗНАЯ СУДЬБА

Была поздняя, теплая, ветреная осень, и Болеслав держал свои войска в лагере. Неудовольствие их росло с каждым днем, и если еще не было бунта, то только

благодаря тому, что Болеслав обещал солдатам устроить их зимой на удобных квартирах. Куда он хотел их вести — никому не было известно. Он ожидал помощи из Кракова, но вместо этого получал невеселые известия. И панство и духовенство были недовольны отсутствием короля.

Но ни тех, ни других Болеслав не посвящал в свои планы. Отношение короля к шляхте давно приобрело ему врагов в совете и в сенате.

Когда стало известно, что Изяслав открыто посягает на жизнь короля и намеревается выставить против него вооруженную рать, путь, который избрал сам польский король, был уже начертан. Придет ли помощь или нет, но он решил покончить с Изяславом, занять Киев и венчаться на княжение; а затем, оставив наместника на Руси, с собственными и русскими войсками двинуться в Краков и положить конец неудовольствию и бунту шляхты.

Это был смелый план, но в духе Болеслава.

Тем не менее он надеялся на подкрепления из Кракова и не предпринимал пока никаких действий.

Поздняя осень заканчивалась в тоскливом ожидании и сомнениях. Однажды утром в детинец Красного двора въехал какой-то рыцарь с конным отрядом и приказал доложить о себе королю.

Его пустили. Он пробыл у короля несколько часов; нерасседланная лошадь ожидала его у крыльца. Наконец он вышел и, вскочив в седло, немедленно уехал с Красного двора. Отряд, сопровождавший его, двинулся следом.

После этого разговора с неизвестным рыцарем Болеслав остался один и долго сидел, подперши рукою голову, в глубокой задумчивости. Всем было ясно, что рыцарь приехал из Польши, но вот с чем.

Прошел час после его отъезда, а Болеслав продолжал сидеть на том же месте и в том же положении; на его лице видна была печаль и на глазах блестели слезы.

Вдруг скрипнула дверь. Болеслав встрепенулся и поднял голову:

— А, это ты, Болех!

— Я. Пора ехать в обоз.

Они встретились взглядами. Болех был удивлен внезапной переменой в лице короля.

— Наконец я дождался посла, — сказал король, глядя в упор на Болеха.

— А, значит, это был посол? — спросил Болех.

— Да, посол.

— И что с помощью?

Лицо короля исказилось от горькой улыбки.

— Видно, эту помощь мне придется добывать саблей. Говорят, что я нужен дома. Действительно, им нужен король под боком, чтобы исполнять их приказания. Но я хочу быть королем для Польши, думать о ее величии, будущем и славе, а не о воеводах, которые заботятся только о своих уделах... Прикажи, чтобы все было готово,— прибавил он после минутного молчания,— и мы тотчас поедem в обоз.

Прошло несколько дней после отъезда посла, король все сидел и без конца советовался со старшинами. Людомира видела короля очень редко, если он и приходил к ней, то только на короткое время, когда уезжал в обоз или уходил на совет. Все это не предвещало ничего хорошего.

Однажды, сидя одна в светлице, она думала о короле, как вдруг дверь открылась и он вошел в горницу. Люда сразу заметила его печальное лицо.

— Что с тобой, мой повелитель? — спросила она.

Болеслав привлек ее голову к своей груди и поцеловал в лоб.

Люда долго стояла, прижавшись к нему, а когда подняла на него свои глаза, в них было столько печали, скорби и любви, что сердце короля заныло.

— Жаль мне тебя, дитя мое! — сказал он.

Людомира широко раскрыла глаза.

— Ты уезжаешь?

— Да, уезжаю... — голос короля прервался. — Быть может, я еще вернусь,— спустя минуту добавил он.

— Когда?

— Вернусь, если буду жив,— сказал он задумчиво. — У меня врагов больше дома, чем на Руси, и если мне удастся победить их, то непременно вернусь.

Уже совершенно стемнело, когда король ушел из светлицы Люды задумчивый и грустный. Все его планы и надежды развеяло ветром. Недальновидность шляхты лишили его последней надежды: он должен был вернуться, так как война отняла бы у него много времени, и тогда было бы уже поздно возвращаться домой, да и незачем.

Незадолго до рассвета король приказал двинуться в путь по дороге на Васильев. Скоро все узнали, что поляки двинулись в Польшу, и когда о том уведомили Изяслава, он не поверил.

— Ушел! Куда?

— В Польшу.

— В Польшу? Не может быть. Нет, он, видно, хочет напасть исподтишка.

Собрав небольшую рать и дружину в Киеве, он заперся на княжеском дворе и ожидал нападения. Но вот прошло несколько дней, а ляшские войска все не появлялись под Киевом. Наконец пришло известие, что Болеслав действительно ушел через Перемышль в Польшу.

Изяслав не мог объяснить себе его поступка и распространил слух, что король убежал из Киева от страха перед ним.

Красный двор опять опустел. Окрестные жители проходили мимо, да и князь никогда не заглядывал в него. Единственными жителями в нем были Добромира и Люда. Последняя жила в той самой светелке, в которой протекли счастливейшие дни ее жизни. Она не хотела уходить с Красного двора. Она похудела и побледнела и ходила по всем комнатам Красного двора как привидение. Из-за этого распространился слух, что на Красном дворе живут домовые. Каждый теперь старался обойти этот дом, Берестов тоже опустел, а в Печерском монастыре стало одним монахом больше.

Добромира каждое утро ходила в сад, собирала сухие сучья и на них готовила обед. Откуда она доставала провизию — Люда не знала. Она целыми днями сидела у окошка своей светелки, смотрела на Днепр и на далекую равнину.

Прошло много времени... Люда постепенно начала успокаиваться и чаще ходить в пещеру Святого Антония, в которой оставалась подолгу. Добромира, глядя на нее, только качала головой.

Так Люда дождалась весны; но и она не принесла ничего нового. Изяслав все ссорился с киевлянами, и народ со дня на день ожидал Всеволода Переяславского. Однажды Добромира вернулась из церкви такая радостная и сияющая, какой ее Люда никогда не видела.

— Что с тобой, мамушка? — спросила она.

Добромира привлекла Люду к себе и поцеловала в лоб.

— Сегодня я сподобилась причаститься, и Господь осенил меня одной мыслью, — туманно ответила она. — О, если бы Он позволил мне исполнить ее!..

Людомира не поняла ее.

Через несколько дней они собрались в Китайскую пустынь, где под горой, говорили, молился в пещере какой-то аскет, к которому народ шел толпами за отпущением грехов. Сходить туда предложила Добромира.

Пройдя Выдубичи, они часа два шли лесом, пока не приблизились к небольшому холму, на вершине которого находилась небольшая деревянная церковь и несколько низеньких избушек.

— Ну, теперь уж недалеко, — устало сказала Добромира при виде этой картины. — Я здесь передохну, а ты иди по этой тропинке в гору... и на другой стороне найдешь пещеру.

Люда отыскала пещеру и, войдя в нее, пошла по длинному, узкому коридору. Сначала ей освещал путь дневной свет, а затем, по мере того как она удалялась от входа, свет этот мерк, и вскоре сделалось совсем темно, точно ночью. Наконец впереди забрезжил красный огонек. Она дошла до конца пещеры и очутилась в небольшой клейке, где стоял глиняный светильник.

В пещере не было никого, и Людой овладел страх. Она хотела вернуться, но тут услышала позади себя чьи-то шаги.

Люда обернулась и увидела фигуру монаха в лохмотьях, приближавшуюся к ней.

— Отец! — сказала она, протягивая к нему руки, но тут свет упал на его лицо. Люда вздрогнула, отшатнулась, закрыла лицо руками, жалобно простонала: — Господи! За что же Ты меня так жестоко наказываешь? — и упала без чувств к ногам пустынника.

Это был Вышатич.

Он приподнял ее и привел в чувство, а затем и сам встал пред нею в оцепенении и сделался бледным как мрамор. Люда не смела взглянуть на него.

— Бедная сестрица, — наконец совладав с собой, сказал он, — чем я могу тебя утешить. Поищи сама утешения у того источника, из которого пьют все жаждущие мира. Господь ниспосылает нам судьбу, и в Нем одном это утешение. Я победил в себе сильнейшую страсть, победил самого себя и здесь, в этой келейке, в которую никогда не заглядывает дневное светило, нашел душевное спокойствие.

Люда, вся дрожа, слушала Вышатича, тогда как бывший тысяцкий приподнял руку, сложил перст и осенил ее крестным знамением.

— С Богом, сестра, — произнес он...

Когда Люда ушла, Вышатич упал на колени перед изображением креста, который он сам начертил при входе в пещеру, и начал молиться и плакать...

Люда, выйдя из пещеры, увидела Добромиру и со слезами бросилась ей на шею.

— Ах, матушка! — воскликнула она. — Ведь это он, Вышатич, кается за мои прегрешения.

Добромира знала, что Люда увидится с Вышатичем. Исповедуясь у отца Еремия, она узнала от него, где Вышатич, и решила свести их. Ей думалось, что молодой боярин простит ее любовь к королю, что бедная дочь воеводы Коснячки полюбит того, который когда-то был другом ее семьи, и тогда закончатся страдания обоих. Но она ошиблась. Вышатич не пожелал вернуться в мир...

Солнце уже клонилось к вечеру, когда Добромира с Людой сходили с горы, пробираясь на дорогу к Красному двору. Уже в лесу Люда вдруг остановилась и пристально посмотрела на Добромиру.

— А знаешь, мамушка, — неожиданно сказала она. — Не пора ли нам провести наш дом?

Мамка обрадовалась:

— Да, пора, мое дитяtko, пора...

Не заходя на Красный двор, они тут же отправились в город.

Переночевав в пути, они утром подошли к калитке двора Коснячки. С бьющимся сердцем Люда толкнула дверь. Заржавевшие петли закрипели, и обе женщины невольно вздрогнули.

Во дворе было пусто, глухо и печально. Не было даже собаки, которая когда-то с нетерпением ожидала прихода Люды и Добромиры. Весь двор зарос крапивой, она же красовалась и у частокола, сделанного из дубовых бревен. Тропинка, ведущая к дому, тоже заросла; словом, везде было запущение.

Обе женщины подошли к дому.

— Кончился сон, — сказала Добромира. — Пора приниматься за дело.

— Да, ты права, мамушка, — вздохнула Люда.

И женщины принялись за работу.

Прошло много дней. Однажды ночью давно уже выпущенный князем на свободу Добрыня возвращался с Кожемякой в свою избу в лесу. Он шел по пустынным улицам, избегая людских взоров. Проходя мимо калитки терема Коснячки, он вдруг увидел свет, мелькавший в ок-

не. Будучи убежден, что Болеслав увез Люду с собой, Добрыня удивился и подошел поближе. В этот момент в окне мелькнула тень, показалась рука и через минуту выглянула женская фигура.

Добрыня вздрогнул.

— Люда, — прошептал он.

Он был зол на нее. Из-за нее он лишился княжеских милостей, был осмеян и унижен.

— Хорошо, моя пташечка, я выкурю тебя отсюда! — покачал он головой и удалился.

Через несколько дней Добрыня вновь пошел в город и зашел на княжеский двор. Увидев князя, Добрыня бросился к его ногам и начал целовать землю.

— Встань, встань, Добрыня! — сказал Изяслав.

— Зачем пришел?

— Пришел предупредить тебя, чтоб ты приготовился встретиться с врагом.

Князь вздрогнул, чего-чего, а неприятелей, у него было много.

— О ком ты говоришь?

— Болеслав уже прислал своих шпионов, верно, и сам скоро приедет.

— Ты видел их!

— Видел, милостивый князь.

— И покажешь?

— До самых ворот доведу.

Изяслав задумался.

— Кто?

Колдун наконец встал и поклонился в пояс.

— Ты знаешь Люду, милостивый князь? Ляшский король, отъезжая, прихватил ее с собой, но не надолго: она уже вернулась и поселилась в своем доме.

— Ну и что?

— А чего она вернулась? Чтобы подговорить народ против тебя. Попомни мои слова, князь, вскоре вновь зазвенит вечевой колокол.

Изяслав сжал кулаки.

— Тогда надо разорить это волчье гнездо.

Отпустив Добрыню, князь стал думать, что именно делать с Людомирой. Жажда мщения усиливалась с каждой минутой.

«Я велю изорвать ее на куски и выбросить собакам и воронам на съедение, — свирепо думал он. — Пуст знает Болеслав, что его встретит в Киеве, если он посмеет протянуть руку за великокняжеским венцом».

Между тем Люда и Добромира не догадывались, что над ними нависло новое несчастье.

Однажды ранним вечером во двор терема Коснячки въехала толпа всадников, вооруженных топорами и мечами. Добромира выглянула в окно, с ужасом отскочила и перекрестилась. Она припомнила такую же толпу вооруженных всадников, которые год назад приехали схватить старого воеводу и отвести его на княжеский двор.

— Уходи, мое дитя, уходи! — крикнула Добромира Люде.

— Что случилось?

— Княжеские конюхи уже на дворе. Уйдем скорее!

В этот момент дверь в комнату с шумом распахнулась и несколько человек показалось на пороге...

Женщины прижались друг к другу.

— Что вам нужно? — дрожащим от страха голосом спросила Добромира.

— Да не тебя, старая карга. — Вошедшие схватили Люду и начали отрывать от Добромиры.

— Иди, иди, милая, — сказал кто-то. — Мы отведем тебя к ляхам, там тебе будет лучше.

Женщины не понимали, что происходит.

— Чего? Зачем? — спросила Добромира.

— Ты, старая, молчи! — отозвался другой. — Тебя не спрашивают... А зачем ее ляшский король прислал сюда?

— Король?... Прислал?..

— Ну да. А вы думали, что князь ничего не знает?

— Да что вы! Никак, белены объелись! — вскричала мамка.

Конюхи повалили Люду на пол.

— Волоки, волоки ее!

— Пусть головой выметет лестницу!

По лестнице ее стащили на двор, связали руки и привязали позади седла так, что Люда, перегнувшись через лошадь, касалась волосами и руками земли.

— Стойте, живодеры! — кричала Добромира. — Не мучьте ее! Я пойду к князю. У него тоже есть дети, он смилуется, подождите!

— Ступай хоть на все четыре стороны! — отозвался один из конюхов. — Нам нет дела до тебя, а уж мы знаем, что с ней сделать.

Добромира, заломив руки, плакала, умоляла и наконец наклонилась, чтобы поцеловать в лоб Люду и скорее бежать на княжеский двор.

Едва она прикоснулась губами к лицу девушки, как та открыла глаза.

— Останься, мамушка, здесь, со мной, останься! — Она приподняла руки и ухватила за шею мамки. — Не оставляй меня одну.

В это время ворота скрипнули, и отряд начал выезжать со двора. Люда продолжала держаться за шею мамки. Лошадь, на которой она была, двинулась за другими. Руки Люды стиснули шею мамки и потянули за собой старуху.

— Оторвите эту старую колдунью! — крикнул кто-то.

— Не время: соберутся люди. Она сама отстанет.

И отряд, окружив коня с девушкой, поехал прямо к Золотым воротам.

— Только бы нам выехать на дорогу к Васильеву, — сказал кто-то.

— Да пошто нам ехать на Васильев? Повернем сейчас на Шулявку.

И действительно, отряд выехал на песчаную дорогу, повернул к Шулявке, а затем рысью помчался на мост, перекинутый через Лыбедь. Ноги Добромиры тащились по земле, цеплялись о камни и ударялись о деревья, но старая мамка крепко держалась руками за плечи Люды.

Наконец их руки устали и они отпустили друг друга, старая мамка упала на землю. Бежавшие позади кони перепрыгнули через нее и помчались вперед. Старуха только слышала бешеный топот и хохот конюхов. Отряд, проехав за густые кусты лозняка, исчез из виду.

Добромира полежала минуту на земле, затем вскочила на ноги и побежала за отрядом.

Миновав кусты орешника, отряд остановился.

— Ну хватит, мы далеко за городом, — сказал начальник отряда. — Пора кончать с нею.

Конюхи отвязали от коня Людомиру; она еле дышала от боли и страха.

— Ну, давай веревки! — приказал чей-то голос.

Один из конюхов начал распутывать постромки. Другие подошли к лежащей на земле Люде, взяли ее за ноги и потащили к коню.

Вдали показалась запыхавшаяся Добромира. Кто-то из конюхов обратил на нее внимание.

— Вот живуча, — сказал он.

Конюхи подволокли Люду к расседланному и разнузданному коню, надели ей на одну ногу петлю из веревки, а другой ее конец крепко привязали к лошадиному хвосту,

В этот момент прибежала Добромира... Теперь она догадалась, каким образом окончатся страдания Люды.

Собрав все свои силы, она растолкала конюхов и грохнулась на землю возле Люды.

— Уберите прочь старуху! — крикнул начальник.

— Нет, нет! — воскликнула мамка — Я хочу умереть вместе с нею.

— Уберите ее!

Один из конюхов подошел, схватил за руку и оттащил Добромиру в сторону.

Отряд разделился надвое, и в тот же момент раздался громкий свист, крик и посыпались удары на коня, к хвосту которого была привязана Люда. Конь не сразу двинулся с места; он скосил глаза, посмотрел на лежащую на земле Люду и захрапел. Затем он сделал прыжок и бросился через заросли и кусты.

Добромира с воем побежала за лошадью. До ее слуха долетал хруст сухих веток, топот коня и глухой стук тела о землю и деревья.

Княжеские слуги сели на коней и по лесной дороге отправились к Лыбеди, куда побежала лошадь. Они обогнали Добромиру и поехали дальше, к мосту и мельнице на Лыбеди. Мост был узок и оканчивался плотиной, обсаженной по обеим сторонам ивами.

Едва они выехали на поляну, как заметили между вербами коня, а неподалеку от него — старого мельника, который осторожно приближался к животному. Веревка, которой была привязана Люда, зацепилась за пень, и лошадь, вся в пене, как обезумевшая лягалась, хрипела и рвалась вперед, подальше от своей страшной ноши.

Наконец часть хвоста лошади оторвалась, и она, почувствовав себя свободной, помчалась под гору. Мельник подошел к истерзанному трупу Люды, остановился и печально покачал головой.

Подъехали конюхи и, убедившись, что Люда мертва, весело повернули обратно в Киев.

Добромира, вся запыхавшись, добежала до трупа Люды, упала на землю и замерла...

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

В. КЕЛЬСИЕВ

МОСКВА
И ТВЕРЬ



I. РУССКИЙ ПОЛОН

На берегу в низовье Волги стоял базар. По степному простору рассыпалось множество шатров; армяне, греки, жидаы, индийцы, хивинцы, хазары, итальянцы, русские раскладывали свои товары, большей частью, разумеется, награбленные татарами в подвластных Орде областях. Тут было много всего: ткани и мечи, книги и сапоги, скот и парча, а сверх того, и невольники. Главный торговец невольниками был Ицек Гамбургер, добродушнейшее на свете создание, краковский жид. Этот человек был вечно оборван, до невозможности грязен, вечно навеселе и за молитвой. Невольников Ицек Гамбургер скупал только русских; когда татары делали набег в русские княжества, они набирали пленных специально для Ицека, во-первых, потому, что Ицек ссужал их в долг (разумеется, за проценты) всякой дрянью, преимущественно греческим вином, которое он доставал откуда-то по неслыханно дешевой цене; а во-вторых, потому что из торга русским полоном он сделал себе особый промысел.

В один из первых дней сентября 1319 года Ицек встал, по обыкновению, очень рано, плеснул на себя водой, покачался часа полтора, распевая молитвы и в то же время зорко поглядывая, все ли невольники у него налицо. Затем, закутанный в старые и драные одежды, вышел к своему «товару».

«Товар» этот представлял собой весьма печальную картину. Невольники были большей частью мужчины, потому что женщин, особенно молоденьких, Ицек предпочитал сбывать соседней черемисе, болгарам, хазарам

в жены или просто в работницы, а что оставалось, отправлял в Самарканд. Что же касается мужчин — то это были крепкие люди, которые могли проделать поход, почти без отдыха и при отвратительной пище, откуда-нибудь из Рязани или из Ярославля. Невольников Ицек запирали на ночь в деревянные колодки, одежды у них почти не было, а питались они преимущественно милостыней, которую Ицек посылал их просить по окрестностям.

Сегодня Ицек вышел из шатра, где у него самого, кроме кучи камыша, нескольких грязных войлоков и четырех огромных бочонков греческого вина, ничего не было — не считая, разумеется, денег, зарытых под сорокапудовой бочкой. Он с любопытством посмотрел на лица просыпающихся. Ему показалось, что лица эти даже пополнели, оттого что вчера он угостил их целой половиной верблюда, купленного у живодера. Верблюжье мясо, как известно, особенной мягкостью не отличается, но пленники ели его с таким наслаждением и так благодарили хозяина, что вчерашний день был для Ицека одним из счастливейших во всей жизни, и он питал смутную надежду, что, может быть, сегодня Бог его наградит за вчерашнюю добродетель.

— Ну! — заговорил он, весело хлопая в ладоши. — Ну и чего же вы не встаете?! День такой хороший: солнце встало, и хан встал, и все нояны встали, и все купцы встали, и я сам, Ицек Ашкеназ, тоже встал.

— Здравствуй, Ицка! — закричали несколько человек. — Как спал?

— Хорошо спал, видел хороший сон...

— Да уж, — сказал один парень, сонно протиравший глаза огромными кулаками, — хоть бы раз тебе недобрый сон приснился!.. Сны видишь добрые, а дело на лад не идет.

— И не говори! — сказал Ицек. — Не говори! Я сегодня видел во сне, что вы молились святым Флору и Лавру — и пошлют они вам какого-то очень важного человека, чтобы вас выкупить домой.

— А что же, братцы, — сказал один невольник, — ведь оно и вправду так может быть — мы всем святым молились, только не молились этим двоим. Надобно попробовать...

— Ты бы выпустил нас, Ицек, хоть немножко потянуться.

— Что ж, можно, — сказал Ицек, расстегивая колодки. — Вы знаете, что Ицек хороший хозяин, только Ицек бедный человек.

— Да что, Ицек, — говорили в толпе, — ты ничего, твое дело сторона. А что, твоей верблюжатины не осталось еще? Что-то живот подергивает.

— Отчего не осталось? Осталось. Когда у Ицека есть, так и у вас есть. Вот пускай старосты пойдут огонь разведут — и мы будем пировать. И вам будет весело, и мне будет весело, и всем будет весело!..

Старосты пленников, расправляя суставы, поднялись и заходили в толпе.

— Покойников как будто сегодня и нет... — сказал кто-то, недоумевая.

— Нет, кажись, никто не умер; только Алексей да Прохор не встают, знать, немоготу стало, — сказал один пленник, сам истощенный до невозможности.

— Братцы, а что мы все толкуем, что христиане, а молиться-то и не стали, — сказал ключник.

— А и то дело: давай молиться, братцы. Все лучше, — сказал сонливый парень, прозывавшийся почему-то Суе-той.

— Надо попросить здешнего владыку, чтобы попа нам прислал.

— А что, — сказал Ицек, — я сам пойду к владыке и скажу: «Дай попа!» И вдруг Ицек засуетился: его озарила счастливая мысль. — И знаете, что я сделаю, — сказал он, — я скажу владыке, чтоб поп почаще сюда ходил; пускай он молится, и вы пускай молитесь, и от этого вам будет веселее, и об этом Петр-митрополит и вся Русь узнает, и выкупать будут вас больше, и от этого вам будет хорошо, и мне будет хорошо, и всем будет хорошо! А я же вам добра хочу.

— Ай да Ицек! — заговорили в толпе. — Жаль, что ты жид, а то, право, душа ты человек! У тебя даже в неволе живешь — и то утеха есть.

— Ну так молиться, стало быть, братцы?

— Молиться.

Покуда полон молился, покуда ставили котлы и разваривали жесткую верблюжину, Ицек ушел, перед этим надавав кучу распоряжений десятку татар, карауливших полон.

Но едва Ицек отошел от своего шатра, как вдруг раздался голос:

— Стой, Ицек! Куда тебя нелегкая несет?

Ицек вздрогнул. На другой стороне улицы стоял молодой человек, по лицу русский, а по одежде чистый татарин, — в уродливом войлочном колпаке, халате, с саблей у пояса.

— Иди сюда! — крикнул он властным голосом, и Ицек, узнав в нем Ахмета-Ибрагима, одного из приближенных ханши Баялынь, человека очень влиятельного, бросился к нему, утоная на каждом шагу в грязи.

— Ицек, жид поганый, душа-человек, скажи, есть ли у тебя бочонок вина самого лучшего мне в подарок?

Ицек заморгал глазами, одно плечо вздернул выше другого и стал похож на такого несчастного человека, у которого не то что не было бочонка вина, но даже самого себя почти не было.

— И нет ли у тебя в полоне какой-нибудь женщины, которая умела бы вышивать по-русски? Коли есть, так продай ее мне, я тебе дам за нее целых два рубля серебра.

При этом Ахмет распахнул полу кафтана и вытащил из широкой и укладистой калиты * два слитка серебра весом каждый в двадцать пять золотников. Ицек взял эти рубли, только что занесенные на Русь из Китая, посмотрел на них, постучал одним об другой, зубами попробовал, несколько раз подбросил на руке и вернул Ахмету.

— Бочонок вина хозяину, — сказал он, — я и так давным-давно готовлю, потому что хозяин добрый человек, скоро мурзой будет, а может быть, на какой-нибудь из ханских дочерей женится. А вышивальщицу я продам за три рубля, потому что я знаю, что вышивальщицы в Орде стоят дорого, и за них дают по пяти, по шести рублей.

— Более двух рублей не дам, — сказал решительно Ахмет. — Хочешь продать — хорошо; а не хочешь — в другом месте сыщу.

— И зачем, господин, так говоришь? — возражал Ицек, махая руками как мельничными крыльями. — Пусть хозяин поверит мне, что теперь ни у одного торговца невольниками в Орде вышивальщиц нет.

— Ни у кого нет? — спросил Ибрагим.

— Пусть глаза мои лопнут, пусть ни мне, ни жене моей, ни сынам моим, ни всему племени моему вовек счастья не будет!

* К а л и т а — кошель, привешенный к поясу.

— Так вот что, Ицек,— сказал Ахмет.— Возьми два рубля, а вышивальщицу и два бочонка вина доставь — иначе знаешь что выйдет?.. Я покупаю не для себя, а для ханши.

Ицек развел руками, согнулся в три погибели и повиновался. Если бы он не продал вышивальщицу, то Ахмет мог бы немедленно позвать караульных и взять у него и вышивальщицу и что угодно даром. До хана и до ханши весть об этом, разумеется, не дошла бы, а если б и дошла, то они бы не огорчились — жалованья двор их не получал и пользовался правом жить на счет всех имущих.

Ахмет зашагал к шатру Ицека, распахнул сколоченную из досок калитку и нахмурился — жалкий вид исхудалых земляков точно ножом резанул его в сердце.

— Эй, вы, полон! — крикнул он.— Где у вас тут бабы?

— А вон в том углу,— отвечал один из невольников.

— Вот сюда, сюда,— указывал Ицек.— Вот и она: женщина хорошая, добрая и еще не старая.

В полусгнившем сарафане — на ней не было больше ничего — сидела «женщина хорошая, добрая и еще не старая» на голой земле возле небольшого огонька, а около нее увивались две девочки, из которых одной было десять лет, а другой лет восемь. Она пекла им на огне кусок верблюжатины. В нескольких шагах от нее сидели и лежали на земле и другие женщины, такие же исхудавшие, измученные, поруганные татарами.

— Вот это вышивальщица и есть.

— Ты, тетка, умеешь вышивать? — спросил ее Ахмет.

— А как же, батюшка,— отвечала она с испугом,— как же, родной, всякую нашу бабью работу знаю — что прясть, ткать, шить, вязать, вышивать.

— Ты сама из каких же?

— Рязанская, батюшка, рязанская.

Ахмета передернуло.

— Из самой Рязани?

— Из самой, батюшка, из самой!

— Ты чьих же?

— А Барсуковых, батюшка, Барсуковых!

Ахмет попятился.

— Тех, что подле Троицы живут? — спросил он.

— Да ты, родной, почем знаешь, ты сам, что ли, из Рязани?

— Да, из рязанских, — отвечал Ахмет. — Как же ты сюда попала?

— Да так, батюшка, попала, как все попадают. Покойника моего Ивана Дмитриевича Барсукова, может, знавал?

— Ну, — сказал в волнении Ахмет. Он некогда был приятелем и даже другом Ивана Барсукова, рязанского посадского, крестами с ним поменялся.

— Ну, вот орда поганая, прости Господи мое согрешение, нашла на Рязань. Покойник вышел на них с полком, там его и убили. Было у нас трое деточек, еще маленьких: младшему-то был всего третий месяц, среднему — полтора годика, а старшей девочке моей третий годочек шел. А тут татары ворвались — всех моих деточек за ногу да об угол... Вот с тех пор третий год я здесь в Орде мучаюсь. Ну, сам знаешь нашу жизнь-то полонянскую, одного сраму сколько вытерпела!.. Да ты, батюшка, сам-то в Рязани из каких?

— После потолкуем, — резко оборвал ее Ибрагим, которому было не по себе. — А теперь ступай за мною, я тебя купил у Ицка.

— Дядюшка, отец родной, господин милостивый, помилуй ты меня бедную, оставь в полоне!!! — закричала она и бросилась ему в ноги. — Не покупай, не покупай!.. Здесь живу, здесь и помереть хочу!

Ахмет стоял в недоумении. Ицек развел руками и вопросительно посмотрел на прочих женщин и мужчин, собравшихся около них.

— Тут такое дело, — сказал сонный Суета. — Это ей девочек жалко.

— Девочек моих! — вопила вышивальщица. — Девочек моих жалко мне! Оставь меня с девочками!..

Девочки тоже плакали и хватались руками за лохмотья вышивальщицы.

— А чьи это девочки? — спросил Ахмет.

— А я знаю? — сказал Суета. — Тут умерли две бабы в полоне, девочки от них и остались...

— Так они ей не родные?

— Да совсем не родные, — затрещала бабенка Арина. — Одна можайская — вот эта, большенькая; здесь ее Русалочкой зовут — коса-то видишь какая, а Маринка...

— Ты вот что, хозяин, — перебил Арину Суета. — Коли есть у тебя душа христианская...

— И зачем христианская? — залепетал Ицек, зная,

что Ахмет мусульманин. — И на что христианская? И не надо христианской души, душа бывает всякая.

— Так ты, — продолжал Суета, не слушая Ицека, — купи-ка ее, человеке добрый, вместе с детьми. Баба она хорошая.

— С детками, с детками купи, хозяин! — заговорил весь полон.

— Нельзя ее без детей купить, — решил влиятельный ключник.

— Заставь за себя Бога молить, — вопила вышивальщица, — не покидай моих девочек. Вели что хочешь мне делать, только пусть деточки при мне будут!

— Идемте, — сказал Ахмет. — Вставай — и пойдем. Ступай с девочками.

— Но как же? — спросил Ицек. — Так нельзя! И вышивальщица, и девочки, и две бочки — и всего два рубля серебра.

— Ну, иди за мной, — продолжил Ахмет. — За бочками вина я пришлю, а вот тебе, пес поганый, три рубля.

Он достал из калиты и отдал при всех Ицеку три серебряных слитка.

— Прощай, матушка, голубушка, Прасковьюшка, не поминай нас лихом! — загомонили бабы.

Прасковья кланялась им в ноги, девочки тоже впопыхах кидались в ноги всем и затем, сопровождаемые Ицеком, вышли за калитку.

Ахмет был сыном рязанского попа. Отец его был благочестивый, книжный — лет с двенадцати Федор (прежнее имя Ахметки) читал Апостола и пел на клиросе. Жажда к учению была у мальчика страстная, но удовлетворить ее в Рязани было трудно — после татарских погромов книг оставалось очень мало, а книжных людей и того меньше. С помощью генуэзца, часто бывавшего в доме его отца, мальчик выучил даже латинскую и греческую азбуку. Однажды отправились они с отцом за город к соседнему священнику и по пути встретились с татарами. На глазах Федора отца убили, а сам он, пойманный на аркан, попал в Орду, где его немедленно продали.

Побывал он в киргизской степи, на китайской границе и наконец попал в Пекин, где тогда царили монголы. Монголы в это время с жадностью учились у индийских и тибетских буддистов новой вере. Федор попал в повара к одному из вельмож богдыхана и со страстью отдался изучению языка и книжной мудрости, но одно только

вынес он из семилетней своей жизни в Пекине — что знание и истина немыслима на Руси, что там все глухо и пусто, что Русь — капля в море, в сравнении хотя бы с тем же Китаем, где ученость никому не в диковину и где на все прочие народности смотрят как на варваров. Вельможа, у которого он служил, был послан при посольстве в Персию. Он взял с собою Федора, как человека, знающего разные науки, и человека книжного, сделал его почти своим секретарем. Но в Персии на посольство напали разбойники, Федор спасся каким-то чудом, опять был продан и попал в невольники к одному мулле. Мулла был человек грамотный, он обласкал невольника, целые дни толковал с ним, расспрашивая его о Руси и Китае. Федор с жадностью накинулся на арабский язык, и страстные слова Корана впечатлили его. Через полтора года он принял мусульманство и сделался из Федора Ахметом. После нескольких лет жизни в Персии он отправился на Волгу и на первое время пристроился при дворе ханши Баялынь. Баялынь, видя его большие знания, стала для начала поручать ему собирание для нее всяких редкостей. Ахмет знал толк в произведениях Персии, Китая и Руси и как-то раз в разговоре с ханшей заметил, что никто так хорошо не умеет вышивать, как русские женщины. Баялынь на это несколько обиделась. Сама воспитанная в степи, она умела вышивать, как все монголки и все татарки шелками по коже. Ткать они не умели, холста не знали, но получали шелк из Китая. Баялынь велела принести русскую рубаху и ручник и немедленно потребовала, чтобы ей отыскали русскую вышивальщицу.

Глубоко был потрясен Ахмет неожиданной встречей с женой старого приятеля. Разом вспомнилось Ахмету все его детство. Рязань, темная церковь с расписанными стенами и Страшным Судом при входе, — и воспоминания эти, как воспоминания прежнего невежества и отсталости, сдавили его грудь. Он молился много и часто о том, чтобы Бог Магомет просветил бедную, погрязшую в невежестве Русь, чтобы перестал наказывать ее смутами и беспорядками за то, что она до сих пор не пришла к мусульманству. Он любил Русь, но любил по-своему: не по-сыновнему, не по-братски, а свысока.

Он шел по грязной улице Орды, шагах в трех за ним плелась ободранная Прасковья, и за лохмотья ее держались две девочки: тоненькая и худенькая Маринка и высо-

кая Русалка, то и делоправлявшая свою тяжелую русую косу. Так вышли они на торг, где стояли целые ряды шалашей и балаганов, занятых купцами. Были ряды генуэзские, ряды бухарские, московские, новгородские, торжковские. Каждый ряд составлял отдельную корпорацию, выпускал свою серебряную монету и свои собственные кожаные значки, которые подымались и падали в цене, как ныне векселя торговых домов и акции компаний. Каждый ряд определял цену своим товарам, и никто из членов его не имел права ее сбить.

Ахмет оглянулся, подумал немного и направился к новгородцам.

Старостой новгородских рядов был молодой богатый купец, или, как тогда говорили, гость, Федор Колесница.

Ахмет махнул рукой Прасковье, и та зашагала со своими детенышами прямо в его лавку.

— Вот рубль, — сказал Ахмет, вынимая свою калиту и подавая слиток Колеснице. — У тебя готового женского платья нет?

— Мужского, — отвечал Колесница, — сколько душе угодно, а женского мы не возим.

— Дня в два, — спросил Ахмет Прасковью, — успеешь ты обшить себя и детенышей?

— Успею, родной, успею, — кланялась и плакала Прасковья.

— Тогда забирай у купца, что надо.

Колесница вынул из ларя холст немецкий, иголки, нитки, кусок сукна развернул, и Прасковья мигом встрепенулась. Она стала торговаться — и на рубль набрала всего, что ей было нужно.

Высокий, плечистый, кудрявый Колесница искоса смотрел на нее и на Ахметку.

— Ты что же, — сказал он, усмехаясь, — рабыню себе русскую купил?

— Не себе, а ханше, — отвечал Ахмет. — Я ей похвалился, что нет на свете вышивальщиц лучше русских.

— Ты вот что тогда, тетка, — сказал Колесница, обращаясь к Прасковье и пристально в нее всматриваясь. — Если тебе что понадобится для вышивания, приходи к нам, к новгородцам, а на память возьми от меня вот еще кусок холста да и лихом не поминай нас.

— Спасибо, родной, спасибо. Буду за вас вечно Бога молить и девочкам закажу.

— Что, господин,— спросил Колесница Ахмета,— ты и их небось в бусурманскую веру приведешь?

— Чего их приводить в какую-нибудь веру? — спросил Ахмет.— Разве от женщин веру спрашивают? Пусть как хотят — вольны и кумирам русским поклоняться.

— Так вот что, тетка,— продолжал Колесница,— ты нас, новгородских купцов, не забывай...

— Не забуду, батюшка, не забуду,— кланялась в пояс Прасковья.

— Жить-то она где будет? — спросил Колесница.

— Первое время, покуда не оденется, у себя подержу ее; а там дальше что царица скажет.

И он вышел с Прасковьей и детьми из рядов, привел их домой и тут же велел своим женам накормить их досыта. Первый раз после многих и многих лет поели бедные полонянки по-человечески, а затем Прасковья засела за кройку и шитье. Через два дня была она уже в сарафане, хотя не вышитом. Девочки были и сыты, и умыты, и одеты. Она начала расшивать ручник красными и синими нитками, чтобы показать образчик своего искусства ханше.

А Федор Колесница думал думу.

Как только Ахмет, Прасковья и детеныши вышли из его лавки, он послал к соседним новгородцам-купцам и рассказал им, какие были у него покупатели.

— Прасковья, братцы,— говорил он им,— показалась мне бабою доброй, только крепко запугана. Будет она у ханши в вышивальщицах, будут заказы через нее. Сложимтесь-ка мы да и поклонимся ей нитками, холстами, штукой сукна немецкого, ножницами, иголками.

Новгородцы подумали и решили, что от поклона их торговле убытка не будет, а Прасковья, глядишь, и замолвит как-нибудь ненароком доброе слово о них ханше и выхлопочет через нее новгородцам грамоту на беспошлинный торг в Персии и Хиве, чего они давно добивались. «Только уж если кланяться ей, так кланяться не одним, а пойти вместе с москвичами. Нам всем у ханши рука нужна».

Москвичи почесали затылки, согласились.

И вот прежде чем несчастная Прасковья с детьми успела представиться ханше, ей натащили столько кусков всяких тканей, сколько она отроду не видала. И засела она усердно за работу: шила-вышивала, вышивала-шила,— и не прошло полгода, как эта несчастная, убитая

судьбою и горем Ицекова полонянка была не только разодела и разубрана, не только подружилась с ханшей Узбековой, но и сделалась ее наперсницей.

II. ОРДЫНСКИЙ СУД

Вежа, в которой собрался ордынский совет, помещалась в одной ограде со всеми прочими вежами, составлявшими и дворец, и двор хана Узбека, или, как его называли русские, Азбяка. Ограда и вежа были сделаны из золотой и серебряной парчи генуэзской, византийской и китайской; столбы были перевиты золотой проволокой или обложены золотыми и серебряными листьями; веревки были шелковые — словом, все блистало роскошью, но в то же время все было крайне неряшливо. Парчи везде были залиты салом, молоком и захватаны грязными пальцами; оборванная прислуга тут же, в этой же ограде, резала баранов, потрошила их на голой земле; собаки шлепались. Лишь Кавказ блистал вечными снегами и переливами всех возможных цветов, начиная с фиолетового и кончая темно-зеленым.

Узбек-хан был на охоте за Тереком, на реке Сивинце, под городом Дедяковым, недалеко от Дербента; за ханом двинулся его двор, где одних жен было с ним до 560, и у каждой жены своя вежа и при каждой из них своя прислуга. За ханом двигалось с полмиллиона всякого народа, князей, воевод, вельмож, книжников, послов, гонцов, писцов, сокольников и всякого рода людей служилых и неслужилых. К ним присоединялись греки, жиды, армяне, генуэзские торговцы, русские гости каждый со своим шатром, каждый со своей вежей, своим товаром, — и все это занимало пространство верст пять в длину и ширину.

Было прохладное сентябрьское утро. На небе кое-где скользили легкие облака, воздух был чист, горы сияли. В веже, где помещался совет, на куче подушек сидел владыка всех народов — от Черного моря до Белого, от Самарканда до Карпат — Узбек-хан.

В 1319 году Узбек был еще очень молодым человеком, лет 28-ми, в цвете сил, искренно желавший сделать что-нибудь путное для подвластных ему земель. Выбранный ордынцами в ханы после смерти дяди Тохты-Менгу-Темира, Узбек искал вокруг себя толковых и даровитых

людей, которые, как министр Темучина, Чингисхана, могли бы ввести какой-нибудь порядок в управление и усилить его власть, не ослабляя трепет пред его именем и не притесняя подвластные ему народы.

Вдоль золотого шатра сидели советники, любимец хана Кавгадый, немолодой татарин, с очень узкими глазами, оттопыренными ушами и широким приплюснутым носом. Это был человек живой, бойкий и очень тщеславный и отроду никого не прощавший.

Кавгадый был хитер и думал только о себе. Товарищ его, Ахмыл, человек более молодой, назывался в Орде делибашем, то есть сорвиголовой. Как в битвах, так и в советах он с жаром бросался на все, но за что ни брался, всякое дело у него из рук валилось, что он объяснял враждой, и опять брался за новое предприятие. У самого входа в вежу сидел худой, бледный, угрюмый Чол-хан, прозванный русскими Шарканом или Щелканом: он был непримиримым мусульманином и считал, что всех гяуров следовало бы перебить, если они не признают, что «нет Бога кроме Бога, а Магомет пророк Его». Из прочих влиятельных людей в совете был еще мурза Чет, человек с добродушным лицом и не совсем татарской кровью; впрочем, в Орде, особенно в высших сословиях, татарская кровь начинала тогда переводиться, так как большинство жен и наложниц ордынцев были персиянки, черкешенки, русские, гречанки, армянки.

Все сидели чинно, поджавши ноги, сложа руки на животе и уставив глаза в землю. Подле ханского дивана сидел на кошке рязанец Ахмет. Прасковья так расхвалила его ханше, так поддержала земляка, что Узбек произвел его в свои секретари и прозвал Чобуганом — монгольское слово, означающее: *шустрый, проворный, разбитной*.

— Теперь, — сказал Чобуган, держа пред собой непомерной длины свиток, исписанный по-татарски, — предстоит решить вопрос, по каким законам судить бывшего великого князя Михаила, сына Ярослава. С принятием нами закона, ниспосланного через святого и славного пророка Магомета, у нас теперь два закона: первый — шариат и второй — *адет*, оставленный нам великим Темучином — Чингисханом; но так как до сих пор шариат у нас не введен, то нам нужно следовать Темучинову закону.

— Якши (хорошо, ладно)!.. — сказали члены совета в один голос.

— По закону Темучинову мы уже наложили на Михаила колодку и отобрали у князя все его имущество в ханскую казну.

— Якши! — сказал совет.

— В этой колодке он ожидает приговора ана, перед которым мы все преклоняемся.

Совет склонил голову перед неподвижным Узбеком.

— Закон гласит, что есть десять преступлений, подлежащих смертной казни.

— Я подчиняюсь закону великого Чингисхана, и какой приговор вынесет совет, такой будет мною исполнен, — сказал Узбек торжественно.

— Итак, — продолжил Чобуган, — я приступаю к чтению. Первое преступление, за которое полагается смертная казнь, есть *злоумышление против общественного порядка*. Я спрашиваю, можно ли обвинить в этом князя Михаила, сына Ярослава?

Кавгадый встрепнулся.

— Ханского посла взял в плен! — Он указал пальцем на себя. — Разве это не нарушение общественного спокойствия? Взял в плен Кончаку, сестру ханскую! Разве это не нарушение общественного спокойствия?.. Подрывать уважение к царствующему дому!!!

— Он был горд и непокорен хану нашему, — сказал мурза Чет. — Перечил Юрию Даниловичу, тестю ханскому, великому князю русскому.

— Не знаю я ничего в этом законе, — проговорил Шелкан, глядя в сторону, — а знаю, что гяур осмелился идти на татар.

Он плюнул в сторону и потупился.

— Итак, — сказал Чобуган, — он уже по одной этой статье должен понести смертную казнь.

— Должен, — сказали татары единогласно.

— По второй статье закона Чингисхана смертной казни подвергаются за *злоумышление против царствующего дома*.

— Виноват, виноват! — заговорили все поспешно.

— Итак, — продолжал Чобуган, не меняясь в лице, — по этим двум статьям он должен быть казнен. Третья статья гласит, что смертной казни подвергаются за *государственную измену*.

— Но это не доказано, — сказал один из присутству-

ющих, получавший крупные подарки из Твери, но наравне с другими благоприятелями Твери не смевший замолвить слова за Михаила; влиятельнейшие члены совета были на стороне Москвы.

— По-моему, государственная измена, — сказал Кавгадый, — это взять в плен ханского посла.

При этом он опять ткнул себя в грудь пальцем.

— Это скорее нарушение общественного спокойствия, — сказали с досадой другие сторонники Михаила, желавшие хоть чем-то облегчить участь князя.

— Да все равно, — сказал кто-то, — неповиновение ханской власти — та же самая измена.

Даже сторонники Михаила должны были поддакнуть.

— Четвертая статья, — читал Чобуган, — *отцеубийство*.

— Ну, в этом он не виноват, — сказал Кавгадый.

— Хорошо, — сказал Чобуган. — Теперь по пятой статье: *бесчеловечие*, а под бесчеловечием разумеется: *умерщвление семейства из трех или более человек...*

Все молчали.

— *Умерщвление родившегося младенца, составление ядов и чародейства...*

— А!!! В этом-то он виноват! — заметил радостно Кавгадый.

— Это самое и есть! — сказал мурза Чет. — Отравил сестру ханскую!

— Виновен, — решил совет.

— Шестая статья: *неуважение к верховной власти*, — прочел Чобуган.

— Виновен.

— Седьмая: *неуважение к родителям*.

— В этом он не виновен, — сказал Кавгадый.

— Восьмая: *семейное несогласие*.

— Не виновен, — сказал мурза Чет. — Тверские заведомо живут хорошо, даже лучших московских, потому что московские между собою ссорятся из-за того, как бы лучше угодить хану. Вон дядя их Дмитрий Андреевич и отец Данила как собаки между собою жили, чтобы только угодное хану сделать.

— Нет, не виноват, — решил совет.

— Так выходит, — продолжал Чобуган, — что виноват он по четырем законам.

Чобуган и все члены совета поклонились Узбеку; на Узбеке лица не было.

— Хорошо,— сказал он,— я отказываюсь от права помилования, только скажите мне по совести... неужели этот Михаил в самом деле был отравителем и изменником!

— Свет очей моих,— сказал Кавгадый,— ты нам не веришь?

Узбек встал и вышел.

— Совет кончить в другой раз! — сказал он.

Тверские сторонники вышли из шатра и столпились в одну кучу. Чобуган свернул свитки, бережно уложил их в торбу понес в свой шатер. Не успел он повесить их на гвоздь, как его вновь позвали в шатер Узбека.

Узбек сидел и пил чай. Несколько слуг толпилось у входа. Он молча дал знак одному из них подать чашку Ахмету, молча указал место подле себя и движением руки выслал остальных.

— Ты что скажешь, Чобуган? Ты лучше всех знаешь русские дела... Как по-твоему — кто из них прав, кто виноват?

— Ты меня, хан, не спрашивай: я терпеть не могу мешаться в эти дела. У тебя есть совет; мое дело бумаги вести, знать закон, ярлыки тебе писать и переводить на разные языки, а вмешиваться в дела — терпеть не могу; как раз меня из-за этого свернут,— а как свернут, тебе же хуже будет.

— Чобуган, душа моя,— говорил Узбек, трепля его по плечу,— мало ты меня знаешь, если думаешь, что под меня можно подкопаться.

— Ты, хан, сам виноват,— смело сказал Чобуган,— что в это дело впутался. Я давно видел, как ты неосторожен. Московские князья — умные люди, не чета тверским! Тверские лучше и честнее их, а оттого никуда не годятся, чтобы править Русью: там нужны истые плуты. Вот тебе такой — брат Юрия, Иван Данилович. Не лежит у меня к нему сердце, не лежит сердце и к Юрию.

— Я тебе не про Юрия толкую; я не о том говорю, что он плут...

— Ты с этим плутом породнился, ты его сделал великим князем. Честь Михаила была затронута, он взял в плен Кавгадыя и Кончаку и побился с татарами... Вот о чем подумаем теперь: Петр-митрополит в Москве живет, сторону московских держит — с ним сговориться нельзя, а нам выгоднее держать их на нашей стороне.

— Так что, же по-твоему, сделать с Михаилом?

— Что ты с ними сделаешь? Вся Орда кричит, что Тверь татар побил и посла твоего в плен взяла. Сам видел сегодня в совете, что о нем говорят и думают. Позволь Кавгадыю потешиться немного над князем Михаилом. По закону следует на площадь выводить его, чтобы он на коленях там стоял. Ну вот, пусть это и будет при всех. А там... народ татарский добрый, может, и сжалится...

III. ТОРЖЕСТВО КАВГАДЫЯ

В простом холщовом шатре царил полумрак. Пол был покрыт войлочными кошами, в углу лежали три перины, стоял сундук и несколько скамеек. На одной из скамеек, обложившись подушками, сидел великий князь Михаил Ярославич.

Некогда красивый, высокий, дородный, Михаил теперь обрюзг. Уже скоро месяц, как на плечах у него лежала страшная колодка, которая не давала ему ни сесть, ни лечь, ни прислониться. За ним, как за маленьким ребенком, ухаживали тринадцатилетний сын его Константин, несколько слуг да несколько верных бояр. Ему нездоровилось; лихорадка била его. Он был сильно изнурен, пройдя пешком за Ордой на веревке и в колодке от устьев Дона к Дербенту. Около шатра толпились отроки княжеские и бояре тверские — словом сказать, вся свита, с которой князь прибыл в Орду, и все с нетерпением ждали вестей о том, что решили вчера в совете.

— Что, нет ли чего нового? — спросил, входя, один из близких бояр.

— Нет, боярин, ничего, — проговорил князь, горбясь и утопая в подушках и перинах.

— Это наказание Божеское! — сказал другой.

— Такое наказание, — сказал Константин, встряхнув русыми кудрями, — что не приведи Господи! Ну уж, Бог даст, вырасту — покажу я москвичам!

— Ничего, правда на нашей стороне, — сказал отец. — Великое княжение мне по праву принадлежало. Юрий Данилович без права стал под меня в Орде искать.

— А все эти новгородцы, — сказал боярин. — Вишь, не захотели, чтобы мы, тверские бояре, в их дела входили.

— С московскими в стачку вошли! Рубли серебряные

московским для татар дают!.. Покарает их Бог,— сказал другой боярин.— От них вся смута идет по Руси.

— Пускай,— говорил Михаил,— пускай Сам Спас и сама София Святая судят новгородцев! Ведь не дать же было Юрию пустошить тверскую область ни за что ни про что. Не хотелось мне идти на татар, да нельзя было. Да и то сказать, велел ведь я бережно обходиться с татарами. Кабы слово сказал нашим молодцам — давным бы давно Кавгадыя на свете не было. Спасибо должен еще сказать, что честно в полон его взяли, обласкали, угостили; вот только Кончака эта ни с того ни с сего расхворалась у нас... а уж, кажись, мы ли не ухаживали за нею!

Тут за шатром послышалось движение.

— Идут! — заговорила стража.— Идут!

Все побледнели и перекрестились.

— Дай-то Бог,— сказал один из бояр,— авось милость!

В шатер твердым шагом вошел татарин-десятник и, не говоря ни слова, взял веревку, которая была привязана к колодке.

— Гайда! — сказал он, указывая князю на выход.

— Куда? — спросили князь и бояре, все знавшие по-татарски.

— Кавгадый зовет, туда на базар. Что-то говорить хочет.

Татарин повел князя. За князем шли Константин и бояре.

До торга было не далеко. Это была большая, широкая площадь, на которой вываживали коней, а по краям ее стояли ставки и шалаши, занятые купечеством.

Кавгадый сидел посреди площади на кошме, окруженный слугами и приятелями. Лицо его судорожно подергивалось.

Михаила подвели к Кавгадыю и поставили на колени.

За Кавгадыем стояли купцы всех народов и вер. Тут были и русские, смотревшие на князя вопросительно-грустно: они чувствовали свое унижение. Среди них стояла и Прасковья с двумя своими девочками — и все трое плакали. Были они в дружбе и с новгородцами, и с москвичами, и с Ахметом-Чобуганом, слышали они всякие слухи, верили даже, что Михаил виноват, — да жалко им его было. Находились здесь и генуэзцы, которым решительно все равно было, прав или не прав Михаил; им

было просто занятно видеть, как унижали владетельную особу. Греки, напротив, бледнели от негодования, сочувствуя православному. Поругание православного князя, хотя бы и не цареградского, было для них едва ли не личным оскорблением. Здесь же вертелся и Ицек, расспрашивая, не пошлет ли хан рать на Тверь и не будет ли нового полона. Для Русалки и для Марины он уже успел купить — и весьма дешево — по отличной кисти винограда, а к Прасковье напросился в гости.

— Ты тут, Михаил, — начал Кавгадый, принимая важный вид, — долгов много понаделал!

— На ханскую милость надеюсь, — ответил Михаил, — а купцы мне верят.

— Ты не был верным подданным, ты царского посла, — он ткнул себя пальцем в грудь и огляделся, — в плен осмелился взять, войной пошел на нас, на татар.

Ни один татарин не шевельнулся — они в Михаиле уважали *батурса* (богатыря) и им противна была наглость Кавгадыя.

— Взял я тебя в плен, Кавгадый, только, Бог свидетель, не моя в том вина. Зачем ты пошел разорять мое княжество с моим врагом Юрием Даниловичем?

— Царский посол, — отвечал Кавгадый торжественно, — только перед царем ответчик. Биться со мною ты не смел бы, если бы не был царским врагом, если бы крестового похода на нас не затевал с папой.

Генуэзцы переглянулись в ужасе. Страх крестовых походов, натянутые отношения к католикам в Орде им были хорошо известны. В Орде был католический епископ, Орда не препятствовала никому переходить в католичество, — но все это до тех пор, пока папа не скажет лишнего слова, не станет делать приготовлений к крестовому походу против мусульман.

— Это Юрий с москвичами наплел, — сказал Михаил, — никаких у меня тайных помыслов не было, да и невыгодно мне было менять власть царя на власть рыцарей немецких. Узбек не то что не теснит нашей веры, а дал еще милостивый ярлык митрополиту нашему Петру-владыке. Мы должны Бога молить за Узбека!

В толпе татар пронесся ропот одобрения... Кавгадый растерялся.

— Сколько ты должен в Орде?

— Пятьсот тридцать рублей серебра, — ответил Михаил.

— Ну, а если тебя... казнят? — спросил Кавгадый. — Чем ты купцов бедных удовлетворишь?

Михаил взглянул на купцов.

— Купцы верили моему слову, — сказал он. — Велит меня царь Узбек казнить, пусть хотя за мою душу помолются, а долг мой с лихвой дети мои заплатят.

Купцам стало неловко.

— Полно, князь, — заголосили они по-русски и по-татарски, — Бог с тобою! Ничего не надо!

Кавгадый не знал, что делать.

— Вы бы с него, — сказал он сторожам, — колодку сняли, зачем держать его в колодке!

Сторожа стали снимать колодку.

— Видишь, Михаил, — продолжал Кавгадый, пощипывая бороду, — я хочу, чтоб ты повеселился немного перед смертью, попомнил свое прежнее житье. Умыть его! — крикнул он. — Принести его княжеское платье! Стул и стол подать! Принести вина, жареной баранины, хлеба, винограду, что там еще найдется! Да живо!

Через десять минут Кавгадыевы слуги натаскали всего, даже с избытком.

Михаила умыли, надели на него парчовую тунуку, накинули на плечи алую княжескую мантию, опушенную горностаем, на голову княжеский венец возложили, посадили на стул и придвинули к нему стол со всякими яствами.

Долго Кавгадый и его свита издевались над облаченным в княжеский убор Михаилом, просили его покушать, жалели притворно сетовали, что ему последний раз приходится являться во всем величии... Наконец опять его разоблачили, опять надели колодку, Кавгадый встал.

— Уведите его, — приказал он и с досадой выругался.

Михаил, собрав последние силы, пошел твердым шагом к своему шатру. Из глаз его лились слезы. Богатырская натура не выдержала.

IV. СМЕРТЬ МИХАИЛА

Утро 22 ноября 1319 года было ясное и немного морозное.

Измученный неизвестностью, Михаил спал в своем шатре. Сторожа-татары сидели около него и за шатром.

Саженьях в двух от шатра на маленьких скамеечках сидели бояре Петр Михайлович Кусок и Меньшук Акинфеевич.

— Батюшки мои,— говорил Меньшук,— страшно даже подумать, сколько времени мы в этой Орде поганой томимся!..

— Кабы знать, что этот Кавгадый такая собака, давным-давно своими руками пустил бы я его в Волгу.

— Эх,— махнул рукой Кусок.— Кавгадый ни при чем в этом деле — это вот они все, аспиды московские! Бояре Юрия Даниловича из шатра в шатер шныряют... Дали себе слово сжить господина Михаила Ярославича со света.

— Ух, Юрий Данилович,— сказал боярин Орехов, подходя к ним,— тяжело тебе икнется на том свете за честь за нашу тверскую! По всей Святорусской земле пойдет слава о бесславии твоём.

— Что нам добра в том,— сказал Меньшук,— пойдет она или нет?! Беда в том, что мы, тверские бояре, опозорены! Князю позор — боярам позор!

— Князь проснулся,— сказал отрок, подходя к боярам,— помолился Богу и Псалтырь читает.

В числе свиты княжеской бывали обыкновенно священники с походными церквами, так что русские в Орде всегда могли присутствовать при богослужении. У Михаила Ярославича служба совершалась в шатре. С ним приехал в Орду его духовник, Марк-игумен, да два попаинока, да два мирских попа с дьяконом.

Бояре, заплативши сторожам, забрались в княжеский шатер. Игумен Марк стоял за наскоро сделанным аналоем, покрытым простым ручником. Ослабевший князь при помощи бояр поднялся и, придерживаясь рукой за столб, стоял и слушал чтение и пение.

— «Слава в вышних Богу и на земле мир!» — провозглашал Марк. Князь перекрестился. Медленно, внятно раздавался голос Марка, невесело подтягивали белые и черные попы с дьяконом; грустно молилась небольшая кучка тверичей. Все что-то *тяжелое, мертвящее* носилось в воздухе.

Духовенство отслужило заутреню, часы.

Вдруг Михаил велел читать правило причащения.

— Господине, великий княже,— заговорили бояре,— да что ты? Бог милостив!

— Бог, знаю, милостив,— отвечал князь.— Три раза

ночью было мне откровение, что мне сегодня конец. Помяните меня, отцы и братия, во святых молитвах ваших. Читай правило, отче.

Игумен Марк махнул рукой окружающим и стал читать правило.

Исповедь продолжалась недолго...

Затем великий князь спросил Константина.

А Константин только что воротился от Прасковьи. Вышивальщица принимала горячо к сердцу интересы всех русских в Орде. О Юрии Даниловиче и новгородцах сокрушалась она, что их тверичи обидели, — сокрушалась она точно так же за тверичей, что их участь в Орде на нитке висит. Баялынь была такая же сердобольная душа; в ханши она попала потому, что была из знатных степных родов, двоюродная сестра самого китайского богдыхана Аюр-Бала-Батра, Буинту-хана. Баялынь была родной матерью всем нуждающимся у Узбека. Юрию она свадьбу с Кончакой устроила; за Михаила (по ее же мнению, убийцу Кончаки) тоже горой стояла.

Вчера, проводивши отца с торга, Константин побежал прямо к Прасковье в сопровождении бояр и отроков. Прасковья, свидетельница всей этой гнусной сцены, повела его, в сопровождении девочек своих, прямо к ханше.

Вздрыгнула от негодования на Кавгадыя ханша, обласкала Константина и, чтоб утешить мальчика, велела ему посидеть у нее, поиграть с Русалкой. Двенадцатилетний Константин, играя, забыл отца, нужду, горе.

— Хорошие дети, старуха! — сказала ханша Прасковье, глядя на Константина и Русалку.

— Как же не хорошие, — вздыхала Прасковья, — будь Русалка из большого рода, государыня, была бы князю Константину невестой годика через два.

— Старуха, — строго перебила ее Баялынь, — разве тот, кто при мне живет, — не из лучшего рода на свете?

Дети хорошо понимали по-татарски. Услышав, что сказала ханша, они обменялись взглядами и смутились.

— Хочешь, Константин, — засмеялась ханша, — жениться на моей Русалке?

— Хочу, коли велишь, — отвечал Константин.

— Братья-то у тебя не женаты еще? — спросила она.

— Нет.

— Будешь умный малый, царю Узбеку послушный — отдам тебе Русалку. Не станешь его слушаться, крамолу станешь, как твой бедный отец, затевать — за другого

твоего брата отдам Русалку — царевной ордынской сделаю. Будешь ты ее муж — будешь после отца своего великим князем всея руси.

— Кланяйся в ножки царице, Русалочка, кланяйся! — заплакала Прасковья. — Ишь, государыня какого добра тебе желает!

Русалка и Константин стали отвечать земные поклоны ханше.

— Ну, а теперь к отцу иди, — сказала ханша Константину, — и скажи ему, чтоб ничего не боялся. Пусть перетерпит — я хана умилю.

Константин ушел. Дома, в отцовском шатре, он ничего пока не сказал.

Следующим утром Константин вновь прибежал к Прасковье, где узнал, что Узбек вечером был сильно пьян, а утром с похмелья зол и ханше сказал, чтобы она не вмешивалась в его дела.

Константин все выслушал молча, повернулся и ушел.

Был уже полдень, когда полог шатра Михаила вдруг распахнулся и один из отроков — бледный как смерть — вбежал и с усилием выговорил:

— Господин! Идут от хана Кавгадый и князь Юрий Данилович и множество народа — прямо к тебе.

— Знаю зачем, — сказал Михаил, вставая. — Убить меня идут! Бояре, возьмите Константина и бегите с ним к Баялыне, а я и в колодке за себя постою.

Шатер мигом опустел, только Меньшук да двое отроков остались в нем. Одни бросились с Константином к ханше, другие к своим шатрам, третьи вместе с игуменом встали у двери. Сквозь поднятый полог шатра видна была толпа народу, большей частью москвичи, кое-где между ними мелькали и татары. В середине виднелись на конях князь Юрий Данилович и Кавгадый; они оба были бледны и оба молчали. Окружавшая их толпа кричала, ругалась и рвалась к шатру. Мигом она растолкала безоружных тверичей, и несколько человек ворвались в шатер.

Один из них схватил Михаила за колодку, но в эту минуту к князю вернулась его прежняя сила, он толкнул отрока ногой, и тот споткнулся. Другие тут же навалились со всех сторон, Михаил упал, пробил колодкой стену шатра.

Михаила били, топтали — он отбивался ногами и руками. В это время Юрьев отрок Иванец поймал его за

уши и стал бить его голову оземь. А другой Юрьев отрок, Романец, ударил князя в грудь широким ножом и повернул его. Михаил дико вскрикнул. Романец быстро ухватил рукой трепещущее сердце и вырвал его. Тело князя дрогнуло раз-другой — глаза остановились и потухли. Из широкой раны ручьями лилась кровь...

Юрий и Кавгадый молча повернули коней и поехали прочь.

— Ну, друг, — сказал Юрий Кавгадыю, — по гроб жизни моей не забуду я твоей услуги. Ты мне теперь дороже отца родного; проси чего хочешь.

Кавгадый посмотрел на него искоса и повернул голову к тому месту, куда выброшено было окровавленное тело тверского князя.

— Вот он, разбойник! — продолжал Юрий. — Вот он, окаянный!

— Не братайся ты со мной! — сказал Кавгадый. — Гнусное дело я сделал, ты меня в него втравил.

— Что ты? — воскликнул Юрий.

— Прибери хоть труп, — холодно сказал Кавгадый. — Так и будет валяться? Возьми его, вези в *свою* землю, там и погребви по вашему обычаю.

Юрий закусил губу и подозвал одного из отроков, стоявшего неподалеку...

Кавгадый и Юрий подъехали к ханской ставке.

Хан сидел угрюмый; вместе с ним был и Ахмет-Чобуган.

Юрий и Кавгадый поклонились и по тогдашнему ордынскому обычаю встали на колени при входе.

— Что? — спросил угрюмо Узбек.

— Врага твоего и злоумышленника более нет, — сказал Кавгадый.

— Мои отроки избавили тебя от врага твоего, солнце души моей, великий хан! — добавил Юрий.

— Ладно, ступай, — сказал Узбек. — Чобуган, завтра я приложу печать к ярлыку великому князю московскому на великое княжение всея Руси.

Юрий начал благодарить.

— Я тебе сказал: ступай, — прервал его с отвращением Узбек.

— Ну, Чобуган, — сказал он, когда они остались одни, — что ты скажешь? Ты всегда правду говоришь...

— О чем тут говорить? Дело сделано.

Чобуган криво усмехнулся, молча раскрыл свою тор-

бу, вытащил какую-то бумагу и стал читать; дела пошли обычным порядком.

А Юрий Данилович сидел в лавке новгородского купца и дипломата Федора Колесницы с Ицеком.

Долго и крепко торговался он и Колесница с Ицеком — и наконец откупил он у Ицека весь русский полон, человек сотни с три: и вялого Суету, и непутевую бабу Аринку.

Юрий Данилович был прежде всего умный человек.

V. В МОСКВЕ

Повидав Узбека, выкупив русский полон, Юрий Данилович в тот же день распорядился взять под стражу всех бывших в Орде тверичей и отвезти тело князя Михаила за реку Адж. Двое отроков сторожили тело по приказу Юрия.

В тот же день была исполнена воля всемогущего великого князя всея Руси. Посланы были отроки, которые повезли тело на Русь, привезли в Москву, и положил его богобоязненный брат Юрия, великий князь московский Иван Данилович — прозванный за свое скопидомство Жалитой (кошелем) — в монастыре, в церкви Преображения Господня.

В Твери покуда ничего не знали.

Иван Данилович перехватывал на дороге всякие вести.

Солнце ярко сияло на небе, освещая пустынный двор московского великого князя Ивана Даниловича: а двор этот стоял на том самом месте, где теперь построен Кремлевский дворец. Вдруг послышался звон бубенчиков, и во двор въехала повозка. Тут же невесть откуда высыпали княжеские отроки, схватили лошадей под уздцы и принялись кланяться. Дверь княжеского терема отворилась, и поспешно, без шапки, в башмаках на босу ногу, выбежал великий князь. Проворно сбежал он с лестницы, поклонился в ноги, подошел под благословение и стал высаживать приехавшего из саней. Это был митрополит владимирский и всея Руси святитель Петр, приехавший к князю из Владимира.

— Томило, — сказал князь дворецкому, — беги к княгине, вели баню топить, коней поставить...

Томило только головой встряхнул, отдал распоряже-

ния отрокам, и все засуетилось. Сани отъехали в сторону, лошадей выпрягли и увели на конюшню.

Святитель взошел на крыльцо, перекрестился, поклонился хозяину и выскочившей впопыхах княгине с детьми и прошел в дом. Туда же потащил узлы его из саней послушник и писец молодой дьякон Парфений, который в первые минуты приезда никем даже замечен не был. Отроки бегали, дьякон развязывал узлы. Тем временем во двор въезжали сани со свитою архипастыря, где были архимандрит Томского монастыря, владимирский соборный протоиерей, отроки святителя и именитые бояре московские: старый Родион Нестерович, Андрей Кобыла, Александр Михайлович, молодой Кочева, протопоп Архангельского собора, — словом, вся знать города.

Переодевшись, святитель облекся в ризы и в присутствии князя, княгини и бояр отслужил торжественный и благодарственный молебен. В тереме была уже приготовлена закуска. Владыка, благословив питье и яства, сел в красный угол. На широком благодушном лице Ивана Даниловича была какая-то невысказанная тревога. Да и бояре выглядели не слишком веселыми, словно черная кошка пробежала между святителем и московским великим князем с его боярами. Но за трапезой считалось неприличным говорить о деле.

Пировали долго. Затем пошли на всенощную.

Вернувшись со всенощной, святитель тут же прилег отдохнуть, владимирские и московские гости великого князя собрались опять в столовой, а великий князь взял под руки владимирского протопопу и увел в спальню.

— Ну что? — усаживая гостя в кресла, спросил он.

— Да что, — ответил протопоп, — как узнал он про Михаила, так заперся в свою молельню и всю ночь клал земные поклоны — и плакал, как дитя малое.

— Ничего не говорил потом? — спросил князь тревожно.

— Говорил: «Поеду в Москву, спрошу князя Ивана Даниловича — он не солжет. Их это с братом дело или татарское? Коли их — суди их Господь, тогда пропала мать Святая Русь. Веровал я в Данилу, верую и в Ивана». Крепко он любил тверского-то, — продолжал протопоп. — Когда в митрополиты его выбрали, Михаил же его руку держал. Потом, кто бы выхлопотал в Орде такой ярлык для церкви, если бы покойный Михаил Ярославич не поддержал? Ведь только этим ярлыком

церковь и держится. А церковью вся земля Русская держится. В наши мирские дела татары могут мешаться сколько угодно, а в наши церковные — им царем Азбьяком заказано, потому что он, спасибо Михаилу Ярославичу, сам от нас отступился. Церковь на Руси первая на волю вышла...

Протопоп зевнул, и князь понял, что пора дать гостю отдохнуть.

Вскоре все гости разошлись по своим комнатам, в столовой остались лишь князь с княгиней Оленой Кирилловной да близкий друг князя Андрей Кобыла.

— Ну!.. — сказал Иван Данилович, садясь в угол и усаживая подле себя с одной стороны боярина, а с другой — княгиню.

— Как нам со святителем быть?

— А никак, — сказал Кобыла, расправляя бороду. — Все говорят, что мы с тобою неповинны... Ты лучше вот о чем поразмысли. Попробуй-ка поговорить со святителем, чтобы он митрополичий престол сюда, к нам, из Владимира перенес. Тогда великое княжество твое будет первое на Руси.

— Хорошо бы, — неуверенно сказал князь, — да только приступить как — не знаю.

— А ты скажи, что, дескать, плохо мне, сироте, без тебя, владыка святой. Ему самому без тебя скучно; ему самому этот Владимир ничего не значит, так же как и покойному святителю Максиму. Запустел Киев — Максим не любил его. Теперь из-за Владимира все дерутся, а во Владимире никто не живет и владимирского митрополита никто не слушается. Великий князь всея Руси, Михаил Ярославович, в Твери жил; брат твой Юрий Данилович — в Новгороде. Хотя у митрополита и большая сила, а все ему выгоднее было бы пойти на вечный союз с твоим княжеским родом. Тебя он любит; вот ты на это и бей. Ему самому в Москву хочется, только совестно ему громко заявить об этом.

— Я этого не слыхал, — сказал Иван Данилович.

— Мало ли ты чего не слыхал: до великокняжеских ушей не всякое слово доходит. Ты только не жди, потому что тверские бояре тоже затевают просить святителя к себе...

— Спасибо за совет и за открытую речь, — сказал Иван Данилович, поднимаясь и прощаясь с боярином.

— Да постой-ка, княже, — сказал Андрей. — Вот еще

что. Пошли-ка ты в Орду поминки Щелкану да отпиши ему, что ты на новгородцев так сердит, что и знаться с ними не хочешь.

— Это зачем? — остановил его князь.

— Да сказывают, что Азбьяк-хан очень сердит на Кавгадыя, что тот на смерти Михаила Тверского настаивал. Против Кавгадыя теперь весь совет ханский. Все больше теперь при хане Щелкан да Ахмыл. Они Кавгадыя и утопят. Так ты, князь, от Кавгадыя заблаговременно отступись так, чтобы Ахмыл и Щелкан поняли, что мы, московские, ни при чем в этом деле, что мы здесь слезно плачем о Михаиле Ярославиче.

Иван Данилович в раздумье зашагал из угла в угол.

— Да ведь через Щелкана с Ахмылом и сторона тверская теперь в гору полезет.

— А пускай!.. Мы теперь тверских пересилим.

— Это как? — спросил Иван Данилович.

— Святитель у нас в Москве сидит — это будет одно; и новгородцы в Орде нам помогут. Нет, княже, тверские сами в наш кузов просятся. Покойной ночи, княже! Покойной ночи тебе, княгинюшка!

Боярин вышел в сени, растолкал двух своих отроков — и все трое, сопровождаемые неистовым лаем цепных собак, отправились восвояси.

VI. БОРЬБА

В Твери позже всех узнали, что случилось в Орде, — и первая узнала жена князя Михаила, великая княгиня Анна Дмитриевна. Суета принес ей эту весть.

Суета был выкуплен Юрием Даниловичем у Ицека со всем оставленным русским полоном. Осматривая полон, Юрий Данилович был поражен сонным видом Суеты, ленивыми его движениями и равнодушием ко всему, что вокруг творится.

«Такой недвига может, пожалуй, и пригодиться, — подумал Юрий. — Взять да и послать его в провожатые телу».

— Ты откуда? — спросил он Суету.

— Торжковский, — ответил тот.

— В Москву покойника провожать отправишься?

— Покойника? — поднял ресницы Суета.

— А потом ко мне в отроки пойдешь.

— Это можно, — согласился Суета.

Когда Суета добрался до Москвы, он решил сходить в Тверь и посмотреть, что теперь там делают.

Великая княгиня Анна Дмитриевна делала обход своей девичьей, которая соединялась с ее теремом крытым переходом. Суета сам не мог бы объяснить, как он очутился в этом переходе. Сторожа пропускали его даже без оклика, так спокойно, беззаботно и сонно вскидывал он свои белые ресницы.

Встал Суета в переходе, снял шапку, плюнул на снег и погладил бороду.

Дверь девичьей растворилась, вышла великая княгиня с двумя боярынями.

Суета поднял на нее взор, сообразил, что это княгиня, и молча опустился на колени.

— Бедный, что ли? — спросила, подходя, великая княгиня.

— Я, госпожа, не к тому. Тело ведь я тоже вез, а когда ставили покойника у Преображения, я тоже там был...

С большим трудом удалось Суете рассказать о смерти князя.

Великая княгиня побледнела, стиснула зубы и спросила Суету:

— При тебе зарезали?

— Я же, госпожа, сказал, что в полону у Ицека тогда был.

— А рассказать можешь, как это все было?

— Могу — отчего же мне не мочь. Дорогой Романец мне все это говорил...

— Какой Романец?

— А вот что сердце-то у него вырезал. Он ведь и умер оттого, что у него, у живого, сердце Романец вырезал.

Великая княгиня пошатнулась. Она нахмурила брови, пошевелила губами, наконец повернулась и сказала боярыням:

— Вы, боярыньки, подождите, пока я потолкую с этим человеком. Тебя звать-то как?

— Суета, госпожа.

— Ты, Суета, за мной иди — расскажешь толком. Только, боярыньки, куда никому ни слова, — прибавила она выразительно, подняв брови.

Она последовала в сопровождении Суеты в моленную, села там в кресло, сложила руки на груди и промолвила:

— Рассказывай!

Суета начал. Он говорил то, что самому удалось слышать от Романца, от Ицка, от товарищей по дороге, и потому выходило, что Михаил сознался в отравлении Кончаки, что Константина хотели женить на Русалке и перевести в бусурманство, но Константин не захотел, и его заковали. Затем он сообщил совершенно верное известие, что святитель и Калита, оба недовольные поступком Юрия, еще теснее сблизились.

— Хорошо, — сказала Анна Дмитриевна, когда Суета замолк, — пока спрячься в клеть.

Она отвела его в один из бесчисленных чуланчиков в хоромах и задвинула за ним засов. Затем собственноручно отнесла ему еду и питье — и опять задвинула за ним засов. Суета почесал затылок, перекрестился и принялся за трапезу.

Вечером Суету допрашивал наследник Тверского великого княжества Дмитрий Михайлович Грозные Очи, допрашивал брат его Александр Михайлович, допрашивал владыка Варсонофий и бояре тверские. На другой день решили, что надо послов в Москву послать, чтобы выхлопотать тело покойника, выручить Константина, бояр и всех тверичей, схваченных Юрием.

В Москве Иван Данилович посочувствовал горю тверских князей, клялся и божился, что он ничего не знает, ни в чем не участвовал и даже сведений никаких путных не имеет о том, как и что произошло на Кавказе, и что со дня на день ждет приезд великого князя всея Руси Юрия Даниловича.

Долго дожидались тверичи приезда Юрия Даниловича. Наконец, уже в начале лета, объявился он во Владимире, и истомленные тверичи отправили к нему посольство. Но с боярами тверскими князь Юрий Данилович не хотел мира. Он стал тянуть дело, требуя, чтобы приехал к нему на переговоры во Владимир сам брат нынешнего великого князя тверского, Дмитрия Грозные Очи, Александр Михайлович. После долгих споров девятнадцатилетний Александр Михайлович заключил с Юрием Даниловичем мир во Владимире на тех условиях, что тверичи признают Юрия Даниловича великим князем всея Руси и не будут искать под ним в Орде; что сами в Орду ездить не станут; что будет он, Юрий Данилович, точь-в-точь как дед его Александр Невский, один за всю Русь платит Орде дань. Расходы свои в Орде Юрий также возложил

на тверичей. За это Юрий Данилович отдавал тверичам тело Михаила Тверского, и Константина Михайловича с тверскими боярами отдавал живьем, цепи с них снимав.

Вся Тверь, великий князь Дмитрий Грозные Очи, Александр, Василий, великая княгиня Анна Дмитриевна, их мать, владыка тверской Варсонофий и весь чин священнический встретили тело, плывшее по Волге в барке, на берегу, у церкви Михаила Архангела, и положили его в церкви Святого Спаса, в соборном храме города Твери, в усыпальнице великих князей тверских. Тут и оказалось, что в течение десяти месяцев это тело, разъезжавшее на телегах и на санях, похороненное в Москве, проплывшее Волгой, было нетленно, цело и невредимо. Этого мало. Чудеса стали твориться от тела Михайлова: немые прорицали, слепые прозревали, ослабленные исцелялись.

Знала великая княгиня Анна Дмитриевна, что Юрий теперь стал силен пуще прежнего и не остановится он, пока не загубит окончательно род тверской. Надо было что-то делать... Слухи, что хвораая ханша Баялынь не прочь переженить тверских князей на ордынских царевнах, были очень не по нутру Анне Дмитриевне. Ордынские царевны бывали всякие: и дочери, и сестры вольного царя, и его наложницы, и рабыни. Едва ли где так искренно ненавидели татар, как в Твери да в Новгороде: Тверь и Новгород, и по своему географическому положению, и по духу своему, тянулись к Западу; татары им были ненавистны, и гораздо ближе была даже языческая Литва. Великая княгиня Анна Дмитриевна инстинктивно поняла, что единственное спасение сейчас — в союзе с Литвой, — точно так же, как холодные московские умы понимали, что единственное спасение Руси — в союзе с татарами. Поэтому она послала старшего своего сына, теперешнего великого князя тверского, Дмитрия Михайловича, в Литву — свататься к какой-нибудь из дочерей Гедиминовых.

Дмитрий Грозные Очи поехал в Литву, и Гедимин выдал за него свою дочь, нареченную при крещении Марией Гедиминовной. В том же году Анна Дмитриевна женила не только Александра Михайловича, но и четырнадцатилетнего Константина Михайловича, чтобы избежать всяких союзов с Ордой, которые ей были отвратительны.

Был у нее еще четвертый сын, Василий Михайлович, но ему было пока всего пять лет.

Покуда все это происходило в Москве, в Твери, во Владимире, — в Орде совершалось другое. Ицек Ашкеназ был при деньгах, потому что Юрий Данилович купил у него русский полон; потом Ицек сделал несколько других хороших сделок. Он открыл несколько шинков, через полтора месяца закрыл их, пустился в ростовщичество, потерял на нем половину своего состояния, наверстал потерянное на шелке и уже задумывал выписать из Греции кораблей около пятнадцати вина, как вдруг подвернулся ему один из его знакомых, татарин Таянчар — член ханского совета. Таянчар зашел к Ицеку выпить кружку вина — которое у Ицека никогда не переводилось, — и разговор, само собой разумеется, свернул на политику. В разговоре Таянчар узнал от Ицека, что якобы княгиня Анна Дмитриевна удавилась, что великий князь тверской и братья его бежали в чужие земли и что никому в Орде тверских долгов заплачено не будет. Таянчар вышел от Ицека и рассказал это двум-трем татарам; от них узнали все остальные — и кинулись к Таянчару спрашивать, откуда это он узнал. Таянчар принял важный вид и сказал, что если бы хан поручил ему сбор долга с тверичей, он бы это устроил. Тверичи были должны многим татарам, — и на другой же день Таянчару дано было разрешение отправиться на Русь. Ицек узнал об этом немедленно и вслед за Таянчаром добрался до Узбека, кричал и плакал о том, что оказался самым несчастным из всех тверских кредиторов. Он действительно купил все тверские долги в Орде. Таянчар был глуповат — и ехать на Русь с ним было поэтому выгодно. Сколько бы Таянчар там ни нагребил, Ицеку все досталось бы, на худой конец, процентов около пятисот на капитал, затраченный им на уплату тверского долга. Оба они отправились, взяв с собой восемьсот человек татар, русских, черкесов и сброда, не платя им никакого жалованья, а только разрешая следовать за ними на грабежи.

— Ну и что? — говорил Ицек. — Все говорят, что я хороший человек; лучше мне нажиться, чем кому-нибудь другому, потому что я человек добрый и честный. Мы наберем там русский полон; для этого полона лучше попасть в мои руки, чем в другие, потому что я, Ицек Ашкеназ, человек добрый и честный.

Покуда в Твери не успели собрать даже двух тысяч рублей долга для Юрия, «пришедши из Орды татары с жидовином с Ицеком, должником (должник значил тогда кредитор), многую тягость учинили Кашину, грабеж сотворили, полон с собой повели, нажились страшно».

Не успела Анна Дмитриевна и Дмитрий хоть немножко оправиться от Таянчарова и Ицекова разорения, как пришла новая весть, что Юрий Данилович Московский, великий князь всея Руси, идет на тот же Кашин, со всей своею силой низовской и суздальской. В Твери поняли, что Юрию Даниловичу надо во что бы то ни стало если не подавить, то унизить Тверь. Дмитрий Михайлович двинулся к нему навстречу с войском, и, как ни ненавидел ему Юрий, как ни велика была его вспыльчивость, он все-таки (из той же любви к Твери, которая погубила его отца) скрепя сердце не стал биться с великим князем всея Руси, а вступил с ним в переговоры. Оказалось, что Юрий Данилович — лучший друг и приятель Твери, но вынужден идти на нее ратью, потому что Тверь не выплачивает ему две тысячи рублей серебра, которые нужны для Орды. Напряг Дмитрий Михайлович последние свои силы, кое-что из своих вещей продал, тверской великокняжеский дом, бояре многим пожертвовали, собрали все серебро и спасли Тверь. Тверь была вконец разорена; Юрий Данилович торжествовал и спокойно повернул не в Орду, навстречу послу ханскому, а в Новгород, где ему хотелось уладить свои отношения с новгородцами так, чтобы Новгородом можно было управлять если не из Москвы, то из Владимира. Чтобы поладить с новгородцами, Юрий Данилович ходил за них драться с немцами и одержал победу, ходил на шведов под Выборг, осаждал его, но не взял и со злости многих шведов перевешал. Новгородцы стали довольны Юрием Даниловичем; только Юрию Даниловичу по возвращении в Новгород не совсем понравилось известие, что им же посланный в Орду смиренный, богомольный брат его, московский великий князь Калита, сошелся в Орде со всеми благоприятелями московской стороны. Ни одного вечера не проходило в Орде, чтобы Иван Данилович не толковал с Чобуганом о науке править государством.

— Людей у вас на Руси нет — вот в чем ваша беда! — говорил Чобуган, грустно опуская голову и всматриваясь

исподлобья в Калиту. — Без людей ничего, княже, вам не поделать. Только одного умного я знал — это Петрамитрополита. Вот уж точно: и голова на плечах, и сердце чистое. Он может соорудить царство.

— Владыка — святой человек, — сказал Калита.

— А всех вас остальных так к крови и тянет. Сам царь намедни говорил, что видеть вашего рода не может...

Калита только собрался возразить, как вдруг лицо его утратило обычную умильность и вытянулось восторженно.

— Ну да, царь это говорил, да и не раз еще!.. — смотрел ему прямо в глаза, уже не исподлобья, Чобуган. — Только ты не смущайся этим, княже, твое от тебя не уйдет.

— Видишь ли, княже, — продолжил Чобуган, ставя на коврик между собою и Калитой жбан с вином и чарку, — надо тебе все знать, прежде чем являться на поклон: не в чести вы теперь у нас с братом твоим Юрием Даниловичем. Ты-то еще ничего: царь знает, что ты с владыкой хорош, а владыке он верит, но уж в Юрия-то вера у него почти на волоске висит. Ты слыхал, что у нас здесь пытали Кавгадыя?

— Э?.. — побледнел Калита.

— Пытали, как же, по наговору Дмитрия Михайловича. С пытки-то Кавгадый только то и показал, что Юрий и ты — оба дарили его всячески, оба на покойника Михаила Ярославича наговаривали ему и просили его довести ваши наговоры до царя.

Кавгадый умер — стар был, пытки не вынес, царь Узбек и говорит мне: «Проклятый род эти потомки Александра. Ногая, покойника дядю, с толку сбивали, сынки меня мутят, кроме лишней крови, ничего от них не дождешься, — надо великое княжество попросту тверским отдать. Михаил был хороший человек, Дмитрий тоже парень не глупый и честный». Тут один старик и говорит, — хитрый такой старик, Ундуром зовут: «Нет, государь, нельзя». — «Отчего нельзя?» — говорит хан. «А оттого, — говорит старик, — что больно честные они люди. Либо они против нас встанут, чуть что случится, либо сами в этих омурах утонут».

— Ну, а царь-то что? — нетерпеливо спрашивал Иван Данилович.

— Об Ахмилке стал говорить да о Шевкале, басур-

манине горячем. Один хвалится всю Русь перестроить, а другой хвалится ее в Бахметову веру перевести.

— Этой напасти еще недоставало.

— Ты с нами, княже, сойдись-ка! — сказал Чобуган уже многозначительно.

— Ох, грехи наши тяжкие! — вздохнул Иван Данилович, вставая с места. — Только от Шевкала ты меня уволь: не хочется мне другим Михаилом Черниговским стать — я Бахмету не поклонюсь.

— Будь по-твоему, — отозвался Чобуган с заметным уважением. — Мое дело было сказать.

— А вот за сказ крепкое тебе спасибо, земляк!

Калита отвернул полу, вытащил десять золотых монет и подал хозяину.

— Спасибо за совет!

— Спасибо за помин! — поклонился тот, и монеты исчезли.

Была уже ночь, когда Иван Данилович воротился в свой шатер, раздумывая, как воспользоваться важными новостями, сообщенными ему приятелем.

— Куда это он гнет? — спрашивал князь своих бояр. — Это они по ошибке думают, что Русь переделывать можно — пускай попробуют.

— Господине княже, — говорили Калите бояре, — Орда — дело переменчивое; нет у Орды ни порядка, ни обычаев. Говоришь, княже, что всякому злу виновник — царский советник Ахмыл; хочет Русь он перестроить. Царской воле противиться нам не след; дадим большие поминки Ахмылу, с ним на Русь отправимся — пускай попробует. Не может быть, чтобы татарин смог бы Русью управиться. Пусть попробует. Христианской крови из-за этого, разумеется, много прольется, гневен будет на тебя брат твой великий князь всея Руси Юрий Данилович, а мы, московские бояре, будем чисты. Уж ты, княже, Иван Данилович, на нас положишь.

И через несколько месяцев воротился из Орды Иван Данилович и «с ним приехал посол, силен зело, именем Ахмыл, и много зла учинил низовским городам, и Ярославль взял и сжег, и много полону бесчисленно взял». Полон этот купил Ицек, посмеиваясь над Ахмылом.

Почти в одно время с Иваном Даниловичем побывал в Орде тверской великий князь Дмитрий Михайлович Грозные Очи. Он отправился в Орду без позволения великого князя всея Руси Юрия Даниловича для того,

чтобы разъяснить вольному царю дело своего отца, правоту тверичей пред москвичами. Как мы уже сказали, вследствие этих разъяснений погиб Кавгадый, и Дмитрий Грозные Очи получил от хана Узбека ярлык на великое княжество Владимирское; стало быть, Орда признал его законным наследником и правой рукой Юрия Даниловича, великого князя всея Руси.

Но Дмитрий еще рассказал в Орде, что Юрий взял с Твери две тысячи рублей серебра и в Орду их не представил. Эти две тысячи рублей были доставлены в Орду самим Дмитрием Михайловичем, потому что брат его Александр Михайлович отбил их на реке Урдоме и после схватки заставил Юрия бежать во Псков, а из Пскова Юрия вызвали новгородцы, оттуда его потребовали в Орду по доносу Дмитрия Грозные Очи. Он туда и отправился. Наступала минута борьбы не на жизнь, а на смерть — кто кого пересилит: Тверь ли Москву или Москва Тверь?

VII. В ТВЕРИ

Ладьи, снаряженные для путешествия великого князя тверского в Орду, нагружались всяким добром. Возле них стояла вооруженная стража, а вокруг толпились бурлаки-бечевники и купцы всех приволжских княжеств, в том числе и новгородцы. Новгородцы возили Волгой мимо Твери хлеб. Новгородцы с тверичами плохо ладили.

— Чего глаза-то пялите, гущаеды? — говорил Дементий, косясь на новгородских купцов. — Вот вам будет, как вашего Юрия Московского разжалует царь ордынский.

— На все воля Божья, — отвечал знакомый нам новгородец Федор Колесница, высокий, плечистый купец, большой горлодер на вече и большой поборник усиления Москвы. — Все мы, господин Дементий, под Богом ходим — была бы правда на земле!

— Это твое слово верное, — согласились новгородцы.

— Кабы все под Богом ходили, — продолжал Дементий, — так не то что в Орде убили бы князя благоверного, а и от самой Орды следа бы не было.

— Это верное твое слово, — продолжал Федор. — Вот Орда к нам в Новгород и не заглядывает даже, хранит нас от нее Святая София — а за что? — Он лукаво поглядел на тверичей. — За то, что дела ведем по чести новгородской и грамоте Ярославовой.

— Уж ваша новгородская честь! — вспыхнул Дементий. — Сидите себе в стороне, как лягушки на болоте, да князей на Руси смущаете!

— Это мы князей смущаем? — спросил Колесница, пожимая плечами. — Кабы князья русские жили по правде да не совались бы не в свои дела, друг под друга подкопов бы не делали, — было бы на Руси хорошо.

— Нет, ты мне скажи... — вынырнул из толпы маленький тверич с реденькой бородкой и злым лицом, в залатанном полушубке. — Отчего вы с Москвой дружите, отчего не хотите наших князей?

— Московские по правде живут, — отвечал Федор Колесница. — Вот Юрий Данилович — золотой для нас человек; от шведов нас оборонил, с Псковом нас не ссорил.

— Нет, ты скажи, скажи!.. — горячился маленький тверич. — Они ведь все злодеи. Константина Романовича, великого князя рязанского, в Москве зарезали; нашего Михаила Ярославича, праведного человека, в Орде зарезали...

— А ты вот что скажи, — перебил его Федор. — Ехали мы из Нижнего: под Нижним шалют, за Нижним шалют; доехали до Ярославля, все шалют, а как проехали Ярославль, так от Ярославля до Москвы московская рука и стала видна. Мы мечи поснимали и луки поразвязали; а вот как к Твери стали подъезжать — тот же разбой!

— По правде говорить, братцы, — заговорил другой новгородец, — за что московцев хаять? В их области такая тишина и такой порядок! Сидят люди смирные, храмы Божии строят, пустяками не занимаются, вольного царя слушают, — от этого все сыты и хорошо живут!

— Зато у нас честный народ, — сказал Дементий, — по Божьему живет, лести не знает.

— Что у нас за народ! — сказал один из воинов. — Куда против московских! Обхождения никакого не знает, недаром про нас и поговорка пошла по всей Руси...

Новгородцы улыбнулись и отошли в сторону.

— Да, — сказал случившийся здесь же Суета, — может быть, нам так и на роду написано, бояр у нас крепких нет...

— Дурак, — сказал Дементий. — Кто, как не бояре, теперь Юрия Даниловича смутили? Отчего наша сторона

теперь верх берет? Зачем Дмитрий Михайлович в Орду едет? Даст Бог, великим князем всея Руси к нам вернется.

Колесница, отошедший было в сторону, вдруг круто повернулся, посмотрел на Дементия, подошел к нему и ударил его по плечу:

— Разве такие вещи на улицах говорят? Ты князю близкий человек, — всякий волен подумать, что ты такие речи от него слышал; а речь твоя будет через неделю и у нас, и в Пскове, да и в Москве будет известна!

Дементий смутился.

В эту минуту народ зашевелился при виде телег, которые медленно выползали на пристань с улицы, ведущей к княжеским хоромам.

— Ишь ты, сколько серебра-то везут татарве поганой!.. — вздохнула одна бабенка, полоскавшая в реке какие-то тряпки.

— Татарве-то везут, — сказал многозначительно Суэта. — А вот что повезут полюбовницам-то ордынским?

— У кого там полюбовницы? — заговорил Дементий. — Никаких там полюбовниц ни у кого нет!

— Эх, стар человек, стар человек!.. — заговорил Федор. — На чужой роток не накинешь платок; так уж и не сердись ты, что про княжью любовницу народ говорит.

— Да это про кого все толкуют? — воскликнула баба. — Опять про Маринку да про Русалку?

— Экой народец тверской!.. — захохотал новгородец. — Никак не выучитесь держать язык на привязи про свои дела.

Тверичи посмотрели друг на друга, окончательно сконфуженные.

— У кого там полюбовницы? — подошел к новгородцам какой-то москвич, длинный, сухой, весь как будто на пружинах.

— Кто знает, у кого полюбовницы, — отвечали новгородцы, посмеиваясь лукаво. — Мы ничего не знаем. Тверской народ болтает, его спроси.

Воз подъехал к сходням, вооруженные ратники разогнали народ и потащили мешки с серебром в княжеский струг.

— Пойдемте-ка, братцы, обедать, — сказал Колесница своим новгородцам, — вон уж и солнце на полудне.

VIII. ЖЕНИХ

Посреди просторной, широкой вежи Прасковьиной горела жаровня с угольями; в дверь, с которой было сдвинуто завешивавшее ее одеяло, лились яркие, холодные лучи ноябрьского солнца. Прасковья и Русалка с Мариной сидели за своей обыкновенной работой, за вышиванием. На небольшом деревянном лотке стоял деревянный жбан с медом и маленький серебряный ковшик. Все трое с нетерпением ждали желанного гостя, почти что помолвленного с Мариной великого князя всея Руси Юрия Даниловича.

— Голова что-то болит, пойду на свежий воздух, — сказала Прасковья, приподнялась, вышла из вежи и присела рядом, пытливо вглядываясь в ту сторону, откуда должен был появиться великий князь.

Русалка тоже бросила работу, ласково усмехнулась Марине, хлопнула ее по плечу, поцеловала и сказала:

— И я тоже уйду.

Марина зарделась, потупила голову и усерднее работала иголкой. Она всей душой любила Юрия; но эта любовь не приносила ей радости. Она не чувствовала в себе той мощи, которую в нем видела, она сознавала, что не сможет быть ни помощницей ему, ни советницей. Чего только ни делала Марина, чтобы быть ему полезной! Интриговала в его пользу у ханши, заискивала для него у влиятельных мурз, наконец умышленно обратила на себя внимание тверского великого князя для того только, чтобы следить за его поступками. Все это выходило плохо и самой ей было в тягость. Ни ее молодость, ни миловидность не зажигали в груди Юрия пылкой, всепоглощающей любви. Марина близко подходила к идеалу великой княгини всея Руси, но она все же не равнялась ему. В общем, обоим им было далеко не весело. А ханша, Прасковья, Чобуган и мурза Чет полагали, что Юрий не сегодня завтра явится к хану с челобитной о дозволении ему жениться на Марине. Узбек был согласен на этот брак и даже решил возвести Марину (в случае сватовства Юрия) в сан своих царевен. В Орде ждали, когда Юрий начнет свое ходатайство о восстановлении хотя бы и фиктивного родства с ханским семейством, — и Юрий скрепя сердце направился 20 ноября 1325 года к Прасковьиной веже, решив жениться, если только ему удастся обделать давно задуманное дело с Дмитрием

Михайловичем, к которому сам Узбек тоже был расположен, тем более что чувствовал себя виноватым в смерти его отца. Юрий шел в сопровождении нескольких отроков, которые так и следовали за ним по пятам. Уже целый месяц не мог великий князь всея Руси шагу ступить в Орде без этих соглядатаев. Желчный, озлобленный, подошел он к Прасковьиной веже, а Прасковья чуть завидела его — тотчас же сделала вид, будто она лопочет с Русалкой около соседнего шатра.

— Батюшка князь,— сказала Прасковья,— здравствуй, кормилец наш, здравствуй! Милости просим!

— Здравствуй, матушка,— отвечал Юрий.— Что, никого из гостей нет у тебя?

— Никого, батюшка, кто же у нас, у сирот, бывает? Пройди в вежу, там я тебе медку поставила. Поди посиди с Маринушкой; только она, бедная, хворает как будто.

Юрий Данилович быстро вошел в вежу и сел у жаровни.

— Ну, Марина, здравствуй,— сказал он. Марина, не говоря ни слова, обвила руками его шею, спрятала лицо на груди и зарыдала.

— Что ты? Что ты? Господь с тобой.

— Крепко люблю тебя... Милый мой, золотой мой, возьми ты меня к себе: не надо мне... не женись на мне — так просто возьми меня к себе, в вышивальщицы.

Юрий улыбнулся, поцеловал ее, взял под мышки и посадил подле себя; она опустила свое заплаканное лицо к нему на плечо.

— Не гони ты меня, господине княже, перстень мой золотой!

Юрий с улыбкой взял ее обеими руками за голову, улыбнулся ей, поцеловал ее в глаза,— так крепко, что разом снял с них слезы,— потом в губы ее поцеловал и, покачивая головой, сказал:

— Нет, касаточка моя, не в вышивальщицы тебя возьму, а пришел я к тебе с другой новостью.

Марина посмотрела на него вопросительно. Сердце у нее колотилось.

— Сегодня Дмитрий будет у тебя.

— Опять?..— рванулась Марина у него из рук.

— Опять, только уже последний раз.

Марина опять расцвела.

— А завтра или послезавтра,— продолжал Юрий

серьезно и внушительно, — я иду к хану и буду просить у Хана, чтобы он меня женил, — знаешь на ком?

Марина знала на ком, а все-таки струсилась, и сердце у нее остановилось в груди.

— На Прасковье на твоей, — смеялся Юрий, — на матери твоей названной. Старуха она хорошая, пироги печет славные, вышивает лучше тебя, а ты мне дочкой будешь.

— Княже, — сказала девушка трепещущим голосом, — не мучь ты меня, и без того изныла душа моя.

Юрий встал, выглянул из вежи и махнул рукой Прасковье и Русалке, которые стояли в нескольких шагах, — одна с пирогом в руке, другая тоже с каким то кушаньем, — и не знали, войти ли им или не входить к влюбленным.

Увидев, что князь машет ей рукой, Прасковья быстро вошла в вежу.

— Вот что, — деловито сказал он Прасковье, — побывай-ка ты завтра у ханши и спроси ее, отпустит ли она тебя с Русалкой на Русь, если я женюсь на Марине.

— Хорошо, — кивнула Прасковья, — спасибо тебе, господине княже.

— Ну вот еще что, — сказал Юрий, приподнимаясь. — Сегодня Димитрий зайдет к вам; он сейчас у мурзы Чета сидит. Ты, Марина, сослужи мне последнюю службу. Не хочется мне губить Димитрия — парень он хороший, только горячий, глупый. О том, что я женюсь, сегодня ему не говори, а прими его хорошенько, с честью, и поговори с ним по душе. Скажи ему, что я на него больно сердит и что бороться со мной ты ему не советуешь. И ты, тетка, скажи ему тоже, будто слышала ты стороной, что я ему все прощу старое. Так ему и скажите, что вот, дескать, у вас сердце болит, что двое самых сильных русских великих князей между собою не ладят; что старое надо забыть; что над нами татары смеются; что мы с ним не друг друга топим, а топим мы с ним мать Святую Русь.

Он стал прощаться, Марина прыгнула ему на шею, опять спрятала лицо на груди и расплакалась.

— Ну, о чем же теперь ты плачешь? — ласкал Юрий Марину. — Ну полно же, перестань!

— Страшно мне, страшно! — рыдала Марина.

А Прасковья, отвернувши лицо тоже плакала; плакала и Русалка, не из зависти, не из того, что ее названная

сестра великой княгиней делалась — этому-то она рада была, а плакала она о том, что разбились светлые мечты ее детства, — что женат друг ее детских игр, Тверской Константин Михайлович, и изнывает в Твери со своей молодой женой.

Тихо, молча сидели вышивальщицы после ухода князя Юрия. У всех сердце было полно, говорить было не о чем, только Марина улыбалась и лукаво, торжественно окидывала взглядом Прасковью и Русалку.

Вскоре дверной полог приподнялся и показалась голова Дмитрия. Войдя и поздоровавшись, он тяжело опустился на сиденье, только что оставленное Юрием. В голове у него немножко шумело от угощения мурзы Чета. Он долго с ним спорил о русских делах и много сердился. Русеющий татарин толковал ему битых три часа, что не годится ссориться с Юрием, — что можно было бы с Юрием ссориться, если бы новгородцы были на стороне тверичей.

— Вот увидишь, перетягаю я его, — горячо отвечал Дмитрий и рассказывал Чету про все свои связи с Ордою, с мурзами; говорил, что все на его стороне и что теперь полюбовницу Юрьеву, Маринку, он чуть не отбил у него и что Марина с Прасковьей за него у ханши хлопочут, всякие ему вести передают.

— Эй, эй, не верю я, чтобы Маринка была любовницей Юрия Даниловича; а тому я еще больше не верю, чтобы они крепче дружили с тобой, чем с Юрием.

Спорили долго, наконец расстались, и Дмитрий (как и предвидел Юрий) не утерпел, чтобы по соседству не зайти к Прасковье, — тем более что ему уже доложили, что у Прасковьи был Юрий.

— Ну, Маринка, — заговорил весело Дмитрий, — красота ты моя неписаная, дай-ка ты мне ковш меду да скажи-ка мне, о чем толковал тут с тобой супротивник мой, Юрий-супостат?

Прасковья и Русалка сидели молча и насупившись: Марина же напустила на себя веселый вид, налила ковш меду, отхлебнула и подала Дмитрию.

— Твое здоровье, княже! — сказала она. — Пей на здоровье и носи голову на плечах покрепче.

Это сказала она так смело так твердо и внушительно, что Дмитрий уставился на нее.

— Спасибо, спасибо... Только что же Юрий толковал? О моей голове небось?

— О твоей, княже, — сказала Марина игриво, укладывая шитье и вынимая из сундука парчовую душегрейку, подаренную ей Димитрием. — Говорил, что жалеет тебя — больно ты удачно держишь себя здесь: татар braniшь на все стороны, Юрия Даниловича сбить с великокняжеского престола всея Руси похваляешься, а того не знаешь, что он тебя здесь вдесятеро сильнее.

— Экая змея подколотная — что плетет!.. — вспыхнул Грозные Очи.

— Вот что, княже, — сказала Марина, вставая и накидывая на голову платок. — Коли я тебе любя, помирись ты с Юрием Даниловичем. Для тебя это будет лучше, для меня вдесятеро, а для нашей общей матери Святой Руси в тысячу крат лучше того. А я иду к ханше, прощай!

Димитрий изумился. Очевидно, Марина говорила неспроста; очевидно, она знала больше, чем говорила. Димитрий хотел удержать ее за руку, но ловкая девушка мигом перепрыгнула через жаровню и уже бежала к золотой ханской веже.

— Что она такое плетет? — спросил Димитрий Прасковью, глядя на нее строго.

— А что, батюшка, — сказала Прасковья, — разве хорошее дело: ссориться? Ты только слово скажи, что не прочь будешь, а Юрий Данилович рад будет тебя за младшего брата иметь.

Димитрий вспыхнул.

— Скажи, Прасковьюшка, Юрию Даниловичу так: я за младшего брата ему рад идти, только бы *он-то* мне в самом деле заместо отца родного был. А покуда прощай!

Раздраженный, обиженный, Дмитрий вышел из вежи. Направляясь к своим шатрам, он по дороге послал отрока позвать к себе Александра Новосильского, черниговского князя, одних с ним лет, смелого, храброго, явившегося в Орду жаловаться хану на разбой татар. Оба князя мечтали стряхнуть с плеч напасть бусурманскую. Новосильское княжество было маленькое, бедное; денег у князя не водилось — и он поехал в Орду еще и затем, чтобы столкнуться с Юрием или с Димитрием. Юрий принял его гордо и дал ему понять сразу, что если он только услышит о затеях черниговского князя подняться против татар, то для спасения Руси велит его связать, и, не спрашивая Узбека, казнит. Затем Юрий ему объяснил

весьма здраво и толково, что Русь именно потому и попала под иго татарское, что князья ее не слушались великого князя, что каждое княжество хотело быть самостоятельным и что единственная политика, которой следует держаться это гнуться перед татарами и под татарской рукой сливать все русские области в одно целое.

— Вас, маленьких князей, трогать никто не станет; князьте себе, делайте все, что угодно, — но против татар подыматься вам заказываю.

Александр Новосильский вышел от Юрия, не убежденный ни в чем, и мигом сошелся с Дмитрием, с которым его сближала жажда деятельности, вражда к великому князю всея Руси, а пуще всего их молодость. Весь вечер просидели новые приятели, и весь вечер бранили систему Александра Невского, называли москвичей низкопоклонниками, сребролюбцами, даже отступниками от веры христианской, и прикидывали, где и какие силы есть на Руси, чтобы восстать против Москвы и против татар.

А ночь была глухая; тучи висели на небе; в воздухе было душно. Наступал великий праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы; послезавтра нужно было служить панихиду в память убиения отца Дмитрия, великого князя тверского Михаила Александровича.

IX. СМЕРТЬ ЮРИЯ ДАНИЛОВИЧА

Прошел уж час восхода солнца, а солнца не было видно на небе, подернутом тяжелыми лиловыми облаками; воздух был сперт, душен. Дмитрий Михайлович лежал в своем шатре, на перине, закинувши руки под голову, и угрюмо смотрел в холщовый потолок, к которому плотно прижались запоздавшие осенние мухи.

Мысли великого князя тверского, разумеется, крутились вокруг Юрия. Он вспоминал все, что сказала ему вчера Марина, и что-то лживое и натянутое чудилось ему в ее словах.

В это же самое время Юрий Данилович был уже на ногах. Он успел помолиться образу Пречистой Девы Богородицы и Святой Софии, вышел из шатра, сел на скамеечку и задумался.

«Ведь тверские погубят, — думал он, — русское дело.

Опять, что ли, подкапываться под них у ханских вельмож? Нет, это дело не подходящее! Надо помириться с Димитрием, был бы он мне правою рукой во всяком деле; а там кому великое княжение после меня достанется,— брату ли, ему ли, мне все равно. Он правдивей брата, дерзновенней, может скорее татарву эту с русских плеч стряхнуть. Только молод он, горяч...»

Юрий кликнул отрока.

— Плащ подай! — сказал он.

— Куда идешь, княже? — спросил один из бояр.

Другие подходили, сняв шапки.

— К Димитрию Михайловичу иду, к тверскому великому князю, — сказал Юрий.

— Это зачем? — спросил Федор Колесница, ходивший чуть не по пятам Юрия.

— Поговорить надо, — сказал Юрий. — Что мы с ним друг друга тесним? Пусть будет все по-старому. Я буду великим князем всея Руси — он останется великим князем тверским и владимирским; о земле Русской вместе радеть станем.

— Не поладишь, княже, — сказал, качая головой, новгородец.

— Попробую, — отвечал Юрий.

— Так нам с тобою идти, господине княже? — спросили бояре, невольно переглянувшись.

— Пойдемте, — отвечал Юрий.

Сильно парило; грудь спирало. За Юрием шли московские бояре, а за ними Колесница с новгородцами, которых он очень проворно успел известить о неожиданном свидании князей.

— Княже, а княже! — ворвался в ставку Дмитрия Михайловича толстый боярин Мороз. — Посмотри-ка, какой к тебе гость идет...

— Кто еще там? — спросил лениво Дмитрий, не шевелясь на пуховике.

— Великий князь всея Руси!

— Ты с ума сошел, что ли, или опять перепился?

— Глянь! — отвечал обиженный Мороз, откинув полог палатки.

Дмитрий побледнел, и глаза его сверкнули тем недобрым блеском, за который его прозвали Грозные Очи. Он вскочил и мигом оделся, нацепил меч и за пояс заткнул топор с золотой насечкой.

Полог шатра распахнулся, и на пороге появился маленький, седой Кочева с шапкою в руках, он низко поклонился.

— Господине княже, — сказал Кочева, прикасаясь рукою к земле. — Двоюродный брат твой, великий князь всея Руси Юрий Данилович Московский просит тебя, великого князя тверского и володимирского Дмитрия Михайловича, выйти к нему поговорить с глазу на глаз.

Дмитрий Михайлович выслушал посла, стоя без шапки, и велел тут же подать ему ковш меду, своею рукою снял с гвоздя шубу, сам набросил ее ему на плечи и, отступив шага на четыре, сказал торжественно:

— Низкий поклон от меня брату старшему, великому князю московскому и всея Руси, Юрию Даниловичу. Передай ему, что я не мешкая иду к нему на свидание с полным доверием.

Кочева поклонился еще раз и сказал:

— Господин мой ждет твою милость в шатре твоего тверского боярина Елистрата Петровича Макуна.

Юрий Данилович стоял у ставки Макуна, а в отдалении стояли бояре московские и новгородские, шептались и подсмеивались над тверскими, которые были совершенно растеряны от неожиданности.

Шатер Дмитрия Михайловича распахнулся; он вышел, слегка поклонился своим боярам и направился прямо к Юрию Даниловичу. Юрий Данилович, левой рукой придерживая полог шатра, правой пригласил его войти. Дмитрий Михайлович, стиснув зубы, молча поклонился ему и, не глядя на него, скользнул в шатер. Они оба перекрестились на икону и сели друг против друга.

Дмитрий Михайлович смотрел в землю, а Юрий Данилович смотрел на него.

— Спасибо за честь, княже, что ты пришел на зов мой, — начал он. — Хотелось мне давно потолковать с тобой по душам. Знаю, что ты на меня сильно сердит. Надоела мне эта вражда между нашим родом и вашим — и пуще всего меня томить стало, что ни вам, ни нам от нее толку нет; только народу христианскому разорение.

Дмитрий взглянул на него исподлобья.

— Ты, Юрий Данилович, — сказал он, — человек хитрый, а я человек простой. Ты говори прямо и толком: зачем ты меня позвал?

— Мне вот что от тебя нужно, Дмитрий Михайло-

вич, — сказал Юрий, и лицо его приняло строгое выражение. — Чего твои бояре и отроки и татары, твои сторонники, шагу не дадут мне здесь ступить? Куда ни повернусь, непременно кто-либо из-за угла торчит.

Дмитрий поднял глаза и усмехнулся.

— Начинай со своих, — сказал он. — Москвичи с новгородцами первые на свете соглядатаи.

— Я и не говорю, — отвечал Юрий, — что я не следил за тобой, только слежу-то я иначе; через твоих собственных бояр доходит до меня, что у вас на Твери и здесь в Орде делается. Уж таких сорок-трещоток, как твои бояре, за деньги не найдешь. Все так и кричат: «Долой татар!» А ну как все это до самих татар дойдет — они же меня за бок возьмут, велят мне твою область пустошить — кому плохо от этого будет? Нам с тобой и народу христианскому!

Дмитрий вспыхнул.

— Кричим мы потому, что душе неймется, — сказал он, — больно уж зазорно твоей Орде кланяться.

— Да ведь у меня тоже своя спина, — сказал Юрий. — Знаю я тоже, каково гнуть ее перед ордынским ханом. Но если мы станем пугать их, нас, князей, всех повырежут, а земли русские разорят...

— До тех пор разорять будут, — отвечал Дмитрий Михайлович, — пока вы, Александров род, в ноги татарам кланяетесь и нас к тому же неволите.

— Из-за чего распря идет? — тихо спросил Юрий, рассматривая свои перстни. — Ведь не из-за татар, а из-за того, какому роду великое княжение всея Руси достанется: нам или вам.

— Ты первый из-за этого кровь пролил, — сказал Дмитрий, и глаза его сверкнули.

Юрий не дрогнул.

— Пролил кровь, — отвечал он тихо и спокойно, — и опять пролью, если наш род будут обижать и хана слушаться не станут.

Дмитрия взорвало.

— Нет, ты скажи, зачем меня позвал и чего от меня хочешь?

Он был раздражен, весь трясся; спокойствие великого князя смущало его.

— Позвал ты меня затем, чтоб я перед тобою поклонился?

— Нет, совсем не затем, — отвечал Юрий. — Затем,

чтоб мы с тобою здесь, в Орде, не губили имя русское. Ты вот через Щелкана всякую брань обо мне доводишь до Узбека...

Дмитрий покраснел и смутился.

— Обещал два выхода Орде заплатить, если меня и брата Ивана Московского изведут...

Дмитрий побледнел и встал. Встал и Юрий Данилович.

— Так вот, княже,— продолжил он,— опомнись. Жалко мне тебя. Тебе ведь всего двадцать седьмой год идет, а я уж в пятом десятке стою. Каждое твое слово я знаю, каждый твой замысел у меня на ладони; выйду я отсюда да и пойду к хану, и будет тебе участь отца.

Взгляд, полный ненависти и отвращения, сверкнул на лице Дмитрия. Он запустил руку за пояс и выдернул топор. Юрий приблизился и взял его за руку.

— Слушай, Дмитрий,— сказал он,— ты не разбойник, чтобы убивать меня вот так в шатре, куда я пришел к тебе в гости. Давай так рассуждать.

Он улыбнулся спокойно и открыто, а между тем именно это спокойствие и бесило Дмитрия.

— Ты подумай: ну, убьешь ты меня, так и сам пропадешь, на свой род бесчестье положишь, а Руси ты этим не поможешь. Пойдем к хану вместе, я буду за старшего брата, ты будешь за младшего. Оба ему поклонимся, скажем, что раздору между нами нет больше, а не то, Дмитрий Михайлович...— Юрий отступил, и лицо его приняло зловещее выражение.— Я один пойду к хану и расскажу ему все, что знаю. И про замыслы твои, и про переговоры с Литвой против татар, и про то, как по пути сюда посетил тебя около Казани старик волхв и какие вы заговоры делали на жизнь хана Узбека.

Дмитрий опустился на скамеечку бледный как полотно.

— Сатана ты или человек? — спросил он.

— Такой же христианин, как и ты,— отвечал Юрий,— да бояре у меня толковее твоих, не болтают. Сам видишь, в моей ты теперь воле, так что хватит, давай мириться.

Дмитрий вновь вскочил на ноги.

— Нет, постой,— сказал он, задыхаясь,— это значит, что я к тебе в холопья попал? Я теперь всегда буду перед тобой в страхе ходить? Так нет же, Юрий Данилович, уж пусть, кроме моих ушей, этого никто не услышит!

— Ты не горячись,— сказал ласково Юрий,— ты подумай сначала!

— Чего тут думать! — крикнул Дмитрий — и Юрий покатился навзничь с головой, рассеченной чуть не по самые плечи тяжелым топором.

Как сумасшедший выскочил Дмитрий из шатра и бросился к московским боярам.

— Вы свидетели, — сказал он, — никто из тверских не виноват — я убил Юрия, я за отца отомстил.

Все бояре окаменели: никто не ожидал такой развязки.

— Ах, батюшки светы! — возопил Макун. — Изгубил-таки Дмитрий Михайлович своего недруга! — И он бросился целовать руки Дмитрия.

— Отстань, — сказал тот, — отстань, Христа ради. Уберите, бояре, тело, и пусть кто-нибудь царю доложит, что я сделал.

Москвичи с новгородцами молча положили тело на доску и понесли к великокняжескому шатру.

Х. ОРДЫНСКИЕ ЗАМЫСЛЫ

Когда Узбеку доложили об убийстве великого князя всея Руси великим князем тверским, он только плюнул с досады, — так ему надоела эта борьба москвичей с тверичами.

— Пусть их режутся, — сказал он. — Юрий отца убил, Дмитрий отомстил за отца. Хоть бы все они перерезались, право, стало бы легче.

— Так никаких распоряжений насчет Дмитрия? — спросили его.

— Никаких.

Тверичи и рязанцы поняли это так, будто Узбек доволен убийством Юрия, и мигом закричали по всей Орде, что Дмитрий в большой чести у царя и что москвичи с новгородцами теперь пропали.

Тверичи бродили по Орде с песнями, с ликованием, задирая москвичей и новгородцев, которые сильно трусили, — особенно когда возникло дело Иванца и Романца, двух Юрьевых отроков, убийц Михаила Тверского и Константина Романовича Рязанского. Иванец был уже маленький седенький человек, с реденькой бородкой, с мышиными глазками, сухой, сутуловатый, скромный на вид, подобострастный, но такой же большой гуляка, как Романец, — дюжий, белобрысый человек, с широкими плечами и сильно развитыми мускулами. Юрий всюду брал

этих двух молодцов, — во-первых, потому, что они были ему преданы душой и телом, а во-вторых, он знал за ними такие дела, за которые их мало было повесить. Первым движением их, когда они узнали, что их покровитель погиб, было броситься к Чол-хану и сказать, что они принимают мусульманскую веру. Чол-хану это показалось подозрительным, и он стал допрашивать Иванца и Романца. Они раскрыли ему множество темных дел Юрия, и из показаний их вышло, что некоторые новгородские бояре, несколько рязанских да один московский померли не своей смертью. Тверичи, прознав про это, стали требовать для Иванца и Романца пытки, надеясь, что под пыткой те еще много чего расскажут о Юрии. Однако пытка раскрыла такую массу интриг и замыслов, и доказала такую непримиримую ненависть к татарам и Юрия и Дмитрия, что в Орду были созваны все представители улусов, и началось совещание, как поступить с Дмитрием. Дмитрия обвиняли и в том, что он сел в переговоры со своим тестем Гедимином, — и только понял Грозные Очи, что сделал большую ошибку, убив своего противника. Удар топора выпустил тайну на свет Божий — и она сделалась его обвинительницей. Вновь Орда повернулась к новгородцам и москвичам. Дмитрий не спал, не дремали и бояре его, а хан все откладывал окончательное решение его дела.

Марина тем временем тихо угасала, но вместе с нею угасала и Баялынь. Внезапное известие о смерти Юрия и дикий, безумный смех Марины, раздавшийся сразу после этого, — все это так сильно подействовало на болезненную Баялынь, что у нее началась горячка, и как ни кружили около нее волхвы багдадские и ганзейские доктора, она вскоре умерла. Смерть Баялыни была смертным приговором Дмитрию Грозные Очи и его приятелю Александру Новосильскому. Чол-хан, тогдашний любимец и правая рука Узбека, первый потребовал казни тех князей, во-первых, как самоуправцев, нарушителей воли царской, во-вторых, как людей, сильно приверженных к христианству и склонных к измене Орде с Литвой, с которой воевали степняки в верховьях Дуная.

Дмитрия Михайловича заковали точно так же, как и отца, надели на него и на Новосильского колодки, судили, и 15 сентября 1325 года те же самые Иванец и Романец, в сопровождении Чол-хана, вырвали на реке Кандраклее у них сердца.

А тело Юрия Даниловича велено было отвезти на Русь и похоронить его в Москве. Хоронил Юрия Даниловича сам преосвященный Петр, митрополит киевский и всея Руси, и тогда же заложил он у двора, построенного ему Иваном Даниловичем, первую каменную церковь московскую: Успения Пресвятой Богородицы. Вскоре и сам Петр скончался и был похоронен в Москве, куда перенес престол митрополичий из Владимира.

Новый митрополит, поставленный для русской церкви в Цареграде, грек Феогност, поехал уже прямо в Москву к Ивану Даниловичу. Сам Иван Данилович (у которого в этом же году родился сын Иван, впоследствии великий князь и отец Дмитрия Донского) был тогда в Орде, где тягался с Александром Михайловичем за великое княжение всея Руси, — и было горько ему, что Чол-хан держит руку тверских. Очень не понравилось Ивану Даниловичу высокомерие и бойкость тверского его соперника — и понял он, что борьба с Тверью только кровью может кончиться.

А в Прасковьиной веже были плач и рыдание. Священник читал отходную умиравшей Маринке.

— Ласточка ты моя, касаточка, цветочек ты мой лазоревый! На кого ты меня, старую, оставляешь? На кого ты меня, сироту, покидаешь? Зачем твоя душенька от нас отлетает, старую меня забывает? — рыдала Прасковья.

Русалка тоже причитала, но делала это машинально, потому что обряд требовал. Со смертью Дмитрия и Баялыни она замкнулась в себе и все воспринимала равнодушно. Она была возведена Узбеком в звание царевны, но и это ее ничуть не обрадовало, и в конце концов старуха и девушка выпросили себе у Узбека как особую милость поселиться в вежах старика мурзы Чета — тот принимал христианство и ждал удобного времени, чтобы креститься и перебраться на Русь.

А Чобуган хмурился, кусал усы; ему было невыносимо тяжело. С каждым днем пропадала у него вера в Орду; он не мог равнодушно слышать христианского напева и в веже своей, под войлоками, стал держать крест с частицею животворящего дерева.

ХІ. УСПЕНЬЕВ ДЕНЬ 1327 ГОДА

Давным давно замечено, что все великие события на свете происходят от малых причин: участь тверского

княжества решилась в день Успения Пресвятой Богородицы, 14 августа 1327 года, по милости дьякона Дюдко и пьяной бабенки Аринки, жившей в самой дрянной избушке, на самом дрянном конце стольного города Твери.

«Кто празднику рад, тот со свету пьян». Для Аринки каждый день был праздник, а Успенье и подавно; она уже с вечера выпила столько браги и меду у разных покровителей, сильно развеселилась и плясала перед татарами, тоже подвыпившими, несмотря на мусульманство. Аринка плясала, пела и до самого утра не могла протрезвиться. Но тверичи в этот день были угрюмы. Каждый, кто шел в церковь, особенно старательно запирали дворовую калитку, спустив предварительно собак с цепи, и у каждого под плащом были топор, меч или нож.

Целую неделю до горожан из боярской думы доходили вести нехорошие. Щелкан хвалился, что только его добродетелями и старанием возведен на великокняжеский престол всея Руси Александр Михайлович, что только им Тверь и держится, но что он вместе со своим дядей Узбеком не доверяет русским князьям, и потому в Орде решили управлять Русью татарами. Пусть только шевельнутся ваши князь,— говорил Щелкан боярам пусть только попробуют, мы всех их перебьем, а князьями на Руси сделаемся мы сами.

— Да наши князья,— говорили Щелкану тверские бояре,— народ всем покорный.

— Кабы покорный они были народ,— возражал желчный Щелкан,— давным бы давно в бусурманскую веру перешли.

— Не трогай ты нашей веры, посол царский,— говорили ему великий князь, и бояре, и владыка тверской Варсонофий.— Мы в эту веру бусурманскую не пойдем.

Собирались бояре у великого князя, собирались у владыки, у тысяцкого собирались торговые сотни, между собой переговаривались, и никогда в Твери так ярко не горели свечи перед иконами, никогда пост так строго не соблюдался и никогда не сыпали так искрами оселки и напилки оттачивая ножи, мечи и топоры.

Все мог стерпеть, все мог вынести русский народ: поруганье жен, дочерей, сестер, постоянное избиение русских князей в Орде, но насильного обращения в мусульманство он бы не вынес. Тысяцкий оповестил горожан,

чтобы, не подавая виду и не затевая драки, были бы на всякий случай готовы к ярморочному дню; а между тем татары, более на словах грозившие мусульманством, чем серьезно думавшие об обращении русских в веру Магометову, вели себя на Твери буйно и нахально.

Щелкан приехал в Тверь с огромной свитой. За их содержание и проезд должны были платить великие князья всея Руси. Это бы еще ничего, но вечно грязные, вечно пьяные татары портили на улицах все, что могли испортить, сшибали коньки с крыш, замки в воротах ломали, за скотом гонялись, собак били, прохожим давали подзатыльники. Тверичи все терпели, потому что терпеть от татар вошло уже в привычку, покуда баба да дьякон не разрубили гордиев узел.

Народ шел в церковь угрюмый, смирный, сторонился татар, не отвечал ни на пинки, ни на брань, ни на насмешки. Арина, чуть ли не единственная женщина на этой далекой улице, просила у прихожан на выпивку, а татары, сидевшие у ворот и на заборах, смеялись над ней и что-то кричали по-своему. Арина улыбалась им, раскланивалась, а прохожие все шли к небольшой бедной церковке Покрова Пресвятой Богородицы, и вдруг в толпе раздался крик. Арина стояла бледная, выпучив глаза и с развалившимися жидкими косами.

Какой-то татарин, сидевший у ворот и державший хворостину, смеясь, ударил ее по кике, — кика слетела, Арина закричала, прохожие остановились в ужасе.

— Батюшки светы!.. — кричала она, схватившись руками за голову. — Христиане православные, опростоволосили меня, опростоволосили перед целым миром! Что же это будет? Пропала моя голова!

Она подняла с земли камень и запустила в татарина; татары, не знавшие, что сорвать с женщины головной убор — это значит, в глазах русских, смертельно оскорбить ее, хохотали, а один из них бросил в лицо бабенки ком грязи.

Арина взвизгнула и пустила в татарина еще камнем; камень попал в плечо одному низенькому старому татарину — тот вскрикнул, одним прыжком очутился возле Арины и вцепился ей в волосы.

— Батюшки светы, народ православный! Режут мучители!

Толпа стояла молча... Вдруг из нее выдвинулся молчаливый Суета и, сказав: «Беспутница!» — снял шапку,

перекрестился на крест церкви, видневшейся в конце улицы, ровным шагом подошел к Арине и таскавшему ее за волосы татарину, поднял кулак, опустил его на шею татарина — и тот как сноп повалился на землю, закативши глаза.

В толпе татар раздался дикий вопль — и несколько человек выскочило на улицу. Только размахнулся один высокий рыжий татарин на Аринина защитника, как тот пырнул его ножом в брюхо, поддал коленкой, и татарин свалился, Арина бросилась к татарину, выхватила у него саблю и треснула по плечу другого.

Вновь раздался крик татар, ворота их двора растворились, и несколько длинных стрел прожужжало мимо русских. Русские топоры поднялись — и навстречу им замелькали длинные татарские копья с крюками.

Какой-то старик с топором в руках крикнул: «За мною, христиане православные!» — и бросился к воротам татарского двора. Человек двадцать кинулось за стариком. Тяжелые русские мечи и топоры рубили татарские копья и оттесняли татар от ворот. Татар было человек двадцать, русских до двухсот, но в таком узком переулке силы их были равны. Не прошло и пяти минут схватки, как передовая стена русских сменилась другой, уже вооруженной щитами, в шлемах и панцирях. Везде распахивались ворота, отовсюду бежали вооруженные люди, а ничего не ожидавшие татары отступали со своими копьями и саблями. С заборов и крыш сыпались на них стрелы и камни.

— За дом Святого Спаса! — кричали русские. — За всру христианскую, за народ православный! Вот вам собаки-бусурманы!

В маленькой церкви Покрова Пресвятой Богородицы зазвучал набат, ему вторил набат в соседней церкви Святителя Николая, и так пошло по всему городу, — и отовсюду, из всех ворот, из всех закоулков, сыпались вооруженные русские, становясь на перекрестках, делая завалы и засеки.

В это же время, на другом конце города, на самом берегу Волги, из ворот очень красивого двора выходил отец дьякон соборной церкви Спаса Преображения Дюдко и вел за собою на водопой кобылу.

Дюдко ростом был с знаменитого измайловского тамбурмажора, в плечах косая сажень. Когда хотели

узнать, крепко ли что сделано, выдержит ли лук и не порвется ли тетива, не сломится ли древко боевого топора, — звали Дюдко; крепко ли сваи вбиты — спрашивали его: он был единственным авторитетом. Ко всему тому он был человек очень смирный, кроткий и тихий. В силу ярлыка, данного митрополиту Петру, двор Дюдко был свободен от татарского постоя. Это не нравилось Щелкану и его приближенным, потому что дворы соборного духовенства были из лучших в городе.

Но кроме того, что двор Дюдко, поставленный в лучшей части города, близ великокняжеских хором, вечевой площади, боярских дворов и каменного дома тысяцкого, возбуждал зависть татар, еще пуще их задорила историческая дьяконова кобыла.

За небольшие деньги купил Дюдко эту кобылу еще жеребенком у одного ливонского рыцаря. Кобыла эта была из породы нормандских лошадей, тяжелых на ходу, копытом закрывающих тарелку и возивших железных рыцарей на войну. Дюдко вырастил ее и строил на ее счет множество планов.

По жеребенку от нее думал он дать в приданое своим дочерям, и в случае войны с басурманами сам на нее сесть, для чего и заказал себе огромный боевой топор, пуда в три весом.

Каждый день выходили татары смотреть, как дьякон водит кобылу на водопой. Давно уж задумали они подтибрить эту кобылу — и, как на грех, именно в Успеньев день, 15 августа, решили это сделать.

Едва вошло солнце из-за Волги, как загревели засовы дьяконских ворот и Дюдко босиком, творя крестное знамение и кланяясь на все четыре стороны, вышел с кобылой. Не успел он сделать и пяти шагов, как вдруг раздался татарский крик, — и между ним и кобылой скользнуло несколько человек. Один из них на бегу пересек саблей недоуздок, другой вскочил на кобылу и ударил ее пятками. Взлелеянная в стойле кобыла, выйдившая на улицу только со своим хозяином, испугалась, взвилась на дыбы, ударила задом и сшибла татарина, который скатился назад. Кобыла ударила еще раз, откинула его сажени на две в сторону и как вкопанная стала на месте, тяжело дыша и дико поводя глазами, налившимися кровью. Другой татарин вскочил на нее, но в ту же минуту Дюдко взмахнул руками: одна татарская голова стукнулась о другую, третий со стоном и вывихнутою че-

люстью повалился на землю. Четвертого Дюдко поймал за шиворот и бросил его как кошку на остальных. Дюдко пошел грудью на оставшихся и закричал оглушительным басом:

— Сюда, христиане православные, не давайте избить церковь Божию!

Взял Дюдко свою кобылу одной рукой за холку, а другой рукой и ногами стал отбиваться от татар, те падали как снопы около богатыря-дьякона, но вставали с ножами в руках; дьякон прислонился спиной к кобыле, ударил одного татарина левым кулаком, правой выхватил у него нож — и в одно мгновение рассек ему шею от уха до уха. Злобно гикнули татары, — и растворился занятый ими двор боярина Куска, и несколько человек татар с длинными копьями побежали к месту схватки. В ту же минуту, заслышав голос дьякона, дьяконица спустила с цепи шестерых огромных псов и растворила им калитку; татары дрогнули перед новым неприятелем, от которого и бежать было некуда. Они рубили псов саблями, кололи ножами, — псы только рычали и стервенели.

Вдруг через голову дьякона, мимо уха его, зажужжали стрелы. Одному татарину вышибло глаз, другому стрела в голову впилась, — на помощь дьякону шел пономарь Вавила, гнусивший что есть мочи: «С нами Бог, разумеете языцы и покоритесь».

— Томиловна, — крикнул дьякон, — дай мне сюда топор!..

Он отступил вместе с кобылой к своей калитке; та калитка растворилась, дьяконица подала ему топор и снова захлопнула ее.

Отовсюду уже татар валило видимо-невидимо, их остроконечные шапки мелькали, копья светились; они кричали, что русские хотят избить их.

— Да воскреснет Бог и разойдутся враги его! — заорал громовым голосом дьякон, влезший с топором на кобылу, — и голос его поднял всю пристань: всюду замелькали железные шлемы, боевые топоры, красные щиты из жестких сыромятных кож, засверкали в воздухе обоюдоострые мечи.

Вдруг среди крика, бестолкового боя набата раздался серебристый и протяжный, резкий звук, знакомый каждому тверичу, — это ударил вечевой колокол со спасовской колокольни.

«Вот оно — начинается!» — подумал каждый в душе.

Татары переглянулись: им стало страшно; вечевой колокол никогда не звонит по пустякам; где раздается его серебристый голос, там дело перестает быть личным и уже речь идет не о дьяконе Дюдко и не о пьяной бабе Арине, а о целом Тверском великом княжестве. Вечевой колокол редко звучал в те времена.

С каменного помоста, на котором висел у собора этот колокол, сняв шапку и крестясь, сходил Парамон Семенович, тверской тысяцкий...

Распахнулись ворота хором великокняжеских, занятых Щелканом, и оттуда выбежал его переводчик, обусурманившийся русский, Мустафа; за ним сломя голову летело человек двадцать татар, телохранителей царского посла.

— Стойте, стойте! — кричал Мустафа. — Посол царский не велит звонить! Как ты смеешь звонить без воли царского посла?

Тысяцкий медленно сходил с помоста, как будто не слыша и не видя никого.

— Вязать его!.. — приказал Мустафа, подбегая к тысяцкому и кладя ему руку на плечо. Татары стали снимать ремни.

— Пойди, Мустафа, к господину послу царскому и скажи ему, что пусть он сам на вече придет и даст отчет христианам православным, зачем он дозволяет своим татарам грабить и кровь проливать людей невинных, верных слуг царских.

— Вязать его!.. — кричал Мустафа. — Что же вы его не вяжете?

Он оглянулся, татары были окружены русскими.

— Отвести их назад, — сказал тысяцкий, — и пальцем их не трогать. Проводите их Щелкану с моим ответом.

Весь в парче, в сияющих латах, в золоченом шеломе, показался князь с детьми боярскими. Рука об руку с ним шел владыка Варсонофий. Бояре шли со своими отроками, соборный протопоп шел с крестом, а со всех сторон валило видимо-невидимо народу. Поклонившись князю и владыке, тысяцкий впереди них взошел на помост и стал у колокола. Князю и владыке принесли вызолоченные кресла, бояре сели по верхним ступеням.

Тысяцкий опять ударил в колокол; все сняли шапки, перекрестились и опустились на колени.

Начался молебен. Протискиваясь сквозь толпу, добрался до помоста Мустафа с бумагой в руках и, не

снимая шапки, принялся подниматься по ступеням. Его остановили.

— Ты сам знаешь, — сказал ему тихо один боярин, — что когда Богу молятся, так всякое дело откладывают.

Мустафа начал ругаться, но, несмотря на то что он называл христианство свиной верой, никто не прерывал его, никто будто не слышал, и как он ни кричал, как ни бранился, как ни грозил гневом ханского посла — молебен шел своим порядком. И когда князь и бояре приложились к кресту, а соборный протопоп окропил народ святой водой, только тогда два дюжих отрока взяли Мустафу под руки, взвели его на помост и поставили на среднюю ступеньку, как он ни рвался на самый верх.

— Ты не горячись, — сказал ему великий князь, — наверху место только послам царским, а ты послов посол, если тебя сюда пустить, то господина твоего, Щелкана, куда же мы поставим, разве на колокольню посадим! Что за письмо принес?

— А то, — сказал Мустафа, — что если вы сейчас не разойдетесь, так Чол-хан велит вас всех перебить, а Тверь вашу выдаст московскому Ивану Даниловичу или сам сделается тверским князем, а вместо ваших бояр ордынских князей поставит.

— Это все тут написано? — спросил вечевой дьяк, принимая свиток из рук Мустафы.

— Тут написано по-татарски, а вот и перевод, — сказал Мустафа.

— Читай, — сказал дьяку князь.

Дьяк начал:

— «Собаке нечестивому, свиноеду, крамольнику, противнику великого царя, господина моего Узбека хана, посол его Чол-хан посылает тот лист, говоря: ежели ты, собака, бывший тверской и всея Руси великий князь Александр, сейчас же верных царевых слуг и великой басурманской веры поборников избиение не прекратишь, собачьего крамольного собрания не разгонишь, всех виноватых не перевяжешь, пятьсот рублей серебра не принесешь, оружия не отдашь и на двор ко мне на мой суд и на милость не придешь, то я сейчас же всех вас перебить прикажу, город ваш истребить, жен и детей в полон взять велю!»

Дьяк прочел это письмо твердо, громко, во всеуслышание и, поклонившись, отдал князю.

— Мое слово такое, — сказал князь. — Поди ты к послу и скажи ему, что если ему жалко крови человеческой, так пусть он сейчас же усмирит татар и сдастся мне в плен! Держать я его буду как следует; обиды ему и татарам его мы никакой не сделаем, а я завтра же еду в Орду и предстану пред ясные очи самого великого царя, расскажу ему, что здесь его посол делает. И скажу царю, что все мы — его слуги верные, но издеваться над холопами его мы не позволим и за веру нашу постоим!

— Точно, точно! — раздались из толпы голоса.

Мустафа плюнул, повернулся и пошел в великокняжеские хоромы. Все молчали.

— Эх, беда будет! — сказал шепотом князю епископ.

— Знаю, — отвечал князь, — но не выдавать же мне людей православных.

Ворота хором распахнулись, из них вышли Чол-хан и Мустафа. Чол-хан заговорил по-татарски, Мустафа переводил.

— Я велю татарам, — сказал Чол-хан, — бить вас до тех пор, пока ни одного не останется. Кто верен Хану, тот переходит на мою сторону: с этой минуты — я вам князь!..

Вече молчало. Чол-хан отошел в сторону — и из распахнувшихся ворот посыпались стрелы. Тысяцкий ударил в колокол, а Александр Михайлович провозгласил:

— За Спаса всемилостивого, за храмы Божии, за веру христианскую, за землю Русскую, за Тверь — славный город!

Он быстро сошел в толпу. Ворота хором захлопнулись, но поверх них продолжали лететь стрелы татарские. Русские, собравшись в кучу и накрывшись щитами, пошли выбивать ворота.

По́мост опустел, остался только тысяцкий у колокола, да соборный протопоп с причтом молились. Затем и они сошли.

Колокола гудели, слышны были крики, вопли; началось поголовное избиение татар — и правых, и виновных! Избивали купцов хивинских и бухарских, давно живших в Твери, избивали татарок, всегда сопутствовавших мужьям в походах и поездках.

Кровь лилась. Погребя и подвалы с медом и с пивом были разбиты, пьяный народ свирепел, грабил по дороге — и всем, даже своим, доставалось. Дьякон Дюдко

всюду являлся на своей кобыле, работая страшным топором, потом пал он, пала его кобыла; до конца стоял молчаливый Суета, весь облитый кровью. Тверская чернь обшаривала все подвалы, закоулки, отыскивая татар; в двух-трех местах вспыхнул пожар; а Чол-хан все думал, что это только начало, что сейчас пристанет к нему простой народ, что это не народ против татар идет, а князя да бояре. Смело и храбро бились его татары, стрелы носились тучами в воздухе.

Уже солнце заходило, когда татарам пришлось запереться в хоромах погибшего в Орде великого князя, а Чол-хан все не сдавался.

— Сдавайся, Щелкан! — кричали ему бояре.

Ответа не было; из каждого оконца сыпались стрелы и выдвигались копья.

— Сдавайся, Чол-хан, — говорили ему его приближенные, — наши все побиты.

— И мы погибнем, — отвечал он, — а не посрашим чести ордынской. Пророк уже ждет нас и причислит к лику мучеников за его святую веру.

Закатилось солнце; город был пьян от меда и крови. Из сеновалов княжеского двора тащили сено, солому, — высоко взвивалось пламя по потемневшему небу и трещали стропила. Рухнуло старое здание — ни одного татарина не осталось в городе. Улицы были заполнены пьяными и трупами. Мало кто спал в эту ночь, всюду слышались песни, крики, ругательства... Точно бред какой нашел на Тверь — и в бреду этом многие видели проклинаящую старуху.

ХII. ПАДЕНИЕ ТВЕРИ

Поздно ночью, прямо с пожарища, закопченный, окровавленный, оборванный, воротился великий князь Александр Михайлович к жене, матери и братьям, которые все время вместе с владыкой молились и за жизнь его, и за успех великого дела: освобождение Русской земли от татар. Он вошел в избу, отдал отрокам окровавленный топор, с него сняли разорванный обгоревший плащ, кольчугу и шлем. Князь выпил ковш меду, умылся и переоделся.

— Теперь что будет? — спросила его угрюмая мать. — Что будет?

— Завтра же еду в Орду, предстану перед ханом и расскажу ему обо всем, — сказал владыка Варсонофий.

— Зачем? — возразил Александр.

— Ну нет, владыко святой, — захохотал Константин, — этому больше не бывать! Теперь из нас никто в Орду не поедет.

Владыка покачал головой.

— А что будет с Тверским великим княжеством? — спросил он.

Старуха Анна Дмитриевна сидела молча и сосредоточенно — пред нею стояла кровавая тень мужа и старшего сына.

— А будет вот что, — встрепенулся Александр. — Народ теперь и помимо моей воли по окрестностям Твери избивает татар поганых. Весть о нашем деле разойдется по всему Тверскому великому княжеству — и вся Русь встрепенется.

— Княже, — сказал Варсонофий, — послушай меня, старика! Новгородцы за тебя не встанут, а Москва против тебя пойдет.

— Эх, правда, правда!.. — проронила старая княгиня. Молодая жена Александра Михайловича стояла, пригорюнившись, у печки и глядела на него с любовью, верой и сомнением.

— Давайте ужинать, — сказал Александр. — Я устал. Утро вечера мудренее.

За ночь азарт у тверичан прошел, и все стали толковать и судить: что из всего этого выйдет. Отроки тысяцкого собирали убитых, в Спасском соборе служили по павшим панихиды, трупы татар вытаскивали крючьями, валили на возы и отвозили за город — хоронить в общей яме. Князь с боярами думал думу, но дума вышла бестолковая. Все храбрились и хорохорились, а пуще всех бояре Мороз и Макун. По их мнению, нужно было по всем церквам в Твери отслужить благодарственный молебен за спасение христианства и тут же облечь великого князя Александра Михайловича в сан вольного царя всея Руси.

Другие говорили, что надо немедленно идти на Москву и завоевать ее. Словом, думали битый день и ровно ничего не решили. Другой, третий, четвертый день прошли в таких же переговорах, а между тем Тверь зажила обычной жизнью. Купцы заторговали, народ заработал, на пожарищах старых хором начали ставить новые,

а Александр Михайлович все еще обдумывал, что ему предпринять. Владыка Варсонофий раза два намекал, что лучше всего ехать в Орду, с повинной головой к Узбеку,— но его никто не слушал. Все как-то располагало к спокойствию и ничего не деланью, хотя всем было тяжело, и все чувствовали, что добром все это не кончится.

В Москве, напротив, все делалось быстро.

Дня через три после Успения к крыльцу терема Ивана Даниловича, весь в пыли и в поту, прискакал какой-то незнакомый человек и с тверским говором сказал, что ему нужно безотлагательно повидать господина великого князя. Это был молодой человек высокого роста, плечистый, белокурый, с маленькими беспокойными глазками, которые так и шныряли во все стороны из-под широких белобрысых бровей.

— Ты от кого? — спросил княжеский постельничий, случившийся в сенях.

— Я сам от себя,— сказал незнакомец.

— Чего же тебе надо от господина великого князя?

— Сходи к нему и скажи, что я из Твери очень важную весть к нему привез.

В конце концов незнакомца на всякий случай обыскали и провели в молельню. Вскоре туда прошел князь.

— Прикажи говорить, господине великий княже! — сказал он.

— Говори,— сказал Иван Данилович, садясь на лавку у самых дверей.

— Беда у нас в Твери стряслась: в Успенье всех татар с самим Щелканом народ перебил.

Иван Данилович только бороду расчесал, уставившись глазами на незнакомца.

— Господин великий князь Александр Михайлович сам вел народ и сам отцовские хоромы и Щелкана спалил.

— Ну, а мне-то что? Разве я этому делу причастен? — спросил мнительный и осторожный Иван Данилович.

— Сироты твои, господине великий княже, бояре тверские, сама великая княгиня Михайлова, да великая княгиня Александрова Михайловича, да княгиня Константинова Михайловича, послали меня к тебе тайком от князя. Вступись перед ханом Азбьяком за сирот твоих и за неразумного князя тверского.

— Ишь ты, грех какой,— задумчиво сказал Иван Данилович.— А ты кто таков будешь?

— Панкратием меня зовут, дьяконов сын, Дюдков.

— Того, голосистого? — спросил Иван Данилович, хорошо знавший все духовенство Руси.

— Его самого. Татары и его убили.

— И его убили? — переспросил Иван Данилович, качая головой. Дюдко ему очень нравился, и он думал как-нибудь переманить его в Москву в Успенский собор.

— На него, господине великий княже, на первого и напали, — продолжал Панкратий, несколько приободрившись. — Всех христиан в свою веру хотели поганые перевести, а пуще всего на церковников злились, — говорили, что так как святитель Петр преставился, то теперь и ярлык его силу потерял всякую.

Иван Данилович встал, нахмурился и остановился в дверях, повернувшись боком к Панкратию.

— Ты никому об этом в Москве не говорил? — спросил он.

— Никому, твое благородие!

— Оставайся здесь и никому ни слова!

Иван Данилович удалился. В сенях он сказал отрокам, чтобы подали гонцу есть, принесли ему пуховик и подушку, — и затем послал за боярами.

Собрались бояре в думе великого князя и толковали долго, весь день и почти всю ночь, после чего позвали дьякона и печатника и заставили их писать письмо. Уже перед самым рассветом письма были запечатаны, розданы гонцам, и скоро московские собаки подняли оглушительный лай в разных концах города, потому что из разных застав выезжали вооруженные всадники, скакавшие во всю прыть. Куда и зачем — не было известно.

Лишь через неделю до остальной Москвы дошли слухи о тверском деле. Она встрепенулась и заговорила.

В самом деле, событие было такое, что о нем нельзя было не задуматься. Еще не было такого, чтобы в столице одного из самых больших тогдашних русских государств произошла повальная резня татар, при которой погиб бы не только татарский посол, но даже родственник вольного царя. Больше всего занимал москвичей один вопрос: что станут делать теперь тверичи? Между тем из Твери не доходило никаких положительно вестей. Толков было много; множество тверичей перебиралось в московскую землю, уходили целыми семействами в Литву, как будто ожидая погрома.

Гонцы и днем и ночью скакали по московским улицам. В Москву приезжали послы новгородские, рязанские, ростовские, суздальские, вся Русь была встревожена — и становилось как нельзя более ясно, что от Москвы теперь все ждали, что она скажет и как поведет дело...

И вот на Введение зазвонили в Москве колола, по всем церквам и обителям служили напутственные молебны великому князю московскому Ивану Даниловичу, которого Узбек вызывал в Орду. После молебна великий князь вышел из церкви, поклонился народу, просил его простить, если к кому в чем несправедлив был, просил о великой княгине своей, о детях; поручил их заботам бояр и тысяцкого Протасия, которого, как представителя народа и потому правителя Москвы в отсутствие князя, обнял, расцеловал — и затем отправился в свои хоромы.

Наутро, в годовщину насильственной смерти Михаила Ярославича, — московский народ толпами провожал Ивана Даниловича в Орду.

Недолго задержали его на этот раз в Орде. Узбек был взбешен непокорностью тверских князей и решил дать страшный урок Руси. Как ни молил его Иван Данилович, сколько ни дарил его приближенных, ничего не мог сделать. «Хочешь доказать твою верность, — говорил ему Узбек, — сотри с лица земли великое княжество Тверское! А не сделаешь этого — не видать тебе Москвы, потому что я сам всей Ордой двинусь на Русь и все истреблю». Все, что мог выхлопотать Иван Данилович, которому противна была роль палача Руси, было то, чтобы с ним было послано пять ордынских темников. Если считать, что темник предводительствовал десятитысячною ратью, то шло на Тверь пятьдесят тысяч войска, не считая отдельных отрядов ордынских воевод: христианина Федора, мусульман Чуки и Туралака, буддиста Сюги и прочих. С ними же должны были идти князь Александр Васильевич Суздальский да дядя его — князь Василий Александрович. Они взяли Тверь, Кашин, разорили все тверские города, выжгли села, повели тверичей в полон. Торжок и область торжковскую опустошили и повернули было к Великому Новгороду, который, несмотря на свою дружбу с московскими, был заподозрен в союзе с тверичами Ордой. Старейшему Узбеку вся Русь казалась скопищем мятежников. Иван

Данилович с московскими боярами на Новгород, однако, не пошел, а уговорил новгородцев выслать послов к татарам с дарами и с огромною суммой в пять тысяч новгородских серебряных рублей. С огромным полоном, с богатым грабежом вернулись по весне татары в Орду — и по дороге ими был убит другой соперник Москвы, Иван Ярославович Рязанский, племянник Константина Романовича, зарезанного в Москве Юрием.

«И было тогда, — говорит летопись, — вся Русской земле великая тягость, и томление, и кровопролитие от татар. И заступи Господь князя Ивана Даниловича и его град Москву и всю его отчину от пленения и кровопролития татарского...»

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

Н. ЧМЫРЕВ

АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ



I. КОМЕТА

Одна за другою катятся волны Волхова, сердито нагоня друг друга; они сталкиваются, разлетаются брызги серебряными искрами, гребни волн пенятся, река рокошет, будто гневаясь на кого. На небе царствует полная темнота, только горят ярко мигающие звезды.

Кругом тишина; весь Новгород уснул сном мертвым, только кое-где блестят еще огоньки да в доме боярина Всеволожского не покойно; к нему собрались гости и пируют с хозяином.

А в тереме у открытого окна в темноте сидит боярыня Марфа Акинфиевна Всеволожская. Она вглядывается в сад, раскинувшийся перед хоромами и достигающий до самого Волхова. Чутко прислушивается она к малейшему шороху, но хохот и шум пирующих гостей заглушает все. Чуть не плачет боярыня при взрывах этого шума, руки ломает с досады, кика на ее голове сбилась на сторону, она жмет ей голову, давит ее.

— Окаянные! Чему радуются? — шепчет боярыня. — Им радость, а мне горе.

А Всеволожскому действительно была радость, он со своими сторонниками и приятелями праздновал победу над своими недругами. Немало стоило ему усилий, немало было сделано затрат, для того чтобы собрать новгородскую голытьбу и заставить ее собрать вече, выполнить его, Всеволожского, волю, прогнав из Новгорода князя Александра Ярославовича. И теперь он добился своего. Несмотря на старания и хлопоты сторонников

княжеских, партия Всеволожского одержала верх и попросила князя оставить город. По этому-то поводу и пировал боярин, эту-то победу и праздновал он.

А боярыня сидит и томится в своем тереме; вдруг вдали из-за Волхова выкатился громадный багряный шар луны и в одно мгновение озолотил листья. Боярыня вскочила с места и как была вышла из терема и тихо спустилась в сад. Оглянувшись тревожно вокруг, она быстро направилась в глубь сада, по направлению к Волхову. Подойдя к берегу, она начала всматриваться вдоль реки. Золотым дрожащим, колеблющимся светом отражалась луна в разбушевавшемся Волхове. Внимательно прислушивалась боярыня, но кроме плеска волн ничего не было слышно.

«Аль не придет, аль не удалось вырваться?» — думается ей, и при этом невольно замирает ее сердце.

Вдали по волнам скользнул какой-то темный предмет, сердце дрогнуло у боярыни, а темное движется ближе и ближе, вот это темное въехало в золотой снои лунных лучей.

— Он, он, — шепчет боярыня.

Она ясно различала теперь лодку с сидящим в ней человеком, одетым в блестящие доспехи; усердно гребет он веслом, потом вдруг круто повернул лодку к саду Всеволожского и скрылся в густых, нависших над водою ветвях ивы. Боярыня замерла на месте; ей хотелось броситься в ту сторону, где остановилась лодка, и в то же время, казалось, силы оставили ее, она застыла, окаменела. Послышались тяжелые шаги; боярыня, преодолев себя, бросилась вперед.

— Марфуша? — тихо, чуть слышно слышался голос приехавшего.

— Михайло! Светик мой, желанный мой! — дрожащим голосом говорила боярыня, бросаясь к нему на шею и обвивая ее своими белыми, полными руками.

— Вышла? Не видали? — спрашивал Михайло.

— Где им, у окаянных пир горой идет, радуются, что князь ушел.

— Ладно, пусть тешатся, долго ль потеха эта будет длиться-то. Жив не останусь, пока не разделаюсь со своим зодеем, — говорил Михайло.

— Ох, как подумаю я, подумаю обо всем, так сердце и замрет, не бьется, дышать нечем.

— Что так, голубка моя, чего боишься?

— И сама не знаю, только доброго что-то не ждется; кажись, и родилась я только на одно горе.

— Полно, будто уж и радости не было никогда?

— Да только и радости, вот как тебя увижу, только тогда и на душе легче станет, а уйдешь, хоть в Волхов бросайся: тоска, да горе, да кручина лютая. Что я буду одна, без тебя?

— Бог милостив, не на век расстаемся с тобой; коли не удастся самому с лиходеем справиться, так и сам старый дьявол поколеет, не два же века жить ему!

Жарко обнимает Михайло боярыню, он чувствует, как трепещет ее молодая грудь, как быстро, сильно бьется ее сердце. Он видит только пылающее лицо боярыни, ее горящие страстию, подернутые негою глаза, видит и забывает все на свете.

Первая очнулась боярыня. Она закрыла руками лицо, торопливо запахнув распахнутую душегрею. Она тихонько освободилась и вдруг начала всхлипывать, эти всхлипывания тотчас же превратились в истерические рыдания. Перепуганный дружинник бросился к ней.

А она к нему льнет, как голубка ласкается, и обнимает он ее, сильно прижимает к себе и целует, целует без конца.

Вдруг она вздрогнула и, задыхаясь от страха, проговорила:

— Гляди, гляди, страсти какие!

— Что глядеть, где?

— Вон, над Волховом!

Михайло взглянул и обомлел. По ту сторону Волхова по небу спокойно плыла громаднейшая комета, обращенная хвостом к Новгороду, словно уходя из него, в Волхов, в отражении она казалась еще длиннее.

— Не к добру это, не к добру, — шептала боярыня.

— Бог весть, — задумчиво проговорил Михайло. — Кому не к добру это знамение, а кому, может, и к добру; может, оно нам счастье предсказывает!

— Ох, Михайло, страшно мне!

Михайле не пришлось отвечать. Из дома Всеволожского слышались голоса, с каждым мгновением они приближались.

— Пойдем на лодку, — проговорил Михайло смущенно, — а когда они уйдут, я тебя высажу.

— Нет, нет, негоже так, прощай, я сумею пробраться в дом, прощай, любый, дорогой! Буду ждать завтра, —

проговорила Марфа, быстро целуя дружинника и отталкивая его.

Михайло скрылся в кустах, боярыня вздохнула немного свободнее тогда только, когда слышался плеск весел.

Затаив дыхание, едва слышно, опасаясь малейшего шороха, пробиралась боярыня через кусты жасмина и сирени.

Наконец голоса стихли у Волхова, и боярыня как серна бросилась к дому.

Дружинник между тем, отъехав от сада Всеволожского, бросил весла и задумался. И светло было у него на душе.

«Что ж, что любит, — думалось ему, — да нешто она моя? Потайные только свидания, а больше и ничего, да и тут анафема мешает. Ну, не жить мне на свете, коли я с ним не расправляюсь за все, и за нее, мою любушку, и за князя».

На востоке забелела полоска утренней зари, луна исчезла, только комет, чуть сдвинулась с места, хотя побледнела еще более.

На улицах не унимался говор.

«Одначе куда же мне теперь деваться-то? Эти вольные люди, пожалуй, меня теперь в колья примут, на глаза им попадаться не след, вишь, как их знамение-то передернуло, ночь не спят, — раздумывал дружинник. — Нешто к боярину Симскому? А он, поди, теперь спит...»

Он все-таки повернул лодку к знакомому месту. Вдали забелел дом, но ни одного огонька не светилось в его окнах, только одно было приподнято, и зоркий глаз Михайлы различил в нем фигуру. Он направился прямо к окну.

— Кто такой? — вдруг слышался оклик.

— Аль не узнал, боярин? — отвечал Михайло, услышав знакомый голос.

— Никак, это ты, Михайло Осипович? — весело проговорил боярин, выходя в сад.

— Кому ж и полуночничать-то, как не мне!

— Ну, рад, до смерти рад, — говорил Симский, обнимая Михайло, — то есть вот как рад, что тебя увидал, и сказать-то не сумею!

— Спасибо, боярин, на привете да добром слове.

— Ну, пойдем в хоромы, а то тебе с дороги-то и повечерять нужно.

— Не поздно ли о вечере-то разговор вести?

— Да я и сам еще не вечерял: словно сердце чуяло, что ты придешь.

Они вошли в хоромы; на столе стояли различные блюда, кубки и жбаны, приготовленные к ужину, словно для нескольких гостей. Любил боярин Симский покушать и выпить всласть.

— Ну какими же ветрами тебя к нам принесло? — спрашивал Симский, усаживая за стол.

— Не ветром, боярин, а Волховом. Отпросился у князя во Псков с родителем повидаться; Бог весть, придется ли еще со стариком свидеться.

— Что так, аль о смерти задумал?

— Чай сам знаешь, в которую сторону иду. Здесь у вас вольных людей только в Волхове топят, а там земля подневольная, татарвой переполнена, того и гляди, какой-нибудь поганый голову снимет.

— Не узнаю я тебя, Михайло Осипович, куда твоя удаль девалась?

— Да я так, к слову только сказал, да и старик мой куда древен, того и гляди, помрет.

— Долго там пробудешь?

— Недельки две полагаю.

— А оттуда завернешь к нам?

Михайло несколько смутился, но быстро оправился:

— А что мне здесь делать-то? Вишь, вашим вольным людям не по сердцу мы с князем пришлись, ну и пусть остаются одни.

— Каким вольным людям, одному Всеволожскому только.

— Как так Всеволожскому? Ведь все кланялись князю о выезде.

— Вот то-то и горе наше, что на вече у нас толку нет. Сидел я, Михайло Осипович, и думу горькую думал, вот глядя на знамение: не к добру оно нам. Сам Бог указывает это, за грехи наши, знать, наказание пошлет. И чудное дело! Как с самого начала не было у нас никакого порядка, так и доселе нет его; народ уж у нас такой!

— Вольный! — засмеялся Михайло.

— Какой там вольный! Виданное ли дело, чтобы голытьба делом правила? Вот и хороводят ими на вече такие, как Всеволожские.

— Вы-то что смотрите, ведь вы тоже люди вольные!

— На всяк час не убережешься, ну а в этот последний раз мы опростоволосились, сами виноваты, ну, да не

беда, поправим дело. Заворачивай-ка к нам из Пскова, сам увидишь, может, и пригодишься, лишние руки никогда нелишни.

— Что такое?

— Оно хоть бы и не след пока говорить, да тебе сказать можно: ты свой человек. Посадник наш — древний старик, того и гляди, помрет, нужно будет выбирать другого. Вот в посадники-то и задумал забраться Всеволожский. Смекаешь?

— Пока ничего.

— Можно бы было и теперь поклониться посаднику, — продолжал Симский, — уходя на все четыре стороны, да, вишь ты, князь помехой был; нужно было сначала с князем разделаться. Собрал чуть не со всех новгородских концов голытьбу и давай подкупать и спаивать, а мы ничего не знаем и не ведаем. Ударили в колокол, бросились мы туда, а там уж стон стоит; кричат: кланяться князю. Мы и так и сяк, да что ж поделаешь: нас всего горсть, того гляди, спьяну в Волхове перетопят. Вот и мы теперь ему голову свернем тем же манером. Понял теперь?

Появились первые солнечные лучи, когда гость и хозяин улеглись спать.

II. ПРОШЛОЕ

Спешно вбежала боярыня в свой терем и повалилась на лавку. У нее захватывало дыхание. Едва отдышавшись и чуть успокоившись, она почувствовала непреодолимое желание помолиться пред Пречистой, так кротко, милостиво глядевшей на ее. Долго молилась она, горячо молилась, услышав тяжелые шаги мужа, направлявшегося к ней в опочивальню.

Всеволожский вошел в терем и при виде молящейся жены остановился у дверей. Лицо его было мрачно, глаза сурово глядели из-под седых, густо нависших бровей. Видно, что что-то тяготило. Он крикнул.

Боярыня медленно поворотила голову, и лицо ее искалось, тоска заблестела в ее черных глазах. И болью, жгучею болью сжалось ее сердце.

Красота боярыни поразила Всеволожского. Он невольно отвел глаза, перед ним бледнела комета. Еще суровее сделалось его лицо. «На грех лукавый наводит!» — пронеслось в его голове.

— Ты что же это растрепалась да опростоволосилась? — сердито говорил он. — Что не спишь? Тут знамение Господне, а она полуночничает!

— За грехи, за князя Бог посылает знамение! — резко сказала боярыня.

Этот тон, небывалый, никогда прежде им не слышанный, поразил боярина, он оглядел с ног до головы жену.

— Не твоего бабьего ума это дело, ложись лучше спать, — проговорил он.

Боярыня дрожащими руками начала раздеваться; она чувствовала себя как на пытке.

— Спи одна, я к себе пойду, мне недосуг! — молвил боярин, поворачиваясь к двери.

Боярыня вся вспыхнула, она не ожидала такого конца. Едва успел выйти Всеволожский, как она бросилась к двери и заперла ее на задвижку. Благодарными глазами взглянула она на образ.

— Господи, неужели моя грешная молитва услышана!

Веселая, радостная, бросилась она в постель, но сон бежал от нее. Да и какой сон, когда она в эти минуты чувствовала себя счастливейшей на земле. Ведь с девичества, со дня замужества, не проводила Марфа такой ночи.

И вспоминается ей прошедшая жизнь. Помнит она себя девочкой, сурового, строго отца, добрую, ласковую мать. Помнит она и сад свой роскошный, в котором провела чуть не все свое детство. Тенистый, хороший сад. Помнит раскидистую, увешанную красными большими плодами яблоню, под которой проводила чуть не целые дни.

Помнится ей и случай один. Сидела она под этой яблоней, вдруг на тыну послышался треск, она подняла голову и не без испуга увидела сидящего на тыне кудрявого, краснощекого мальчишку; в одно мгновение он спрыгнул и был возле нее.

Марфуша от страха просто замерла.

Мальчишка, не обращая на нее ни малейшего внимания, взобрался до первой ветки, потряс — и яблоки градом посыпались на землю. Он соскочил и начал их бесцеремонно подбирать в подол.

— Ты зачем яблоки наши берешь? — решилась наконец спросить девочка.

— А у нас нетути яблоков, а мне их хочется, каждый день буду сюда за ними ходить!

— А я тятке скажу! — вздумала пугнуть его Марфуша.

— А это ты видала! — пугнул ее в свою очередь мальчишка, показывая ей кулак.

Девочка притихла, глядя, как тот совершенно спокойно взобрался на плетень.

Прошло несколько дней; Марфуша боялась ходить в сад, но как-то они снова столкнулись у той же яблони. Мальчишка проворно собирал плоды, Марфуша боязливо остановилась, тот на нее покосился.

— Говорила про меня тятке или нет? — подозрительно спросил он ее, глядя исподлобья.

— Нет, не говорила, — пролепетала Марфуша.

— Ну, на тебе за это, — сказал тот, подавая ей в подарок ее же яблоко. — А тебя как зовут?

— Марфуша! А тебя?

— Меня-то? Меня Мишуткой кличут. Солнцев Мишутка, вот тут рядом живем с тяткой.

С этого дня между ними завязалось знакомство; чуть не целые дни проводили они вместе; но подошла осень, и свидания их прекратились. Вскоре старик Солнцев выехал с сыном из Новгорода во Псков.

Прошли годы. Марфуша сделалась красавицей невестой, на которую не один боярин зарился.

И вот Новгород встрепенулся. Ждали славного, прославившегося своею храбростью и умом князя Александра Ярославовича, призванного к себе на княжение новгородцами.

С раннего утра загудел в соборе Святой Софии колокол; со всех концов потянулись граждане в собор. Шла с отцом и Марфуша; хотелось и ей взглянуть на русское красное солнышко, как все называли Александра Ярославовича.

На амвоне показался владыка в полном облачении, с крестом в руках, окруженный духовенством.

— Идет, идет! — пронесся шепот.

В собор вошел князь. Его вид поразил всех, — это действительно был красное солнышко. В блестящих воинских доспехах, с наброшенной на плечах малиновой мантией, высокий, стройный, с рассыпавшимися по плечам темными кудрями, небольшой бородкой, он светлым взглядом окинул собор и собравшийся в нем народ и начал проходить к амвону, приветливо раскланиваясь.

Его сопровождали несколько дружинников. Взглянула

на одного из них Марфуша и зарделась; сердце забилося сильнее, она опустила глаза, потом снова подняла их на дружинника; тот тоже с краской в лице пристально всматривался в нее.

— Мишутка,— прошептала Марфуша, и чем-то родным повеяло от этого бравого, красивого дружинника.

Целой вечностью казалась Марфуше обедня. Еще несколько раз взглядывала она на Солнцева и каждый раз встречалась с ним взглядом.

Наконец богослужение окончилось, но народ не выходил из собора в ожидании выхода князя. Приложившись к кресту, он пошел к выходу, вслед за ним шел и Солнцев. Поравнявшись с Марфушей, он отвесил ей низкий поклон, та слегка наклонила свою головку. Гневом сверкнули отцовские глаза, с силою схватил он и сжал ее руку.

— Давно ли с дружинниками шашни свела? — прошипел старик, когда они вышли из собора.— Кто таков, говори без утайки?

— Не знаю,— прошептала Марфуша,— кажись, Солнцев, ребятами с ним в саду игравали.

— Гляди, еще увижу поклоны, ни ему, ни тебе голов не сносить!

Больше ни одним словом не обмолвился старик о Солнцева, только перепуганная гневом отца Марфуша затуманилась и закручинилась. Влекло ее сердечко в собор, словно чуяло оно, что она увидит там друга сердечного, но и боязно было, не подумал бы чего отец.

Прошло две недели, наконец она не выдержала и отправилась ко всенощной. С бьющимся сердцем вошла она во храм и сразу же увидела его. Еле устояла на ногах она, не выстояла и половины, моченьки не хватало. Шатаючись вышла она из собора. На дворе темно, ничего не видно; идет она темною улицею и слышит за собою шаги.

— Добрый вечер, боярышня! — раздается добрый, ласковый голос.

Вскрикнула она и отшатнулась: он перед нею.

— Аль, боярышня, Мишутку не узнала?

— Как? Вестимо, узнала,— чуть не плача, говорит Марфуша,— только уйди ты от меня, ради Создателя уйди!

— За что же гонишь-то? — дрогнувшим голосом спрашивал Солнцев.

— Уйди, увидит кто, беды не оберешься.

Но он все-таки проводил ее чуть не до самых ворот. С бьющимся сердцем, с покрасневшимися щечками и блестящими счастьем глазками возвратилась Марфуша домой.

И потянуло ее с той поры на богомолье, ни одной всенощной не пропустит, только страшно боится, как бы не узнали об этих проводах.

Вспомнила Марфа и первый поцелуй, и объяснение их.

Теперь уже не нужно было искать свиданий на улице. Много было укромных мест в том саду, где они проводили детство.

Но и добрые люди не спали, удалось им подглядеть гулянки дружинника к боярской дочке; пошли разные слухи с разными небылицами, долетели эти слухи и до строго отца Марфуши. Как туча черная заходил старик. И раз все-таки застал он их в саду, услышал их нежный разговор и поцелуи.

Избитую Марфушу старик схватил за волосы и потащил в хоромы. В ужас пришла боярыня при виде окровавленной любимой дочки. Взыла было она, но тотчас же должна была умолкнуть, когда зыкнул на нее не своим голосом старик.

Муки Марфуши не кончились; едва она пришла в себя, как по ней начала гулять ременная плеть.

Вся избитая, с кровавыми рубцами, пролежала боярышня две недели без памяти. Да и опомнилась она не на радость. Потянулась жизнь хуже подневольной! Шагу из покоя нельзя сделать, да и в покое-то жизнь не радость: не отходит от нее мамка ни на шаг,дохнуть не даст свободно.

Прошла осень, наступила зима. Сохнет и чахнет Марфуша. Где-то теперь ее милый, что думает, что делает, аль нашел себе другую любушку? И слезы, горячие слезы ручьем льются из глаз ее.

Но еще пуще горе ждало Марфушу.

Выдался куда красен день. С самого утра заиграло солнышко, словно серебряная, кованная скатерть заблестел бриллиантами снег по саду. Взглянула в окно Марфуша, и словно легче стало на душе у нее. Но не долго радовалась красная девица. Около полудня к ней в покой вошла мать невеселая, с заплаканными, распухшими, красными глазами. Взглянула на нее боярышня — и сердце дрогнуло, чуя что-то недоброе.

— Одевайся, Марфушенька, — чуть не со слезами го-

ворила старуха, — одевайся, родимая; надень что ни на есть лучший сарафан свой.

Обомлела Марфуша, испугалась.

— Зачем, матушка? — спрашивает с тревогой.

— Отец приказал; нынче твое благословение, — отвечала старуха, глядя жалостно на дочь.

— Какое благословение? — вся помертвев, спрашивала Марфуша.

— Отец по рукам ударил с боярином Всеволожским, за него выдает тебя, — говорила мать, а у самой слезы так и виснут на ресницах.

— Матушка родимая, вступишь, голубушка! — с рыданием взмолилась Марфуша, падая в ноги матери. — Вступишь, не губи ты свою дочку родимую!

— Марфушенька, голубушка, что же я с отцом-то поделаю? Пойми сама, что мы с тобою перед ним? Он нас словно соломину какую ломит; что же с ним поделаешь, покориться нужно; одевайся-ка, сам прислал, уж гости собираются.

Обомлела боярышня, сердце перестало, кажись, биться у нее, кровинки не осталось в лице, словно закаменела она; поплакать бы, слезы из глаз нейдут, словно повисохли все. Но вдруг, словно решилась она на что-то, поднялась со пола и молча, торопливо начала одеваться.

Хороша была Марфуша, одетая в серебряный парчовый сарафан. Ее бледность, черные, блестящие глаза придавали особенную прелесть. С удовольствием взглянул на нее отец, когда она вышла к гостям, просиял жених, увидав красавицу невесту; ахнули гости. Точно мраморная статуя стояла Марфуша рядом с ненавистным женихом во время обряда благословения.

Обряд кончился. Сияет жених счастьем, только невеста как окаменелая стоит на месте.

— Марфа! — строго окликнул ее отец.

Но боярышня, как подкошенный колос, без памяти повалилась на пол.

Все бросились к ней.

— Ничего, пройдет: все девки таковы; известно, на первый раз пред людьми стыдно, а там обойдется, попривыкнет — и самой любо будет!

Прошло три страшных, мучительных дня. Снова стали одевать Марфушу.

— Погребают, погребают! Господи, хотя бы Михай-

ло вступился, хотя бы он меня вырвал! А он, поди, ничего, не знает!

Безжизненную, полумертвую свели Марфушу с крыльца. Бессознательная вошла Марфуша в церковь, бессознательно подошла к аналою и стала рядом с Всеволожским, только мертвенная бледность разливалась по лицу ее.

«Что скажет Миша, что подумает обо мне? А что, коли он здесь!» — невольно пришла ей в голову мысль, и она повела по сторонам глазами и чуть не упала.

В двух шагах от нее стоял Солнцев — бледный, худой, по-видимому, не менее ее мучившийся разлукой; глаза его черные, горящие впились в нее. Взглянула она на него, и столько было в этом взгляде любви, ласки, мольбы и вместе с тем отчаяния. А он глядел на нее с ужасом, понимая, что отнимается у него жизнь, всякая надежда на счастье.

Обряд окончился; старик нагнулся к ней за поцелуем; она стояла безжизненная, но едва коснулись ее губ старческие, мертвые губы мужа, она с отвращением отшатнулась назад, вскрикнула и зашаталась. Ее подхватили под руки и вынесли из церкви.

Потянулись с той поры дни для Марфуши хуже адской жизни. Мается молодая день, мается она и ночь, нет ни минуты покоя бедной, и вечно перед ее глазами торчит старый, постылый муж.

Наконец проглянуло для нее и солнышко. Нежданно-негаданно встретилась она с Солнцевым. Грустна, тяжела была первая их встреча. Потом боярыня ухитрилась свидываться с любимым по-старому: теперь отца не было; если и грозен был для нее старый муж, так этого она не так и боялась, как отца, да и провести его умела. Уж больно он много думал об уме своем да хитрости, а таких-то перехитрить легче. Только после этих свиданий тяжело было ей возвращаться в свою опочивальню и глядеть на постылого мужа.

А ныне вот Бог и счастье послал. Угорела она от этого счастья; о чем думала, мечтала всю свою мученическую жизнь, все сбылось нынче, и постылого нет, знать, знамения небесного испугался, и вправду, должно, говорил Михайло, что кому не к добру оно, а нам к счастью. Дай-то Бог!

III. ЗА КНЯЗЯ

После описываемых событий прошло три недели, и тревожные слухи достигли Великий Новгород. Исконные враги — шведы, появившись в области новгородской, начали опустошать села и деревни, лежащие по берегу Невы и Финского залива. Каждый день доходили до Новгорода слухи один другого тревожнее. Смутились новгородцы; знали они, что не совладать им с врагом: невольно вспоминался князь с его стойкой и крепкой дружиной.

А теперь что делать? Наберется, положим, рать, да какая рать-то будет? Толпа толпой: как встретится с врагом, так и даст тягу. Храбрости хоть и не занимать новгородцам, да к ратному делу не приучены они; да к тому же и воеводы искусного нет.

И невольно смотрят люди здравомыслящие со злобой на голытьбу и бояр, заставивших князя оставить Новгород беззащитным. Всеволожский, наоборот, радовался этим тяжелым обстоятельствам, он видел, что его планы удаются: «Пусть подумают, пусть вече созовут да спросят посадника, как быть, что делать. Посмотрим, что выдумает старый, а тут и я слово молвить буду; поглядим тогда, кому быть в Великом Новгороде посадником. Только людей подготовить на всякий случай нужно!»

И начал Всеволожский людей подготавливать. Полон двор у него голытьбой набит, пир горой идет, день и ночь празднует оборванная полуголодная толпа, распевает пьяные песни, величия хлебосольного хозяина и клянясь живот свой положить за него.

Ведает об этом Симский и его приятели, сторонники княжеские, ведают и как будто ничего не видят.

В доме Симского тишина; сам он заперся и никуда не ходит; только поздним вечером к его дому подходят какие-то люди, сидят с боярином взаперти далеко за полночь и выходят от него с набитыми деньгами мешками.

Видит Всеволожский, что дело у него начинает как-то расклеиваться, голытьба убывает со двора, остается только такая, которую впору метлой со двора гнать.

«Что за дело такое? — думается ему. — Уж не вороги ли мои козни строят!»

А того и не знал он, что эта самая голодная голытьба, клявшаяся положить за него живот свой, гуляет на сторо-

не, что имеется у нее денег вволю и что она же при первом случае сломит ему шею.

Ночью в хоромах Симского собрались княжеские сторонники.

— Так, значит, голытьба наша?

— Голытьба что, об ней и толковать нечего, а вон приятели Всеволожского не наделали бы чего!

— Я так смекаю, что без Волхова не обойдется!

— Вестимо, мы уж смекали об этом!

— Дело, пожалуй, будет жаркое.

— Какое будет — не знаем, а только наша возьмет

— Посадник-то что? Готов ли?

— Видал я его нынче. С Богом, говорит, начинайте дело святое.

— Когда же вече созывать?

— Да медлить нечего; завтра ранечко утром и ударим в набат.

В это время в покой вошел Солнцев. Симский бросился к нему навстречу и обнял.

— Вот уж подлинно друг, лучшего времени и придумать не мог, как явиться сегодня!

— Что так?

— А то, что пригодишься; завтра дело будет. А теперь милости прошу к столу садиться да не побрезговать хлебом-солью: чай, сейчас только с дороги, поустал да и проголодался.

— Правду молвишь, боярин, — весело проговорил Солнцев, отвесив поклон гостям и присаживаясь к столу.

— Из Пскова? — спросил его Симский.

— Прямо оттуда. Вспомнил, что ты зазывал к себе, ну вот и завернул, думаю завтра утром и дальше отправляться.

— Э, нет! Завтра-то ты не уедешь; говорю: дело есть!

— Да какое такое дело у тебя стряслось?

— А ты вот откушай сначала да винца заморского хлебни; вино знатное, привезли недавно купцы немецкие, а о деле поговорить еще успеем!

Гости один за другим стали расходиться, остались только хозяин да Солнцев.

— Вот теперь потолкуем и о деле, — заговорил боярин. — Дело такое, что тебе придется к князю гонцом ехать.

— Зачем?

— Да поведать ему, чтобы в поход собирался, а бить челом поедут уж наши именитые люди.

— Не возьму я никак, боярин, в толк, о чем молвишь ты.

— Чай, слыхал, что-нибудь про шведов?

— Слыхать-то слыхал, да князю-то что до этого Чай, вольные новгородцы сами сумеют отбиться от воров: народ они, почитай, храбрый.

— Ты не смейся,— заговорил Симский,— чай, знаешь, что нам не совладать с ворогом, потому рати у нас нет, да и воеводы не найдешь. Вот мы и подстроили дело так, как я тебе прежде сказывал.

— Что ж, голытьбу, что ли, подкупили?

— Подкупили, нет ли, только дело станет по-нашему

— Небось и Всеволожский за это время не дремал!

— Пусть его и бодрствовал, только не взять ему ничего.

— А коли засупротивничает, ведь, чай, сам знаешь, какое у вас вече: согласятся все, да один не согласен, ну и конец, все и соглашайтесь с этим одним обалделым.

— Зачем соглашаться, нешто те, кого больше, не сильнее супротивников?!

— А коли сильнее, так, значит, бессильных-то в Волхов аль так дубиной пришибить?

— Вестимо дубиной аль в Волхов спустить всякого ворога и супротивника Великому Новгороду и Святой Софии.

— Ну и порядки! Как пораздумаешься о ваших делах да порядках, так просто не вольные вы люди, а вольница!

— Что правда, то правда, греха не утаишь. Говорю, спокон века не могли с собой справиться.

— А выгнать бы эту голытьбу, куда спокойнее бы было.

— Эх, Михайло Осипович, друже ты мой, не в голытьбе вся беда; голытьба что! А вот эти бояре, да люди торговые, да именитые, что думают не о Великом Новгороде, а о себе только, да ради себя же и подбивают нашу голодную голытьбу, вот наше горе, вот кого извести бы следовало, тогда и порядок у нас другой пошел бы, и смут да раздоров не было бы! Так-то!

— Пожалуй, и так!

— Не пожалуй, а наверное! Ну да что об этом толковать, дело этим не поправишь, а лучше ляжем-ка на

покой, уж скоро рассветать станет, а завтра дела немало нам с тобой.

А Всеволожский между тем не спит, самые тревожные мысли одолевают его.

— Неужто все дело прахом пойдет? Вот шведы все больше и больше забираются к нам, того и гляди, к самому Новгороду подступят, самое время делать дело. Напугать народ разорением, да убийством, да пожарами, свалить всю беду на посадника, что он до сих пор ничего не делает, что он продал Великий Новгород врагу, оттого и рати не собирает, не поздоровилось бы старому, в один миг с посадников его столкнули бы, а то, пожалуй, заставили бы за измену и воды волховской хлебнуть. Тут-то и делать бы, да что же делать с этой проклятой голытьбой? Нажралась, напилась да и отхлынула; сыта, что ли, стала или сытнее моего корма нашла? А что как правда? Что как враги мои переманили ее? Да нет, этого быть не может! Все притихли, ни о ком ничего не слыхать!

На что уж Симский, и тот, словно монах в монастыре, заперся в своих хоромах: носа никуда не кажет. Нет, этого не может быть!

Со двора донеслась пьяная песня. Боярин вскипел гневом.

— Вишь, чертово отродье, перепилось, что с ними поделаешь, да и много ли осталось их!

Он захлопал в ладоши; вскоре на порог явился заспанный холоп.

— Пойди, — отдал боярин ему приказание, — да уйми эту сволочь: что они, дьяволы, глядя на ночь, разорались!

Холоп вышел. Боярин заходил по покою; сердце у него не на месте, ходит он взад и вперед со своими тревожными, тяжелыми думами.

— Нешто пойти на все: возьмет мое — ладно! Сгинет дело — пусть его. Была не была: ударю в набат, сегодня же ударю, как только закопошится народ на улице, как-нибудь справлюсь и со своими оборванцами. Остальные что? Бараны! Загалдят мои, к ним и другие пристанут: таков уж норов у них, — порешил он.

Но от этого решения еще тревожнее стало ему, какая-то робость, страх закрадывались в душу.

В это время розовым покровом загорелось небо, и блеснули блестящие золотые солнечные лучи.

— Скоро заутреня, — проговорил боярин, — а как кончится она, так и в набат будет впору бить. Скоро нужно и оборванцев своих поднимать, а то с ними мало ли провозишься!

В это время пронесся над Новгородом, в утреннем воздухе, удар колокола.

— Вот и к заутрене, только что-то словно не вовремя, кажись, раненько! — молвил боярин, набожно крестясь. — Пора голытьбу поднимать. — И вдруг он побледнел: послышался второй удар, вслед за ним третий, четвертый; над Новгородом разносился тревожный набатный звон.

— Что это? Пожар? Нет, нет, это вечевой колокол! — побледневшими губами шептал боярин. — Неужто я опоздал? — О проклятые!

А звуки набата будили мирно спавшее население города. Боярин наконец опомнился, схватил шапку и выбежал на крыльцо.

На дворе вповалку спало человек тридцать пьяной голытьбы. С отчаянием взглянул на них боярин:

— Что я с ними сделаю, что сделаю?!

А по улице шумными толпами бежал народ на Ярославов двор. Слыша этот шум и топот, боярин все более приходил в ярость.

— Вставайте, дьяволы, оглашенные! — кричал он на спавшую голытьбу.

Но никто и не повернулся, казалось, архангельская труба не в состоянии была бы разбудить их. Он бросился на двор и начал пинками поднимать голытьбу. Некоторые открывали глаза, перевортывались и, казалось, засыпали еще слаще. С налитыми кровью глазами, боярин, не помня себя, начал избивать их. Некоторые стали подниматься.

— Будите их, дьяволов! Слышите звон, зовут на вече! — кричал боярин.

В это время звон прекратился, на улицах затихли шаги, настала тишина, только гул многотысячной толпы доносился издалека. Наконец смолк и этот гул.

— Началось! — с ужасом произнес боярин. — Началось, опоздал я!

Голытьба лениво поднималась — у всех от вчерашней попойки трещали головы, все с недоумением оглядывались красными глазами, не понимая спросонок, где они и зачем поднимают их так рано.

— Берите остолопы, топоры, ножи — все, что под руку попадется! — кричал боярин.

Голытьба опомнилась, Всеволожский бросился на улицу, за ним двинулась и оборванная толпа.

— Опоздал, опоздал! — шептал в отчаянии боярин.

Между тем далеко еще до начала набата Симский и переодетый горожанином Солнцев были готовы, ожидая первого удара колокола. Наконец он послышался. Они вышли на улицу, и когда пришли на Ярославов двор, он был чуть не полон собравшимся народом.

— Важно, — проговорил, усмехаясь, Симский, — все — наши, наша возьмет.

Наконец набат смолк. Вскоре на помосте показался посадник и раскланялся с народом. Наступила мертвая тишина.

— Православные, вольные люди Великого Новгорода, — заговорил посадник. — Вам всем ведомо, что лютый, исконный враг наш, шведин, ворвался в наши области, жжет наши села, грабит и убивает народ. По Неве и по морю Балтийскому живой души не осталось, и все оттого, что у нас нет рати и некому наказать врага.

— Рать собери, все пойдем бить шведина! — послышался чей-то одиночный голос, но никто не поддержал его.

— Рать собрать всегда можно; знаю я, что и пойдете вы все. Новгородцы трусами никогда не были, похрабрее будем шведов, да беда лиха в том, что рать-то наша не обучена ратному делу, да и учить-то ее некому: воеводы у нас нет. Бывал я, правда, в походах, дрался и с ливонцами и со шведами, да куда же я теперь гожусь на ратное дело? Сами видите, стар я. Коли найдется кто у нас годный в воеводы, что ж, выберите его и пусть он ведет вас на врага, а защитить нашу область нужно.

Посадник смолк. В толпе пронесся гул; начали толковать; слышались некоторые боярские фамилии; гул становился все громче и громче, один голос выкрикнул даже имя Всеволожского. Дрогнул Симский при этом имени.

— Ну, теперь пора! — проговорил он и двинулся к помосту.

— Православные, дозвоьте слово молвить! — обратился он, сняв шапку, к вечу.

Посадник отошел в сторону, толпа смолкла, Симский повел речь:

— Посадник наш правду молвил, что нам не совладать со врагом, потому нет ни рати обученной, ни

воеводы нет. А ворог разоряет нас: того и гляди, что к самому Новгороду подойдет. Вестимо, защищаться будем, только какова защита будет. Настанет у нас голод, настанет мор, половина Великого опустеет, да и вороги не мало перебьют. И все это нам будет в наказание, за грехи наши, недаром послал нам Господь знамение: покаяние наше нужно. Помните, когда у нас был князь со своею дружиною, приходил ли в нашу землю какой ворог? Нет! А теперь как почуяли, что мы без защиты остались и что рати у нас нет, они и пошли разорять нас. Воеводы между нас не найти, и искать нечего, а, по моему, нужно нам бить челом какому-нибудь князю, чтобы он вступился за нас!

Симский поклонился и замолк. Подошел посадник.

— Волите ли вы бить челом князю? — спросил он.

Толпа молчала. Симский тревожно обежал ее глазами. Вдруг раздался крик Солнцева:

— Волим!

— Волим, волим! — подхватили тысячи голосов.

Симский облегченно вздохнул.

— А коли волите, — продолжал посадник, — так надо знать, какому князю челом бить. Князей на Святой Руси много, только все сидят по своим родовым городам, вряд ли кто согласится к нам идти.

Снова в толпе молчание, снова Симский выступает вперед.

— Вече решило бить челом князю, — заговорил он, — какому же бить-то? Никаких князей мы не знаем: можем ударить хорошему, а можем и ошибиться. Тогда опять пойдут у нас споры да ссоры с ним. На что, по моему разуму, лучше князя Александра Ярославовича. Мы его знаем, он добр, умен и храбр. Не один раз заступался он за нас. Мы виноваты перед ним, да он по доброте своей простит нам вину нашу. По-моему, так и просить о защите Александра Ярославовича!

— Александра Ярославовича! — криком порешило вече.

— Не волим, не волим его! — послышался яростный крик подоспевшего в это время Всеволожского.

— Не волим! — поддержали его оборванцы.

Толпа замерла.

— Не волим! — неистовствовала небольшая кучка людей.

Возле нее поднялись дубины, послышались крики и стоны.

— Пора, начинается! — проговорил Симский, бросаясь с лестницы.

— Уймите супротивников! — закричал он толпе.

Та ринулась к сторонникам Всеволожского и одним натиском вмиг отбросила их в сторону.

Видел Всеволожский, что с этой силой не совладать ему: сомнут, убьют — и дело будет окончательно проиграно. Оставалась одна надежда на мост: там если и проиграется дело, то все-таки можно защищаться, а почему знать, быть может, в конце концов и он верх возьмет. Надежда все еще не покидала его.

— На мост, ребята, за мною! — крикнул он своей голытьбе.

Та беспорядочной толпой бросилась на Волховский мост. Княжеские сторонники нагоняли ее. Всеволожский остановился на мосту и приготовился к защите.

Началась свалка: Волхов гостеприимно принимал в свои холодные волны новгородцев, защищавших свою вольность.

Вдруг глаза Солнцева сверкнули, он увидел Всеволожского. Он бросился на него, но боярин вовремя заметил нападение. Крепкою, сильною рукою схватил он дружинника за грудь, тот погнулся, но в то же мгновение со всего размаха нанес сильный удар в висок боярину. Всеволожский зашатался и со стоном рухнул в Волхов.

Побоище между тем ослабевало. Голытьба, увидев гибель Всеволожского и не зная, за кого ей драться, бросилась бежать. Мост опустел. Сторонники князя взяли верх.

На другое утро рано отправился Солнцев к князю, а вслед за ним двинулись и новгородцы бить челом о помощи Александру Ярославовичу.

IV ПЕРЕД ПОХОДОМ

Ликует, радуется Новгород; улицы его приняли праздничный вид, площадь переполнена народом. Все смотрят с ожиданием на городские ворота, где стоит посадник с лучшими именитыми людьми Новгорода.

Сегодня ожидают возвращения Александра Ярославовича, который, как рассказывали посланные к нему бить челом, принял их ласково, забыв нанесенную ему обиду, и обещал вступить за Новгород.

В Софийском соборе ожидал прибытия князя владыка в полном облачении, окруженный всем новгородским духовенством.

Наконец по улицам пронесся гул; проскакал всадник по направлению к собору, что-то сказал, и тотчас же загудел соборный колокол; его подхватили колокола остальных церквей. Гул висел в воздухе над Новгородом; звон колоколов сливался с кликами народа. Владыка с крестом в руках вышел на паперть.

Наконец показался князь на белом коне, как и прежде красивый, приветливый, ласково раскланивающийся с народом. Его окружили посадник с новгородцами и ближайшие дружинники, среди которых находился и Солнцев. Сзади двигалась дружина.

Князь, подъехав к собору, соскочил с коня, приложившись к кресту, вслед за владыкой вошел он в собор. Колокола смолкли, началось молебствие. Среди толпы стояла и боярыня Всеволожская. Напрасно старалась пробиться она вперед, поближе к собору: громадная толпа и дружина, стоявшая на площади перед собором, не позволяли ей сделать шаг вперед.

Но вот молебен кончился. Снова загудели колокола, двинулось шествие. Князь направился к опустелому и теперь снова оживившемуся двору. А за ним повеселевшие и ободренные приездом князя новгородские бояре.

Слушая рассказы новгородцев о разорении новгородской земли шведами, князь добродушно улыбался, оглядывая ласковым взглядом своих лучистых очей.

— Знаем тебя, княже, — говорили бояре, — в обиду нас ты не дашь, сам по себе, ты, кажись, разнес бы не то что шведскую рать и всю их волость и области, да ведь что один-то ты поделаешь? А что, как у них рать-то несметная, а у тебя дружины и вполовину их не хватит: ведь одолеют они тебя.

— Вот что, бояре, я скажу вам, — заговорил князь. В деле ратном никто, как Бог. Поможет он нам, так будь шведов видимо-невидимо, а я со своей дружиной справлюсь с ними; коли же Господь захочет наказать нас за грехи наши, тогда шведы и с горсточкою воинов разнесут нас по ветру. Но мне думается, что шведы к нам не пойдут: делать им здесь нечего.

— Как, княже, не пойдут, — закричали бояре, — как не пойдут, когда у них и воевода уже есть, — Бюргер ему прозвище.

— Слыхивал я про Бюргера — воевода он знатный; только опять-таки молвлю вам: не пойдут к нам шведы, — говорил князь.

— Нешто они узнали, что ты, княже, воротился к нам? — говорили бояре.

— Про то не ведаю. Коли они захотели воевать вас, так для них все равно: здесь я или нет. В этом деле все ратное поле решает, а в ратном деле, говорю, никто, как Бог.

— Про то что и говорить, — гомонили бояре, — без Него, Батюшки, ничего не поделаешь.

— Так вот я и молвлю вам так: если бы шведы захотели завладеть Новгородом, так они это давно бы сделали, и мне, пожалуй, пришлось бы пробиваться к вам. А ежели они и разоряют наши берега и грабят наших посельцев да жгут их села и деревни, так это не рать шведская делает, а какие-нибудь ватаги бродячие. Мудреного нет, что, проведав о том, что наши села беззащитны, двинется и рать шведская, да не села, а и города начнет разорять.

— Как же быть-то теперь, княже?

— Быть так, — заговорил Александр Ярославович, — денька через два, Бог даст, заберу часть своей дружины да и двинусь с нею поскорее к Неве; всей рати не след брать: разгоню разбойников, нагоню на них страха — и делу конец. А уж тут вы без меня управляйтесь да за порядком глядите, на то у вас есть посадник, человек почтенный: не слушаться его да не повиноваться ему и перед Богом грешно, и перед людьми стыдно!

Посадник встал и отвесил князю низкий поясной поклон.

— Спасибо тебе, княже, за твое доброе, ласковое слово! А теперь, дорогие гости, — дело мы покончили, так пора и думы об этом бросить; милости прошу за трапезу; не обессудьте только, коли чем не угожу: вам ведомо, что я только приехал, а хозяйка моя не прибыла еще, княгинюшка.

Князь пошел к трапезной, за ним двинулись и остальные.

Долго, быть может, просидели бояре у приветливого и радушного князя, кабы не догадался подняться с места старик посадник.

— Благодарствую тебе, княже, за ласку и угощение, а нам пора и по домам расходиться. Ты поход не малый

сломал, устал небось, пора и отдохнуть тебе, а впереди еще труды ратные! — говорил старик.

— Да, маленько устал, да не беда, отдохнуть-то еще успею, — добродушно говорил князь.

Но гости один за другим оставили княжеский дворец. Симский вышел вместе с Солнцевым.

— Ну, что ж, — заговорил он, — пойдем ко мне кончать пирушку, благо она хорошо началась!

— Не можно мне, боярин, — отвечал Солнцев, — тут у меня одно дело есть.

— Да какое у тебя дело может быть, кроме ратного?

— А может быть, и ратное: почем знать, чего не знаешь.

— Уж не с бабой ли какой ты войну затеял? — проговорил Симский, искоса взглядывая на Михаила. Тот вспыхнул.

— Как так с бабой?

— Как с бабами воюют, известно! Только напрасно все это: без бабы куда лучше. Вон я, например, хоть и не долгий, а все-таки без нсе век прожил.

— Нет, не зайду: говорю, дело есть!

— Ну, ин быть по-твоему. Прощай, значит, а когда дела-то свои покончишь, тогда завертывай: кто-нибудь еще подойдет.

— Поздно будет, пожалуй!

— Что за поздно! У меня, друже, всегда рано, когда запирую. А попить мне зело хочется: так на душе весело да радостно!

— Может, и зайду, а теперь прощай, — проговорил дружинник, поклонившись и пускаясь дальше.

— Заходи, буду ждать! — крикнул ему вслед Симский.

Солнцев подошел к углу улицы и невольно оглянулся. Боярин стоял у ворот и глядел ему вслед. Досада разобрала Солнцева. Ему нужно было свернуть в сторону, но он прошел дальше, боясь, чтобы Симский не выследил бы его до Марфуши. Длинна были улица, давно уже скрылся дом Симского. Оглянувшись назад, оглядевшись по сторонам и убедившись, что за ним никто не следит, Солнцев быстро завернул за первый же угол и чуть не бегом направился к дому бывшего своего врага Всеволожского.

Задыхаясь, подошел он к воротам и схватился за тяжелый деревянный молоток. Чуть не громом прокатились по двору эти удары.

Перепуганный насмерть челядинец распахнул калитку, поглядел на Солнцева враждебно.

— Чего стучишь? Кого тебе надоть? — грубо спросил он. Кровь бросилась в голову Солнцева от этой грубости.

— Аль не узнал, хамово отродье?

— Чего узнавать-то! Много вас нынче налезло к нам; всех не будешь знать, да и не зачем, на кой вы нам прах! — огрызнулся челядинец, притворяя калитку.

Не стерпел Солнцев, двинул его кулаком — и калитка распахнулась.

— Ты чего же дерешься-то, разбойник, душегуб! Сейчас кликну клич: по рукам, по ногам свяжем да к тиуну и предоставим тебя! — шумел челядинец, поднимаясь с земли.

Но другой удар снова повалил его и заставил смириться.

— Вишь, дьявол! — ворчал присмиривший прислужник. — Этак он и насмерть пришибет: что с ним поделаешь!

Кричать он не решался, а, с трудом поднявшись, заперев наскоро калитку, охая, направился в свою избу поведать товарищам, что в их двор затесался черт в образе дружинника.

Солнцев, разделавшись с привратником, быстро направился к хоромам: ему было и досадно и смешно.

«И чего я это расхотелся, зачем поколотил его, — думалось ему, — дурак он, и бить его не следовало. Ну да ничего: напередки поумнее будет и перед носом калитки захлопывать не будет».

Быстро взбежал он на крыльцо боярских хором и распахнул дверь. На лавке сидела какая-то древняя старуха. При входе Солнцева она с испугом вскочила и злобою сверкнула глазами на дружинника.

— Тебе чего надоть? — прошипела она.

— Где боярыня?

— На што тебе боярыня? Нешто тебе боярыню можно видеть, она теперь по мужу-покойничку убивается; да и виданное ли это дело, чтобы молодые парни ко вдовам ходили!

Терпение снова начало оставлять Солнцева.

«Что за денек такой задался?» — невольно пронеслось у него в голове.

— Боярыня где, я тебя спрашиваю, старая чертовка! — крикнул Солнцев.

— Нетути ее!

Солнцев не стал слушать ее и направился к двери.

— Ты куда, охальник, разбойник! — завопила старуха. — Не ходи дальше, не пущу я тебя, — продолжала она, ковыляя к дружиннику, но Солнцев вошел уже в следующий покой, там никого не было; старуха остановилась, затем повернула назад; выбежав на крыльцо, она завопила не своим голосом, призывая на помощь.

Между тем Солнцев обежал все покои: боярыни нигде не было. Он вышел в сад. Под густо разросшейся яблоней, унизанной сочными, крупными плодами, на скамейке сидела Марфа Акинфиевна. Услышав шаги Солнцева, она подняла голову и, увидев его, вскочила и бросилась было к нему с протянутыми руками; но вдруг руки эти опустились.

— Марфуша, радость моя, голубка, — шептал дружинник, обнимая ее.

Но боярыня тихо отклонила его от себя.

— Марфуша, да что же это? — бледнея, спрашивал Солнцев. — Ты отталкиваешь меня! Аль не люб я тебе стал, так говори, решай уж разом.

— Зачем ты обманул меня? — тихо, сверкнув глазами, спросила боярыня.

— Я тебя обманул? — удивился Михаил Осипович. — Да чем же? Когда?

— Помнишь, — перебила его боярыня, — помнишь, тогда ты прибежал ко мне веселый такой, радостный, говорил, что я вдовой стала; я, грешница окаянная, тогда обрадовалась еще!

— Ну что же, ведь ты того покойника-то не любила.

— Ты сказал, — продолжала боярыня, — что боярина покойного убили...

— Ведь не жив же он, — значит, я правду сказал.

— Да как убили-то? — простонала Марфа Акинфиевна.

Солнцев начинал догадываться.

— В бою, с моста в Волхов столкнули...

— О Господи, кто же столкнул-то его, кто его грешную-то душу погубил! — чуть не плача говорила боярыня. — Ведь ты же, ты утопил его. Помню, как ты тогда прибежал ко мне с боя, на тебе была кровь, может, и мужнина кровь, а я тебя ласкала, миловала. Ах, Михайло, Михайло, грех-то ты какой сделал, грех, да и меня ввел в него.

Встал во весь рост Солнцев, глаза его горели огнем, губы дрожали.

— Кто же это тебе сказал? — отчетливо, резко проговорил он.

— Старуха от челядинца слышала, она мне все рассказала, как ты покойника-то и за ноги с моста в Волхов стащил! — проговорила чуть слышно, глядя не без страха на разгневанного Солнцева.

— Да кто сказал тебе, что я обманул тебя? — продолжал Солнцев.

— Ведь ты же мне не так рассказывал, — робко проговорила Марфуша.

— Я тебе сказал, что мужа у тебя больше нет, что сгиб он в бою, а рассказывать о том, как он сгиб, мне не до того было; пойдем-ка лучше присядем да и потолкуем, — продолжал он, беря Марфушу за руку и подводя ее к скамейке.

Та послушно шла за ним. Они сели рядом.

— Скажи ты мне, — начал Солнцев, — скажи, за что винишь? Мужа ты не любила, чего же жалеешь его?

— Не любила я его, правда, но зла никогда я не желала ему; зачем же убивать его? Ему и так недолго оставалось жить, пусть бы умирал своею смертью, и как бы мы с тобой счастливы были тогда.

— А теперь что же? — задыхаясь, чувствуя на душе холод, спрашивал дружинник.

— Теперь не то! Люблю я тебя, Миша, видит Бог, как люблю, может быть, и грех тяжкий так любить, да как вспомню, что покойника ты убил, так и захолонет сердце, так страх какой-то всю и обоймет; убежала бы куда, скрылась бы; не знаю, что делать с тобой. Вот ныне утром я еще ничего не знала, выбежала к собору встречать тебя, а как про грех твой узнала, так и не знаю, что сделалось со мной, не знаю, куда деваться: и видеть-то тебя хочется, и речей твоих ласковых послушать, и боязно тебя и страшно! Молиться хотелось; прежде, бывало, как помолишься, так всегда легче станет, а ноне и молитва нейдет: лепечу слова как полоумная, сама не понимаю, что говорю; велик, должно быть, Миша, наш грех с тобой, коли Бог и молиться не допускает, разум отнимает.

— Да про какой грех ты говоришь, — нетерпеливо проговорил Солнцев, — в чем мы согрешили с тобой; в чем провинились, скажи на милость!

— Все в том же: ты убил старого боярина, а я, окаянная, обрадовалась этому, думала покой, счастье да любовь найти.

— А что же, нешто ты не нашла их?

— Нет,— задумчиво проговорила боярыня,— нет, Михайло, ничего не нашла я теперь, кроме страха: так вот и мерещится мне покойник, теперь, кажись, и ночей от страха спать не буду.

— Слушай, Марфуша, ты все про грех какой-то толкуешь, а в чем этот грех, я никак в толк не могу взять. Ну, я убил этого старого черта, мужа твоего, так ведь у меня и в мыслях не было убивать его: не выходил я на большую дорогу, не был станичником и не поджидал его за углом, а встретились мы с ним в честном бою, за правду стоял я, сама знаешь. Одолей он меня, и меня унес бы теперь мертвого Волхов; у меня было больше силы, чем у него, ну, его доля помирать, а моя жить. Какой же тут грех, из-за чего ты мучаешься да боишься?

— А зачем ты его за ноги в Волхов свалил? Может, он и жив остался бы?

— А тебе и любо было бы, кабы он пришел к тебе мучить да измываться. Скажи мне на милость, если бы ты видела змею, что она ползает, чтобы укусить тебя, ты бы ее ударила, оглушила бы и оставила затем, чтобы она, очухавшись, тайком подкралась к тебе и снова укусила? Нет, Марфуша, гадин всегда нужно изводить, а твой муж был такой гадина, каких еще никогда и на свете не видывал!

Солнцев замолчал, молчала и боярыня. Уставив глаза в землю, она задумалась. Солнцев тихо обнял ее и привлек к себе, она не сопротивлялась.

— О чем задумалась, солнышко мое красное? — тихо, нежно спросил ее Солнцев.

— Да вот об твоих речах!

— Что же, не по сердцу они тебе, что ли?

— Нет, вот как ты говоришь все, ну и спокойней делается, потому правду говоришь, а как останусь я одна, так меня сомнение и начнет брать: и жалко старого, и противен он мне.

— Что ж, лучше бы было, когда вместо меня здесь сидел старый да обнимал бы тебя, а меня где-нибудь на дне Волхова раки бы ели? — спросил Солнцев.

При этих словах Марфуша задрожала и крепко схватилась за руку Михайлы.

— Ох, не говори, не говори так, Миша, — заговорила она с испугом, прижимаясь к нему.

А ночь все больше и больше надвигалась на небо, черным покровом окутывала она землю, засверкали на нем только мириады звезд. Чуть не над головой молодых людей защелкал раскатистою трелью соловей. Заслушались они и, сами не замечая того, все больше и больше сжимали друг друга, все сильнее и сильнее клокотала их кровь и туманились головы.

В воздухе пронесся вихрь, с шумом защелестели листья деревьев, в воздухе повеяло прохладой; эта прохлада отрезвила их.

— Ох, быть грозе! — проговорила боярыня, взглядывая на небо. А по нему уже ползли черные, зловещие тучи. Молния резко пронизала небо, и загрохотал гром.

— Пора, Миша, пора, голубчик, — говорила боярыня, — гляди, и дождик стал накрапывать, того и гляди, ливень будет.

— Как не хочется-то, Марфуша, уходить от тебя, кабы ты знала!

— Что ж теперь, родимый, делать нам с тобой? Оставаться тебе здесь нельзя, перед людьми зазорно. Погоди маленько, дольше ждали, а там уж на век не расстанемся! Вот из похода вернешься, тогда и свадьбу сыграем.

— А может, и раньше?

— Как же раньше-то?

— Да так. Князь не хочет брать с собой всей дружины, может я и останусь в Новгороде, тогда кто же мешает нам пожениться.

— Эх, кабы так-то было!

А гром все сильнее и раскатистее разносится, молния все ярче и ярче блещет, освещая зеленоватым светом деревья и хоромы.

— Ну, прощай, прощай, родимый, право же, пора! Ведь коли так сбудется, как ты говоришь, расставаться тогда не придется, — говорила Марфуша.

Возле них раздался дикий, нечеловеческий хохот, страшным эхом раскатился он по саду.

Солнцев и Марфуша, пораженные ужасом, отскочили друг от друга.

— Леший! Леший! — шептала в испуге боярыня.

А хохот рокотом продолжал разноситься по саду. Вдруг молния зигзагами пронизала небо, и Солнцев

с Марфушей в двух шагах от себя увидели бедного, с сверкающими от гнева глазами боярина Всеволожского.

Марфуша вскрикнула, побледнела и повалилась на мокрую траву. Солнцев не помнил себя от ужаса.

— Раненько, раненько стали миловаться, — говорил между тем Всеволожский, — раненько стали собираться свадьбу играть, когда покойнику и сорок дней не вышло! Похоронить бы следовало его сначала да поминки справить, а потом уже о свадьбе-то думать.

— Чур меня, чур, — в ужасе шептал Солнцев, — исчезни, окаянный!

Привык дружинник сражаться с живым врагом, привык не бледнеть перед явною смертью в боях, но встречаться с выходцами с того света, с нечистою силою ему было не по силам.

— Что ж молчишь-то, дьявол? Не узнал меня, что ли? — гремел грозный голос боярина.

— Чур меня, чур! — продолжал бормотать перепуганный насмерть Солнцев.

— Чего чураешься-то?! Чураются только от чертей да леших, а я, слава Те Господи, жив еще. А ты думал небось, что убил меня? Богатством моим да женой хотел завладеть? Прошибся, парень, маленько, поспешил больно, видишь — живехонек я, разделаться с тобой пришел, — проговорил он злобно, бросаясь на Солнцева. Его жилистые, старые руки схватили дружинника за горло.

Солнцев почувствовал на своей шее тиски, опаматовался. Он увидел, что имеет дело не с нечистой силой, не с привидением, а с живым человеком, со своим злейшим врагом, которого он считал умершим. Самообладание вернулось к нему, но в глазах у него от удушья позеленело. Он собрал последние силы, схватил левой рукой за боярскую бороду, а правой нанес удар в висок Всеволожскому. Тот мгновенно выпустил шею дружинника и как скошенный сноп тихо повалился на землю.

— Авось теперь не встанешь, окаянный! — приходя в себя, проговорил Солнцев.

— Что же теперь с Марфушей делать? Марфуша! — окликнул ее Солнцев.

Ливший дождь освежил боярыню и привел ее в себя.

— Видел, Миша, видел? Из могилы пришел? — трясясь всем телом, шептала в ужасе Марфуша.

— Видел, голубка, видел! Да теперь уж он больше не придет.

— Ох придет, убьет он меня!

— Говорю, милая, не придет; пойдем, я тебя сведу в покой; тебя всю промочило.

С трудом поднял дружинник Марфушу и на руках донес ее до хором.

— Уходи, Миша, я лягу, отдохну! — говорила совершенно обессиленная боярыня.

Солнцев поцеловал ее и направился к двери.

— Не придет, говоришь? — снова переспросила его боярыня.

— Говорю, нет!

— А как же он сейчас приходил-то?

— Завтра все расскажу, а теперь успокойся, усни.

Солнцев вышел, он чувствовал себя нехорошо.

«А что как этот живучий старый черт опять отойдет?» — думалось ему, когда он проходил по двору.

Дождь лил как из ведра; собаки забились по конурам; челядинцы, увидев возвратившегося боярина, перепугались насмерть и забились по углам, творя втихомолку молитвы. Солнцев прошел двор, отпер калитку и вышел на улицу.

«Теперь волей-неволей, а нужно идти к Симскому, — думал он, шагая по грязи. — Жив этот окаянный аль нет, оповестить его все-таки нужно. Бог весть, что может быть!»

И он зашагал по знакомой улице. Постучав в ворота, он стал ждать под проливным дождем, пока отопрут ему калитку.

— Кто там? — слышался из-за ворот оклик.

— Боярин спит? — вместо ответа спросил дружинник.

— Нет, у него гости. А ты кто таков будешь?

— Княжеский дружинник Солнцев.

— Милости просим! Вас-то и велено дожидаться, — проговорил прислужник.

Загремел засов, и распахнулась калитка.

Солнцев прошел в хоромы. За большим столом, уставленным кубками и жбанами, сидели все знакомые люди с покрасневшими лицами, между ними велся оживленный разговор. При входе Солнцева у всех вытянулись лица: страшен показался им дружинник. Промокший, с прилипшими ко лбу и щекам волосами, бледный, с горящими лихорадочным блеском глазами, Солнцев действительно был страшен. К нему выскочил Симский:

— Откуда ты, что с тобой?

— Слыхали вы про чудеса? — вместо ответа спросил Солнцев.

— Про какие чудеса?

— Чтоб мертвые выходили из гробов?

Всех передернуло при этих словах.

— Как не слышать — слыхали, только сами не видали что-то ни разу.

— Ну а я видел!

— Где? Кого? — слышались вопросы с разных сторон.

— Все вы знаете, что Всеволожский сгиб в бою?

— Вестимо, знаем, твоих рук дело.

— Неужто он?

— Своими глазами видел! — проговорил Солнцев.

— Что ж, живой или мертвый?

— Видел живым, а теперь не знаю, может, и умер.

Это известие сильно поразило гостей, расстроило пир. Все полезли с расспросами.

— Ничего не знаю, говорю только, что видел!

— Да где видел-то?

— На улице встретил! — солгал Солнцев.

Последнее известие еще более смутило бояр. Все стали подниматься, хватаясь за шапки. Напрасно упрашивал их хозяин еще посидеть, все заспешили домой.

— Я у тебя заночую, дело есть, — во время суматохи шепнул Симскому дружинник.

Тот только махнул рукой.

— Скажи ты, на смех, что ли, наговорил им страховины? — спросил боярин, когда гости ушли.

— Нет, правду я сказывал!

— И встретил ты старого черта на улице?

— Нет, не на улице. Вижу, боярин, что от тебя таиться нечего, ты ведь не выдашь!

— О чем говоришь? Вместимо, нет!

— Ну так слушай же! Помнишь, ты говорил мне ныне, когда мы от князя шли, про зазнобу?

— Как не помнить, помню: аль угадал?

— Угадал, что греха таить!

— Кто же такая?

— Чего же теперь таиться-то: жена этого самого черта Всеволожского.

Симский даже привскочил.

— Что ты? Эдакая красавица, да где же ты зазнал ее?

— Зазнались мы с ней, еще когда ребятами были, потом много лет не видались, а свиделись тогда, когда князь приехал впервой в Новгород. Как увидал я ее, и не знаю, что подеялось со мной: света Божьего невзвидел я. Ну, потом стали почаще видаться, полюбились один другому, стали уже мы с ней и о свадьбе подумывать, да не так должно Бог судил: разлучили нас, выдали ее за Всеволожского. Чуть ума я не решился тогда. Потом опять встретились. Не один раз в ее же саду мы виделись с ней: последний раз было это перед побоищем. Как свалил я своего врага в Волхов, зело обрадовался, думал, конец всему моему горю, да и она, голубка моя, радешенька была. Я-то извелся весь, хотелось повидаться с ней. Оттого я и ушел от тебя.

— Так вот оно дело-то какое, — промолвил Симский.

— Пошел я к ней свидеться, и забыли все горе, опять заговорили о свадьбе. А тут гроза. Вдруг над самыми головами как захохочет дьявол. Блеснула молния, осветила все, глядим, а он перед нами, окаянный, стоит.

— Может, показалось?

— Где показаться! Как живой стоит! Боярыня от страха повалилась на землю, а я, что же, покаюсь, хоть и не труслив, а тут опешил. А он-то хохочет, он-то хохочет, а потом как бросится ко мне да и хватить меня за горло; тут уж я опамятовался, хватил его в висок, он и повалился.

— Жив?

— Шут его знает, может, и помер; ударил-то я его куда как сильно; стар он, вряд ли вынесет.

— Где же он пропадал столько времени?

— Бог весть! Где-нибудь таился да козни разные проделывал.

— Надо проразузнать, а коли не убил ты его, то присматривать за ним, а то, того и гляди, князь уйдет в поход, он смуту и заведет здесь.

V. КАЗНЬ

Когда дружинник столкнул Всеволожского с моста и он рухнул в Волхов, холодная вода вернула ему сознание; боярин опамятовался и, несмотря на сильную тупую боль в голове, вынырнул и напярэг последние силы, чтобы доплыть до берега. Он напрягал последние усилия, но

намокшая одежда мешала; боярин выбился из сил, кажется, два-три взмаха — и он пойдет ко дну.

Вдруг перед ним мелькнуло что-то темное; боярин последним усилием схватился за плывшее бревно, и течение понесло его.

Далеко уже остался позади мост, затихли шум и крики дравшихся вольных новгородцев, исчез и Новгород. Всеволожский потихоньку направляет бревно к берегу. Перекрестился боярин, когда почувствовал под ногами землю. Но потрясения, перенесенные им за этот день, сломили его, в глазах потемнело, голова закружилась, и он рухнул на землю.

Таким его и увидели с лодки проплывавшие мимо отец с сыном. Немало труда стоило перетащить боярина в лодку.

Солнце было уже низко, когда рыбаки добрались до своей избушки. С участием встретила старуха хозяйка неожиданного гостя, внимательно осмотрела его и улыбнулась.

— Ничего, жив будет, — проговорила она и принялась хлопотать около бесчувственного боярина.

Три недели пролежал Всеволожский. Наконец на четвертой неделе, утром он открыл глаза и огляделся. Простая обстановка избы поразила его, он не мог понять, каким образом здесь очутился. С удивлением глядел боярин и на хозяев.

— Скажите, добрые люди, кто вы такие? И почему я здесь?

Оторопелый старик, не отвечая, бросился за перегородку.

— Авдотья, а Авдотья?! Никак, наш больной опаматовался!

— Что, родимый? — участливо обратилась вошедшая хозяйка. — Полегчало тебе?

— Да ничего, бабушка, — проговорил боярин, — только вот подняться не могу, словно все не мое.

— Известно, об этом что и говорить: три недели без памяти лежал!

— Три недели?

— День в день; и угодил же тебя лиходеи какой-то!

Всеволожский начал припоминать, что с ним было, как он попал сюда. И память начала воскресать.

Три недели прошло с того страшного дня, и в три недели много воды утекло. Вороги одолели его, все пла-

ны рушились, все пропало! Гневом закипело сердце: кабы сила, сейчас бы полетел в Великий Новгород, силушки оставили его.

— А скажи, добрый человек, — обратился старик ко Всеволожскому, — кто таков ты будешь? Как нашли мы тебя, сумнение нас взяло: по облику да по одеже ты боярин, а как тебя занесло к нам всего мокрого да в крови, ума не приложим.

Этот простой вопрос смутил Всеволожского; скрываться не было ему причины, но и открываться не хотелось. Бог весть у кого находится он. Не вороги ли и они?

— Вам не все равно, кто я, за вашу доброту и уход я заплачу щедро! — угрюмо проговорил Всеволожский.

— Нам от тебя ничего не нужно, — огорчившись, проговорил старик, — коли и приютили и выходили тебя, так это мы по-человечески, не из-за корысти; а не хочешь открыться нам, так и не нужно, твое дело. Только одно скажу: добрый человек скрываться не станет, а коли ты лиходея, так лучше бы оставался там на берегу!

— Вишь, что вывез-то! — с сердцем заметила старуха. — До седины дожил, а ума не нажил.

Смутили Всеволожского слова старика.

— Не лиходея я, дед, а боярин новгородский Всеволожский.

— Ну, так и есть! То-то, вижу, обличье твое мне знакомо: ведь ты кушать всегда изволишь мою рыбу; я тебе ее поставляю.

Прошла еще неделя. Всеволожский стал вставать с постели, силы заметно прибавлялись, могучая, крепкая натура брала свое.

— Ну, теперь, скоро можно и домой отправляться. Ох, что-то дома-то делается, — что Марфуша-то, чай, вдовой себя считает, эх, скорей бы, скорей.

Прошло еще две недели. Всеволожский почти совсем окреп и начал собираться в Новгород.

В один день по Волхову пронесся колокольный гул.

— Что за праздник? — тревожно спросил боярин.

— Князя встречают! — весело ответил хозяин.

— Какого князя, что городишь-то? — вскричал боярин.

— Ничего не горожу! — обиженно проговорил рыбак. — А князя, говорю, встречают, Александра Ярославовича, какого же еще другого!

Белее мела сделался боярин, невольно схватился за сердце, готовое разорваться.

А звон продолжается и словно тяжелым молотом бьет по старой боярской голове, терзает его озлобленное, наболевшее сердце.

«Коли так, коли этот звон проклятый слышен, значит, Новгород не далеко. Может, хватит силушки добрести,— раздумывает боярин,— только бы на дорогу попасть».

— Ну, прощайте, добрые люди,— проговорил Всеволожский, входя в избу и обращаясь к хозяевам.— Поблагодарил бы я вас за ваш уход, да ничего со мной нетути; будете в городе, заходите ко мне, будете дорогими гостями, в долгу не останусь, век буду вас помнить.

— Да ты куда же это собрался-то? — спросил старик.

— Нужно в Новгород, ничего не знаю, что там дется.

— Э, что ты, боярин, какой тебе Новгород! Ты еще очухайся: тебе и до половины не добратся, свалишься,— говорила хозяйка.

— Как-нибудь добреду!

— Нет, боярин, не пущу я тебя,— решительно проговорил старик.

— Нельзя мне оставаться больше, дело не терпит.

— Ну, коли уж так хочешь в город, я свезу тебя в лодке, а так не пущу.

Начались сборы, и через полчаса рыбак работал веслами, не без труда справляясь с течением Волхова.

Солнце все ниже и ниже садится, быстро надвигается ночь, вдали черным пятном обрисовалась туча.

— Быть грозе! — промолвил рыбак.

Всеволожский тревожно взглянул на надвигающуюся тучу.

— Успеем ли добратся до места? — проговорил он.

— Недалече осталось,— успокоил его старик, налегая на весла.

Действительно, они въехали в город; вдали зачернел мост; невольная дрожь пробежала по телу боярина при виде этого моста. А вон вдали затемнели деревья и его собственного сада. «Жена небось спит уже,— думается ему.— Пожалуй, как увидит, перепугается насмерть; ведь без вести пропал, видели, как с моста свалили. Ох, попадись только мне этот молодчик, разведаяюсь я с ним! Теперь Марфа небось за вдову слывет; женихи, чай, присватываются. А что, как она замуж вышла?»

— К саду аль к улице причаливать? — перебил его думы вопросом рыбак.

— К улице! — отвечал Всеволожский.

Начал накрапывать дождь, сверкнула молния, вдали прогрохотал гром.

— Ну, в пору приехали! — говорил рыбак.

Лодка толкнулась носом в берег

— Ночуй у меня, — говорил Всеволожский, — куда ты ночью поедешь, в грозу-то?

— Ничего, дело привычное! Теперь я по течению в один миг доберусь домой.

— А то ночуй!

— Благодарю, боярин! Дай тебе Бог час добрый, — проговорил старик, отталкивая от берега лодку.

— Заходи ко мне! — крикнул ему вдогонку боярин и зашагал по улице.

А дождь лил все сильнее и сильнее. Он подошел к воротам и постучал молотом, но ответа не было никакого. Он постучал сильнее, слышались чьи-то шаги и ворчанье.

— Ну уж день! Разносили черти гостей. Кто там? Чего нужно? — слышался оклик челядинца.

— Отвори! — шумнул боярин.

Челядинец, услышав знакомый голос, оторопел и невольно перекрестился.

— Отпирай же! — начиная сердиться, кричал боярин.

— Да кто ты таков будешь-то? — дрожа от страха спрашивал слуга.

— Аль господина своего не узнал, иродов сын?

Но иродов сын, вместо того чтобы отворить калитку, опрометью бросился в людскую.

— Чур меня, чур! — кричал он, поднимая на ноги всех и рассказывая о появлении покойника.

Дождь между тем усиливался; боярин вышел из себя и начал неистово стучать. На дворе появилось несколько челядинцев. Они со страхом подошли к воротам и отперли калитку. Увидев грозную фигуру Всеволожского, они на мгновение окаменели от ужаса, но, придя в себя, бросились бежать в разные стороны.

— О дьяволы! — кричал боярин. — Погодите-же, завтра я вас всех переберу.

Он направился к дому. Дверь была не заперта. Покои все пусты. Он вошел в спальню, постель не была тронута.

— Где же Марфа? Куда все провалились?

Обойдя еще раз дом, он заметил дверь в сад отворенной.

— Неужто в дождь таскается по саду? — с сердцем проговорил он и вышел в сад. До него донеслись голоса: один голос его жены, другой — мужской. Недобрым сжалось боярское сердце.

— С кем это она там? — ворчал боярин и осторожно, крадучись, направился на голоса.

Сверкнула молния и осветила обнявшихся Солнцева и Марфушу. Заходила кровь боярина, кипучим ключом заклокотала в его жилах: ему хотелось броситься на них и задавить, задушить разом. Еще более бешенство охватило его, когда он в своем сопернике узнал дружинника, своего убийцу, своего врага злейшего.

Настало прощанье. Марфуша обвила своими белыми, полными руками шею дружинника, впилась в его губы поцелуем да так и замерла.

«Меня никогда не обнимала так, всегда от меня рыло воротила», — со злобой он подумал, и дикий, не человеческий, сатанинский хохот вырвался из его наболевшей, клокотавшей гневом-злобою груди.

Он бросился на врага, схватил его за горло, но, почувствовав удар, обессиленный долгой болезнью, свалился на землю.

Долго лежал без памяти боярин; чуть не вся ночь прошла, но живучая натура на этот раз не подвела.

С трудом приподнялся он с земли и обвел вокруг себя мутным взглядом. Наконец мало-помалу к нему начала возвращаться память. Боль сдавила грудь. Слишком глубокое оскорбление было нанесено ему. У него во доме чужой, пришлый, пришлый из враждебного лагеря человек соблазняет его жену, обнимает, целует ее, говорит при нем, при живом муже о свадьбе, наконец чуть не убивает его, и все это разом обрушивается на его седую, опозоренную голову. У Всеволожского захватило дыхание, и жгучие, горькие, старческие слезы ручьями хлынули из боярских глаз. Долго рыдал старик, долго не мог он удержаться от слез, а вдали забелела полоска зари. Измученный, обессиленный, поднялся боярин, утер попою кафтана глаза и направился к дому.

«Что же теперь сделать с ней, окаянной? — думал он, едва плетясь. — Что с ней сделать? Убить мало!»

Он вошел в покои и, обессиленный, прислонился к стене.

«Пойти к ней? Покончить с ней разом?»

Но вдруг какая-то мысль осенила его.

— А! Управлюсь я с тобой, змеей подколодной, отплачу тебе за ласки да поцелую злему моему врагу! — шептал он яростно.

У дверей покоя, который служил для пирушек и заменял приемную комнату, растянулась старуха, гнавшаяся вечером за Солнцевым; она сладко спала. Всеволожский со злобой толкнул ее ногой. Старуха вскочила и, взглянув на боярина, обезумела от страха.

— Что глаза таращишь, окаянная? — зашумел на нее боярин.

— Чур меня, чур, исчезни, исчезни! — вопила ополоумившая от страха старуха.

— Вот я тебя, старая чертовка, почураюсь! — кричал Всеволожский. — Вставай, проклятая! Пойди побуди холопов да пришли ко мне!

Старуха опрометью бросилась из хором. Боярин вошел в покой и бессильно опустился на скамью, обитую дорогим бархатом.

Через полчаса бледные, трепещущие холопы вваливались один за другим.

— Хотел я вас, — начал строго боярин, — батожьем отодрать, оно и следовало бы, да черт с вами, на этот раз прощаю.

Вольные, свободные новгородцы, состоявшие, вследствие кабалы, холопами боярина Всеволожского, переглянулись и оправились. Во-первых, они узнали в боярине живого человека, во-вторых, избавлялись от порки.

— Оставайтесь здесь трое, а остальные отправляйтесь!

Холопы переминались, не зная, зачем оставаться: ну-ка друг друга драть прикажет?

— Ну, что мнетесь?

— Кому, боярин, прикажешь остаться, мы не вольны в этом! — заявил робкий голос.

— Остайся ты, ты и ты! — ткнув пальцем, проговорил боярин. — А остальные пошли вон!

Указанные остались со страхом, остальные бросились в дверь.

— Слушайте, — обратился к оставшимся боярин, когда вышли остальные, — слушайте и запомните то, что я вам скажу! Не легка ваша холопская доля, на воле куда веселее жить.

Холопы переглянулись, не понимая, к чему ведет речь боярин.

— Хотите, я отпущу вас на все четыре стороны? Будете жить по-старому своим хозяйством.

— На твоём корму, боярин, нам вольготно: и женка и детишки сыты; а отпустишь нас, с голоду помрем или опять к тебе или другому кому в кабалу попадем,— заявил один из холопов. Другие покосились на него.

— А ты своего господина не перебивай, коли он говорит,— непривычно мягко заговорил боярин.— Нешто я отпущу вас на волю без всего, не наградив вас ничем за верную вашу службу, и денег дам, и землицы дам; стройтесь и живите себе с Богом; а коли какая нуждишка явится, смело ко мне приходите, николи не откажу, всегда помогу!

Пораженные холопы со слезами повалились ему в ноги.

— Ну, будет, будет, вставайте, раньше времени нечего валяться. Говорю, сделаю вам добро на всю жизнь, только, чур, помнить то, что я скажу вам,— переменял тон боярин.— Даром я ничего этого не сделаю, должны вы мне службу сослужить!

— Жизнь отдадим за тебя, благодетель!

— Сегодня вы службу сослужите, да так, чтобы ни одна живая душа не ведала про это дело, так, чтобы самые стены ничего не видали и не слышали. Ежели же кто-нибудь из вас провретс яль слух какой пройдет, не жить вам всем троим на белом свете. Каждый друг за дружкой следи и себя соблюдай! Чай, меня знаете, на дне морском найду, из-под земли выкопаю, умру, из могилы явлюсь и самую лютую казнь придумаю! — гремел Всеволожский.

Холопы, пораженные таким резким переходом, стояли ни живы ни мертвы.

— Так ежели хотите жить да благодушествовать, должны делать так, как я приказываю!

— Что прикажешь, то и сделаем! — подобострастно проговорили холопы.

— Только, чур, уговор помнить! Или награда щедрая, или смерть! А теперь пойдемте со мной,— проговорил он, тяжело поднимаясь с места и направляясь к стене, на которой висело несколько массивных ключей. Подойдя к ним, он осмотрел их и один снял с гвоздя.

— Теперь пойдемте! — проговорил он, направляясь к двери.

Холопы последовали за ним.

Проводив Солнцева, Марфа Акинфиевна долго не могла уснуть после таких страшных минут. Долго металась она, горя как в огне, наконец усталость и пережитые тревоги взяли свое, она закрыла глаза и забылась. Но и во сне не было ей покоя, и во сне мерещился ей страшный покойник, весь униженный раками, окровавленный. К утру тяжелый сон напал на нее, она едва дышала. В покое было душно; она бессознательно сбросила с себя одеяло и разбросалась на постели.

Из-под белой тонкой сорочки высунулась ее роскошная нога с розовыми ноготками, из-за расстегнутой сорочки тихо колыхалась белая лебединая грудь, черные распутившиеся косы рассыпались по плечам, на щеках играл румянец.

Вдруг дверь отворилась и на пороге показался боярин Всеволожский; из-за его спины выглядывали холопы.

При виде раскинувшейся красавицы жены на одно мгновение дрогнуло сердце боярина, и он остановился; но это продолжалось только мгновение. При воспоминании о вчерашней сцене, при мысли о том, что, может быть, эта красота, это роскошное тело служило утехой и радостью его злейшему врагу, его снова охватило бешенство.

— Возьмите ее! — прошипел он охриплым от бешенства голосом. — Возьмите!

Холопы подошли к боярыне и схватили ее один за ноги, другой за плечи.

Боярыня проснулась и в испуге открыла глаза. При виде холопов, при взгляде на вновь явившегося мужа она вскрикнула и замерла.

— Несите за мной! — проговорил боярин, выходя из спальни.

Пройдя в сени, открыл творило и начал спускаться по лестнице. Холопы вслед за ним несли бесчувственную боярыню. Спустившись, Всеволожский оказался в коридоре, по обеим сторонам которого находились крепкие двери. Он подошел к одной из них и отпер ее.

Жалобно застонала она на своих заржавевших петлях. Боярин толкнул ее и вошел в небольшую конуру с каменным сводом; вверху, саженьях в двух от пола, было пробито небольшое оконце, заделанное решеткой, сквозь которое едва пробивался дневной свет.

Оглядев внимательно этот каменный мешок, этот склеп для покойника, он обратился к холопам:

— Ступай кто-нибудь один, — принеси два снопа для соломы да рогожу!

Один бросился к выходу. Не прошло четверти часа, как приказание было исполнено.

— Брось вон в этот угол! — приказал Всеволожский.

— Бросьте падаль-то на солому, — последовало дальнейшее распоряжение.

Холопы ослушались боярина. Не бросили они бесчувственного тела, а положили бережно на солому. Что-то страшное чуялось в холопском сердце, и не рады были они боярской милости.

— Ну, выходи теперь! — продолжал распоряжаться боярин.

Бледные, трепещущие вышли холопы. Боярин вышел вслед за ними и запер на замок дверь.

— Ступайте принесите кирпича и замуруйте эту дверь, — проговорил боярин.

Ужас охватил холопов.

— Боярин! — робко заикнулся один из них.

Зверем взглянул на него Всеволожский.

— Тебе что? — спросил он его.

Холоп молчал.

— Тебе что, спрашиваю я?

У холопа захолонуло от ужаса сердце.

— Помилуй, боярин, — все-таки решился он промолвить, — помилуй, христианская ведь душа!

Адским огнем сверкнули глаза боярина.

— Делай то, что я приказываю, а будешь говорить, живой отсюда не выйдешь! Уговор знаешь? Когда кончите, приходите ко мне! — закончил он, направляясь к лестнице.

Взойдя наверх, Всеволожский тяжело вздохнул, затем вышел в сад и направился к Волхову. Долго стоял он на берегу в тяжком раздумье, наконец решительно махнул рукой.

— Э! Чего тут думать, собаке подлой подлая и смерть! — проговорил он и взмахнул рукой. Тяжелый ключ со свистом описал дугу и скрылся в Волхове.

Задумавшись шел назад боярин. Подошел к хоромам и начал рассматривать окна подвала.

Остановившись у одного из них, он толкнул его ногою. Разбитое стекло со звоном полетело вниз в подвал.

— Оно самое и есть, — проворчал боярин, — нужно хлеба бросить, а то, пожалуй, с голода поколеет; пускай

сначала маленько помучится, а там и уморить можно, — решил он, направляясь в хоромы.

— Ну, теперь и отдохнуть можно, с одной управился; теперь до доброго молодца нужно добраться, с ним счета свести, а там уж и до князя с его друзьями доберемся! — заключил он.

Около обеда явились бледные, измученные холопы. Мрачны были их лица, недовольство собой выразалось на них. Вошли они в покой и остановились у дверей, опустив глаза в землю. Исподлобья поглядел на них боярин: как ни был он озлоблен, но в душе все-таки был не совсем спокоен; неприятно было ему видеть участников своего преступления; многое он бы отдал, чтобы никогда не встречаться с ними, чтобы навеки сделать их немыми.

— Покончили? — спросил он их отрывисто, глядя в сторону.

— Кончили, боярин!

— Ну, ладно, подождите, я сейчас приду! — проговорил Всеволожский, поднимаясь с места и выходя в другой покой.

Тишина наступила по уходе боярина. Кабальные стояли, переминаясь с ноги на ногу, словно боясь взглянуть друг на друга; на душе у них было нехорошо.

Один из них тяжело вздохнул.

— Чего, Петр, стонешь? — чуть не с сердцем спросил его товарищ.

— Тяжкий грех сотворили мы, не простит нас, окаянных, Бог! — тихо промолвил Петр.

— Не простит? Чай мы не по своей воле сокаянствовали, приказано было. За то теперь будем на воле отмаливать свой невольный грех, а то нешто лучше бы, кабы он покончил с нами там, в подвале? Умерли бы все равно без покаяния, а боярыню не мы, так другие бы замуровали!

— Путь бы другие и грех этот на свою душу принимали.

— Дурак ты, как погляжу я!

Послышались тяжелые шаги, и боярин вошел в покой.

— Вот берите себе на обзаведение, — сурово произнес он, подавая каждому по объемистому кошелю, — землю сами выберете, какая понравится, только, чур, уговор, выбирайте подальше, так, чтобы никто из вас никогда не попадался мне на глаза, пока умру, чтобы я не видел вас!

Ежели же кто из вас проболтнется про нынешний день, тому лучше было бы не жить на белом свете, того я везде найду, и помрет тот самою лютою смертью! Так и помните, и теперь уходите на все четыре стороны!

Кабальные молча вышли из покоя; боярин задумчиво смотрел им вслед.

VI. КОЗНИ

— Ох, братцы, не на пользу нам эти деньги будут, — проговорил один из кабальных своим товарищам, выходя из хором на обширный боярский двор.

— Мне тоже думается, не за праведное дело получили мы эту казну! — поддакнул Петр.

— Ну, словно вороны закаркали! И что несут только! Не на пользу! Была бы казна в руках, а польза всегда будет! — огрызнулся третий.

— Ой ли? — подсмеялся Петр. — А по-моему, так Семен правду молвит. Чай, видел и слышал, с какими заклятиями отпускал нас боярин? И век бы нас не видать, и смертью лютою грозил, и сдается мне, что земли обещанной нам не получить.

— Что так?

— Да так, не дойдем мы до нее, дорогой еще он нас уходит. На что мы ему нужны теперь? А его опаска берет, чтобы мы чего не рассказали.

— Оно, по-моему, похоже, — подтвердил Семен.

— Я так и думаю: Христос с ним и с землей его; лучше отправиться нам в какое-нибудь другое княжество — в Тверь али Суздаль, там нам попокойнее будет, не найти ему там нас! — говорил Петр.

— Вестимо, так и сделаем! — согласился с ним Семен.

— Вы, братцы, как знаете, так и делайте, а я пойду землю выбирать, не дарить же и ему, недаром на душу грех принимали, — говорил третий.

— Твое дело, как хочешь, так и делай; только гляди, потом не покайся.

— Не в чем будет каяться-то: я его приказ строго сдержу, а он свое слово исполнит.

— Тебе лучше знать, а нам своя шкура дороже боярской земли, да и душе грех, почитай, немало придется отмаливать.

Проводив холопов, Всеволожский задумался. Если бы

он совершил это дело один! А теперь налицо три живых свидетеля, явная улика, от которой не отделаешься!

— Опростоволосился! — со злобой проворчал боярин. — Опростоволосился как дурак! И как не догадался?! С ними бы там же нужно было покончить, а теперь, поди, пойдут разговоры; все холопы диву дадутся моей щедрости и милости; пойдут расспросы, какой-нибудь и проболтнется! Экая дурь напала на меня! — чуть не крикнул он, стукнув кулаком об стол. — Что же теперь делать-то, что делать? — растерянно повторял он. — Ума не приложишь. Нешто удавить ее, змею подколодную, да с камнем на шее в Волхов спустить, пускай пропадает там! Один только ничего не поделаешь! С теми порешить? Сам не смогу, а поручить кому другому, тоже не сподручно! А впрочем, что ж, ведь я в их животе и смерти волен. Кто они? Закабаленные, беглые! Кому ж я ответ за них давать буду? Порешить их, и конец. Только ушли ли со двора? Справиться самому негоже, пусть тиун придет — да скажет, что пропали они, так-то будет ладнее! — успокоился Всеволожский.

— А с этой? Ну, эта не уйдет, крепки запоры, крепок и камень; лбом двери да стены не проломить, пускай там издыхает. Одначе поглядеть надо, как-то они работу свою сделали, — проговорил он, вставая с места и направляясь к выходу.

Взяв восковую свечу, он начал спускаться по лестнице; сойдя в коридор подвала, он начал осматривать стены. Замурованная дверь была так искусно заложена, что ее нельзя было различить.

— Постарались молодцы, — с усмешкой произнес Всеволожский, но вдруг вздрогнул и побледнел.

Из-за двери до него донесся задавленный, заглушенный крик отчаяния.

— Кричит, проклятая! — прошептал Всеволожский. — Кричит; так-то и услышит ее кто-нибудь. Сюда-то я никого не пущу, а в саду, пожалуй, слышно, а я сдуру еще и стекло расшиб. Что за дурь на меня напала ноне! — говорил он в отчаянии, бросаясь опрометью на лестницу. Свеча от быстрого движения погасла; боярин спотыкался; сзади него раздавались крики; оторопь напала на Всеволожского; с трудом добрался он до верха лестницы и только тогда вздохнул спокойнее, когда очутился в покоях.

— Нужно в сад, в сад, не слышать ли оттуда? —

шептал он, бросая погасшую свечу на пол и бросаясь в сад.

— Жива я, жива, жива! — явственно доносился из подвала охрипший голос обезумевшей от ужаса боярыни.

Дрожь пробирала Всеволожского.

— Кричит, проклятая, кричит! — бормотал он, растерянно осматриваясь по сторонам. — Чем ей глотку-то заткнуть, чем?

Недалеко лежал огромный камень. Глаза Всеволожского блеснули радостью.

— Вот погоди же, кричи теперь хоть не своим голосом, — говорил он, бросаясь к камню.

С натянутыми на висках жилами, с напряженными мускулами рук принялся за тяжелую, непосильную для себя работу, подбиваемый страшными криками жены. Камень сдвинулся с места и начал тихо подвигаться. Вот и окно. Еще несколько усилий, и камень, вдавив во внутрь железную решетку, наглухо закрыл окно. Крики затихли.

— Ну вот и ладно, — заговорил весело боярин. — На несколько дней хлеба хватит, а там поколевай себе!

Боярыня долго лежала без памяти, наконец очнулась и открыла глаза. Сначала не поняла, где она, что с нею. Вскочив на ноги, с ужасом огляделась. Сверху пробивались в небольшое окно солнечные лучи и освещали страшную обстановку подвала-могилы.

— Господи, где я? Где я! Неужто он меня в могилу, в склеп унес? — в ужасе, цепenea, говорила боярыня. — Неужто он меня с собой взял. Где же он, где?

С отчаянием закинула боярыня руки на голову и застонала; от холода дрожь пробегала по ее телу. Она отчаянно закричала; этот крик и услышал боярин.

— Господи, похоронили, — с помутившимися глазами кричала боярыня, — да я жива, жива!

Вскоре что-то тяжело грохнуло о железную решетку, и в подвале наступила могильная темнота.

Сама не своя повалилась Марфуша на разбросанную солому и зарыдала, горько, страшно зарыдала несчастная.

Более или менее успокоенным возвратился боярин в свои хоромы, точно камень тяжелый, такой, какой он сейчас ворочал только, свалился у него с плеч.

— Теперь только тех покончить, — думал он, — а там все будет хорошо.

Прошло часа три. Всеволожский сидел глубоко задумавшись, обдумывая какие-то планы. Наконец он поднялся, лицо его было спокойно, — видимо, какая-то удачная мысль созрела в его голове. Он хлопнул в ладоши. Со страхом выглянула из-за двери старуха.

— Что ж это до сей поры Марфы нет, аль без меня засыпаться стала? — с насупившимися бровями спросил боярин.

— Не ведомо мне, боярин, отчего нетути ее, а кажись, она завсегда вставала рано! — отвечала старуха.

— Поди покличь ее, а коли спит, так побуди!

Не прошло и десяти минут, как возвратилась старуха.

— В опочивальне боярыни нетути, должно, встала!

— А коли встала, так я тебе кликнуть ее велел, аль не поняла?!

— В саду нешто? — робко, с замиранием сердца проговорила старуха.

— Где хочешь ищи ее, а чтоб она была здесь!

Старуха пропала часа на полтора; боярин ходил по хоромам и довольно улыбался. Снова явилась старуха, бледная, трепещущая, и прямо повалилась боярину в ноги.

— Ты что? — крикнул на нее Всеволожский.

— Хочешь, боярин, казни, хочешь милуй: виновата я, окаянная! — завопила она не своим голосом.

— В чем виновата-то?

— Везде бегала, везде искала, боярыни нигде нетути!

— Да куда же ей деваться? — грозно, наступая на старуху, спрашивал Всеволожский.

— Не знаю, милостивец, не знаю, кормилец. Покаюсь, грешница, я ее со вчерашнего дня не видала.

— Как со вчерашнего? — зыкнул боярин.

— Да так, отец родной! Вышла она это в сад, а там..

— Что там? Говори, старая чертовка, — не то задушу, не жить тебе на свете! — гремел боярин.

— Ох, грех, ох, нечистый попутал! — вопила старуха

— Да говори же, окаянная!

— В скорости.. боярин.. какой-то разбойник в дом ворвался...

— Ну, дальше-то что?

— Дальше-то? Дальше, милостивец ты мой, я выскочила на крыльцо, начала народ созывать, никто не вышел; побежала я в людскую, меня же оттуда взащеи вытолкали, не захотели с чертом связываться.

— Да что ты мне, окаянная, сказки сказываешь! Дело говори! Что дальше-то было?

— Дальше-то? Дальше ничего не ведаю. Боярыни я больше не видала; с перепугу-то я в уголке заснула, пока ты, кормилец, не разбудил меня!

— Да куда же ты смотрела, старая чертовка, на то ли ты в дому приставлена? А? Говори, проклятая?! — расходился не на шутку боярин.

— Прости окаянную меня, грешницу, уж больно я перепугалась!

— Перепугалась?! — кричал боярин, пиная ногами, валявшуюся на полу старуху. — Перепугалась? погоди, треклятая, я тебя еще пуще перепугаю, погоди ты, анафема! Запорою, повешу, удавлю я тебя!

— Помилуй, пощади, отпусти душу на покаяние! — вопила старуха.

— Пошла вон, проклятая!

Старуха быстро вскочила на ноги и бросилась было за дверь.

— Стой!

— Что прикажешь, милостивец? — слезливо проговорила старуха.

— Ступай в людскую, пошли холопов! — приказал боярин.

Старуха опрометью бросилась за дверь.

— Ну, дай Бог, чтобы и дальше так шло! — бормотал боярин. — Кажись, теперь все ладно!

При одном шуме холопских шагов боярин преобразился, на его лице явилась суровость, в глазах заблестело бешенство.

— Ворота на запоре были? Никто после меня или раньше не выходил со двора? — строго спросил он выступившего вперед тиуна.

— Никто, господин, не выходил, птица через забор не перелетала!

— Так ли? Не лжешь ли?

— Как перед Богом, так и перед тобою, господин, говорю, никто не выходил! — уверял тиун.

Боярин злобно усмехнулся.

— А куда же дружинник девался? — спросил он.

— Какой такой дружинник? — спросил, словно ничего не зная, тиун.

— А вот что меня вздул, черт-то? — выскочил незванный-непрошенный челядинец.

— Как вздул? — спросил боярин, хмурясь.

— Ох, как он, чертов сын, боярин, вздул! Донуны ребра болят; только он не выходил отсюда.

— Куда же он девался?

— Так мне и мнится, что это сам черт был.

— Сам ты дубина, черт! — вскипел боярин. — А тебя, — обратился он к тиуну, — за твое незнайство я свинопасом сделаю!

— Прости, боярин, правду молвлю! — взмолился тиун.

— Ну, ладно, расправа с тобой потом будет, а теперь собери всех до единого холопов, разошли по всем закоулкам, разыщи мне боярыню; ее без меня здесь украли; не разыщешь ежели, голову свою сложишь!

Вздогнули холопы. Новость о пропаже боярыни поразила их как гром. Тиун был сам не свой, ему, по видимому, хотелось что-то сообщить боярину и боялся он. Всеволожский заметил это.

— Ну, что же мнешься-то?

— Прости, боярин, холопы у нас не все!

— Что ты, как сорока Якова, затвердил: прости да прости, скоро ль прощенью конец будет? Как так у тебя холопы не все? — грозно спрашивал Всеволожский.

— Ты, господин, изволил утром давеча оставить трех кабальных.

— Ну? Дальше-то что? — не без тревоги спросил боярин.

— Пропали они немало времени...

— Дальше-то, дальше молви!

— Пришли это они в людскую да и похваляются, что ты взмилдовался над ними, отпустил их на волю, земли обещал; вот они и пошли, сказывают, к Ладоге.

По мере того как говорил тиун, боярина одолевала все более тревога. Когда же тот кончил, Всеволожский совершенно успокоился; он понял, что холопы не проболтались, но ему невозможно было сознаться в том, что он сам отпустил их.

— Так они так и ушли? — с напускною суровостью спрашивал боярин.

— Ушли, милостивец!

— На что же ты-то у меня поставлен? А? — загремел во гнев Всеволожский. — Так-то у тебя всякий холоп придет да скажет, что с моего соизволения он уходит, а ты и отпустишь? Какой же ты опосля этого тиун? На

кой ты мне прах опосля этого нужен? Ведь тебя удавить мало!

Тиун, перепуганный гневом Всеволожского, повалился на пол.

— Помилуй, господин, прости за оплошность.

— Простить я тебя не прощу, а вот тебе мое решение! Как тебя зовут? — обратился он к видному, рослому парню.

— Никандра, — отвечал тот.

— Будь с этого времени ты тиуном, а этого, — говорил боярин, указывая на прежнего тиуна, — отдери батогами нещадно!

— Благодарствую, господин, за милость! — молвил Никандр, валясь боярину в ноги.

— Потом разыщи во что бы то бы ни стало боярыню. А за беглыми пошли погоню! Да пусть захватят с собою веревок, на первом же дереве повесить их. Без этого не возвращаться домой! Вот мой приказ. Теперь ступайте!

Холопы вышли, причем новый тиун не замедлил отдать приказание маленько попридержать своего предшественника, что холопы, частью недовольные многим при его управлении, не замедлили исполнить. И вскоре до боярских ушей донеслись отчаянные крики бывшего тиуна.

Услышав крики, Всеволожский невольно поморщился.

— Ни за что, дьяволы, парня дерут, а я еще сказал нещадно драть его, запорют, анафемы, на радостях до смерти! Да что же делать, нужно же вид было показать!

А крики становились ужаснее, отчаяннее; они почему-то коробили боярина, и он велел закончить экзекуцию.

— Ну, теперь, кажись, все! — проговорил боярин. — Все улажено, пора подумать и о других делах, поймать бы этого дружинника!

Весть о воскресении из мертвых боярина Всеволожского облетела весь Новгород. Весть эта сначала поразила всех страхом и ужасом, но страх прошел, и все начали с любопытством ожидать появления боярского. Прошло три дня, но Всеволожский не выходил, не делал шага из своего двора.

Но настал день, в который боярин не выдержал и волей-неволей смешался с толпой новгородцев.

С раннего утра загудел в Софийском соборе призывный колокол. С раннего утра народ повалил толпами

в собор. Услышав звон, Всеволожский затуманился, но стал собираться.

Боярин спешил в собор. На площади перед собором стояла княжеская дружина, только далеко не вся.

«Что за оказия, зачем это здесь собралась эта горсточка?» — невольно думалось боярину.

Он вошел в храм. Народу было много. Но при его появлении все со страхом расступались и давали ему дорогу. Всеволожский прошел вперед и остановился как вкопанный.

Впереди всех стоял в походном воинском костюме князь Александр Ярославович. Лицо его было светло, безоблачно, глаза с усердием были устремлены на образ Спасителя; он, казалось, не принадлежал земле, он весь отдался молитве.

Злоба, ненависть закипели в душе Всеволожского при виде этого ясного святого лица; много бы он отдал, чтобы это лицо хотя бы на мгновение отуманилось горем, печалью.

Кончилась служба; князь подошел к кресту и набожно приложился к нему; все двинулись за ним, один только Всеволожский не трогался с места и стоял словно окаменелый; глаза его горели непримиримой злобой. Он увидел и узнал в числе окружавших князя Солнцева.

Начали выходить из собора, двинулся за другими и Всеволожский. Когда он вышел, князь был уже на коне. Владыка обходил ряды дружины и кропил их святою водою.

Всеволожский не стал дожидаться конца церемонии, а спешно направился к своему дому. Немало удивляло его, что его бывшие сторонники словно не узнавали его, сторонились.

— Что за притча такая, аль переметнулись? Да, теперь подумать, подумать нужно, — говорил он, возвращаясь домой, — на приятелей надежды никакой, вишь, от меня, как от супостата, рыло воротят; приходится, видно, одному доканчивать дело. Ну, что ж, смогу и один, только вот поспрошать нужно, что это такое творилось ноне, что такое праздновали? Уж не в поход ли собрались? Ну, если так, на моей улице был бы праздник!

Размышления его были прерваны приходом древнего старика — боярина Мунина, родственника Всеволожского.

— Ну, теперь вижу, что люди не солгали мне, — обнимая хозяина заговорил пришедший, — вижу, что жив.

Обрадованный Всеволожский засмеялся:

— А ты думал, что помер?

— Как, родимый, не думать! Сказывали, что тогда на мосту сгиб ты, утопили тебя, вишь; не поверил было, говорят, своими глазами видели, а там и вправду пропал ты.

— Тонуть тонул, да Господь помиловал!

— Где же ты пропадал все время-то?

— У добрых людей. Огневица у меня была, спасибо им, отходили меня.

— И впрямь спасибо! А я уж и на помин души твоей в церкви подавал, только прослышал, что воротился ты; признаться, не поверил я, только нынче внучек прибегает и кричит мне, что видел тебя на площади. Дай, думаю, пойду погляжу своими глазами, уверюсь, а ты и вправду обрелся.

— Обрелся-то я, родимый, обрелся, только не на радость,— проговорил горестно Всеволожский.

— Что так?

— Да так, пришел домой, да жены и не застал.

— Как не застал? Где же она?

— Христос ее знает, в тот вечер и сгубла, как я вернулся; так и не видал ее.

— Батюшки мои, куда же ей деваться-то! Уж не порешила ли она с собой с горя, что ты пропал, ведь она была баба добрая, любила тебя.

— А я ее нешто не любил? Как холил, как берег ее! Да вот сами себе злодеями и стали, эту проклятую дружину призывали на свою голову.

— А что ж дружина?

— То, что как начал я расспрашивать про жену, мне и сказали, что передо мной какой-то дружинник силою ворвался в дом; с той поры жена и пропала.

— Куда же дружинник-то девался?

— А леший его знает! Так полагаю, что он за Марфой и пробрался сюда. Баба молодец, вдовой считается, кто на такую бабу не польстится; он и уворовал ее.

— Надо искать!

— И то ищу. Теперь, полагай, один в доме остался, всех холопов разогнал.

— Ах ты, грех какой! Поди ж ты: то она была от живого мужа вдовой, а теперь ты стал вдовый от живой жены.

Всеволожский в отчаянии развел только руками.

— Да, накликали мы себе беду этой дружиной.

— Что делать, без нее тоже неладно было, шведы совсем одолели нас

— Что ж, сами не справились бы, что ли?

— Трудненько, родимый! Отвыкли мы врагов отражать.

— Эх, болтовня одна, князю угодить хотели, позвали опять; а без князя куда не в пример лучше было. Да скажи на милость, что это на площади ноне творилось? Зачем дружина собралась?

— Это князь в поход отправился ноне.

— В поход? — засмеялся Всеволожский. — Против баб, что ли?

— Каких баб? Против шведов! — недовольным голосом проговорил Мунин.

— С такой-то горсточкой против шведов? — смеялся Всеволожский. — Ну, воин же ваш князь, нечего сказать, знает он воинское дело!

— Ну, ему лучше знать, что делать, ни разу еще ни один враг не одолевал его.

— Ну, а я знаю то, что не воротится он назад, а только опозорит Великий Новгород да дорогу шведам укажет к нам.

— Что за непутевые речи ведешь ты, родимый! — с неудовольствием проговорил Мунин.

— Чего непутевого сказал-то я? Правду одну молвлю, слепым таким, как вы, не хочу быть.

Мунин махнул рукой и взялся за шапку.

— Куда же, боярин? — заговорил Всеволожский. — Погоди маленько, не обижай! Отведай хлеба, соли! Я хоть и без хозяйки теперь, а все же кое-что найдется.

— Нет, спасибо тебе, родимый, за ласку и привет, а мне домой пора, недосуг, я только и пришел на тебя поглядеть.

Оставшись один, Всеволожский задумался; какая-то мысль сильно занимала его. Наконец он улыбнулся и быстро вышел в сад. Ему стало страшно даже стен, он боялся, что они узнают его мысли и выдадут его тайну.

— Да, только бы посрамился он, не станут тогда они кичиться своим неодолимым князем. Только кого послать? Боязно верить теперь людям. Вон родич и тот за врага стоит. Самому лучше. Оно и кстати: скажу, жену пропавшую поехал разыскивать, и сам тем временем успею шведам сообщить что нужно. Пусть его разобьют

хорошенько. А пока он доберется до Невы, я и назад успею вернуться. Так, значит, и надо сделать!

VIII. ОСВОБОЖДЕНИЕ

Рано собрались гости к боярину Симскому на другой день после отъезда князя; в числе гостей находился и Солнцев. Все были веселы, довольны. Старая, враждовавшая с князем партия была уничтожена; оставшиеся, может быть, и не искренно, но все-таки примкнули к князю. Опасаться было нечего: настало старое, доброе, покойное время.

Один только Солнцев был мрачен; веселье не шло ему на ум. Вот уже три дня прошло с тех пор, как он не виделся с боярыней и не имел об ней никакой весточки. На другой же день стало ему известно, что Всеволожский остался жив, но что делалось у него в доме, ему было неизвестно.

«Два раза оживает, проклятый, ну в третий раз уж не увернется! И как это не пришиб я его! Ведь теперь замучает он мою голубку, житья ей не даст; а я еще сказал, что не вернется он больше! Повидать бы ее хоть на минутку, поговорить с ней; да как теперь проберешься к ней, чай, одной стражи наставил невесть сколько».

И все пуще и пуще сжимается его сердце, все глубже и глубже зарывается грусть-тоска постылая, гложет она сердце, сосет его, словно змея лютая. Угрюмо глядел дружинник на веселых, пирующих гостей; их веселье еще более растравляло его тоску.

В покой вошел еще один боярин.

— Чудеса у нас стали твориться,— заговорил он после приветствий, присаживаясь к столу.

— Что такое? Аль вести какие? — посыпались вопросы.

— Уж на что лучше! То мертвые из гробов встают, а то еще и лучше бывает.

— Да не томи, говори, что такое?

— Все Всеволожский наш!

При имени Всеволожского Солнцев вздрогнул и поднял голову.

— Аль начудил чего?

— Чего начудил, над ним начудили!

— Как так?

— Да так, какой-то дружинник у него жену украл!

Симский взглянул на Солнцева; тот сделался бледнее стены. Он вскочил с места и, задыхаясь, спросил:

— Кто тебе это говорил, боярин?

Все с удивлением смотрели на Солнцева: для них непонятно было его волнение.

— Кто говорил-то? Да родич его Мунин.

— Когда же украли ее? — дрожащим голосом продолжал спрашивать Солнцев.

— Да в тот самый вечер, как он воротился домой. Пришел он ночью, а жены его и след простыл.

— Врет Мунин! — сорвалось невольно с языка у Солнцева.

— Вот те и раз! Да ты откуда знаешь, что он врет?

— Кабы кто из дружинников украл его жену, мне было бы ведомо это! А коли пропала его жена, так он сам над ней что-нибудь злое учинил!

— И мне тоже сдается, — согласился Симский.

— Да что вы, бояре?! Кабы что-нибудь он над ней сделал, так постарался бы концы в воду схоронить, а то теперь, чай, двор у него на запоре; всех своих холопов разогнал на поиски и сам вчера же куда-то ускакал на розыски.

Солнцев заметался, отыскивая шапку. Симский схватил его за руку и отвел в сторону:

— Ты что это мечешься как угорелый?

— Пойду искать ее, живую или мертвую!

— Да где же будешь искать-то?

— Пока и сам не знаю! А чует мое сердце, что найду ее, только какою найду-то, может, мертвою?

— Полно тебе, что выдумашь!

— Где же ей деваться-то? Ведь я тебе рассказывал все! А вон говорят, будто он и не видал ее.

Симский задумался. В это время вошел холоп.

— Тебе что? — быстро спросил его боярин.

— Посадника тут нетути?

— Чай, сам знаешь, что нет! Тебе зачем его?

— Да там холоп какой-то пришел, говорит, нужно очень, дело какое-то важное есть до него.

— Так пускай и идет к нему, чай, дорогу знает.

— Был у него, дома нетути; у других бояр был, и там не нашел, уж сюда пришел. Коли, бает он, и здесь нет посадника, так предоставь меня, бает, перед очи какого ни на есть боярина.

— Что за чудо? Погоди маленько, — обратился Симский к Солнцеву, — я ту же минуту ворочусь.

Наконец дверь отворилась и вошел Симский. Лицо его было бледно; он был сам не свой.

— А какой это там холоп приходил? — спросили его.

— Делать ему нечего, он и тревожит, вишь, со шведом ему драться захотелось, так позволения пришел спрашивать идти за дружиной следом!

Гости рассмеялись. Солнцев нетерпеливо посматривал на Симского; он заметил перемену в его лице и понял, что вызывали боярина именно по делу, его касавшемуся. Он схватил шапку и начал отвешивать поклоны гостям. Симский его не удерживал, но едва только Солнцев скрылся за дверью, как он догнал его:

— Постой, погоди!

Тот остановился.

— Дело есть, останься, обожди вон хоть в этом покое, пока все не разбредутся.

— Да какое дело-то?

— Эх ты какой! Ну, боярыню твою разыщем, знаю, где она.

Затрясся Солнцев, еле на ногах устоял.

— Правду ль ты молвишь? Жива ли она?

— Жива, у себя в дому, понял? Ну, а теперь сиди и жди!

— Да ведь они, дьяволы, до поздней ночи не уйдут!

— Да раньше ночи мы ничего и не поделаем; сиди ты только спокойно, все сделаем!

Скрепя сердце остался Солнцев. Хозяин пошел к гостям. Те, видя боярина расстроенным, начали расходиться. Симский их не задерживал. Позвав холопа Всеволожского, Петра (а это он приходил), Симский вместе с ним вошел к истомившемуся Солнцеву.

— Ну, вот он тебе все расскажет, — проговорил Симский, указывая на Петра.

Петр рассказал все, что происходило в доме Всеволожского. Дружинник застыл от ужаса при этом рассказе.

— Что ж, наше дело подневольное, — продолжал Петр. — Я было заикнулся, так он, боярин-то, чуть не убил меня там же на месте. Как ушли мы от него, так он за нами вдогонку чуть не всю челядь свою послал. Я-то убежать успел, а товарища на дерево вздернули. На душе у меня так тяжело было, что самому было впору петлю на шею надеть. Господь с ним и с его деньгами-то! Вот как открылся вам, так словно и полегчало на душе.

— Что же мы сидим-то, что сидим? — чуть не застонал Солнцев. — Она, может, помирает теперь аль и совсем померла, а мы тут побасенки разводим!

Симский невольно взглянул на окно начинало темнеть.

— Погоди маленько, — проговорил он. — Сам знаешь: теперь нельзя разгром делать: светло еще; вот маленько потемнеет, тогда и пойдем.

— Можно с Волхова подъехать к саду, дорогу я знаю, никто не увидит.

Симский задумался.

— Твоя правда. Погоди, сейчас холопов кликну, — проговорил он, выходя из покоя.

Не более как через полчаса две лодки отчалили от сада Симского. В первой сидели: Симский, Солнцев и Петр, а в другой пять человек холопов. Солнцев сам работал веслами; лодка неслась как стрела, но ему казалось, что она еле двигается. Наконец подъехали к густым, купающим свои ветви в Волхове ивам. Лодка ткнулась в берег, и почти в то же мгновение Солнцев очутился в саду. За ним выскочили остальные; в руках холопов были заступы, ломы, за поясами торчали ножи и топоры.

— Ну, води теперь! — обратился Солнцев к Петру.

Тот пошел вперед, за ним двинулись остальные. Мертвая тишина господствовала на когда-то шумном дворе боярина Всеволожского. Словно замер дом; только собака, услышав шаги, лениво тьякнула и спряталась в свою конуру. Петр вошел в хоромы. Душа у него была не на месте; он боялся встречи со Всеволожским. Но в доме царила та же мертвая тишина. Петр робко подошел к подвальной лестнице. В последнем покое, как привидение, стояла перепуганная насмерть старуха. Она хотела крикнуть, хотела бежать, но ноги не повиновались, не хватало голоса; она только с ужасом глядела на вошедших.

— Уберите-ка ведьму! — приказал Симский холопам, указывая на старуху.

Те бросились на старуху, повалили ее на пол и скрутили ей ноги и руки кушаками. Старуха от страха не пикнула.

— Ну, теперь дальше! — торопил дружинник.

— Без света туда нельзя идти! — заявил Петр.

— Что же ты раньше не сказал? — вскипел Симский. — Мы дома бы взяли свечей, а здесь где их искать?

— Вон небось ведьма-то знает,— проговорил Солнцев, указывая на небезызвестную ему старуху.

— В поставце! — еле проговорила та.

В поставце нашли свечи, зажгли и начали спускаться по лестнице. Гул шел под сводами коридора от шагов вошедших. Петр внимательно всматривался в стену.

— Вот здесь, кажись.

— Ну, ребята, принимайтесь за работу! — скомандовал Симский.

Грузно ввалился лом в стену. В один миг с грохотом посыпались кирпичи. Стала видна дверь, и из-за нее послышался не то задавленный крик, не то тяжелый стон.

Этот тяжкий звук, однако, вернул Солнцева к жизни.

— Жива! — крикнул он, осеня себя крестом.

Дверь, однако, была заперта. Дружинник, выхватив у холопа топор, принялся за работу. Искрами летели щепки; не прошло десяти минут, как дверь рухнула. Схватив в руки свечу, Солнцев бросился в подвал. В углу, с широко раскрытыми глазами, в одной изодранной сорочке, с обнаженными плечами и грудью, протянув руки вперед, как бы защищаясь, стояла боярыня. Она была словно поражена параличом. Она узнала Солнцева и, принимая его за привидение, пришла в ужас.

— Миша! Михайло?! — шептала она в страхе.

— Я, я, родимая, солнышко мое красное! — задыхаясь, бросился Солнцев к боярыне.

Вошли остальные и не без ужаса смотрели на ополоумевшую почти женщину.

— Обманул, обманул,— говорила между тем боярыня,— сказал, не придет, а он меня в могилу с собою унес, в склеп запер!

«Четыре дня,— бормотал Симский,— как с голоду то не померла, а маленько, кажись, рехнулась. Что же с ней теперь делать, куда девать ее? Здесь оставить нельзя, вернется сам, еще хуже наделает, убьет, пожалуй».

— Михайло Осипович, а Михайло Осипович! — окликнул он Солнцева.— Боярыню держишь в одной сорочке в подвале, нешто это дело! Одеться ей нужно, а там дальше подумать, что делать с ней. Мы уйдем в покои, а ты проводи ее и к нам приходи, там что ни на есть придумаем.

И Симский с холопами начал подниматься наверх, в хоромы.

Вскоре к нему явился и Солнцев.

— Что же теперь делать? — спросил его Симский.

— Не знаю, — в раздумье заговорил он, — только мнится мне, что здесь ее оставлять нельзя.

— Вестимо, из могилы добыли да опять старому дьяволу на растерзание отдавать? А он, того и гляди, явится.

— Нешто к посаднику ее отвести, пусть он вступится.

— К посаднику?.. Вестимо, он должен вступить, на то он и посадник, только ладно ль это будет?

— Почему же не ладно-то?

— А то что посадник должен будет дело разобрать, шум подымется; сам узнает, где его жена, волей иль неволей опять возьмет ее для измыывания. А по-моему, так сделать, чтобы он не знал и не ведал, где боярыня! Пропала, мол, без вести, украли ее лихие люди — и конец; пускай ищет ветра в поле.

— От него, старого, не укроется, что это мы с тобой взяли боярыню.

— Что ж он, дух свят, что ли?

— Не дух свят, а старуха выдаст.

— Старуха отродясь меня и не видывала и не ведает, кто я.

— Меня видывала.

— Что ж за беда? У тебя ее не найдут, да опять как ему и шум-то поднимать? Ведь не одни мы ослобоняли боярыню, народу с нами не мало было, зашумит ежели, так на свою же голову.

— Да нешто холопам против боярина поверят? Скрыть-то ее, я сам знаю, следовало бы, только, коли не к посаднику, уж и не знаю куда, ума не приложу.

— Пстой, погоди! — вдруг оживился Симский. — Погоди, Михайло Осипович, никак, я придумал!

— Что такое? — встрепенулся дружинник.

— К посаднику ни мы с тобой не пойдем, ни боярыню ни пустим, а метнемся мы с тобой да с нею совсем в другую сторону.

— Куда такое? Говори!

— Пойдем мы ко владыке да и поведаем ему все.

Солнцев при имени владыки невольно вздрогнул; он понимал, что, рассказывая о Всеволожском, нужно будет рассказать о себе, о своем грехе. Как взглянет еще владыка на их проступок, не осудит ли он их больше, чем Всеволожского.

— Ну, что задумался-то? — нетерпеливо спрашивал

его Симский. — Раздумываться тут долго нечего, не у себя в дому, а в чужом. Того и гляди, нагрянет хозяин со всею челядью, тогда ау! Силой возьмет боярыню.

— Да что же владыка-то сделает? — нерешительно спрашивал Солнцев.

— Там пусть как хочет, а вступается; это его дело, пускай прячет у себя.

— Где же владыке прятать ее? Да он от одного зазора не сделает это.

— Какой же такой зазор? Он на то и владыка, чтобы заступаться за тех, кого обижают, а он зазор! Мало ль у него монастырей женских, пускай пошлет в какой-нибудь на время, а там дальше придумает, что сделать. Никто и знать не будет, где она, раз, а дугой-то, что ежели и узнают, так из-за монастырской стены не больно скоро твою боярыню выхватят.

— Ну, коли так, так и будет, — не без сомнения проговорил Солнцев.

— Иди же, води боярыню, да прямо ко владыке и махнем.

— Как, сейчас же ночью? Да владыка теперь небось почивает.

— А когда же к нему идти? Среди белого дня, что ль, чтоб весь честной народ видел, как мы к нему боярыню поведем? Да где же она ночь-то будет? Не у тебя ль?

— А у владыки где она будет?

— Небось, не оставит у себя, а ночью-то мы ее и сплавим, никто знать и ведать не будет.

Солнцев, ничего не отвечая, отправился к боярыне; та сидела уже одевшись; но четырехдневное заключение, голод и холод, страх и ужас одиночества в темной могиле сделали свое дело. Минутное возбуждение миновало, полнейшее бессилие овладело боярыней, она была бледна как мел, глаза полужакрыты, руки как плети бессильно висели вдоль стана, она, казалось, дремала.

— Марфуша, любя! — окликнул ее тихо Солнцев.

Боярыня хотела подняться, но ноги не повиновались ей, и она снова села на лавку.

— Неможется, светик, — с какою-то странною улыбкою проговорила она, — ноженьки не служат.

Солнцев бережно взял ее на руки и вынес из опочивальни.

— Что? Аль нездорова? — спросил Симский, увидев дружинника с боярыней на руках.

— Сам видишь, как же мы ее с собой к нему-то поведем, совсем негоже.

— Дорогой потолкуем об этом, а теперь айда в путь, к лодкам! — говорил боярин, направляясь к выходу.

Вскоре лодки двинулись в обратный путь.

— Боярыню и впрямь нельзя брать с собой, — заметил Симский.

— Уж я не знаю, что и делать? Ей спокой нужен, измаялась она, — отвечал Солнцев.

— А кончить все ныне нужно. Нешто ко мне ее завести да оставить там, пока мы не вернемся.

— А опаски никакой нет?

— Какая же опаска? Холопы у меня верные, ни один не обмолвится, да и долго ль ей придется пробить у меня: сегодня же небось и свезем.

— Куда же ее, хворую, везти?

— Там скорей, чем где, выходят ее.

Боярыня немного пришла в себя и слышала последние слова Симского.

— погоди, родимая, здесь; я вот с боярином пойду, скоро вернусь.

— Куда же ты пойдешь-то? — с тревогой спросила она.

— Недалечко, защиты тебе искать, — отвечал Солнцев.

— Боязно мне тут, все чужие, никого не знаю я.

— Чего бояться-то? Ты в хорошем дому, в добрых руках.

Боярин в дружинником ушли. Было уже поздно, но когда они вошли на митрополичий двор, то в окна покоев владыки светился еще огонь.

Не без душевной тревоги входил Солнцев ко владыке, который в свою очередь был немало удивлен поздним посещением незваных-непрощенных гостей.

Те подошли под благословение. Владыка благословил их.

— Что так поздно? Аль приключилось что?

— Прости, святой владыка, за то, что потревожили покой твой, только и впрямь приключилось страшное дело! — заговорил Симский и начал в коротких словах рассказывать о заключении боярыни, о том, как освободили ее.

— Знал я, что злодей он, великий злодей, — тихо говорил владыка, — а этого не ждал я и от него. За что же

это он ее в погреб живую-то, ведь, чай, что-нибудь и было? — спросил он, немного помолчав.

— Было, владыко! — вспыхнув, говорил Солнцев.

Владыка пытливо взглянул на него.

— Что же было-то? Виновата, знать? — спросил он мягко.

Солнцев несколько мгновений молчал.

— Нет, святой Владыка, не виновата она, а виноваты во всем злые люди.

И повел он рассказ о своем детстве, о детстве боярыни, о первой с нею встрече, обо всем, что было, не без труда рассказал он и о последних своих свиданиях, ничего не утаивая, каясь как на исповеди.

При последних словах лицо владыки сделалось серьезно, брови нахмурились, глаза потупились. С дрожью в голосе, с замиранием сердца кончил свой рассказ Солнцев. Владыка молчал и что-то обдумывал.

— Велик грех совершили вы оба, — наконец тихо промолвил он. — Сильно согрешили вы и перед людьми и перед Господом.

— Зачем же люди разлучили нас? — робко проговорил Солнцев.

— Бог еще и большие грехи прощает, — вмешался молчавший до сих пор Симский.

— Когда с чистым сердцем раскаиваются перед ним и не повторяют греха, — заметил владыка. — Какой же вы у меня защиты просите?

— Защитить, святой владыка, боярыню.

— Как же я могу защитить ее?

— Если Всеволожский возвратится и узнает, где она, — он возьмет ее и, пожалуй, сделает еще что-нибудь хуже. Вот мы и пришли к тебе, владыка, земно кланяться; возьми ее пока что к себе, — говорил Симский.

Владыка с изумлением смотрел на говорившего.

— Куда же я дену ее?

— Мы хотели просить тебя поместить ее на время в монастырь, чтоб никто не ведал, где она, благо сам муж пустил молву, что она без вести пропала, — говорил Симский.

— Не складно мне, боярин, мешаться в мирское дело, — как бы в раздумье проговорил владыка.

— А коли ты не вступишься, тогда кому же и вступить-то помимо тебя!

— У вас есть посадник, к нему пойдите, он и вступится.

— Что ж посадник сделает? Он отдаст боярыню мужу на издевательство, да и нас еще станут судить за то, что мы выручили боярыню.

— А вы хотите, чтобы я ваш грех покрыл?

— Нам думалось, что мы доброе дело сделали; а коли, по-твоему, грех спасти человека, не дать ему умереть без покаяния от холода и голода, тогда уж не знаю, что и добрым назовут, чем и душу свою спасти? — обидчиво проговорил Симский.

Владыка с легкой усмешкой взглянул на него, но не сказал ни слова. Наступило молчание.

— Вот что я вам скажу, — наконец заговорил владыка, — вот этот молодец с боярыней великий грех учинили. За это я на него епитимию наложу. А просьбу вашу, пожалуй, исполню, дам приют вашей боярыне, только и на нее наложу епитимию: пусть она в монастыре грех свой замаливает.

Боярин и Солнцев начали благодарить владыку, но тот остановил их.

— Погодите, — говорил он, — небось ее хватятся и искать станут, само собой в монастыри заглянут. Только искать будут не здесь, не в Новгороде, потому после тех страстей она куда-нибудь подальше должна сбежать.

Боярин с дружинником не понимали, к чему он речь клонит.

— Здесь ее искать, значит, не станут, — продолжал владыка, — так мы ее в здешнем монастыре и спрячем: пусть себе в келейке сидит, никуда не выходит, никто ее и не увидит и не найдет; сейчас я дам вам грамотку к матери игуменье, вы ее туда и отведете.

Он встал, подошел к столу и начал писать.

— Ну вот, возьми это, боярин, — обратился он к Симскому, — и отвези грамотку вместе с боярыней, а тебе в наказание за твой грех я запрещаю не то чтобы ходить в монастырь, а провожать и боярыню, чтобы ты и не знал, в какой она келье, и не видался бы с нею никогда, пока жив ее муж; помрет он, тогда ваше дело, женитесь. А теперь ступайте, мне пора и на покой, — закончил он, благословляя своих гостей.

VIII. ПРЕДАТЕЛЬ

По узкой извилистой дороге, пролегавшей между вековыми деревьями, торопливо пробирался небольшой отряд Александра Ярославовича.

Торопился он попасть на окраины новгородской земли, чтобы защитить хотя оставшиеся в целости еще села и деревни. Каждый час был дорог. По дороге попадались ограбленные шведами беглецы, направлявшиеся в Новгород просить помощи и защиты. Насколько было возможно, князь помогал им. Из их рассказов он убедился, что занимались разбоем действительно какие-то шайки, сброд, с которым легко было справиться.

Но вместе с тем он думал, что эти шайки могли быть только передовым отрядом настоящего шведского войска. При этой мысли он невольно раскаивался в том, что не взял с собой всей своей дружины. Но дум своих он никому не выдавал; не след было смущать дружинников. Оставалось всего перехода два до берегов Невы. Все чаще и чаще попадались прятавшиеся в лесах ограбленные и разоренные граждане новгородской земли, встречая князя чуть не с молитвой, благословляя его как ангела-избавителя.

Был вечер; дружина княжеская раскинулась станом на ночлег. Зажглись костры, дружина, поужинав, разместилась здесь же на земле и после утомительного перехода предалась мертвому сну. Не спали только сторожевые дружинники, оберегавшие княжеский стан от внезапного нападения, но плохо сторожили они; опершись на секиры, прислонясь спинами к деревьям, они сладко дремали, давая возможность врагу каждую минуту проникнуть в стан.

Не спал только Александр Ярославович. Горячо молился он в своей ставке, молился о поддержании его, о своем Новгороде и славе его. Замерли последние слова молитвы, князь поднялся с колен и вышел из ставки; кругом тлели костры, все дружинники спали.

«Вот в такой час ежели напали бы шведы, — думалось князю, — всех бы перерезали: ведь сонный что мертвый; нет, Боже сохрани и помилуй от этого». Он возвратился к себе и лег не раздеваясь. Долго не мог заснуть, долго сон бежал от него. Начала занимать заря, тогда только князь задремал легкой, тревожной дремой, но едва успело посветлеть, как он уже был на ногах и приказал

трубить сбор. Еще не всходило солнышко, как отряд снова шагал по лесной узкой дороге.

А в это самое время, измученный ездой, недалеко от стана спал Всеволожский. Отвыкнувшему от верховой езды, ему было трудно выдержать неблизкий путь; приходилось делать большие отдыхи, и его мечта попасть обратно в Новгород, прежде чем князь доберется до берегов Невы, оказалась несбыточной.

— Кабы прямой дорогой ехать, так известно, дома теперь, может, был бы, — утешал он себя, — а то вертись тут по тропинкам, чтобы не попасться на глаза дружине, да не один раз и с пути сбивался. Ну, да ладно, только бы мне до первого отряда шведского добраться, а там дело будет сделано, можно, значит, будет и восвояси отправиться.

Солнышко начинало припекать, когда боярин открыл глаза, встал и начал расправлять свои усталые и измученные дорогой члены. Недалеке стояла привязанная к дереву лошадь, пощипывая траву. К ней подошел боярин, кряхтя и охая, взлез он в седло. Ноги и спину его разломило.

Он двинулся вперед. Не проехав и полверсты, он остановился и потянул воздух, в котором чувствовался запах дыма.

— Не налететь бы мне, — проговорил боярин, — хорошо, кабы да шведы это были, а как дружина княжеская!

Он осторожно продвигался вперед; кругом была мертвая тишина, нарушаемая только стуком дятлов.

— Что за оказия, — ворчал Всеволожский, — кажись, никого нигде нет, а дымом все больше и больше пахнет!

Перед ним открылась небольшая лужайка, на которой дымились потухшие, едва тлеющие костры.

— Так вот оно что, — проговорил боярин, — здесь стоянка была, только чья же это? Чья не чья, а из опаски нужно подальше держаться от дороги.

Он снова повернул в сторону от дороги и поехал дальше. Занятый своими думами, он не замечал времени, не чувствовал голода; лошадь пристала и едва тащила ноги. Наконец боярин очнулся, до него донеслись какие-то странные звуки; лес начал редеть, показались вдали просветы, опять понесся сильный запах гари и дыма.

Лошадь пошла бодрее; солнышко уже начало опускаться книзу; боярин и не заметил, как прошел день.

Лес кончился; перед ним открылось потоптанное по-

ле; вдали вместо стоявшей деревни торчали только обгорелые остовы изб; по некоторым пробежал еще змейками огонь и, лизнув словно языком воздух, гас. Из погоревшей деревни доносился плач.

Боярин невольно остановился на мгновение в раздумье: ехать ли ему вперед, или миновать пожарище.

— Была не была, поеду, — решил он, — по крайности что-нибудь да узнаю.

Чем ближе подъезжал он, тем слышнее делался бабий вой и плач. Наконец он въехал в бывшую деревенскую улицу; на земле валялись несколько изуродованных трупов, над ними убивались бабы и ребятишки, невольно вздрогнул боярин при этой картине; на душе шевельнулось что-то вроде жалости.

— Аль погорели, тетка? — спросил он у вывшей над трупом бабы.

Услышав его голос, баба подняла голову и уставила на него помутившиеся, полупомешанные глаза.

— Тебе што надоть? — с сердцем спросила он.

— Погорели, спрашиваю, што ль?

— Сожгли, дьяволы, побили наших кормильцев, хлебушко весь потоптали! — завывала старуха.

— Кто сжег-то?

— Вестимо кто, разбойники-шведы!

— Давно ль?

— Утречком ноне, на зорьке!

— И много их было?

— И не разберешь, как черти какие тут разбойничали!

— Куда же ушли они?

— Туда! — махнула баба рукой, указывая на другую сторону бывшей деревни. — Да тебе зачем это? — подозрительно спросила она в свою очередь.

— Нужно князю сказать, на подмогу идет он к вам.

— Хороша подмога, — озлобленно говорила баба, — когда перебили всех да разорили вконец, тогда и подмог. Вашему князю пораньше бы прийти, сборы-то с нас берете, а заступиться впору вас и нет как нет.

Последних слов не слышал Всеволожский; опустив голову, он поехал дальше, нехорошо было у него на душе.

Отправляясь к шведам, врагам своей родины, не является ли он иудой, выдавая ее на разграбление? Но князь? Ему хочется гибели князя с дружиною. Положим, желание его исполнится, что же будет дальше? Кто поручится,

что шведы ограничатся только разбитием княжеской дружины, уничтожением ее? Что, если они, увидев беззащитность новгородской земли, двинутся дальше, разгромят самый Новгород, покорят его себе? На чьей душе будет тогда грех предательства? И еще больнее защемило боярское сердце, совесть против воли говорила в нем и ставила ему обвинение за обвинением.

— Господи, да нешто я ворог Господину Великому Новгороду и Святой Софии, — шептал побледневшими губами боярин, — нешто я ворог, нешто я не ради его иду к шведам? Ведь для него же, для его спасения. Обезумели наши вольные люди, хотят потерять свою волюшку, свою свободу, под руку князя хотят стать! По мне, какой князь ни будь, все-таки он князь, поработитель, и от него избавиться нужно. А что без дружины его можно обойтись, так как не обойтись: мало ль у нас народу, силою возьмем! — утешает он себя и оправдывается перед своею совестью.

А лошадь идет вперед и вперед. Солнце закатилось, медленно начала спускаться на небо ночная темнота, ярко засверкали звезды. Наконец боярин почувствовал усталость, нравственные муки, угрызение совести окончательно обессиливали его. Он почувствовал сильнейший голод.

— Не заночевать ли? — раздумывает он. — На-кося, целый день не вставал с лошади, ничего не ел. Да где приют-то найти? В лесу покойно, не видать, а тут, в поле, где приютишься? Видно, делать нечего, надо ехать дальше, может, и найду где местечко для ночевки.

И он, несмотря на усталость, двинулся дальше. Развязав котомку, висевшую сбоку седла, он достал кусок хлеба и начал жевать.

— А ведь и конь ничего ноне не ел, — приходит ему в голову.

— Ну да потерпит еще маленько! Вон впереди что-то чернеет, никак, лес, там отдохнет.

Невдалеке действительно темнел лес, из него подымалось красноватое облако.

— Кажись, дым, должно, шведы? Дружина княжеская здесь быть не может! — оживился боярин.

Вот и лес, прохладой повеяло от него. Боярин въехал, но не знал, куда двинуться, дороги не было, темнота царствовала могильная; густые ветви деревьев сплелись между собою и не пропускали даже слабого, едва мерцающего звездного света.

«Не остановиться ли? — думает боярин. — Утром-то виднее будет, скорее найдешь дорогу».

Вдруг в стороне между деревьями блеснул огонек, и в то же время несколько человек схватили коня под уздцы. Послышался неизвестный, незнакомый говор.

Боярина без церемонии стащили с лошади и повели к разложенным на поляне кострам. На лужайке, около трех-четырех костров, расположились около сотни человек.

«Не много же их!» — невольно подумалось боярину.

Увидев боярина, разбойничья шайка окружила его, рассматривая с любопытством. Послышались вопросы, обращенные к нему, но он ничего не понимал. Наконец вышел один из толпы.

— Кто таков будешь? — спросил он боярина по-русски. Глаза Всеволожского блеснули радостью.

— Я боярин из Новгорода, Всеволожский, — отвечал он, — а вы, надо полагать, будете шведы?

— Да, шведы! Зачем ты здесь пробирался?

— Я из Новгорода приехал нарочно вас искать.

— Зачем, что тебе нужно от нас?

— Воеводу мне вашего нужно!

— Я и есть воевода; говори, что нужно тебе от меня?

— Коли воевода, так здравствуй, — приветствовал его боярин, приподнимая свою шапку.

— Здравствуй!

— Мне нужно тебе слово молвить!

— Какое такое слово?

— Важное, воевода, слово, при народе молвить-то его непригоже!

Воевода отошел со Всеволожским в сторону. Всеволожский быстро, торопливо начал передавать ему цель своего пребывания; чем дальше говорил он, тем подозрительнее и недоверчивее относился к его рассказу называвший себя воеводой.

— Так ты говоришь, что у князя дружина не велика? — спросил он, когда Всеволожский кончил.

— Махонькая, всего-то будет человек двести, не более, расправиться будет во́ как легко!

— У нас народу немного, — задумчиво проговорил швед. — А скажи мне, боярин, зачем ты выдаешь своих, продаешь их?

Краска бросилась в лицо боярину, злобой блеснули его глаза, кулаки сжались.

— Отчего? — переспросил он. — Отчего? А оттого, что я ненавижу князя!

— Ну, за твои речи, боярин, тебе спасибо великое, — говорил швед, — только ты нас не обессудь, не во гнев тебе будь сказано, отпустить я тебя не отпущу пока что, а ты побудь с нами.

— Этого никак не можно, — заговорил побледневший боярин, — никак не можно!

— Отчего же? — спросил, усмехаясь, швед.

— Я дела и все бросил, да зачем я вам и нужен-то?

— А затем, боярин, что Бог один ведает, что у тебя в мыслях. Может, ты и правду сказал, а может, ты против нас какой ни на есть злой умысел держишь? Тогда не погневайся, расправа с тобой короткая будет!

— Какой же умысел, когда я своего князя вам с руками и ногами отдаю!

— Оно, видишь, так, да Бог весть. А ты лучше поживи с нами, обиды тебе не будет: будешь нашим гостем.

Убитый шел за шведом Всеволожский. Не того хотелось ему.

«Вот так ввалился, — думал он. — Нет, как-никак, а нужно сбежать».

До ужина он и не дотронулся.

— Ешь, гость дорогой, — потчевал между тем его швед.

Скоро все улеглись. Лег и Всеволожский. Но не спалось ему, что-то тяжелое давило, на душе было тревожно. Не раз приподнимал он свою седую, старую голову, оглядывая местность, отыскивая, где бы можно было улизнуть, но все было напрасно. В какую сторону ни глядел он, везде при зареве костров виднелись шведы с длинными древками, на которых были насажены блестящие острые секиры.

А сердце щемило все сильнее и сильнее, что-то вроде раскаяния охватило Всеволожского. «Кабы знал, не поехал бы! — думалось ему. — И без меня, может быть, управились бы с князем, а теперь на-кось поди, того и гляди, голову сложишь. Об уходе теперь и думать нечего: как уйдешь от них, окаянных? Эх я на старости лет обмишулился!»

А минуты, бессонные минуты, тянутся как вечность. Тяжко Всеволожскому; хотя бы уснуть, забыться. Наконец усталость физическая и нравственная все-таки взяла свое, отяжелевшие боярские веки закрылись, напала дремота, перешедшая в глубокий, тяжкий сон.

Не прошло и двух часов, как на ранней заре пронесся резкий, пронзительный, тревожный звук трубы. Всеволожский вскочил и увидел во шведском стане необыкновенную суету и беготню. Шведы хватались за оружие, метались по поляне. На него никто не обращал внимания.

«Вот бы теперь задать стрекача?» — невольно пришла ему мысль.

И он начал высматривать свою лошадь. Но, взглянув в сторону дороги, он затрясся всем телом. Лицо сделалось бледнее его седой бороды, в глазах смешался ужас с гневом и злобою.

По дороге, шагах в двухстах, не более, двигалась стройно, правильно в блестящих доспехах Александрова дружина. Всеволожский видел ясно, что выхода ему нет; оставалось одно: или одержать верх над врагом, или лечь костями, но живым в руки не даваться, иначе ему предстояла та же смерть; только не здесь, не на ратном поле, в бою, — а в Новгороде, в родимом городе, на глазах всех вольных людей, знакомых и приятелей; смерть не мгновенная, а мучительная, позорная. Нет, лучше уж здесь гибнуть, коли гибель пришла!

В воздухе словно шмель прозвенела стрела.

— Господи? Да что же это? Что же? — шептал в отчаянии Всеволожский, оглядываясь кругом. На глаза ему попалась громадная дубина. С какою-то дикою радостью махнул он ею два-три раза, дубина оказалась по руке. Весело улыбнулся боярин; несколько лет словно свалилось с его плеч.

Дружина вдруг сразу бросилась на шведов и вступила в рукопашный бой. С ожесточением бились шведы, Всеволожский, как зверь лютый, бросался во все стороны, разя и валя вокруг себя своею дубиною дружинников, откуда и сила взялась у старика. Но не ведали в горячах шведы, что часть дружинников окружает их.

Битва продолжалась около часа. Шведы были перебиты, частью взяты в полон, в их числе и воевода. Понуро шел он, окруженный дружинниками, пока князь не приказал остановиться для отдыха.

Бессонная ночь, проведенная в погоне за шведами, и битва утомили князя, но он и не думал об отдыхе. Нужно было еще разобрать дело, разузнать от пленных о количестве врагов, гулявших по новгородской земле и разорявших ее.

Первого привели воеводу.

Озлобленный неудачей, он все свалил на новгородцев, которые будто бы подбили его идти разбойничать, и, как на пример, указал на боярина Всеволожского.

Тихое облачко промелькнуло на лице князя.

— Поверить я тебе не могу. Всеволожского здесь нет!

— Князь, боярин здесь! — проговорил утрюмо один из дружинников.

Лицо князя еще более опечалилось. Ему не хотелось срамить земли новгородской, призывая на суд предателя.

— Где же он? — сумрачно спросил Александр.

— Раненый, в плече у него рана насквозь.

— Позовите его сюда!

Через несколько минут в шатер ввели Всеволожского.

Опустив голову, вошел в княжескую ставку боярин. Боль в плече, ненависть к князю, безвыходность положения выводили его из себя.

— Боярин, — мягко обратился к нему князь, — вот швед обвиняет тебя в измене Великому Новгороду и Святой Софии, правда ли это?

Боярин молчал, стиснув от злобы зубы; мягкость князя бесила его.

— Что ж, боярин, молчишь? Скажи, что враг врет, — продолжал князь.

Глаза Всеволожского сверкнули, он поднял голову, смело, твердо поглядел на князя.

— Что же? — промолвил Александр.

— Не врет швед, а говорит правду!

— Ты, значит, изменник?

— Нет! Но я ненавижу тебя! — с яростью проговорил Всеволожский.

Воевода сумрачно смотрел на эту сцену; князь еще более опечалился.

— Так ты говоришь, что ты один только и разорял наш край? — обратился князь к воеводе.

— Пока, говорю, один! — отвечал швед.

— Как пока? — удивился князь. — Разве ты еще кого ожидал?

— Может, и ожидал! Погоди, разнесут твою дружину! — грубо отвечал швед.

— Уведите его! — приказал Александр.

— Что с ним делать?

— Ничего, — проговорил князь, — я потом скажу.

Шведа увели, остался один Всеволожский.

— А тебе, боярин, — обратился к нему князь, — я ска-

жу вот что, здесь, сам видишь, много деревьев, за твое черное дело, за измену Великому Новгороду, я мог бы повесить на любом из них. Я тебя нашел в числе врагов и волен в твоей жизни, но вольности, прав и свободы Великого Новгорода я нарушать не хочу. Я отправлю тебя в Новгород к посаднику, пусть тебя судит вече! Коли оно оставит тебя без наказания, тогда будет само виновато, а накажет, тогда другие не будут следовать тебе.

Кровью налились глаза Всеволожского, горшего наказания он не мог придумать. Ему живо представилось бушевавшее новгородское вече, он, заправлявший этою толпою, направлявший ее, стоит опозоренный, ждет приговора этой оборванной голытьбы, и эта голытьба приговаривает его!

— Вели лучше убить меня здесь! — прохрипел он.

— Зачем убить? — проговорил князь. — Мне твоей смерти не нужно; я бы отпустил тебя совсем, но ты новгородский боярин, а я не волен нарушать ваших обычаев, пусть тебя судит сам Господин Великий Новгород.

По уходе боярина князь задумался. Всеволожский недаром очутился у шведов; вероятно, он рассказал им о его силах. Он вспомнил также намек шведа и о больших силах.

«Не вызвали ли они их? — думалось князю. — Делать нечего, придется из Новгорода кликнуть всю дружину!»

Он позвал дружинника, самого близкого к себе, любимого.

— Возьми, — говорил он ему, — человек десять с собой и доставь в Новгород шведов полоненных и боярина Всеволожского.

— Что с ними там делать?

— Шведов пусть посадят в тюрьму, пока я не ворочусь, а боярина прямо доставь к посаднику, пусть что хотят с ним, то и делают.

— А коли отпустят?

— Это их дело! — отвечал князь.

— Такого-то смутьяна да крамольника живым отпускать? — удивился дружинник. — Жалко не знал я раньше, а то пришиб бы его, чтоб он и не вставал больше, земли бы не топтал!

— Грешно так делать-то, друже! — промолвил князь.

— Нет, княже, не грешно, дурная трава из поля вон!

Ну уж я так решил, — сказал князь. — Потом, как

приедешь, тотчас же отправься к Солнцеву и скажи, чтобы он, не медля, собрал всю дружину, а коли найдутся охотники, так и охотников прихватил бы с собой и шел бы поскорее сюда.

— Зачем, князь, нам это мужичье нужно, оно только будет мешать нам да портить дело.

— Коли б они одни были, тогда, пожалуй, и попортили бы, а с дружиной ничего, народ они храбрый. Так так-то и сделай, мешкать нечего.

Дружинник вышел и не более как полчаса спустя двинулся по направлению к Новгороду.

IX. ВОЗМЕЗДИЕ

Затужил Солнцев, сильно затужил, расставшись со своей зазнобушкой Марфушей. Грусть все больше забирается ему в душу, тает он, с лица спал, не спится ему, еда на ум не идет, сокрушился совсем.

Прошло более недели, как ушел в поход из Новгорода князь. Солнцев совсем извелся за это время.

Был полдень. Он сидел в своем покое смурной и скучный. Вдруг на улицах послышался шум, шаги бегущих людей, говор. Народ толпами валил по направлению к дому посадника.

— Аль пожар где? — спросил тревожно Солнцев у бегущих.

— Какой пожар, — крикнули ему на бегу, — князь полоненных шведов прислал!

— Полоненных шведов! — воскликнул Солнцев. — Значит, бой был? Наша взяла? — и бросился вслед за народом.

Когда он прибежал, дружинники, сопровождавшие пленных, выезжали со двора. С радостью бросился к ним Солнцев, словно кровных родных повидал.

— А я к тебе с княжеским приказом, — говорил приезжий дружинник Солнцеву.

— Какой приказ? Говори!

— На улице негоже говорить, пойдем к тебе на дом, — отвечал тот.

Он слез с лошади и пошел рядом с Солнцевым.

— Так побиили шведов? — спрашивал дорогою Солнцев.

— Да и бить-то нечего было, не больно много было их, — отвечал дружинник.

— Значит, князь угадал, сказав, что это не настоящая шведская рать?

— Вестимо, угадал, нешто он ошибется!

— Ну, какой же мне от князя приказ? — спросил Солнцев, входя в дом.

— А приказ такой, чтобы ты, не медля, собрал всю дружину и шел к князю.

У Солнцева дрогнуло сердце; не поход смущал его, а то, что он уйдет, не выдавшись с боярыней, и Бог весть, может, ему придется сложить в бою свою голову, так и не увидев своей ненаглядной. Но делать нечего, послушаться княжеской воли у него и в мыслях не было, только одна боярыня смущала его. Пробраться к ней, проститься он тоже не решался.

— Ну, что у вас творилось это время? — спросил дружинник, перебивая его мысли.

— Что ж у нас? У нас ничего не творилось. Только вот у боярина Всеволожского жена сгубла и он сгуб, поехав разыскивать ее.

При этих словах дружинник залился хохотом. Солнцев с изумлением смотрел на него.

— Ты чему же смеешься-то?

— Нашли, друже, твоего Всеволожского, отыскался!

— Как отыскался! Где же он? — спросил побледневший Солнцев.

— Теперь-то он у посадника, я его привез вместе со шведами.

— Со шведами, как так?

— А так! Он жену-то свою у шведов разыскивал. Да ведь как дрался-то окаянный, скольких наших дубиной уложил. Так князь и прислал его сюда, пускай его здесь сами вольные люди судят.

У Солнцева захватило дыхание.

— Пришибить бы его, иуду окаянного! — прошептал он.

— Я и то говорил князю, так нет, не захотел. Да что с тобой, на тебе лица нет?

— Ничего, — смутился Солнцев. — Ты поотдохни маленько, а я пойду насчет сбора дружины распоряжусь.

Он вышел на улицу и вместо того, чтобы сделать распоряжения, прямо бросился к Симскому. Боярин был поражен не менее Солнцева.

— Ну, теперь не вывернуться ему! — весело проговорил он.

— У вас-то на вече да не вывернуться! — с сомнением проговорил Солнцев.

— Уж будь уверен! Все старания приложу, а уж несдобровать ему! Тогда, значит, веселым пирком и за свадебку! — засмеялся Симский.

Солнцев только махнул рукой.

— Я и думать об этом боюсь! — проговорил он. — Что ж, его судить, что ли, будут?

— А то как же без суда-то! Теперь ему небось тошнехонько. Сраму одного сколько наберется.

— Только сраму?

— За то, что продал? Зачем баловать, сначала посрамят, а там с камнем на шее в Волхов.

— Так ли?

— Это уж у нас таков обычай.

В это время послышался набатный удар вечевого колокола.

— Ну, вот тебе и начало, — проговорил Симский, — скоро же посадник распорядился, молодец! Ну-ка пойдем, поглядим на иуду! — добавил он, надевая шапку.

Оба торопливо направились на Ярославов двор. Народ со всех сторон спешил туда. Наконец колокол смолк, на лестницу поднялся посадник, за ним, потупив голову, Всеволожский. Смутная надежда на спасение не оставляла его.

Посадник взошел на помост и отвесил на все четыре стороны поклоны. И стало так тихо, что можно было услышать малейший звук.

— Вольные люди Великого Новгорода, — заговорил посадник, — великий позор и срам обрушился на нашу голову. Сегодня у нас обрелся иуда — предатель. Как тот продал Христа, так наш продал ворогу Святую Софию. Сегодня князь прислал с полоненными шведами, коих он разбил, и боярина Всеволожского. Боярин этот был у шведов и дрался с княжескими дружинниками, шел против Великого Новгорода. Может, такой срам и бывал у нас, только на моей памяти теперь первый. Берите его, — продолжал посадник, указывая на Всеволожского, — и судите. Как порешите, так тому и быть.

Посадник кончил. Толпа замерла в молчании, только множество грозных сверкающих взглядов было устремлено на предателя.

Наконец кто-то заговорил, и, как бушующее море, зарокотала многотысячная толпа. Грозное, опасное слы-

шалось в этом рокоте. Всеволожский понял и пошатнулся, но в тот же миг решимость блеснула в его глазах, он сделал шаг вперед.

— Вольные люди! — решительно крикнул он. — Я старик и всю свою жизнь положил на службу нашему Господину Новгороду!

Толпа начала утихать.

— Больно было глядеть мне на вас, когда вы теряли вольность за вольностью, власть отдавали князю! Я не отпираюсь, что дрался с дружинниками, я шел против князя, а не против Новгорода, я защищал его!

Но говорить ему более не пришлось, толпа заволновалась, слышались крики, полные негодования:

— Обойти хочет!

— Иуда проклятый!

— Убить его! — неслось со всех сторон.

Симский только и ждал этого мгновения.

— В Волхов его, по стародавнему обычаю! — закричал он.

— В Волхов, в Волхов! — ревела толпа.

Тут же несколько человек лезут на лестницу, — вот уже один стал на помост, за ним лез другой, третий. В отчаянии бросается боярин к лестнице и мощным ударом кулака сваливает с помоста врага. Это еще более ожесточило толпу.

— Бери его, иуду окаянного, супротивника, ослушника! — поднялся кругом еще больший рев.

Боярин замахнулся и на второго, но этот оказался ловчее первого, он схватил Всеволожского за ноги и повалил на помост. Несколько мгновений спустя он был сброшен вниз. Десятки кулаков обрушались на боярина.

— Стой! Не трожь, живого его утопить! — слышались со всех сторон крики.

Полуживого Всеволожского подняли с земли и потащили к мосту. Боярин не в силах был сопротивляться. Его притащили на мост, притащили также и камень в несколько пудов весом, привязали его толстой веревкой к шее боярина; дико, выкатившимися от ужаса глазами смотрел Всеволожский на эти приготовления. Наконец шею его плотно охватила веревка, камень столкнули с моста и тот потащил за собою боярина.

Грузно ударился он о поверхность воды, высоко всплеснулся Волхов, бриллиантами сверкнули его серебристые брызги. Широкие круги быстро разбегались по

реке, целый бугор пузырей вырос на воде, наконец все стихло, Волхов успокоился.

Давно уже все разошлись, только двое оставались на мосту. Солнцев, глаза которого как будто приковались к реке, да глядящий на него с усмешкой боярин Симский.

— Ну, что уставился? — заговорил наконец боярин, дотрагиваясь до плеча Солнцева. — Что уставился, аль боишься, что вынырнет?

Солнцев вздохнул и поднял голову.

— Мне все не верится, — тихо проговорил он, — уж сколько раз приходилось помирать ему, а все жив оставался.

— Ну, теперь конец, камень-то во какой, тяжелющий, не пустит, да, чай, уж его душенька в чертовских лапах за грехи разделяется, видишь, и пузырей уж не пускает. Пойдем-ка лучше домой да подумаем о молодой вдове да о пире свадебном.

— Какой пир! — проговорил Солнцев. — Только повидаться с боярыней!

— Что ж, теперь запрета владычного нет, можно и повидаться, — говорил Симский, — только чудно, что ты про свадьбу не думаешь.

— Какая свадьба, зачем? Чтоб, повенчавшись, опять вдовой ее оставить?

— Как так вдовой? Аль помирать собираешься?

— Почему знать, иду на такое дело!

— На какое такое?

— Завтра уйдем к князю, гонца прислал, зовет.

— Аль не справится?

— Не знаю, велел дружину собрать и, не медля, идти, завтра чуть свет и двинемся.

— Должно, шведы напирают? — в раздумье проговорил Симский.

— Говорю, не знаю. Да, вот что еще: велел клич кликнуть охотникам; хочешь, пойдем в поход?

— А что ж? — весело откликнулся боярин. — Мне бросать некого, а ратного дела я совсем не знаю, надо узнать!

— Так идешь?

— Вестимо, иду, да еще и других подобью.

— Вот и ладно; так к завтраму и собирайся.

— Мне что ж собираться: сел на коня — да и в путь.

Они подошли к дому Симского.

— Ну, прощай, — заговорил вдруг боярин, — не зову

к себе потому, что у тебя и у меня дела немало, а вечером ужо заходи непременно, нужно тебя будет.

— Я хотел насчет владыки... — Заговорил было Солнцев.

— Ужо, ужо все успеем, только приходи, не замешкай.

Солнцев отправился хлопотать по сбору дружины, а из головы его не выходила боярыня.

«Что за счастье такое выпало на мою долю, — раздумывал он, — только бы и зажить с любушкой, так нет! То отец, то муж, а теперь вот в поход ступай, и вернись ли назад, Бог весть, может, придется там и голову сложить, так счастья и не увидишь, да, знать, и на роду мне написано никогда не видать его».

Солнышко зашло уже и начало темнеть, когда освободился Солнцев. Он выходил из себя от досады.

«Когда теперь ко владыке идти, Марфушу выручать? Ночь на дворе, того и гляди, ворота в монастыре заперут», — думал он, чуть не бегом направляясь к Симскому.

— Эк тебя, Михайло Осипович, когда принесло, — говорил весело боярин, окруженный доспехами и оружием, — я тебя давным-давно жду, поди, и боярыня вся извелась ожидаючи тебя!

— Что ж поделаешь, никак не управишься, теперь ее и не увидишь, монастырь, чай, заперт! — говорил угрюмо Солнцев.

— А тебе зачем монастырь-то нужен?

— Чай, сам знаешь: хотелось бы с Марфушей поглядаться.

Симский засвистал.

— Монастырь-то, Михайло Осипович, теперь тютю! — проговорил он.

— Как так?

— А так, я тебя и не позвал давеча затем, чтобы ты по дружинным делам справлялся, а я за тебя твои дела справлял, был я и у владыки, был и в монастыре, выручил твою боярыню, теперь небось она сидит у себя дома, все глазоньки просмотрела!

Замер Солнцев при этой вести; потом, опомнившись, бросился боярину на шею.

— Боярин, родимый, голову за тебя отдам, жизнь свою положу! — чуть не рыдая и целуя Симского, говорил Солнцев.

— Ладно, сочтемся!

Солнцев, расцеловав боярина, бросился из хором.

Сам не свой неся он по новгородским улицам. Вот и дом Всеволожского. Солнцев подбежал к калитке, и гулом пронеслись по двору его сильные удары.

Минута казалась ему часом; наконец калитка отворилась, и вихрем бросился Солнцев в хоромы.

— Мишутка! — вскрикнула боярыня, бросаясь к нему навстречу.

Заревом загорелось ее лицо, горе, забота, муки — все было забыто в эту минуту. Солнцев схватил боярыню, поднял ее и на руках снес на лавку.

— Любый мой, милый! — шептала как в забытии боярыня.

— Ох, Марфушенька, кажись, и нам Бог дает счастье, — говорил Солнцев, — чай, в монастыре тяжело жилось?

— Ничего, любый, житье было мне там хорошее, только уж больно тоска да кручина грызли меня; жизнь бы отдала, чтобы повидать только тебя. Смиловался Господь, увидала тебя родимого, сокола моего ясного, солнышко мое красное, теперь не пущу я тебя, нагляжусь всласть, расцелую друга милого, сердечного! — говорила боярыня, не помня себя.

Солнцев при ее словах затуманился. Не выпускал бы он ни на одно мгновение из рук свою разлапушку, да что же поделать-то, завтра в поход нужно отправляться.

— Что зажурился, что затуманился? — спрашивала заботливо боярыня, заглядывая любовно в глаза Солнцеву.

— О том думаю, Марфуша, — заговорил Солнцев, — как только мы с тобой задумаем да заговорим о том, чтоб жить нам не разлучаячись, так разлука тут как тут и есть.

— Разлука? Какая разлука? Зачем? — с испугом говорила боярыня.

— Что поделаешь? В поход нужно идти. Завтра выходить будем из Новгорода.

— Завтра? — замирая, спросила Марфуша. — А если... если...

— Что если?

— Убьют тебя, ненаглядного, — задыхаясь, говорила боярыня. — Вот что, мой любый, — заговорила она решительно, — коли ты не вернешься, коли не станет тебя, тогда и меня не будет, слышь, не будет!

— Христос с тобой, что ты надумала?

— А то надумала, что, если не воротись, прямо в Волхов. Коротала жизнь с постылым, знать, и в могиле одной, в Волхове, лежать с ним! — с дрожью проговорила боярыня, уткнув лицо в грудь Солнцева.

— Коли что... — быстро зашептала боярыня, — коли такая судьба наша... так я нынче не пущу тебя... до утра не пущу... хоть ночь... хоть час, да наш.

При этих словах, при этом страстном шепоте дрогнул дружинник. Он обхватил боярыню и понес в покой.

Х. НЕВСКАЯ БИТВА

Нева, окаймленная густым дремучим лесом, кажется целым морем при впадении в нее Ижоры. Глазом не окинешь ее блестящей зеркальной поверхности.

Ночь темная, непроглядная, звезды еле мерцают, кругом тишина, только небольшие порывы ветра шелестят листьями. И тихо, мирно спят два лагеря: шведский и русский. Спят, не ведая того, что завтра утром, быть может, многие из них уснут навсегда, навеки, что не проснуться им более, не видать больше ни света Божьего, ни красного солнышка, ни этого темного неба с мигающими звездочками. Не слышать им ни людского говора, не ведать более ни горя, ни радости, а почивать в мать сырой земле, в заброшенной, забытой могиле, далеко от родины.

Назавтра готовилась страшная, роковая битва, завтра должен быть решен спор, кому владеть красавицей Невой, Великому ли Новгороду или Швеции.

Но спят мирным сном ратные воины. Не спят только двое: радетель и защитник Русской земли князь Александр Ярославович да дружинник его Солнцев.

Усердная молитва несется от князя. Давно стоит он на молитве, отвешивая усердные поклоны, прося у Бога помощи на завтрашний день, огонек едва мелькает сквозь полотняные стенки княжеского шатра.

А Солнцев ворочается на своем ложе, все думы, все мысли его в Новгороде. Не спится Солнцеву, не уходит с его глаз разрумяненная, горящая страстью боярыня; душно, жарко ему, дышать нечем.

— Господи помилуй! — взмолился он. — Завтра, может, убьют, а у меня, окаянного, такие помыслы грешные, прости Ты меня, грешного.

Он поднялся и, захватив секиру, вышел из шатра. Его охватил ветер, он вздохнул свободнее. Тихо побрел он по спавшему лагерю, в котором царила тишина. Солнцев подошел к берегу и, присев на камень, уставился на Неву. Свежий воздух отрезвил его, он думал и сам не мог дать отчета, о чем он именно думает. Глядел он на Неву, ласкавшую его взор, и думалось ему, что завтра будет лежать на ее дне, уснув вечным сном.

«Что-то теперь Марфуша, что думает, что делает?»

Вдруг он побледнел, застыл в немом изумлении, глядя на воду.

Темнота ночи исчезла, стало светло как днем, как солнце заблестело громадное белое, сияющее пятно на Неве. Закаменел Солнцев, не может двинуться, не может шевельнуть ни одним членом, глаза не могут оторваться от этого сияющего пятна. А пятно вырисовывается отчетливо и резко. Солнцев разбирает очертание, видит он ясно, что прямо по направлению к нему плывет лодка, никем не управляемая, в ней стоят, обнявшись, два витязя в блестящих как солнце доспехах.

Вглядывается в них Солнцев и узнает. Этих самих витязей он не один раз видел в церквях новгородских. Это были князья Борис и Глеб.

Священный трепет охватил Солнцева, ужас проник в его душу, он начинает различать речь святых.

— Завтра будет большая битва,— говорит один из них.— Поможем нашему родичу Александру!

И вдруг все это исчезло, снова наступила темнота. Солнцев сидел как очарованный, он не мог двинуться, не мог ни о чем думать, ничего сообразить. Наконец он очнулся. Какая-то бодрость, какая-то уверенность появилась у него в душе.

— Надо поведать князю,— шептал он, торопясь в лагерь.

В шатре князя светился огонек. Солнцев остановился нерешительно у входа.

«Войти аль нет? — раздумывал он.— Не потревожить бы, коли почивает!»

В шатре было тихо.

«Войду!» — решил Солнцев и поднял полотно.

Князь стоял перед аналоем, совершая последнее крестное знамение, и, услышав шорох, оглянулся.

Солнцев, взглянув на образ, побледнел и едва устоял на ногах. На образе были изображены Борис и Глеб.

Не без удивления взглянул Александр Ярославович на Солнцева.

— Ты что? Аль приключилось что?

— Ты, княже, им, им молишься? — дрожащим голосом спрашивал Солнцев, указывая рукою на образ и дрожа от волнения.

— Им, тебе же что? — спросил князь, смутившись взволнованным видом дружинника.

Солнцев просветлел.

— Они твою молитву слышали, завтра ты разобьешь шведов!

Князь пристально глядел на Солнцева.

— Когда ты им молился, я их видел!

— Кого видел-то?

— Благоверных князей Бориса и Глеба.

И Солнцев рассказал князю о явленном ему чуде. Князь слушал его, стараясь не проронить ни слова.

— Да так ли, Михайло, не померещилось ли тебе?

— Где, княже, померещилось, я видел их так же, как вот тебя вижу!

Князь задумался.

— Прости, княже, потревожил тебя, до завтра таить не хотелось, а тебе и на покой пора! — как бы извиняясь, сказал Солнцев.

— Нет, спасибо, друже, — отвечал князь.

Солнцев, отвесив низкий поклон, вышел из шатра, вернувшись к себе. Глубокий сон мгновенно одолел его.

Чуть забрезжило утро, как в шведском лагере началось движение. Шведы высыпали из палаток, протрубил рог, суда, стоявшие на Неве, двинулись к берегу, на их палубах тоже началась суeta. А русский стан еще спал мирным сном. Наконец сторожа заметила это движение и подняла тревогу. Быстро выбежали дружинники из своих палаток и построились в боевой порядок. Князь пытливо оглядел дружину и выехал вперед.

— Постоим, — начал он, обращаясь к дружине, — постоит за родную землю, за Великий Новгород и Святую Софию! Не мы начинаем брань, а вороги. На начинающего Бог! Он и поможет нам побить врага, воротиться со славой; кому придется голову сложить, тот получит венец мученический. С нами Бог! Вперед, други! — И первый ринулся на вражескую рать.

Не дремали и шведы, они грозно наступали на русских. В молчании сходились вражеские рати; вдруг небо

потемнело, целые тучи стрел посыпались на русских с двух сторон, от шведской рати и с судов, стоявших на Неве. Со стороны русских не было пущено ни одной стрелы. В мрачном, тяжелом молчании подвигались они вперед.

— Боярин, — обратился князь к Симскому, — возьми охотников да займись вон теми, — указал он на шведские суда.

Симский молча отделился. Шведы с тревогой глядели на это разделение русской рати. Но Бюргер оживился, он крикнул своей рати, чтобы они бросились в бой, желая смять половинную княжескую дружину.

Дрогнула поляна, когда грудь с грудью сошлись вражеские рати. Зазвенели о брони и латы копья, громом пронеслись воинственные крики, и все смешалось в одну массу, в одну груду. Копья были брошены, ни к чему они в рукопашном бою, засверкали на солнышке секиры, раздваивая черепа.

Как ангел смерти носился в этой массе Александр Ярославович, меч его блистал как молния, сокрушая вражеские головы. Солнцев врезался в шведские ряды, быстро ходила его секира, наседали на него вороги. А на Неве усердно работает Симский, побивая врагов, шведов остается немного. Видя поражение, они сдаются в плен.

Князь между тем в крови, с ярко блещущими глазами зорко наблюдает за ходом битвы; вдруг он вздрогнул. На него несется сам Бюргер. Красив шведский витязь в своих блестящих доспехах. Огнем горят глаза его, огнем боевым, кровь опьянила его. Несется он прямо на князя, чуя, что с его гибелью, с его смертью неизбежна и гибель Великого Новгорода.

Видит князь витязя, видит и опасность, грозящую ему, и любуется на него. Жаль князю витязя. Вот он сейчас налетит на него, сшибутся они; князь после проведенной в молитве ночи уверен в себе, знает, что одержит верх, знает, что этого витязя ждет гибель неминуемая, и жаль, от души жаль ему витязя.

«А ведь хорош, куда хорош! — невольно думается князю, глядячи на Бюргера. — Недаром королевский племянник!»

— Боже, помоги! — молится князь, и при этой молитве слезы навертываются у него на глазах.

О чем он молится? О смерти человека! Тяжко его сердцу. Но сам Бог велел защищать себя.

Князь наклонил копье, нервно дернул за поводья, конь, почуяв господскую волю, бешено понесся навстречу Бюргеру. Вздрыгнул тот, встретившись глазами с русским витязем, еще выше поднял он меч, но в это время на лбу почувствовал боль, чем-то горячим обдало его лицо; он застонал и тихо склонился с седла. Конь, почуяв свободу, ринулся в сторону леса и помчал Бюргера.

Шведы не видели гибели своего вождя, они лезли на русских; вдруг со стороны реки пахнуло чадом, дымом застлало ратное поле. Вражеские стороны невольно остановились и взглянули на реку.

Большой шведский корабль весь пылал в огне; огонь широкими языками лизал его бока и снасти. Это зрелище ободрило русских и навело панику на шведов.

— С нами Бог и Святая София! — разнесся торжествующий крик княжеской дружины.

Одним натиском шведы были смяты и бросились к своему стану, но было поздно, там работали уже новгородцы. Разом рухнула палатка Бюргера. Бюргера самого не было видно, некому было одушевить шведов. Ужас охватил их, они бросались в стороны и падали под секирами дружинников.

Победа была полная, но с грустью глядел князь на ратное поле, усеянное трупами убитых. Не по душе ему было проливать кровь, только необходимость, забота о безопасности Новгорода заставляли его это делать.

Шведы бросались в воду, бежали в лес, надеясь там найти себе спасение, но русские, ожесточенные боем, опьяненные кровью, не щадили их.

Князь приказал трубить. Пронесся, отдаваясь эхом в лесу, резкий звук рога. Битва остановилась. На ратном поле не оставалось ни одного живого шведа, немало пало и русских. В рядах дружины Солнцева не было.

ХІ. БЕЗ ДРУГА МИЛОГО

Пирьы идут за пирами по случаю победы в Великом Новгороде над шведами. Все поздравляют друг друга, все веселы, прошлые невзгоды забыты, распри окончились; только и разговоров теперь, как бы получше встретить князя с победоносною дружиною.

Лишь в хоромах Всеволожского мрачно. Заперлась

боярыня в тереме и глаз никуда не кажет. Сидит и за порог шага не сделает и в сад не выйдет.

Измучилась, исстрадалась боярыня. Лучше бы ей, горемычной, и не знать никогда счастья, не пришлось бы и плакаться на его потерю.

Сидит по целым дням, не шелохнется. Осунулась вся, побледнела.

Так и замрет сердце, как вспомнит она ночь с милым; как он ласкал, миловал ее, как нежные речи вел, успокаивал, свадьбой близкой обнадеживал.

Спать ляжет, и во сне покоя ей нет, муж мерещится зеленый такой, страшный, на шее у него толстой веревкой камень привязан, в тело раки впились, борода и волосы в иле все. Глаза мутные, стеклянные, и так страшно глядит он. Вскрикнет боярыня, проснется, и нейдет к ней более сон, укроется она одеялом с головой и дрожит, боясь пошевелиться, боясь дышать, и рада-радешенька, когда забелеет утро.

Прошло более трех недель, как выступила дружина; особенная какая-то тоска налегла на душу боярыне, не знала она, что делать, к чему руки приложить.

Вечерело. Послышался звон в церквах к вечерне. Боярыне вдруг захотелось отправиться в церковь. Немного народу было в ней; она стала в уголке; темно там, хорошо, перед образом слабо теплится лампада; боярыня опустилась на колени, и тихая, кроткая молитва полилась из ее души. Кончилась вечерня, народ вышел из церкви, настала мертвая тишина, и эта тишина еще более располагала к молитве. Из алтаря вышел священник и направился к выходу; заметив все еще стоявшую на коленях боярыню, он подошел к ней и узнал ее.

— Все по муже сокрушаешься, боярыня? — кротко, ласково спросил он ее.

Боярыня вздрогнула, встала и быстро отерла заплаканное лицо.

— Не крушись, боярыня, — продолжал священник, — таков уж конец Господь ему положил. Может быть, по благи своей он и отпустит ему грех его тяжелый, великий; я каждый день молюсь о его грешной душе, каждый раз вынимаю частичку о его упокоении, — добавил он. — А так сокрушаться, как ты сокрушаешься, грешно, боярыня, ты этим Бога гневишь.

— Не о нем, не о нем я сокрушаюсь, батюшка, — нервно проговорила Марфа, — что мне о нем сокрушаться, коли умер такой смертью, знать, заслужил ее!

Священник с удивлением глядел на нее.

— О себе я сокрушаюсь, о себе самой; тоска, кручина все сердце иссосала, иссушила меня, ни днем ни ночью покоя я не ведаю, — словно на исповеди торопливо говорила боярыня.

— Молись Богу, боярыня, Он твою тоску утешит, смирит твое сердце!

— И так молюсь, вот и теперь, когда молилась, на душе словно бы и полегчало, а теперь вот опять, опять! — чуть не рыдая, говорила она.

— Молода ты, боярыня, кровь твоя кипучая еще не улеглась, одиночной-то и скучно, замуж бы тебе нужно идти!

Вспыхнула боярыня вся, задрожала и, смущенная, торопливо вышла из церкви.

Сама не своя воротилась домой Марфа. Как-то стыдно было ей, нехорошо.

— Господи, нигде-то мне покоя нет, нигде! — в отчаянии шептала она, тоскливо озираясь по сторонам. — Уйти бы куда из этого постылого, проклятого дома!

А на дворе вечерет, все гуще надвигается на небо ночь; и тоска на сердце боярыни растет все больше и больше. Темно в ее покоях, не велит она зажигать света, словно боится его; темнота полюбилась ей.

Боярыня, усталая, измученная, разделась и легла в постель. Тяжелый, беспокойный сон овладел ею. И видится ей ратная ставка, кругом лес, ночь, она в одной из палаток, здесь же и Михайло, и сама понять не может, как очутилась здесь. Михайло спит, а ей сон и на ум не идет. Вдруг слышались крики, звон оружия, а Михайло спит и ничего не слышит. Хочется ей разбудить его, но не может она пошевелить ни рукой, ни ногой, крикнуть хочет, но не хватает голоса, грудь сдавило, дышать трудно. А шум все ближе и ближе, вот уж он совсем рядом. Михайло проснулся, с удивлением прислушивается, потом вскакивает на ноги и хватается за секиру. Но поздно! Полы палатки распахиваются, показывается какое-то зверское лицо, впереди всех Всеволожский, страшный, с искаженным злобою лицом. С ревом бросается он на Михайлу, тот хочет поднять секиру, но Всеволожский не дремлет, его секира свистнула в воздухе, из головы Михайлы брызнула кровь, он слабо охнул и повалился наземь.

Дико захохотал Всеволожский и затем бросился к боярыне. Она в ужасе вскрикнула и проснулась.

— Господи помилуй! — не опамятовшись от ужаса, шептала она. — Господи помилуй, неужто и вправду, не вещий ли это сон? Сохрани Пречистая и помилуй!

Она боязливо оглянулась кругом; во всех хоромах была мертвая тишина; перед образами теплились лампы.

Снова дремота стала одолевать ее, веки отяжелели, она впала в забытие, и снова ей видится с мельчайшими подробностями тот же самый сон.

В ужасе вскакивает боярыня с постели.

— Вещий, вещий, — шепчет она в испуге. — Убили его, моего сокола ясного, извели злодеи, — рыдает она и падает перед образами на колени.

Она убеждена теперь в смерти Михайлы, это Бог сжалился над ней, услышал ее нынешнюю молитву и послал ей откровение.

Долго молилась боярыня, забрезжила заря, а она все еще стояла на молитве.

Одна ночь эта состарила ее на несколько лет, на лбу появились морщинки, в богатой, черной как вороново крыло косе блеснули серебряные нити.

Послышался удар колокола. Боярыня встрепенулась.

— К заутрене, никак! — проговорила она. — Пойти помолиться о нем! — И начала спешно собираться.

Церковь была полна народу; боярыня еле протиснулась.

— Батюшка! — окликнула она священника, когда тот проходил мимо. — Помяните, батюшка, убиенного на брани Михаила!

Священник молча кивнул и прошел в алтарь.

Боярыня как стояла, так и застыла на месте, ни молитвы, никаких дум. Уставившись на лик Спасителя, она не сводила с него глаз.

Вышел дьякон и начал ектению.

— Помяни, Господи, убиенного на брани Михаила...

Рухнула боярыня на колени и припала горячим лбом к холодным плитам пола.

— Помяни, Господи, помяни, Господи! — зашептала она вслед за дьяконом.

Наконец она встала и, шатаясь, вышла из церкви.

Воротилась она домой и снова заперлась в четырех стенах, никого не видя, не зная, что творится в Великом Новгороде, поглощенная тоской-кручиной и горем людским.

Вдруг встрепенулась она, над Новгородом повис гул колокольный.

— Должно, князь с дружиной ворочается, зачем и звонят, коли не за этим!

И начала собираться. Выскочив за калитку, она увидела толпы народа; трудно было ей пробираться сквозь толпу, ее толкали, мяли, но она ничего не чувствовала, только бы пробраться вперед, поближе к дружине княжеской.

Вдали заблестели секиры, доспехи. Сильно бьется сердце боярыни. Вот уже и близко, так близко, что всех разглядеть можно, и всматривается, зорко всматривается она в проезжающих.

Вот князь здесь же, рядом, почти с ним должен ехать и Солнцев, но его нет; бледнеет боярыня, замирает ее сердце; дальше едет боярин Симский, черный, загорелый, с трудом узнает его.

«Может, и Михайлу я не узнала, — старается утешить себя боярыня, — да нет, как не узнать? Коли чужих узнала, так как же своего-то родимого не узнать? Сердце бы подсказало».

Проехал князь со старшими дружинниками, прошли простые дружинники, все глаза проглядела боярыня, а Михайлы нет как нет!

Замертвела она вся, ноги стали подкашиваться.

— Что же мне делать, что делать? — шептала она, не зная, что делать, куда идти. Силы оставляли ее. С трудом поворотила она домой.

Пусты, мрачны показались ей хоромы. Она упала на лавку и горько-горько зарыдала.

— Что же делать теперь? Зачем жить, зачем мне жизнь, коли не ждать в этой жизни ни счастья, ни радости!

И вспоминается ей монастырь, тихая, мирная жизнь, избавленная от всяких житейских тревог и волнений.

— Никому я теперь не нужна, никому на свете, отпущу кабальных холопов, награжу их, пусть будут вольные, пусть живут, как сами хотят, а я в монастырь пойду, буду замаливать свой грех, может быть, Бог и наказывает меня за него! — решила она.

И после этого решения стало ей так легко, словно камень тяжелый спал с ее сердца. Но и в ней самой почти мгновенно произошла перемена. Как бы закаменела она, словно все умерло в ней.

— Завтра же соберусь и пойду просить мать игуменью, чтобы она приняла меня к себе, успокоюсь там, молиться буду, авось Бог простит меня!

Между тем время шло и шло, вечерело уже. В покой вошла холопка.

— Боярин какой-то пришел, тебя, боярыня, спрашивает.

— Какой такой боярин? — спросила, бледнея, Марфа.

— Не знаю, говорит, молви боярыне, словцо нужно ей сказать.

Вышла она и при виде боярина еле устояла на ногах. Перед ней стоял Симский.

— Зачем ты, зачем? — хватаясь за грудь, спрашивала Марфа.

— Прости, боярыня, коли потревожил, — проговорил Симский, отвешивая низкий поклон, — только мне нужно тебе весточку одну передать.

— Какую весточку?

— Об Михайле Осиповиче, боярыня.

Не сдержалась боярыня, бросилась вперед и схватила за руку Симского.

— Убили? — задыхаясь, проговорила она.

— Зачем убили? — улыбнулся Симский. — Поцарапали маленько, через недельку, гляди, и явится к тебе.

Силушки оставили Марфу, зашаталась она, боярин подхватил ее.

— Что ты, боярыня, Господь с тобою? — говорил растерявшийся Симский. — Что ты?

Но в ответ боярыня разрыдалась. Симский стоял растерянный, не знал, что делать. Наконец она стала успокаиваться.

— Да ведь он, боярыня, ничего, говорю, скоро на ноги встанет, ему только маленько плечо порубили! — утешал ее Симский.

— Что же ты мне раньше не сказал... утречком бы...

— Часом раньше, боярыня, часом позже — все едино, — усмехнулся Симский.

— Ох нет... не видать мне больше Михайлы, — снова зарыдала боярыня.

— Как так? Господь с тобой, говорю, через неделю будет.

— Да меня-то, пойми, меня не будет! — с отчаянием проговорила она.

— Да куда же тебе деваться-то, я что-то в толк не возьму, воля твоя, боярыня.

— В монастырь уйду.

Симский в изумлении уставился на нее.

— Сон снился... убили Михайлу... ждала его... думала, увижу ноне... не видала... обещала в монастырь... теперь поздно! — ломая руки, задыхалась она.

— Да что ты, боярыня, Христос с тобой, какие такие обещания!

— Обещалась!

— Да парню-то гибнуть за что? Ведь он только и жив тобою, коли, Боже сохрани, узнает он, что тебя нет, так ведь ему не жить на белом свете!

— Что же делать-то теперь? Научи, что делать?

— Да ничего не делать, Михайла Осиповича ждать, а придет он, тогда веселым пирком и за свадебку!

— Что ты, что ты, боярин, какая свадьба, да мне Бог и счастья не даст, — чуть не с ужасом говорила боярыня.

— Про какой грех толкуешь ты, боярыня, я не пойму. Ведь ты обещалась выйти за Солнцева, а теперь в монастырь идешь, ведь это тоже грех.

Боярыня молчала.

— А уж коли за грех принимаешь замужество, так владыка тебя от обещания твоего разрешит.

Боярыня с сомнением покачала головой.

— Аль не веришь, вот погляди тогда; коли сама не хочешь, так и я к владыке пойду.

— Не разрешит он! — сомневалась боярыня.

— Тогда увидишь, а ты только пообещай мне не уходить, пока я от владыки тебе ответа не принесу.

Боярыня обещала, снова ее сердце оживилось надеждою. Долго просидел с ней боярин, рассказывая ей о битве, о ране Солнцева, о его любви к ней. Раскраснелась боярыня, слушая его, забыла и горе, только холодело у нее сердце, когда она вспомнила о владыке, но Симский сумел успокоить ее. Уже стемнело, когда он ушел. Боярыня отправилась к себе в опочивальню, жарко, горячо молилась она, и так легко, хорошо было у нее на душе.

Сладко спалось ей эту ночь, ни страшных снов не видала, ни тревоги никакой не чувствовала. Высоко уже стояло солнышко, когда проснулась она, и показалось ей, что и свет теперь другим стал, да и она сама совсем не та, что была прежде.

ХІІ. НА ШАГ ОТ СМЕРТИ

После окончания боя, когда вся дружина и рать новгородская собрались в своем стане, Симский не обнаружил Солнцева. Дрогнуло у него сердце. Не долго думая, бросился он на поиски. Немало исходил боярин отыскивая приятеля, наконец в глаза ему бросились знакомые доспехи.

Перед ним лежал Солнцев.

Лицо его было бледно, в нем не было ни кровинки, казалось, смерть сделала свое дело. Правое плечо было покрыто запекшейся кровью, из-под которой сочилась струйка свежей, покрывая землю алой краской.

Чуть слеза не прошибал Симского при виде убитого приятеля.

— Э, Михайло Осипович, знать, не даром чуяло твое сердечушко, когда ты говорил о своей смерти!

Постояв над Солнцевым, Симский нагнулся и дотронулся до лица, оно было теплое.

— Батюшки, да, никак, он жив! — вскричал обрадованный боярин.

Приложив руку к груди, он почувствовал, что сердце у Солнцева бьется.

— Жив, голубчик, жив! Авось отхожу я тебя, друг сердечный, — говорил он радостно, разрывая рубаху и делая из нее перевязку.

Притащив в свой шалаш, боярин начал усиленно отхаживать дружинника. Радости его не было конца, когда Солнцев очнулся.

Три дня пролежал Солнцев в палатке Симского. Рана сильно беспокоила его, а завтра дружина должна была тронуться в обратный путь. Облюбовав одну из повозок, Симский приказал устроить над ней полотняный навес и навалить ее сеном. После этого он распорядился перенести Солнцева в его дорожное помещение.

Рано на заре тронулась в путь дружина, гул пошел по лесу от тысяч ног, от лошадиных копыт; разрывающим сердце криком и стоном скрипели колеса обоза.

Тяжко было Солнцеву. Тяжко ему было и тогда, когда он спокойно лежал в палатке боярина, но невыносимо стало теперь, когда на каждом шагу его подбрасывало вверх; он стонал, крепко сжав от боли зубы. Несколько часов он переносил невыразимые муки.

Наконец обоз остановился; измученный Солнцев чуть

не терял сознание; от страданий он окончательно обессилел. Глаза его были закрыты, он едва дышал, лицо было бледно как полотно. Сквозь перевязку сочилась и запекалась кровь.

Подошедший Симский не без страха глядел на больного, на его сильно изменившееся в несколько часов лицо.

— Тяжко... умру... брось... легче будет... — шептал дружинник.

— Как бросить? Зачем бросать? Господь с тобой, — говорил боярин.

— Невмоготу... трясет... больно... помираю...

— Потерпи, Михайло Осипович, маленько потерпи, голубчик. Я знаю, тут неподалеку село есть, небось и знахарки найдутся, там тебя я и оставлю, вмиг они на ноги поставят!

— Помру я, не доеду... невмоготу...

— Да ведь скоро, к вечеру будем там, а то где же я тебя здесь оставлю-то, среди леса дремучего? — И, увидев сочившуюся из плеча кровь, принялся за перевязку. Солнцев немного успокоился и впал в забытие. Симский отошел от него.

— Не хорош, куда не хорош, и вправду не помер бы, — с тоскою бормотал он.

Жаль ему было Солнцева, от души жаль, давно уже сошлись они с ним, и чем дольше шло время, тем более росла и увеличивалась его привязанность к дружиннику.

После трехчасовой стоянки рать снова поднялась и двинулась дальше.

Солнцев очнулся, и снова нестерпимая боль начала мучить его, снова заметался он, снова открылась только что перевязанная рана. Руки горели как в огне, жгучая, острая боль не давала ни на мгновение покоя.

Симский несколько раз подъезжал к нему и с каждым разом все более и более приходил в отчаяние.

— Господи, скорей бы добраться, скорей бы, а то, пожалуй, и помрет дорогой! — шептал он.

Наконец лес начал редеть, открылось поле, и при заходящих лучах солнца загорелся церковный крест. Обрадовался боярин; сняв шапку, он набожно перекрестился и тотчас же бросился к Солнцеву, чтобы утешить его. Отбросив холст, он окаменел. Солнцев, вытянувшись во весь рост, протянув вдоль тела руки и закинув назад голову, лежал неподвижно, спокойно. Повязка с плеча

была сорвана, и из раскрытой раны едва сочилась кровь.

— Никак, кончился! — с ужасом проговорил боярин, припадая к больному.

У того из груди вырвалась слабая хрипота.

— Кончается! — чуть не со слезами молвил боярин, невольно снимая шапку.

А село все ближе и ближе; въехали в околицу, обоз остановился, но Симский не отходил от телеги, он не отрывал глаз от дружинника, словно опасаясь пропустить последний его вздох.

— Ну, что Михайло? — вдруг послышался возле телеги мягкий, приятный голос.

Симский оглянулся и увидел князя.

— Кончается, княже, — дрожащим голосом проговорил Симский, и слеза повисла у него на реснице.

Князь взглянул на больного, и светлое лицо его отуманилось.

— В избу его перенести, Бог милостив, может быть, встанет он; нет ли знахаря здесь какого?

Симский ударил себя об полы.

— Ахти мне, что же я стою-то здесь, давно пора поискать его!

Князь между тем кликнул дружинников и приказал им осторожно перенести Солнцева в избу.

Безжизненное тело понесли в избу.

— Ахти, сердечный, молодой да красивый какой! Поди ж ты, уходили, окаянные, — запричитала баба, хозяйка избы.

Быстро очистила она широкую лавку, стоявшую у стены, и наскоро устроила постель.

— Кладите его сюда, родимые, тут ему хорошо будет!

Вскоре слышались шаги, и в избу спешно вошел Симский, а за ним седой как лунь, высокий старик с небольшим мешком в руках. Он направился к больному, оглядел его и начал рассматривать и ощупывать рану.

— Эк саданул, окаянный, — ворчал он. — И кость перерубил!

— Жив-то будет ли? — спросил быстро князь.

Старик исподлобья взглянул на него.

— Нешто я Бог? Как Он, Батюшка милостивый, а я что ж? Мнится мне, что жив будет, только не скоро встанет, вот что, — отвечал старик. — Затапливай-ка, баба, печку, — обратился он к хозяйке.

Свободнее вздохнул князь, он верил старику. Повеселел и Симский.

— Я, княже, здесь останусь. Как полегчает ему, тогда нагоню.

— Спасибо, боярин! — молвил ласково князь и направился к выходу.

— А ты живее поворачивайся! — ворчал знахарь на старуху.

— Сейчас, родимый, сейчас.

— Кровищи много вылилось, — словно про себя говорил старик, развязывая свой мешок, и, порывшись немного, достал пук травы.

В печке запылал огонь, старик выложил в горшок сухую трав, налил воды и принялся варить свое снадобье.

— Вот и готово! — наконец проговорил он, вытаскивая из горшка ложкой какую-то густую массу.

Наложив ее на тряпку, он подошел к больному.

— Посвети-ка ты! — обратился он к хозяйке.

Та засветила лучину и тоже подошла к больному, со страхом глядя на зияющую рану.

Знахарь приложил к ране свое снадобье и искусною рукою сделал перевязку.

— Ну, вот теперь ладно будет! — ворчал старик. — Да ты здесь, что ли, будешь? — обратился он к Симскому.

— Здесь!

— А вязать умеешь?

— Вестимо, умею!

— Ну, дело. Так ты вот так и делай, как я сделал, два раза в ночь перемены; а завтра утречком рано я забегу! — проговорил старик, захватывая свой мешок и шапку.

— Погоди, дед! — заговорил Симский, доставая кошель.

— Тебе что? — покосился старик.

— Возьми вот, за труды.

— Нешто я за деньги? — оскорбился старик. — Знахарство мне Бог задаром послал и достатком наградил. Не нужно мне твоих денег.

И с этими словами вышел из избы.

— Осерчал дед! — заметила по уходе его хозяйка.

— Чего же ему серчать-то; я обижать его не хотел! — проговорил смущенный Симский.

— Да уж такой он уродился. Кого ни лечит, ни с кого ничего не берет, и кто даст, прогонит, сам с достатками. Суров он больно, — говорила хозяйка.

— А добрый, должно, он?

— Уж это что и говорить, куда добр! — подтвердила баба. — Я тебе лучинки подложу, — продолжала она, — сиди себе здесь, а я пойду спать, время.

Симский остался один. Усталость брала свое, его клонила дремота, но он крепился.

Прошло часа два. Симский подошел к дружиннику. У Солнцева появилась в лице чуть заметная краска; боярин прислушался, из груди вырывалось слабое дыхание.

— Ай да знахарь! — проговорил он весело и принялся за перевязку.

Снова слышится только треск лучины да где-то в углу трещит сверчок. Усталость охватывает боярина, сон так и клонит его. Прошло еще несколько часов, снова пришлось переменять снадобье. Он подошел к Михайле, тот лежал с открытыми глазами.

— Никак, ты, боярин? — тихо спросил его Солнцев.

— Я, Михайло Осипович, я, голубчик! — весело говорил Симский. — Слава тебе Господи, ожил, а я уже думал, что помер ты. Ну что, болит плечо?

— Нет, только словно рука не моя!

— Ну, погоди, твоей будет, дай-кося я плечо-то тебе перевяжу!

— Да где это мы?

— У добрых людей, Михайло Осипович. Лежи-ка смирно да помалкивай.

Солнцев снова закрыл глаза, дыхание его сделалось ровное, спокойное.

«Ну, слава Богу, жив будет! — думал боярин. — Теперь и мне можно будет вздремнуть».

Но сон его был тревожен и недолог. Он слышал, как отворилась дверь и кто-то вошел в избу. Тотчас же вскочил на ноги боярин. На дворе уже было светло, в избу вошел знахарь.

— Дедушка, ему теперь полегчало!

— Сам вижу, что полегчало. Ничего, Бог милостив, парень он здоровый, молодой, встанет скорей, чем я думал.

Старик снова заварил снадобье; начал он захаживать раза по три в день к больному.

Солнцев заметно начал поправляться; на третий день у него затянуло рану. Знахарь не нарадуется, глядя на него; весело глядит и Симский.

Заговорил дружинник об отъезде, но старик в ответ на это замахал только руками.

— И думать не моги! — зашумел он. — Коли хочешь в живых остаться, так посиди здесь еще недельки две, а то ведь сгинешь!

Делать было нечего, и Солнцев скрепя сердце должен был повиноваться. Симскому теперь тоже нечего было делать, и он заговорил об отъезде, ему хотелось догнать князя до Новгорода.

— Пойди к ней, молви, чтоб не сокрушалась, — говорил Солнцев при прощанье.

— Увижу, утешу горемычную, — отвечал Симский.

Боярин уехал и чуть не под самым Новгородом нагнал княжескую дружину. Обрадовался князь, услышав утешительные вести о Солнцева.

А Солнцев, оставшись один, затосковал и закручинился. Чувствовал он в себе и силу, и мощь; чувствовал, что без устали, не отдыхая может доехать до Новгорода, но дед уперся и не пускает его, заботится о нем как о сыне родном. Привязался старик к дружиннику.

Прошло недели две, пришел знахарь к дружиннику, а тот тоскливо, грустно глядит на него.

— Чтой-то ты невесел, — говорит старик.

— Кабы ты знал, как мне тяжело-то! Так и полетел бы в Новгород!

— Да что тебя тянет туда, аль зазнобу оставил?

— Зазноба, дедушка, ах какая зазноба! — вздохнул дружинник.

Старик молчал. Молчал и Солнцев, задумчиво глядя на улицу.

— Ну, что ж с тобой делать, поезжай, коли так, — молвил старик, — может, и сможешь доехать.

— Дедушка, по век не забуду я тебя! — обрадовался Солнцев.

— Полюбился ты мне и не знаю как, — отвечал дед, — сына своего не любил я так, как ты мне по сердцу пришелся!

Солнцев не знал, что отвечать старику.

— Когда же ехать-то собираешься?

— Ехать-то? Да хоть сейчас!

— Прыток ты больно, — усмехнулся знахарь, — когда коня добуду, тогда и поедешь!

— А коли ты, дедушка, не скоро его добудешь?

— Вестимо, сразу не достанешь, помаять нужно! — отвечал, лукаво улыбаясь, дед.

Дольше обыкновенного засиделся старик у Михайлы. Было уже поздно, когда поднялся он с места.

— Ну, Михайло Осипович, — проговорил он с грустью, — ложись-ка опочивать, усни хорошенько, поотдохни: ведь путь не близкий, тебе с силой нужно собраться.

— Эх, дедушка, кабы ты коня мне нашел! — проговорил Солнцев.

— Спи, спи, утро вечера мудренее.

Взволнованный Солнцев уснул только перед самым рассветом. Взошло и солнышко, а Солнцев сладко спал. Не слышал он, как дед вошел в избу. А старик сел на лавку и глядит на Солнцева; Бог весть, о чем думает знахарь; только лицо его то нахмурится, то светлое облачко пробежит на нем, да непокорная слеза висит на его старческой реснице.

Наконец Солнцев потянулся и открыл глаза.

— Дедушка ты? — с удивлением спросил он.

— Кому ж и быть-то, как не мне, — с легкою улыбкой проговорил старик. — Одначе ты знатно заспался.

— Ночь всю не спалось, — говорил, поднимаясь, Михайло. — Утречком только и уснул.

— Чай, все об Новгороде думал?

— То-то, что об нем!

— Ну, что ж с тобой делать, собирайся, да пойдем коня глядеть.

— Дедушка! Неужто?.. — только и мог промолвить Солнцев.

— Пойдем поглядим, может не по вкусу придется!

Солнцев выскочил за дверь. У крыльца, оседланный, готовый пуститься в путь, стоял красавец конь.

Дружинник ахнул. На несколько мгновений он словно замер, потом опомнился, слезы брызнули из его глаз, и он бросился на шею к знахарю.

— Дедушка, родимый, век не забуду! — говорил он, осыпая поцелуями старое лицо.

Старик не выдержал, припал головою к плечу Солнцева, и из его глаз полились горячие слезы.

— Ну, будет, Михайло Осипович, будет, — говорил старчески всхлиывая, дед, — будет, пора тебе в путь собираться.

— Да где же ты коня-то достал?

— Где? Да он, сердечный, с той самой поры стоял как дружина вышла, князь для тебя его оставил.

Вошли в избу, не говорилось как-то; дед, видя нетерпение Михайлы, не стал его задерживать.

— Ну, Михайло Осипович, дай тебе Бог доброго пути да в жизни счастья,— заговорил дрогнувшим голосом старик.— Пора тебе и в путь. Прощай, не поминай меня, строго, лихом.

— Дедушка... дедушка! — прерывающимся от волнения голосом говорил Солнцев.— Каждый день буду молиться о тебе, детям, внукам закажу век поминать тебя.

Они обнялись крепко, крепко прижали друг друга и поцеловались.

— Ну, дальние проводы, лишние слезы,— молвил дед.— Садись, Михайло Осипович, на коня — и с Богом в путь.

Солнцев вскочил в седло; застоявшийся конь ринулся вперед и молнией понесся по сельской улице. Подскакав к околице, дружинник оглянулся. Старик стоял на том же месте и махал ему на прощанье шапкой.

Сжалось сердце у Михайлы, жаль ему было старика, словно с отцом родным расстался. Махнул он на прощание шапкой и ударил коня.

Мчится он без усталости, всего разломило, и останавливается только, чтобы дать отдых коню.

Но вот показался крест Софийского собора; ярко блещет он на безоблачном небе, забелели новгородские стены. Рвется сердце из груди дружинника, в один миг перелететь бы ему к боярыне.

Он въезжает в город, как вихрь мчится по новгородским улицам и видит на этих улицах толпы народа. Лица у всех ожесточенные, злые.

«Аль опять что приключилось?» — думается ему; но он спешит к боярыне, и ему ни до чего и ни до кого нет дела.

ХІІІ. ВЕЧЕ И КНЯЗЬ

Не долго радовались победе новгородцы. Вскоре страшная весть поразила их.

Еще продолжались пиры, еще ходили бояре с отуманенными головами, как в Новгород явились несколько

татар и прямо отправились в княжеский терем. Молнией облетела эта весть Новгород.

— Татары в Великом Новгороде! Что им нужно? Ни одного татарина еще не видал вольный город. Завладели всею Русью, ну пусть владеют, а какое им дело до Новгорода, какое им дело до князя?

И невольно забились сердца вольных граждан; оскорбление, унижение почувствовали они.

— Да, князь сумеет с ними справиться, князь не даст в обиду!

Но это не успокаивало, перед теремом княжеским собралась многотысячная толпа.

— Порешить их; как покажутся, так и порешить!

— Вестимо, они опоганили Великий Новгород!

— Бить татарву поганую, живота лишить!

Князь слышал эти крики. Хорошо он знал самонаправных новгородцев, знал, что у них слово не расходится с делом, знал, какая участь ожидает незваных гостей, пришедших с небывалыми для вольного Новгорода требованиями. Знал он все это и невольно трепетал за будущее.

— Вся Русь под рукой великого хана,— говорили между тем татарские послы князю,— один Новгород уклоняется от дани, он должен платить ее.

— Но вы Новгород не покорили! — отвечал князь. — За что же он будет платить вам дань?

— Если он не хочет платить ее добровольно, то мы покорим его. Наша несметная рать стоит недалеко. В случае послушания мы не оставим камня на камне! — угрожали татары.

И нельзя было не согласиться с ними. Силы князя были ничтожны перед неисчислимыми полчищами татар. Задумался глубоко, тяжело князь. Наконец он поднял голову.

— Ответа я вам дать пока не могу: как решит весь Новгород, так тому и быть, а пока получите ответ, будьте моими гостями!

— Нам сейчас нужен ответ! — нагло говорили татары.

— Я сказал уже вам, что никакого ответа теперь вам дать не могу! — гордо и резко отвечал князь. Если вы хотите получить его, то должны ждать!

— Это значит отказ, так мы и передадим хану,

а ждать нам нечего! — заносчиво произнесли татары, направляясь к выходу.

— Безумцы! — закричал князь, хватая одного из них за руку и подводя к окну.

Остальные остановились.

— Гляди, ты видишь то море, слышишь эти крики? — спрашивал с необычайною суровостью князь.

Татарин побледнел.

— Знаешь, о чем кричат они? Они требуют вашей смерти. Едва вы покажетесь, они разнесут вас на куски! Поняли, почему я вас до ответа оставляю у себя? Я не хочу вашей крови, не хочу накликать беды на Новгород, не хочу его гибели.

Татары были бледны, они молчали.

— Что ж, — говорил один из них, сверкнув глазами, — пусть убьют нас, тогда от вашего Великого Новгорода останутся одни развалины.

— С кого же тогда вы будете брать дань? — спросил князь. — Ответа вам не долго ждать, а пока я вас, вас же жалеючи, не выпущу от себя!

Татары волей-неволей должны были согласиться. Князь тотчас же послал одного из дружинников за посадником. Не прошло и часа, как явился старый, почтенный посадник. Князь передал ему требование татар. Уныло повесил голову старик.

— Я знаю, — говорил между тем князь, — что для вольного Новгорода это требование тяжкое, неслыханное оскорбление, еще ни одного раза ни один татарин не ступал ногой на новгородской земле. Но что же делать? У них в каких-нибудь двух днях пути стоит целая орда. Моя же дружина горсточка перед нею, лишиться ее — значит не только отдать на разорение Новгород, но также отдать и всю область во власть шведов и ливонцев. Татары одолеют нас. Сам знаешь, что они сделали с Киевом, Владимиром и другими городами, то же ожидает и Великий Новгород. Новгород богат, ему не в тягость заплатить дань, зато мы и будем знать только одну эту дань и больше ничего!

— Сам знаю, князь, — говорил посадник, — что ты молвишь правду, молвишь так, потому что любишь наш Новгород, жизни своей за него не щадишь. Кабы я был властен, я бы и ох не сказал, заткнул бы глотку этим коршуньям и знать бы их не хотел. Да ведь ты сам

знаешь нашу вольницу, что с ней-то поделаешь, как ей-то дело растолковать? Не поймет она ничего.

— Нужно сказать ей всю правду, — решительно проговорил князь.

— Да ведь она и правду разуметь не захочет, — с грустью промолвил посадник, — погляди только, что на улицах творится, бунта боюсь.

— Бунта? А нешто нельзя их унять?

Посадник не без удивления взглянул на князя.

— Кто же их унимать будет, коли они сами себе господа, ведь они люди вольные, никому не подначальные!

Князь задумался; в словах посадника была правда; новгородскую вольницу обуздать было невозможно, это испытал на себе и сам князь, когда по приговору веча он должен был удалиться из Новгорода.

— Так как же быть-то, ответ татарам надо дать? — говорил князь.

— Вестимо надо, только мы с тобой ответа давать не можем, ответ должен дать сам Великий Новгород.

— Хочешь собрать вече?

— Как же без него-то? Без него ничего не поделаешь.

— Не будет никакого толка!

— Будет ли, нет ли, а без него нельзя; ни я, ни ты, князь, не вольны в Новгороде и ответов за него давать не можем.

— Делать нечего, боярин, созывай вече, да скажи им ясно, какая беда грозит Новгороду. Коли не хотят исполнить требований татарских, как хотят, мне что ж, я выйду драться с татарами, только не одолеть мне их, а головы своей мне не жаль положить за Новгород, — говорил князь.

— Ответ-то скоро ль нужен? — спросил посадник.

— Вестимо, скоро, насилу задержал их, ведь не сносить бы им головы!

— Что говорить; нам с тобою, князь, сносить бы ее ноне, не то что татарве поганой, — с грустью молвил посадник.

— Ну, боярин, наши головы больно дороги, чтобы ими распоряжались Новгородцы.

Посадник сидел понутив голову и ничего не отвечал.

— Так я пойду, коли такое спешное дело, — проговорил он, поднимаясь с места.

— Иди, боярин, да после веча тотчас приходи ко мне: каков ни на есть, а надо ответ дать!

— Коли Бог приведет, так приду, а теперь прощай!

Задумчиво глядел князь вослед посаднику. Знал он, как тяжело было старику переносить унижение, тяжелее, быть может, чем самому князю, считавшемуся до сих пор единственным, свободным и независимым русским князем. Чужало княжеское сердце, каков будет ответ новгородского веча, и все гибельные последствия этого ответа ясно рисовались перед его глазами.

— Так нет же, пусть что будет, пусть дерутся они там себе на вече, а перед Богом я ответчик,— за Святую Софию, Великий Новгород и их буйные, непокорные головы. Покориться нужно, несмотря на все унижение и заставлю их покориться,— решительно проговорил Александр Ярославович.

В это время в покой порывисто, быстро вошел молодой человек, сын князя Василий Александрович. С удивлением взглянул на него князь, еще никогда не бывало, чтобы сын без зова, сам по своей воле являлся к нему. Лицо князя омрачилось.

— Тебе что, Василий, нужно?

— Правда ли, отец, что в Великий Новгород пришли татары и теперь сидят здесь, у тебя в хоромаш? — горячо спросил Василий Александрович.

Князь еще более нахмурился.

— Если бы и правда, тебе что нужно?

— Коли правда, что ж ты их не отдашь на расправу новгородцам?

— Давно ли яйца стали курицу учить? — строго спросил князь. — Как ты смел прийти ко мне с такими речами?

— Отец, — несмотря на гнев князя, заговорил решительно Василий, — отец, за честь и свободу Новгорода ты жизни своей не щадил, не пощажу и я также, потому что честь Новгорода для меня дороже всего на свете, и умру я за нее. Я первый подниму руку на тех поганных татар, которые своим приходом опоганили Великий Новгород.

При этих словах князь вытянулся во весь рост, в глазах загорелся гнев; в первый раз еще в жизни приходилось выслушивать дерзкие, решительные речи сына.

— Пошел прочь! — грозно крикнул он Василию, указывая рукою на дверь.

Василий невольно повиновался, но в глазах его горела решимость.

Князь несколько раз прошелся по палате, гнев его не утихал.

— Неужто мне придется начинать с него, с сына? — говорил он. — Честь Новгорода! Да знает ли он, что ради этой чести я не только не дорожил жизнью, но готов перенести и оскорбление и унижение, готов унижить себя, ехать к хану на поклон, только бы цвел Новгород, только бы не лилась христианская русская кровь, не горели бы города и села, а он мне толкует про честь!

А набатный колокол уже гудел, созывая новгородцев на вече.

Из княжеских хором вышел посадник, грустный, словно его сердце чуяло беду неминуемую. Едва только показался он на улице, как его окружил рассвирепевший народ.

— Зачем поганные пришли? Отчего их не выдают нам?

— Идите на вече! — тихо молвил в ответ посадник.

— Зачем вече? Мы и без веча расправимся с погаными!

Но посадник не отвечал, продолжая идти на Ярославов двор.

Народ все прибывал и прибывал. С трудом взобравшись на помост, посадник махнул звонарю рукой, и звон прекратился, но гул голосов, крики толпы перешли в какой-то рев. Долго стоял посадник в ожидании, когда явится возможность говорить. Наконец толпа начала мало-помалу стихать.

— Вольные люди Новгорода, — заговорил наконец посадник, — избавились мы от одной беды, от одного врага — шведов, теперь повисла над нами другая беда, явился другой враг — татары. Последняя беда страшная, неминуемая, справиться с ней никак невозможно. Пришли послы татарские к князю и требуют дани!

— Подай их сюда, мы им покажем дань! На куски разорвем, костей не оставим! — заревела толпа.

Посадник переждал, когда этот рев прекратится.

— И я так думал, и мой совет был бы таков же, — покончить с ними, и конец!

— Так подавай их сюда, давай, не выйти им из Новгорода живыми, опоганили они его!

— Какая дань? Новгород всегда был вольный, никому он дани николи не платил! — слышались крики.

— Одна лиха беда, — продолжал посадник. — В двух днях от Новгорода стоит их орда. Убьем мы послов, тогда целая орда навалит на Новгород и оставит только груды камней.

— Пусть князь выходит с ними на ратное поле!

— И князь, и я так мыслили сначала, — говорил посадник, — да, как видно, ничего не поделаешь. У князя дружина не велика, если взять и всю, какая наберется, рать новгородскую, так и то справиться с ними не под силу. Вспомните-ка, как вся Русская земля, опричь только нас, выходила против татар. Что ж, нешто устояла она? А русская рать куда больше нашей была, и ту сломила поганая сила татарская. Где уж нам тягаться с ними. Поглядите, что они сделали из Русской земли, где теперь Киев, Владимир, Суздаль, где другие города? Остались одни развалины. Неужто и нам из Новгорода сделать то же? Мы богаты, дань не обездолит нас; так, по-моему, отпустить послов татарских с миром, дать им дань, и пусть они себе уходят подобру-поздорову восвояси, была бы только цела наша область да вольности. Я так мыслю, а как вы решите, так тому и быть, — заключил свою речь посадник.

Словно громом оглушили последние слова толпу. Несколько минут стояла она ошеломленная, окаменелая. Вдруг оживилась, почувствовала глубочайшее оскорбление. И кем же нанесено оскорбление? Излюбленным посадником!

— Продал он нас татарам! — слышался чей-то крик.

— Продал! Иуда, предатель! Покончить с ним! — заревела толпа, надвигая вперед, к помосту.

Посадник побледнел; он видел все более разрастающуюся ярость толпы, он понял безысходное положение и кротко покорился своей участи, только глаза его с укором глядели на толпу.

Вот начали взбираться по лестнице его палачи, но он не дрогнул. Поднимается над его седой головой дубина, толпа с ненавистью смотрит на него, а он стоит спокойно, смотрит на них с укором, бледность, разлита по его лицу, бледность спорящая с сединой. Опустилась дубина, и из седой старческой головы хлынула кровь. Посадник рухнул на помост и тотчас же полетел на землю, столкнутый своими палачами. Толпа при виде крови опьянела и пришла в неистовство.

XIV. БУНТ

Может быть, Симский и не был уверен во владыке, но во всяком случае он не обманул боярыню, обещав добыть ей разрешение от обещания идти в монастырь. Это разрешение он принес ей на другой же день.

Не верила ушам своим боярыня.

— Чего разрешение, — говорил весело Симский, — владыка и на свадьбу тебя благословил.

Закраснелась боярыня, зарумянилась, не верилось ей ее счастьем.

— Ох, боярин, столько я горя натерпелась за всю свою жизнь, — говорила она, — что и не верится мне теперь ничему хорошему.

— Эх, боярыня, не век же веченский горе тебе мыкать, — утешал ее Симский, — пора и счастье испытать. Вот приедет друг сердечный, Михайло Осипович, мы веселым пирком и за свадебку, а я вот каким дружкой буду, сама увидишь!

Боярыня смеялась, была весела, счастлива.

Снова стала она расцветать, снова молодость начала возвращаться к ней.

Прошла неделя, и вдруг боярыня затуманилась, почувствовала она, что что-то неладно начинает делаться с ней. Перепугалась насмерть.

— Не знаю, — раздумывала она, — как это бывает, а чудится мне, что я матерью стала!

Страх охватил ее при этой мысли.

— Господи! Хотя бы Михайло скорей ворочался, что я буду без него делать, — томилась она, — сраму-то, сраму что будет. Ведь никто не скажет, что от мужа ребенок. Какой муж! Сколько лет жила с ним, ничего не было, а как не стало его, так и ребята пошли. Господи Боже? Куда же мне теперь девать свою головушку бедную!

Сидит боярыня и слезами заливается.

«А хорошо было бы, кабы он поскорей вернулся, — в другой раз думается ей. — Хорошо бы, уж куда хорошо, у нас бы мальчик был, непременно мальчик, — мечтает она, — и весь в Михайлу! Как бы я любила его, Господи, как бы любила».

И снова загорается краска на ее лице при этих мыслях, снова глаза искрятся счастьем.

Прошло еще несколько дней. Встала боярыня утречком рано, в эту ночь особенно что-то плохо спалось ей. Встала она, и какая-то кручина явилась на сердце, словно беду какую чует.

«Чтой-то только делается со мной? Знать, это все от этой болезни моей», — думает она.

И ходит боярыня из угла в угол по хоромам, не находит места себе. Тошнехонько ей. Вдруг до нее донесся шум с улицы.

— Знать, опять что-нибудь неладное, что за вольница народ, что за разбойник! — говорит она.

Послышался стук в ворота; видит, холоп побежал к ним, отворяет их.

«Кого это Бог дает? Не боярин ли?» — думается ей.

Ворота распахнулись, и в них как молния верхом на коне влетел всадник, подскакал к крыльцу, соскочил с коня и стал его привязывать.

— Михайло! — вырвался крик у боярыни. — Михайло, родимый, голубчик! — дрожа всем телом от радости, кричала боярыня, бросаясь навстречу любому.

— Светик ты мой, радость моя, — шептала она, обвивая руками шею дружинника.

— Марфуша, Марфуша! — говорил бессвязно счастливый Солнцев.

— Приехал, родимый, заждалась я тебя, голубчик ты мой! Думала сначала, что убили тебя, панихидку по тебе служила!

Солнцев не говорил ничего, у него не находилось слов, он только глядел на свою красавицу боярыню и не мог оторвать от нее глаз.

— Теперь уж не расстанемся никогда, правда, мой желанный? — спрашивала боярыня, ласкаясь и прижимаясь к Солнцеву.

— Зачем, голубка, расставаться, теперь нужно о свадьбе думать, чем скорей повенчаемся, тем лучше, на этой бы неделе свадьбу сыграть.

— А что я тебе, Мишутка, молвлю, какое слово, — покрасневшись, проговорила боярыня.

— Какое такое, Марфуша?

— Нагнись, давай ухо!

— Ухо? Зачем? — удивился Солнцев. — Говори так, ведь здесь никого нет!

— Нет, нельзя так, нужно на ухо, — стыдливо говорила боярыня.

Солнцев с улыбкой нагнулся и подставил ей ухо. Боярыня, покрасневшись, закрыв глаза, тихо прошептала несколько слов.

— Да неужто правда? — радостно воскликнул Солнцев.

— Правда, правда! — конфузясь, говорила Марфуша.

— Ласточка ты моя сизая, голубка ты моя, Марфушенька, вот уж подлинно-то обрадовала ты меня! — говорил весело Солнцев, обнимая боярыню и целуя ее. — Это нам Бог за все наше горе посылает!

Вдруг он остановился и начал внимательно вслушиваться.

— Что ты, касатик, что, родимый? — тревожно спросила боярыня.

— Никак, всполох бьют! — проговорил, прислушиваясь, Солнцев.

— Какой всполох, Господь с тобой!

— Так и есть всполох, вечевой колокол, — говорил дружинник, поднимаясь и выпуская из рук боярыню.

— Тебе-то что? Ну, всполох так и всполох, нешто редко его бьют; вон тут раз без тебя корова вече созвала.

— Как корова? — удивился Солнцев.

— Да так, хозяин ее обижал, кормил скверно, она ушла да и давай с голоду веревку грызть, что к вечевому колоколу привешена; народ и сбежался, — рассказывала боярыня.

— Ну и что ж? — засмеялся Солнцев.

— Заставили хозяина кормить ее! — смеялась в свою очередь боярыня.

— Ну, сегодня знать не корова собирает вече; когда я ехал, народу на улицах видимо-невидимо было, — говорил Солнцев, — должно, что-нибудь да не так.

— Что-нибудь пустое, — говорила боярыня.

— Что-то, чует сердце мое, неладное! — тревожно говорил дружинник. — Узнать бы надо.

В это время звон прекратился.

— Что же это, Миша, не успели свидеться, а ты уж и уходить хочешь!

Солнцеву самому не хотелось расставаться с боярыней, и он остался.

Прошло более часа; на улице слышался страшный шум. Солнцев снова вскочил.

— Нет, Марфуша, идти надо, — решительно заявил он, — что-то неладное творится.

— Господи, да когда же это покой настанет, — взмолилась со слезами боярыня. — Маешься, маешься, час какой-нибудь выпадет, и то отнимают. Вот треклятый-то народ!

— Марфуша, голубушка, да ведь я не надолго, я узнаю только, что на вече было, что за шум такой, — успокаивал ее Солнцев.

Выскочив на улицу, забыв про коня, поспешно бросился дружинник к Ярославову двору.

Народ с дубинами, с топорами метался в разные стороны; лица всех были ожесточены, глаза блестели злобою, ненавистью.

— Друг, скажи, что такое, зачем вече? — обратился Солнцев к одному из бегущих.

Но тот только злобно взглянул на него и побежал дальше. В это время Солнцев натолкнулся прямо на Симского. Тот был вооружен, вместе с ним бежал также и княжич Василий Александрович!

— Боярин, слава Тебе Господи! — закричал, обрадовавшись, Солнцев. — Скажи на милость, что произошло?

— Ступай отсюда, тут тебе не место! — с сердцем проговорил Симский.

Ахнул дружинник. Не ожидал он такой встречи, такого приветствия.

— Ты за что же осерчал-то? Скажи хоть, что произошло?

— А то, что твой князь вместе с посадником продают нас татарам!

— Христос с тобой, что ты, в уме ли, боярин!

— С посадником расправились, разнесли окаянного на куски, теперь очередь за татарами, что у князя спрятаны, не выдаст добром, силой возьмем их, а уж живых отсюда не выпустим.

Солнцев не верил ушам своим. «Зачем же здесь княжич?» — думалось ему.

— Зачем же здесь княжич? — повторил он вслух вопрос свой.

— За правое дело стоит он, за честь новгородскую! — отвечал за княжича Симский.

— Против отца идет! — невольно вырвалось у Солнцева.

Гневно за эти слова взглянул на него княжич.

— Ну, разговаривать нечего, собираться скорей нуж-

но! — говорил Симский, бросаясь бежать дальше; за ним вдогонку пустился и княжич.

«Спешить надо, к князю спешить!» — мелькнуло у Солнцева.

И он пустился в свою очередь бегом к княжескому двору.

«Эх, коня забыл», — подумал он с досадой.

Приходилось бежать мимо Ярославова двора; с ужасом увидел Солнцев, как там тешился обезумевший народ над изуродованным трупом посадника.

Он вбежал на княжеский двор.

Князь нетерпеливо ходил по покою.

— Что не идет он? — говорил он о посаднике. — Пора бы и вечу кончиться, аль без драки не обошлось? Ох, вольница, вольница, горе только с тобою!

В покой вбежал бледный, задыхающийся Солнцев. При виде его князь улыбнулся.

— А, Михайло воротился! Ну слава Тебе Господи, — ласково проговорил он.

— Беда, князь, сзывай дружину скорей! — проговорил Солнцев вместо ответа.

— Какая беда?

— На вече убили посадника, сейчас сам видел, как над его телом тешатся, собираются к тебе все, хотят силой взять татар!

— Силой, у меня? — грозно проговорил князь. — Нет, пусть они сначала за старика посадника расплатятся.

— Прости, княже... — начал было, но остановился Солнцев.

— Что такое?

— С ними вместе... к ним пристал, — продолжал Солнцев, но снова замялся и остановился.

— Да говори, Михайло, толком, кто пристал, к кому пристал?

— К ним, к бунтовщикам...

— Да кто же... кто?

— Страшно молвить, княже! Княжич Василий Александрович.

— Лжешь, Михайло, лжешь! — побледнев, проговорил князь.

— Истину молвлю, княже, сам своими глазами видел.

Эта весть будто подкосила князя, он едва устоял на ногах.

— Сын... на отца!.. — беспомощно проговорил князь,

опираясь рукой на стол. — Свету конец, что ли? — продолжал он. — Вот что, Михайло, — вдруг энергично заговорил он, обращаясь к Солнцеву, — беги, скорее созывай дружину, нужно поучить бунтовщиков.

С убитой душой бросился Михайло исполнять приказание княжеское. Тяжко ему было за боярина Симского.

«И что попритчилось ему? — думал дружинник. — Ополоумел совсем, белены словно объелся».

Созывать, однако, дружины ему не пришлось. Все дружинники, услышав новгородские новости, зная о бунте, сами без приказа бросились на княжеский двор. Вскоре воротился и Солнцев.

Князь вышел на крыльцо, ему подвели коня; он бодро вскочил на него и поехал к площади, за ним двинулась и дружина.

Площадь кипела вооруженным народом, впереди всех были княжич Василий и Симский.

Гневом загорелись глаза Александра Ярославовича при виде вооруженного сына. Он скомандовал дружине — и та бросилась на нестройную толпу бунтовщиков.

— Не бейте, а вяжите их, расправа после будет! — слышался голос князя.

Толпа между тем заколыхалась и бросилась в стороны. Дружинники начали хватать бегущих и вязать их.

Князь поехал по городу. В каких-нибудь два часа Новгород был усмирен.

«Глупый народ, — думал с грустью князь, — сам не знает, чего хочет, сам на себя беду накликает и головы свои из-за этого кладет. Когда только в Новгороде порядок и правда настанут?»

Он въехал на двор; там окруженные дружинниками стояли со связанными руками бунтовщики, между ними находился и княжич, только из уважения к сану свободный, не связанный.

— Ему-то что ж за свобода? — строго спросил князь. — Он лучше других, что ль? Его вина еще больше. Свяжите и его!

Побледнел княжич, со злобою стиснул зубы и гневным взглядом проводил отца, всходившего на крыльцо.

«Что с ними теперь делать? Судить их? Коли так, мне придется самому судить их, не отдавать же их на суд вечу. А каков мой суд? Они провинились, стало, наказать их нужно, чтоб другим не в повадку было!»

— Что же теперь делать с ними? — спросил Александр Ярославович задумчиво.

— Повадки, княже, давать им не след, хоть раз поучить их надо, а то дашь спуску, они и в другой раз смуту затеют, — отвечали дружинники.

— Я и сам так мыслю, — молвил князь. — Наказать нужно, только как наказывать-то?

— Как наказывать? А так, княже, чтобы страх на всех нагнать!

— В княжиче ты сам волен, ему можно по юности и отпустить вину, а остальных следовало бы казнить смертию.

Князь вздрогнул, на его лице показалась краска.

— Коли наказывать, — твердо молвил он, — так наказывать всех одинаково.

Все молчали.

— И я то же молвлю, что молвил и князь, — заговорил Солнцев. — Все одинаково виноваты, всем и наказание должно быть одинаковое!

Князь быстро взглянул на Солнцева.

— А у нас на Руси, — продолжал тот, — еще николи не важивалось, чтобы кого из княжеского рода казнили смертию.

— Да нешто мы говорим, чтобы княжича казнили? Мы про других!

— Про кого такого? Не про тех ли, что на дворе связанные стоят?

— Вестимо, про них!

— Да нешто они только и виноваты? Виноваты они тем, что в руки попались. А уж коли казнить за бунт, так надо казнить весь Новгород, потому он весь бунтовал!

— Нельзя же, Михайло, им и повадку давать, — проговорил князь.

— Твое дело, княже, я только молвил то, что думал! — сухо проговорил Солнцев.

— И смертию казнить не дело, — продолжал князь, — и так отпускать негоже, а думаю я так сделать: запереть их всех в тюрьму.

— Что ж, коли присудил в тюрьму, так в тюрьму их и засадить, — подтвердили дружинники. Солнцев сидел насупившись и угрюмо молчал.

— Так так тому и быть, — молвил князь, — идите да скажите, чтоб их отвели туда.

— А как же княжича? — спросили дружинники.

— Что же княжич? Он такой же бунтовщик, и его туда же.

Дружинники вышли, остался один Солнцев.

— Что, Михайло, аль молвить мне что хочешь? — спросил его князь.

— Милости хочу просить, княже!

— Милости? Какой?

— Отпусти, княже, боярина Симского, не виноват он! Князь нахмурился.

— Как же не виноват, коли он впереди всех бунтовщиков был, коли он коноводом был! И как же я отпущу его, коли остальные будут в заключении, ты видишь, я и сына не пожалел.

— Я про княжича не молвлю, в нем твоя воля, а я прошу тебя за Симского. Не виноват, говорю. Ты сам знаешь, как он дрался на Неве со шведом, дрался за честь Новгорода, и теперь он отстаивал честь Новгорода же, тяжко ведь вольному боярину покоряться татарве поганой. Слушай, княже, никто так не был предан тебе, как боярин Симский; отпусти же его, это для меня будет великая от тебя награда!

— Отпустить его — отпустить значит всех, это тоже будет не дело, — говорил князь, — ты сам сказал, что все одинаково виноваты, за что же я одного помилую, а другие во тюрьме будут сидеть?

— Отпусти всех! — тихо произнес Солнцев.

Князь в изумлении уставился на него.

— Что ты, Михайло, молвишь?

— Отпусти, говорю, всех!

— Чтоб нынче они опять бунт затеяли?

— Не затеют они, князь, теперь ничего, увидали, что им не под силу бороться с тобой, смирились они, правду молвлю тебе.

Князь задумался.

— погоди, Михайло, подумаю.

— Опять и то, княже, когда они пошли против тебя бунтом, ты вправе был усмирить их, а наказывать не вправе, скажут, вольности их нарушаешь. Соберут вече да тихонько, без всякого бунта, и поклонятся тебе!

Лицо князя затуманилось при последних словах.

— Не из-за княжения, Михайло, я бьюсь. Нет, люб и дорог мне самый Новгород; жаль мне его гибели да разрушения; сам знаешь татар, чай, понимаешь, что они сделают, если отказать им в дани? Ведь они пустыню

сделают изо всей области, камня на камне не оставят в городе, вот о чем болит мое сердце. А они и понимать этого не хотят, толкуют одно: вольность да вольность. Заплатят дань, вольность эта при них же останется, не будут они знать и видеть у себя татар, не то что в остальной Руси, где засели поганые. А не заплатят, куда и вольность их денется, поделаются просто холопами татарскими, не ведают они этого, не понимают, да и понять не хотят. А нешто мне любо было глядеть на нынешнюю свалку, нешто любо кровь лить! Один Бог знает, как тяжело на сердце! — проговорил князь со слезами.

Солнцев угрюмо молчал, уставившись в пол, не мог он не согласиться с князем.

— Опять и то, — продолжал тихо князь, — нешто хорошо они сделали, убивши старика посадника? За что они пролили его кровь? Что ж, и это простить им?

— Князь, да кого же обвинить в этом убийстве, небось голытьба это сделала!

Князь молчал, по-видимому не зная, на что решиться. Молча прошелся он по палате.

— Ну, ин быть по-твоему! — проговорил князь, останавливаясь перед Солнцевым. — Пусть будет так, пойди отпусти их всех.

Вспыхнул от радости Солнцев, чуть не земной поклон отвесил он Александру Ярославовичу.

— По смерть, княже, не забуду твоей милости, — говорил он, кланяясь вторично, — голову свою положу за тебя, живот свой отдам!

— Что это ты за Симского так хлопчешь? — спросил, улыбаясь, князь.

— Как же мне не хлопотать за него, княже, когда он для меня пуще брата, да что брата, отца родимого; он меня и от смерти спас! — говорил Солнцев.

— Да, да, помню, — молвил князь, — так ступай и выпусти их.

Солнцев снова отвесил поклон и торопливо направился к двери.

— Постой, погоди, суровым голосом заговорил князь.

Солнцев с тревогой взглянул на него.

— Отпусти только новгородцев, а княжича оставь там!

— Княже, помилуй! — решился просить Солнцев.

— Не проси, Михайло, — перебил его князь, — он

виновнее всех, он против отца пошел, на отца руку под-
нял! Теперь ступай.

Солнцев спешно вышел из палаты.

XV. ГОРЕ НОВГОРОДСКОЕ

Если и смирился Великий Новгород пред неизбежным злом, пред неодолимою силою татарскою, то скрепя сердце, затаив непримиримую злобу.

Словно траур надел на себя Новгород, миновало время пиров и веселья, настала печаль, всех тяготила дань татарская.

Говорят, новгородцы так же вольны и свободны, как и прежде! Где же эта воля? Попробуй не заплати дани — и сделают их татары своими холопами. Тяжелым камнем лежала татарская дань на Новгороде.

Не веселее был и князь. Хорошо он знал татар, знал их непомерную алчность, знал и их заносчивость. И болело у него сердце при одной мысли о будущем. Чувал он, что требование дани было только пробным камнем. Татары изведывали, поддадутся новгородцы или нет. Раз поддались они, татарва не ограничится данью, начнет требовать одно за другим. А делать нечего, подчиниться было необходимо.

Прошла неделя после смерти посадника, нужно было выбрать другого.

Князь приказал созвать вече. Как это вече было не похоже на прежние! Ни крика, ни шума, ни гула голосов многотысячной толпы. Двор Ярослава словно кладбище. Все угрюмы, мрачны, у всех тяжело на душе.

На помост взошел Александр Ярославович, лицо его было грустно, невесело окинул он молчаливую, угрюмую толпу. Взошел на помост и молчит, словно слова не идут у него с языка.

— Православные, — заговорил наконец дрогнувшим голосом, — православные! Великий грех учинили перед Богом, проливши на этом месте кровь неповинного посадника. Неделя уж прошла, а без посадника оставаться вам нельзя. Так выберите себе нового, по душе, по сердцу, выберите не ссорясь, не заводя драки. Подумайте и скажите, кого волите иметь у себя посадником?

В толпе царила мертвая тишина. Князь стоял на помосте и терпеливо ждал.

Наконец послышался сдержанный говор, чье-то имя быстро начало передаваться от одного к другому, вся толпа зажужжала, как пчелиный рой.

— Боярина Симского волим! — кричали со всех сторон.

Князь подошел к краю помоста. Толпа стихла; видимо, выбор был всем по душе, никто не выкликал другого имени.

— Любо мне, православные, — заговорил князь, что вы мирно и дружно выбрали боярина, и лучшего посадника вам не найти.

В это время на помост взобрался Симский; он был бледен, глаза его горели лихорадочным огнем; он снял шапку и поклонился народу.

— Спасибо вам великое, православные, за честь и почет! Земно вам кланяюсь за это, только избавьте меня от этого почета, посадником вашим я быть не могу! Выберите кого другого, много найдется получше меня!

Князь быстро схватил его за руку:

— Боярин, зачем отказываешься, зачем?

— Потому негоже мне быть посадником Великого вольного Новгорода! — отвечал Симский сухо. — Оporочен я, князь, в тюрьме сидел, по улицам как татя какого связанного вели.

— Тебя волим, тебя! — между тем шумела толпа.

Князь при словах боярина вспыхнул.

— Коли так, прости, боярин, — кротко проговорил он, — ведь и сын мой связанный шел, ведь он и доселе в тюрьме сидит. Прошу тебя, прости, не отказывайся.

Взглянул на него Симский, и дрогнуло у него сердце, обиды как не бывало.

— Ну, княже, твоя воля, быть по-твоему! — молвил он.

— Тебя, тебя волим, никого другого! — между тем кричала толпа.

— Только отпусти княжича! — говорил Симский.

— Ну, пусть и по-твоему будет, боярин, — проговорил князь, махнув рукой шумевшей толпе.

Почти мгновенно все смолкло.

— Боярин соглашается быть вашим посадником!

Послышались радостные крики, нового посадника подхватили на руки и донесли до самого двора.

Вечером к посаднику собрались гости, но не успели они завязать беседу, как ее прервал гонец от князя.

— Простите, други,— обратился Симский к гостям,— князь к себе зовет, знать, что-нибудь важное!

Гости поднялись и вместе с хозяином вышли на улицу.

Князь ходил сильно встревоженный, лицо его осунулось, побледнело.

— Опять беда, боярин! — встретил он Симского.

— Какая беда, князь? — спросил встревоженный боярин.

— Татары опять здесь!

— Татары? Зачем? За данью?

— Кабы за данью, ничего бы; дань обещали, платить нужно, а то еще хуже!

— Чего же им еще нужно?

— Ненасытны их поганые утробы. Хотят, вишь, верную дань получить, а не такую, как мы дадим; не верят они нам, хотят прислать своих счетчиков, чтоб всех поголовно переписать.

— Этого нельзя, князь! — горячо заговорил Симский. — Никак нельзя, такого никогда не водилось в Новгороде, такого и не будет!

— Я и позвал тебя за этим, скажи, что же теперь делать?

— Отказать им, сказать, что пусть Бога молят и за то, что дань-то даем!

— А ты знаешь, боярин, что тогда будет?

— Не знаю, княже, что будет! Может, они и согласятся, а то, что здесь будет, я знаю.

— Сам знаю, что здесь будет!

— Так неужто ж опять драку поднимать, а теперь все костями лягут, а татарве не уступят. По-моему, так, князь, сделать: отослать послов назад, сказать, что дань мы с охотой уплатим, только счетчиков к себе не пустим,— говорил Симский.

— Попытаем, может, и выйдет что, не совсем же от нас Бог отказался,— молвил князь.

Он отослал татар с отказом; новгородцы так и не знали ничего об этом посольстве. Но не прошло и двух дней, как Симский сам не свой явился к князю.

— Иль приключилось что, боярин? — встревоженно спросил князь.

— Надо покориться поганым! — чуть не шепотом проговорил Симский.

— Как так?

— Приехал сейчас купец наш, рассказывает, часах в трех пути, не боле, на Новгород движается несметная рать татарская.

— Чуяло мое сердце! — в отчаянии проговорил князь. — Что ж теперь поделаешь?

— Ты не выйдешь на ратное поле?

— Чуден ты, боярин! — говорил князь. — Сам молвил, татар несметная сила, и сам знаешь, какая у меня дружина. Оглянуться не успеешь, как перебьют ее всю, что ж тогда делать? Что с Новгородом будет? Мне не жаль своей головы, а жаль Новгорода!

— Правда, княже! Значит, покориться нужно! — говорил Симский.

— Легко сказать! Мы с тобой покоримся, а что скажет Новгород?

— Попытаю, не знаю, что будет!

— Пытай, боярин, а я поддержу тебя!

— Дружиной, князь? — словно с укором проговорил Симский.

— Не бойся, боярин, словом!

— Мешкать нечего, нужно собирать вече, — сказал Симский, поднимаясь.

Загудел вечевой колокол, посыпался народ на Ярославов двор. Сумрачен показался новый посадник на помосте, тяжело было ему.

— Вольные люди Новгорода! — заговорил дрогнувшим голосом Симский.

— Были, да съехали! — слышался насмешливый голос.

— Ведомо вам, что обещались мы дань платить татарам.

— Ну, и заплатим!

— Теперь татары хотят переписать всех новгородцев, чтобы верную дань получить.

Буря негодования пронеслась над толпой.

— Не волим, не надо, сами заплотим! — неслись крики.

Толпа заколыхалась. Симский молчал, повесив голову. У самого входа на лестницу стоял Солнцев, посланный князем. Он ждал удобного момента, чтобы взойти на помост и держать речь.

Долго продолжался шум, долго, как море, ревела толпа. Симский выжидал время, но, казалось, этому реву не будет конца.

Посадник поднял руку. Толпа начала стихать.

— Татарская несметная рать идет к Новгороду и теперь небось уже под стенами его, — начал было Симский.

Но рев снова прервал его:

— Бить челом князю: пусть выходит на ратное поле с погаными! А мы не во́лим!

В это время на помост быстро начал взбираться Солнцев. При виде его толпа смолкла.

— Князь готов живот свой положить за Великий Новгород и Святую Софию, — начал он.

— Любо! Любо! — заревела толпа.

— К Новгороду подступила несчетная татарская рать, а у князя дружины мало; и князь велел сказать вам, что покориться необходимо; а коли не покоритесь, так князь тотчас же со своею дружиною оставит город.

Словно гром небесный, оглушили эти слова новгородцев. Наступило гробовое молчание. Солнцев также быстро, как и взошел на помост, сошел с него. Остался один Симский.

Толпа не знала, что сказать, что сделать.

— Так как же, православные, видно, покориться? — спросил Симский.

Вече не отвечало ни одним словом, оно молча начало расходиться по домам. Новгород вторично смирился.

Смирился Новгород; словно в могиле все замерло, затихло, а татарские счетчики шныряют из дома в дом, переписывают поголовно вольный новгородский люд.

Окончили перепись, забрали казну новгородскую и повезли ее к хану.

XVI. СВАДЬБА

Замер Великий Новгород. В каждом доме воцарилась тоска безысходная, кручина горькая.

А князю тяжелее всех. Хорошо сознавал он, что поступил благоразумно, что иначе и нельзя было поступить, но вместе с этим сознанием тяжело было у него на сердце, болела душа.

Тяжелое настроение князя перешло и на дружину. Как в воду опущенные ходили они, словно похоронили что; меж собой даже стали недружелюбны, словно кошка черная меж них пробежала.

Никак не могут они примириться с тою страшною

мыслию, что из вольной дружины, знавшей только князя да себя, вдруг они стали почти подручниками татар. Того и гляди, что эта свободная дружина вместе с князем станет рядом с поганой татарвой, должна будет подчиниться ей и идти не на защиту родимых русских городов, а на их разорение.

Кровь стыла у дружинников при этой мысли, и все, не сговариваясь, порешили на одном: они люди свободные, хотят служат в дружине, хотят нет, и как ни любят они своего князя, как ни дорожат им, а, в случае чего, порешили оставить его.

Тяжело было для них это решение, но лучшего выхода придумать не могли.

К этой же мысли пришел и Солнцев. Пасмурен стал он, улыбка и ласка боярыни не могут разогнать туч на его лице. И хочет он быть с боярыней ласковым, да ласка-то выходит совсем не такова, как прежде, какая-то грустная, не веселая.

Заговорить хочется Марфе о свадьбе, да слова как-то с языка не идут. А сам тоже ни слова не говорит, ходит словно в воду опущенный.

«Уж не разлюбил ли он меня? — думает иной раз боярыня. — Может, жениться-то ему и не хочется, оттого он и не весел?»

И мучается боярыня и страдает, начинает молиться, и молитва не идет на ум.

— Извелась ты совсем, моя любушка, — заметил ей однажды Солнцев.

Боярыня расплакалась.

— Да почто же ты, любушка, о чем такое? — встревожился Солнцев.

— Да мне все думается... — начала было боярыня, но остановилась.

— Что? Что такое думается?

— Да что ты разлюбил меня! — проговорила, улыбаясь сквозь слезы, боярыня.

Солнцев при этих словах даже отшатнулся.

— Разлюбил?! Да кто же это сказал тебе, да кто тебе нашептал?

— Уж я и не знаю, так мне думается, совсем ты какой-то чудной стал, не такой, как был, теперь и не узнаешь тебя.

— Да родимая ты моя, Марфушенька, ведь ты знаешь, что любить я тебя еще больше люблю, да другие дела кручину нагоняют на меня.

— А я, кроме тебя, ни о каких делах и не думаю, да и знать их не хочу, только бы ты, мой любимый, не разлюбил меня.

— Да во всю жизнь не разлюблю я тебя, мою касатку, умирать буду, тебя вспоминаячи.

Боярыня припала к нему да так и замерла.

— А я,— говорил повеселевшим голосом боярин,— не с тем и шел к тебе. Оттого у меня немного на сердце легче стало, веселее как-то на свет Божий взглянулось. Пора горе всякое побоку, пора и счастья отведать, пойду, мол, к своей голубушке да потороплю ее свадьбой. Так что же, любушка?

— Вестимо так, золотой мой, только что же торопить меня, я не девица красная, а вдова, приданое мое все готово, а какие же еще сборы, я и не придумаю,— щебетала боярыня.

— А коли так, так нечего и дело откладывать, значит, веселым пирком и за свадебку.

— А я уж боялась и говорить-то тебе...

— Что такое?

— Да о свадьбе-то!..

— Что так?

— Да все то же, думала, ты не хочешь...

— Э, Марфуша, Марфуша, да кабы ты только знала да ведала...— начал было Солнцев, обнимая боярыню, но та не дала окончить ему.

— Не буду, не буду, никогда и в помыслах такого держать не буду!

— Когда же свадьбу сыграем?

— А на это твоя воля, твой закон, когда прикажешь, тогда тому и быть.

— Какая у меня женка послушная будет! — засмеялся Солнцев.— Ну я думаю так, Марфуша, коли, значит, у нас помехи нет никакой, так в воскресенье и свадьбу сыграем.

— Это через три дня-то?

— Что ж испугалась?

— Чего пугаться-то? По мне, хоть сейчас, хоть не выходя из покоя.

— Экая ты у меня скорая! — засмеялся Солнцев.

Медленно потекли для боярыни эти три дня. Каждая минута кажется часом. Сердце замирает от радости, ждет не дождется, когда ночь последняя пройдет, когда забрезжит свет белый, наступит день счастливый.

И чудное что-то делается с нею. Знает она, что счастлива, что любит ее Михайло, что жизнь пойдет такая, о какой она мечтала с того самого дня, как увидела в первый раз доброго молодца Солнцева, а все как-то сжимается сердце, какая-то боязнь прокрадывается.

«Все ли хорошо будет, все так ли, как думается?»

Забрезжил и белый свет. Вскочила боярыня со постели, словно боясь опоздать, хотя свадьба лишь ввечеру будет.

Заметалась, засуетилась боярыня, только дело у нее не спорится, будто все из рук валится, и досада разбирает ее и нетерпение. Между тем день незаметно проходил, уже начало и вечереть. Приехал и дружок, посадник Симский, а боярыня и не начинала собираться.

— Что же это, боярыня? — удивился Симский. — Ай раздумала венчаться? — пошутил он.

— Аль пора собираться? — испугалась боярыня.

— Не то что собираться, а к венцу ехать пора; жених, поди, уже в церкви дожидается, вишь, солнышко совсем закатилось.

— Ах ты батюшки, головка моя победная, что же это я наделала! Миша-то, поди, теперь ждет да сердится.

— Ничего, посердится да перестанет, для такого дня с молодой жены головы не снимет.

— Я мигом оденусь, моргнуть, боярин, не успеешь, как я готова буду, — проговорила боярыня, убегая из покоя.

С улыбкой проводил ее Симский.

— Намаялась, сердечная, измучили пташечку, ну да авось теперь вздохнет, дай, Господи, тебе счастья.

Боярыня не заставила себя долго ждать и скоро вышла одетая.

Симский глянул на нее и ахнул.

— Ну, боярыня, княгиня ты нынче, да и только! — молвил он, любуясь на нее.

— А ты как же, боярин, думал, ведь я нынче и впрямь княгиня, недаром же молодых княгинями величают!

Поезд тронулся. С замиранием сердца приближалась боярыня к церкви. Ожидание счастья, сознание того, что это счастье теперь не уйдет, туманило ее. Она увидела церковь — ту же, в которой венчалась и прежде, окна ее светились огнями. Боярыня твердою поступью вошла в храм, и вдруг лицо ее зарделось заревом, она увидела Солнцева. Как хорош, красив показался он ей, таким она словно никогда и не видала его.

Кончилось венчанье; молодые и гости отправились на пир. Несмотря на тяжкие обстоятельства, пир был весел, но всех превзошел дружок Симский, он сдержал свое слово.

Разъехались гости, молодые остались одни. Они поглядели друг на друга, и не нашлось у них слов, они только обнялись и, казалось, замерли в этом объятии.

XVII. ЛЕДЯНОЕ ПОБОИЩЕ

Прошло три года, и многое изменилось в Новгороде. Многих не стало, старых унесла могила, молодые состарились. И у князя начал пробивать на голове серебряный волос, появились морщинки; забота не веселит, не молодит, а старит да сушит.

Благо еще, татары замолкли, держат свое слово. Собирают подать и успокоятся, более требований не предъявляют. И мало-помалу новгородцы успокоились, зажили снова по-старому; не прочь они были иной час и вече собрать буйное, только не в охотку им было делать это теперь, не из-за чего было ссориться, не из-за чего шум подымать. И потекла их жизнь мирно, тихо. Да, знать, не судьба была в ту пору русскому люду жить мирно.

Прошло года три, после того как Александр Ярославович разнес шведскую рать. Затихли с той поры шведы, слухом не слышать их, видом не видать. Успокоились новгородцы, никто не тревожит их окраины, их земли.

Только дружина недовольна этою жизнью, не по сердцу ей покой, рвется ее душа в чистое поле, хочется сразиться с каким-нибудь врагом, душу отвести, а то что-то совсем обсиделась она, обабилась.

Мысли дружинников разделял и князь. Он признавал всю тяжесть подчинения татарам, знал, как нелегко было переносить его новгородцам, и ему хотелось ратной брани, блистательной победы, ему хотелось оживить вольных горожан Великого Новгорода, хотелось поднять их упавший в последнее время дух.

Не знал князь, не знала и дружина его, что заветное желание их готово исполниться.

Дошли до Новгорода вести о сборах рыцарей ливонских.

Не верилось князю, но все-таки весть эта подбодрила

его, оживила. С нетерпением ждал он начала действий со стороны ливонцев. В победе над ними он был почти уверен, так как был несколько знаком с их воинскими подвигами.

Весть о приготoвлении рыцарей к борьбе проникла и в дружину. Подбодрились дружинники, повеселели, кровь заходила по их жилушкам, прежней тоски-кручины как не бывало, словно вновь народились.

Но недолго продолжалось это оживление. Дружина ожидала, что будет объявлен поход, но прошло лето, наступила осень, пошли дожди, а о рыцарях ни слуху ни духу. Снова приуныли дружинники. Какая же война может быть в такую слякоть, когда и пройти ни по какой дороге невозможно, а там, гляди, и зима станет, вон уже и заморозки пошли, и какой же поход зимою, в стужу и вьюгу.

На Покров выпал снег глубокий, небывалый, сразу стала санная дорога; завернул мороз. Совсем приуныла дружина.

— Знать, бабьи сказки были про поход! — говорили дружинники.

— Вестимо, какого немца понесет в такую студи в поход, это впору только нашему брату православному!

Наступил ноябрь, зима стала крепко, не было никакой надежды на оттепель и в это время по Новгороду пронеслась весть, что рыцари идут войной. Кто и не хотел верить, должен был увериться. В городе происходило необыкновенное движение, дружина спешно собиралась в поход.

Наконец в Михайлов день звучно прогудел призывный колокол Софийского собора. Толпами повалили новгородцы. На площади стояла дружина. Началось молебствие. Поход был назначен через три дня.

Настроение новгородцев было гораздо веселее, чем прежде. Теперь, глядя на князя, на его дружину, они были уверены в успехе и ободрились духом.

Веселый и возбужденный вернулся Солнцев из собора домой. У окна сидела боярыня, лицо ее было пасмурно, глаза покраснели от слез. При виде мужа у нее защемило на сердце и слезы невольно полились из глаз. Поморщился Солнцев при такой встрече.

— А ты, Марфуша, все хнычешь! — сказал он, подходя к ней и ласково обнимая ее.

— Чему же радоваться-то? — дрогнувшим голосом проговорила боярыня.

— Да и печалиться-то нечему!

— Нечему! — с сердцем проговорила она. — Всю жизнь маялась, дождалась наконец. Долго ли жила-то я со своим милым да любимым, хорошо счастье!

— Чем же ты несчастлива?

— Велико счастье: мужа на убой, на смерть ведут, а ты радуйся тут!

— На какую же смерть, Господь с тобой!

— Известно на какую!

— По-твоему, коли в поход идешь, так уж и на смерть? Вот воротился же из шведского похода.

— И не пойму я, и в толк никак не возьму, — продолжала свое боярыня, — что тебя держит в этой дружине, что ты нашел сладкого в ней! Ну, был один, кровь бродила, удаль хотелось показать, а теперь у тебя семья, сын растет, убьют тебя, что тогда будет с нами, горемычными. Так-то ты, знать, любишь нас!

Солнцева от последнего упрека передернуло.

— Кабы не любил, так, по-твоему, сидел бы тут, на печке?

— Никто тебе и не мешает.

— Э, право, не слушал бы тебя! — с досадой проговорил Солнцев. — Ведь кабы по-твоему делали, что бы тогда и было? Мало ли дружинников женатых, все бы они дома остались, кто бы тогда с князем в поход пошел?

— И не нужно бы ходить!

— Известно не нужно, сидеть бы дома да сидеть, покуда немцы к нам бы пришли.

— Ну и пускай их приходили бы, нам-то что ж?

Солнцев только махнул рукой.

— Бабье по-бабьи и судит, — проворчал он.

— Да уж на рожно не полезешь, велика важность — немцы.

— Да пойми ты, что как они придут сюда, весь город сожгут, пожитки все разграбят, перебьют всех да вашу сестру бабу в полон отведут!

— За что это такое? Нешто мы им лихо какое сделали, мы их не трогаем и они нас трогать не будут!

Солнцев пожал только плечами, его разбирала досада, но ссориться не хотелось, и он направился к двери. Навстречу к нему вкатился толстый мальчуган, живой портрет боярыни, вслед за ним плелась старуха нянька. При взгляде на мальчика глаза Солнцева сверкнули, на лице появилась улыбка.

— А, Сашутка! — весело проговорил он.

Боярыня при виде сына вскочила с места, бросилась к нему, схватила на руки и крепко, прижимая к себе, залилась слезами.

— Дитятко ты мое ненаглядное, — причитала она, — бросает нас с тобой родимый батюшка, сироты мы с тобой будем круглые, бесприютные, всякие-то нас обидят с тобой, некому будет и вступиться за нас, не будет у нас с тобой защитника.

— Марфуша, — заговорил Солнцев, — да побойся ты Бога, опомнись, что говоришь-то ты, ведь не убили еще меня, жив я, что же ты убиваешься?

— Не убили, так убьют, сердце мое чует.

— А убьют, так князь не оставит вас, он за вас заступится.

— Князь не муж родимый, не отец Сашутке.

Солнцев вышел из покоя, боярыня еще пуще залилась слезами, лаская и приголубливая сына.

Тяжело прошли два дня для Солнцева, и жаль ему было жены, и не мог он отступить от своего долга.

Наконец настал и последний день. Боярыня не спала всю ночь. Худая, бледная, не похожая на себя вышла она к мужу. Солнцев встал рано и тотчас же принялся за сборы. День был светлый, морозный, снег яркими блестками горел на земле, на крышах, деревьях.

Сборы были кончены, пора было отправляться и в путь.

— А Сашутка где? — спросил Солнцев, увидя жену.

— Спит, пойду сейчас побужу, принесу, — проговорила боярыня, поворачиваясь к выходу.

— Оставь, не трожь, я сам пойду к нему, пойдем вместе, — проговорил он, взяв жену за руку.

Боярыня припала головой к плечу мужа и тихо заплакала.

— Будет, Марфуша, будет, родная, — говорил ласково Солнцев.

Они прошли в опочивальню; на постельке, разметавшись, сладко спал мальчуган. Солнцев остановился и долго смотрел на него, потом подошел к божнице, вынул оттуда небольшой образ и благословил им сына.

Передав образ жене, он нагнулся к мальчику и тихо поцеловал его. Сын открыл глаза и, узнав отца, весело улыбнулся и обхватил ручонками отцовскую шею.

Боярыня не выдержала и громко зарыдала.

Солнцев оставил сына, обнял жену и крепко поцеловал ее.

— Не плачь, не тужи, родимая, ходи за сыном, а я скоро буду назад, живехонек и целехонек! — говорил он ей.

Но боярыня не слыхала его слов, она, рыдая, вцепилась в него изо всех сил. Солнцев с трудом освободился от нее и выбежал из опочивальни, боярыня с криком бросилась вслед, но силы оставили ее, она замертво грохнулась на пол.

В один миг вскочил Солнцев на приготовленного коня, дернул за поводья и вихрем вылетел на улицу, оставляя за собою, быть может, навсегда все, что было для него дороже всего на свете.

На площади, сборном месте дружины, шла суетня. В скором времени все были в сборе, ожидали только князя. Над площадью стоял гул от говора многотысячной толпы, все были бодры, веселы, словно не на бой, а на пир шли дружинники. Князь не заставил долго ждать себя, вскоре появился и он, и новгородское войско двинулось в путь.

На третий день они подошли к Чудскому озеру. Сделали остановку. Ночью князь узнал, что враги близко, что к утру, пожалуй, подойдут и придется с ними померяться силами.

Темное морозное небо начало светлеть. Блеснули первые солнечные лучи и осветили подошедших ливонцев. Жаром горели на солнце их доспехи. Князь быстро построил дружину и стремительно ударил на врагов. Несколько часов продолжался ожесточенный бой, но перевес был на стороне новгородцев. К полудню бой окончился. Ливонцы были почти все перебиты, немногие успели спастись бегством; все озеро было покрыто вражескими трупами. Тотчас же на месте боя было отслужено благодарственное молебствие за дарованную победу.

ЭПИЛОГ

Широко зеркальной поверхностью раскинулось озеро. Багровым светом блестит оно от тонущих в нем лучей заходящего солнца. Ничто не шелохнется, словно все замерло, уснуло непробудным сном. Словно в воздухе висит над лесом ярко-золотой крест деревенской церкви.

На озере медленно двигаются две лодки с рыбаками. Не обращая как будто никакого внимания друг на друга, они усиленно тащат невод. Наконец лодки толкнулись носами о берег, рыбаки едва удержались на местах. Один быстро выскочил на берег и потянул невод.

Занятые своею работою, они не заметили, как вдали по дороге поднялись клубы пыли, вскоре недалеко от них остановился целый поезд. Впереди ехали несколько верховых; сзади них рыдван, довольно обширный и неуклюжий. Сзади еще верховые, и позади всех несколько телег с холопами. Таков был обычай бояр путешествовать по Святой Руси. В рыдване сидел боярин Симский. Нелегко было узнать его теперь, двенадцать лет спустя после свадьбы Солнцева. В бороде и на голове появилось множество седых волос, так что из черного он превратился в серебряного, по лицу прошли морщины, взгляд его был невесел.

Увидев рыбаков, он кликнул к себе одного из верховых. Тот, выслушав боярина, поскакал к рыбакам.

— Бог в помочь! — приветствовал он их, приподнимая шапку.

— Спасибо на добром слове! — отвечали рыбаки.

— Скажите, далеко ль еще до поместья боярина Солнцева? — спрашивал верховой.

— Солнцева? — переспросили они.

— Ну да, его самого! — с нетерпением проговорил верховой.

— Его-то недалече! Вот только этот лес минуете, да вон из-за леса-то и крест виден, это и есть его самого, Солнцева-то, поселок. Солнце не сядет, там будете!

— Спасибо, добрые люди, — проговорил верховой, снова приподнимая шапку и поворачивая лошадь.

— Не на чем!

Верховой подъехал к рыдвану, и поезд тронулся, снова поднимая тучи пыли.

— Должно, к нашему-то боярин какой едет. Чудно!

— Что чудно-то?

— Да то чудно, что к нашему-то едет боярин!

— Что же чудного то?

— Да как же не чудно-то? Когда и боярыня-то еще жива была, так никто к нам и глаз не казал, сам, бывало, в кой-то веки выберется куда; а как померла, так он словно колдун какой заперся в дому, ни к нему никто, ни он ни к кому. А теперь, вишь, боярин к нему в гости!

— Дурак ты, как погляжу я на тебя, как есть совсем дурак!

Потолковав, рыбаки снова принялись за работу; скоро невод был освобожден от рыбы, его свернули, набросили на воз и тихо двинулись в путь по той же дороге, по которой недавно проехал поезд посадника Симского.

Велика была усадьба Солнцева, длинным порядком вытянулась она, словно стройный ряд дружинников перед боем. Чуть не утонула вся усадьба в густом саду. Невдалеке, на отшибе от поселка и усадьбы, стояла деревянная церковь. Ее же окружал погост, а кругом погоста проходил ров, над которым высился невысокий вал. Только в одном месте было оставлено ровное пространство, которое заменяло собою ворота. От этих ворот вела тропинка к паперти церкви, и от нее обвивала другая самую церковь и оканчивалась у алтаря, где возвышалась могильная насыпь с высоким дубовым крестом, окрашенным в черную краску, обведенным по краям белой каемкой.

На могиле, опустив низко голову на грудь, сидел белый как лунь старик. Лицо его было изрыто морщинами, глаза глядели тускло, словно лишившись жизни. У ног старика валялась бобровая боярская шапка, на самом старике, как на вешалке висел охабень.

Не шелохнется старик, как сел он на могилу, так и замер. Каждый день в эту пору на той же могиле можно было видеть старика.

Старик этот был не кто иной, как бывший любимец-дружинник Александра Ярославича — Солнцев.

Много он перенес за эти годы, но все как-то терпелось, как-то выносилось, благо возле него была его радость, его счастье — Марфуша. Но когда не стало ее, его сразу сломило, не прошло и года после ее смерти, как он сделался дряхлым стариком.

И ходит он каждый день на дорожную для него могилу, вспоминает всю свою жизнь, горести ее и радости. Так и сегодня сидит он на могиле один со своими думами. Припоминает он, в который раз уже, свадьбу свою с Марфою ненаглядною, битву с левонцами, свою ссору с князем. Это случилось, когда князь согласился с требованием татар явиться с поклоном к хану в Золотую Орду.

Солнцев не мог допустить этого, не хотел верить он.

Между ними произошло объяснение. Мрачным вышел от князя Солнцев. Темнее тучи пришел он домой

и объявил Марфуше, что он теперь человек вольный, не дружинник больше, что в настоящее время быть дружинником один только позор.

Чуть не замерла от радости Марфуша, услышав слова мужа. Теперь уж никто не отнимет у нее его.

Но Солнцеву было тяжело. Опостылел ему Новгород, где на каждом шагу ему вспоминалось прошлое. Скука, тоска одолевали его. Марфуша, обрадованная сначала свободой мужа, не знала теперь, что делать с ним, чем развлечь его. Солнцев с каждым днем делался угрюмее и угрюмее. Нависли черные тучи над домом Солнцева. Не раз Марфуша украдкой плакала, не раз Солнцев видел у нее красные, распухшие от слез глаза, но и виду не подавал, что замечает.

Наконец он решил бросить Новгород и уехать в свою вотчину. Марфа была только рада.

Начались сборы, и не прошло недели, как со двора Солнцева двинулся громадный поезд.

Чуть не затворническую жизнь повели Солнцевы. Заперлись они в своей усадьбе и зажили тихохонько, любехонько, редко кто и видел их. В течение нескольких лет к ним никто не заглядывал, а они и рады были этому. Прошло несколько лет, они и не заметили их. День за днем счастливые, похожие один на другой текли незаметно, и маленький Саша рос и рос, он был сильно похож на отца.

Заперлись они у себя в вотчине, отрешились от всего мира и не знали, что творится в нем. Долетела молва до Солнцева, что князь воротился из Орды, но он равнодушно отнесся к этому известию.

Долетела до него и другая весть, что князя требуют снова в Орду, что князь на этот раз сам охотно отправляется туда, надеясь спасти Русь, так как Тверское княжество прогневало хана и он начал уже собирать свои толпы и идти наказывать непокорного князя.

Горько улыбнулся Солнцев при этой вести.

— Благо раз съездил, а теперь уж начнут его туда, требовать, — проговорил он, — там ему и голову сложить!

Прошло несколько времени, и обрушилась беда, беспощадная, неминуемая.

Видит Солнцев, что Марфуша его день от дня хиреет. Заметил он, и сердце упало в нем, словно почуяло что-то страшное.

Долго крепилась Марфуша, долго не говорила она ничего мужу, наконец ей стало невмоготу, и она пока-
ялась ему, что ей давно уж что-то больно неможется,
грудушку всю разломило.

Сам не свой ходит по покоям Солнцев, ночей не спит,
глаз не смыкает, ни на минуту не отходит он по ночам от
своей хворенькой Марфуши. Тает она на глазах, кровью
обливается сердце Михайлы.

Тяжко Солнцеву.

Через два месяца Марфа умерла.

Это воспоминание было самым тяжелым для Солнце-
ва, этих минут своей жизни он не мог вспоминать без
слез. И пошла тоскливая, мрачная жизнь изо дня в день,
и стал он ходить ежедневно, аккуратно на могилку. Здесь
ему было как-то легче, ему казалось, что он видит свою
Марфушу, беседует с нею.

— Тятя, тятя! — вдруг послышался невдалеке ребя-
чий голос.

Солнцев вздрогнул, поднял голову и увидел бегущего
к нему раскрасневшегося сына и улыбнулся.

— Что ты, Сашуха? — ласково проговорил Солнцев.

— Подь скорей домой, какой-то боярин приехал, тебя
спрашивает! — кричал мальчуган.

Солнцев насупился.

— Какой такой боярин, что ему от меня нужно? —
проворчал он.

Однако поднял шапку, надел ее и медленно поплелся
домой.

На крыльце его нетерпеливо дожидался Симский. Ед-
ва увидел его Солнцев, как с юношескою бодростью
бросился на крыльцо, обхватил шею Симского и припал
к его плечу.

— Боярин, родимый, — шептал он, плача, — голуб-
чик, спасибо, вспомнил!

— Полно, полно, друже, — заговорил Симский, — что
ты, никак, плачешь!

— От радости, боярин, от радости; давно я не видал
ее, сердечную, все горе да горе!

— Слышал я о твоём горе да и сам немало погоревал
о боярыне.

— Что же мы здесь-то с тобой, пойдем в покои,
дорогой гость.

— Эх, друг, друг, — проговорил Симский, глядя
с грустью на Солнцева, — совсем ты стариком стал.

— Да,— тоже грустно улыбаясь, проговорил Солнцев,— укатали сивку крутые горы.

— А я тоже с нерадостною вестью к тебе,— заговорил боярин.

Солнцев молча уставился на него.

— Князя-то нашего не стало, скончался во Владимире!

Дрогнул Солнцев, бледность разлилась по его лицу; он встал, подошел к киоту и опустился на колени. Теплая, горячая молитва полилась о упокоении князя.

— Не видать нам больше такого князя,— проговорил он, окончив молитву,— не было еще на Руси такого, да вряд ли когда и будет.

— Да,— задумчиво проговорил Симский,— правду сказал владимирский владыка на его погребении, что закатилось солнце земли Русской.

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

В. КЛЕПИКОВ

АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ



ВВЕДЕНИЕ

Княжение Св. Александра Невского совпало с одним из самых значительных периодов русской истории. При нем произошло окончательное разрушение Киевской Руси, бывшей до тех пор намечавшимся государственным центром России. При нем окончательно обособилась Суздальская Русь. При нем Россия сделалась улусом татарского царства. И в нем самом уже начало, первое предвозвестие возвышающейся великодержавной Московской Руси — той России, которая, восприяв духовное наследие Киева, медленным и тяжким трудом взрастила его под татарским игом и, объединенная под гнетом единой внешней силы, вышла из глухого лесного угла к широким историческим горизонтам.

Поскольку этот момент соприкосновения Руси и татарского всемирного царства недооценивался в русской истории, недооценивалась и вся глубина исторической заслуги Св. Александра Невского. Момент завоевания Руси татарами был поистине трагическим. Перед лицом татар Россия как единство, как государственная сила перестала существовать. Она была сильна только своим внутренним богатством. Ее внешняя риза была разодрана. Св. Александру Невскому пришлось творить эту ризу внешнего единства под ударами с востока и с запада. Кончили дело объединения Руси лишь его потомки. Но он заложил первый камень; сам стал живым основоположным камнем новой, возродившейся из развалин России.

Вся жизнь Св. Александра была отдана России. Под-

ходить к нему можно лишь через историю, через рассмотрение его эпохи и стоявших перед ним исторических задач. Поэтому и представляется необходимым описанию его личной жизни предпослать краткий исторический обзор предшествующих ему княжений и постепенного складывания тех сил, среди которых ему пришлось управлять Русью.

Одной из особенностей русской истории является полное перенесение центра государственной жизни с юга на север, закончившееся татарским нашествием как раз во время княжения Св. Александра.

Оба события — разрушение Киевщины и усиление Суздаля — подготовлялись длительным историческим процессом. Но этот процесс был скрытым и подземным. Он нарождался медленно, проявился стремительно: в течение одного столетия. Поэтому в нем есть неожиданность катастрофы, трагическая историческая динамика.

Киевская Русь разрушилась именно тогда, когда она, казалось, укрепилась и достигла благосостояния. От крещения Руси при Владимире прошло два с небольшим века. Южная Русь была уже христианской, православной страной. В ней была Киево-Печерская обитель с ее многочисленными подвижниками. В ней были князья подлинные христиане. Она создала свою христианскую письменность. Православие уже преломилось и преобразилось в русский дух: оказалось не простым заимствованием из Византии. Русские подвижники — и князь, и монах, и простолюдin — уже были русскими православными подвижниками, выявлявшими в своей святости русские черты. То, что осталось от тех веков — поучения, летописи, жития святых, многочисленные храмы, — ярко свидетельствует о своеобразности Киевщины. Православие вошло в ее миросозерцание и слилось с ним. Киевщина неотделима от Православия и непонятна без него. Конечно, было бы глубокой ошибкой идеализировать древнюю Русь. Не только в народных толщах, в медвежьих углах, но и в княжеских теремах язычество еще далеко не было преодолено. Без дикости, разгула и темноты картина Киевской Руси будет неправильна и не полна. Но разве все то время, все средневековье, не являет из себя причудливой смеси света и тьмы, величия в святости и силы

в грехе? «И свет во тьме светит и тьма не объяла его». А что этот свет светил как в княжеском тереме, так и в простой избе, свидетельствуют многие жития и сказания. Подвижники Киево-Печерской Лавры приходили отовсюду, и среди них были и князья, и смерды.

Все сведения о последнем столетии Киевской Руси говорят и о ее внешней силе. К началу 13-го века она достигла богатства и широты быта. Описания иностранцев представляют Киев богатым городом, с множеством церквей, монастырей, княжьих палат и торжищ. Русские князья созидали библиотеки и устраивали школы. Многие из них владели несколькими иностранными языками. Они входили в сношения с иностранными королями и роднились с ними. Вся жизнь и быт князей и «больших» людей были богатыми и красочными.

Но, несмотря на это благосостояние, в Киевской Руси были внутренние недуги, медленно ее разрушавшие.

За три века бытия в Киевской Руси уже начало слагаться сознание национального единства — «всей русской земли». Но государственная власть не соответствовала этому единству. Князья «несли розно» на Русскую землю. Они не были связаны с землей и установившимся в ней земским строем. Они переходили со стола на стол. Их конечной целью было великое киевское княжение. Поэтому в уделах они были временными пришельцами, не связанными с земским строем. Сам переход со стола на стол вызывал распри. Этот порядок делался труднее с увеличением княжеского рода. Передвижение со стола на стол запутывалось все больше и больше. Меч был единственным средством разрешать эту путаницу. Удалые и умные князья начали захватывать уделы, не считаясь с правом старшинства. Земская Русь также начала вторгаться в дело размещения князей, призывая к себе князей вне очереди и старшинства. Князья вовлекали в свои распри уделы, бросая Киев на Чернигов, Переяславль на Смоленск. Усобицы сопровождались обычным разграблением, поджогами, уводами скота. Южная Русь сама разрушала себя и при наличии сознания единства делилась на враждебные области.

Но была еще причина, медленно подтачивавшая силу Южной Руси. Приднепровская Русь лежала на границе степей, в глубине которых сменялись кочующие орды. При единстве власти Русь, быть может, могла бы отбиться от степей. Но постоянные усобицы делали ее беззащит-

ной. Некоторые из князей в пылу междоусобной борьбы сами стали наводить половцев на русские пределы.

«Тогда сеяшеться и растяшет усобицами; погыбашет жизнь Дажь-Божа внука; в княжих крамолах вещи человеком сократишася. Тогда по Русьской земле редко ратаеве кикахут, но часто врани граяхуть, трупие себе деляше... Усобица князем на поганяя погибе, рекоста бо брат брату: се мое, а то мое же; и начаше князи про малое се великое молвити, а сами на себе крамолу ковати, а погании со всех стран приходяху с победами на землю Русьскую... Възстона бо, братие, Киев тугою, а Чернигов напастьми; печаль жирьна утече среди земли Русьская, а князи сами на себе крамолу коваху, а погании сами победами нарищуше на Русьскую землю, емляху дань по бело от двора... Уже бо Сула не течет серебряными струями к граду Переяславлю, и Двина болотом течет оным грозным Полчанам под кликом поганых».

В этом плаче «Слова о полку Игореве» есть глубокая скорбь о всей Русской земле и сознание ее единства. Но этого сознания не было у князей, за исключением лишь немногих. Не князья, а земская Русь блюла единство России, как и неизвестный автор «Слова о полку Игореве», обращаясь к князьям с мольбой о мире: «Молимся, княже, тебе и братома твоима, не мозите межи собою погубити земли русские, юже бяще стяжали отцы ваши и деды трудом великим и храбростию» *. Иногда голос земщины доходил до князей, и они, собравшись на съезде, разделяли уделы и сговаривались совместно защищать Русскую землю, каждому в своей вотчине. За такими съездами следовали совместные походы на степь, и набеги временно прекращались. Но князья разъезжались в свои уделы, и новая усобица, поднятая каким-нибудь князем, недовольным разделом, снова разбивала княжества на враждующие стороны.

Набеги половцев были истинным бедствием Киевщины. Эти набеги совершались совершенно неожиданно и внезапно. Владимир Мономах говорил на Долобском съезде: «Начнут (весною) люди орати и пришедше половцы, самех избияют, а лошади их возьмут, а в село ехавши и жены и дети их поемлют и все, что имеют, а села пожгут».

Слова Владимира Мономаха указывали другим кня-

* Собрание ханов и князей отдельных улусов.

зьям на самое роковое последствие половецких набегов. Эти набеги обрушивались на сельское население. Торговое городское население отсиживалось за стенами городов. Крестьянство же не имело защиты. Половцы внезапно появлялись из степей и также внезапно скрывались со своим «пленом», в степи, теряясь в далеких и широких просторах трав, ковыля и яругов, шедших от пределов Руси к берегам Азовского моря. Крестьянство вообще было угнетено рабством. Набеги кочевников переполняли чашу терпения. Население поднималось с мест и бежало с черноземья в места более бесплодные, но зато и более спокойные. Эти трагедии отчаявшихся смердов остались скрытыми и неизвестными. Но причины, побуждавшие их к уходу, были те же, которые побудили Андрея Боголюбского уйти с юга на север: «Скоря о нестроении братии своея, братаничев и сродников, яко всегда в мятежи и волнении вси бяху и много крови лияшеся и несть никому ни с кем мира и от сего вси княжения опустеша... и от поля половци выплениша и пусто сотвориша...»

Бедность и угнетенность сельского населения были одним из главных недугов Киевщины. Быстро воздвигнутое и богато украшенное здание Киевской Руси стояло на слабом фундаменте. Подземные воды усобиц и потоки половецких нашествий еще больше размывали этот фундамент. Здание стало быстро распадаться и неожиданно быстро рухнуло.

Одной из первых зловещих трещин были запустение и потеря торговых путей. Сами князья заметили появившуюся трещину. Так, в 1170 году великий князь Мстислав Изяславович заметил, что половцы «и Греческий путь изъютимают и Соляной и Залозный», т. е. торговые пути в Византию, Тавриду и Хозарию. Съезд князей решил «поискати отец и дед своих пути и своей чести». Князья разбили половцев на Угле, но пути не были возвращены этой временной победой.

К концу 12-го века Киевская Русь заметно запустела. Целые города и области были оставлены жителями. Торговля пришла в упадок.

Татарское нашествие 1240 окончательно сломило Киевщину. На несколько веков она вообще как бы вышла из русской истории.

В том споре, который теперь начинают вести о том, была ли Киевская Русь началом русского государства, явно смешиваются два понятия: духовно-культурное и внешнегосударственное, — великодержавное. Поскольку духовно-культурное начало является основным ядром всякого народа, обрастающим плотью внешнего государственного единства, совершенно бесспорно, что Россия начала существовать в Киеве. Киев воспринял Православие и претворил его в русскую жизнь. Киев создал русское мирозерцание, русскую культуру. В 13-м веке и Киев, и Суздаль, и Новгород представляли собою внутреннее единство. И только эта внутренняя сила веры и культуры смогла превозмочь пришедший извне удар; только благодаря ей Россия не погибла «ако одре», но сама завоевала своих поработителей. Непрерываемая линия духовного преемства идет от Византии и Киева к Суздалю и от Суздаля к Москве.

Иначе обстоит дело с линией государственно-политического великодержавного преемства. Киевская Русь к концу своего существования все больше погружалась в провинциализм, теряя и свое единство и свои торговые пути. Она не создала государственного единства и не передала его Суздалю. Суздаль наново начал строить свою государственность. Возникая из болот и лесов, он был еще более провинциальным. Татары, придя на Русь, не застали там единого государства. Каждое княжество оборонялось отдельно и отдельно гибло.

Вхождение Северной Руси в татарское царство приобщило ее к мировой истории. Оно открыло Суздалю те горизонты, которых у него до тех пор не было. Единая татарская власть была одним из главных факторов укрепления русского единогодержавия и великодержавия. Московские князья обязаны своей властью не столько своей силе, сколько ловкой политике, благодаря которой они получали от ханов ярлыки на великое княжение. Власть хана сделалась той силой, воспользовавшись которой московские князья превозмогли центробежные силы удельного сепаратизма. Укрепившись под властью ханов, Москва свергла татарское иго, из завоеванной стала завоевательницей, постепенно начала расширять свою власть на области, прежде находившиеся под татарами. Это расширение шло через всю русскую историю.

Поэтому можно говорить о двух линиях преемства и двух наследиях Руси: о «наследии Византии и Киева»

и о «наследии Чингисхана». При отвержении одного из этих наследий взгляд на русскую историю становится односторонним, не охватывает полноты ее государственного бытия.

Первая линия приемства идет не прерываясь от Киева. Вторая начиная с Суздаля. Самый беглый взгляд на то, как складывалась Суздальская земля, уловит глубокое отличие от Киева. Все условия жизни на севере были иными. Под их влиянием суздальская государственность с самого своего возникновения пошла самобытными путями.

Суздальская и Рязанская земли, лежавшие между верхней Волгой и Окой, были глухой стороной. От Киевской Руси они были отделены непроходимыми и непроезжими «брынскими» лесами. Население страны — финские племена — Емь, Весь и Мерь — «Чудь», как их называли русские, жили в болотных чащах и по берегам озер. Постепенно пришедшие из Киевской Руси и из Новгорода переселенцы захватывали поселения Чуди, частью сливались с ней, частью оттесняли ее еще дальше в леса. Так на урочищах Чуди возникли старинные суздальские города: Ростов и Переяславль на озерах Неро и Клещино и Суздаль на реке Малой Нерли. Киевские князья, случайно и временно приходя в Суздальскую землю, воздвигали там города. Ярослав Мудрый основал на Волге Ярославль, а Владимир Святой или Владимир Мономах — Владимир на Клязьме.

Суздальская земля дольше чем другие области оставалась языческой. Христианство встречало здесь ожесточенный отпор русского и финского населения. У проповедников земли не было поддержки княжеской власти, как на юге. Св. Леонтий, первый суздальский епископ, постриженник Киево-Печерской Лавры, был изгнан язычниками из Ростова. Он ходил по весям, обращая в христианство народ, главным образом, детей. Вернувшись в Ростов, он принял там мученическую смерть. Его преемник, Св. Исаия, тоже постриженник Киево-Печерской Лавры, продолжал его дело. Он проповедовал христианство, разрушал капища и воздвигал храмы. В одно время с ним жил Св. Авраамий, уроженец Суздальской земли, началоположник иночества на севере. С детства возлюбив пустынное жите, он ушел из мира и на лесистых берегах озера Неро поставил себе келию. На месте разрушенного идола Велеса у Чудского конца Ростова Вели-

кого он основал Богоявленский монастырь — первую обитель на севере. Это было в конце 11-го века. Так христианство постепенно проникало из городов в глухие урочища и веси. Но язычники долго отстаивали свою веру. Летопись говорит о частых мятежах, вызванных происками волхвов.

Суздальская Русь, отделенная от Приднепровья лесами, долгое время лежала в стороне от общерусских дел и почиталась князьями за маловажный удел. Сначала она придавалась к Переяславскому княжеству, потом перешла в удел к младшей ветви Мономаховичей. Сам Владимир Мономах только изредка бывал на севере для устройства земских дел. Эта отверженность Суздальской земли послужила ей на пользу. Незаметно она увеличивалась и пополнялась переселенцами с юга. Ко времени Юрия Долгорукого она вступает в историю уже многолюдной землей.

Юрий Долгорукий первый почувствовал себя дома в Суздале и принялся за устройство земли. Он строил и укреплял города, воздвигал храмы, поощрял колонизацию, населял землю пленными. «Того же (6660) лета князь великий Юрий Долгорукий Суздальский, быв под Черниговом ратью и возвратися в Суздаль на свое великое княжение и пришед, много церкви созда: на Нерли Святых страстотерпец Бориса и Глеба и во свое имя город Юрьев заложи, нарицаемый Полеский, и церковь в нем камену Святаго Георгия созда, а в Владимире церковь Святаго Георгия камену же созда, и город Переяслав от Клещина перенесе и созда больши стараго и церковь в нем постави камену Святаго Спаса, а в Суздале постави церковь камену Спаса же Святаго».

Начатое Юрием Долгоруким дело устройства земли и укрепления едиnodержавия продолжали его сыновья и преемники — Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо.

Благодаря все ускорявшемуся упадку Киевщины, Суздальская земля при Всеволоде сильно возвысилась и сделалась многолюдной. «Слово о полку Игореве» обращается к нему со словами: «Великий княже Всеволоде! не мыслию ти прилетети издалеча, отня стола поблюсти: ты бо можеши веслы Волгу раскропити, а Дон шеломы вылити».

Уже ко времени княжения Всеволода — деда Св. Александра — Суздальская Русь окончательно сложилась.

По сравнению с Приднепровьем в ней замечается много нового и самобытного, не похожего на прежний строй Киевщины.

Князья здесь перестали переходить со стола на стол. Они все больше становились хозяевами земли. Вместе с ними и дружина начала оседать и приобретать земский характер. Становясь хозяевами-собственниками, бояре перестали менять одно княжество на другое, «ищущие себе славы, а князю чти», а прочно обосновывались на своих землях. Интересы земли делались и их интересами. Быт князей и дружины стал более оседлым. Начала стираться грань между княжеством и вотчиной. Государственное управление приблизилось к княжескому хозяйству.

Вместе с тем изменился и весь строй земли. Вместо богатых торговых городов Киевщины здесь преобладало крестьянство, разбросанное по небольшим урочищам. Поэтому земская воля и притязания городов постепенно ослабели. Вскоре само слово «чинить вече» стало синонимом мятежа, беспорядка, стихийного и неорганизованного движения народа, временно вырывающегося из-под княжеской власти.

Пришлое русское население смешалось с коренным, финским. Это изменило его речь, быт и наружность. Под влиянием северной природы изменился характер и сложился новый великорусский тип.

По сравнению с Киевской Русь Суздальская кажется возвращением назад, упадком. Ни один город на севере не может сравняться с Киевом. Образование и культура падают. Письменность и литература, высоко развившиеся на юге, замирают на севере. Весь внутренний облик Киева и Суздаля представляют глубоко различными.

Киев был устремлением к Византии, к степям и к Хазарии. С киевских гор открывались широкие горизонты и свободные дали. Все, что совершалось за рубежами, в Византии и в степях, было ему ведомо и непосредственно на него влияло. На севере горизонты сужаются, заслоняются лесами. Суздаль обращен на восток, к болгарам, более диким, чем Русь. Все, что доходит до него из других стран через Киев и Новгород, становится лишь далекими отголосками.

Киев как бы согрет отблесками золотопарчовой Ви-

зантии. На юге князь и его дружина переходила из удела в удел, от стола к столу. Полем их интересов и стремлений была вся Русь. Удел и город были только временным житием, «прокормлением», а мысли их мерили просторы от Полоцка до Киева, от Новгорода до Тмутаракани. В Киеве — широта и размах. В киевских князьях былинная поэзия удали и лихого полета. И все краски киевской жизни пестры, беспокойны, полны противоречий, языческого буйства жизни и строгости первых монастырей.

На севере эти краски тускнеют. В Суздале сдержанность, труд и прикованность, часто на всю жизнь, к одному городу, к одному болотистому, неплодородному полю. Мысль не могла рыскать по всей земле. Для этого не было и южных просторов. Здесь княжества затеряны среди широко, во все стороны растекающихся рек, неизвестно куда выводящих, никуда не влекущих, как прямой и многоводный Днепр, устремленный к Византии. Поэтому на Суздале по сравнению с Киевом лежит печать глухого провинциализма, медвежьего угла.

И князь, и бояре, и смерд здесь упорно работают над землей. Пусть они иногда сталкиваются в своих интересах, спорят и восстают. В них всегда есть единая воля.

В Суздале уже не чувствуется парчи. Образ Суздаля — серая, сермяжная Русь. И суздальский князь, и боярин, становясь хозяевами-вотчинниками, входят в быт. Их богатые одеяния вливаются в сермяжную Русь, становятся в ней неотъемлемым, ярким пятном. Киевцы презрительно называли суздальцев «мужиками залешанами». И правда, Суздаль — это мужик залешанин. Надолго затерянный в болотах, он воспринял, сам еще дикий, дикость окружавшей его Чуди. Христианство и язычество смешалось в нем в то двоеверие, с которым боролся через пять веков в своей митрополии Св. Димитрий Ростовский. Как это двоеверие, Суздаль на много веков причудливо сочетал владимирские и ростовские храмы с курными избами и бревенчатыми шалашами древолазов. И все это слилось в нем в единую задумчивую в однообразии лесов и озер картину. Суздаль создал русское пустынножительство, русские северные монастыри и погосты. Его благочестие, его вера иная, чем на юге. Он более целен, более смиренен. От Суздаля идет смиренная, убогая Русь. Он Суздаля и великодержавность Москвы.

Одновременно с Суздалем на севере был еще один государственный центр, по своему складу отличный и от Киева, и от Суздаля — Господин Великий Новгород. Целый ряд исторических причин повлияли на создание в Новгороде совсем особенного государственного строя.

Первые варяжские князья не долго пробыли в Новгороде и ушли на юг. Киев сделался центром их интересов и стремлений, и Новгород был предоставлен самому себе. Непогодородная северная почва заставляла население заниматься охотой, рыболовством и бортничеством. Новгородским землям не хватало хлеба и они должны были покупать его: источником жизни стала торговля. Сам Новгород Великий был средоточием огромного края. Новгород создавался и богател трудами самого населения, без особого участия княжеской власти. Власть в нем принадлежала тому, кто держал в своих руках торговлю — крупным купцам-боярам. Само население создавало страну и само население принимало участие в ее усилении. Поэтому верховной властью в Новгороде было вече, собрание всех свободных новгородцев. Это вече направлялось и руководилось боярами, но иногда «меньшие» люди восставали на людей «больших», на боярство. Это основное противоречие новгородской жизни — фактическое господство боярства и одновременная подчиненность его вечу — было источником постоянных распрей и междоусобий. В одном новгородцы были едины: в отстаивании своих вольностей. Князь для них был только предводителем войска и судьей, и они постоянно пытались ввести княжескую власть в эти границы. Прикованность князей к Приднепровью помогала новгородцам. В Новгороде не было своего княжеского рода, как в других областях. В течение 11-го и 12-го веков князья постепенно уступали свои права новгородцам. Вступая на княжество, они стали давать Новгороду договорные грамоты, в которых определялись их права. Эти права были очень ограничены. Так, князь не мог начинать войны без согласия Новгорода, должен был посылать тиунами на волости новгородцев, а не своих дружинников, не выдавать без посадника грамот, не судить холопов без участия в суде их господ, не собирать для себя дани в коренных новгородских владениях, пользоваться только княжьими селами, не приобретать для себя и для своих мужей земель в новгородских пределах, охотиться только в Русе и на 60 верст вокруг Новгорода, варить мед и ловить

рыбу только в Ладоге, не затворять немецкого двора, вести торговлю с заморьем только через новгородских купцов и т. д. Всякая попытка князя перешагнуть эти границы вызывала отпор Новгорода. Поэтому князья за редким исключением не усиживались подолгу в Новгороде.

В Южной Руси княжеская власть и земский строй существовали одновременно и разъединенно и так и не слились, не образовали единства. В Северо-Восточной Руси княжеская область поборола земский строй и подчинила его себе. В Новгороде же, обратно Суздаля, земский строй усилился за счет княжеской власти. Эта самостоятельность Новгорода наложила на него свой особый отпечаток, сказалась во всем складе новгородской жизни.

Возвышение Суздаля столкнуло его с Новгородом. В Северной Руси оказалось два средоточия. Крепкий своей княжеской властью Суздаль и богатый, свободолюбивый Новгород. В облике Суздаля и Новгорода — глубокая разница. Суздаль — мужик залешанин, крепкий своей связью с землей, медленным, но верным ростом из болот. В Новгороде есть крепость горожанина торговца, упрямого и свободолюбивого.

Новгород стал на пути Суздаля. Началась постоянная борьба суздальских князей с Новгородом. Эта борьба не похожа на южные усобицы. Это была борьба двух волей, двух упрямых стремлений.

Такова была историческая обстановка на Руси к началу 13-го века — времени рождения Св. Александра Невского. На юге — разрушающийся Киев, на севере — Суздаль и Новгород.

Св. Александр связан и с Суздалем, и с Новгородом. Поэтому его образ в детских и юношеских годах встает на фоне двух исторических картин: сермяжного, строгого, размеренного Суздаля и буйного, пестрого Новгорода. И уже только в зрелых годах мы видим Св. Александра в ханской ставке в глубинах Азии, на перепутье русской истории, когда ему пришлось княжить в совсем новых, небывалых условиях и искать новых, неизведанных прежде путей.

ГЛАВА I

Св. Александр Невский родился 30 мая 1219 года в уделе своего отца — Переяславле-Залесском.

Над впадением Трубежа в глубокое и волнистое Клешино озеро Переяславль белелся своим каменным собором Спаса Преображения — постройкою Юрия Долгорукого — четырехугольным с тяжелою главою на тонком барабане, с высокими узкими окнами, массивным и тяжелым, но в котором уже сквозит будущая стройность суздальских храмов. Город окружали земляные валы и деревянные стены детинца. За стенами взгляд захватывал светлый круг озера, кайму поемных лугов и леса и перелески, наступавшие на низменные и болотистые берега. У города на холме стоял Никитский монастырь. За три четверти века до рождения Св. Александра Невского переяславский купец Никита, стяжавший себе несправедливое богатство, раскаялся в сотворенных неправдах и обидах, оставил дом и имущество и ушел в этот монастырь спасаться на столпе. Там он прославился под именем Никиты Столпника.

Отец Св. Александра — князь Ярослав Всеволодович — сын Всеволода Большое Гнездо и внук Юрия Долгорукого — был типичным суздальским князем. В его образе уже слагается облик будущих скопидомных собирателей земли — московских князей. Некоторые черты особенно сближают Ярослава с его дядей Андреем Боголюбским. В их характере и во всем их образе чувствуется кровная, родовая связь. Они оба наиболее ярко воплотили особенности своего рода.

Основной чертой суздальских князей было глубокое и коренное благочестие. Они глубоко чувствовали красоту церковных служб, церковного пения и храмостроительства. Каждый из них оставил по себе храмы, которые он любил крепкой любовью, как свое творение и как свой дар Богу. Эта любовь сквозит в самих описаниях построения храмов. «Христоролюбивый Князь Андрей уподобился царю Соломону и доспе в Володимере церковь камену соборную святых Богородицы, пречудну вельми и всеми розличными виды украси ю от злата и сребра и пять верхов ея позолоти, дери же церковныя трои золотом устрой, камением, дорогим жемчугом украси ю многоценным и всякими узорочьи удиви ю, и всеми видами и устройением подобна бысть Соломонови святая святых». Андрей Боголюбский приходил по ночам в любимый Боголюбский храм Рождества Пресвятой Богородицы, зажигал свечи и долго стоял посреди полутемной церкви, любуясь ее росписью, полом, измощенным мрамором красным, разноличным, блеском изукрашенной драгоценными камнями и жемчугом ризы на чудотворной иконе. Перед утренней Андрей первый приходил в церковь и сам затеплял свечи и лампы. Часто он вставал ночью до петухов и приходил слезно молиться перед иконой. То же благочестие отличает и Ярослава. О нем летопись говорит как о просветителе Корелии, где он крестил «мало не вся люди». И весь быт княжеской семьи, в которой родился Св. Александр, был проникнут глубоким и исконным благочестием.

Эта любовь к церкви и понимание церковного благолепия была у тех суздальских князей, которые в своей политике выступают кремневыми, подчас черствыми властителями. Только в церкви раскрывалось и размягчалось их сердце. Окружающая жизнь была иной. И они обращали к ней иное лицо. Прележавши ночь перед иконой со слезами умиления, Андрей или Ярослав выходили утром из храма властными и суровыми князьями-самодержцами.

Суздальские князья-хозяева держали землю крепкой рукой, и для многих эта рука была тяжелой. В них чувствуется тяжелая, но верная поступь, знающая, куда она направляет шаги. Они умели смиряться и выжидать. Но, выжидая, они не забывали. Их отличает незабывчивость, подчас злопамятность. В своих войнах они предпочитали медлить, утомлять противника, пользоваться

распутицами, разливами рек, холодами. Но, раз уверившись в победе, они шли решительно и становились беспощадными к врагам. На большинстве суздальских князей и, главным образом на Андрее и Ярославе, лежит печать медлительности, тяжести, расчетливого взгляда.

Но эта медлительность не была равнодушием или апатичностью. Под этой сдержанностью лежит большая страстность, большое властолюбие. Андрей в молодости любил врываться в самую гущу сечи и рубился, не замечая, что с него сбивали шлем. Вся его жизнь — это прорывы страстности и честолюбия через внешнюю оболочку выдержки. Вспышки необузданной натуры и сгубили его.

Ярослава отличает та же страстность. В свои молодые годы он вполне отдался ей, пошел на Мстислава с новгородцами на старшего брата, не слушая доводов своих бояр и самонадеянно отвергнув предложение мира. Липецкий разгром и изгнание из удела послужили ему уроком на всю жизнь. Он сделался выдержанным и расчетливым.

Глубоко верующий, благочестивый, суровый и замкнутый, с прорывами гнева и милосердия, — таким встает перед нами образ отца Св. Александр.

О его матери — княгине Феодосии — известно очень мало. Летописные сказания противоречивы даже в указаниях того, чьей она была дочерью. Ее имя изредка и кратко упоминается в летописи и всегда только в связи с именем мужа или сына. Житие называет ее «блаженной и чудной». У нее было девять человек детей. Через житие Св. Александра она проходит тихой и смиренной, отдавшей себя своему женскому служению.

Св. Александр вырастает из своего рода. Вместо неподвижной, медленной тяжести характера отца и дедов в нем есть ясность, легкость сердца, быстрота мысли и движений. Но он унаследовал от них серьезность взгляда, сдержанность и умение переживать и таить в себе свои думы. Во всей своей деятельности он является преемником суздальских князей, ни в чем не ломает родовых традиций, лишь преображая их благоуханием своей святости.

Прямые сведения о детстве Св. Александра очень скудны. Но летописные сведения, намечающие внешние вехи его жизни, рассказ жития и сведения о воспитании княжичей восстанавливают обстановку его детства.

До трех лет Св. Александр, как и все княжичи его времени, жил в тереме, при матери. В этих годах, по-видимому, была детская тишина, отгороженность от мира. Кругом были только княгинины покои, внутренний быт семьи и церковь.

По достижении трехлетнего возраста над Св. Александром был совершен обряд пострига. После молебна священник, а может быть и сам епископ, первый раз обстриг ему волосы, а отец, выведя из церкви, впервые посадил на коня. С этого дня он был взят из княгинина терема и сдан на попечение кормильцу или дядьке — ближнему боярину.

После пострига начиналось воспитание, которое вел кормилец. Воспитание заключало в себе две стороны: обучение грамоте и письму по Библии и Псалтири и развитие силы, ловкости и храбрости. Княжича сызмала брали на лов. Со своего коня он видел облавы на туров, оленей и лосей. Потом, когда он подрастал, его приучали поднимать с рогатиной медведя из чащи. Это была опасная охота. Но и впереди княжича ждала опасная жизнь. Молодые князья рано узнавали жизнь со всей ее суровостью и грубостью. Иногда уже шестилетних княжичей брали в поход. Поэтому для них с молодых лет, наряду с играми, благостью церковной жизни и тишиной терема, были ведомы война, кровь и убийство.

То постепенное познание жизни, которое совершается в годы детства, имеет неизгладимое значение на всю последующую жизнь человека. Мирозерцание начинает складываться именно в детские годы.

Две стороны суздальской жизни должны были оказывать особое влияние на выработку мирозерцания молодых князей.

Во-первых, это была церковь и церковная жизнь. Княжеский терем внутренним ходом сообщался с церковью. С самых ранних лет князья ежедневно ходили на раннюю обедню и на все другие церковные службы. Вся жизнь княжеской семьи определилась кругом богослужений. Церковное благолепие было главной заботой. Вся красота жизни сосредотачивалась в церкви. Поэтому и для молодого князя церковь была первым откровением иного мира, отличавшегося от всей окружающей жизни. «Занеже Церковь наречется земное небо», — это свойственное всей Древней Руси ощущение церкви входило в создание с ранних лет. Вся внешняя обстановка церкви — красота

храма и икон, горящие свечи и лампы, облачения, курящий фимиам — было для княжича самым ярким впечатлением детства.

Последующее воспитание не разрушало этого первого детского впечатления. Княжич обучался письму и грамоте по Библии и Псалтири. Он постоянно слышал жития святых. Древнерусская письменность указывает, насколько библейский мир был реален для Руси. На старинных иконах события Ветхого и Нового Заветов изображены на фоне русских городов и русской природы. Таким же было и русское мирозерцание. В нем не было отрыва жизни от Библии. При появлении чего-либо непонятного и нового Древняя Русь пыталась найти объяснение в Писании. Так, например, неизвестно откуда пришедшие татары были для Руси библейскими народами, вышедшими из «пустыни Ефровския, их же загна тамо (скдия) Гедеон».

Эта цельность церковного мирозерцания сказывалась и в воззрениях на жизнь и долг князя. Церковь была мерилom жизни. Многие из князей самым грубым образом попирали церковное учение. Но все же и у них было церковное сознание добра и зла. Древняя Русь не создала внецерковных ценностей. Церковь входила с детства в жизнь как высшая ценность и так сопутствовала человеку до самой его смерти.

Второй особенностью суздальской жизни, накладывавшей отпечаток на князя с молодых лет и дававшей ему особое восприятие предстоящей ему государственной деятельности и власти, было сближение княжеского двора со всем княжеством.

Ко времени Св. Александра суздальский удельный княжеский двор уже совмещал в себе хозяйство и был княжеской семьей с управлением княжества. Грань между государственными делами и делами хозяйственными помещика-вотчинника уже стиралась. Поэтому княжич, постепенно выходя из замкнутости терема на княжий двор, начинал узнавать жизнь не только двора, но и всего княжества. Для него все княжество, с сидевшими на волостях боярами и тиунами, казалось расширенным княжеским двором.

Это первое детское восприятие в известной мере также оставалось на всю жизнь. В князьях складывалось новое, для Киевской Руси неизвестное понимание своей власти над княжеством как над своим хозяйством и дос-

тоянием. В них выковывалась твердая воля к единой держави и к стяжанию земли, которая так ярко проявилась у московских князей.

Эти два главных влияния суздальской жизни наложили сильный отпечаток и на Св. Александра Невского. Во всей своей жизни он не только не нарушает, но, наоборот, наиболее ярко и полно проявляет древнерусское суздальское мирозерцание. И начало этого мирозерцания восходит к первым детским годам в Переяславле.

Житие указывает на способности Св. Александра, проявившиеся еще в детстве. Он быстро научился читать и писать, пристрастился к чтению и целыми часами сидел над книгами. Он был силен, ловок и красив. Поэтому во всех играх, на лове, а потом и на войне он был всегда первым, как и за чтением Псалтири.

Житие повествует, что еще мальчиком он был серьезен, не любил игр и предпочитал им Священное Писание. Эта черта осталась у него на всю жизнь. Св. Александр — это ловкий охотник, храбрый воин, богатырь по силе и сложению. Но в то же время в нем есть постоянная обращенность во внутрь. Из слов жития видно, что эта резко его отличающая особенность — совмещение двух, казалось бы, противоречивых черт характера — начала проявляться еще в годы раннего детства.

Но эти детские годы в Переяславле были очень кратки. Св. Александру рано пришлось выйти в жизнь. Причиной этому послужил переезд его вместе с отцом из Переяславля в Новгород.

ГЛАВА II

Суздальские владения на западе доходили до границ новгородских земель. Переяславское княжество лежало на пути из новгородских городов Волока Ламского и Торжка в Поволжье. Владея из Переяславля Зубцовом, Тверью и Коснятином, суздальский князь мог запереть путь новгородским караванам, шедшим вниз по реке Нерли за хлебом, и прекратить подвоз хлеба в Новгород. Начавшаяся борьба с западом заставляла Новгород искать помощи на востоке. Поэтому новгородцы были в некоторой зависимости от Суздаля и должны были с ним ладить. Начиная с XIII го века они все чаще и чаще начали брать на княжение молодых князей суздальского рода.

Призвание суздальских князей раскололо сам Новгород на две партии. Одна признавала необходимость союза с Суздалем для борьбы с западом. К ней примыкали многие новгородцы, лично заинтересованные в союзе: торговавшие с Суздалем или посылавшие караваны на Волгу. Другая партия упорно стояла за новгородскую волю и видела в суздальских князьях угрозу этой вольности. Эта партия держала сторону южнорусских князей, менее властолюбивых и более удаленных от Новгорода, не пытавшихся вторгаться в новгородские дела. От победы то одной, то другой партии на вече зависела смена князей. Когда на княжении сидел суздальский князь, его властолюбие и обиды усиливали южнорусскую партию. Когда в Новгород приходил южнорусский князь, нападения врагов и все невыгоды ссоры с Суздалем давали перевес партии суздальской.

В 1220 году новгородцы «показаша путь» своему князю Всеволоду Мстиславовичу — южнорусскому князю — и послали владыку и посадника к великому князю суздальскому Юрию, старшему брату Ярослава, прося его о князе. Великий князь послал в Новгород своего молодого сына Всеволода.

Положение молодого суздальского князя в Новгороде было очень трудным. Он должен был одновременно исполнять приказания своего отца и ладить с новгородцами. К тому же на Новгород со всех сторон поднимались войной его западные соседи. Раздираемый приказами отца, мятежами новгородцев и наступающим врагом, от которого он должен был защищать Новгород, Всеволод пришел в отчаяние. В 1220 году, зимней ночью, он тайком от новгородцев со всем своим двором и дружиной убежал из Новгорода в Суздаль. Ввиду наступающих отовсюду недругов бегство Всеволода озадачило и опечалило новгородцев. Они должны были снова просить себе князя от самого сильного соседа — великого князя суздальского. Их старейшины приехали к Юрию Всеволодовичу, говоря: «Аще не хочешь у нас держати сын свой, то вдай нам брата своего». Юрий согласился. В 1222 году Ярослав с княгиней Феодосией, сыновьями Феодором и Св. Александром и дружиной приехал из Переяславля на новгородское княжение.

Новгородский князь жил с семьей и дружиной не в самом Новгороде, а в княжьем селе Городище, в трех верстах от стен города. Эта новая обстановка Городища,

в которой жил Св. Александр, немногим отличалась от Переяславля. Городище было куском Суздальской земли, перенесенной в Новгород. Князь был здесь хозяином и распоряжался в себе по своей воле, не спрашивая новгородцев. Его окружали свой двор и своя дружина. Поэтому и жизнь молодых княжичей шла по-старому. Продолжалось начатое в Переяславле обучение; ловы в лесах, по Мсте и Ловати; отъезды в охотничьи села и богомолья по многочисленным монастырям, разбросанным вокруг Новгорода: к святому Антонию Римлянину, на Хутынъ, к Спасу Нередице, в Свято-Варваринский, в Перынский, в Свято-Юрьевский, в Аркажский.

Все же переезд в Новгород был большой переменой в жизни Св. Александра. В Переяславле весь удел был расширенным княжеским двором. Выезжая из него, князь повсюду был хозяином. Княжий двор переносился в волости, и волости приходили на княжий двор. Здесь, в Новгороде за пределами Городища кончался суздальский двор и начинался иной мир, живший по своей, враждебной Городищу воле. Жизнь в Городище была для княжичей продолжением суздальской жизни, но выезды в город и подчас буйное вторжение города в Городище и самый вид богатого и пестрого Господина Великого Новгорода глубоко отличались от залесской тишины Переяславля.

Окруженный земляными валами, Новгород широко раскинулся на обоих берегах Волхова своими пятью концами: Загородским, Наревским и Людиным на Софийской стороне и Славянским и Плотницким на Торговой. Каждый конец и каждая улица жили своей особой жизнью, управляемый кончанскими, сотскими и уличскими старостами. Каждая улица имела свои предания, свои старинные семьи, издавна связанные с улицей и верховодившими в ней. Памятниками этих семейных преданий были раскинутые по всему Новгороду среди деревянных изб и хором каменные храмы, воздвигнутые богатыми и почетными семьями в своих улицах.

Средоточием этих далеко разбросанных улиц и храмов был Софийский детинец,— общее достояние всего Новгорода, его главная святыня — Святая София, на верность которой новгородцы целовали крест. Узкие, кривые улицы и проулки отводили с разных сторон к каменным башням детинца с церквами и часовнями над проездными воротами, по имени которых самые ворота назывались Богородскими, Спасскими, Покровскими

и Владимирскими. За воротами в Новгородской твердыне детинца, над всеми церквами и палатами возвышалась белая громада Св. Софии. Это тяжелый, пятиугольный храм, неповторимый во всем новгородском зодчестве. Ни один зодчий не посмел строить храма по подобию Св. Софии — она была едина, непревзойденна в Новгороде. Внутри храма с темного свода смотрел строгий образ Спасителя с полусжатой десницей. Царьградские иконописцы, расписывавшие храм при епископе Луке Жидяте, три раза писали десницу благословляющей, но три раза она сжималась. Тогда они слышали голос: «Писари, писари, не пишите Мне благословляющую руку, но пишите сжатую; Аз в сей руце Новгород держу; а когда рука Моя распрострется, тогда будет граду сему кончание». К нему примыкал «дом Святой Софии» — архиепископские покои со службами. И в Св. Софии, и в каменных башнях детинца, и в постройках владычного двора до наших дней сохранилась крепость и строгая массивность Новгорода.

На другом берегу Волхова, прямо напротив детинца, было другое средоточие Новгорода. Здесь был Ярославов двор и торг с храмом Св. Николая Мирликийского, с звонницей вечевого колокола и вечевой степенью-помостом, — место шумного и бурного новгородского вече, нередко кончавшегося побоищами.

На Торговой стороне от Ярославова двора и находившегося на нем храма Св. Параскевы Пятницы, заложенного заморскими купцами, посылавшими свои товары за море и вымаливавшими здесь избавление от морских напастей, шел вдоль берега Волхова пестрый и шумный Новгород-торговец, с лавками и лабазами. Здесь было два иностранных двора с иностранными церквами: «Варяжской божницей» Св. Олафа и «немецкой ропатой» Св. Петра, склады и дома готского и немецкого торговых домов. Эти иноземные миры, занесенные в самый центр Новгорода, заключались опять новгородским храмом Св. Иоанна на Опоках. При этой церкви было купеческое братство «Ивановское сто»: Новгородская первая гильдия.

В этом пестром мятении торговища и белой неподвижности пяти софийских куполов за рекой было соединение двух начал новгородской жизни, затейливо сплетенных новгородцами в единый образ.

В Св. Софии была степенность и размеренная важ-

ность. Здесь во владычиных покоях собирался «совет господ» под председательством князя или владыки, состоявший из степенных и старых посадников, тысяцких, сотских, концевых и бирючей. Здесь же три раза в неделю «во владычне комнате» садились думать 10 «докладчиков», разбиравших судебные дела, по боярину и житьему человеку от конца, под страхом денежной пени за неявку. Святая София собирала из всех концов Новгорода самых знатных и почтенных людей. Она знала строгую иерархичность новгородских званий с гордой замкнутостью и сознанием своей важности на каждой ступени. Здесь было ясно, кто правит Новгородом. Во главе стояли бояре — владельцы земель и денег, ссужавшие купцов деньгами, но сами считавшие торговлю недостойным для боярина занятием. Пониже — «жить и люди», более мелкие бояре. Еще ниже — купцы разного богатства и разного почета и жившие в новгородских землях мелкие помещики-своеземцы. Потом «черные люди», ремесленники и мелкие торговцы. И совсем уже внизу — смерды, половники, закупы и одерноватые холопы, рассеянные на новгородских землях.

Торговище тоже собирало новгородцев из всех концов на общее вече. Но здесь нет ни степенности, ни сановитости Св. Софии. Здесь движение толпы, шум и выкрики, быстро проявляющееся возмущение. Иногда Св. София выходила унимать Торговище. При кровопролитных драках владыка в облачении с духовенством шел разнимать дерущихся. Но иногда Торговище нападало на Св. Софию.

В обычное мирное время Св. София на «совете господ» правила Новгородом. Она решала все дела, вела переговоры с иноземными державами, собирала вече, рассылая бирючей по всем концам и держала вечников в своих руках. Это вече, собранное Св. Софией, происходило чинно, насколько это было возможно при большом стечении людей. Со степени к вечу обращались посадский и тысяцкий, а вечевые дьяки записывали постановления, сидя в особой вечевой избе у края помоста. В то время Св. София накладывала свою степенность и иерархичность на весь Новгород. Боярин и купец были выше «меньших» людей. Меньшие люди с почетом наступали перед ними.

Но во время неурядиц Торговище овладевало городом. Вече собиралось само собой, по звуку набата. Здесь

не слушали ни посадника, ни тысяцкого, не заботились о записях дьяков. Тогда уже Торговище погружало Новгород в свой шум и кипение. Иерархичность и степенность кончались. Меньшие люди избивали своих бояр, иногда даже владык, грабили имущество и дома людей «больших». В этом восстании Торговища было стихийное движение. Св. София размеряла свои действия и подчас шла на уступки. Торговище не знало расчета.

В этой сумятице новгородской жизни до сих пор трудно решить, кто был хозяином Новгорода: степенный ли Совет господ, правивший в нем, или вече меньших людей, в короткие дни своих восстаний свергавшее этот Совет и проявлявшее свою волю.

ГЛАВА III

Княжение Ярослава в Новгороде было беспокойным. В первый же год по своем приезде он пошел походом на Чудь. С тех пор летопись пестрит рассказами о его походах на Литву, на Емь и на Чудь, со всех сторон наседавших на новгородские пределы.

Промежутки между походами были заполнены распрями с новгородцами. Только война объединяла Новгород с его князем. Само княжение Ярослава в Новгороде было двусмысленным. Принужденные ладить с Суздалем и искать у него поддержки, новгородцы сажали на княжение своего недруга. За все княжение в Новгороде Ярослав никогда не переставал быть суздальским князем, думавшим о выгоде своей земли. Он не мог примириться с положением временного предводителя новгородской рати. И сам его характер, властный и неуклонный, восставал против новгородского своеволия.

За семь лет Ярослав четыре раза уходил из Новгорода в Переяславль и четыре раза в него возвращался. Все эти четыре ухода и возвращения происходили почти одинаково. Рассерженные на Новгород Ярослав и его старший брат Юрий начинали из Суздаля прижимать новгородцев. Они задерживали новгородские караваны, хватили и заковывали новгородских купцов, приезжавших в Суздаль, и захватывали пограничные новгородские владения, по словам летописи, «много им пакости подеа».

Ободренные распрями Новгорода с Суздалем, Литва, Чудь и меченосцы начали совершать набеги на новгород-

жие владения. В этих напастях суздальская партия брала верх и обращалась к Суздалю за помощью. Ярослав и во время ссор с новгородцами считал себя новгородским князем. Новгород был для него русской землей. Поэтому при нападении иноземцев он приходил с суздальской ратью, настигал врага, гнался за ним и возвращался в Новгород. Избавленный князем от врагов, Новгород встречал его с радостью и честью. Ярослав водворялся в Городище. Но лишь наступал мир, все давно накипевшие обиды снова начинали пробиваться наружу.

В 1228 году Ярослав опять поссорился с Новгородом и ушел осенью с своей княгиней в Переяславль, оставив в Новгороде сыновей с боярином Феодором Даниловичем и тиуном Акимом.

Так девятилетний Александр остался с братом один без поддержки отца среди взмятенного Новгорода. Молодые князья не могли править самостоятельно. За них правили тиуны. Но все же это было первым княжением Св. Александра совместно с братом.

Во все время своей жизни в Городище с отцом и матерью Св. Александр постепенно узнавал Новгород, как беспокойное море, которое нужно обуздывать. Он видел разгоравшуюся ненависть суздальской дружины и челяди против новгородцев. Князья, приучая сыновей к управлению, рано брали их с собой на суд или вече. Св. Александр, наверно, не раз видел ожесточенные споры отца во владычней комнате с упорными, прямо резавшими правду в глаза новгородскими боярами. Он тогда же начал узнавать сплетения политических интриг — борьбу приверженцев суздальской власти, на которых опирался Ярослав, с южнорусской партией. Это была трудная школа управления, которая могла научить многому.

Новгород, споривший с сильным Ярославом и принудивший его уйти, мало считался с оставленными ему княжескими тиунами. Длинная борьба с князем, окончившаяся победой, вызвала в Новгороде открытые мятежи против тех, кто держал сторону Ярослава.

В это время Новгород уже сам избирал себе архиепископов, которые ездили только на утверждение к митрополиту в Киев. У суздальской и южнорусской партий были свои владыки. Приверженец Суздаля архиепископ Митрофан был низвержен с престола еще до первого прихода Ярослава и на его место поставлен архиепископ Антоний. Когда суздальская партия победила, при Яро-

славе был низвержен Антоний и возвращен Митрофан. Так в Новгороде оказалось два владыки. Киевский митрополит утвердил Митрофана и тот пробыл на кафедре до своей смерти. Когда он умер, южнорусская сторона решила вернуть на престол Антония. Но суздальцы, чтобы воспрепятствовать этому, избрали архиепископом хутынского чернеца Арсения.

Когда Ярослав ушел из Новгорода, на кафедре остался его сторонник Арсений. В этом году была дождливая осень; разливы мешали распахивать поля и убирать сено, загнивавшее в стогах. Меньшие люди стали волноваться и кричать, что Бог наказывает Новгород за то, что на владычном престоле сидит Арсений, а не Антоний. Суздальский летописец, с неодобрением относящийся к новгородским распрям, объясняет эти волнения происками дьявола: «Окаянный дьявол, исперва не хотя добра роду человеческому и завидев ему (Арсению) зане прогоняет его ношным стоянием, пением и молитвами, воздвиже на Арсения мужа кротка и смиренна, крамолу велику». Произошло бурное вече. Люди стали кричать, что Арсений сел на престол, дав взду Ярославу. Толпы черных людей бросились с Торговища в детиниц, ворвались во владычины палаты и выволокли оттуда Арсения. «Ако злодея пхающе, а инии за ворот, выгнаша, мало ублюде его Бог от смерти». Другая толпа пошла с вече в Хутынский монастырь, где был заточен Антоний, и с честью посадила его на архиепископский престол. Но этим волнения не кончились. Весь город пришел в смятение. Вооруженные толпы прямо с вече пошли расправляться со сторонниками Суздаля. Одни разграбили двор тысяцкого Вячеслава и его брата. Другая толпа была послана вечем, чтобы разгромить двор липенского старосты Душильца, а самого его повесить. Душилец едва успел скрыться и убежать в Переяславль.

Этот открытый мятеж против Суздаля с набатом, грабежами и вооруженными толпами черных людей испугали княжеских тиунов. Они не чувствовали себя безопасными в Городище. Той же зимой, во вторник сыропустной недели, захватив молодых княжечей, они ночью побежали из Новгорода к Ярославлю в Переяславль.

Известие о бегстве молодых князей, означавшее окончательный разрыв с Суздалем, озадачило новгородцев. Собравшись на вече, они сказали: «Мы их не гонили, но братию свою казнили есма, а князю есма зла не учинили

ничего же». Раз суздальские княжичи бежали, новгородцы решили промыслить себе другого князя. На этом же вече они призвали Св. Михаила Черниговского, замученного впоследствии в Орде. Св. Михаил целовал крест, что будет соблюдать новгородские вольности, «ходить по ярославским грамотам»... «И рады быша новгородцы».

Но Св. Михаил не прокняжил долго в Новгороде. В его княжение продолжались бедствия. Шли непрерывные дожди. Потом ударил ранний мороз и побил озими. Начался голод. «Бысть же мор в Новгороде от глада; таков бо бе глад, яко мнози своего брата режуще ядаху, а инии мертвое трупие ядаху, друзии конину и псину и кошки, и инии мох и сосну, и игел и лист и толико бе множество мертвых, яко не быть кому погребати их... уже башет при кончине град сей».

В то же время Ярослав захватил Волок Ламский. Посланного к нему Св. Михаилом посла Нездилу Прокшича он велел заковать в цепи и продержал в Переяславле целое лето. В самом Новгороде продолжались нескончаемые раздоры между двумя посадниками с грабежами, поджогами и убийствами на самом вече.

Св. Михаил ушел в Чернигов, оставив вместо себя в Новгороде своего сына Ростислава. Но южнорусский князь из своего далекого удела не мог защищать Новгород ни от Суздаля, ни от его внешних врагов. Напрасно прождав присылки обещанного войска с юга, новгородцы изгнали Ростислава, сказав ему: «Как отец твой рекл был ввести на конь (сесть на коня, чтобы вести ополчение) с Воздвижения, и крест целовал, а се уже Николин день; с нас крестное целование (т. е. благодаря нарушению Св. Михаилом крестного целования защищать Новгород и с нас снимается целование подчиняться ему); а ты пойди прочь, сами себе князя промыслим». Видимо, суздальская партия опять победила. Новгородцы послали к Ярославу звать его на княжество.

30 декабря 1231 года Ярослав въехал в Новгород и у Св. Софии дал обещание: «целова Св. Богородицу» — блюсти новгородские вольности.

На этот раз он не остался в Новгороде и, пробыв там две недели для устройства дел, в середине января вернулся в Переяславль, оставив в Новгороде своими наместниками Феодора и Св. Александра с боярами.

Молодые князья опять очутились в Новгороде между

волей отца и волей Новгорода, в том трудном положении, которое дважды принудило молодого Всеволода тайком убежать в Суздаль. Но на этот раз княжение было еще труднее: в эти годы Новгород и всю Русь посещали одно за другим разные несчастья и беды.

ГЛАВА IV

За полвека до рождения Св. Александра Невского в глубинах Азии произошли события, оставшиеся тогда неведомыми Руси, но которые оказались чрезвычайно значительными для ее исторических судеб.

Около 1160 года у Ексукай Багадура, одного из ханов многочисленных и разрозненных татарских орд, кочевавших в уходящей к стенам Китая азиатской пустыне Гоби, родился сын, названный им Тенгрин Оггюсен Темучин, т. е. «дарованный богами Темучин». Темучин рано потерял отца, и, пользуясь его молодостью, улусы Ексукай Багадура отказались ему подчиняться. На его кочевье напало враждебное племя тайджигутов. Молодой хан девять суток скрывался без пищи и еды в пещере на обрывистом берегу Онона, но все же был схвачен и закован. Ему удалось разбить колодки и бежать, скрываясь в болотах.

Несчастливая молодость, полная преследований и унижений, выковала в Темучине волю и упрямство, жестокость, хитрость и вероломство, умение всеми путями идти к своей цели. Длительной борьбой он вернул себе власть над улусами отца. Но этого уже было для него мало. Его честолюбие открывало ему иные горизонты. Объединив тринадцать татарских родов, он разбил своих давних врагов тайджигутов и убил, бросив в кипящие котлы, их семьдесят беков. Потом настал черед других монгольских ханов. Храбростью и вероломством, разбивая врагов и приобретая союзников, избавляясь от них ядом и убийством, когда они становились не нужны, Темучин сделался единым ханом над всеми монгольскими ордами. В 1203 году он созвал в долинах Кернона Великий курултай и был провозглашен верховным ханом. С этого курултая он стал называться Чингисханом. Перед его ставкой был вознесен бунчук из девяти хвостов яка, по числу девяти монгольских племен. В это время ему было за сорок лет.

Молодость Чингисхана проходит в почти библейской простоте на фоне богатых азиатских пастбищ. В ней древнее божественное происхождение соединено с первобытной жизнью номада. Это жизнь среди кочевнических племен, где ханы и князья живут в юртах и кибитках и так же пасут стада, как и их подданные, где пропажа шести аргамаков и поездка хана за невестой являются историческими событиями племени. В Азии, вообще, есть великая неподвижность. Она словно погружена в полусон. Но в ее глубине дремлют силы, как бы полусонные мечтания ее прошлого и будущего. И образы тех, кто претворяет эти мечтания в жизнь, — образы великих азиатских завоевателей — принимают нечеловеческие, уже легендарные размеры. Из неизвестности и темноты азиатских недр они сразу выходят на мировые просторы. Исторические завоевания Чингисхана кажутся такими же легендарными, как и во многом явно легендарные события его молодости. В самом его имени встают просторы пройденных с боем равнин и пустынь. В расширении его владений, в создании им великого кочевого царства, начавшемся после Великого курултая, есть стремительность всеуносящего потока.

Краткие хронологические даты ярче всех описаний говорят о силе и быстроте этого потока.

Завоевания Чингисхана почти одновременно направлялись на запад, восток и юг. После Великого курултая на Керноне он завоевал Каракитай, то есть восточный Туркестан, и земли Уйгиров, живших на Алтае. В 1206 году к царству монголов был присоединен Тибет. Окончательное завоевание Китая завершилось лишь при преемниках Чингисхана. Но уже при его жизни монгольские орды начали проникать за Великую Китайскую стену. Китайцы оборонялись в своих укрепленных городах, но татары научились их брать, разбивая стены таранами. В 1211 году были завоеваны китайские провинции Шенеси и Чжили, в 1213 году взят Шандун, в 1215 году Пекин. Китайские императоры перенесли столицу на юг, за Желтую реку, оставив весь Северный Китай в руках Чингисхана.

На западе постепенно расширявшиеся владения Чингисхана достигли границ Ховзарема — царства шаха Магомета лежащего на территории теперешнего Туркестана. На западе Ховзарем доходил до Каспийского моря, на юге граничил с Хорасаном. Избиение купцов в погранич-

ном городе Отраре, произведенное по приказу хана Ингала, вассала шаха Магомета, послужило предлогом войны. В 1219 году Чингисхан вторгся в пределы Ховзарема. Под Отрарой он разделил свое войско. Своего сына Огодая он оставил осаждать город, а сам с другим сыном, Тулуем, пошел на Бухару и Самарканд. После ожесточенного сопротивления Отрара была взята и хан Ингал казнен. Высокие каменные стены туркестанских городов только временно задерживали Чингисхана. После осады и разрушения стен он брал их приступом, разрушал богатые мечети, рынки и караван-сарай и избивал жителей или уводил их в плен. В феврале 1220 года он взял Бухару и Самарканд. Внутренние религиозные смуты суннитов и шиитов, разрушавшие Ховзаремское царство, помогли монголам. Шах Магомет бежал в пределы Хоросана. Чингисхан послал за ним Тулуя.

Преследуя шаха, Тулуй взял Мервь, перебив в городе не только всех жителей, но и домашних животных. Та же участь постигла Нишапур. У трупов, лежавших на улицах города, были отрублены головы и сложены в три пирамиды: отдельно головы мужские, женские и детские. Потом город был срыт и место, где он стоял, засеяно ячменем.

Силы Ховзарема были уничтожены, и начался окончательный разгром отдельных уцелевших городов и преследование по всем направлениям бежавших врагов. В 1221 году Чингисхан, преследуя сына Магомета — Джалалэдина, перешел Гиндукуш и дошел до Инда.

Сам шах Магомет с остатками своего войска отступал после взятия Нишупура на запад. Чингисхан послал вслед за ним свою конницу под начальством воевод Жебе Нойона и Субудай Багадура. Это преследование сделалось знаменательным для Руси.

Джебе Нойон и Субудай Багадур оттеснили Магомета до самого Каспийского моря. Когда Магомет умер, укрывшись на одном из островов, татарские воеводы получили от Чингисхана приказ продолжать поход на север и на запад для дальнейших завоеваний. Они покорили Азербайджан и Грузию и через Шемаху подошли к горным хребтам Кавказа. Перейдя через снежные перевалы, они спустились в степи и разгромили кочевавшие там половецкие вежи. Половцы были частью перебиты, частью покорены, частью бежали. Татары прошли по очищенной степи в Крым, разрушили Судак и на зиму

ушли в половецкие кочевья, чтобы продолжать поход с наступлением весны.

Так из неведомых азиатских равнин татары впервые вступили в круг русских летописей. «По грехом нашим, приидоша языци незнании, при великом князе Киевском Мстиславе Романовиче, внуце Ростиславе Мстиславне. Приидоша бо неслыхании безбожнии Моавитяне, рекомые Татарове, их же добре ясно никто же свесть, кто суть и откуда приидоша, и что язык их, и котораго племени суть, и что вера их... Бог един весть их; но zde вписохом о них памяти ради князей Русских и беды яже суть им от них».

Прибежавшие на Русь половецкие ханы, среди них хан Котьяк, тесть Мстислава Удалого, стали упрашивать о помощи. Они одаривали князей конями, верблюдами, буйволами и половецкими девками, говоря им: «Нашу землю днесь одолели татары, а вашу завтра возьмут пришед, то побороните нас; аще же ли не поможете нам, то мы ныне посечены будем, а вы поутре посечены будете».

По побуждению Мстислава Удалого, князья съехались в Киев и решили поход в степи, чтобы встретить татар на чужой земле. Решив это, они разъехались по уделам собирать ополчения.

С первыми ясными весенними днями в апреле 1223 года соединенные стяги князей киевских, черниговских, смоленских, северских, волынских и галицких стали собираться к Днепру. Здесь были четыре Мстислава: галицкий — Мстислав Удалой, киевский великий князь — Мстислав Романович, черниговский — Мстислав Святославович и волынский — Мстислав Ярославович, по прозванию Немой, их подручные удельные князья и вся половецкая земля с ее ханами. Когда ополчение было у города Заруба, к князьям пришли татарские послы, предлагая мир. Но князья, зная от половцев о вероломстве татар, не послушали послов и убили их. Татары снова отправили послов, которые нашли князей у Ошеля. На этот раз князья отпустили их живыми.

У Хортицы южнорусская рать начала переправляться на стругах и плотах через широкий и многоводный в половодье Днепр. Перед ней лежали весенние степи, в которых маячили татарские разъезды. По обычаю, молодые князья с передовыми дружинами поскакали вперед. После небольших стычек с разъездами они вернулись к Днепру, рассказывая о татарах. В молодом задоре они недооценили их силы. Но старый галицкий воевода Юрий

Доморечич, бывший с ними, твердил, что это сильный враг.

Мстислав Удалой с «тысячью вой» первым переправился через Днепр, налетел на сторожевой татарский полк и погнал его в степь. За ним начали переправляться и другие князья. Труба за трубой, стяг за стягом, ставка за ставкой, земля за землей Русь переходила через Днепр и выходила в степь. Это было самое большое южнорусское ополчение, когда-либо выходившее совместно на врага — здесь было до ста тысяч воинов.

Ободренная первыми успешными стычками, Русь углублялась в степи вслед за отступавшими передовыми полками татар. Через 8 дней похода русские князья стали станом на реке Калке, на другом берегу которой стояли главные силы татар.

Здесь, в приазовских степях, Русь и татары впервые встретились лицом к лицу.

В этот грозный час русской истории южнорусские князья не поняли, что из мелких междоусобных стычек они вышли на просторы мировой истории. Перед ними, за Калкой, были татарские отряды, прошедшие через плоскогорья и равнины и взявшие с боем каменные твердыни китайских и туркестанских городов. У татар была единая воля воевод, за которой стояла воля оставшегося в Азии, но грозного и в отдалении Чингисхана. В русском стане было много ставок, много воли и много честолюбий. Даже во время похода через степи князья ссорились между собою и до конца так и не смогли выбрать единого предводителя.

Глубоко символично, что самый типичный южнорусский князь, самый привлекательный по своей удали, самый храбрый и самый опытный в ратном деле — Мстислав Удалой сделался первым виновником поражения.

Сидя в своей ставке на берегу Калки, Мстислав боялся, что слава победы над татарами достанется не ему одному. На рассвете 31 мая он велел своим полкам переправляться через реку, не сговорившись с другими князьями, даже не предупредив их о переходе, а оставив их спать в своих станах.

Татары засыпали переправлявшиеся через реку полки тучами стрел. Натиск Мстислава был, по обыкновению, быстр и стремителен. Произошла жестокая сеча. Казалось, что победа близка. Татары обратились в притворное бегство.

Из рассказа летописи видно, что даже в переправившихся с Мстиславом полках не было единства. Шедшие за ним половцы сами решили вступить в битву. Увидев бегущих татар, они нестройными толпами с гиком погнались за ними. Татары остановились и повернули на половцев. Половцы не выдержали встречного удара и побежали, смешав и Мстиславовы полки. Началось беспорядочное отступление. Тесня их, татары переправились через реку и ворвались в русский стан, где князья только начинали спешно выстраивать свои полки. Произошло жестокое избиение русской рати по частям. Только один Мстислав Киевский успел огородиться телегами в своем стане на высоком и каменистом берегу Калки. Остальные рати побежали к Днепру. Татары разделились: часть их пошла преследовать бегущих, а воеводы Чегыркан и Тешукан остались осаждать Мстислава Киевского в его стане. Эта осада продолжалась три дня. Утомленный постоянными нападениями, Мстислав согласился на предложенный ему татарами мир. Но лишь только киевский князь вышел из стана, татары тучами надвинулись на него. Все киевляне были перебиты. Самого великого князя и его двух младших князей татары бросили под деревянный помост, на котором они справили победный пир.

Между тем главные силы татар продолжали теснить бежавшие по степям к Днепру рати. Во время преследования шесть князей было убито, среди них Мстислав Черниговский. Некоторые князья успевали собирать вокруг себя бегущих и в одиночку отбивались от наседавших татар.

Мстислав Удалой с разбитыми и разрозненными дружинами первый прибежал к Днепру и, переправившись через него, велел жечь и рубить струги. Потом он ушел в Галич. Вся Южная Русь, разбитая в степях, была открыта для врагов. Отдельные конные отряды татар, переправившись через Днепр, продолжали преследование. Жители русских городов выходили к ним навстречу с крестами и хоругвями, но бывали избиваемы. Однако татары на этот раз не воспользовались победой. Дойдя до Новгорода Святополкского, они повернули назад в половецкие степи, разбили камских болгар и ушли в Азию так же неожиданно, как и появились: «Не сведаем откуда была пришли на нас и камо ся дели опять».

ГЛАВА V

Поражение на Калке не коснулось непосредственно ни Суздальской Руси, ни Новгорода. Туда дошли лишь известия об этом несчастье. Но подавленность и предчувствие новой беды распространились на всю Русь. Все время детства Св. Александра, распрей Ярослава с Новгородом, его приходов и уходов, было временем бедствий и знамений новой грядущей беды. Особенно же эти бедствия увеличились с 1230 года, то есть как раз ко времени второго самостоятельного княжения Феодора и Св. Александра в Новгороде.

Это время отмечают пожары, засухи, наводнения, голоды, моры и небесные знамения. В 1230 году по всей Руси прошло землетрясение. В церкви Св. Богородицы во Владимире во время богослужения заколебались своды и начали качаться лампы и горящие свечи. В Киево-Печерской Лавре со свода трапезной попадали камни и засыпали стол и приготовленные на нем яства. Это было в присутствии митрополита Кирилла, князя Владимира, бояр и множества людей, сошедшихся в Лавру ко дню празднования Преп. Феодосия. В Переяславле Русском в церкви Св. Михаила расселся надвое купол и упала кровля, завалив иконы, лампы и свечи. Это землетрясение прошло по всей Руси во время литургии за чтением Евангелия.

В том же году, 14 апреля, стало затмеваться солнце и шло днем по небу, как молодой месяц, среди частых мелких облаков, бежавших с севера. В Киеве знамение было еще грознее: по обеим сторонам затмевающегося солнца стали червлёные, зелёные и синие столпы. Огонь великим облаком сшел на ручей Лыбедь. Люди пришли в смятение, помышляя о Страшном Суде и кончине, и возопили к Богу. Огненное облако прошло без вреда через весь город и пропало на Днепре. «То же, братие, быша не на добро, но на зло, грех ради наших; Бог нам знамения кажет, да быхом ся покаали грех наших».

В лето, предшествовавшее возвращению Феодора и Св. Александра в Новгород, началась небывалая засуха. Горели леса и болота, и все дали были застланы дымной пеленой и гарью. Солнце стояло в небе бледным пятном. Потом ударили ранние морозы и побили озимые посевы. В Новгороде, как и в предыдущем году, при Св. Михаиле Черниговском, начался голод. Люди ели

пададь, ужей и мох. Началось людоедство. Казни не прекращали случаев людоедства: голод превозмогал страх смерти. Чернь нападала на дома, где, по слухам, была рожь, и, поджигая их, разграбляла имущество. Мертвые лежали без погребения по улицам, на Торгу и на мосту через Волхов. Были вырыты три великих скудельницы *, но и те не могли вместить умерших. «Не бысть милости между нами, но бяше туга и печаль, на улицы скорбь друг с другом, дома тоска, зряще детей плачущи хлеба, а друга умирающа».

В годы несчастий сердца одних людей окаменевают, других же, наоборот, наполняются любовью и состраданием. Потому среди жестокости и озверения всегда и всюду особенно проявляется милосердие тех, кто за этими несчастьями ощущает близкое присутствие Бога. Так было и в Новгороде. Большинство людей не знало жалости друг к другу. Ни брат брату, ни отец сыну, ни мать дочери, ни сосед соседу не соглашался уступить куска хлеба. Среди этого ожесточения впервые проявилось в молодом новгородском князе милосердие Св. Александра, заступника сирот и вдовиц, помощника страждующим. Он старался помочь голодающим чем мог и из дома его «не изыде никто же нищ».

С новой жатвой голод прекратился. Следующие годы княжения Феодора и Св. Александра были сравнительно спокойными. В эти годы Ярослав, не живший в Новгороде, все время держал его в своей власти. При мятежах или набегах иноземцев он приходил с низовыми ратями на помощь сыновьям и подолгу оставался в Новгороде.

В 1233 году Феодор должен был жениться. В Новгород съехались родичи жениха и невесты. Но перед самой свадьбой Феодор занемог. 10 июля он скончался и был погребен в монастыре Св. Георгия.

В летописях имена Феодора и Св. Александра всегда упоминаются вместе. Они вместе росли и учились, остались одни в Новгороде, из него бежали, вернулись в него, вместе княжили в нем при голоде. Так, наряду с несчастьями всей земли, Св. Александра впервые посетило семейное горе в радостном обстановке готовящегося свадебного пира. Св. Александр и его родители были верующими, церковными людьми. Они приняли смерть

* Братские могилы.

старшего сына и брата так же глубоко, стойко и трогательно, как об этом пишет неизвестный летописец, не принадлежащий к княжеской семье: «Еще млад и кто не пожалует о сем? Свадьба приготовлена и невеста приведена, князи съзвани и бысть в веселиа место плачь и сетование, грех ради наших; но, Господи, слава Тебе, Царю Небесный, изволивши ти тако; и покой его с всеми праведными».

После смерти брата Св. Александр остался один в Новгороде. В 1234 году Ярослав приходил в Новгород и водил новгородцев под Юриев на меченосцев, а потом на Литву. По всей вероятности, Св. Александр уже участвовал в этих походах.

Через два года, в 1236 году, Ярослав сделался великим князем киевским, и с этого года началось уже совсем самостоятельное княжение семнадцатилетнего Александра в Новгороде. Но уже в следующем году начали исполняться все зловещие предзнаменования предыдущих лет.

ГЛАВА VI

Чингисхан умер в 1227 году. Татарское царство, при сохранении общего единства, было разделено между его тремя сыновьями и внуком Батыем, сыном старшего сына Джучи, умершего еще при жизни Чингисхана.

По этому разделу старший из трех братьев — Огодай, получил Каракорум и Монголию, Чаадай — Среднюю Азию и Туркестан; младший Тулуй — Маньчжурию и Северный Китай; Батый — западную часть царства за Аральским и Китайским морями, включая подонские и поволжские степи.

Собравшийся в 1229 году курултай избрал великим ханом Огодая, подчинив его братьев и племянника.

Огодай продолжал завоевания отца. Он совершил походы на Персию и на Китай, кончившиеся низложением китайской династии.

курултай на Ононе, собравшийся в 1235 году *, задумал новые великие походы. Он послал Тулуя на Южный Китай, Чаадаю на Персию. Батыю с его трехсоттысячной ордой было поручено завоевание Европы. При ставке Батыя был сын Огодая Гаюк, его другой племянник

* Этот же курултай учредил два татарских университета.

Менгу и воевода Субудай Багадур, разбивший русских князей на Калке. С этой ордой Батый двинулся от Иртыша на запад, постепенно присоединяя к себе кочевые орды. Вступив в поволжские степи, он послал Субудай Багадура воевать камских болгар. Осенью 1236 года земля болгар была завоевана и опустошена.

Князья стали собирать ополчения, когда враг уже стал у рубежа. В этих ополчениях, только княжеские дружины были настоящим, привычным к бою войском. Остальное была наскоро вооруженная земская рать. Эти ополчения знали удалые рукопашные сечи. Люди во главе с князем сходились вплотную с врагом и тяжело бились мечами и бердышами. Первый удар и упорство в сече решали исход.

Напротив, татарские воеводы никогда не врубались в ряды врагов, а следили за сечей издали, с холма. В азиатских походах они выработали особую тактику, осторожную и лукавую, но стремительную и сосредоточенную. Наступая, они выпускали вперед сеть сторожевых конных отрядов. Подходя к врагу, они засыпали его стрелами, наступали, обращались в бегство, потом повернув, со всех сторон налетали на врага, ударяя в слабое место. Вступая в чужую землю, они шли облавой, как на ханской охоте на тигров в камышах Амура. Они двигались широкой лавой, разрушая города, и потом сходились в назначенном месте для совместного удара.

«Во всех их войнах,— пишет Плано Карпини,— они пользуются большим вероломством. Когда они готовы вступить в бой, они строят свое войско в боевой порядок. Вожди и князья не вступают в битву, но держатся вдалеке, чтобы следить за войском противника, и окружены слугами, женами и лошадьми. Первому нападению конницы противника они противопоставляют ряды пленников, в которые становятся лишь немногие из татар. Все же наиболее доблестные из их бойцов становятся справа и слева (на флангах) так, что противник их не видит, и поэтому они могут окружить и победить его».

Марко Поло также подробно говорит об этой тактике татар. «Когда какой-либо татарский князь идет на войну, то он берет с собой, как говорят, 100 000. Он назначает начальника на каждый десяток, сотню, тысячу, десять тысяч, так что его личные приказания отдаются лишь десяти лицам, а каждый из тех — другим десяти и т. д. Когда войско на походе, они всегда высылают вперед 200

всадников, чтобы шли вперед на хороших конях в двух переходах расстояния, для разведки. Такие же заставы они отправляют и в тыл и имеют их с обоих флангов, так что они все время зорко смотрят за внезапными нападением.

«Когда они сходятся с врагом, то побеждают его следующим образом: они никогда не нападают на него строем, но скачут вокруг и стреляют в него из луков, и таким образом причиняют большой урон... Они сражаются нападая, а потом убегая, и на скаку оборачиваясь и пуская тучи стрел на противника, который уже думает, что выиграл битву. И когда татары видят, что убили и поранили много коней и людей, они опять поворачивают коней, как до того, и мчатся в полном порядке, с громкими криками, и скоро все враги погибают...»

В Батыевой орде каждый татарин сизмала привык к войне. Эта орда надвинулась на Русь со всеми кочевьями, с женами и детьми. Это уже был не набег, а нашествие, одна из тех волн, которые на протяжении столетий находили из Азии.

Татарская конница не могла идти облавами среди русских лесов и озер. Поэтому для похода на Русь Батый выбрал зиму, когда реки и болота скованы льдом.

В начале 1237 года орды Батыя прошли через молдавские леса и пошли на Рязань. Деревянные стены города не выдержали ударов порот *. Татары ворвались в Рязань, убили князя и княгиню, всех бояр, иереев, чернецов и простых людей — мужчин, женщин и детей и обесчестили монахинь.

Во время погрома Рязанской земли великий князь Юрий Всеволодович поспешно собирал ополчение. Передовая суздальская рать и великокняжеская дружина с сыном Юрия — Всеволодом, шедшая на помощь Рязани, встретила с татарами под Коломной. Была великая и жестокая сеча, и суздальская рать была разбита. Всеволод едва успел бежать. Татары двинулись через Москву на Суздаль. Юрий, потерявший свою дружину под Коломной, ушел на север собирать новое ополчение. Набрав его, он стал станом на берегу реки Сити, поджидая прихода своего брата Ярослава — отца Св. Александра.

В день памяти Св. Симеона Богоприимца татары подошли к стольному Владимиру. Владимирцы пускали

* Стенобитных машин.

в них со стен стрелы. Татары же вывели к Золотым воротам пленного московского князя Владимира. Князя Всеволод и Мстислав с боярами стояли на Золотых воротах и увидели брата, бледного и истомленного пленом.

Татары объехали город и стали станом у Золотых ворот. В мясопустную субботу они начали строить полки и всю ночь обносили город тыном. На рассвете князя и владыка Митрофан вышли на стены. Они увидели, что город будет взят, а помощи ждать неоткуда, и пошли в церковь Святой Богородицы. Владыка Митрофан постриг в иночество обоих князей, мать их — великую княгиню и многих других мужчин и женщин. Татары же после заутрени пошли на приступ. Поротами они разбили стены, завалили рвы бревнами и во многих местах ворвались и в верхний город; оба князя-инока пали в сече. В церкви Св. Богородицы, запершись на хорах, молились владыка Митрофан, великая княгиня с дочерью и внуками, княгини и боярыни с детьми и множество других людей. Когда татары уже начали ломиться в двери, владыка Митрофан возгласил: «Господи, Боже сил, Светодавче, седей на херувимех и поучи Иосифа и укрепи Давида на Голиафа и, воздвигнув Лазаря четверодневно-го из мертвых, простри руку Твою невидимую и прими с миром души раб Твоих». Татары ворвались в храм, посекая бывших в нем людей. Потом они зажгли церковь. Владыка Митрофан и великая княгиня задохнулись в дыму и сгорели. Церковь была разграблена; с чудотворной иконы содрана богатая риза.

Захватив Владимир, татары облавами рассыпались по всей земле. Частью они пошли на великого князя, а частью на другие города суздальской области и взяли их четырнадцать за один месяц.

Великий князь Юрий стоял станом на Сити, когда пришла весть, что Владимир взят, владыка Митрофан, великая княгиня и все семейство сгорели, а сыновья убиты в сече на стенах. Услышав об этом, Юрий заплакал и, как новый Иов, сказал: «Господи! се ли годе бысть Твоему милосердию?» И после молитвы скорбно прибавил: «Ох мне, Владыко, что ради ныне остах аз един?»

Тотчас же за этой вестью к великому князю пришло известие, что татары уже окружают его. Юрий стал строить свою рать. Произошла злая и великая сеча 4 марта 1238 года, и Русь побежала. Юрий был убит, а его племянника, ростовского князя Василько, татары захва-

тили в плен. Это был первый князь мученик, принявший от татар смерть за веру.

Татары довели Василько до Шереньского леса и здесь стали с угрозами принуждать к перемене веры, предлагая воевать с ними и обещая ему великие почести. Но Василько отказывался от их еды и питья, говоря: «О, глухое царство и скверное! Никакже мене отлучити от христианския веры, аще и в велице вельми беде есмь, но се ми наведе Бог грех моих ради». Татары с угрозами наступали на князя. Василько же плакал, вспоминая свои грехи, и лицо его было уныло от томления и издевательства татар. Он возвел глаза к небу и сказал: «Ты, Господи, веси вся тайная сердца моего и вся моя мысли и аще годе бысть Твоему милосердию?» Потом, тайно помолившись, он сказал: «Господи, Иисусе Христе, Вседержителю, приими дух мой, да и аз почию во славе Твоей». Татары, «много мучивши», убили его, а тело бросили в лесу.

Возвращаясь из Белоозера епископ Кирилл нашел тела Юрия и Василька и отвез их для погребения в Ростов.

Между тем татары продолжали рыскать по всей Суздальской земле, разгромляя встречные города. Жители ожесточенно оборонялись и гибли, а оставшиеся в живых бежали в леса. Киевское небесное знамение исполнялось. Сшедший с неба огонь заревами пожаров шел по земле.

Один из татарских отрядов, взяв Переяславль-Залесский, вышел в новгородские земли. Дойдя до новгородского города Торжка, татары обложили его. Сидевшие в городе под начальством посадника Иванка люди изнемогали, а помощь не приходила. Татары две недели били поротами стены и наконец взяли город. Все жители были посечены. От Торжка татары пошли на Новгород, где княжил Св. Александр.

Новгород пришел в смятение. У Св. Софии служились молебны и горели тысячи свечей. Св. Александр начал укреплять город и готовиться к обороне. Впереди была безнадежность и лютая смерть, избиение жителей, позор женщин, разграбление церквей, как в других русских городах.

Но на этот раз Господь спас Новгород и Св. Софию.

Был март месяц. Еще стояла зима, но в потемневших на солнце сугробах, в звонком воздухе, в ярком мерцании звезд уже чуялась весна. Шла буйная русская весна с быс-

трым таянием снега, с разливами рек и ручьев, с северной весенней распутицей. Татары тоже почуяли первое предвозвестие весны. Они знали, что их конным ордам, бившим русские рати, не устоять перед распутицей, топкими болотами и разлившимися озерами Новгородской земли.

Дойдя до Игнач Креста, всего в ста верстах от Новгорода, они внезапно повернули на юг.

Батый собрал свои отряды, рассеявшиеся по всей Руси, по дороге разорил Козельск и ушел в половецкие степи.

Разгромив половцев, он двинулся на Южную Русь. Зимой 1240 года он взял приступом Киев и разрушил его. Католический монах Плано Карпини, проезжавший через Киев, насчитал в прежде богатом городе всего двести домов.

Потом Батый дотла разорил Владимир, Волынь и Галич. Оттуда он пошел на Венгрию, послав часть своей орды в Польшу. Эта орда взяла приступом и сожгла Краков. Под Лигницем татары встретили соединенное войско Тевтонского ордена, поляков и силезцев, под командой Генриха Благочестивого. Татары разбили это войско и несли голову Генриха на копье перед своей ставкой.

После боя под Ольмюцем татары повернули на юг и пошли из Моравии на соединение с Батыем, который между тем вторгся в Венгрию через Русь и Молдавию. Разбитый татарами венгерский король Бела IV бежал на юг. Будапешт был взят и сожжен.

Преследуя Белу, Батый продолжал продвигаться на юг и дошел до Далматинского побережья, разорив Катарро и Рагузу. Как некогда шах Магомет, Бела должен был спасаться на одном из островов Адриатического моря.

Нашествие татар взволновало Европу. Великий герцог австрийский и король богемский стали стягивать свои войска для защиты Вены.

Но в это время умер Огодай. Среди чингичидов начались несогласия из-за раздела владений. В 1242 году Батый собрал свои орды и через Южную Русь ушел в Азию.

Русь была разрушена. В степях долго лежали черепа и кости убитых. Вернувшиеся в свои уделы князья «не возможности идти в поле смрада ради множества избитых: не бе бо на Владимире не остал живой, церковь

Св. Богородицы исполнена трупия, иныя церкви наполнены быша трупия и телес мертвых».

На этот раз татары, уйдя в Азию, не оставили Русь. Она сделалась их улусом, как Хвоярем и Китай, как многие другие азиатские области. Во всех городах были поставлены ханские наместники. Земля была обложена тяжелой данью. Князья должны были получать ярлыки на княжение от ханов и ездить к ним на поклон в орду.

Русь приняла это несчастье, разорение, а потом двухвековой плен как Божию кару за грехи. С тех пор наука открыла многие причины народных несчастий. Мы можем их всегда объяснить множеством исторических причин, но последняя причина всегда остается одной. В годы, когда приходят эти несчастья, когда люди испытывают на себе тяготу народной беды, эта первая и последняя причина несчастий встает перед ними. И разве слова Преп. Феодосия Печерского, приводимые летописцем после описания татарского нашествия, не говорят также и о нашем несчастии, и о нашем пути к спасению:

«Бог бо не хочет зла в человецех, но блага... Земли же коей съгрешивши, казнит Бог смертию, или голодом, или поганных наведением или иными казнями: аще ли покаемся, в нем же ны Бог велит жити, глаголет бо к нам пророком: обратитесь къ мне всем сердцем вашим, постом, и плачем и стенанием; да аще сие сътворим всех грех прощены будем... И кто, братие, от нас не поплачется о сем, кто нас остал живых?... Да и мы то видевши, устрашились быхом и плакались грехов своих день и ночь с въздыханием; мы же творим съпротивное, пекущиеся о имении и о ненависти братни».

ГЛАВА VII

В 1239 году Св. Александр женился на княжне Александре, дочери полоцкого князя Брячислава. Венчание совершено было в Торопце. Там же Св. Александр устроил свадебный пир: «Кашу чини». Вернувшись в Новгород, он устроил второй свадебный пир — для новгородцев.

В том же году он начал сооружать укрепления по берегам Шелони.

До этого времени имя Св. Александра только упоминается в летописи среди других имен и событий. Борьба Ярослава с новгородцами, княжение Св. Александра под надзором тиунов, голод, татарское нашествие и порабощение Руси, ожидание нашествия на Новгород, тихий Переяславль и буйный Новгород — вот обстановка его детства и отрочества. Эти исторические события, среди которых он вырос, несомненно наложили на него свой отпечаток. Можно лишь предполагать, как эти события повлияли на него, как под ними складывался его образ.

С 1240 года Св. Александр уже сложившимся входит в историю. Отныне мы слышим его голос и знаем про его действия.

Величие исторической заслуги Св. Александра во всех подробностях ясно встает из его жизнеописания. Но его величие заключается не только в его делах и в том, какое влияние эти дела имели на последующие судьбы России: оно в *нем самом*, в его образе и в его *личной* святости. Здесь же сведения чрезвычайно скудны. Его житие не говорит ни о внутренних подвигах, ни о духовном возрастании. Даже его личная семейная жизнь остается в тени; сведения о ней ограничиваются краткими датами рождений, смертей и свадеб. Но за внешними делами постоянно стоит сам Св. Александр. Его внутренний образ ощущается за всеми его поступками. И погружаясь в его житие, все больше и больше начинаешь ощущать и понимать глубочайшую живую силу его личной святости.

Наше слово сильно и выразительно лишь там, где, борение страстей, где раздирание и двойственность непреображенной и греховной человеческой природы. Там же, где страсти уже побеждены, где достигнута целостность и умиротворение в Боге — там наше слово становится бледным и ограниченным. Границы слова лишь касаются пределов духовной жизни, но не простираются за них. Все подлинно реальное умиротворение остается невыразимым для слова. Здесь лежит вся трудность жизнеописания Св. Александра. Эта трудность — в невыразимости «витийствующим языком» того внутреннего облика Св. Александра, который светится за его внешними делами, который постигается лишь через движимую Святым Духом жизнь Церкви, прославившей и причислившей его к лику святых.

Житиям святых всегда соприсуща великая умиротворенность. Постепенное восхождение к Богу и подвиги

уводят от суеты жизни. Все внешнее в жизнеописании подчинено внутреннему. Поэтому от самих житий веет тишиной пустыни или келии, постоянным богозрением и богообщением. Иное житие Св. Александра Невского. В нем постоянный и утомляющий шум сражений, зарево пожаров, набат вечевых колоколов, происки бояр, усобицы, вторжение врагов через все рубежи. Его имя иногда начинает теряться среди других имен, мест и событий. В его внешней жизни нет покоя. Он то на коне, то во владычных палатах, он отражает врагов, умилоствует ханов, строит церкви и города, подавляет мятежи. Его жизнеописание столько же житие, сколько и страница русской истории.

Но в святости есть великое единство при различии служений. В ней единство благодатной жизни и принесения различных даров на единый алтарь. Поэтому, заимствуя прекрасный образ епископа Игнатия Брянчанинова, можно сказать: как вечерние облака проплывают в небе многоцветные и многообразные, но гонимые единым ветром и к единой цели, таковы и святые. От урочищ и погов, от городов и монастырей, в разных одеяниях и разных служениях, пустынножители, епископы, проповедники, монахи, юродивые, красноречивые и косноязычные, образованные и простые — идут они к единой цели, к единой пристани. У каждого свое служение, отличное от служения другого. Но лики их обращены к единому свету. Каждый из них избрал свой подвиг не как высший, наиболее его достойный. Но каждый уничижил и смирил себя; в признании своей нищеты услышал в себе голос Бога, призывающий к возвращению данного ему дара; принял этот дар как нищий, получивший на хранение и возвращение богатство, не ему принадлежащее. Поэтому разные, они едины в простоте и смирении. Их смирение в приятии своего *служения*, не предызбранного своей волей, но указанного Богом.

Этими различными служениями, на многих путях творилось русское Православие. Среди этих путей есть и путь внешнего охранения веры, насаждения правды, защиты епископов на их кафедрах и подвижников в пустыне, всех русских христиан и их святых. Это путь Св. Александра Невского. Этот путь он принял так же смиренно, как и другие святые: не предызбрал своей волей, но принял как служение и не уклонился от него. И всю свою жизнь отдал на «водительство к небесам

стада своего христолюбивого», отложив личную славу и выгоду.

Поэтому Св. Церковь, прославляя Св. Александра, воспекает:

«Подвигами же отвержения себе и ко благим делом принуждения, стяжал еси свободу чад Божиих».

«Радуйся, сопричастниче преподобных лика богосветлаго».

Вся жизнь Св. Александра — это одно устремление, как бы прямо летящая стрела, ибо вся она всецело отдана одному *служению*. Об этом и говорит акафист:

«Владыка Христос призвал есте Тебе к служению людем своим в дни посещения».

Рождением в княжеской семье Господь призвал Св. Александра к княжению во дни лихолетия: к битвам, управлению и суду. Св. Александр принял это служение: бился в сечах, управлял и судил. За своей княжеской властью видел Божию волю и Божию правду и знал, что власть дана ему, чтобы созиданием и управлением княжества исполнять свой долг перед Богом.

«Всего себе повинув Богу, яко раб благий и верный послужил Ему еси, блаженне Александре, паче сверстник твоих для земли твоей потрудився».

И в княжеском служении и во всей внутренней и внешней жизни Св. Александра отличает глубокий, подлинный реализм Православия в жизни духовной и земной. Перед ним стояло его служение: польза вверенной ему земли, и никакое отвлеченное понятие славы или чести не затмевало для него реальности этого служения и реальности жизни со всеми тяготами. В этом Св. Александр бесконечно чужд средневековому идеалу героя-рыцаря. Он никогда не пытался делать невозможного ради своей чести, даже ради чести своей земли. У него ясный и трезвый взгляд и смирение перед силой жизни, с ее подчас, непреодолимыми препятствиями. Поэтому в его пути свобода и широта. Он был выше всех его окружавших и не боялся уступать им, не упорствовал в малом и не втягивался в мелкие происки политической борьбы. Мелочи жизни никогда не затмевали для него главной цели. Он шел путями, которые были реальны и возможны. Эти пути были для него второстепенными, а служение — главным. Но именно потому, уступчивый в мелочах, там, где честолюбие или ослепление восставали против того, в чем он видел Божию правду, он становился твердым

и непреклонным. И тогда, для достижения цели, он твердо пользовался своей властью и своим правом карать. Он принимал народ со всеми его недостатками и грехами. Если народ в своем ослеплении шел против своего собственного блага, Св. Александр не потворствовал ему. В своей действенной любви к народу, даже принуждениями и карами, он вел его к тому, в чем видел и благо и Божию волю, несмотря на ропот и сопротивление.

Это различие между важным и маловажным, подлинным и неподлинным было особым даром Св. Александра. Его путь менее всего можно назвать путем компромисса. Он никогда не оказался податливым там, где податливость была бы изменой и вероотступничеством, нигде не уступал там, где уступка была бы ущербом не чести, но *правды* Руси. Он подчинился татарам, он отверг попытку спасения Руси ценой измены Православию, он поклонялся Батыю, но отказался, несмотря на угрозу мученической смерти, стать идолопоклонником.

Подлинное служение всегда связано с подвигом *самоотречения*. Самый враждебный взгляд не сможет приметить в жизни Св. Александра личного честолюбия. Он не совершил ни одного похода для славы и не начал ни одной битвы для личной выгоды. С одинаковой твердостью он шел на войну, покрывавшую его славой, и на унижение в ханской ставке. Его жизнь — постоянный подвиг смирения и отречения от себя для служения людям.

«Царя Небеснаго возлюбив от всего сердца твоего и от всея души твоея и всею мыслию твоею, принесл еси Ему, блажение Александре, посреди многочисленных приношений веры и усердия себе самого в жертву святу, благоуханну».

Святые отцы учат, что для человека, верно исполняющего данное Богом служение, дела заменяют продолжительную молитву. Его жизнь претворяется в непрестанную молитву делами. Так и жизнь Св. Александра, протекшая не в тишине пустыни, а на пути, орошенном кровью и омраченном смутами, была жизнью подвижника.

«*Имея всегда пред своима Господа, трезвенно пожил еси и вся, яже творил еси, творя во славу Божию*».

«*Радуйся, подвижниче веры, угождение Богу паче всего предизбравый*».

Поэтому Церковь прославляет его как подвижника,

отрекшегося от мира и предавшего себя Богу. Он поистине подвижник, но в то же время в нем и приятие мира.

«Сказание о Св. Александре Невском» повествует, что «некто силен от западных страны», — меченосец Андреяшъ — увидев Св. Александра, сказал: «Прошед страны язык и не видех такого ни в царех Царя, ни в князех Князя», что Батый, отпуская его, сказал: «Истину ми скажете, яко несть подобна сему Князя». Через все житие Св. Александра проходит изумление и любовь, которую он возбуждал в современниках своим видом. И теперь, из глубины веков, мы ощущаем великое обаяние его земного облика, исполненного внешней красоты и силы. По внешности Св. Александр — отважный воин, неутомимый охотник, выходивший с рогатиной на медведя. «Взор его паче инех человек и глас его, аки труба, лице же его аки лице Иосифа». Эта внешняя красота и мужественная сила углубляются в нем ясностью и красотой внутренней.

Наряду с этой мужественностью и решительностью и умением карать проявляется в Св. Александре еще одна, чисто русская черта. Это *милосердие и жалостливость*. Рассказывая, как он отпустил пленных, летопись говорит, как бы даже упрекая князя за излишнее милосердие: «Бе бо милостив паче меры».

Св. Александр — это образ князя-христианина: благочестивого, милостивого, защитника убогих, правосудного судьи.

«Бе бо любя чин церковный, — говорит летопись, — священники, митрополиты, епископы чтяще яко самого Христа и вся христианы любляще».

За это его прославляет и акафист:

«Радуйся ревнителю уставов и чина церковного благолепия».

«Радуйся в житии всех рабов Божиих друже и ревнителей благочестия собеседниче».

«Радуйся, нищих алчущих питателю».

«Радуйся мира беспомощных сильный оградителю».

«Радуйся, яко все житие свое освещал еси непрестанным имене Божия призыванием».

Св. Александр — князь, подвижник и мученик, — не уходил в пустыню, а жил в миру княжеской жизнью. У него была многочисленная семья, он пировал — «кашу чини» — ездил на ловы. В нем не только сила духа

и отрешенность подвижничества, но и красота, и ясность, и легкость *жизни* — ее преображенность. Ничто так не выражает его земного образа, как слова летописи: «Бе же лицом красен, очима *светел* и *грозен* взором, и паче меры храбор, сердцем же *легок*».

Оттого, погружаясь в житие Св. Александра, столь отличное от жития других святых, словно погружаешься в небо и дышишь легкостью и широтой неба. И весь Св. Александр как бы предстоит в синеве неба, легкий и ясный, постоянно горящий, твердый и неуклонно устремленный к одной цели. Это ясность и твердость *святости*.

Этот внутренний образ Св. Александра и проходит через все его житие, от самого рождения до кончины, в умиротворенности и преображенности над всем взмятенным морем его внешней жизни.

«Боготечною звездою прешел еси в мире, блажение Александре, блистающе славою и добродетелию; тем же ныне сияеши на небесех славою вечною с лики праведных, с ними же выну воспеваеши Христу: Аллилуия».

ГЛАВА VIII

После того как татары повернули от Игнач Креста на юг, Св. Александр мог ясно увидеть всю трудность положения Новгорода. Длинная упорная борьба не кончилась, но только начиналась.

На востоке была разоренная земля, восстанавливаемые города и постепенно возвращающиеся из лесов жители — тяжесть разорения, угнетение татарских баскаков и постоянная боязнь нового нашествия. Помощи оттуда быть не могло. Каждое княжество было слишком занятой своей бедой, чтобы отражать нашествия от других княжеств.

Между тем в течение последних десятилетий против Новгорода стоял другой враг, натиск которого постоянно отражался с помощью Суздаля. Это был мир латинского средневековья, авангардом своим — Ливонским орденом меченосцев — утвердившийся на берегах Балтийского моря и надвигавшийся на новгородские и псковские пределы.

Краткая история возникновения этого ордена и его наступления на Русь такова.

Во второй половине 12-го века в Ливонии для проповеди христианства высадился монах Августинского ордена Мейнгард. Его проповедь вызвала ожесточенное сопротивление. Тогда Мейнгард, возведенный в сан ливонского епископа, прибег к мечу. Он воздвиг в окрестностях Икскуля несколько замков. По смерти Мейнгарда его преемники продолжали обращение и завоевание.

Один из преемников Мейнгарда, Альберт фон Буксгевден, построил в 1201 году на берегу Двины у впадения ее в море город Ригу с кафедральным собором во имя Св. Марии. Видя трудность борьбы с язычниками, он решил создать монашеский рыцарский орден тамплиеров, подобный существовавшему уже в Палестине. В 1202 году папа Иннокентий III издал буллу, утверждавшую статут нового ордена. Альберт стал набирать тамплиеров. Спешная вербовка отразилась на составе ордена. Меченосцы мало соответствовали намерениям папы и ливонского епископа. На призыв Альберта, наряду с убежденными и верующими рыцарями, отзывались искатели приключений, рыцари с темным прошлым, самозванцы, сыновья бременских и любекских купцов, ландскнехты. Большинство стремилось только к наживе и грабежу в дикой стране. Увлеченные борьбой, Альберт и магистр ордена не могли разбираться в людях, ни в их намерениях, ни в их прошлом. Все это наложило на Ливонский орден особый отпечаток. Образ его жизни мало походил на монашеский. Первый магистр ордена Винно фон Рорбах был убит своим же рыцарским братом, а убийца повешен в Риге по приговору орденского суда. Вскоре сами ливонские епископы ощутили на себе беспокойную и непокорную силу ордена. Другой рыцарский орден — Тевтонский, — существовавший в Пруссии и состоявший из знатных и родовитых рыцарей, связанных дисциплиной и строгими обетами, смотрел на ливонских меченосцев с презрением и недоверием.

Дикие языческие племена ливов не могли сопротивляться меченосцам, ни их броне, ни твердыням их замков, постепенно воздвигавшихся по всей земле. Вскоре ливы были покорены. Потом настала очередь литовцев. До тех пор часть литовских племен платила дань полоцким князьям, а полоцкие миссионеры обращали литовцев в православие. Здесь, в литовских лесах, произошла первая встреча меченосцев с русскими. Но полоцкое княжество в то время было слабо. Альберт хитро обошел недале-

кого полоцкого князя Владимира. Проповедь католичества и завоевания в Литве продолжались без особого сопротивления Полоцка.

После литовцев меченосцы обратились на Эстонскую Чудь. Здесь они встретились с новгородцами. Новгород оказался сильнее и упорнее Полоцка. Он не захотел уступить своих владений меченосцам. Началась длительная, то замиравшая, то снова разгоравшаяся, война Новгорода с меченосцами. Успех в этой войне склонялся то на одну, то на другую сторону. Новгородцы несколько раз разбивали орденских братьев. В 1217 году они взяли приступом город Медвежьё Голову. В следующем году они осаждали столицу ордена Венден.

Эти успехи Новгорода побудили меченосцев обратиться за помощью к Дании. В 1219 году датский король Вальдемар высадился на Балтийском побережье. Но, завоевав Эстию, он объявил ее датским владением. Орден вынес спор на решение папы, и Гонорий III решил его в пользу датского короля. Эти разногласия на некоторое время всецело захватили орден и помешали дальнейшим завоеваниям.

Вскоре король Вальдемар во время междоусобной смуты был взят в плен собственным вассалом. Орден опять усилился. В 1224 году, после длительной осады, меченосцы взяли новгородский город Юрьев и перебили всех сидельцев. Новгород заключил с меченосцами мир, уступив им все земли к западу от Чудского озера.

Все это время орден пополнялся новыми рыцарями и увеличивался. Он постепенно утверждался в завоеванных землях, и границы его надвинулись к рубежам Руси и Литвы. Он освободился от власти бременского архиепископа, которому был раньше подчинен, и стал самостоятельным. После долгих переговоров он соединился с Тевтонским орденом.

Так постепенно, против русских городов, на низких песчаных берегах Балтики и в эстонских и ливонских лесах вырос целый мир западного католического средневековья, с каменными стенами, с башнями городов, с полумраком высоких готических соборов, со всем укладом средневековой жизни.

В то же время другой авангард Европы — шведы наступали на север, угрожая Ладоге.

Борьба с Западом велась в течение всех первых десятилетий 13-го века. Момент ослабления Руси — одиноче-

ства Новгорода — совпал с усилением натиска с Запада.

Начало 13-го века может быть названо вершиной всего средневековья. К этому времени окончательно сложились королевства Европы, долго восстававшей из хаоса нашествия варваров. Определился новый быт и уклад жизни. Создалась иерархичность средневековья. В вершине всего здания утвердился папский престол, победивший и язычество и сопротивление светской власти. В Европе именно к этому времени окончательно сложилась и расцвела великая цельность и монолитность средневековья, его размерная уставность, подчиненность всего мирозерцания единому высшему началу.

Эта внутренняя крепость и внутренняя победа сказались в стремлении к распространению во вне, к расширению своих внешних пределов. Поэтому как раз начало 13-го века ознаменовано походами Европы на Восток. Эти войны и внешне и внутренне исходят из Рима, из папской курии. Папы побуждали эти походы и буллами благословляли выступающих для завоеваний. Внутренний смысл этих походов был в утверждении власти Рима, в насаждении средневековой цельности и уставности в тех странах, которые по своему облику и культуре были глубоко чужды средневековью и католичеству.

В 1204 году крестоносцы взяли Византию и утвердили там латинское царство. В это же время усилился натиск на Польшу, Галич и Литву. Создались Ливонский и Тевтонский ордены. Началось наступление Швеции.

Поэтому продолжительные войны Новгорода как западной окраины Руси не были частными и случайными пограничными войнами. Это было сопротивление жестокое и упорное целой исторической волне. Новгородские князья признавали себя защитниками Православия и Руси. И это сознание исторической важности сопротивления было свойственно всему новгородскому ополчению, встречавшемуся с рыцарями. Во всей культуре средневековья русские ощущали чуждый и враждебный мир. Они признавали его монолитность, его иерархическую подчиненность католичеству. Они окрестили его именем «латинства», которое в течение нескольких веков применялось ко всей Европе, ко всему разнообразию ее проявлений, в конечном итоге восходивших к средневековому католическому единству.

Как новгородский князь Св. Александр Невский преемственно воспринял историческую миссию защиты Пра-

вославия и Руси от Запада. Выступить на эту защиту ему пришлось в годы самого высшего напряжения борьбы и одновременно наибольшего ослабления Руси. Весь первый период его жизни прошел в борьбе с Западом. Татары остались за суздальскими лесами. Перед ним непосредственно стоял лишь западный враг. Борьбой с этим врагом было поглощено все его внимание. И в этой борьбе прежде всего выступают две черты: трагическое одиночество и беспощадность.

Несмотря на все ужасы татарских нашествий, западная война была более ожесточенной. Здесь шла борьба на смерть или на жизнь. И это отличие враждебных волн, шедших с Запада и с Востока, объясняет два совершенно различных периода жизни Св. Александра: различие его западной и восточной политики.

Татары лавинами находили на Русь. Тяжко давили ее поборами и произволом ханских чиновников. Но татарское владычество не проникало в быт покоренной страны. Само татарское царство, как и все азиатские кочевые царства, было мозаичным. Оно втягивало в себя многие народы, подчиняло единой власти, окладывало данью, карало неповиновение. Но оно в конечном итоге не утверждало насильственно своего быта. Несмотря на грандиозный размах завоеваний, на сосредоточенность воли, направленной на внешние деяния, в татарском царстве отсутствовала внутренняя сила. И поэтому, быстро возникшее, оно сравнительно быстро и распалось. Татарские завоевания были лишены религиозных побуждений. Отсюда их широкая веротерпимость. Татарское иго можно было переждать и пережить. Татары не покушались на внутреннюю силу покоренного народа. И временным повиновением можно было воспользоваться для укрепления этой силы при все растущем ослаблении татар.

Совсем иным был наступавший с запада мир средневековья. Внешний размах его завоеваний был бесконечно меньше, чем татарские нашествия. Но за ними стояла единая целостная сила. И главным побуждением борьбы было религиозное завоевание, утверждение своего религиозного мирозерцания, из которого вырастал весь быт и уклад жизни. С Запада на Новгород шли монахи-рыцари. Их эмблемой был крест и меч. Здесь нападение направлялось не на землю или имущество, но на самую душу народа — на православную Церковь. И завоевания Запада были подлинными завоеваниями. Они не прохо-

дили огромных пространств, но захватывали землю пядь за пядью, твердо, навсегда укреплялись в ней, воздвигая замки. Восток бурным наводнением заливал землю. Но когда его волны отливали, прежняя почва снова выступала наружу, почти не тронутая разливом. Воды Запада медленно просачивались в самую глубь почвы, которую они заливали, напитывали ее собой, меняя ее сущность. Завоеванные Западом области теряли свой облик и становились западными.

Поэтому в наступлении шведов и ливонских меченосцев на лишенный поддержки Новгород было трагическое отсутствие иного исхода, кроме неравной борьбы без пощады. Это сознание жило в Новгороде. Весь первый период жизни Св. Александра именно и заключается в этой отчаянной борьбе. Годы, непосредственно следовавшие за нашествием Батыя, были годами ожидания готовящегося нападения.

ГЛАВА IX

В 1240 году, в глухое летнее время — в самую страду полевых работ, — в Новгород пришла весть о нападении с севера. Зять шведского короля Фолькунг Биргер * вошел на ладьях в Неву и высадился с большой ратью в устье Ижоры, угрожая Ладоге.

Неравная борьба началась. Враг был уже в новгородских пределах. Св. Александр Невский не имел ни времени послать к отцу за подкреплением, ни собрать людей из далеко разбросанных новгородских земель. По словам летописи, он «разогрелся сердцем» и выступил против шведского войска только со своей дружиной, владычным полком и небольшим новгородским ополчением.

Перед выступлением он пришел в Софийский храм, пал на колени перед алтарем и со слезами начал молиться Св. Софии, говоря: «Боже хвальный, Боже праведный, Боже великий и крепкий, Боже превечный, сътворивый небо и землю, и постави пределы языком и жити повелевый не приступаа в чюжаа части», и услышав воспеваемый в это время псалом, сказал: «Суди, Господи, обидящим мя и возбрани борющимся со мною, приими оружие и щит, возстани в помощь мне».

* В описаниях Невской битвы Биргер часто именуется Яром. Он получил этот титул лишь в 1247 году, то есть через семь лет после битвы с русскими на Неве.

Окончив молитву, он встал и поклонился архиепископу. Архиепископ благословил его и отпустил с миром.

Св. Александр, выйдя из храма, обратился к своему ополчению, укрепляя его и говоря: «Не в силах Бог, но в правде; помянем песнопевца Давида, глаголюща: сии во оружии, а сии на конех, мы же во имя Господа Бога призовем, ти спяти быша и падоша».

Потом он сел на коня и повел свою рать из Новгорода на север: «И поиди на них во ярости мужества своего, в мале вой своих, не дожда многа вой своих, с великою силою, но упова на святую Троицу».

Идя вверх по течению Волхова, Св. Александр привел свою рать под стены Ладоги, лежавшей на порогах Волхова, среди сосновых лесов у берегов сумрачного Ладожского озера. Это был посад Новгорода, его оплот на севере — памятник сурового и простого новгородского зодчества в северных областях, с церковью Св. Климента и гостинными рядами, защищенный низкими стенами из круглого булыжника и плитняка, с круглыми угловыми башнями и продолговатыми щелями в стенах для метания стрел.

Дойдя до Ладоги, Св. Александр присоединил ладожское ополчение к своей рати и через леса пошел к Неве на шведов, стоявших станом у своих ладей при устье Ижоры.

Сеча произошла 15 июля, в день памяти Св. Равноапостольного великого князя Владимира.

Этой сече, в ночь перед ней, предшествовало чудо. Среди ижорских старейшин был некто Пелгусий — христианин, в крещении нареченный Филиппом. Среди своего языческого племени он вел благочестивую жизнь, строго соблюдая посты. Выследив шведские станы, он пошел со своим полком навстречу Св. Александру, чтобы поведать ему о силе и расположении врага. В ночь перед сечей он остановился у самого берега и провел ее в бдении, наблюдая за морем.

На восходе солнца он услышал шум и увидел шедший по морю насад *. В нем стояли в червленых одеждах, положив друг другу руки на плечи, Свв. страстотерпцы Борис и Глеб; гребцы же в насаде сидели словно одетые мглою. Св. Борис сказал: «Брате Глебе! вели грести, да поможем сроднику своему великому князю Александру Ярославичю».

* Ладью.

Пелгусий, увидев видение и слыша голос святых, стоял объятый страхом, пока насад не скрылся. Тогда он поскакал навстречу Св. Александру и, увидев его, рассказал ему с «радостными очима» о видении. Св. Александр ответил ему: «Сего не рци никому, о, друже!»

К 11-ти часам дня солнце рассеяло лежавший на лесах туман. В это время Св. Александр ударил на шведов.

Нападение было неожиданным. Оно застало шведов в их стане. Все же шведы упорно оборонялись: «Бысть бой силен зело, ужасен и стрешен». Бились в одиночку, среди стана и ладей. Сам Св. Александр, пробившись к Биргеру, ранил его копьем в лицо.

Летопись упоминает имена шести новгородцев, отличившихся в сече, и описывает их подвиги.

Гавриил Олексич, увидев шведского королевича, которого приближенные влекли из битвы к ладьям, погнался за ним и вскочил на доски сходни. Подбежавшие шведские ратники столкнули его с конем в воду. Выбравшись невредимым на берег, Олексич схватился опять со шведами и посреди их полка убил шведского воеводу и епископа.

Другой новгородец Сбыслов Якунович рубился одним тяжелым топором и многих удивил своей храбростью.

Яков Половчанин, ловчий князя, рубился мечом и «мужествовах крепко, и похвали его князь».

Новгородский воевода Миша напал на шведов с пешей дружиной и изрубил три ладьи.

Княжий отрок Савва прорубился на коне через шведов к златоверхому шатру Биргера, стоявшему посреди стана, и подрубил столб. Шатер рухнул к великому смятению шведов.

Другой княжий отрок Ратмир в пешем бою был окружен целой толпой врагов и долго оборонялся от них один, пока не пал от многих ран.

Житие передает, что ангелы пришли на помощь новгородцам, как в древнее время при нашествии Сенахериба, царя Ассирии, на Иерусалим. За Ижорой, там, где не проходило новгородское войско, были найдены тела убитых шведов, павших от ангельских мечей.

Сеча кончилась к вечеру. Остатки шведской рати сели на ладьи и ночью ушли в море.

По словам летописца, тела убитых шведов наполнили три ладьи и несколько больших ям, а новгородцы потеряли убитыми всего двадцать человек. Можно думать, что

летописец неправильно передает соотношение убитых в сече, но, во всяком случае, его рассказ выражает сознание великого значения этой сечи для Новгорода и всей Руси. Натиск шведов был отражен. Слух о победе прошел по всей стране. Новгород, объятый перед тем страхом и тревогой за исход неравной борьбы, возликовал. При звоне колоколов Св. Александр вернулся в Новгород. Архиепископ новгородский Спиридон с духовенством и толпы новгородцев вышли ему навстречу. Въехав в город, Св. Александр проехал прямо к Св. Софии, «хваля и славя Святую Троицу» за одержанную победу.

ГЛАВА X

Летом 1240 года Св. Александр при звоне колоколов и ликовании народа въехал в Новгород. Зимой того же 1240 года он с матерью, женой и всем княжьем двором уехал в Суздаль, поссорившись с новгородцами.

Эта распря на фоне общего несчастья Руси и постоянной угрозы врагов кажется непонятной. Но прежняя борьба Новгорода с князем, скрытая внешними событиями, продолжалась еще со времен Ярослава. Пока угроза была лишь угрозой, Новгород жил своей обычной вольной жизнью. Только когда враг подходил к рубежам, смолкал вечевой шум, наполнялись храмы и Новгород искал защиты у князя. Только в дни походов воля князя и воля Новгорода сливались воедино. Когда наступал мир, после короткого ликования победы, они снова становились враждебными.

Св. Александр, по-видимому, не был ослеплен невской победой. Эта победа была только началом длительной войны. Ее признаки сказывались во всем. Во время похода новгородцев к Неве меченосцы совершили набег на Псков. Поэтому Св. Александр готовился к дальнейшей борьбе. Для него Новгород продолжал оставаться на военном положении, как и при выступлении в поход.

Но, видимо, новгородцы не понимали, что война не кончилась невской победой и что наступление шведов лишь первое нападение Запада, за которым последуют другие. В попытках Св. Александра к усилению своей власти князя-предводителя рати они увидели прежнюю враждебную им княжескую суздальскую волю. Сама слава Св. Александра и любовь к нему народа делали его

в глазах новгородских бояр еще более опасным для новгородской вольности. Это непонимание страшного часа Руси вызвало у Св. Александра раздражение и досаду. На этой почве произошла распря, вызвавшая мятеж. Тогда Св. Александр поклонился Св. Софии и отъехал в Переяславль.

В этой распре правым оказался Св. Александр.

Еще летом 1240 года, в то время как Св. Александр с новгородским ополчением отражал на Неве шведов, меченосцы вместе с медвежанами, юриевцами, велиадцами и князем Ярославом Владимировичем взяли Изборск — оплечье Пскова на западе, лежащий на взлобье высокого холма, над двумя озерами, против литовских и ливонских лесов. Узнав о взятии своего пригорода, псковичи вышли всем городом под Изборск. Произошла злая сеча. Псковский воевода Гаврила Бориславлич был убит. Меченосцы погнали псковичей; многих убили, а многих захватили в плен. Гонясь за псковичами до самого города, они зажгли посад. Сгорели многие церкви. Меченосцы разграбили иконы и всю утварь церковную и опустошили села вокруг Пскова. Они простояли под Псковом неделю, города не взяли и, захвативши многих псковичей в плен, ушли. Но мира не наступило. В самом Пскове нашелся перебежчик, Твердило Иванович. Он захватил власть в городе и при поддержке меченосцев начал воевать новгородские села. Многие из псковских бояр, противившихся немцам, с своими семьями бежали из-под власти Твердила в Новгород.

Той же зимой, уже по отъезде Св. Александра, меченосцы опять пришли в новгородские владения Чудь и Водь, опустошили их, обложили данью и воздвигли город Копорье на самой Новгородской земле. Оттуда они взяли Тесово и подошли на 30 верст к Новгороду, избивая под дорогам новгородских гостей. На севере они дошли до Луги. В это время на новгородские рубежи напала Литва. Меченосцы, Чудь и литовцы рыскали по новгородским волостям, грабя жителей и отбирая лошадей и скот; предстоящей весной смердам нечем было пахать.

В этой беде новгородцы отправили к Ярославу Всеволодовичу послов с просьбой о князе. Но новгородцы не верили, что молодой князь выведет их из небывалых бед. Они снова послали к Ярославу архиепископа Спиридона с боярами, умоляя его отпустить на княжество Св. Александра.

Ярослав согласился. Зимой 1241 года Св. Александр после года отсутствия снова въехал в Новгород, и «рады быша новгородцы». Общие беды и невзгоды крепко связали Св. Александра с Новгородом. Через все житие Св. Александра проходит любовь к буйному, часто непокорному Новгороду, несмотря на ссоры и разногласия, а иногда и открытую борьбу. Для Новгорода Св. Александр был одним из тех немногих князей, которых он любил и чтил, как своего князя. И эта любовь, скрывавшаяся подчас за недовольством и ропотом веча, как свеча, горящая под нагаром, иногда вдруг вспыхивала и горела ярким светом. Так было в дни тяжелой болезни Св. Александра, так было и в дни надвигавшейся общерусской беды.

Св. Александр, приехав в Новгород, застал его сумрачным и примолкшим. Вечевой колокол смолк и распри временно утихли. Спешно строились укрепления, стягивались ополчения и церкви наполнялись молящимися.

По приезде Св. Александр собрал ополчение из новгородцев, ладожан, корельцев и ижорян, напал на воздвигнутое на Новгородской земле Копорье, разрушил город до основания, перебил многих меченосцев, многих увел в плен, других отпустил — «бе милостив паче меры», — а перебежчиков вожан и чудь велел казнить.

В ответ на это нападение орденские братья, несмотря на зимнее время, напали на Псков и, разбив псковичан, посадили в город своих наместников.

Услышав об этом, Св. Александр «велми оскорбе за кровь християньскую и, не умедлив нимало, но разгоревся духом и своею ревностью по Святей Троице и по Святей Софии, и поим с собою брата своего и вся воа своя, и прииде к Новугороду и поклонися святей Софии с молбою и плачем».

Во главе новгородского и низового войска Св. Александр с братом Андреем пошел на орден. По дороге он взял приступом Псков и орденских наместников отослал закованными в Новгород. Из-под Пскова он двинулся дальше и вошел во владения ордена.

Вступив в орденские земли, Св. Александр пустил полки в зажития. Меченосцы напали на передовой полк новгородцев и изрубили его. Домаш Твердиславович, брат новгородского посадника, «муж добр», был убит. Из всего полка лишь немногие успели убежать к своему князю.

При известии о вторжении Русских, магистр собрал весь орден и подчиненные ему племена и выступил к рубежам. Узнав, что на него идет большая рать, Св. Александр отступил из орденских владений, перешел через Чудское озеро и поставил свои полки на русском его берегу, на Узмени у Вороньего камня. Наступил уже апрель, но все еще лежали снега, и озеро было покрыто крепким льдом. Готовился решительный бой. На новгородцев шел весь орден. Немцы шли «похваляясь», уверенные в своей победе. Из рассказа летописи видно, что вся новгородская рать сознавала глубокую серьезность боя. В этом рассказе — в напряженном ожидании битвы — есть ощущение лежащей за спиной Русской земли, участь которой зависела от исхода сечи. Исполнившись ратного духа, новгородцы сказали Св. Александру: «О, княже наш честный и драгий; ныне приспе время положить главы своя за тя». Но вершина этого сознания решительности боя заключается в молитвах Св. Александра, которые приводит летопись: Св. Александр вошел в церковь Св. Троицы и, воздев руки и помолившись, сказал: «Суди, Боже, и разсуди прю мою от языка велеречива: помози, Господи, яко же древле Моисеови на Амалика и прадеду моему, князю Ярославу, на окаянного Святополка».

В субботу (5 апреля) на восходе солнца рать меченосцев в накинутах поверх доспехов белых плащах, с нашитыми на них красным крестом и мечом, двинулась по льду озера на новгородцев. Построившись клином — «свиньей» — и сомкнув щиты, они врезались в русскую рать и пробились через нее. Среди новгородцев началось смятение. Тогда Св. Александр с запасным полком ударил в тыл врага. Началась сеча, «зла и велика»... и трус от копей ломленье и звук от мечного сечения... и не бе видети озеру, покрыло бо есть все кровью». Чудь, шедшая вместе с орденом, не устояв, побежала, опрокинув и меченосцев. Новгородцы гнали их по озеру семь верст, до другого берега озера, называемого Супличским. На широком ледяном пространстве бежавшим некуда было скрыться. В битве пало 500 меченосцев и множество Чуди.

Пятьдесят рыцарей было взято в плен и приведено в Новгород. Многие утонули в озере, провалившись в полыньи, а многие израненные скрылись в лесах.

Как во времена невской битвы, современники видели Божий полк в воздухе, помогавший новгородцам.

Св. Александр со славою въехал в Псков. За конем

его шли пленные рыцари. Игумены и священники и множество народу, с образами и хоругвями, вышли ему навстречу.

Св. Александр проехал прямо в собор Св. Троицы, где был отслужен молебен.

Летописец, заканчивая описание этой сечи, восклицает: «О, невелигласи Псковичи, аще забудете великаго князя Александра Ярославича, или отступите от него, или от детей его, или от всего роду его, уподобитесь Жидомъ, их же препита Господь в пустыни крастельми печеными, и сих всех забыша благ Бога своего, изведшаго из работы Египетския Моисеом; се же вам глаголю: аще кто придет напоследок род его великих князей, или в печали приидет к вам жити во Псков, а не примите его или не почтите его, наречется вторая Жидова».

Разгром на Чудском озере тяжело поразил орден. Меченосцы выставили против русских всю свою силу, и вся эта сила была разбита. Тем же летом магистр прислал в Новгород послов с предложением мира. Орден отказывался от своих завоеваний в новгородских владениях и предлагал обмен пленных меченосцев на захваченных им в плен новгородцев и псковичей.

Борьба с Западом не окончилась Невской и Чудской битвами. Она, возобновлялась еще при жизни Св. Александра, продолжалась несколько столетий. Но Ледовое побоище сломило вражескую волну в то время, когда она была особенно сильна и когда, благодаря ослаблению Руси, успех ордена был бы решительным и окончательным. На Чудском озере и на Неве Св. Александр отстоял самобытность Руси от Запада в самое тяжелое время татарского полона. Обе эти сечи были битвами, которые не принесли ни мира, ни полного освобождения, но которые обозначают собою глубокий перелом, направляют историческую жизнь народа в иное русло.

Память об этих битвах долго жила в Новгороде и в Пскове. Более трехсот лет на всех ектенях поминались павшие в сечах на Неве и на Чудском озере.

ГЛАВА XI

Два главных противника Новгорода — шведы и меченосцы — были отражены и на время отступились от нападений. Оставался третий враг — воинственная и полудикая Литва.

И шведы и орден выставляли собранную воедино рать. Поражение этой рати означало и поражение противника, наступление — если не мира, то многолетнего перемирия.

Иначе было с Литвой. Разделенная на множество мелких княжеств, она делала набеги на Русь небольшими сравнительно отрядами. Эти отряды появлялись из литовских лесов перед тем или иным русским городом, иногда захватывали его и грабили окрестности. Потом они снова скрывались в леса. Если русские князья настигали такой отряд и уничтожали его, то это не прекращало набегов. Один литовский князь или несколько литовских князей, соединившись вместе, снова приходили на Русь.

Постоянная борьба с Литвой отличалась от борьбы с орденом и шведами. В ней не было угрозы иного мира и иной культуры. В ней не было и трагического ожидания битвы, как на Неве или у Вороньего камня. Борьба была постоянно тянущейся партизанской войной. Она постепенно обескровливала землю. Как в Киевщине набеги степных кочевников, так и набеги Литвы делали жизнь населения беспокойной и неустойчивой. В опасные для Новгорода времена этот скрытый в лесах враг становился серьезной угрозой, ослабляя Новгород и укрепляя других, более сильных врагов.

Все новгородские князья вели постоянную войну с Литвой. Это вошло в новгородскую княжескую традицию, как и война с меченосцами.

Памятниками этой постоянной войны остались до наших дней могилы в монастырских склепах и кресты на деревенских погостах Печерского края, воздвигнутые над «убиенными от Литвы» в 13—15 веках.

Св. Александру Невскому пришлось оборонять Русскую землю и от этого врага. Постоянные набеги литовцев особенно усилились в 1242 году, в следующее за Ледовым побоищем лето.

«В то же лето, — говорит летопись, — умножишася языка Литовьскаго и начаша пакостити во области великаго князя Александра».

Св. Александр пошел на Литву. С новгородской ратью он разбил один за другим семь литовских отрядов, проникших на Новгородскую землю. Новгородцы ловили уцелевших от разгрома литовцев и, озлобленные на них, уводили в плен, привязавши к хвостам коней. Этот

быстрый разгром прекратил литовские набеги. «Оттоле начаша блюстися и трепетати имени его».

Несколько лет за Ледовым побоищем и поражением Литвы прошли спокойно. Постоянные враги Новгорода — шведы, орден и литовцы — примолкли. Мир был и в Новгороде. За это время не было слышно ни о мятежах, ни о восстаниях, ни ссорах с князем. Этот редкий случай в новгородской истории свидетельствует и о крепкой связи Св. Александра с Новгородом и об особенностях его исторического пути. Как новгородский князь Св. Александр принимал участие в управлении Новгородом. В тяжелые дни постоянной войны с многими врагами от внутреннего состояния княжества зависела его внешняя сила и его способность к обороне. Прошедшие века выделяют Св. Александра из всех живших в то время. Имена его политических противников — новгородцев — забыты. Над сплетением новгородских партий мы видим только его ясный и прямой взгляд, ведущий Россию по правильному историческому пути. На этом пути он постоянно сталкивался с непониманием, ослеплением своими местными интересами и личным упорством. При сознании правильности пути особенно трудно уступать находящимся в заблуждении. Есть исторические деятели, всегда шедшие напролом. Св. Александр не принадлежал к их числу. В нем есть особое соединение ясного и прямого пути, непреклонно идущего к своей цели и одновременно большой гибкости и умения уступать. Мы увидим дальше, что были столкновения Св. Александра с Новгородом, когда он становился непреклонным и делался противником Новгорода вплоть до угрозы ратью. Но годы длительного мира после шведской и орденской войн свидетельствуют о гибкости Св. Александра, о его умении уступать, если эти уступки можно было делать.

Эти годы внутреннего спокойствия отмечают лишь краткие сведения о жизни княжеской семьи и о литовских набегах.

В 1244 году, 5 мая, скончалась мать Св. Александра княгиня Феодосия Ярославна, жившая в Новгороде. Перед смертью она была пострижена в монашество при монастыре Св. Георгия с именем Ефросинии и погребена в том же монастыре, рядом со своим сыном князем Феодором.

В 1245 году Литва снова совершила набег на нов-

городские владения. Несколько литовских князей, соединившись вместе, прошли до Бежецка и Торжка. Жители Торжка со своим князем Ярославом Владимировичем выступили против них и были разбиты. Литовцы захватили большой полон и повернули назад в Литву. Этот набег поднял всю Северную Русь. Тверичи, дмитровцы и новоторжцы погнались за уходившею с полоном Литвою и разбили ее под Торопцом. Литовские князья со своей ратью скрылись за стенами города. Русские обложили город. Наутро после этой сечи к Торопцу подошел с новгородцами Св. Александр. Взяв приступом город, он отнял у литовцев весь полон. В этой сече пало восемь литовских князей.

Здесь, под стенами Торопца, у Св. Александра вышло разногласие с новгородцами. Новгородцы считали, что поход кончен. Но Св. Александр знал, что поражение одного литовского отряда не избавил Новгород от дальнейших набегов. После длительных споров князя с посадником и воеводами новгородская рать разделилась. Новгородское ополчение и владычин полк с посадником и тысяцким вернулись в Новгород, а Св. Александр со своей княжей дружиной пошел в литовские пределы.

Войдя в Смоленскую землю, он встретил Литву под Жижичем и разбил ее. На обратном пути он встретил другую рать под Усвягом. «Поиде к Новугороду в мале дружине, — говорит летопись, — и сrete ину рать, и бися с ними, и ту ему Бог поможе, изби их, а сами прииде здоров и вся воя его».

Разгром литовцев не на Новгородской земле, а в литовских лесах надолго прекратил набег. Эта война, как и все войны Св. Александра, была оборонительной по существу, но наступательной по действиям. Военные действия Св. Александра отличает быстрота и стремительность. Он не ждал врага, но сам шел на него, и, вступив в войну, он доводил ее до конца, до окончательного поражения противника, которое на долгое время могло обеспечить мир, прекратив возможность нападений.

ГЛАВА XII

Походом на Литву в 1246 году кончается первый период жизни Св. Александра. До этих пор он был обращен лицом на Запад. Перед ним небольшое простран-

ство Русской земли с ее пограничными городами, литовские, ливонские и шведские леса. Он исходил это пространство со своей дружиной, бросаясь с севера на юг, от Невы к Торопцу. В этом периоде его жизни — стесненность, отстаивание крепкое и упорное каждой пяди своей земли. До этого времени ничего не известно об отношении Св. Александра к татарам. Новгород был защищен от них Суздальской землей. Пока был жив его отец, Св. Александр был избавлен от необходимости вести общерусскую политику по отношению к татарам. Но со смертью Ярослава это положение изменилось. Судьба поставила перед ним вопрос того или иного отношения к ханам, как прежде поставила задачу защиты новгородских областей.

После литовского похода, с 1246 г. он оборачивается лицом на Восток — к азиатским просторам. И это обращение от Запада к Востоку, от Европы к Азии, меняет всю его жизнь, открывает иного врага, иные пути и иные горизонты.

По разделу ханских владений покоренная Русь вошла в улус Батыя, кочевавшего со своей ордой в приазовских и поволжских степях.

При большой самостоятельности отдельные улусы татарского царства подчинялись верховной власти великого хана, жившего в Каракоруме. Дух Чингисхана продолжал еще жить в его потомках, проявляясь в сплоченности и сосредоточенности власти при огромной разбросанности и разнообразии улусов. Раздавая русским князьям ярлыки на княжение, Батый посылал некоторых из них на поклон к Хагану, словно указывая этим на их зависимость от высшей власти.

Великий князь Ярослав Всеволодович, отец Св. Александра, приехав к Батыю, подвергся этой участи. С небольшим отрядом он совершил длинный путь в глубины Азии. Многие из его спутников умерли по дороге в степях от жажды и истощения.

Приезд Ярослава в Орду и последовавшая за ним перемена в жизни Св. Александра совпали с переменами в самом татарском царстве.

Когда Ярослав приехал в Орду, хан Огодай уже умер, и до выборов нового хана царством в течение пяти лет привила любимая жена умершего — Туракиня. При Ярославе произошло избрание нового хана. Бывший одновременно с Ярославом в Орде Плано Карпини, упомина-

ющий и его имя среди других ханов и князей, оставил описание Великого курултая, свидетелем которого пришлось быть русскому князю.

К этому времени в Орду собрались ханы и князья монгольских орд и улусов, которым надлежало избрать Хагана из числа потомков Чингисхана.

«Мы нашли там светло-пурпуровый шатер, — пишет Плано Карпини, — настолько большой, что в него, по нашему мнению, могло поместиться более двух тысяч человек. Находясь там с сопровождавшими нас татарами, мы видели большое собрание ханов и князей, которые сошлись сюда со всех сторон со своими племенами и стояли конно кругом на соседних холмах. В первый день они были одеты в светлый пурпур, во второй день в красный — Гаюк пришел тогда в шатер. В третий день они были в лиловом, на четвертый в малиновом... Все ханы и князья были под шатром, где они беседовали и обсуждали избрание великого хана. Остальной народ находился за оградой, ожидая, что будет решено».

О выборе хана велись долгие споры. Отдельные ветви чингичидов не могли столковаться, каждая выдвигая своего претендента. Наконец, под давлением Туракини, выбор пал на сына умершего хана — Гаюка.

25 августа 1246 года огромные толпы сошлись к ханскому шатру. При чтении молитв они кланялись по направлению могилы Чингисхана. Князья и ханы, войдя в шатер, посадили Гаюка на золотой стол, положили перед ним меч и пали на колени, говоря: «Мы хотим, мы просим, мы требуем, чтобы ты принял власть над всеми нами». Толпы, стоявшие вокруг шатра и далеко за шатром на равнине, также пали на колени.

— Если вы хотите, чтобы я владел вами, — сказал Гаюк, — то готов ли каждый из вас исполнять то, что я ему прикажу, приходить, когда позову, идти, куда пошлю, убивать, кого велю?

Стоявшие на коленях отвечали согласием.

— Если так, — сказал Гаюк, — то впредь слово уст моих да будет мечом моим.

Тогда присутствующие посадили Гаюка и его жену на войлок и, подняв вверх, громкими криками объявили великим ханом. Потом они принесли богатую казну умершего хана и вручили ее Гаюку. Новый хан одарил из нее присутствующих.

После пиршества, длившегося целый день, Гаюк, сидя

на золотом столе, стал принимать дары покоренных народов. Послы вереницей входили в шатер, четырехкратно падали на колени, простирались на земле перед ханом и клали перед ним свои дары. У подножия золотого ханского стола постепенно вырастала груда даров: здесь был бархат, пурпур, златотканые покрывала Ховзарема, шелка, лаковые изделия Китая, русские меха, точеная слоновая кость. В этом разнообразии и многоцветности даров был словно символ татарского царства — соединение воедино у ног хана многих народов, царств, наречий, культур и верований.

После возведения Гаюка на престол Ярослав Всеволодович был отпущен домой. Но ему не суждено было увидеть Руси. Он скончался в степях 30 сентября 1246 года. И Плано Карпини, и летопись утверждают, что он уехал уже больным из Орды, так как был отравлен по приказу Туракини *.

Эта одинокая смерть в чуждых степях, далеко от Руси, глубоко поразила современников. Она наложила на Ярослава печать мученичества. «О таковых бо Писание глаголет,— говорит летописец, описывая «нужную» смерть Ярослава,— ничто же боле ино таково пред Богом, но еже аще кто положит душу свою за други своя; сий же великий князь положи душу своя за други своя и за землю Русскую, и причте его Господь ко избранному своему стаду; милостив бо быше ко всякому, и требующимъ же невозбранно даяше, еже требоваху».

ГЛАВА XIII

Смерть Ярослава освободила на Руси великокняжеский престол. Великим князем временно сделался брат Ярослава — Святослав Всеволодович. Перемена на великом княжении вызывала перемещения на других столах. Перемещение коснулось и Св. Александра как старшего сына умершего великого князя. Занятие нового стола зависело от татар. Для получения княжеств Св. Александр и его брат Андрей должны были ехать за ярлыком в Орду.

* «В это время,— пишет Плано Карпини,— умер Ярослав, Великий Князь Суздальский. Он был позван к матери Великого Хана, причем она, воздавая ему почесть, собственноручно кормила и поила его. Вернувшись в свой шатер, он тотчас занемог и умер на седьмой день... И все открыто говорили, что он был отравлен».

«Того же лета князь Андрей Ярославович поиде в Орду к Батыеву. Ко Александру же Ярославу присла царь Батый послы своя, глаголя: «Мне покори́л Бог мно́ги язы́ки, ты ли еди́н не хо́щеша покорити́ся дръ́жавѣ мое́й? Но аще хо́щеша ны́не соблю́сти землю́ свою́, то прииди ко мне» — так об этом повествуют житие и летопись.

Кипчацкие ханы из своей ставки следили за Русью. Имя Св. Александра было уже прославлено по всей Руси. Победы его над шведами, меченосцами и Литвой сделали из него народного героя, защитника Руси от иноземцев. Он был князем в Новгороде — единственной области Руси, куда не доходили татары. И, вероятно, у многих русских в то время жила надежда, что не этот ли князь, разбивавший с небольшим ополчением иноземные рати, освободит Русь от татар. Это подозрение должно было возникнуть и в ханской ставке. Поэтому приказ Батыя явиться в Орду вполне понятен.

Также понятно и колебание Св. Александра — нежелание его ехать в Орду. В Новгороде он был свободен. Он открыто боролся со своими врагами. Не было ли у него мысли выступить против татар? Мы можем это только предполагать, но многие данные делают это предположение вполне обоснованным.

Мысль о свержении ига претворялась в действие у многих князей, имевших гораздо меньше оснований надеяться на успех, чем Св. Александр. Защитник Руси от врагов, мог ли он не думать об избавлении от самого сильного врага?

Приказ Батыя поставил его перед необходимостью ответа. Согласие или отказ приехать означал мир или войну.

Это был самый решительный и трагический момент в жизни Св. Александра. Перед ним лежали два пути. Надин из них нужно было становиться. Решение предопределяло его дальнейшую жизнь.

Этот шаг был полон тяжких колебаний. Поездка в Орду — это была угроза бесславной смерти — князя и шли туда, почти как на смерть, уезжая оставляли завещания*, — отдача на милость врага в далеких степях и, после славы Невского и Чудского побоищ, унижение

* Плано Карпини пишет о своем возвращении из Орды: «Нас встретили в Киеве с великой радостью как людей, вернувшихся от смерти к жизни...»

перед идолопоклонниками, «погаными, иже оставивше истиннаго Бога, поклоняются твари».

Казалось бы, что и слава, и честь, и благо Руси требовали отказа — войны. Можно твердо сказать, что Русь и особенно Новгород ждали неповиновения воле хана. Бесчисленные восстания свидетельствуют об этом. Перед Св. Александром был путь прямой героической борьбы, надежда победы или героической смерти. Но Св. Александр отверг этот путь. Он поехал к хану.

Здесь сказался его реализм. Если бы у него была сила, он пошел бы на хана, как шел на шведов. Но твердым и свободным взглядом он видел и знал, что нет силы и нет возможности победить. И он смирился.

Для средневекового рыцаря это было бы концом славы. Трубадур не стал бы слагать песен в честь рыцаря, пошедшего на унижительный шаг. Но Св. Александр не был рыцарем. Он был православным князем. И в этом унижении себя, склонении перед силой жизни — Божией волею — был большой подвиг, чем славная смерть. Народ особым чутьем, быть может не сразу и не вдруг, понял Св. Александра. Он прославил его еще задолго до канонизации, и трудно сказать, что больше привлекло к нему любовь народа, победы ли на Неве или эта поездка на унижение. Отныне на Св. Александра ложится печать мученичества. И именно это мученичество, страдание за землю, почувствовал и оценил в нем народ, сквозь весь ропот и возмущение, которыми был богат путь Св. Александра после его подчинения злой татарской неволе.

Приказ Батыя застал Св. Александра во Владимире, куда он приехал из Новгорода после смерти отца.

Всех ехавших в Орду особенно смущало требование татар поклониться идолам и пройти через огонь. Эта тревога была и у Св. Александра, и с ней он пошел к митрополиту киевскому Кириллу, жившему в то время во Владимире.

«Святой же (Александр) слышав сие от посланных печален быша, вельми боля душею и недоумевашеся, что о сем сотворити. И шед святой поведи епископу мысль свою».

Митрополит Кирилл сказал ему: «Брашно и питие да не внидут в уста твоя, и не остави Бога сотворившаго тя, яко инии сотвориша, но постражи за Христа, яко добрый воин Христов».

Св. Александр обещал исполнить это наставление. Митрополит Кирилл дал ему запасные Св. Дары «в спутники быти» и отпустил со словами: «Господь да укрепит тя».

Из Владимира Св. Александр с небольшой свитой направился к приазовским степям. На берегу Дона было русское село, основанное Батыем для перевоза через реку ехавших из Орды на Русь послов. Глухие задонские степи после татарского нашествия были совсем пустынными. В них бродили лишь шайки разбойников. Ехавшие в Орду не встречали ни одного жилья вплоть до Волги, где было снова село пленных русских перевозчиков.

Описания Плано Карпини, посланного к татарам папой Иннокентием IV, и монаха Рубриквиса, посланного королем Людовиком IX, говорят о том глухом степном пути, который сделал и Св. Александр через Дон и Волгу в поволжские степи до самой ставки. Плано Карпини описывает и самую ставку.

«Батый живет великолепно... У него привратники и всякие чиновники, как у императора, а сидит он на высоком месте, как будто на престоле, с одной из своих жен. Все же прочие, как братья его и сыновья, так и другие вельможи, сидят ниже посередине, на скамье, а остальные люди за ними на полу, мужчины с правой, а женщины с левой стороны. В дверей шатра ставят стол, а на него питье в золотых и серебряных чашах. Батый и все татарские князья, а особенно в собрании, не пьют иначе, как при звуке песен или струнных инструментов. Когда же выезжает, то всегда над головой его носят щит от солнца или шатер на коне. Так делают все татарские знатные князья и их жены. Сам Батый очень ласков к своим людям; но все же они чрезвычайно боятся его. В сражениях он весьма свиреп, а на войне хитер и лукав, потому что воевал очень много».

Как и других князей, Св. Александра про приезде в Орду привели к двум кострам, между которыми он должен был пройти, чтобы подвергнуться очищению и затем поклониться идолам. Св. Александр отказался исполнить обряд, сказав: «Не подобает ми, христианину сущу, кланяться твари, кроме Бога; но поклонитесь Святой Троице, Отцу и Сыну и Святому Духу, иже сотвори небо и землю, и море, и вся, яже в них суть».

Татарские чиновники послали сказать Батыю о неповиновении князя.

Св. Александр стоял у костров, ожидая решения хана, как год перед этим Св. Михаил Черниговский.

Посол Батыя привез приказ привести к нему Св. Александра, не заставляя проходить между огней. Ханские чиновники привели его к шатру и обыскали, ища спрятанного в одежде оружия. Секретарь Хана провозгласил его имя и велел войти, не наступая на порог, через восточные двери шатра, потому что через западные входил лишь сам Хан.

Войдя в шатер, Св. Александр подошел к Батыю, который сидел на столе из слоновой кости, украшенном золотыми листьями, поклонился ему по татарскому обычаю, т. е. четырехкратно пал на колени, простираясь затем по земле, и сказал:

«Царь, тебе поклоняюсь, понеже Бог почтил тебе царством, а твари не поклоняюсь: та бо человека ради сотворена бысть, но поклоняюсь единому Богу, Ему же служю и чту И».

Батый выслушал эти слова и помиловал Св. Александра.

Трудно установить точную причину этой милости. Жизнь отдельного человека мало значила для татарских ханов. В их стихийном движении, разрушившем многие царства и сравнявшем с землею города, смерть была обычным естественным явлением, законом, никого не удивлявшим, никого не занимавшим. Азиатской жестокостью веет от слов Чингисхана, записанных арабом Рашид уд-Эддином: «Наслаждение и блаженство человека состоит в том, чтобы подавить восставшего, победить врага, вырвать его из корня, заставить вопить слугителей их, заставить течь слезы по лицу и носу их...» В жестокости этих слов сквозит уже нечто бесстрастное, глубоко равнодушное перед страданием и смертью отдельного человека. Но наряду с жестокостью в татарских ханах уживалось уважение к храбрости противника. Иногда следствием этого являлось и помилование врага, приходившее частью как прихоть, под влиянием непосредственного ощущения. Так, Батый, казнивший Св. Михаила Черниговского, неожиданно помиловал киевского посадника Дмитрия, захваченного в плен раненым после разрушения Киева, «мужества его ради».

Так же он помиловал и Св. Александра, — быть может, за его храбрость, быть может, под влиянием его внешнего облика и внутренней силы: «Рукописное сказа-

ние» повествует, что, отпуская от себя Св. Александра, он сказал: «Истину мне скажете, яко несть подобна сему князя».

ГЛАВА XIV

Продержав Св. Александра в Орде, Батый не решил вопроса о разделе русских княжений. Он послал Св. Александра и Андрея, как послал прежде их отца, в Каракорум, на поклон к великому хану.

Перед русскими князьями лежал длинный, уже пройденный Ярославом путь. Этот путь вел через Урал, через Киргизские степи, земли бесерменов (Хиву), через горные перевалы в Каракитай и через плоскогорья Монголии к преддвериям Китая в Каракорум. Князья ехали с татарским конвоем по проложенным татарами дорогам, меняя лошадей на станциях-ямах.

Летопись ничего не сообщает об этом путешествии. Она только упоминает: «Ходи Св. Александр в Канович». Для летописца, остававшегося на Руси, и далекий азиатский путь, и ханская ставка со всей ее жизнью оставались далекими и неведомыми. Нам неизвестны подробности пути и пребывания Св. Александра в Каракоруме. Но, по описаниям свидетелей, посещавших Орду в те времена, можно восстановить ее жизнь и обстановку, которую увидел и в которой как-то действовал Св. Александр, добываясь ярлыка на княжение.

На равнинах Европы каждое столетие глубоко меняет весь внешний облик местности. Но в тех местах, через которые проходил Св. Александр, лицо земли не изменилось за семь столетий. Путь Св. Александра к Каракоруму был совершенно таким же, как и путь современного исследователя, проникающего в преддверия Тибета.

Этот длинный путь через иссеченные хребты гор, плоскогорья и перевалы, в условиях обычного путешествия через Среднюю Азию, т. е. верхом, с ночевками у костра на разостланном войлоке, с редкими встречами на пути, длился много месяцев, пока Св. Александр и Андрей с их конвоем и спутниками не достигли ханской ставки *.

* «Невозможно передать, — свидетельствует Рубриквис, — сколько мы страдали во время пути от голода, жажды, холода и усталости».

Каракорум во время его посещения Св. Александром менялся, как и само татарское царство. Из кочевого племени возникала империя. Поэтому и в ставке, среди первобытного кочевья, с табунами пасущихся лошадей и с толпой кочевников в грязных одеждах и войлочных шляпах, уже выросал город. Татарское царство коснулось Китая на востоке, древней арабской культуры на западе, Индии на юге, и все эти культуры начинали менять облик монгольских кочевников.

Между юрт воздвигался настоящий город, окруженный земляными валами. Из своих походов ханы привозили комедиантов, художников, мастеровых и ремесленников. Эти мастера и художники работали над убранством Каракорума.

Среди них были и русские. Плано Карпини встретил в Орде молодого русского пленника — Козьму «хитреца», умевшего ковать золото. Он видел у него сделанный им ханский престол и ханскую печать. Рубриквис встретил в Орде другого пленника — зодчего.

Послы и иноземные купцы вкрапливались в татарскую толпу. Их лавки постепенно проникали в воздвигавшийся из кочевья Каракорум.

«Там две большие улицы, — пишет Рубриквис, — одна из которых называется Сарацинской; на той улице идет торг и ярмарка. Много иностранных торговцев ездят по ней, потому что на ней стоит дворец, а также большое количество разных посольств, прибывающих из разных стран. Другая улица зовется китайской, и на ней живут ремесленники. Кроме этих двух улиц есть палаты, где живут секретари хана, (город) окружают земляные валы с четырьмя воротами.

У восточных ворот торгуют просом и другими сортами зерна, которого там очень немного. У западных — торгуют баранами и козами; у южных — быками и повозками и у северных — конями».

В Каракоруме было двенадцать храмов идолопоклонников разных сект и наций, две мусульманские мечети и христианская церковь.

В самом центре города находилось жилище хагана. Ханский дворец был выстроен через несколько лет после приезда Св. Александра. При нем это был светло-пурпуровый шатер на столбах, украшенных золотыми листьями, за расписной деревянной оградой. «Мы нашли там светло-пурпуровый шатер, — говорит Плано Карпи-

ни, — настолько большой, что в нем могло поместиться более двух тысяч человек. Вокруг шла балюстрада, наполненная различными картинами и статуями».

Влияние Китая, Индии и ховзаремских городов больше всего сказалось на самом хагане и его приближенных. Это уже не были простые кочевые князья, одно поколение тому назад жившие в юртах, как и их поданные. В их жизнь вошла роскошь азиатских владетелей.

Хаган жил в этом шатре, отделенный от народа целой лестницей придворных, секретарей и чиновников.

«В палисаде у шатра было двое ворот, через одни из которых входил сам император, даже без телохранителей, так что ворота эти оставались все время закрытыми, и никто не осмеливался входить в них, а входили в другие, где стояли телохранители с мечами, луками, стрелами. Если же подходил к воротам кто-либо из простых, то его били или даже стреляли» (Плано Карпини).

«В заборе у шатра было двое больших ворот, через одни из которых входил сам хаган. Там не стояла стража, хотя ворота эти оставались все время открытыми, ибо никто из входящих и выходящих не осмеливался пройти через них, но входил в другие, где стояли телохранители с луками и стрелами. Если кто-нибудь приближался к шатру ближе положенных пределов, его били или даже метали в него стрелами» (Плано Карпини).

Таким был, по описаниям очевидцев, внешний вид Каракорума ко времени приезда туда Св. Александра.

Во внутренней жизни ханской ставки при нем происходили смуты и приготовления к выборам нового хана.

Гаюк умер в 1247 году, пробыв великим ханом лишь один год. При нем возобновились завоевания. За один год были произведены набеги на Моссул, Диабекир и Грузию. Подготавливался новый великий поход на Запад, для завоевания Европы.

Неизвестно, застал ли Св. Александр в живых Гаюка и видел ли его. Но, во всяком случае, он был свидетелем длительных смут и приготовлений к новому Великому курултаю.

Ордою временно правила вдова Гаюка. Это правление длилось несколько лет. Громадные расстояния, разделявшие отдельных ханов, мешали им быстро собраться в Каракорум. Помимо этого, благодаря отсутствию определенного закона, устанавливавшего права на занятие

престола, между несколькими линиями чингичидов начались распри.

Спор шел между старшей линией Огодаевичей, из которой происходил умерший Гаюк, и младшей — Тулуевичей. Сыновья Тулуя были даровитей и энергичней своих противников. Старшим из них, которого и выдвигали претендентом на престол, был Менгу. В нем более всех других ханов сказались черты его деда — Чингисхана. Он был сумрачен и неразговорчив, не любил пиров и роскоши, предпочитал войну, охоту и прежнюю первобытную простоту жизни. У Менгу были сильные сторонники, среди них Батый, с ордою которого Менгу приходил в 1238 году на Русь, и воевода Мангусар, главный советник умершего Гаюка и великий судья татарского царства. Борьба становилась ожесточенной. Один из сторонников Огодаевичей, князь Ширанон, составил заговор против Менгу. Заговор этот был раскрыт и около семидесяти заговорщиков казнено на площади Каракорума.

Смуты продолжались почти 5 лет, до 1251 года, когда Великий курултай провозгласил Менгу великим ханом.

Св. Александр уехал из Орды до этого курултая. Но все смуты в Орде происходили при нем. Это междоусобице надолго, по крайней мере на год, задержало его и Андрея в Каракоруме. При всей системе татарского управления для получения ярлыка нужно было пройти через много ступеней, всюду богато одаряя чиновников и писцов. Смуты в Орде поглощали все внимание татарских ханов и воевод и делали для них неважным дело разделения княжеств на далекой окраине.

Наконец, русские князья добились решения. Св. Александр получил ярлык на великое княжество киевское, а Андрей на великое княжество владимирское. После этого они были отпущены на Русь.

В Орде Св. Александр воочию увидел мощь татар, единое царство которых, несмотря на внутренние распри, простиралось от Тихого океана до границ Европы. Из Каракорума задумывались и осуществлялись походы, которые опоясывали полмира. В татарском царстве еще жили здоровье и сила кочевого народа, только что пробудившегося к жизни. Об этом свидетельствовали и стремительность завоеваний, и быстрота заимствований, и несомненный культурный рост, менявший весь облик татар.

Св. Александр избрал путь подчинения татарам еще до поездки в Каракорум. Но, несомненно, что живое

лицезрение татарской силы утвердило его на этом пути. Поэтому пребывание в ставке во многом предопределило всю его дальнейшую деятельность по отношению к татарам.

ГЛАВА XV

Зимою 1250 года, после трех с лишним лет отсутствия, Св. Александр вернулся на Русь. Киевщина, на которую он получил ярлык, была опустошена. От Киева оставались только развалины. Св. Александр не поехал в Киев, а вернулся на свое новгородское княжение. Летопись кратко передает об этом: «Того же лета прииха князь Александр Ярославич из Орды в Новгород и рады быша Новгородци».

Вскоре по возвращении в Новгород он тяжело занемог. Длинное путешествие по пустыням Азии подорвало его здоровье. «Бысть болезнь его тяжка зело» — Св. Александр был близок к смерти.

Эта болезнь поразила Новгород. Во всех церквях горело множество свечей, поставленных за его здоровье, служились молебны. Как в годы нашествий, вольный Новгород соединился со своим князем.

Св. Александр начал поправляться и вскоре совсем выздоровел. «Умнои Бог живота ему: бе бо любя чин церковный».

В 1251 году приезжали в Новгород митрополит Кирилл и ростовский епископ Кирилл и поставили Далмата новгородским епископом на место незадолго перед тем умершего Спиридона. Этим же летом прошли сильные дожди и затопили все пастбища и сенокосы и снесли большой мост через Волхов. Осенью ударили ранние морозы. Грозил голод, но Новгород перебился эту зиму с небольшими запасами прежних лет.

Эта зима, грозившая голодом, была последней для Св. Александра на новгородском княжении. Причиной этому была ханская опала, которую Андрей навлек на себя неповиновением, и новое перемещение на княжеских столах.

Со времени покорения Руси татарами не сменилось еще ни одного поколения. Вся Русь надеялась на избавление от ига и была готова к восстанию. Стать во главе мятежа и избавить Русь от татар казалось каждому князю высоким и завидным уделом.

Андрей, сделавшись великим князем владимирским и почувствовав свою силу, не устоял перед искушением стать освободителем Руси. Со своим зятем — Даниилом Галицким он начал готовить восстание против татар.

Но ханы зорко следили за князьями. В самом Владимире нашлись изменники, недоброжелатели князя, которые донесли на него хану Сартаку, сыну и преемнику Батыя.

Действия татар были стремительны. За неповиновением следовало нашествие и разгром. Узнав о замыслах Андрея, Сартак двинул на него в 1252 году карательную орду под начальством ордынского царевича Неврюя и воевод Котяна и Алабуги. Андрей был слишком слаб, чтобы бороться с ордой. Но он все же наскоро собрал рать и храбро пошел против татар.

Неврюй неожиданно — «таящися» — перешел брод через Клязьму под Владимиром и пошел к Переяславлю. В день памяти Св. Бориса произошла сеча — «и бысть сеча велика, гневом же Божиим, за умножение грехов наших, погаными христиане побежени быша». Андрей едва успел спастись и убежал в Новгород. Но новгородцы побоялись принять к себе провинившегося перед ханом князя. Андрей убежал в Псков, дождался там своей княгини и уехал в Колывань (Ревель). Оттуда он переправился с семьей в Швецию.

Разбив Андрея, Неврюй взял Переяславль. В систему татарского управления входила беспощадная кара восставшим. Город был разграблен. Татары убили находившуюся в городе жену Ярослава — младшего брата Св. Александра, воеводу Ждислава и множество жителей.

Почти в то же время, когда орда Неврюя разбила русского князя под Переяславлем, на юге другая орда под начальством брата нового хагана — Улагая взяла приступом и разорила древний и прекрасный Багдад — столицу халифов. Последние наследники Гарун аль-Рашида были завернуты в ковры и растоптаны конями победителей.

Во время нашествия Неврюя Св. Александра не было в Новгороде. Он снова ездил в Кипчакскую Орду. С бегством Андрея за море освободился владимирский стол. Св. Александр получил на него ярлык от Сартака и вернулся на Русь великим князем владимирским.

ГЛАВА XVI

В 1252 году Св. Александр въехал во Владимир, вотчину отцов и дедов. Кирилл, митрополит киевский и всея Руси, живший после разгрома Киева во Владимире, духовенство в облачении и с крестами и все население Владимира встретили нового великого князя у Золотых ворот. Они ввели его в Успенский собор и торжественно посадили на великокняжеский престол.

С этого времени жизнь Св. Александра связана с Владимиром. Отсюда он правил всей Русью, но его постоянным местожительством был Владимир и Владимирская область.

Владимир — один из старейших городов Северо-Восточной Руси — был издавна излюблен суздальскими князьями, всегда предпочитавшими его двум старшим городам: Суздалю и Ростову. Св. Александр любил Новгород, но к Владимиру его, по-видимому, влекли еще давнишние детские воспоминания. По своему складу он был суздальским князем, продолжателем семейных традиций рода. Владимир был связан с многими поколениями его предков. Здесь не было ни веча, ни сильного самостоятельного боярства. Князь был хозяином земли, издавна изначально крепко сжившимся с княжеством. Он был строителем и созидателем области. Самый склад владимирской жизни был тише, размеренней и строже, чем в Новгороде.

В Св. Александре есть особая вращенность в суздальский быт. И образ его в той глубине и тишине, которые соприсущи ему, несмотря на вихрь внешней жизни, предносится ни на фоне Новгорода, ни Чудского побоища, ни ханской ставки, но на фоне тихого Владимира. В самом Св. Александре есть глубокое созвучие Владимиру, не только его быту, но всему его облику, его храмам и окружающей природе.

Владимир лежал на узкой и высокой обрывистой полосе, между реками Клязьмой и Лыбедью. Как все города Суздальской Руси, он состоял из детинца — внутреннего города и острога — города внешнего. Коса, на которой лежал Владимир, была так узка, что острог не окружал детинца, прямо стоявшего над обрывом, но замыкал его с двух сторон, сам делился на два города: Печерный и Новый. Из острога в детинец вели многие ворота: Волжские, Медные, Ариныны, Серебряные и главные Золотые, с храмом Риз Положения над проездными воротами.

Любимый город суздальских князей — храмостроителей, весь Владимир белелся храмами. Над обрывистым берегом Клязьмы стоял соборный храм Успения Богородицы, с главной святыней Владимира — чудотворной иконой Владимирской Божьей Матери. Княжий двор соединялся крытыми переходами с хорами храма Св. Димитрия Солунского. На том же обрыве над Клязьмой, в самом детинце, находился мужской монастырь, а за стенами, в остроге, над Лыбедью — женский Успенский, «княгинин» монастырь, в котором постриглась княгиня Мария — бабка Св. Александра Невского. В Новгороде разбросанные по всему городу храмы были воздвигнуты боярами и именитыми купцами и говорили о самостоятельности каждого конца. Здесь же белевшиеся среди деревянных изб, торговых и церковок каменные храмы все были воздвигнуты суздальскими князьями. Св. Георгиевский был построен Юрием Долгоруким, Преображенский — Андреем Боголюбским, Воздвижения на Торговище — Константином Всеволодовичем.

Все эти храмы — стройные, чисто суздальские, белого камня, с «обронными» резными украшениями, с узкими высокими окнами, с многими главами на узких и высоких барабанах — высились на крутом обрыве над широким разливом двух рек и далями поемных лугов.

Под этими храмами, среди деревянных построек, вились узкие и почти непроходимые в распутицу улицы, заполнявшиеся в дни торговища и престольных праздников пришедшей из окрестных деревень сермяжной Русью, в которой уже сказывался северный великорусский тип: высокий рост, серые глаза, светлые «льняные» волосы и бороды, северный «окающий» говор.

На фоне этой картины — широкой, привольной просторами рек и далеко разбегавшихся дорог — встает образ Св. Александра в последнее десятилетие его жизни. В эти года, в промежутки между поездками в Орду и походами, он жил размеренным княжеским бытом своих отцов и дедов. На рассвете ходил по крытому ходу из княжьего терема в храм Св. Димитрия Солунского на раннюю обедню. Вершил княжеский суд над тяглецами. Вел беседы с митрополитом Кириллом. Беседовал со странниками и монахами, «бе бо любя чин церковный». Выезжал осенними утрами по первым изморозкам на лов в рощах Боголюбова. Все это, несомненно, было. Но эта мирная картина обычного княжеского быта скрывается за новым

и необычайным трудом по управлению Русью под властью татар и непрестанными трудами по восстановлению земли.

ГЛАВА XVII

После Батыева нашествия Суздальская Русь была опустошена. Почти ни один город не избежал разграбления. Нашествие Неврюя принесло новые разрушения. Жители бежали в леса и болота, где многие и погибли. Св. Александру пришлось заново совершать дело своих предков — воздвигать церкви и города и возвращать в них жителей.

Владимирский период являет в Св. Александре новые черты князя — мирного строителя и управителя земли. Эти черты не могли проявляться на новгородском княжении. Там он был лишь князем-воином, защищавшим русские пределы. Попытки его ближе подойти к управлению землей вызывали распри с новгородцами. Только здесь, в Суздальской Руси, он вполне является тем князем, делание которого в сознании и князей и народа неотделимо от самого понятия княжеского служения.

Это, общее для всей Древней Руси, понимание княжеского служения начало складываться под влиянием Церкви еще в Киевской Руси. Сложилось оно окончательно в Суздале, откуда и перешло в Москву. Оно проявилось почти во всех древнерусских памятниках, в летописях и поучениях. Наиболее полно оно отразилось в послании Преп. Кирилла Белозерского московскому великому князю Василию Димитриевичу. Это послание, отражая общий взгляд и князей, и народа, и Церкви на подвиг княжеской власти, как бы изнутри освещает княжение Св. Александра. Оно открывает его собственный взгляд, как и взгляд его современников, на всю его внешнюю государственную деятельность. Поэтому, хотя и написанное значительно позже, оно является ценным памятником, выявляющим мирозерцание Св. Александра.

«Ты же сам, Бога ради,— писал Преп. Кирилл из своей далекой озерной пустыни,— внемли себе и всему княжению твоему, в нем же ты постави Дух Святой, пасти люди Господня, яже стяжа честною си кровию. Якоже бо великия власти сподобился если от Бога, толиким большим и воздаянием должен еси. Въздай же убо Благодетелю долг, святыя его храня заповеди, всякаго уклоняясь пути ведущаго в пагубу. Якоже бо кораблех есть, сегда убо наемник, еже есть гребец соблазниться мал вред

творит плавающим с ним; егда же кормчий, тогда всему кораблю сътворяет пагубу; такоже и о князех. Аще кто от бояр согрешит, не творить всем людям, но токмо себе единому; аще же ли сам князь, всем людем, иже под ним сътворяет верд. Ты же со многою твердостью храни себе в добрых делах... Возненавиди всякую ласть, влекущую тя на грех: не приложен имей благочестия помысл и не возвышайся временною славою к суетному шатанию.

Занеже ни царство, ни княжение, ни иная каа власть не может нас избавити от нелицемернаго суда Божия; а еже возлюбити ближняго яко себе и утешити души скорбящая и озлобленная, много поможет на страшнем и праведнем суде Христове».

В другом послании — к князю Андрею Димитриевичу Можайскому — Преп. Кирилл поучает князя не только о том, чем он должен жить и руководствоваться, но дает наставление в делах управления княжеством.

«И ты смотри того властелин отчине поставлен, люди своим унимай от лихово обычая; судии бо судили праведно, как пред Богом право, поклепов бы не было, подметов бы не было, судий бо посулов не имали, довольны бы были уроки своими; судя праведно без зды спасени будут и царство небесное наследуют. И ты, господине, внимай себе, чтобы корчмы в твоей вотчине не было; занеже то велика пагуба душам. Такоже и мытов бы у тебя не было, понеже деньги неправедныя, а где перевоз, туто пригоже дати труда ради. Такоже и разбоя бы и татьбы не было и аще не уймутся, ты их вели наказывать своим наказанием, чему будут достойны. Такожде унимай от скверных слов, и аще не потщишься всего того унравити, все то на тебе взыщется понеже властель есть своим людем от Бога поставлен. А крестьяном не ленись управы давати сам: то выше тебе от Бога вменится молитвы и поста... Ко церкви ходити не ленись... а в церкви Божией стойте со страхом и трепетом, помышляюще в себе аки на небеси стояще. Занеже церковь наречется земное небо, в нем же совершаются Христовы таинства... Аще кого видеши от вельможи твоих или от простых людей беседующа в церкви, и ты им возбраняй. Занеже глава есть и властель от Бога поставлен, иже под тобою крестьян».

В этом древнерусском понимании княжеской власти очень знаменательно ее «оцерковление». За исполнением князем обычных государственных дел — судов, установлением мытов, устройством перевозов — признается религиозное значение. В основе этого отношения к власти

лежит сознание, что мир не оторван от полноты бытия, заключенного в церкви, но как-то уже сопричастен этому бытию и может и должен усилиями людей входить в Церковь, т. е. оцерковляться. Поэтому религиозный долг каждого человека, но особенно облеченного властью — князя — заключается в том, чтобы, по возможности, сделать еще неоцерковленный мир сопричастным Церкви. В этом сознании Древней Руси была заключена глубоко православная мысль, что *церковным* и религиозным может быть и чисто мирское дело, творимое посреди греховного мира. Праведное исполнение *своего* дела ставилось для мирянина князя даже выше чисто религиозного делания, как об этом говорит и Преп. Кирилл Белозерский: «То выше тебе от Бога вменится молитвы и поста».

Поскольку это служение совершалось в миру, оно было связано с греховной порчей, которая неотъемлема от мира. Средствами государственного управления служат война, кары и казни. Благословение Церкви никогда не давалось именно этим средствам, как таковым. Церковь благословляла государство и его цель — служить оградой от зла на земле, хранить правосудие, принимая и войну, и казнь как печальные, но неизбежные последствия греховной порчи мира. Поэтому Церковь, поучая князей «наказывать своим наказанием, чему будут достойны», освящает не самый факт наказания, но ту цель, которой это наказание служит, т. е. правосудие.

Церковь всегда освящает государственное служение за его цель и побуждения. Во вне государственная деятельность, исходящая из религиозных побуждений, может не отличаться от государственной деятельности, основанной на совсем иных стремлениях. Князь мог заботиться о правосудии, следить за порядком, закрывать корчмы, «унимать людей от лихого обычая» из желания укрепить княжество, дать ему внешнюю силу и мощь, прославив этим свое имя. С современной точки зрения такой правитель, дающий благо своей стране, был бы назван праведным. Церковно православный взгляд Древней Руси был совсем иным. Поучая Василия Дмитриевича — крепко и «грозно» править своим княжеством, Преп. Кирилл Белозерский убеждает его «не возвышаться временною славою к суетному шатанию». Не внешняя мощь княжества, не его слава, не богатство были последней целью и первым побуждением, а *Правосудие*, устройство государства на основе божественной Правды, — спасение вверенных князю Богом людей. Дело правления становилось

оцерковленным только тогда, когда князь имел перед собою эту цель. Только при этом условии дела мирского управления могли вмениться ему во спасение.

Вне этого церковного понимания княжеского служения нельзя понять ни Св. Александра Невского, ни его дел, ни его святости. Вся его государственная деятельность — войны, поездки в ставку, смирение перед ханом, борьба с Новгородом, устроение земли — была именно мирским делом, которое ему и было вменено Богом «выше молитвы и поста».

Св. Александр сам смотрел на свое служение так, как его выразил в своем послании Преп. Кирилл, ибо его жизнь и была осуществлением в жизни заветов и указаний Церкви о долге князя.

Как это видно и из приведенных посланий, Церковь благословляла прежде всего повседневный княжеский труд. Государство идет своими мирскими путями. Поэтому Церковь, благословляя или осуждая его общее устремление, дает ему свободу действовать по своим мирским законам, не предписывая общих правил о заключении союзов, войне или мире, установлении договоров с соседями. Только в редкие трагические минуты истории, как, например, перед Куликовской битвой, она прямо дает указания власти, почти что посылает ее на общее историческое дело или же, наоборот, удерживает от него. Но и тогда эти прямые указания даются всегда конкретно, именно на данное дело, в зависимости от того, соответствует ли оно Божьей правде. Из этих указаний нельзя вывести общего правила. Митрополит Кирилл благословил Св. Александра на поездку к Батыю, Св. митрополит Алексей сам ездил в Орду, Преп. Сергей Радонежский послал Дмитрия Донского на бой с татарами. В их поступках не было противоречия. Изменилась обстановка, изменилась историческая задача, изменилось соответственно и указание Церкви.

Наоборот, постоянная задача князя — управление своим княжеством — всецело определено Церковью. Здесь можно найти множество советов и увещаний, касающихся самых повседневных и обычных дел управления.

Именно оттого, что по церковному пониманию княжеской власти, которое было свойственно и самому Св. Александру, главным делом князя было не столько защита внешних границ, сколько внутреннее устроение княжества на основах правды, Владимирский период при-

дает особую полноту всей деятельности Св. Александра.

Его княжеский труд заключался в построении храмов и укреплений, в постройке городов и в упорядочении внутренней жизни страны, главным же образом в установлении правосудия.

По словам жития, Св. Александр, возлюбив правосудие, «о нем е и боляр своих часто наказуя притчами от божественных писаний». Во многом его деятельность направлялась на улучшение и укрепление церковной жизни. Поэтому и известия о борьбе церковной власти за упорядочение и восстановление церковной жизни уясняют внутреннее состояние Суздальской земли и дополняют краткие сведения о княжеских трудах Св. Александра.

ГЛАВА XVIII

Со времени вокняжения Св. Александра во Владимире начинается его тесная и до конца жизни длившаяся дружба с митрополитом Кириллом.

При той близости государственной власти к Церкви, которая была в Древней Руси, личность духовного отца и советчика князя становится особенно значительной. Часто причину многих поступков и государственных решений князей нужно искать именно в личности их духовных руководителей. Почти все исторические события Руси связаны с именами подвижников, святителей и отшельников, своими указаниями и советами направлявших князей. Но эта духовная связь была особенно крепка между князем и епископом его города, если они оба были на высоте своих служений и не расходились из-за честолюбия или разногласий.

В первые годы княжения Св. Александра в Новгороде его духовным руководителем был архиепископ Спиридон. Он благословлял его на Невскую и Чудскую битвы. Но на самый решительный шаг — поездку в Орду — он испрашивал уже благословение митрополита Кирилла. С этих пор жизнь митрополита тесно сплетается с жизненным путем Св. Александра и всей его семьи. В 1250 году Кирилл венчал великого князя Андрея во Владимире и сажал его на великокняжеский престол. В 1255 году хоронил Константина — второго брата Св. Александра; в 1263 году похоронил самого Св. Александра.

Одно обстоятельство делает отношения Св. Александра и митрополита Кирилла еще более значительными.

Св. Александр был одиноким в своем историческом пути. Нет ни одного указания на человека, близко стоявшего к нему и всецело понимавшего его поступки. Наоборот, все сведения говорят о непонимании и прямом противодействии. Против него восставали даже родные братья и сын. Св. Александр пользовался любовью народа, бояр и дружины. Об этом свидетельствует описание великого горя всей земли при его кончине. Но эта любовь еще не означает понимания. Это была любовь интуитивная, высокая оценка его дела по плодам. Но в минуты решения он всегда был одиноким. И проводил свои решения против воли большинства, при скрытом, а иногда и явном противодействии.

Митрополит Кирилл был единственным человеком, о котором достоверно известно, что он понимал и поддерживал Св. Александра в его государственном служении. Об этом говорит и благословение, данное на поездку к Батыю, и постоянная близость к Св. Александру, и слова самого Св. Александра по возвращении из Новгорода, после принудительной татарской переписи, и отношение Кирилла к ханам, всецело совпадающее с политикой Св. Александра.

Все это выделяет митрополита Кирилла из среды его современников, соединяет со Св. Александром и ставит их рядом, над всеми современниками.

Ни происхождение Кирилла, ни его молодость, ни пострижение, ни первые монашеские годы неизвестны. Известно лишь, что он был русским, а не греком. По-видимому, он родился на юге. В 1243 году он уже носил сан митрополита Киевского и жил в Галиче. Когда в 1246 году князь Даниил Галицкий вернулся из Орды с ярлыком на княжество, он послал Кирилла в Византию к Патриарху для утверждения в митрополичьем сане. По пути в Константинополь Кирилл остановился в Венгрии и по поручению короля Белы вернулся назад в Галич, чтобы передать предложение короля выдать свою дочь за Льва — сына Даниила Галицкого. Предложение это было принято. Кирилл совершил венчание и потом снова отправился в Грецию. Патриарх Мануил II утвердил его в сан митрополита киевского, и Кирилл вернулся на Русь.

Приехав в Киев, он застал его в развалинах. Киево-Печерская Лавра была пуста. Жители городов разбежались. Разоренная и выжженная Киевская Русь, лежавшая на границе степей, постоянно подвергалась новым набегам. Все татарские орды, которые посылались время от

времени ханами для покорения Европы, проходили через Киевскую Русь, и их мирные привалы разоряли уцелевшие селения и города не менее, чем завоевания.

Митрополит Кирилл начал усердные труды по восстановлению церковной жизни. Он совершал большие поездки по всей митрополии. Так, в 1250 году он поехал из Киева в Чернигов, Рязань и Суздаль. Это посещение Северной Руси решило его дальнейшую жизнь.

После смерти епископа Митрофана, сгоревшего при взятии города татарами, Владимирская епархия оставалась незамещенной и ею управлял из Ростова соседний ростовский епископ. Приехав во Владимир, митрополит Кирилл остановился там. Сначала это было временной остановкой на пути. Потом он постоянно поселился во Владимире.

Оставаясь митрополитом киевским, он стал из Владимира управлять своей митрополией. Его заботы сосредоточились, главным образом, на Владимирской епархии. Из Владимира он продолжал свои поездки по Руси. Так, он ездил в Киев и в Новгород — в 1251 году, когда там еще княжил Св. Александр Невский.

Труды митрополита Кирилла прежде всего были направлены на воссоздание церковного управления, разрушенного вместе с городами. Приехав во Владимир, он застал запустение. Большинство церквей было разрушено. Епископы не объезжали своих епархий и не пытались поучать паству. Среди духовенства распространялось святокупство. Полуграмотные, а то и совсем неграмотные священники извращали древний чин богослужения. Сами невежественные, они не только не исправляли невежество паствы, но часто еще более его укрепляли. Христианство, недавно пришедшее на север, не уничтожило язычества. Оно во многом слилось с ним. Поэтому в жизнь и в вероучение вошло много языческих верований. Возникло то затейливое сочетание суеверия с верой, которое веками продолжало жить в Северной Руси. Внешние судьбы России менялись, глубоко менялся ее облик, а это доверие оставалось прежним. Св. Димитрий Ростовский, придя на Ростовскую митрополию через четыре с половиной века после митрополита Кирилла, застал ту же картину. И его борьба с темнотой и суеверием была такой же, как и борьба Кирилла.

По словам летописи, Кирилл «по обычаю своему учаше, наказуяше, исправляше». Постоянно объезжая епархии, он пытался исправлять и духовенство и паству. Он особенно заботился о просвещении духовенств и ис-

коренении двоеверия; обличал святокупство и нечестивую жизнь. Сам совершая объезды, заставлял епископов следить за своими епархиями. Кроме того, он неотступно заботился о внешнем благосостоянии Церкви, восстанавливая, созидавая храмы и вводя благолепный церковный чин.

Его деятельность не ограничивалась пределами Руси. Неизвестно, ездил ли он сам в Орду, но, во всяком случае, он два раза посылал туда ростовского епископа по имени тоже Кирилл. Христианство, главным образом несторианство, было известно ханам и не вызывало к себе враждебного отношения. Мать хагана Менгу была христианкой. Много было христиан и среди приближенных хана. Есть сведения, правда непроверенные, что сам хаган Гаяук умер христианином. Большинство татар, однако, оставалось верными своей религии, а впоследствии в большинстве своем приняло Ислам, пафос которого был наиболее близок воинственному духу татарского царства. Часто именно отсутствие фанатизма и веротерпимость, побуждавшая видеть частичную истину во всякой религии, препятствовали перемене веры. Так, хаган Менгу отвечал Рубриквису, убеждавшему его принять христианство: «Мы, монголы, веруем, что есть только один Бог; но, как рукам Он дал много пальцев, так и людям назначил многие пути в рай. Вам, христианам, он даровал Священное Писание, но вы его не соблюдаете; а нам дал волхвов, мы их слушаемся и живем в мире».

Пользуясь веротерпимостью Менгу, митрополиту Кириллу удалось добиться от него ярлыка, которым русской Церкви давались особые права и льготы. Так, при всеобщем обложении данью духовенство и монастыри были от нее избавлены.

Одним из главных дел митрополита было учреждение в 1261 году отдельной епархии в Сарае для русских пленных, находившихся в Орде.

Таким образом, не только во внутреннем управлении Суздальской Русью, но и во внешних делах по сношению с ханами, защите Церкви и учреждению епархии в Орде дело митрополита Кирилла всецело совпадало с делом Св. Александра. И как государственная политика Св. Александра сделалась основоположной для его наследников, так и начатая митрополитом Кириллом церковная политика по отношению к татарам была воспринята всеми его преемниками на Владимирской, а потом и Московской митрополиях.

ГЛАВА XIX

Мирная деятельность Св. Александра по воссозданию Русской земли заполняет все его десятилетнее княжение во Владимире. Это было его повседневным трудом, подробности которого теперь уже неизвестны. Но на этом фоне встают его внешние действия, его походы и поездки в Орду, его политические отношения с Западом и с Востоком, целью которых было оградить Русскую землю и сделать возможным этот мирный труд воссоздания и укрепления страны.

Неудача шведов и меченосцев, нападение которых было сломлено Новгородом, не приостановило попыток католичества распространить свою власть на православный Восток. Нашествие татар и разорение Руси, казалось, облегчали эту задачу. В руках у папы был светский меч — его власть и влияние на королей и рыцарство. Обещанием крестового похода на татар Рим думал купить согласие русских князей на унию и признание власти папы.

В 1246 году папа Иннокентий IV отправил два посольства: на юг и на север Руси — к Даниилу в Галич и Св. Александру в Новгород. Ко времени прибытия посольства Св. Александр уже уехал в Орду. Папские послы застали его уже во Владимире в 1251 году.

Отношение к этим посольствам и к привезенной ими булле совершенно различно в Галиче и во Владимире. Это различие коренится в противоположности облика Даниила и Св. Александра и в глубоком отличии Южной и Северной Руси.

Даниил благосклонно принял предложение папы. Галич, стоявший на окраине Руси и находившийся в постоянном общении с Венгрией, Австрией и Польшей, во многом приближался к Западу. В его столкновениях с ним не было того коренного различия двух миров, как в противостоянии новгородских окраинных крепостей и ливонских замков на берегах Балтики. В самом Данииле Галицком — талантливом и честолюбивом — было уже много от средневекового рыцарства. В нем было сильно стремление к земному государству и к собственному могуществу и власти, то, что Преп. Кирилл называл «возвышением верменною славою к суетному шатанию». Сила и утверждение самоценности государства были в Галиче сильнее, чем в какой-либо другой области Древней Руси. «Слово о полку Игореве» обращалось еще к деду Даниила — Ярославу Галицкому со словами: «Вы-

соко сидиши на своем златокованном столе, подперт горы Угорский своими железными полки, заступив королевичи путь, затвори Дунаю ворота, меча бремени через облакы, суды рядя до Дуная. Грозы твоя по землям текут, отворяеши Кыеву врата, стреляеши с отня златна стола салтаны за землями». Стремление к возвращению могущества деда не оставляло Даниила. Иноземное влекло его к себе. Подчинение татарским ханам и зависимость от степных варваров-азиатов было ему невыносимо, «злее зла честь татарская». Мысль о борьбе с татарами не оставляла его. Вся его деятельность была подготовлением восстания. Так, он сносился со своим зятем Андреем Владимирским, подготавливая совместное выступление. Нашествие Неврюя и бегство Андрея за море лишили его союзника. Видя свою слабость, он искал сильных союзников и готов был купить помощь. Папа предлагал ему помощь рыцарства и королевский титул. Даниил согласился. Папа Иннокентий издал буллы о крестовом походе на татар и в 1255 году дал Даниилу титул короля. Но, приняв его, Даниил оттягивал свой переход в католичество, продолжал вести переговоры и уклонялся от окончательного шага. Одновременно он воздвигал крепости, готовясь к походу на татар. При нем в Киеве сидел ханский наместник Куремса — ленивый и не энергичный, чем и объясняется то, что Даниил мог безнаказанно вести переговоры с папой и строить укрепления на глазах у ханского наместника. Крестовый поход не удался. Тогда Даниил, соединившись с Литвой, напал на Киев и отнял его у татар. Хан сместил Куремсу и назначил на его место Бурундая. Бурундай пошел на литовцев и принудил Даниила вместе с ним идти войной на прежних союзников. На обратном пути он прошел через Галич и до основания срыл все сооруженные Даниилом крепости: Львов, Кременец, Луцк и Владимир. Даниил попал в полную зависимость от татар, и его полки ходили под начальством татарских воевод во все их походы против Запада.

Так попытка Даниила заключить союз с католическим Западом путем измены Православию кончилась неудачей. Результатом ее было полное подчинение татарам, но при потере той внутренней творческой и самобытной силы страны, которая могла возрасти и свергнуть иго. Даниил не усилил, но окончательно ослабил Галич.

Совсем иным было отношение к посольству во Владимире.

В своем послании к Св. Александру Иннокентий IV

после догматических доказательств преимущества католичества перед Православием подтверждал это указанием на то, что Ярослав — отец Св. Александра — под влиянием проповеди Плано Карпини, в бытность свою в Орде, перешел в католичество и умер католиком. Это утверждение представляется неверным. Ярослав умер в степях, далеко от Руси. Плано Карпини был одним из последних людей, видевших его. Хотя в своем послании Иннокентий ссылается именно на него, сам Плано Карпини в своих очень подробных записках, описывая встречу с Ярославом, ничего не упоминает об его переходе в католичество. Да и сам облик Ярослава противоречит этому известию. По-видимому, это было лишь средством заставить Св. Александра более внимательно отнестись к посольству.

Приняв от посланных грамоту папы, Св. Александр сел думать с митрополитом Кириллом, духовенством и боярами. После совещания был написан ответ. Этот ответ гласил:

«От Адама до потопа, от потопа до разделения язык, от разделения язык до начала Авраамля, от начала Авраамля до проитиа Израилева сквозе море, от исхода сыновь Израилевь до умертвия Давыда царя, от начала царства Соломона до Августа Риського кесаря и до Рождества Христова, до страсти и воскресения, от воскресения же Его и на небеса восшествия, до Констанитна царя, и до 1-го събора и до самого собора добре сведаем; а от вас учения не приимаем». Рукописное житие приводит другой ответ — более пространный, но который был приписан к житию уже в XVI веке и содержит обличение лютеранства.

Так попытка папы мирным путем подчинить себе Северную Русь оказалась неудачной, как и возбужденные им походы шведов и меченосцев. Отказ вступить в переговоры с Римом был продолжением дела защиты Руси от католичества, начавшегося на Неве и Чудском озере и продолжавшегося во всех последующих походах Св. Александра на Запад для обороны новгородских рубежей.

ГЛАВА XX

Отвергнув союз с Западом, Св. Александр принял подчинение Востоку. Его политика по отношению к татарам была его самым великим, но и самым тяжелым

историческим делом, послужившим соблазном для многих, но выведшим Россию из развалин на правильный исторический путь.

Св. Александр был несомненным врагом татар. Уже после своей кончины, в видениях, он дважды являлся на помощь русской рати, сражавшейся против татар. Открытая борьба с татарами, когда она стала возможной, была продолжением дела Св. Александра. Само его подчинение было началом долголетней борьбы с татарщиной. Это подчинение менее всего объясняется признанием полезности для России татарской власти или преклонением перед татарами, которых он, как и все русские, считал идолопоклонниками и неверными. Это подчинение объясняется лишь любовью к Православию и России, пониманием исторической линии и ясным различием между возможным и невозможным, трезвым учетом сил своих и вражеских.

Св. Александр во время пребывания в Каракоруме увидел лицом к лицу всю мощь татар. Сила татарского царства долго недооценивалась. В то время это было поистине несокрушимое царство. С первобытной дикостью и здоровьем молодого народа татары сочетали наследие древних восточных культур, быстро, хотя и поверхностно заимствованных. При описании татарских нашествий на Русь уже говорилось о военной организации татар, об их стремительных походах и тактике боя. Но и во времена мира, завоевав страну, татары из своих далеких орд умели удержать ее в повиновении. Они покрыли все свое царство сетью дорог, шедших на тысячи верст и сходящихся к единому центру — Золотой Орде. Марко Поло оставил подробное описание этих дорог, которые, как и в Римской империи, были первыми и главными средствами держать в повиновении покоренные земли.

«Чрез каждая 25 миль,— пишет Марко Поло,— посланцы великаго хана находят станцию, которая по монгольски называется ямь, то есть «станция с почтовыми лошадьми».

В некоторых ямах есть по 400 коней, в других же меньше. Всего великий хан содержит на этот предмет до 400 000 коней.

Кроме этой связи есть еще связь скороходами, для чего на каждых 3 мили есть станция таких скороходов. Скороходы бегут со звонками, и путь, который пеший сделает в 10 дней, те пробегают в два.

Если же известие или лицо должно быть доставлено очень скоро, то едущему выдается табличка с изображением сокола; каждая станция только услышит колокольчик скачущих, тотчас обязана приготовить лошадей так, чтобы перепряжка могла быть незамедлительна. Обладающий такой табличкой может, в случае падежа лошади в пути, отобрать коней у любого встречного. Ночью рядом со скачущей телегой бегут факельщики. При таком способе передвижения можно сделать в день до 250 миль.

Эти дороги великий хан приказал обсадить большими деревьями; в пустынных местностях дорога указывается столбиками, камнями и т. п.

Для переправы через реки жители окрестных к переправам селений должны иметь три парома».

При этой быстроте передвижений татары могли следить за каждым углом своего царства. Известие о мятеже или даже попытке к мятежу или заговоре немедленно сообщалось в ханскую ставку. И тотчас на непокорных двигалась орда для разрушения, пожаров и поголовного истребления жителей. Татары карали каждое неповиновение с жестокостью, которая надолго вселяла ужас в уцелевших и заставляла умолкать всякий ропот.

Св. Александр видел не отдельные татарские орды. При нем в Каракоруме готовилось нашествие на Европу, совершались завоевания далеких азиатских стран. Он видел мировой размах татарского царства. *Поэтому он увидел и воспринял полную реальную невозможность открытого сопротивления татарам.* Он ощутил в татарах стихийную силу, бороться с которой так же невозможно, как противостоять потоку, лавине или обвалу.

Это ясное понимание татарской силы могло побудить или к полному отчаянию, часто выражавшемуся в безнадежных восстаниях, или к попытке найти иной способ борьбы. Но это последнее предполагало глубокую веру в свой народ и углубленный взгляд, проникающий за рябь внешних событий, обычно кружащую и увлекающую людей в те глубокие и постоянные пути, на которых совершается история. Этот углубленный взгляд присущ лишь отдельным великим людям. Но единственно тот, кто им обладает, может вывести свой народ из беды, не погибнуть и не погубить его безнадежными попытками сопротивляться несокрушимому.

Народ всегда живет своей внутренней творческой силой. Поскольку эта сила ему присуща, он не может

погибнуть, несмотря на все внешние несчастья. Сокрытая в нем сила всегда проявится наружу, преодолев все препятствия, потому что она, как произрастающее семя, всегда стремится распространиться во вне, сделаться равной и внешне своему внутреннему содержанию. Поэтому все усилия подлинного спасения должны прежде всего направляться на сохранение этой творческой основы, на отвращение посягательств именно на нее. Поэтому менее страшны грандиозные по размаху разрушения внешнего, чем незаметные попытки уничтожить внутреннее.

Св. Александр Невский сознавал этот исторический закон. Вся его деятельность явно свидетельствует об этом.

Он видел подлинную сущность России, ее внутреннюю силу, и все его усилия были направлены на ее сохранение. Этим объясняется его упорная борьба с католическим Западом.

Как уже раньше указывалось, несокрушимое тогда Татарское царство по всей своей организации давало возможность сохранения подлинной русской сущности. Оно давало возможность постепенного накопления сил после разрушения первого нашествия.

Обычное представление о татарах, как бессмысленных разрушителях только ради разрушения, глубоко неправильно. Имена их ханов связываются с разрушенными до основания городами, поголовно перебитыми жителями и отдельными проявлениями зверства и жестокости. Но нельзя забывать, что в то же время и в Европе существовала инквизиция и пытки. За несомненной жестокостью и равнодушием к смерти и у Чингизхана, и у его потомков лежало сознание миссии сделать монголов великим народом — «*Кеке Монгол*» *, «чтобы он из всего, что движется на земле, был самый великий». Сам Чингисхан говорит об этой миссии: «согласно повеления высшего царя Тенгри Хормуза, отца моего, я подчинил себе 12 земных царств, я привел к покорности безграничное своеволие мелких князей, огромное количество людей, которые скитались в нужде и угнетении, я собрал и соединил в одно, и так я выполнил большую часть того, что должен был сделать. Теперь я хочу дать покой моему телу и душе». «И от этого года Дракона (1208) до года Собаки (1226), то есть в течение 18-ти лет, покоился повелитель, учреждал порядок и закон для своего огромного

* Великий Монгол.

народа, на твердые столбы ставил свое царство и державу... и росло счастье и благополучие его народа».

История подтверждает истинность этих слов о мирном строительстве ханов. Хан Менгу в 1253 году даровал всеобщую амнистию. Он посылал свои войска на помощь крестьянскому населению Китая, разоренному войной. Он же устанавливал законы справедливого обложения данью. При нем была провозглашена свобода совести. При обложении Руси данью Церковь была изъята от всех взносов. Из этого видно, что покоренные татарами народы могли существовать под их властью, что не избавляло, конечно, ни от тяжелого экономического гнета, ни от произвола ханских чиновников, ни от других последствий завоевания.

Из ясного осознания своей миссии — сохранить Русь — и двух сторон татарского ига — несокрушимости и гибельности при открытой борьбе и известной терпимости, дающей простор для внутреннего роста при повиновении, — вытекает вся восточная политика Св. Александра Невского, которая стала политикой его преемников и которая всецело оправдала себя в дальнейшие века.

Его деятельность шла по двум направлениям. С одной стороны, мирным строительством и упорядочением земли он укреплял Русь, поддерживал ее внутреннюю сущность, накапливал силы для будущей открытой борьбы. В этом заключаются все его долголетние упорные труды по управлению Суздальской Русью. С другой стороны, подчинением ханам и исполнением их повелений он предотвращал нашествия, внешне ограждал восстановленную силу России.

Нашествия были величайшим злом, грозившим полной гибелью. Русь десятилетием оправлялась от Батыева разгрома. При нашествии татары стремились до основания разрушить страну. Новое нашествие на Русь, подобное Батыеву, могло окончательно подорвать ее, уничтожить и ту внутреннюю силу, которая теплилась и начинала возрождаться.

Поэтому вся политика Св. Александра Невского сводилась к предотвращению нашествий. Он шел на все уступки, лишь бы только предотвратить ханский гнев на Русь. Для этого он добивался полным повиновением доверия ханов, пытался возможно больше отдалить Русь от ханов и стать посредником между ними. Для этого он должен был становиться как бы наместником хана, от

которого он получал и самую власть, и предотвращать всякую попытку мятежа.

Только с этой точки зрения понятно все дело жизни Св. Александра Невского.

Эта политика была чрезвычайно трудной. Вся Русь была тяжело подавлена игом. Глубокий взгляд на исторические события, видящий их глубокий смысл и дальнейшие перспективы, недоступен народной массе. Народная масса видит перед собой лишь внешние факты и непосредственно на них реагирует. Она может лишь подсознательно понимать и ценить путь своих вождей, подобных Св. Александру, которые исполняют ее скрытую и для нее самой неосознанную волю, но на тех путях, которые вызывают ее сопротивление. В этом есть глубокая трагедия истории. Из народа выходящие и народную сущность утверждающие и сознающие, отдельные великие люди творят подлинную волю народа среди сопротивления народа. Они живые камни, на которых создается история народа. Они наиболее всех народны. Они получают народное признание и любовь на каких-то особых, неосознанных путях, именно как наиболее ярко осознавшие и воплотившие национальную волю. Но их жизнь полна непонимания и открытых мятежей. Они всегда одиноки.

Русский народ видел перед собой самый факт татарского ига. На него непосредственно действовали насилия и произвол татарских чиновников и постоянные поборы, разорявшие страну. Поэтому в стране накапливалось возмущение против татар, готовое прорваться наружу. Мятежи были проявлением подлинного национального чувства и обнаружением внутренней силы. Выраставшие из живого национального чувства при сложившейся обстановке, они творили противонациональное дело.

Поэтому перед Св. Александром лежала трудная задача сдерживания возмущенного и озлобленного народа. Все его долголетние труды создавали здание на песке. Одно возмущение могло разрушить плоды многих лет. Поэтому он подчас силой и принуждением заставлял народ смиряться под татарским ярмом, постоянно сознавая, что народ может выйти из-под его власти и навлечь на себя ханский гнев.

Эта внешняя трудность усугублялась трудностью внутренней. Русский князь становился как бы на сторону хана. Он делался подручником ханских баскаков против русского народа. Св. Александру приходилось осущест-

влять ханские приказы, которые он осуждал как пагубные. Но для сохранения общей главной линии спасения Руси он принимал и эти приказы. Ему приходилось казнями карать восставших против татар. Если понять, что *подчинение Св. Александра было в сущности борьбой с татарами*, то станет очевидной глубокая трагичность этих казней. Св. Александр казнил тех, кто творил одно дело с ним, исходя из одних побуждений, но заблуждаясь лишь во внешних путях.

Эта трагичность положения между татарами и Русью делает из Св. Александра мученика. С мученическим венцом он и входит и в русскую Церковь, и в русскую историю, и в сознание народа.

Если теперь, на расстоянии веков, оценивать исторический путь, по которому Св. Александр повел Русь, то можно только признать его совершенную правильность. Он выбирал этот путь среди внешнего смятения жизни. Он шел по нему неуклонно, с исключительной твердостью и гибкостью и ни перед чем не отступая. Во всей его деятельности была особая уверенность, *сознание* того, куда он идет. Поэтому в нем с даром силы сочетается углубленный и провидческий взгляд, словно глядящий *сквозь* внешние явления в сокровенную от других сущность исторических путей Руси.

ГЛАВА XXI

Укрепление Руси требовало ее объединения под единой властью. Борьба суздальских, а потом московских князей за единодержавие занимает при столетия русской истории. Татарское иго делало эту борьбу за единодержавие более необходимой, чем когда-либо. Для того чтобы сдерживать восстание и вести единую политику по отношению к Орде, нужна была единая власть, не позволявшая проявить своего своеволия. В глазах ханов вся Русь была единым улусом. Неповиновение одной области было неповиновением Руси, и прежде всего великого князя, который был представителем всей земли. Впоследствии эти отношения несколько изменились, и татары начали вмешиваться в междоусобные споры княжеств. Но при первых ханах Св. Александр как великий князь владимирский получил ярлык на Северную Русь и был за нее ответственен перед кипчакским ханом. Поэтому последний период его жизни отмечается усилением борьбы

за единоедержавие и возвышение Суздаля. Эта борьба столкнула его с самой беспокойной и своевольной областью — Новгородом.

Уйдя из Новгорода во Владимир, Св. Александр посадил на новгородское княжение своего сына Василия. За те годы, в течение которых все внимание Св. Александра было занято Востоком, меченосцы и Литва оправились от поражения и снова начали воевать с Новгородом.

В 1253 году Литва напала на Шолону. Князь Василий с новгородцами настиг ее у Торопца и разбил, отняв весь плен. Тем же летом меченосцы пришли под Псков и подожгли посады. При приближении новгородской рати они отступили. Тогда князь Василий вернулся в Новгород и, пополнив свое ополчение, перешел через Нарову и опустошил орденские земли вокруг Корелы.

Вскоре в Новгороде разгорелись и внутренние смуты — старинный спор враждующих партий, суздальской и южнорусской. В сущности, партии южнорусской не существовало. Южная Русь лежала в запустении. Поэтому теперь спорили две партии: суздальская, стоявшая за союз с Суздалем и признававшая даже некоторую зависимость от великого князя владимирского, и народная — стоявшая за прежнюю волю и старину, «за Св. Софию», и тянувшая ко всякому князю, за которым не было власти Суздаля. Эти партии разделились по новгородским классам: «большие» люди стояли за Суздаль, «меньшие» за вольность. В этих двух партиях сказались два лика Новгорода. Суздальская партия была более расчетлива, более государственна, это была партия новгородца-богача. Партия «меньших» людей не была расчетливой. Несмотря на ее историческую неправду — Новгород в то время не мог, не погибнув, оторваться от Суздаля, — в ней была подлинная и бескорыстная любовь к вольности и к своему городу.

При князе Василии по главе суздальской партии стояла семья Степана Твердиловича, бывшего долгое время посадником, — семья, лично связанная с суздальским княжеским родом. Опираясь на боярство, князь Василий крепко сидел в Новгороде, в то время как младшая братия волновалась на торговищах, пересчитывая обиды Суздаля и случаи нарушения вольностей. Но в 1255 году недовольство это прорвалось наружу и победило боярство. Князь Василий был изгнан и на княжение призван был из Пскова Ярослав Ярославович: младший брат

Св. Александра. Посадником младшая братия избрала своего любимца — Ананию.

Несмотря на краткость о нем сведений, образ Анания ярко встает со страниц летописи. Ярый защитник вольности, он был предводителем новгородской народной партии. Но вместе с тем в нем не видно следов безудержного буйства, свойственного новгородской вольнице. Все его поведение в дни раздора указывает на его миролюбие и желание избежать кровопролития, хотя бы ценой принесения себя в жертву. По-видимому, в нем не было личного честолюбия, но лишь бескорыстное служение новгородской воле.

Узнав о своеволии новгородцев, Св. Александр с суздальской ратью пошел к Торжку и, соединившись там с бежавшим из Новгорода Василием, двинулся на Новгород. По дороге он встретил новгородца Ратекшу, который привез ему весть от новгородских бояр, державших его сторону: «Поди, княже, борзее: брат твой князь Ярослав побегл». По-видимому, Ярослав побоялся вступить в борьбу со старшим братом и ушел назад в Псков.

Подойдя к Новгороду, Св. Александр стал с ратью у Городища. В самом Новгороде по звону колокола меньшие люди сбежались с оружием из своих домов на вече у Св. Николы. На этом вече младшая братия спрашивала: «Братие, аще речет князь: выдайте мы моя вороги?», то есть что делать, если князь потребует зачинщиков. В ответ на это вече решило не подчиняться требованию князя и «целовало Св. Богородицу» — всем стоять за одно, биться за Св. Софию, за «правду новгородскую, за свою отчину», хотя бы до смерти. Свою конную рать они поставили у церкви Рождества, а пешую выставили у Св. Ильи, против Городища. Бояре, в свою очередь, учинили тайный совет о том, как победить меньшую братию и ввести князя в город. По решению совета Михалко — сын посадника Твердислава — главный сторонник Св. Александра — убежал из города в подгородный монастырь, чтобы напасть оттуда со своим полком на новгородское ополчение. Узнав об этом, младшая братия бросилась грабить его дом, но Анания не допустил до этого, сказав: «Братие, еще вы того убити, убийте прежде мене». Он не знал, что бояре на своем совете решили схватить его и посадить на посадничество Михалку.

Видя смятение и раздоры среди новгородцев, Св. Александр прислал на вече своего боярина сказать младшей

братии: «Выдайте ми Онанию посадника, или не выдадите, и я ваш не князь, но враг, иди на город ратию». Тогда новгородцы послали к князю на Городище владыку Далмата и тысяцкого Клима, прося увести рать и оставить им Ананию. Св. Александр, отвергнув просьбу новгородцев, прождал еще три дня, в которые обе рати — суздальская и новгородская — стояли друг против друга. На четвертый день он опять послал на вече сказать: «Оже Онания лишится посадничества, и аз вам гнева отдам». За эти три дня рвение младшей братии ослабло и она начала прислушиваться к голосу бояр, убеждавших покориться. Анания увидел колебание своих сторонников и, добровольно сложив посадничество, ушел из Новгорода. Св. Александр двинулся из Городища в город и был встречен архиепископом, духовенством и народом у Прикуповича двора.

Боярская партия победила, и Михалко был посажен посадником, а Василий вернулся на свое княжение.

Через год (1256) Св. Александр опять приходил в Новгород для похода на шведов, напавших на новгородскую область.

Рижский архиепископ, поссорившись с орденом меченосцев, обратился к шведскому королю с просьбой о помощи в деле обращения Прибалтики в католичество. Король послал свое войско под начальством Ярла Биргера. Высадившись в Прибалтике, Ярл вошел в новгородские пределы и начал строить крепости по Нарове.

Придя со всей суздальской ратью в Новгород, Св. Александр собрал нижегородское ополчение и пошел к Нарове. При его приближении ярл Биргер отошел без боя, и Св. Александр срыл все шведские крепости.

Оттуда Св. Александр пошел в Тавасландию, завоеванную шведами за шесть лет до этого. Уже наступала зима, и русская рать шла между замерзших озер Финляндии, в лесах, занесенных сугробами. Впереди шли шестники, нащупывая шестами дорогу. «Бысть зол путь, — говорит летопись, — якоже не видели ни дни ни нощи, и проидоша горы непроходимые, и воева Поморие все».

Шведы не ждали вторжения и не готовились к сопротивлению. Тавасландия была отвоевана, и этим уничтожен шведский оплот у самых русских рубежей.

Св. Александр вернулся с полоном в Новгород, «славен же бысть страхом и грозою». Оттуда он отъехал во Владимир, оставив в Новгороде Василия.

ГЛАВА XXII

В то время, как Св. Александр был занят делами Новгорода, на Русь надвинулась новая гроза от татар.

Татарское царство, разлившееся стихийно во времена Чингисхана и его сыновей, начало входить в берега. Татары начали закреплять свои владения и упорядочивать свое управление. Одной из этих мер было исчисление дани. Хаган Менгу приказал сделать перепись всех подчиненных ему народов.

Кипчакский хан Берке, сменивший уже умерших к тому времени Батыея и Спартака, приказал произвести перепись Руси.

В русском народе крепко до последнего времени в течение веков жил мистический страх перед переписью. Здесь же перепись исходила от татар, от племени неведомого и злого, поклонявшегося идолам. В представлении народа происхождение татар терялось во мраке неведомых библейских народов. Это были неверные моавитяне, загнанные судьей Гедеоном в страны между востоком и севером, откуда они должны прийти перед концом света и Страшным Судом. Перепись, производившаяся этим народом, — знак Антихристов — взволновала всю Русь.

Св. Александр поехал в Орду с богатыми подарками умолять хана об отмене переписи. Но все мольбы были напрасны. В следующем, 1258 году он вернулся на Русь с татарскими численниками.

Татарские чиновники были алчны и стремились нажиться в удаленной от ханской ставки стране. Перепись производилась среди глубокого озлобления народа. Всюду можно было ждать сопротивления численникам, их избиения, т. е. неповиновение ханскому приказу. Поэтому, приехав на Русь с численниками, Св. Александр помогал им произвести перепись, чтобы отвратить восстание и не навлечь ханскую кару на всю страну за неповиновение в одном из городов.

Зимой 1258 года татары начали перепись. Они поставили по всей стране десятников, сотников, тысячных и темников и изочли всех мужчин с десятилетнего возраста. Исключение было сделано лишь для духовенства: «Только не чтоша игуменов, чернецов, попов и клирошан, кто зрит на Св. Богородицу и владыку».

Однако на Руси нашлась область, которая не захотела подчиниться приказу хана. Это опять был Новгород.

Когда туда дошла весть о переписи, новгородская младшая братия восстала. Смуты продолжались все лето. На этот раз возмущение было так сильно, что даже князь Василий оказался на стороне младших против боярства и своего отца. Когда пришла весть, что Св. Александр с численниками идет в Новгород, молодой князь, не снеся позора, бежал в Псков.

На этот раз Новгороду удалось временно избежать переписи. Новгородцы богатыми дарами подкупили численников, которые и ушли из Новгорода без десятины и тамги. Однако Св. Александр не простил неповиновения, чуть не наведшего ханского гнева на всю Русь. Он выслал своего сына из Пскова и послал его на Низ, а советчиков, убеждавших его противиться приказу, наказал казнью или увечьем.

Но Новгород не избежал общей переписи. По-видимому, в Орде разгневались на численников, принявших мзду и не исполнивших ханского приказа. Следующей осенью в Новгород пришел с Волги некто Михайло Пиняцин с лживой вестью, что татарская рать уже двинулась на Русь и Новгород. Тогда новгородцы смирились. Зимой 1259 года татарские воеводы Беркай и Касачик и суздальская рать со Св. Александром вошли в Новгород. Численники начали производить перепись. Это был первый приход татар в свободный Новгород. Вид татарских воевод — «окаянных сыроядцев», — их дружин и жен на улицах города перед Св. Софией возмутил весь город. Младшая братия забыла о прежнем согласии на перепись. Татары, силы которых были невелики, уstraшились этого бурного взрыва народной ненависти. Они обратились за помощью к Св. Александру. Св. Александр поставил своих дружинников и новгородских боярских детей стеречь ночью дома, где остановились татары. Сам со своей дружиной он стоял в Городище, следя за возмущенным городом. Татарские воеводы потребовали от новгородцев подчиниться переписи, угрожая уехать из города и предоставить его ханскому гневу. Бояре, боявшиеся ханской казни, убеждали на вече черных людей подчиниться татарам. Но эти увещевания тонули в криках младшей братии: «Изомрем за Святую Софию и за дома церковные». Раздор прошел по всему городу. Распространился слух, что татары хотят ударить с двух сторон на город. Вооруженные толпы новгородцев стали собираться у Св. Софии.

Тогда наутро Св. Александр со своей дружиной из

Городища вошел в Новгород. За ними шли татарские численники. Под охраной суздальской дружины «поча окаяния, ездящие по улицам, писати дома христианския».

Окончив перепись, татары ушли из Новгорода, не оставив там баскаков. Св. Александру большими подкупам удалось выговорить новгородцам эту льготу.

Св. Александр, пробыв еще некоторое время в Новгороде, вернулся в Суздаль. Князь, защищавший Новгород от врагов, сам ввел татар в этот единственный удел, куда они еще ни разу до того не приходили. Сохранились его слова, сказанные по возвращении во Владимир митрополиту Кириллу. Эти слова просты, скупы, сдержанны. Но в них вся боль и тяжесть этого похода: «Отче Святый! Твоею молитвою я здоров поехал в Новгород, твоею же молитвою здоров и сюда приехал».

ГЛАВА XXIII

По возвращении во Владимир Св. Александр продолжал свои прежние труды по управлению Суздальской землей. Эти годы отмечаются лишь краткими данными, как рождение последнего, четвертого сына Даниила (1261 год), родоначальника московских великих князей. Над всей же его жизнью нависает тяжелая туча все усиливающегося брожения и возмущения против татар, готовящегося восстания, а за ним кары и разрушения Руси.

Около 1260 года татарские ханы для увеличения своих доходов изменили порядок взимания дани. Они отдали ее на откуп восточным «бесерменским» купцам. Взимание дани сделалось источником дохода. Раньше татарские баскаки проявляли алчность, но теперь эта алчность и жажда личной наживы вошли в систему. Чувствуя за собой власть ханов и зная, что отказ им будет сопротивлением ханской воле, бесермены не знали сожаления. Они были случайными гостями в этой далекой и чуждой им земле и стремились только к наживе.

Поборы бесерменов разоряли страну, с трудом оправлявшуюся от разрушения. Все скудные доходы уходили на выплату дани. Задолжавшие бесерменам крестьяне и горожане, выплачивавшие им непомерные «резы»*,

* Проценты.

Рубриквис, видевший русских пленных в Орде, пишет: «Когда эти бедные люди не могут больше дать ни золота, ни серебра, они уводят их с женами и детьми, как скот, чтобы заставить пасти свои стада».

запутывались в долгах. Разорив их окончательно, бесермены продавали их с семьями в рабство, увозя из Руси в Орду. На базарах восточных городов увеличивалось количество русских рабов. В народе постоянно нарастало чувство отчаяния, невозможности оправиться и стать на ноги, а это чувство заставляло забывать и ханский гнев, и возможность полного разорения страны.

В 1261 или 1262 году на Русь приехал послом хана бесермен Котлубей — «зол сый... творяше людем великую досаду, кресту и святымъ церквам поругася». Но особенную ненависть народа возбуждали русские отступники, переходившие к бесерменам. Среди них был — «пьяница и студословец, празднословец, кощунник» — монах Зосима, который перешел в магометанство и особенно отличался алчностью, незаконными поборами и глумлением над христианской верой. Эти притеснения переполнили чашу народного терпения.

В 1262 году, по словам летописи, «избави Бог от лютаго томления бесерменскаго люди Ростовския земля», «вложи ярость в сердца христианом не тръпеше насилия поганых, и созвониша вече, выгнаша из городов: из Ростова, из Володимера, из Суздаля, из Ярославля».

Это было стихийным восстанием всей земли. Русь вышла из-под власти великого князя. Под звоны вечевых колоколов толпы народа бросились на дома бесерменов и татар. Ярость народа прежде всего обрушилась на отступников. В Ярославле восставшие толпы убили Зосиму, влачили его тело по городу и бросили на съедение псам. Многие из бесерменов и татар спасались от смерти только переходом в христианство.

По проложенным татарами дорогам вести о восстании Руси быстро долетели до хана. Берке стал собирать орду для карательного нашествия на восставшую страну.

Перед началом восстания, неожиданного и быстрого, Св. Александр собирал рать для похода на ливонских рыцарей. Мятеж помешал его выступлению. Над страной нависла гроза ханского гнева. Все долголетние труды по воссозданию Руси шли прахом. Впереди было нашествие и разрушение. Вслед за вестью о готовящемся нашествии пришла и другая, не менее горькая. Хан в это время вел войну в Персии. Все улусы ханства, между ними и Русь, должны были выставить войско для участия в войне.

Перед лицом этой опасности Св. Александр отправил свое войско на Ливонию под начальством брата Яро-

слава Тверского и сына Димитрия *, сам же поехал в Кипчакскую Орду к хану «отмаливать людей от беды». Из всех поездок эта была самая трудная. Св. Александр явился к хану ходатаем за опальный, восставший против ханской власти народ. Во всей своей политике Св. Александр пытался обещаниями повиновения выговорить для Руси возможно более льгот; беря на себя такую поруку за страну, он должен был просить не только о помиловании, но и о сохранении прежних льгот и даже о новой льготе — избавлении от повинности в персидской войне, ложившейся на все улусы.

Св. Александр провел в Орде целый год, умиловляя хана и его воевод и чиновников просьбами и богатыми подарками. Мы не знаем подробностей того, как ему удалось смягчить гнев Барке и выхлопотать не только прощение, но и избавление от повинности. Но этот год окончательно сломил его силы.

Осенью 1263 года Св. Александр, уже больной, поехал на Русь. Остановившись недолго в Нижнем Новгороде, он направился дальше, к Владимиру. Но, дойдя до Городца, он тяжело занемог. Стояла половина ноября — время глубокой осени, с ее дождями и распутицами.

Остановившись в монастыре, Св. Александр почувствовал приближение кончины. Призвав игумена, он стал просить о пострижении в иночество, говоря: «Отче, се болен вельми... Не чаю себе живота и прошу пострижения». Эта просьба вызвала отчаяние бывших с ним бояр и слуг. «Ужасно бе видети, яко в толице множестве народа не обрести человека, не испустивша слез, но вси с восклицанием рыдающе глаголаху: «Увы нам, драгий господине наш! Уже к тому не имамы видети красоты лица твоего, ни сладких твоих словес насладитися. Кому прибегнем и кто ны ущедрит? Не имуть бо чада от родителя такого блага прияти, якоже мы от тебе приимахом, сладчайший наю господине». Услышав эти вопли и причитания, Св. Александр «зело стужився». Он приказал оставить его одного и не смущать спокойствия души, отрешающейся от земного, сказав: «Удалитесь и не сокрушайте души моей жалостью». Начался обряд пострижения. Св. Александр был пострижен в схиму с именем Алексия. На него был возложен куколь и иноческое одеяние. Тогда он снова позвал к себе своих бояр и слуг и стал прощаться с ними, прося у каждого прощения. Потом он

* Этот поход был удачен и закончился взятием Юрьева.

причастился Св. Таин и тихо преставился. Это было 14 ноября 1263 года.

Митрополит Кирилл служил обедню в Успенском соборе во Владимире, когда вошедший в алтарь гонец сообщил ему о кончине князя. Выйдя к народу, митрополит сказал: «Чада моя! Разумеите, яко уже зайде солнце Суздальской земли». И весь собор — бояре, иереи, дьяконы, черноризцы и нищие ответили рыданием и воплем: «Уже погибаем».

Тело Св. Александра из Городца везли к Владимиру. Стоял сильный мороз. Митрополит со всем духовенством, с горящими свечами и кадильницами, со всеми боярами и толпами владимировцев вышел встречать тело к Боголюбову. Вдали показался великокняжеский стяг, который несли перед гробом. Тогда среди народа поднялся плач и стон, «яко и земли трястися». Огромные толпы теснились у гроба, чтобы прикоснуться к телу.

Погребение было совершено в церкви Св. Богородицы во Владимире 23 ноября.

Житие повествует, что когда митрополичий эконо́м Севастьян подошел ко гробу, чтобы вложить в руку усопшего разрешительную грамоту, рука Св. князя, распротершись, взяла сама грамоту и снова сжалась.

«И тако обьят ужас, — говорит летопись, — видевших то, и проповедано бысть всем се от Кори́ла-митрополита и от иконома Севастьяна. Се же слышавше, братие, кто не подивится, яко телу бездушну сущу, привезенну от далних мест во время зимы? Тако бо прослави угодника своего, иже много тружеся за землю Русскую живот свой полагаа за православное христианство».

СОДЕРЖАНИЕ

Л. Волков. Старые годы	5
Н. А. Алексеев-Кунгурцев. Брат на брата	77
Ф. Равита. На Красном дворе	199
В. Кельсиев. Москва и Тверь	273
Н. Чмырев. Александр Невский	339
В. Клепиков. Александр Невский	471

Литературно-художественное издание

«Всемирная история в романах»:
«Летопись великий событий»

Л. Волков. Старые годы
Н. А. Алексеев-Кунгурцев. Брат на брата
Ф. Равита. На Красном дворе
В. Кельсиев. Москва и Тверь
Н. Чмырев. Александр Невский
В. Клепиков. Александр Невский

Исторические романы

Редактор А. Д. Паршенков
Художник Н. Б. Егоров
Корректор Г. А. Голубкова

Лицензия ЛР 063930 от 9.03.1995 г.

Формат 84х108/32. Гарнитура «Таймс». Подписано к печати 3.03.1997 г.

Тираж 13000 экз. Объем 30,24 усл. печ. л. Заказ 612.

Издательский дом «Новая книга» 125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, 18.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГИПП «Зауралье».

640627, г. Курган, ул. К. Маркса, 106.

